

Вальтер
Скотт



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двадцати томах

Под общей редакцией

Б. Г. РЕНЗОВА, Р. М. САМАРИНА,

Б. Б. ТОМАШЕВСКОГО



*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Москва 1963 Ленинград

Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том десятый

АББАТ

Перевод с английского

А. Г. ЛЕВИНТОНА

и

В. Е. ШОРА



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1963 Ленинград

WALTER SCOTT

THE ABBOT

Редакция перевода

<i>А. А. Смирнова</i>

Комментарии

В. Е. Шора

АББАТ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «АББАТУ»

Из того, что уже было сказано в предисловии к «Монастырю», с неизбежностью вытекает, что автор рассматривает этот роман как своего рода неудачу. Книгопродавцы, правда, не жаловались на плохой сбыт книги, ибо, если не считать особо счастливых или, в противоположном случае, столь же несчастливых обстоятельств, популярность писателя не возникает и не меркнет под влиянием какой-либо одной публикации. Морю нужно время как для прилива, так и для отлива. Тем не менее я сознавал, что в моем положении недостаточный успех в какой-то мере равнозначен поражению, и так как я, само собой разумеется, не испытывал особой склонности считать, что причины этой неудачи лежат во мне самом, мне по крайней мере хотелось точно установить, вызвана ли та степень неодобрения, которую навлек на себя мой роман, неискусно построенной фабулой или же недостаточным мастерством изложения.

Я никогда, признаться, не принадлежал к числу тех, для кого писательский мозг — нечто вроде молока, которое свертывается один-единственный раз, и кто вечно твердит молодым авторам, что им не следует расточать свои силы и слишком уж мозолить людям глаза, если они дорожат своей славой. Может быть,

все дело в том, что я был и остаюсь равнодушным к тому, высоко ли оценивают меня как писателя, тем более что, в отличие от многих других, я не придаю столь большого значения тому, что отвлеченно именуется литературной славой — или по крайней мере той формой популярности, которая выпала на мою долю, ибо хотя было бы худшим видом лицемерия отрицать, что мой успех на поприще, куда я вступил в значительной мере случайно, тешит мое тщеславие, тем не менее я далек от мысли, что сочинитель романов бытовых или героических занимает столь уж высокую ступень в литературной иерархии.

Впрочем, я избавляю читателя от изложения своих взглядов по этому поводу, поскольку они достаточно полно представлены в вступительном послании к первому изданию «Приключений Найджела»; и хотя они там вложены в уста вымышленного персонажа, они так искренни и непосредственны, как если бы я писал их, «сбросивши свой плащ и перевязь».

Короче говоря, когда я понял, что роман «Монастырь» не принес мне успеха, у меня тут же родилось искушение предпринять новую попытку и попробовать, не удастся ли мне восстановить свою так называемую славу, хотя бы даже с риском окончательно лишиться ее. Я окинул взглядом свою библиотеку и не мог не заметить, что со времен Чосера до Байрона наибольшую популярность обрели те, кто был наиболее плодовит. Даже Джонсон, наш аристарх, и тот допускал, что работоспособность и плодовитость сами по себе являются достоинствами, независимо от внутренней ценности созданного. Так говорят, кажется, о Черчилле, который не многого стоил, согласно предвзятому мнению Джонсона. Последний все же признал за ним достоинство плодовитости, хотя и со следующей оговоркой: «Дикая яблоня, в сущности, приносит лишь дикие яблочки; но есть великое преимущество у той яблони, которая дает большое количество плодов, хотя бы и посредственного качества, по сравнению с той, которая приносит их не так уж много».

Приглядевшись внимательно к корифеям литературы, чья деятельность была в равной мере долгой

и блистательной, я как будто постиг, что на творческом пути, беспокойном и продолжительном, им приходилось, конечно, терпеть и случайные поражения, но все же истинные любимцы своей эпохи неизменно одерживали верх над подобными неудачами. Их новые успехи заставляли забывать о прежних промахах, их имена постепенно как бы сливались с литературой их народа, и после того, как критика долгое время навязывала им свои законы, теперь уже они сами в какой-то мере становились законодателями вкуса. А когда подобный писатель наконец уходил со сцены, только его смерть давала почувствовать, как велик был его вклад в сознание читающей публики.

Я припоминаю одно место из «Переписки» Гримма о том, что когда неистощимый Вольтер выпускал памфлет за памфлетом, чуть ли не до самого конца своей долгой жизни, первое впечатление, производимое каждым из них в момент его выхода в свет, было таково, что он уступает предшествующим трудам. Это мнение возникало из всеобщего убеждения в том, что должен же фернейский патриарх наконец достичь той грани, за которой его творчество станет клониться к закату. И все-таки в конце концов общественное мнение заслуженно поставило последние памфлеты Вольтера в один ряд с теми, которые раньше вызывали восхищение французского народа. На основании этого и других аналогичных фактов можно, как мне кажется, прийти к выводу, что публика иной раз судит новые произведения не по их внутренним достоинствам, а в соответствии с теми внешними предубеждениями, которые еще раньше сложились у нее и над которыми писатель может попытаться одержать верх с помощью труда и терпения.

Такой опыт сопряжен с риском:

Коль уж свалился в воду, так прощай!
Теперь либо всплывешь, либо утонешь!

Но подобного рода опасность угрожает каждой литературной попытке, и людей сангвинического темперамента она не пугает.

Я мог бы иллюстрировать свою мысль теми ощущениями, которые рождаются у многих путешественников. Когда какой-либо этап нашего пути представляется нам особенно скучным или, напротив, чрезвычайно интересным, чересчур коротким или неожиданно слишком долгим, наше воображение порой настолько преувеличивает первоначальное впечатление, что при повторной поездке нам уже обычно кажется, что мы сильно переоценили характерные особенности этого этапа нашего странствия, и теперь уже дорога может показаться нам более монотонной или более приятной, более быстрой или более утомительной, нежели мы ожидали и — соответственно — чем это имеет место на самом деле. Требуется предпринять третье или даже четвертое путешествие, чтобы возникло истинное представление о том, насколько этот путь красив, насколько он длителен и каковы его другие качества.

Вот так же точно и читатели, когда они обсуждают новое произведение, с которым не связывалось особых надежд, но которое неожиданно обрело успех, поддаются неумеренному восторгу, превозносят его выше, чем оно того заслуживает, и возводят детище своей случайной благосклонности в столь высокий ранг, который, если говорить об авторе, в равной мере трудно удержать и мучительно утратить. В этом случае, если писатель устрасится той выси, куда его занесло, и содрогнется перед призраком своей собственной славы, он может, конечно, и выбыть из игры, унося с собой свой выигрыш, но грядущие поколения приведут его славу в соответствие с его истинными заслугами. Если же он, напротив, снова ринется в бой, публика, вне всякого сомнения, станет судить его со строгостью, не уступающей ее прежней снисходительности. И если на этот раз плохой прием обескуражит его, он и тут может покинуть ристалище. Тот же, кто все-таки выстоит и справится с участью волана, который швыряют то вверх, то вниз, сумеет наконец более или менее уверенно сохранить в глазах общества тот уровень, который, видимо, был им завоеван по праву. В этом случае он мог бы, вероятно, похвалиться тем, что привлек к себе всеобщее внимание способом бакалавра Сам-

сона Карраско, который закрепил флюгер Хиральды Севильской на недели, месяцы или даже годы — до тех пор, пока ветер будет дуть в одну и ту же сторону. Именно о такой славе имел дерзость мечтать автор, и в стремлении достичь ее он принял смелое решение держаться постоянно на виду у публики, как можно чаще выпуская в свет свои сочинения.

Следует добавить, что инкогнито автора весьма укрепило его в смелом решении заново снискать расположение публики и наделило его преимуществом, несколько напоминавшим плащ-невидимку, которым пользовался Джек Убийца Великанов. Выпуская своего «Аббата» сразу же вслед за «Монастырем», он следовал хорошо известной практической мудрости Бассанио:

Бывало, в юности я упустил стрелу,
Тогда немедля ей вослед другую
Я посылал, стреляя в ту же цель,
И, проследив полет второй стрелы,
Я обе обретал.

Развивая эту аналогию, добавим, что стрелы его, подобно стрелам малого Аякса, выпускались с тем большей готовностью, что собственная особа стрелка была неуязвима для критики, подобно греческому лучнику, укрывшемуся за семикожным щитом старшего брата.

Если читателю захотелось бы узнать, на каком основании мы полагаем, что «Аббат» вознаградит нас за неудачу с «Монастырем», ему следовало бы прежде всего обратиться к вводному посланию, адресованному вымышленному капитану Клаттербаку. Этим способом реальный автор романа, используя опыт своих предшественников в этом литературном жанре, превращает одно из *dratis personæ*¹ в средство, помогающее ему изложить свои взгляды в форме несколько более художественной, чем непосредственное обращение к читателю. Занимательный французский писатель, автор волшебных сказок господин Пажон, напи-

¹ Действующих лиц (лат.).

савший «Историю принца Соли», показал любопытный образец подобного приема, заставив главного гения царства Романтики беседовать с одним из персонажей сказки.

В этом вступительном послании автор доверительно сообщает капитану Клаттербаку свое мнение о том, что Белая дама не отвечает вкусам нашего времени, и знакомит его с теми мотивами, которые побудили его удалить ее со сцены. Автор не считал себя обязанным столь же откровенно высказаться по поводу другого изменения. Вначале предполагалось, что в «Монастыре» будут действовать некие сверхъестественные силы, возникшие в результате того, что Мелроз стал местом погребения сердца великого Роберта Брюса. Однако в этом вопросе автор отступил от первоначального плана; работая над вторым романом, он также не отважился восстановить этот момент, не получивший развития в его первом труде. Благодаря этому эпизод с обнаружением сердца, который занимает большую часть предисловия к «Монастырю», остался загадкой, вводить которую не было особой надобности и которая так и не нашла в конце концов удовлетворительного объяснения.

Я счастлив, что могу в этом случае сослаться на авторитет автора «Калеба Уильямса», который так никогда и не снизошел до того, чтобы раскрыть нам истинное содержание сундука, играющего столь важную роль в его интересном романе и даже давшего имя драме мистера Колмена.

Публика имеет некоторые основания настаивать на раскрытии тайны, но со стороны автора было бы не слишком разумным вдаваться в объяснения. Ибо сколь ни достойна похвал изобретательность, сводящая воедино все отдельные нити повествования, как это делает вязальщица, заканчивая чулок, тем не менее либо я сильно ошибаюсь, либо куда большее совершенство достигается во многих случаях той атмосферой реальности, которую придает работе, созданной по иному методу, отсутствие объяснения.

В самой жизни любому смертному приходится переживать много таких происшествий, происхождение и

причины которых навсегда остаются скрытыми от человека; и если бы нам нужно было установить главное различие между реальным и вымышленным повествованием, мы бы сказали, что первое из них благодаря тому, что очень уж далеки причины событий, о которых оно рассказывает, кажется нам темным, сомнительным и загадочным; в то время как во втором случае долг автора в какой-то мере в том и заключается, чтобы удовлетворительным образом детализировать причины сообщаемых им отдельных событий или, короче говоря, всему изложенному подыскать соответствующее объяснение. Читатель, подобно Мунго из «Всячего замка», не получает удовлетворения, слыша о том, что ему не стало до конца понятным.

Итак, я отказался от всякой попытки разъяснить в предисловии к «Аббату» предшествующий роман или извиниться за его непонятность.

Точно так же было бы неблагоразумным попытаться возвестить в том же предисловии истинные причины моей надежды на то, что «Аббат» привлечет к себе больший интерес, чем его непосредственный предшественник. Бросающееся в глаза название или обещание захватывающего сюжета — вот рецепт успеха, излюбленный книгопродавцами, но писатели не всегда считали его достаточно эффективным. Их мотивы заслуживают того, чтобы вкратце на них остановиться.

В каждой стране есть некоторые необыкновенные исторические образы, которые, подобно чуду или магическим чарам, привлекают к себе особенное внимание и возбуждают любопытство, ибо всякий, кто хоть в малой степени проявляет интерес к стране, в которой он вырос, много слышал о них и стремится услышать еще больше. Роман о судьбах Альфреда или Елизаветы в Англии, Уоллеса или Брюса в Шотландии уже при первом извещении сразу заинтересует публику и поможет издателю избавиться от большей части экземпляров, прежде чем станет известно содержание этого произведения. Это необычайно важно для книгопродавца, который сразу же, выражаясь

официальным языком, «оправдает издержки», так как все затраченные им деньги будут ему тут же возмещены. Другое дело писатель, ибо не приходится отрицать, что мы получаем меньше всего удовлетворения от произведений, которые с помощью броского названия или хвалебной рекламы возбудили преувеличенные чаяния.

Идея произведения обсуждается в этом случае раньше времени и оказывается неверно понятой или неправильно истолкованной; с другой стороны, несмотря на то, что трудности воплощения этой идеи вызывают заново в нашей памяти задачу Хотспера «пройти через поток, ревущий гулко», все равно отважный писатель встретит больше насмешек в случае неудачи, чем похвал, если он справится со своим предприятием.

Невзирая на риск, который должен был бы заставить автора призадуматься, прежде чем избрать тему, которая, вызвав любопытство и возбудив всеобщий интерес, зачастую ведет к разочарованию, все же было бы неблагоразумным принять решение, отпугивающее поэтов и художников от попытки создавать исторические образы только потому, что с этим нелегко справиться. Нужно в известной мере довериться благородному импульсу, часто толкающему художника на подвиги, несмотря на то, что ему известна их трудность, ибо он верит, что смелость и вдохновенные усилия предоставят ему возможность одержать победу.

В том случае, когда автор сознает, что теряет успех у публики, особенно бывает оправдан такого рода умело использованный выбор темы или заглавия, как наиболее действенное средство заставить себя выслушать вновь. Именно с этими чувствами надежды и тревоги я отважился пробудить в своем романе память о королеве Марии, столь привлекательной своим умом, красотой, трагической участью и той атмосферой тайны, которая сейчас и, видимо, вечно будет связана с ее историей. Поступив таким образом, я сознавал, что неудача для меня будет сопряжена с окончательной катастрофой, так что мой труд походил на деяния чародея, который вызывает духа, не зная, справится ли

он с ним; при этом я следовал тем правилам построения, которые, на мой взгляд, наиболее подходят при работе над историческим романом.

Уже достаточно было сказано о цели создания «Аббата». Исторические ссылки, как обычно, объяснены в примечаниях. События, связанные с бегством королевы Марии из замка Лохливен, излагаются здесь более подробно, чем в исторических источниках той эпохи.

Эбботсфорд, 1 января 1831 года

ВВОДНОЕ ПОСЛАНИЕ

**ОТ АВТОРА «УЗВЕРЛИ»
КАПИТАНУ КЛАТТЕРБАКУ *** ПЕХОТНОГО ПОЛКА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА**

Дорогой капитан!

Из вашего последнего письма я с огорчением узнал, что вы не одобряете тех многочисленных сокращений и изменений, которые я вынужден был произвести в рукописи вашего друга бенедиктинца, и я через вас приношу извинения многим лицам, которые почтили меня больше, чем я того заслуживаю.

Признаю, что мои сокращения были весьма многочисленны и оставили пропуски в повествовании, которое в вашей первоначальной рукописи разрослось бы, как заверил меня издатель, чуть ли не до четырех томов. Кроме того, я сознаю, что в результате той свободы сокращать текст, которую вы мне предоставили, в некоторых частях повествования порядок оказался нарушенным за отсутствием важных подробностей.

Но в конце концов лучше, чтобы путник перепрыгнул через ров, чем тащился вброд по болоту, — чтобы читатель домыслил то, что легко можно возместить воображением, чем был бы вынужден пробираться через страницы нудных объяснений. Я вычеркнул, например, всю историю с Белой дамой и стихи, которые так удачно усиливали ее воздействие в первоначальной рукописи. Но вы должны согласиться, что вкусы пуб-

лики ныне не одобряют эти суеверные легенды, которые некогда приводили в восторг и содрогание наших предков. Подобным же образом должно быть воспринято и многое, иллюстрирующее мотив благочестивого рвения в отношении прежней религии у матушки Мэгделин и аббата.

Мы ведь в нашу эпоху не испытываем глубокой симпатии к тому, что составляло некогда самую могучую и воодушевляющую силу в Европе, если не считать Реформации, которой она успешно противостояла.

Вы справедливо заметили, что эти сокращения привели к тому, что название больше не соответствует содержанию и что роману в его нынешнем виде больше бы пристало какое-нибудь другое название, нежели «Аббат», который играл такую важную роль в первоначальном варианте и к которому ваш друг бенедиктинец, видимо, внушил вам уважение и симпатию. Я готов признать свою вину, но в свое оправдание должен в то же время заметить, что хотя ваше возражение можно было бы легко устранить, дав роману новое название, однако, сделав это, пришлось бы нарушить необходимую связь между данной историей и ее предшественником «Монастырем», чего мне не хотелось бы делать, так как время действия и некоторые из персонажей в обоих романах одни и те же.

В конце концов, мой добрый друг, не так уж важно, как называется произведение или в чем кроется его основной интерес, если только оно привлекает внимание публики, ибо, как гласит старинная пословица, хорошее вино (если мы можем поручиться за его качество) не нуждается в вывеске.

Поздравляя вас с тем, что вы сочли благоразумным завести тильбюри, и одобряю его окраску, а также цвет ливреи вашего мальчишки (бледно-зеленый с розовым). В отношении ваших планов завершения описательной поэмы «Развалины Кеннаквейра с примечаниями антиквария» я полагаю, что вы завели себе надежную лошадку. — Приветствую всех друзей, дорогой капитан, остаюсь искренне ваш и проч., и проч., и проч.

Автор «Уэверли».

Глава I

Domum mansit — lanam fecit ¹

Древнеримская эпитафия

Дом заперев, она за прялкою сидела.

Гоуэйн Дуглас

Время, текущее столь незаметно для нас, понемногу изменяет наш образ жизни, привычки и нравы, так же как и нашу внешность. На рубеже каждого пятилетия мы обнаруживаем, что стали иными, хотя и остались теми же самыми людьми: изменились наши взгляды, да и сам наш подход к вещам; изменились наши побуждения и поступки. Без малого два таких срока миновали в жизни Хэлберта Глендининга и его супруги между периодом, описанным в нашем предыдущем повествовании, где они играли существенную роль, и исходным моментом нашего нового рассказа.

Только два обстоятельства омрачали их брачный союз, во всем прочем настолько счастливый, насколько могла сделать его таковым взаимная любовь. Разумеется, первым из этих обстоятельств было то бедствие, от которого страдала вся Шотландия, то есть

¹ Сидела дома и пряла шерсть (лат.).

смути, охватившая эту несчастную страну, где каждый поднимал меч на своего соседа. Глендининг проявил такие качества, на которые рассчитывал Мерри: он оказался верным другом, стойким в битве, мудрым в совете; побуждаемый чувством благодарности к Мерри, Глендининг действовал с ним заодно и в таких случаях, когда — будь он предоставлен исключительно своему усмотрению — предпочел бы соблюдать нейтралитет или присоединиться к противной стороне. Вот почему всякий раз, когда опасность была близка, — а далека она бывала редко, — патрон сэра Хэлберта Глендининга (носившего теперь уже звание рыцаря) приглашал его к себе для участия в дальних походах или рискованных предприятиях, а также для того, чтобы воспользоваться его советом по поводу разного рода темных интриг полуварварского двора. Таким образом, сэру Хэлберту Глендинингу нередко приходилось надолго покидать свой замок и свою супругу; к этому грустному обстоятельству присоединялось еще и другое — брак их не был благословен детьми, которым могло бы быть посвящено внимание леди Эвенел, когда она оставалась дома одна, будучи лишена общества своего супруга.

В такие периоды она вела совершенно уединенную жизнь в стенах своего родового замка, не общаясь почти ни с кем. В ту пору никому и в голову не приходило навещать соседей — разве только в дни каких-либо торжественных празднеств, — но и в этих случаях, как правило, ездили в гости только к ближайшим родственникам. Родственников леди Эвенел уже не было в живых, а жены окрестных баронов всем своим поведением подчеркивали, что видят в ней не столько законную владелицу замка Эвенелов, сколько жену крестьянина, сына монастырского вассала, который неожиданно возвысился и стал знатной персоной, снискав благосклонность весьма непостоянного Мерри.

Родовую гордость, которая жила в сердцах потомственных дворян и откровенно проявлялась их женами, в немалой степени подогревали политические распри того времени, — ибо большинство лоулендских

вождей стояло за королеву и весьма неодобрительно относилось к власти Мерри. По всем этим причинам владелице замка Эвенелов жилось в нем так тоскливо и одиноко, как только можно себе представить. Однако замок обладал тем существенным преимуществом, что его обитатели могли чувствовать себя в нем почти в полной безопасности. Читателю уже известно, что крепость была построена на островке, расположенном посредине небольшого озера, и, поскольку попасть в нее можно было только по дамбе, пересеченной двойным рвом и защищенной двумя подъемными мостами, она могла считаться неприступной для всякого не вооруженного артиллерией противника. Следовало остерегаться только неожиданного нападения, и стражи внутри замка, состоящей из шести боеспособных людей, было вполне достаточно для этой цели. В случае особо серьезной опасности составлялось довольно значительное ополчение из мужской части населения деревушки, возникшей заботами сэра Хэлберта Глендининга на небольшом клочке земли между озером и горой, почти рядом с тем местом, где дамба смыкалась с берегом. Владельцу замка Эвенелов нетрудно было найти жителей для этой деревушки не только потому, что он был добрым и милостивым господином, но и потому, что, благодаря своей опытности в военном искусстве, благодаря рассудительности и прямодушию, которыми он славился, равно как и расположению к нему графа Мерри, он мог быть также надежным защитником и покровителем тех, кто жил под охраной его знамени. Поэтому, уезжая на сколько-нибудь значительное время из дома, он утешался той мыслью, что деревня всегда по первому зову выдвинет отряд из трех десятков крепких мужчин, которые вполне смогут защитить замок. Женщины и дети обычно в таких случаях бежали в труднодоступные места в горах, уводя с собой скот и оставляя на произвол врага лишь свои жалкие хижины.

Только один гость подолгу, чтобы не сказать — безвыездно, жил в замке Эвенелов. Это был Генри Уорден, теперь уже не чувствовавший в себе тех сил, которые требовались для исполнения трудных обязан-

ностей воинствующего реформатского духовенства; оскорбив своим религиозным пылом многих влиятельных вельмож и вождей, он мог считать, что находится в полной безопасности, лишь пребывая за стенами хорошо укрепленного замка, принадлежащего одному из его испытанных друзей. Он продолжал, однако, служить своему делу пером с тем же рвением, с каким раньше служил ему словом. С некоторого времени он вступил с аббатом Евстафием, бывшим помощником приора Кеннаквайрского монастыря, в ожесточенный и полный ядовитых нападок спор об упразднении мессы (так обозначали спорящие стороны предмет своего диспута). Ответы, возражения, замечания, реплики сыпались градом с обеих сторон, причем каждый из противников, как это нередко бывает в подобных спорах, проявлял столько же полемического пыла, сколько христианского милосердия.

Их диспут приобрел вскоре такую же широкую известность, как спор Джона Нокса с аббатом Кроссрэгуэлским; диспут этот отличался почти таким же неистовством, и, насколько я могу судить, порожденные им печатные издания обладают не меньшей ценностью в глазах библиографов, чем брошюры Нокса и его оппонента.¹ Но, будучи всецело поглощен этими занятиями, богослов не мог быть особенно интересным собеседником для одинокой женщины: он редко уделял внимание тому, что не имело отношения к вопросам религии, а его серьезный, строгий, отсутствующий вид отнюдь не рассеивал общую мрачность, царившую в замке Эвенелов, а наоборот, даже усугублял ее. При просмотре за работой многочисленных служанок был главным занятием леди Эвенел в течение дня; вечерние часы посвящались веретену, библии или одинокой прогулке по стенам замка или по дамбе, а иногда, в редких случаях, по берегу озера. Но времена были такие тревожные, что, когда леди Эвенел отваживалась выходить за пределы деревни, часовой на сторожевой

¹ Брошюры, появившиеся в ходе диспута между шотландским реформатором и Квентином Кеннеди, аббатом Кроссрэгуэлским, считаются в шотландской библиографии редчайшими. См. «Жизнь Нокса» Мак-Края, стр. 258. (Прим. автора.)

башне получал приказ зорко оглядывать окрестность, а пять или шесть вооруженных людей были в полной готовности, чтобы при малейшей тревоге вскочить на коней и поспешить на помощь.

Так обстояли дела в замке, когда отсутствовавший уже несколько недель рыцарь Эвенел (этим титулом теперь чаще всего называли сэра Хэлберта Глендиннга) должен был со дня на день вернуться домой. Но время шло, а он все не возвращался. Письма в те дни писали редко, и рыцарю Эвенелу, пожелай он известить о своих намерениях таким способом, пришлось бы, по-видимому, обратиться к помощи писца; кроме того, все средства сообщения были ненадежны и небезопасны, и всякий избегал оповещать других о времени и направлении своих поездок — ибо если его путь становился известен многим, то всегда была опасность встретить на дороге больше врагов, чем друзей. Поэтому день возвращения сэра Хэлберта Глендиннга не был определен заранее; тот срок, на который втайне рассчитывала тосковавшая по нему супруга, давно прошел, и в сердце леди Эвенел, истомленное надеждой, закрадывалась тоска.

Однажды, когда знойный летний день клонился к вечеру и солнце уже наполовину зашло за Лидсдейлские холмы, леди Эвенел в одиночестве прогуливалась по стенам замка; выложенные плитами, они представляли собой удобное место для прогулок.

Лучи заходящего солнца золотили неподвижную гладь озера, лишь изредка колеблемую ныряющей уткой или лысхой; в озере, словно в золотом зеркале, отражались холмы, среди которых оно покоилось. Обычная для этих мест тишина порой нарушалась возгласами деревенских детей, приглушенными расстоянием, но достигавшими слуха леди Эвенел во время ее одинокой прогулки, или далекими криками пастуха, который гнал стадо из долины, где оно паслось весь день, в более безопасное ночное убежище поближе к деревне. Коровы своим протяжным мычанием, казалось, просили скотниц подоить их, а те, поставив себе на голову ведра, с громким и веселым пением шли навстречу стаду выполнять свою вечернюю

обязанность. Леди Эвенел смотрела и слушала; звуки, которые доносились до нее, напоминали о былых днях в Глендеарге, когда самым главным по значению ее занятием и вместе с тем высшей радостью было помогать госпоже Глендининг и Тибб Тэккет доить коров. Это воспоминание наваяло на нее грусть.

«Почему я и впрямь не была простой крестьянкой, какой меня все считали? — сказала она себе. — Мы с Хэлбертом мирно жили тогда в его родной долине, и никакие призраки, вызванные страхом или честолюбием, не тревожили нас. Хэлберт в те времена больше всего гордился своим стадом — лучшим во всех землях аббатства; самое большее, что грозило ему тогда, была встреча с каким-нибудь пришельцем из пограничной области, охотником до чужого добра; он редко уходил от меня дальше тех мест, куда его могла завести погоня за убегающим оленем. Но что искупит пролитую им кровь и опасности, которым он сейчас подвергает себя ради славы нашего имени и титула? Он высоко ценит их, так как они достались ему от меня, но мы никогда не передадим их потомству! С моей смертью имя Эвенелов исчезнет».

Эти мысли заставили ее тяжело вздохнуть. Она взглянула на берег озера, и ей бросилась в глаза кучка детей разного возраста, собравшихся посмотреть на сооруженный каким-то деревенским искусником кораблик, которому предстояло совершить свое первое плавание. Кораблик был спущен на воду под радостные крики и рукоплескания детворы и быстро поплыл, подгоняемый попутным ветром, который направил его прямо к противоположному берегу. Мальчики постарше побежали вокруг озера, чтобы встретить кораблик на той стороне и вытащить его из воды; стараясь обогнать друг друга, они прыгали по усеянному галькой берегу, как юные фавны. Остальные, не отважившиеся пуститься в такое далекое путешествие, наблюдали за движением хорошенького суденышка с того места, где его спустили на воду. Ребячье веселье отозвалось болью в сердце бездетной леди Эвенел.

«Почему ни один из этих малышей не мой сын? — продолжала она грустно размышлять. — Их роди-

тели с трудом добывают для них кусок хлеба, а мне, хотя я могла бы растить их в полном довольстве, никогда не суждено услышать из уст ребенка слово «мама»!»

Эта мысль вызвала в ее сердце горькое чувство, похожее на зависть, — так сильна заложенная в женщине самой природой потребность иметь детей. Она горестно сжимала руки, охваченная беспредельным отчаянием оттого, что небо судило ей быть бездетной. В эту минуту пес из породы борзых подбежал к ней; привлеченный, видимо, жестом своей хозяйки, он стал лизать ее руки и тыкаться в них своей большой головой. Госпожа нежно приласкала его, но по-прежнему оставалась печальной.

— Волк! — сказала леди Эвенел, словно собака могла понять ее чувства. — Ты благородное и красивое животное; но, увы, любовь и нежность, которые переполняют меня, более возвышенны, чем те, какие могли бы достаться на твою долю, хоть я и очень тебя люблю.

И, как бы извиняясь перед Волком за то, что она не может отдать ему все свое внимание, она гладила его гордую голову и спину, в то время как он смотрел ей в глаза, словно спрашивая, чего ей хочется и что он может сделать в доказательство своей преданности.

Вдруг с берега, оттуда, где толпилась ватага ребятишек, еще недавно настроенных так весело, донесся тревожный крик. Леди Эвенел взглянула туда и, увидев, что случилось, пришла в сильное волнение.

Кораблик, предмет восторженного внимания детей, запутался в стеблях водяных лилий, которые росли на мели, приблизительно на расстоянии полета стрелы от берега. Какой-то отважный мальчуган, опередивший своих товарищей в беге вокруг озера, ни минуты не колеблясь, скинул свою фланелевую курточку, бросился в воду и поплыл по направлению к занимавшей всех игрушке.

Первым побуждением леди Эвенел было позвать кого-нибудь на помощь мальчику, но, убедившись, что он плывет уверенно и бесстрашно, и увидев, что двое

поселян, которые наблюдали издали за происходящим, не проявляют ни малейшего беспокойства, она решила, что занятие это для него привычное и опасность ему не угрожает. Но потому ли, что, плывя, мальчик ударился грудью о подводный камень, потому ли, что его неожиданно схватила судорога, или же он просто увлекся и не рассчитал своих сил, случилось следующее: высвободив игрушку из опутавших ее стеблей и пустив ее дальше по прежнему пути, он проплыл несколько ярдов по направлению к берегу, но вдруг приподнялся над водой и, в ужасе всплеснув руками, пронзительно закричал.

Леди Эвенел сразу подняла тревогу и поспешно приказала служителям спустить лодку. Но это требовало времени. Единственная лодка, которой было разрешено пользоваться на озере, была привязана во втором рву, пересекавшем дамбу, и прошло несколько минут, прежде чем ее отвязали и отправили по назначению. Тем временем леди Эвенел, замершая от ужаса, увидела, что попытки бедного мальчугана держаться на воде сменились бессильным барахтаньем, которое едва ли протянулось бы долго, если бы не помощь, подоспевшая так же быстро, как и неожиданно. Волк, который, как все крупные борзые, отлично умел плавать, почувствовал, что именно волнует его госпожу; он бросился к озеру, порыскал в поисках удобного места и прыгнул в воду. Руководимый тем удивительным инстинктом, который эти благородные животные часто обнаруживают в подобных случаях, он поплыл прямо туда, куда требовалось, и, вцепившись зубами в рубашку мальчика, не только не дал ему пойти ко дну, но потащил его по направлению к дамбе. Лодка с двумя служителями успела тем временем отчалить; встретив Волка на полпути, она освободила пса от его ноши. Когда лодка подошла к дамбе и причалила у ворот замка, доставив все еще не пришедшего в чувство ребенка, там уже с нетерпением ожидала их леди Эвенел с двумя служанками, чтобы сразу оказать помощь пострадавшему.

Мальчика перенесли в замок, уложили в постель и стали возвращать к жизни, применяя решительно все

средства, какие могли быть подсказаны наукой того времени и опытом Генри Уордена, обладавшего кое-какими познаниями в искусстве врачевания. На первых порах ничто не помогало. Леди Эвенел пристально всматривалась в красивое бледное личико ребенка. Мальчику было, по-видимому, около десяти лет. Одет он был крайне бедно, но его длинные локоны и благородный овал лица противоречили убогому платью. Самый гордый из шотландских вельмож возгордился бы еще больше, будь этот ребенок его наследником. Леди Эвенел, затаив дыхание, не сводила глаз с правильно очерченного, выразительного лица мальчика. Щеки его постепенно стали розоветь; жизнь понемногу возвращалась к нему; он глубоко вздохнул, открыл глаза — а человеческое лицо, как известно, от этого преобразается, как преобразается ландшафт, внезапно озаренный солнечным светом, — затем протянул руки к леди Эвенел и тихо произнес слово «мама» — обращение, сладостнее которого для слуха женщины нет ничего на свете.

— Миледи, — сказал проповедник, — господь внял вашей мольбе и вернул ребенка к жизни; теперь ваша обязанность воспитать его так, чтобы ему никогда не пришлось пожалеть о том, что он не погиб в невинном возрасте.

— Я буду считать это своим долгом, — ответила леди и, обняв мальчика, стала осыпать его ласками и поцелуями — настолько сильное потрясение вызвали у нее сначала страх за ребенка, пока его жизнь была в опасности, а затем радость от того, что он все-таки спасен, хотя надежды на благополучный исход почти не было.

— Ах нет, вы не моя мама! — сказал мальчик, придя в себя и мягко отстраняясь от ласк леди Эвенел. — Вы не моя мама... Увы, у меня нет матери... Мне только приснилось, будто она у меня есть.

— Твой сон сбудется, милое дитя! — вскричала леди Эвенел. — Я буду отныне твоей матерью. Воистину господь услышал мои мольбы и своими чудесными путями послал существо, которому я могла бы отдать свою любовь.

Произнося эти слова, она смотрела на Уордена. Проповедник колебался, не зная, как ему следует отозваться на такой взрыв чувств, видимо казавшийся ему более бурным, чем это оправдывалось обстоятельствами.

Волк, который, не успев обсохнуть, последовал за своей хозяйкой во внутренние покои, сначала неподвижно и терпеливо сидел у постели и наблюдал, как приводили в чувство спасенного им мальчика; но затем ему надоело, что его все еще не замечают, и он стал скулить и ластиться к леди Эвенел.

— Да, да, славный Волк, — сказала она, — ты заслужил сегодня, чтоб о тебе вспомнили; я буду теперь еще больше заботиться о тебе — ведь ты спас жизнь такому прекрасному созданию.

Но Волк, по-видимому, не был вполне удовлетворен той долей внимания, которой ему удалось добиться; он не переставал скулить и приставать к своей хозяйке, а так как его длинная шерсть была совершенно мокрой, ласки его были особенно неуместны, и леди Эвенел велела наконец одному из слуг, которого пес обычно слушался, увести его. Слуга несколько раз позвал Волка, но тот не трогался с места, пока наконец его хозяйка решительно и строго не приказала ему убираться вон. Тогда, обернувшись к постели, на которой лежал мальчик, уже более или менее очнувшийся, но еще блуждавший в лабиринте бредовых видений, пес оскалился, показав два ряда белых и острых зубов, — не хуже, чем у настоящего волка, — громко и злобно зарычал, затем повернулся и угрюмо поплелся следом за слугой.

— Как странно, — сказала леди Эвенел, обращаясь к Уордену, — собака всегда была такой добродушной, а уж детей-то она особенно любит. Чем мог не понравиться ей малыш, которого она сама спасла?

— Собаки очень похожи на людей в своих слабостях, — ответил проповедник, — хотя инстинкт является для них более надежным руководителем, нежели разум для бедного человека, когда он полагается только на свои силы, не уповая на божью помощь. Они не чужды и такой страсти, как ревность, дорогая

леди, и проявляют ее не только по отношению к другим собакам, если видят, что хозяева оказывают им предпочтение, но даже и к детям, когда те становятся их соперниками. Вы долго и горячо ласкали этого ребенка, вот собака и повела себя, как отвергнутый фаворит.

— Удивительный инстинкт, — сказала леди Эвелел. — Судя по тому, как вы о нем говорите, мой доstopочтенный друг, можно подумать, что, по вашему мнению, ревность моего славного Волка не только не лишена оснований, но, более того, оправдана. Однако, может быть, вы просто шутите?

— Я редко шучу, — ответил проповедник. — Жизнь нам дана не для того, чтобы растрачивать ее в праздном веселье, подобном треску тернового хвороста под котлом. Я хотел бы только, чтобы вы не преминули сделать из моих слов тот поучительный вывод, что наши лучшие чувства, если мы будем чрезмерно предаваться им, могут больно ранить окружающих нас. Лишь одному чувству нам дозволено предаваться до крайних пределов душевных сил, ибо оно не может быть чрезмерным, даже будучи доведено до высшего напряжения: я имею в виду любовь к создателю.

— Но не сам ли верховный владыка наш велел нам любить своего ближнего?

— Да, миледи, — сказал Уорден, — но наша любовь к господу должна быть безграничной, мы должны любить его всем сердцем, всей душой, всем своим существом. Любовь, которую мы, согласно велению божью, должны питать к своему ближнему, ограничена определенной мерой — каждый из нас должен любить ближнего как самого себя, или, как иначе сказано в другом месте писания, мы должны поступать с ближним так, как хотели бы, чтобы он поступал с нами. Вот какой предел указан даже для самых похвальных наших чувств, если они обращены на бrenные земные существа. Мы должны отдавать своему ближнему, безразлично к его званию и положению в обществе, нашу любовь в той степени, в какой мы вправе ожидать любви к себе от других людей, по отношению к которым мы сами находимся в том же положении.

Поэтому не должно сотворить себе кумира ни из мужа, ни из жены, ни из сына или дочери, ни из друга или родственника. Господь наш ревнив, он не потерпит, чтобы наша преданность какому-либо из его созданий была столь же беззаветной, что и та, которой он требует от нас, сотворенных им, к самому себе. Повторяю вам, миледи, что даже на самых лучших, самых чистых, самых благородных наших чувствах лежит печать первородного греха, и поэтому нам всегда следует остановиться и подумать, прежде чем доводить эти чувства до крайности.

— Мне все это совершенно непонятно, достопочтенный сэр, — отвечала леди Эвенел, — и я никак не могу взять в толк, что я такое сказала или сделала, чтобы мне было прочитано наставление, весьма похожее на порицание.

— Леди, — сказал Уорден, — прошу простить меня, если я преступил границы своих обязанностей. Но подумайте о том, встретит ли одобрение вашего супруга данное вами торжественное обещание быть не просто покровительницей, но матерью этому бедному ребенку. Нежность, столь щедро излитая вами на это несчастное и, должен признаться, очень милое дитя, вызвала нечто вроде порицания со стороны вашей собаки. Не доставляйте же огорчения вашему супругу. Люди, как и животные, ревниво относятся к привязанностям тех, кого любят.

— Ну, это уж слишком, достопочтенный сэр, — сказала леди Эвенел, глубоко оскорбленная. — Вы издавна приняты в нашем доме и всегда встречали у рыцаря Эвенела и у меня самой тот почет и то уважение, каких заслуживают ваши убеждения и ваши достоинства. Однако я не помню, чтобы мы когда-либо давали вам право вмешиваться в наши семейные дела или поручали вам быть судьей наших поступков по отношению друг к другу. Убедительно прошу вас не повторять этого впредь.

— Леди, — возразил проповедник со смелостью, присущей в то время духовенству его направления, — если мои наставления докучают вам... и если я удостоверюсь, что мои услуги больше не нужны ни вам,

ни вашему благородному супругу, то это будет означать для меня, что господу не угодно мое дальнейшее пребывание здесь; и тогда меня не удержат ни зимняя стужа, ни глухая ночь: моля бога о том, чтобы он и впредь не оставил вас своим благоволением, я уйду куда глаза глядят и побреду среди этих пустынных гор, как и прежде, одинокий и лишенный всякой поддержки, только еще более беспомощный, чем в тот день, когда я впервые встретил вашего супруга в Глендеаргской долине. Но, пока я здесь, стоит вам хотя бы на шаг уклониться от пути истинного, я не смогу спокойно взирать на это, не поднимая своего голоса и не обращаясь к вам с увещанием, на которое мне дают право мои годы.

— Ну, полно, — сказала леди Эвенел, которая любила и уважала доброго старца, хотя порой ее несколько задевало его преувеличенное, как представлялось ей, религиозное рвение. — Мы не можем так расстаться, мой добрый друг. Женщины торопливы и несдержанны в проявлении своих чувств. Но, поверьте, мои замыслы и намерения в отношении этого ребенка таковы, что и мой муж и вы сами одобрите их.

Проповедник ответил поклоном и удалился.

Глава II

Как был ко мне его прикован взгляд,
Сиявший сквозь невысохшие слезы!
Доверчиво ручонки он тянул
И мамой называл меня, сиротка.
Пришлось мне взять ребенка: не могла
Я малышу сказать, что он сиротка.

«Граф Бэзил»

После ухода Уордена леди Эвенел дала волю нежным чувствам, пробужденным в ней внешностью мальчика, нависшей над ним внезапной опасностью и недавним его спасением; не стесняемая более чрезмерной, по ее мнению, суровостью проповедника, она стала осыпать ласками милого и нежного ребенка.

Теперь мальчик более или менее оправился от последствий несчастного случая и без возражений, хотя и слегка удивленно, принимал все эти пылкие изъявления симпатии к нему, которым не было конца. Лицо леди Эвенел было ему незнакомо, а такого роскошного платья, как у нее, он никогда в своей жизни не видел. Но мальчик был от природы не робкого нрава; кроме того, дети — отличные физиономисты, и они не только тянутся к тому, что само по себе красиво, но также очень быстро замечают расположение к ним со стороны тех, кто действительно их любит, и тотчас отзываются на него. Когда среди многих людей кто-либо один оказывается человеком искренне любящим детей, малыши непременно обнаруживают это, даже если видят его впервые, подобно тому как масон узнает масона, — тогда как неуклюжие попытки подольститься к детям с целью выгодно отличиться перед их родителями, как правило, не вызывают в них ни малейшего отклика. Поэтому мальчик живо отозвался на ласку леди Эвенел, и ей нелегко было оторвать голову от его подушки, чтобы дать ребенку необходимый покой.

— Чей он, наш спасенный проказник? — спросила леди Эвенел свою камеристку Лилиас, как только они вышли за дверь.

— Он живет тут у одной старухи в деревне, — ответила Лилиас. — Как раз сейчас она здесь, ждет у привратника, чтобы узнать, жив ли ребенок. Угодно вам впустить ее?

— Угодно ли мне? — Леди Эвенел повторила вопрос камеристки с выражением явного неудовольствия и удивления. — Как можете вы сомневаться в этом? Какая женщина осталась бы равнодушной к беспокойству матери, чье сердце трепещет от страха за жизнь такого милого ребенка?

— О, миледи, — сказала Лилиас, — эта женщина слишком стара, чтобы быть его матерью; должно быть, она его бабушка или какая-нибудь дальняя родственница.

— Кем бы она ни приходилась ему, Лилиас, — ответила леди Эвенел, — она, конечно, будет мучиться

до тех пор, пока не удостоверится, что жизни этого прелестного создания не угрожает опасность. Пойдите за ней сейчас же и приведите ее сюда. К тому же мне очень хотелось бы узнать что-нибудь о его родителях.

Лилиас вышла и вскоре вернулась с пожилой женщиной высокого роста, одетой очень бедно, но с большой претензией на приличный и опрятный вид, чем это обычно бывает при столь простой одежде. Леди Эвенел узнала ее сразу же, как только она вошла. В семействе Эвенелов было заведено, что Генри Уорден каждое воскресенье и еще дважды в неделю по вечерам читал проповедь или наставление в часовне при замке. Распространение протестантской веры в стране было важнейшей заботой рыцаря Эвенела как в силу его убеждений, так и по политическим причинам. Поэтому жителей деревни приглашали послушать наставления Генри Уордена, и многие из них вскоре примкнули к учению, которое одобрял их господин и покровитель. Эти проповеди, поучения и увещания вызвали сильное раздражение у аббата Юстаса, иначе — Евстафия, и подогрели его пыл в резком и ожесточенном споре с его бывшим однокашником; вплоть до низложения королевы Марии, пока католики пользовались еще значительным влиянием в пограничных областях, аббат Евстафий не раз грозил созвать своих вассалов, взять приступом и сравнять с землей замок Эвенелов — оплот ереси. Но, несмотря на бессильное негодование аббата, равно как и на то, что в стране вообще не сочувствовали новой религии, Генри Уорден без устали продолжал свои труды и еженедельно обращал нескольких человек из римской веры в веру реформированной церкви. Среди тех, кто наиболее истово и усердно посещал его проповеди, была эта пожилая женщина; ее высокая фигура, настолько примечательная, что не запомнить ее было невозможно, выделялась в небольшом кружке слушателей и с недавнего времени стала привлекать внимание леди Эвенел. Не раз уже леди пыталась узнать, кто эта статная женщина, к облику которой так не подходила бедная одежда. Но ей всегда отвечали, что это англичанка, временно поселившаяся в деревне, и что

больше о ней ничего не известно. Теперь леди Эвенел спросила, как ее зовут и откуда она родом.

— Меня зовут Мэгделин Грейм, — сказала женщина, — я из тех Греймов, что живут в Хезергиле, в Никл-Форесте.¹ У нас — очень древняя родословная.

— А что заставляет вас, — продолжала спрашивать леди, — находиться так далеко от дома?

— У меня нет дома, — ответила Мэгделин Грейм, — его сожгли ваши пограничные солдаты. Мой муж и мой сын были убиты, и теперь не осталось в живых никого, в чьих жилах текла бы хоть капля крови моих предков.

— Вашу участь разделяют многие в эти мятежные времена и в этой неустроенной стране, — сказала леди Эвенел. — Руки англичан обогреты нашей кровью не меньше, чем руки шотландцев — вашей.

— Ваша правда, леди, — ответила Мэгделин Грейм, — ибо я слышала от людей о том времени, когда этот замок не был достаточно укреплен, чтобы сохранить жизнь вашего отца или послужить убежищем вашей матери и ее ребенку. Зачем же тогда вы спрашиваете меня, отчего я не живу в своем доме, среди своих земляков?

— В самом деле, я напрасно задала вам этот вопрос, — ответила леди Эвенел, — ведь в наши дни несчастья то и дело превращают людей в скитальцев. Но зачем было искать убежища во враждебной стране?

— Мои соседи были все паписты и торговцы мессами, — сказала Мэгделин Грейм. — Богу было угодно глубже раскрыть мне смысл евангельского учения, и я решила на время поселиться здесь, чтобы послушать наставления Генри Уордена — достойного человека, который проповедует слово божье в духе истины и справедливости.

— Вы бедны? — спросила леди Эвенел.

— Вам еще не доводилось слышать, чтобы я просила у кого-нибудь милостыню, — ответила англичанка.

¹ Округ в Камберленде, примыкающий к шотландской границе (Прим. автора)

Обе замолчали. Старуха держала себя почти вызывающе и, уж во всяком случае, отнюдь не любезно; она явно не была расположена поддерживать дальнейшую беседу. Леди Эвенел заговорила снова, но уже на другую тему:

— Вы слышали о том, какая опасность грозила вашему мальчику?

— Да, леди, слыхала и знаю, как благодаря вмешательству providения он был спасен от гибели. И он и я должны благодарить бога за это.

— Кем вы ему приходитеесь?

— С вашего разрешения — я его бабушка, леди. Кроме меня, у него нет никого на свете, и заботиться о нем больше некому.

— Должно быть, вам трудно содержать его в вашем положении беженки?

— Я еще никому на это не жаловалась, — произнесла Мэгделин Грейм тем же жестким и бесстрастным тоном, каким отвечала на все предыдущие вопросы.

— Если бы ваш внук был принят в знатную семью, — сказала леди Эвенел, — не было ли бы это удачей как для него, так и для вас?

— Принят в знатную семью! — повторила старуха, выпрямляясь во весь рост и нахмутив брови, от чего лоб ее прорезали глубокие морщины, а лицо приобрело особенно суровое выражение. — А какой цели ради, спрошу я вас? Чтобы стать пажом вашей милости, миледи, или пажом милорда, кормиться чем попало и спорить с другими слугами из-за объедков с вашего стола? Вам угодно, чтобы он отгонял мух от лица леди, когда она спит, носил за ней шлейф, когда она прогуливается, подавал ей блюда, когда она обедает, ехал впереди нее при верховой прогулке и шел позади при пешей, пел, когда ей заблагорассудится, и замолкал по ее приказанию? Иначе говоря, вам угодно, чтобы он был настоящим петухом-флюгером, который, хотя и имеет по видимости крылья и оперение, не может взлететь в воздух, не может оторваться от места, куда он посажен; вам угодно, чтобы им управляла и вертела воля переменчивой, как ветер,

суетной женщины. Не раньше, чем хелвеллинский орел усядется на башню Лейнеркоста и станет вертеться в различные стороны, в зависимости от направления ветра, Роланд Грейм станет тем, что вы захотите из него сделать.

Женщина произнесла это единым духом и с такой запальчивостью, что, казалось, она не вполне в своем уме; тут у леди Эвенел внезапно блеснула мысль, как опасно, должно быть, для ребенка находиться у такой опекуниши, и это еще больше усилило ее желание добиться того, чтобы мальчик остался в замке.

— Вы не поняли меня, сударыня, — мягко сказала она старухе. — Я вовсе не собираюсь взять вашего мальчика в услужение себе — он будет находиться при моем супруге. Будь он даже сыном графа, он не мог бы найти себе лучшего учителя и наставника, чем сэр Хэлберт Глендининг, в искусстве владеть оружием и во всем прочем, что подобает дворянину.

— Знаю, знаю, — продолжала старуха тем же тоном горькой иронии, — какое вознаграждение положено тому, кто поступает на такую службу: брань, если плохо начищены латы; пинки, если слабо подтянута подпруга; побои, когда собака теряет след зверя; оскорбления, когда не удастся набег. По приказу господина ему придется обагрять свои руки кровью людей и животных, он будет хладнокровно, как мясник, лишать жизни беззащитных ланей, превратится в душегуба, приучится уродовать образ и подобие божие, — не ради собственного удовольствия, но по прихоти своего господина, — станет бессовестным буяном, наемным убийцей по ремеслу. Он будет страдать от жары, холода, голода, испытывать всевозможные лишения, словно отшельник, но не ради любви к богу, а в угоду сатане, и умрет на виселице или в какой-нибудь случайной стычке. Весь свой короткий век он проведет как бы во сне, погрязнув в суете земной, и, когда проснется, будет уже гореть в вечном неугасимом пламени.

— Нет, нет, — сказала леди Эвенел, — вашего внука никто не заставит здесь вести такую недостойную жизнь. Мой супруг добр и справедлив ко всем, кто

живет под охраной его знамени; к тому же вы и сами знаете, какого строгого и высокоуважаемого наставника приобретает здесь мальчик в лице нашего капеллана.

Старуха помолчала в раздумье.

— Вы упомянули, — сказала она затем, — о том единственном обстоятельстве, которое может поколебать меня. Вскоре я должна тронуться в путь, — мне было видение, открывшее мне это. Я не должна задерживаться на одном месте, я должна идти все дальше и дальше, — таков мой удел. Поклянитесь же, что будете беречь мальчика так же, как родного сына, пока я не вернусь сюда вновь и не предъявлю своих прав на него. В этом случае я соглашусь на время расстаться с ним. Но только поклянитесь, что он не будет лишен наставлений божьего человека, который вознес евангельскую истину высоко над идолопоклонством, презрев всех этих бритых монахов и попов.

— Не тревожьтесь, сударыня, — промолвила леди Эвенел, — о мальчике будут заботиться так, как если бы он был моим родным сыном. Хотели бы вы видеть его сейчас?

— Нет, — сурово ответила старуха, — все равно, я должна расстаться с ним. Я иду выполнять предназначенное мне и не хочу бесполезных причитаний и слез, расслабляющих душу. Их не может позволить себе тот, кого призывает долг.

— Разрешите хоть немного помочь вам в вашем паломничестве, — сказала леди Эвенел и вложила в руку старухи две золотые монеты.

— Да разве я из каинова племени, гордая леди, — сказала она, — что вы предлагаете мне золото в обмен на мою плоть и кровь?

— Я не имела в виду ничего подобного, — кротко возразила леди Эвенел, — и вовсе я не такая гордячка, какой вы меня считаете. Превратности моей собственной судьбы могли бы научить меня смирению, если бы оно не было свойственно мне от природы.

Старуха как будто несколько смягчилась.

— В вас течет благородная кровь, — сказала она, — иначе мы не разговаривали бы с вами так

долго. Да, в вас течет благородная кровь, а таких людей, — добавила она, выпрямившись и высоко подняв голову, — гордость украшает так же, как перо на шляпе. Но эти золотые монеты, леди, вы непременно должны взять обратно. Мне не нужны деньги. Я имею все необходимое и могу не заботиться о себе и не думать, каким образом и от кого получить поддержку. Прощайте и будьте верны своему слову. Велите открыть ворота и опустить мосты. Я отправляюсь в путь сегодня же вечером. Когда я вернусь, я потребую от вас строгого отчета, ибо оставляю вам самое дорогое, что есть у меня в жизни. Сон будет бежать моих глаз, кусок будет становиться поперек горла, отдых не будет освежать меня, пока я снова не увижу Роланда Грейма. Еще раз — прощайте. — Произнеся эти слова, старуха направилась к выходу.

— Поклонитесь же, сударыня, — сказала ей Лилиас, — поклонитесь ее светлости и поблагодарите леди за доброту, как это полагается вообще и особо подобает в данном случае.

Старуха резко повернулась к чересчур угодливой камеристке:

— Пусть леди поклонится мне первая, и тогда я отвечу ей тем же. Чего ради должна я гнуть перед ней спину? Не из-за того ли, что на ней юбка из шелка, а на мне — из синего домотканого сукна? Помалкивай, ты, служанка! Знай, что жена переходит в сословие мужа и что та, кто выходит за простолюдина, будь она хоть королевской дочерью, становится мужичкой.

Лилиас, вознегодовав, хотела было ответить резкостью, но ее хозяйка велела ей молчать и распорядилась проводить старуху до берега.

— Еще провожать ее! — воскликнула разгневанная камеристка, как только Мэгделин Грейм скрылась за дверью. — По мне, так надо бы окунуть ее в озеро и посмотреть, не ведьма ли она, а что она и в самом деле ведьма, говорят все жители нашей деревни и готовы подтвердить это под присягой. Меня удивляет, как ваша светлость могли так долго терпеть ее дерзости!

Однако распоряжение госпожи было в точности выполнено; старуху проводили из замка на берег и предоставили самой себе. Она сдержала обещание, не стала мешкать и, покинув деревню в тот же вечер, исчезла в неизвестном направлении. Леди Эвенел потребовала доложить ей относительно обстоятельств появления старухи в деревне, но смогла узнать лишь немного: что старуха, по-видимому, вдова какого-то важного лица из рода Греймов, живших в ту пору на Спорной земле (так называлась территория, из-за которой Шотландия и Англия нередко ссорились между собой), что ей нанесли какую-то большую обиду во время одного из набегов, часто опустошавших этот несчастный край, и изгнали из родных мест. Никто не знал, ради чего она поселилась в этой деревне; одни считали ее ведьмой, другие — ревностной протестанткой, а третьи — святошей-католичкой. Речь ее была загадочной, а манера держать себя — отталкивающей; слушая ее, можно было понять только одно: что она, видимо, связана неким заклятьем или обетом, но каким именно — неизвестно, ибо старуха говорила так, словно ею управляла какая-то могучая сила, которой она была подвластна.

Таковы были сведения, которые леди Эвенел удалось получить относительно Мэгделин Грейм, но они были чересчур скудны и противоречивы, чтобы на их основании можно было сделать какой-либо определенный вывод. И действительно, бедствия того времени и различные превратности судьбы, которые приходилось претерпевать жителям пограничной области, то и дело лишали крова тех, кто не имел возможности обороняться или как-то защитить себя. Таких беженцев видели в стране слишком часто, чтобы они привлекали к себе большое внимание или вызывали особое сочувствие. Люди не отказывали им в помощи, но предоставляли ее лишь в меру общепринятой гуманности; у одних это чувство несколько усиливалось, у других же скорее охладевало при мысли о том, что завтра, возможно, им самим не обойтись без такого же милосердия, какое сегодня исходит от них. И Мэг-

делин Грейм появилась как тень и так же незаметно исчезла из окрестностей замка Эвенелов.

Мальчик, которого, как полагала леди Эвенел, само провидение доверило ее заботам, сразу же стал любимцем хозяйки замка. Да и могло ли быть иначе? На него обратились теперь те нежные чувства, которые прежде не находили себе приложения, отчего замок казался леди еще более мрачным, а ее одиночество становилось еще тяжелее. Учить его чтению и письму, насколько у нее хватало умения, опекать его, наблюдать за его ребяческими забавами — все это стало любимым занятием леди Эвенел. Раньше ей приходилось слышать лишь мычание и блеяние стад на отдаленных холмах, тяжелые шаги часового на стенах замка, да еще смех сидевшей за прялкой служанки, который вызывал у леди Эвенел одновременно и раздражение и зависть. Теперь обстоятельства ее жизни изменились. Появление прелестного резвого ребенка придало ее существованию смысл, едва ли понятный для тех, кто видит вокруг себя более яркую и деятельную жизнь. Юный Роланд стал для леди Эвенел тем же, чем для одинокого узника становится растущий на тюремном окошке цветок, за которым несчастный заботливо и тщательно ухаживает; он был тем существом, которое одновременно требовало ее попечения и вознаграждало за все хлопоты; даря ребенку свою любовь, она вместе с тем испытывала благодарность к нему за то, что он вывел ее из состояния унылой апатии, обычно овладевавшей ею в отсутствие сэра Хэлберта Глендинга.

Но даже обаяние жизнерадостного любимца леди Эвенел не могло вполне устранить ее беспокойство из-за слишком затянувшейся отлучки мужа. Вскоре после того, как Роланд Грейм поселился в замке, посланец сэра Хэлберта привез известие, что дела все еще задерживают его хозяина при Холирудском дворе. Прошел и более отдаленный срок, когда, по сообщению посланца, рыцарь Эвенел должен был прибыть в замок, а он все не возвращался.

Глава III

Ущербный месяц лил свои лучи.,
Рог часового заиграл в ночи.
Ворота распахнулись—вход открыт!—
И стало звонче цоканье копыт.

Лейден

— Ты тоже хотел бы стать воином, Роланд? — спросила леди Эвенел своего воспитанника. Сидя на каменной скамье, устроенной на одной из стен замка, она наблюдала за тем, как мальчик, вооружившись палкой, старался подражать движениям часового, который то вскидывал свое копьё на плечо, то приставлял его к ноге, то брал наперевес.

— Да, леди, хотел бы, — отозвался мальчик; теперь он держал себя с леди Эвенел запросто и отвечал на ее вопросы охотно и непринужденно. — Я очень хочу стать воином: ведь не было еще дворянина, который не опоясал бы себя мечом.

— Это ты-то дворянин! — воскликнула Лилиас, которая, по обыкновению, находилась при своей госпоже. — Да за такого дворянина я и гроша ломаного не дам!

— Не брани его, Лилиас, — сказала леди Эвенел, — я готова биться об заклад, что в его жилах течет благородная кровь. Смотри, как она бросилась ему в лицо от твоих обидных слов.

— Будь на то моя воля, миледи, — ответила Лилиас, — хороший березовый прут заставил бы его еще больше покраснеть, и это пошло бы ему на пользу.

— Право, можно подумать, Лилиас, — сказала леди, — что бедный мальчик сделал тебе что-то плохое. Или, может быть, ты так невзлюбила его за то, что он пользуется моим расположением?

— Избави боже, миледи! — воскликнула Лилиас. — Я слишком долго жила у господ, чтобы пререкаться с ними по поводу их прихотей или привязанностей — к животным ли, к птицам или к детям — все равно.

Лилиас тоже была в некотором роде любимицей леди. Избалованная служанка, она нередко позволяла

себе такие вольности в разговоре с госпожой, которые та отнюдь не всегда склонна была поощрять. Но леди Эвенел предпочитала пропускать мимо ушей все, что ей не нравилось в речах Лилиас; так же поступила она и на этот раз. Она решила отныне внимательнее присматривать за мальчиком, который до сих пор находился главным образом на попечении Лилиас. «Наверно, — думала леди, — он принадлежит к дворянскому роду; в этом нельзя усомниться — стоит только взглянуть на его благородный облик, на его прекрасные черты; и в самых приступах ярости, находящихся на него порой, и в свойственном ему презрении к опасности, и в неумении сдерживать свои порывы — во всем этом сказывается природное благородство; мальчик происходит из какой-то знатной семьи». Придя к такому выводу, леди Эвенел решила действовать в соответствии с ним. Окружавшие ее слуги, менее ревнивые или менее добросовестные, чем Лилиас, повели себя так, как обычно и ведут себя люди их звания, то есть стали во всем подражать своей госпоже и ради своего блага неизменно поддакивали ей; в результате мальчик очень скоро принял надменный вид, обычно усваиваемый теми, кто встречает со всех сторон почтительное отношение к себе. И поистине как бы сама природа предназначила ему распоряжаться другими людьми — с такой небрежностью требовал он угождения своим прихотям и принимал заботы об их удовлетворении. Капеллан, конечно, мог бы поумерить спесь, обаявшую Роланда Грейма, и, по всей вероятности, охотно оказал бы ему эту услугу; но необходимость разрешить со своими единоверцами кое-какие вопросы церковного права заставила его на некоторое время отлучиться из замка и задержаться в другой части страны.

Так обстояли дела в замке Эвенелов, когда однажды на берегу озера резко и протяжно запел рог; часовой в замке живо отозвался таким же сигналом. Услышав знакомые звуки, леди Эвенел догадалась о прибытии мужа и бросилась к окну комнаты, в которой находилась. Верховой отряд примерно в тридцать копьеносцев под развернутым знаменем скакал вдоль

извилистого берега по направлению к дамбе. Один всадник ехал впереди; его ярко начищенные латы вспыхивали в лучах осеннего солнца. Даже на таком расстоянии леди Эвенел разглядела гордо возвышавшийся на его шлеме султан: в нем соединялись ее фамильные цвета с цветами Глендинингов, и к нему была прикреплена ветвь остролиста. Достаточно было увидеть благородную осанку уверенно державшегося в седле всадника и изящную поступь его гнедого коня, чтобы сразу узнать Хэлберта Глендининга.

Сначала леди Эвенел ощутила безграничную радость от того, что ее муж вернулся; но это чувство тут же омрачилось страхом, который и раньше закрадывался в ее душу: она опасалась, не будет ли муж раздосадован тем, что она столь высоко поставила над всеми в доме опекаемого ею сироту. Страх леди Эвенел объяснялся сознанием, что благосклонность ее к мальчику действительно чрезмерна; ибо Хэлберт Глендининг был столь же добр и снисходителен, сколь разумен и справедлив в обращении со своими домашними, а уж в его поведении по отношению к жене всегда сказывались глубочайшая любовь и нежность.

И все же она боялась, что на этот раз ее поступки встретят осуждение сэра Хэлберта; она тотчас решила, что не будет упоминать до следующего дня об истории с мальчиком, и велела Лилиас увести его из комнаты.

— Я не хочу идти с Лилиас, миледи, — возразил избалованный ребенок, которому не раз удавалось настойчивостью добиваться своего и который, подобно многим более высокопоставленным, чем он, людям, не упускал случая использовать свое влияние. — Не хочу идти в комнату противной Лилиас. Я хочу остаться здесь и посмотреть на этого храброго воина, что так красиво едет сейчас по подъемному мосту.

— Тебе нельзя оставаться здесь, Роланд, — сказала леди Эвенел так решительно, как она еще никогда не говорила со своим маленьким любимцем.

— А я хочу, — повторил мальчик, уже понимавший силу своего влияния и рассчитывавший на успех.

— Что значит — ты хочешь, Роланд! — сказала леди. — Что это за разговоры? Я повторяю: ты должен уйти.

— «Хочу» — так говорят мужчины, — дерзко ответил мальчик, — а женщина никому не может сказать «ты должен».

— Да ты, дружок, слишком много себе позволяешь! — сказала леди. — Лилиас, немедленно уведи его.

— Я всегда говорила, — с улыбкой сказала Лилиас, схватив за руку упиравшегося мальчика, — что молодой хозяин в конце концов должен будет уступить место старому.

— Ты тоже решила дерзить, милочка, — сказала леди. — Уж не свет ли перевернулся, что все вы так забываетесь?

Ничего не ответив, Лилиас увела мальчика; слишком гордый, чтобы оказывать бесполезное сопротивление, он бросил на свою благодетельницу взгляд, ясно говоривший о том, что он охотно не посчитался бы с ее приказаниями, будь он в силах настоять на своем. Леди Эвенел упрекала себя за то, что такое мелкое происшествие столь сильно взволновало ее, да еще в тот момент, когда ей не хотелось думать ни о чем, кроме встречи с мужем. Но, чтобы вернуть себе самообладание, нам еще недостаточно сознавать, что как раз в эту минуту крайне необходимо соблюдать спокойствие. У леди Эвенел горели щеки от только что пережитой неприятности, и она еще не пришла окончательно в себя, когда в комнату вошел ее супруг — без шлема, но в полном вооружении. Его появление заставило леди Эвенел забыть обо всем остальном; она бросилась ему навстречу, обвила руками его шею, окруженную железным воротником, и, не скрывая своей любви к мужу, осыпала поцелуями его лицо, светившееся мужеством и отвагой. Воин, в свою очередь, обнял и поцеловал жену с такой же нежностью, ибо если за время их брака романтический пыл первой страсти поутих, зато окрепла взаимная преданность, основанная на глубоком понимании достоинств друг друга; к тому же частые отлучки сэра Хэлберта

не давали их любви перейти вследствие привычки в равнодушие.

После первых радостных приветствий леди Эвенел, с любовью вглядываясь в лицо мужа, произнесла:

— Ты изменился, Хэлберт. Тебя сегодня утомила долгая верховая езда или же ты был болен?

— Я все время был здоров, Мэри, — ответил рыцарь. — Со мной не приключилось ничего дурного; а долгая езда верхом, как тебе известно, для меня дело привычное. Те, кто благороден по происхождению, могут праздно проводить жизнь в своих замках и усадьбах. Но тот, кто достиг благородного звания личной доблестью, должен всегда быть в седле и постоянно доказывать людям, что он достоин своего возвышения.

Когда он произносил эти слова, леди Эвенел с любовью, не отрывая глаз, смотрела на него, как бы стараясь проникнуть в его душу, ибо в словах рыцаря слышались грусть и усталость.

Сэр Хэлберт Глендининг оставался таким же, каким был в свои юные годы, и все же многое в нем изменилось. Необузданный пыл честлюбивого юноши уступил место спокойной и рассудительной сдержанности опытного воина и искусного политика. Тяжелые заботы наложили глубокий отпечаток на его благородное лицо, тогда как прежде душевные волнения бросали на него лишь легкую тень, которая проскальзывала подобно облачку на летнем небе. Теперь лицо его не было мрачным, но сохраняло спокойное, суровое выражение. Так выглядит пасмурное, хоть и не сплошь затянутое тучами небо в тихий осенний вечер. Лоб рыцаря стал выше, а густые темные волосы, ниспадающие кольцами, поредели на висках — не от возраста, а от постоянного ношения стального шлема. По моде того времени он носил короткую, заостренную книзу бородку, с которой соединялись концы усов. Его щеки утратили румянец юности, обветрились и загорели, но все его мужественное лицо дышало здоровьем и энергией. Короче говоря, Хэлберт Глендининг был именно таким рыцарем, которому следовало бы ехать на коне рядом с королем, по правую его руку, быть его знаменосцем в бою и советником в

мирное время; весь вид его говорил о том, что он человек положительный, твердого характера, который принимает решения обдуманно и действует быстро и без колебаний. Однако сейчас на его благородных чертах лежала печать уныния, чего сам он, вероятно, не сознавал, но что не могло укрыться от тревожного взора его любящей жены.

— Что-то случилось или должно случиться, — сказала леди Эвенел. — Твое лицо не может быть таким печальным без причины; видно, какое-то несчастье грозит нам с тобой, а может быть, и всему нашему народу.

— Насколько мне ведомо, ничего нового не произошло, — сказал Хэлберт Глендининг, — но в нашей многострадальной, растерзанной стране можно ожидать самых тяжелых бедствий, какие только могут постигнуть государство.

— Тогда мне ясно, — сказала леди, — ты был вовлечен в какое-то опасное предприятие. Милорд Мерри не стал бы так долго задерживать тебя в Холируде, если бы ему не нужна была твоя помощь в каком-то важном деле.

— Я был не в Холируде, Мэри. Я провел несколько недель за границей.

— За границей! И не написал мне ни слова! — воскликнула леди.

— А что, кроме огорчения, принесло бы тебе такое известие, дорогая? — ответил рыцарь. — В твоём воображении легкий ветерок, который рябит порой поверхность этого озера, превращался бы в бурю, бушующую в Немецком море.

— И ты на самом деле плыл по морю? — спросила леди Эвенел, испытывая ужас при одном лишь упоминании об этой страшной стихии, которую ей самой никогда не приходилось видеть. — Ты действительно покидал родину и переправлялся на чужой берег, где не говорят по-шотландски?

— Да, да, я совершил все эти чудесные деяния, — шутливо ответил рыцарь, с нежностью беря ее руку. — Три дня и три ночи меня качал океан, большие зеленые волны вздымались у самой моей

подушки, и только тоненькая доска отделяла меня от них.

— Воистину, Хэлберт, — сказала леди Эвенел, — это значило искушать провидение. Я никогда не просила тебя расстаться со шпагой или выпустить из рук копье, никогда не требовала, чтобы ты оставался дома, когда долг чести призывал тебя вскочить на коня и уехать вдаль. Но разве мало тебе тех опасностей, которым ты подвергаешь себя в боях? Зачем нужно еще вверять свою судьбу бурным волнам бушующего моря?

— Среди жителей Германии и Нидерландов, — ответил Глендининг, — есть наши единоверцы, и нам надо быть в союзе с ними. Я был послан к некоторым из них с важным и секретным поручением. Мое путешествие прошло благополучно, и я вернулся невредимым. На пути между нашим замком и Холирудом жизни человека грозит больше опасностей, чем в море, омывающем берега Голландии.

— А что это за страна, Хэлберт? Какие люди живут в ней? — спросила леди Эвенел. — Похожи ли они на наших добрых шотландцев? И как относятся они к чужестранцам?

— Этот народ, Мэри, силен своим богатством, чем слабы все другие народы, но он слаб в искусстве ведения войны, которым сильны другие нации.

— Я не понимаю тебя, — произнесла леди Эвенел.

— Голландцы и фламандцы, Мэри, посвятили себя не военному делу, а торговле; благодаря своему богатству они могут нанимать иноземных солдат, которые защищают их своим оружием. Они сооружают на морском берегу плотины, чтобы защитить землю, отвоеванную ими у моря, и набирают полки из стойких швейцарцев и смелых германцев для охраны накопленных ими сокровищ. Таким образом, источник их слабости и их силы один и тот же, так как богатство, вызывающее алчность тех народов, которые сильнее их и которым они подвластны как вассалы, обращает оружие иностранцев на их защиту.

— Ленивый сброд! — вскричала Мэри, которая думала и чувствовала так же, как всякая шотландская

женщина тех времен. — У них есть руки, чтобы держать оружие, а они не сражаются за родину! Да им стоило бы всем отрубить руки по локоть!

— Ну нет, это было бы слишком жестоко, — ответил ее муж, — они приносят своими руками пользу родине, хоть и не в боях, как это делаем мы. Погляди на эти голые холмы, Мэри, и на эту глубокую извилистую долину, по которой сейчас возвращается скот со своих тощих пастбищ. Руки трудолюбивых фламандцев насадили бы на горах лес и вырастили бы хлеба там, где сейчас мы видим только хилую и скудную поросль. Мне становится грустно, Мэри, когда я смотрю на нашу землю и думаю, сколько пользы могли бы принести люди, которых я недавно видел. Они равнодушны к пустой славе, унаследованной от давно умерших предков, и к почестям, приобретаемым кровавыми деяниями на поле брани. Они охраняют и умножают благосостояние своей страны вместо того, чтобы терзать и разорять ее.

— У нас и мечтать нельзя о подобных усовершенствованиях, Хэлберт, — возразила леди Эвенел, — деревья, еще не успев подрасти, были бы сожжены нашими врагами англичанами, а посеянный нами хлеб был бы собран кем-либо из соседей, у которых больше войска, чем у нас. Но стоит ли сокрушаться об этом? Судьба определила тебе родиться шотландцем, она дала тебе ум, сердце и руки, чтобы достойным образом поддерживать славу твоего имени.

— Мне судьба не дала имени, славу которого я должен был бы поддерживать, — сказал Хэлберт, медленно шагая по зале взад и вперед. — Я был в первых рядах во всех схватках, участвовал во всех советах, и умнейшие мужи никогда не оспаривали моих суждений. Хитрый Летингтон, молчаливый и мрачный Мортон приглашали меня на тайные совещания, Грейндж и Линдсей признали, что на поле битвы я всегда исполнял свой долг как доблестный рыцарь, и все же, когда у них больше не будет нужды в моем уме и в моих руках, они будут помнить только, что я — сын скромного владельца Глендеарга.

Леди Эвенел всегда боялась таких разговоров, ибо звание, приобретенное ее мужем, благосклонность к нему могущественного графа Мерри и большие способности, завоевавшие ему право на то и другое, не только не уменьшили, но скорее даже разожгли зависть к нему в сердцах гордых аристократов, которые не прощали сэру Хэлберту Глендинингу того, что он, простолюдин по рождению, стал знатной персоной лишь благодаря своим личным заслугам. При всей своей душевной стойкости он, однако, не мог презирать неоспоримые преимущества знатного происхождения, ценимые всеми, с кем ему приходилось иметь дело. Даже самые возвышенные души бывают порой доступны зависти: поэтому сэр Хэлберт иногда чувствовал себя уязвленным тем, что его супруга обладает преимуществами высокого рождения и потомственного благородства, которых нет у него самого; ему было крайне досадно думать, что положение владельца замка Эвенелов достигнуто им только благодаря браку с родовой его наследницей. Он не был настолько несправедлив, чтобы позволить недостойным чувствам целиком овладеть его душой, но все же они иногда возвращались к нему, и это не могло ускользнуть от настороженного внимания его жены.

«Если бы наш брак был благословен детьми, — думала она обычно в таких случаях, — если бы кровь наша смешалась в сыне, который от меня унаследовал бы преимущества благородного происхождения, а от мужа — его личные достоинства, эти тяжелые и неприятные мысли никогда бы не омрачали нашего счастья. Но, увы, судьба отказала нам в наследнике, на которого мы могли бы обратить свою любовь и возложить все свои надежды».

Не удивительно, что, при таких чувствах обоих супругов, у леди Эвенел становилось тяжело на душе всякий раз, когда ее муж заводил этот неприятный для нее разговор. И сейчас, как и в других подобных случаях, она постаралась отвлечь мужа от его грустных размышлений.

— Зачем ты напрасно терзаешь себя? — сказала она. — Разве у тебя в самом деле нет имени, честь

которого ты должен поддерживать? Разве ты — честный, смелый, мудрый в совете и сильный в бою — не должен беречь свою славу, добытую подвигами и куда более почетную, чем та, которая просто наследуется от предков? Добродетельные люди любят и уважают тебя, порочные — боятся, буйные — покоряются тебе, и разве не должен ты постоянно поддерживать эту любовь и уважение, этот благотворный страх, это столь необходимое послушание?

Пока она говорила, муж смотрел ей в глаза, черпая в них утешение и бодрость; взор его прояснился, и, взяв руку жены в свою, он ответил:

— Ты совершенно права, дорогая Мери, я заслужил твой упрек, потому что забываю, кто я, и сокрушаюсь о невозможном. Я теперь вполне схож с прославленными предками тех, кому я завидую: подобно им, я простолюдин, возвысившийся благодаря своим личным заслугам: и, конечно, обладать самому достоинствами, необходимыми, чтобы стать родоначальником знатной семьи, так же лестно и почетно, как и происходить от человека, которому такие достоинства были присущи много столетий тому назад. Темно-серый человек Хей Ланкарти, передавший своим потомкам безудержную страсть к кровопролитию, основатель рода Дугласов, меньше мог гордиться своими предками, чем я. Ведь ты знаешь, Мэри, что я принадлежу к древнему роду воителей, и хотя ближайшие мои предки избрали себе то скромное положение, в котором находилась моя семья, когда ты впервые узнала ее, участие в войнах и советах не менее привычно для рода Глендонуайнов, вплоть до позднейших его представителей, чем для самых гордых наших аристократов.

Он говорил это, меряя шагами залу. Леди Эвенел улыбнулась про себя, видя, как сильно занимают ее мужа прерогативы, связанные с рождением, и как он, выказывая презрение к ним, в то же время старается отстоять свое право на них, хотя бы и косвенное. Но она, разумеется, и виду не подала, что знает за мужем эту слабость: его гордый дух вряд ли бы мог легко примириться с такой проницательностью.

Продолжая мысль о праве рода Глендонуайнов, даже в боковых его ветвях, на всю полноту аристократических привилегий, он тем временем дошел до конца залы: повернув обратно, он спросил:

— Где Волк? Я еще не видел его, а ведь он всегда первый приветствовал мое возвращение.

— Волк посажен на цепь, — ответила леди в некотором смущении, причину которого она сама затруднилась бы объяснить, — он хотел кинуться на моего пажа.

— Волк на цепи! Он хотел кинуться на твоего пажа! — воскликнул сэр Хэлберт Глендининг. — Но Волк никогда ни на кого не кидался прежде; на цепи он захиреет или совсем одичает. Эй, люди! Сейчас же освободите Волка!

Его приказание было сразу же выполнено. Огромная собака вбежала в комнату и своими неловкими стремительными прыжками произвела в ней полнейший беспорядок, опрокинув и разбросав прялки, мотовила и веретена, за которыми незадолго перед тем сидели служанки, удалившиеся с появлением хозяина. У Лилиас, пытавшейся водворить все вещи на свои места, невольно вырвалось замечание в том смысле, что любимец милорда так же несносен, как и паж миледи.

— А что это за паж, Мэри? — спросил рыцарь, вторично услышав о каком-то паже, на этот раз из уст камеристки. — Что это за паж, о котором упоминают уже второй раз и почему-то в сопоставлении с моим старым другом и любимцем Волком? И с каких пор ты стала считать, что для поддержания своего достоинства тебе необходимо держать при себе пажа? Кто такой этот юнец?

— Я надеюсь, Хэлберт, — сказала леди, слегка покраснев, — что ты не отрицаешь права твоей жены на такую же свиту, какую имеют все дамы одинакового с нею ранга.

— Конечно, нет, Мэри, — ответил рыцарь, — одного твоего желания иметь пажа для меня достаточно. Но сам-то я никогда не был склонен кормить всякую никчемную челядь вроде пажей. Может быть,

надменным английским дамам и подобает, чтобы стройный юноша носил за ними шлейф, когда они переходят из одной комнаты в другую, обмахивал их веером, когда они дремлют, играл для них на лютне, когда им угодно его слушать; но наши шотландские матроны всегда были выше такого тщеславия, а наших юношей следует воспитывать для копья и стрелы.

— Ну, полно, Хэлберт, — сказала леди, — я только в шутку назвала этого малыша своим пажом. На самом деле он сиротка, чуть было не утонувший в озере, но спасенный нами. Я оставила его в замке из чувства сострадания. Лилиас, приведи маленького Роланда.

Роланд тотчас же вошел в комнату и, подбежав к леди, ухватился за складки ее платья; затем повернул голову и стал пристально, хотя и не без страха, разглядывать статную фигуру рыцаря.

— Роланд, — сказала леди, — подойди и поцелуй руку благородному рыцарю, попроси его быть твоим покровителем.

Но Роланд не подчинился и, оставаясь на своем месте, продолжал внимательно и робко смотреть на сэра Хэлберта Глендининга.

— Ну, подойди же к рыцарю, Роланд, — повторила леди, — чего ты боишься, малыш? Иди поцелуй руку сэру Хэлберту.

— Я не хочу целовать ничьей руки, кроме вашей, — возразил Роланд.

— Делай как тебе велят, милый, — сказала ему леди. — Он смутился в твоём присутствии, — прибавила она, желая оправдать поведение Роланда в глазах мужа. — Но ведь правда, он красивый мальчик!

— А Волк — красивая собака, — сказал сэр Хэлберт, глядя по спине своего четвероногого баловня, — но у него есть два преимущества по сравнению с твоим новым любимцем: он выполняет то, что ему приказывают, и не слушает, когда его хвалят.

— Ну вот, я вижу — ты недоволен мной, — сказала леди, — а почему, собственно? Что в этом дурного — помочь несчастному сироте или полюбить красивое,

заслуживающее симпатии существо? Но ты видел в Эдинбурге Генри Уордена, и он восстановил тебя против бедного мальчика.

— Моя дорогая Мэри, — ответил ей муж, — Генри Уорден достаточно хорошо понимает свое положение, чтобы позволить себе вмешиваться в твои или мои дела. Я отнюдь не порицаю тебя за то, что ты спасла ребенка и что ты добра к нему. Но я думаю, что, принимая во внимание его происхождение и его будущее, тебе не следовало бы выказывать по отношению к нему такую пылкую любовь, ибо это в конце концов может сделать его непригодным для того скромного удела, который предназначен ему господом.

— Нет, Хэлберт, это не так — ты только взгляни на мальчика, — возразила леди, — разве по нему не видно, что бог предназначил его для положения более высокого, нежели положение простого крестьянина? Вполне возможно, что и ему суждено выйти из низкого состояния и достигнуть почестей и знатности. Ведь тому уже были примеры.

Дойдя до этого пункта, она почувствовала, что вступает на опасную почву, и, как это обычно бывает с людьми, когда они попадают в трясину — в прямом или в переносном смысле, — поступила самым естественным в таких случаях, но вместе с тем и наихудшим образом — то есть вдруг остановилась; сравнение, которое она собиралась привести, замерло у нее на устах. Она покраснела, а по лицу сэра Хэлберта Глендининга прошла легкая тень. Но он огорчился лишь на минуту, ибо хорошо знал свою жену и потому не мог в дурном смысле истолковать ее слова или предположить, что она сознательно хочет оскорбить его.

— Поступай как тебе нравится, дорогая, — ответил он. — Я слишком многим обязан тебе, чтобы возражать против чего бы то ни было, если это может хоть как-то скрасить твою одинокую жизнь. Сделай этого мальчика кем угодно — я даю на это свое полное согласие. Но только помни: заботиться о нем — твоя обязанность, а не моя, помни — ему даны руки, чтобы держать оружие, душа и язык — чтобы славить

господа. Воспитай же в нем верность родине и преданность богу; что касается всего прочего, то располагай им как тебе заблагорассудится — это будет впредь, как и ныне, только твоим делом, и ничьим больше.

Этот разговор решил судьбу Роланда Грейма; с этих пор хозяин замка Эвенелов редко замечал его, зато госпожа по-прежнему ему покровительствовала и потакала во всем.

Такое положение возымело важные последствия и способствовало тому, что хорошие и дурные качества в характере Роланда развились вполне. Поскольку рыцарь ясно дал понять, что не интересуется любимцем своей супруги и не хочет руководить его воспитанием, юный Роланд силой обстоятельств оказался избавленным от строгой дисциплины, которая в противном случае распространялась бы и на него, как на всякого, кто в те суровые времена состоял в свите шотландского дворянина. Управитель, или дворецкий (такой пышный титул присваивался старшему слуге в доме каждого мелкопоместного барона), считал за благо ни в чем не перечить любимцу леди, памятуя, что именно ей теперешняя господская семья обязана своими владениями. Почтенный Джаспер Уингейт, по его собственному горделивому признанию, был человеком, искушенным во всем, что касается жизни знатных семейств, и умел вести свой корабль даже против течения и против ветра. Этот осторожный человек на многое смотрел сквозь пальцы и, дабы не давать повода к еще большему нарушению порядка, довольствовался тем, что Роланду Грейму угодно было делать самому, ничего больше от него не требуя. Он справедливо полагал, что если рыцарь Эвенел и не обращает внимания на Роланда, то все же дурно отозваться при нем о мальчике значило бы нажить себе врага в лице леди Эвенел, не снискав при этом благосклонности самого хозяина. Исходя из этих мудрых соображений и, конечно, заботясь прежде всего о собственном благополучии и спокойствии, он занимался обучением мальчика ровно столько времени, сколько тот расположен был учиться, и с готовностью принимал любые извинения, какие только ни

приводил мальчик в оправдание своей небрежности и лени. Так как другие слуги в замке, на которых тоже была возложена обязанность обучать Роланда Грейма, подражали благоразумному поведению мажордома, они ни к чему не принуждали мальчика, и если он все же как-то учился, то лишь потому, что, обладая живым умом и не будучи ленивым от природы, сам проявлял любознательность и по своей охоте занимался различными упражнениями. Он был особенно усерден, когда сама леди выражала желание руководить его занятиями или проверить, каковы его успехи.

Будучи любимцем миледи, Роланд не пользовался особым расположением юношей, состоявших в свите рыцаря, многие из которых были его сверстниками и, по-видимому, равного происхождения с удачливым лажом; но, в отличие от него, они были обязаны подчиняться строгой дисциплине, искони предписанной слугам всякого владетельного феодала. Конечно, эти юноши завидовали Роланду, а следовательно, испытывали к нему неприязнь и всячески старались унижить его. Но Роланд обладал такими качествами, не оценить которые было невозможно. Природная гордость и рано развившееся честолюбие сделали для него то же, что делает для других настойчивая муштра, сопровождающаяся окриками, а иногда и строгими взысканиями. В самом деле, юный Роланд с ранних лет проявлял такую гибкость ума и тела, которая превращает всякого рода физические и умственные упражнения из утомительного занятия в приятную забаву; он, как бы играя, на лету схватывал то, что другому давалось лишь в результате упорной, длительной выучки, подкрепляемой частыми выговорами, а порой даже и наказаниями. Когда что-либо нравилось ему или казалось заслуживающим его внимания, он способен был во всем — и в военных упражнениях и в прочих преподававшихся в те времена науках — достичь такого совершенства, которое буквально изумляло окружающих. Однако на самом деле в этом не было ничего удивительного: очень часто талант и страстное увлечение делом возмещают недостаток прилежания и настойчивости. По-

этому-то, хотя других юношей заставляли более регулярно упражняться в искусстве владеть оружием, в верховой езде и прочих необходимых по тем временам занятиях, они едва ли могли похвалиться большими успехами, чем вызывавший их зависть Роланд Грейм, который столь очевидно пользовался снисходительностью и попустительством. Роланду требовалось только несколько часов сильного напряжения воли, и он добивался большего, нежели другие за недели регулярного обучения.

Вот в таких-то особо благоприятных условиях (если только можно считать их действительно благоприятными) постепенно развивался характер юного Роланда. Мальчику были свойственны смелость, решительность, своеволие и властность; он был добр, когда ему не противоречили и не препятствовали в его намерениях, резок и вспыльчив, если его порицали или становились ему поперек дороги. Он, видимо, считал себя никому не подчиненным и ни перед кем не ответственным, кроме своей госпожи, но и на нее он имел известное влияние, которое, естественно, вытекало из оказываемых ему поблажек. И хотя приближенные и слуги сэра Хэлберта Глендининга, питая зависть к влиятельному пажу, никогда не упускали случая уязвить его тщеславие, не было недостатка и в тех, кто, желая завоевать расположение леди Эвенел, подлаживался к находившемуся под ее покровительством юнцу и брал его сторону; ибо если у фаворита, как уверяет нас поэт, нет друга, то уж поклонников и льстецов у него, как правило, предостаточно.

Сторонниками Роланда Грейма были преимущественно жители деревушки на берегу озера. Те поселяне, которые не могли порой удержаться от сравнения своей жизни с жизнью людей из свиты рыцаря, постоянно сопутствовавших ему в его частых путешествиях в Эдинбург и в другие места, утешались тем, что считали себя в большей степени вассалами леди Эвенел, нежели ее мужа, и повсюду представлялись именно в таком звании. Правда, ум леди Эвенел и ее любовь к мужу всегда препятствовали

проведению различия между супругами, хотя бы и таким косвенным образом, но жители деревни все-таки думали, что ей должно быть приятно одной пользоваться их особым уважением; по крайней мере они поступали так, будто были на самом деле уверены в этом. Свои чувства они выражали главным образом в подобострастном отношении к фавориту-пажу наследницы знатного рода, которому они были исстари подвластны.

Лесть была слишком приятна Роланду, чтобы встретить у него возражение или неодобрение; представившаяся ему благодаря этому возможность образовать партию своих приверженцев в родовом имении Эвенелов немало способствовала усилению в его характере, смелом, стремительном и неукротимом от природы, склонности к поступкам дерзким и решительным.

Раньше других неприязню к Роланду прониклись два обитателя замка — Волк и Генри Уорден. Предубеждение Волка вскоре было преодолено, а через некоторое время это благородное животное издохло, оставив по себе такую же память, как Брэн, Луас и другие знаменитые в истории собаки. Но капеллан остался в живых и по-прежнему питал антипатию к мальчику. Этот добрый человек, при всей своей простоте и благожелательности в обращении с людьми, имел несколько преувеличенное представление об уважении, полагающемся ему как священнослужителю, и требовал от обитателей замка большего почтения к себе, чем порою желал ему оказывать высокомерный паж, гордый милостями своей госпожи и дерзкий как по молодости лет, так и ввиду занимаемого им в доме положения.

Независимое и вызывающее поведение Роланда, его пристрастие к богатому платью и украшениям, его неспособность воспринимать наставления, его злобное ожесточение, которым он отвечал на любой упрек, — все эти обстоятельства заставили доброго старика с большей поспешностью, чем это подсказывалось бы христианским милосердием, объявить наглого пажа сосудом гнева и предсказать, что взра-

щенные в его душе гордыня и высокомерие неизбежно приведут его к падению и гибели. Роланд тоже не оставался в долгу: он выражал порой явную антипатию и даже нечто вроде презрения к капеллану. Большинство людей из свиты Хэлберта Глендининга одобряли предостережения преподобного мистера Уордена, но, пока Роланд пользовался милостями госпожи и был терпим для рыцаря, они остерегались высказывать свои мнения вслух. Роланд Грейм довольно остро ощущал все неудобства положения, в котором находился; но в своем высокомерии он держал себя со всеми слугами так же холодно, отчужденно и презрительно, как те относились к нему самому. Показывая всем своим видом превосходство над ними, он заставлял повиноваться себе даже самых непокорных и получал по крайней мере то удовлетворение, что его боялись — пусть даже искренне ненавидя.

Явная антипатия капеллана к Роланду Грейму привлекла к мальчику благосклонное внимание брата сэра Хэлберта, Эдуарда, который под именем отца Амвросия вместе с другими немногочисленными монахами, возглавляемыми аббатом Евстафием, по-прежнему жил в Кеннаквайрском монастыре, где им разрешено было еще оставаться, несмотря на почти полное поражение их религии во время регентства Мерри. Из уважения к сэру Хэлберту монахов не лишили совсем аббатства, хотя их орден был уже почти повсеместно распущен. Им только запретили общественное отправление богослужения и оставили из всех доходов, некогда огромных, лишь небольшую пенсию для удовлетворения насущных потребностей. Отец Амвросий в эту пору иногда посещал замок Эвенелов — хотя и весьма редко. Замечали, что во время таких посещений он обращал особое внимание на Роланда Грейма, который, казалось, отвечал ему тем же, проявляя при этом более сильные чувства, чем обычно это было ему свойственно.

Так прошло несколько лет. Рыцарю Эвенелу по-прежнему нередко приходилось играть выдающуюся роль в событиях, связанных с общественными потрясениями на его несчастной родине. Юный Роланд

между тем с нетерпением ждал того времени, когда он сможет выйти из своего ничтожного состояния, а пока что готовил себя для лучшего будущего.

Глава IV

Раз Валентина на пиру
Какой-то юный лорд
Рождением низким попрекнул,
Своим рождением горд.

«Валентин и Орсон»

Роланду Грейму должно было скоро исполниться семнадцать лет. Однажды летним утром ему пришлось в голову подойти к клетке, где сэр Хэлберт Глендининг держал своих соколов. Он хотел понаблюдать, как обучают молодого сокола, которого он сам, с риском свернуть себе шею или переломать руки и ноги, достал с одной неприступной скалы, называемой Гледскрейг. Решительно не удовлетворенный уходом за его любимой птицей, он тут же выразил свое недовольство помощнику сокольничего, на чьей обязанности лежало заботиться о ней.

— Эй, парень! — крикнул Роланд. — Ты что же это кормишь моего сокола непромытым мясом, словно какого-то вороненка! Клянусь обедней, ты, кажется, еще к тому же два дня не чистил клетки! Да разве я для того рисковал своей шеей, взбираясь на скалу за этой птицей, чтобы ты погубил мне ее своей небрежностью! — И, желая сделать свой выговор еще более внушительным, он нанес нерадивому помощнику сокольничего один или два удара кулаком. Тот поднял неистовый крик, словно его убивали, и ему на выручку поспешил сам сокольничий.

Адам Вудкок, сокольничий замка Эвенелов, был родом англичанин, но он так долго состоял на службе у сэра Глендининга, что его привязанность к последнему в значительной мере возобладала над его национальными чувствами. Его высоко ценили, как знатока своего дела, и он сам был полон самодовольства

и тщеславия, подобно всем мастерам охотничьего искусства. Вдобавок он был шутник и немного поэт (качества, которые отнюдь не уменьшали его природной склонности к тщеславию), человек веселого нрава, предпочитавший, несмотря на свою преданность протестантизму, флягу доброго эля длинной проповеди. Он умел драться, когда в этом была нужда, всегда стоял горой за своего господина, но и не забывал извлекать пользу для себя из своей незаменимости. Само собой разумеется, что Адаму Вудкоку с его характером, таким, как мы его описали здесь, не могло прийти по вкусу это самоуправство Роланда Грейма, вздумавшего наказать его помощника.

— Эй, эй, потише, паж моей госпожи, — сказал он, встав между подчиненным и Роландом. — Умерьте-ка свой пыл. Вы думаете, что коли на вас расшитая золотом куртка, так вам можно и кулаки в ход пускать? Если мальчик сделал что не так, я сам могу его поколотить, а уж вы благоволите не давать воли рукам.

— Я поколочу вас обоих, — без промедления ответил Роланд. — Ты делаешь свое дело не лучше твоего помощника. Посмотреть только, как вы обращаетесь с птицей! Он при мне, остолоп этакий, кормил ее непромытым мясом, а ведь это соколиный птенец!

— Чепуха! — сказал сокольничий. — Сам-то ты еще птенец, Роланд. Что ты знаешь о кормлении соколов? Запомни, что соколиному птенцу нужно давать мясо непромытым, пока он не подрастет — иначе у него испортится клюв. Это известно всякому, кто умеет отличать сокола от коршуна.¹

— Ты хочешь оправдать свою лень, лживый англичанин. Сам только и делаешь, что спишь да пьешь вино, а всю работу сваливаешь на этого олуха, который так же скверно выполняет ее, как и ты.

— Это я-то лентяй! — возмутился сокольничий. — А у кого на попечении три разряда соколов, кто следит за ними, чистит их клетки и насесты, кто гоняет

¹ Знатoki расходятся в мнениях относительно того, сколько времени следует кормить соколиного птенца непромытым мясом. (Прим. автора.)

их в поле? А вы-то чем заняты, молодой человек, что смеее мне указывать? Еще я и лживый англичанин к тому же! А сам-то ты кто такой, хотел бы я знать? Ни англичанин, ни шотландец — ни рыба ни мясо, найденыш со Спорной земли, без роду, без племени! Стыдиться тебе надо! Коршун ты, вот кто, а корчишь из себя благородного сокола.

Ответом на это ядовитое замечание была оплеуха, так ловко нанесенная, что Адам Вудкок упал навзничь в корыто с водой, предназначенной для соколов. Сокольничий сразу же вскочил, но купанье в холодной воде отнюдь не способствовало уменьшению его гнева. Схватив стоявшую рядом увесистую палку, он готов был сполна рассчитаться со своим обидчиком, но тут Роланд Грейм вытащил кинжал с деревянной рукояткой и поклялся, что всадит сокольничему клинок в живот по самую рукоятку, если тот осмелится ударить его.

Ссора стала такой громкой, что на шум ее сбежались слуги. Явился впопыхах и сам важный дворецкий (о котором мы уже говорили) со знаками своей власти — золотой цепью и белым жезлом. Приход этого почтенного лица заставил противников несколько умерить свой пыл.

Однако дворецкий воспользовался благоприятным случаем и сурово отчитал Роланда Грейма, объяснив ему все неприличие его поведения в отношении других слуг и заверив его, что если бы хозяин (который в ту пору был в очередном походе, но вскоре должен был вернуться) узнал от своего мажордома об этой драке, то дальнейшее пребывание ее виновника в замке Эвенелов оказалось бы весьма непродолжительным. Дворецкий добавил, что он не преминул бы сообщить обо всем рыцарю, если бы его не удерживало уважение к госпоже.

— Но, во всяком случае, — заключил осторожный домоправитель, — я прежде всего доложу о происшествии миледи.

— Верно, верно, вы совершенно правы, мейстер Уингейт, — воскликнули разом несколько голосов. — Пусть миледи решит, можно ли грозить кинжалом за

каждое пустое слово и будем ли мы впредь, как и раньше, жить в мирном доме, где соблюдается порядок и господствует страх божий или же среди обнаженных кинжалов и ножей.

Роланд Грейм, вызвавший это всеобщее возмущение, окинул всех присутствующих злобным взглядом. С трудом подавляя в себе желание ответить грубой насмешкой, он вложил кинжал в ножны, еще раз презрительно посмотрел на слуг, круто повернулся и пошел к выходу, расталкивая тех, кто мешал ему пройти.

— Придется мне искать местечка для моего гнезда на другом дереве, — сказал сокольник, — если этот забияка воробушек захочет куражиться над нами, а он, кажется, именно это собирается делать.

— Вчера он ударил меня хлыстом, — сказал один из конюхов, — за то лишь, что хвост у лошади, на которой ездит его милость, был подстрижен не по его вкусу.

— Верите ли, — сказала прачка, — нашему молодому господину ничего не стоит назвать честную женщину грязнулей и девкой, если на его воротничке оказывается хоть малейшее пятнышко.

Общее мнение было таково, что, если мейстер Уингейт не доложит обо всем миледи, в доме житья не будет от Роланда Грейма.

Домоправитель слушал некоторое время все эти речи, а затем, подав знак к всеобщему молчанию, сказал с достоинством не меньшим, чем у самого Мальвольо:

— Милостивые государи и вы, милостивые государины, не порицайте меня, если я буду действовать в этом деле с осторожностью, избегая опрометчивых поступков. Наш господин — доблестный рыцарь, как говорят у нас в народе, и привык всюду главенствовать: и у себя и у чужих, в лесу и в поле, в зале и в спальне. Наша леди — да будет она благословенна! — благородная дама, наследница древнего рода, законная владелица замка и имения. Она тоже любит, чтобы ей все повиновались, а кстати сказать, хотел бы я видеть женщину, которая бы этого не любила.

Так вот, она с некоторых пор стала благоволять этому наглому мальчишке, благоволять ему и сейчас и будет благоволять впредь, чего ради — сказать не могу, разве что по той же причине, по которой благородные дамы любят комнатных собачек, говорящих попугаев или заморских обезьян. Точно так же и наша благородная леди возымела симпатию к этому невесте откуда взявшемуся шалопаю только за то, что благодаря ей его спасли, когда он тонул (тем больше ее жалость к нему).

Тут мейстер Уингейт сделал паузу.

— Я готов поставить целый грот за то, что он не утонет ни в соленой, ни в пресной воде, — сказал противник Роланда, сокольников Вудкок. — Пусть я никогда больше не надену колпачка на сокола, если ему не суждено быть повешенным за воровство или убийство.

— Успокойся, Адам, — сказал Уингейт, протянув к нему руку с поднятой ладонью, — прошу тебя, успокойся. Так вот, как я уже сказал, питаю симпатию к этому молокососу, миледи расхочется в данном пункте с милордом, который его терпеть не может. Подумайте, следует ли мне вызывать раздор между супругами, просовывать, как говорится, палец между корой и деревом, из-за какого-то дерзкого юнца, который, впрочем, на мой взгляд, заслуживает, чтобы его прогнали кнутом прочь из имения? Потерпите немного, и нарыв лопнет сам собой, без нашего вмешательства. Я служу господам с тех пор, как у меня появился первый пушок на подбородке, а теперь уже борода моя стала совсем седой, и мне редко приходилось видеть, чтобы кто-нибудь выигрывал, беря сторону госпожи против господина; но уж решительно всякий, кто поступал наоборот, совершал настоящее самоубийство.

— Выходит, — сказала Лилиас, — мы все (мужчины и женщины, петухи и куры) должны позволять этому желторотому выскочке помыкать нами? Но нет, я первая померюсь с ним силой, уж обещаю вам. Надеюсь, мейстер Уингейт, если вы такой умный человек, каким кажется, вам угодно будет рассказать миледи

о том, что видели сегодня, буде она вам прикажет?

— Говорить правду миледи по ее приказанию, — ответил осторожный домоправитель, — это до известной степени мой долг, миссис Лилиас, исключая, разумеется, те случаи, когда этого нельзя сделать, не причиняя вреда или не доставляя неприятностей себе самому или своим коллегам. Известно ведь, что язык сплетника ломает кости не хуже джеддартского жезла.¹

— Но этот чертов мальчишка — не из числа ваших друзей и коллег, — сказала Лилиас. — И, я надеюсь, вы не собираетесь взять его сторону против нас всех.

— Поверьте мне, миссис Лилиас, — возразил дворецкий, — представился бы только подходящий случай — уж он бы полетел у меня вверх тормашками.

— Этого достаточно, мейстер Уингейт, — ответила Лилиас. — Раз так, то, уверяю вас, его песенка скоро будет спета. Не пройдет и десяти минут, как госпожа спросит меня, что произошло здесь, внизу, — или же она не женщина, а меня не зовут Лилиас Брэдборн.

Для осуществления задуманного плана миссис Лилиас вошла к своей госпоже с таким видом, словно ей известна какая-то важная тайна — углы рта у нее были опущены, взгляд устремлен вверх, губы сжаты так плотно, как будто она сшила их, чтобы как-нибудь не проболтаться; весь ее облик, все ее поведение были исполнены таинственной многозначительности и как бы говорили: «Я что-то знаю, но ни за что вам не скажу».

Лилиас хорошо понимала характер своей госпожи, которая, несмотря на свой ум и доброту, была все же дочерью праматери Евы и поэтому не могла смотреть на загадочное поведение камеристки, не томясь желанием узнать, в чем его тайная причина.

¹ Род алебарды, получившей свое название от старинного герба Джеддарта, на гербе которого и по сей день можно видеть вальдника, размахивающего этим оружием. (Прим. автора.)

Некоторое время миссис Лилиас уклонялась от ответов на вопросы; она только вздыхала, еще выше поднимала глаза к небу, выражала надежду, что все обойдется, и уверяла, что ничего особенного не случилось. Все это, как и следовало ожидать, разожгло любопытство леди; от ее расспросов уже нельзя было отбиться.

— Я, слава богу, не смутьянка и не сплетница, — сказала Лилиас. — Никогда, слава богу, я не завидовала тем, кто в милости у господ, и не разглашала их провинностей. И, слава богу, в нашем доме до сих пор не было кровопролития и убийства — вот и все.

— Кровопролитие, убийство? — вскрикнула леди. — Что ты такое говоришь? Если ты сейчас же не скажешь мне все как есть, то скоро пожалеешь об этом.

— Ну что же, миледи, я скажу вам всю правду, раз вы велите, но только постарайтесь не утратить самообладания, услышав кое-что, быть может, и неприятное для вас: Роланд Грейм бросился с кинжалом на Адама Вудкока — вот и все.

— Великий боже! — сказала леди, побелев как мел. — Этот человек убит?

— Нет, миледи, — ответила Лилиас, которой не терпелось, по выражению Чосера, «распаковать свой сундук», иначе говоря — выложить все, что у нее было на уме, — но он непременно был бы убит, если бы сразу же не подоспела помощь. Хотя, может быть, вашей светлости угодно, чтобы этот молодой оруженосец протыкал ваших слуг кинжалами, а также хлестал их бичом и лупил палкой?

— Вот как, ты стала дерзить, милочка, — сказала леди. — Пойди и немедленно позови сюда дворецкого.

Лилиас тотчас вышла, чтобы найти мастера Уингейта и привести его к леди. Она успела сказать ему:

— Я толкнула камень, и он покатился; смотрите же, не остановите его.

Управляющий в ответ только хитро посмотрел на нее и понимающе кивнул головой — он был слишком осторожен, чтобы связать себя каким-нибудь более

определенным обещанием. Сразу же вслед за тем он предстал перед леди Эвенел с выражением глубокого почтения, отчасти искреннего, отчасти напускного; его глубокомысленный вид обличал немалое самомнение.

— Что все это значит, Уингейт? — сказала леди. — Так-то вы управляете замком, что слуги сэра Хэлберта Глендининга бросаются друг на друга с кинжалами, словно воры и убийцы в своих логовах! Человек этот серьезно ранен? И что же... что же случилось с несчастным мальчиком?

— Покамест никто не ранен, миледи, — ответил обладатель золотой цепи, — но кто знает, сколько народу здесь будет ранено до наступления пасхи, если как-нибудь не воздействовать на этого молодого человека. Конечно, он очень славный юноша, — поспешил смягчить сказанное мейстер Уингейт, — очень способный, но уж слишком легко пускает в ход руки да орудует хлыстом и кинжалом.

— А кто в этом виноват, как не вы сами? — сказала леди. — Кому прежде всего надлежало научить его вести себя как следует, не затевать ссор, не хвататься за кинжал?

— Если вашей милости угодно возложить вину на меня, — ответил управитель, — я, конечно, не буду прекословить, но только прошу вас принять во внимание, что не мог же я прибить его кинжал к ножнам гвоздями, а ведь иначе его не удержать никак; это все равно, что пытаться удержать ртуть, с чем не мог справиться сам Раймунд Луллий.

— Перестаньте разглагольствовать о Раймунде Луллии, — сказала леди, теряя терпение, — и пошлите-ка сюда капеллана. Вы все стали тут слишком умничать, пользуясь долгими и частыми отлучками вашего господина. Я молю бога, чтобы дела мужа позволили ему оставаться дома и самому управлять прислугой; у меня не хватает на это ни разума, ни сил.

— Не дай бог, миледи, — воскликнул старик, — чтобы вы на самом деле думали так, как говорите: ваши старые слуги, после стольких лет верной службы, вправе надеяться, что теперь, когда они дожили

до седых волос, вы не будете к ним несправедливы и не лишите их своего доверия из-за того лишь, что они не могут обуздать юнца с горячей головой, которую он задирает, быть может, на один-два дюйма выше, чем ему следует.

— Оставьте меня, — сказала леди. — Я теперь со дня на день жду возвращения сэра Хэлберта; пусть он сам разберется во всех этих делах. Слышите, Уингейт, оставьте меня — и больше ни слова об этом. Я знаю, вы человек честный, и верю, что мальчик не сдержан; но все же я полагаю, что именно моя благосклонность к нему восстановила вас всех против него.

Поскольку и вторая попытка управителя объяснить мотивы своего поведения была пресечена, он ответил поклоном и удалился.

Сразу же после него пришел капеллан, но он тоже ничем не утешил леди. Напротив, он заявил, что ее снисходительность виною всем беспорядкам, которые произвел и еще произведет в доме Роланд с его буйным характером.

— Я сожалею, высокочтимая леди, — сказал он, — что вы не соблаговолили последовать моему совету в самом начале этой истории, ибо легко предотвратить зло, поставив запруды у его источника, но трудно бороться с ним, когда оно разольется широким потоком. А вам, глубокоуважаемая госпожа, — я называю вас так не потому, что хочу следовать пустым условностям этого мира, но ввиду моей неизменной любви и уважения к вам, как к весьма достойной особе, редких нравственных качеств, — вам, говорю я, угодно было, вопреки моему смиренному, но искреннему совету, вывести этого мальчика из низкого состояния и поднять его почти до вашего собственного положения в обществе.

— Что вы имеете в виду, достопочтенный сэр? — спросила леди. — Я сделала юношу своим пажом — разве этот поступок несовместим с моим достоинством и моим званием?

— Не спорю, миледи, — сказал упрямый проповедник, — вы желали облагодетельствовать этого юношу, беря его под свое покровительство, и имели

полное право дать ему эту никчемную должность паж, если таково было ваше желание, хотя я не в силах себе представить, как может воспитание мальчика в женском окружении привести к чему-либо иному, кроме изнеженности и склонности к щегольству в соединении с высокомерием и самонадеянностью. Но я действительно порицаю вас за то, что вы не подумали предостеречь юношу от опасностей, с которыми связано его положение, не укрощали и не смиряли его характер, надменный, властный и беспокойный от природы. Вы привели в свои покои львенка, вы восхищались его красивой шкурой, его изящными прыжками и не посадили его в клетку, как того требовал его свирепый нрав. Вы допустили, чтобы он рос, не зная чувства страха, как если бы он по-прежнему жил в лесу, а теперь вы удивлены и зовете на помощь, когда он, в полном согласии со своей природой, стал кидаться на добычу, вонзая в нее зубы и раздирать ее на части.

— Мистер Уорден, — сказала леди Эвенел, явно оскорбленная, — вы давний друг моего мужа, и я верю в искренность вашей любви к нему и к его домочадцам. Однако позвольте сказать вам, что, прося вашего совета, я не ожидала такого сурового выговора. Если я и поступила неправильно, полюбив этого бедного сироту больше других детей из его среды, то все же едва ли моя ошибка заслуживает столь резкого порицания. Может быть, нужна была более строгая дисциплина, чтобы удерживать в рамках его пылкую натуру, — но в таком случае, я полагаю, следовало принять во внимание, что я женщина, и, если я допустила ошибку, оказать мне помощь, как подобает настоящему другу, вместо того чтобы упрекать меня. Я хотела бы, чтобы все эти неприятности уладились до возвращения милорда. Он не любит раздоров и свар между домашними. И уж тем более мне не хотелось бы, чтобы он думал о юноше, которого я опекаю, как о возможном зачинщике таких неблагоприятных поступков. Что же вы посоветуете мне делать?

— Отстранить его от себя, миледи, — ответил проповедник.

— Вы не можете просить меня поступить так, — сказала леди, — не можете, как христианин и гуманный человек, просить меня прогнать беззащитного мальчика, который нажил себе столько врагов из-за моей благосклонности к нему — опрометчивой благосклонности, если угодно.

— Вовсе не требуется бросать его на произвол судьбы; вы найдите для него другую должность или занятие, более соответствующее его происхождению и характеру, — сказал проповедник. — В другом месте он может оказаться полезным и достойным членом общества. Здесь он — только нарушитель спокойствия и сеятель смуты. Он иногда проявляет ум и здравый смысл, хотя ему недостает трудолюбия. Я лично дам ему рекомендательные письма к Олеарию Шиндерхаузену, ученому профессору знаменитого Лейденского университета, где как раз сейчас требуется помощник младшего учителя. Там, кроме бесплатного обучения, которым он сможет воспользоваться, если его наставит господь, он будет получать пять марок ежегодно и один раз в два года костюм из гардероба профессора

— Это не выход, дорогой мистер Уорден, — сказала леди, с трудом подавляя улыбку, — мы еще подумаем, как нам поступить. А пока что я поручаю вам нашего повесу и всех слуг, надеясь, что ваши увещания удержат их от непристойно-бурных вспышек зависти и неистовых выпадов. Умоляю вас, растолкуйте мальчику и слугам, в чем состоит их долг перед богом и перед их господином.

— Ваше желание будет исполнено, миледи, — сказал Уорден. — В ближайший четверг я буду читать проповедь всем домочадцам. С божьей помощью я дам бой демону гнева и насилия, пробравшемуся в мою немногочисленную паству, и верю, что, подобно сторожевому псу, изгону волка из овчарни и за травлю его.

Эта тема в беседе с леди Эвенел была наиболее приятной для мистера Уордена. Кафедра проповед-

ника в те времена была таким же могучим средством воздействия на чувства людей, каким потом стала печатать, а он, как мы знаем, был проповедником незаурядным.

Естественно поэтому, что он несколько переоценивал силу своего красноречия, и, как многие его собратья в ту эпоху, радовался всякой возможности заняться каким-нибудь важным вопросом общественного или частного характера, о котором он мог бы потолковать в своей проповеди. В тот суровый век была неизвестна щепетильность в выборе времени и места для увещаний определенных лиц. Нередко придворный проповедник обращался к самому королю и поучал его, как ему надлежит вести себя в государственных делах; знатный дворянин наравне с любым из своих слуг часто должен был выслушивать в часовне феодального замка — смотря по обстоятельствам, с негодованием или со страхом — вечернюю проповедь, в которой разбирались его дурные поступки и провозглашалось осуждение их церковью, обращенное к нему лично, с упоминанием его имени.

Намереваясь восстановить своей проповедью согласие и порядок в замке Эвенелов, Генри Уорден избрал ее темой известные слова из священного писания: «Разящий мечом от меча и погибнет». Она представляла собой удивительную смесь здравого смысла и пламенного красноречия с педантизмом и дурным вкусом. Мистер Уорден сначала долго распространялся о том, как надо понимать слово «разящий». Он внушал слушателям, что тут подразумевается нанесение ударов острием меча и его лезвием, а также, в более общем смысле — стрельба из ружья, арбалета и большого лука, метание копья и любое другое действие, которое может стать причиной смерти противника. Рассуждая таким же образом, он убедительно доказал, что под словом «меч» подразумеваются все виды этого оружия, будь то тесак или шпага, рапира, палаш или ятаган.

— Но если, — продолжал он все более воодушевляясь, — писание предаёт анафеме тех, кто разит названным мною оружием, созданным людьми для

применения в открытом бою, то оно тем более запрещает употреблять оружие, по своей форме и размеру подходящее более для удовлетворения тайной злобы путем предательства, нежели для борьбы с предупреденным и готовым защищаться противником.

Я говорю прежде всего о тех смертоносных предметах, которые раньше употребляли главным образом воры и убийцы, а теперь, в наше удивительное время, носят также и молодые люди, состоящие в услужении у благородных дам. — При этих словах проповедник устремил суровый взгляд на пажу, который сидел на подушке у ног леди Эвенел; на алом поясе юноши висел красивый кинжал с позолоченной рукояткой.

— Да, друзья мои, — продолжал Генри Уорден, — писание понимает под словом «меч» и безоговорочно осуждает любой вид этого злосчастного оружия, от которого истекает один лишь вред. Стиллет, позаимствованный нами у вероломных итальянцев, клинок, употребляемый дикими горцами, кортик, служащий ворами и убийцам в наших пограничных землях, кинжал с рукояткой — все это средства, изобретенные самим дьяволом на потребу слепой ярости, пригодные для нападения врасплох, которое трудно бывает отразить. Даже самый отъявленный головорез с презрением отвергает это коварное, предательское оружие, недостойное мужчины и воина и подобающее лишь тому, кто, будучи воспитан женщинами, стал изнеженным двуполым существом и соединил в себе женскую злобу и трусость с низменными страстями и пороками, присущими мужской природе.

Трудно описать впечатление, произведенное этой речью на эвенелскую паству. У леди Эвенел был вид растерянный и вместе с тем оскорбленный; слуги, притворяясь, что сосредоточенно слушают проповедника, едва могли скрыть свою радость, когда он метал громы на голову нелюбимого всеми фаворита и проклинал его оружие, которое они всегда считали дурным признаком жеманства и франтовства. Миссис Лилиас, скрестив руки на груди и высоко подняв голову, явно торжествовала, чувствуя себя вознагражденной за все обиды. А управитель, сохраняя на своем лице

равнодушное выражение, вперил взор в старинный герб на противоположной стене и, казалось, был занят тщательным изучением его. Возможно, он предпочитал заслужить упрек в невнимании к проповеди, нежели в том, что он с подчеркнутым одобрением слушал слова, которые были крайне неприятны его госпоже.

Незадачливый герой этой проповеди, наделенный от природы бурными страстями и, в сущности, не знавший прежде никаких ограничений для себя, не мог скрыть своего возмущения тем, что его открыто подвергли порицанию и сделали посмешищем в глазах обитателей маленького мирка, в котором он жил. Лицо его покрылось румянцем, губы побелели, он стиснул зубы и сжал кулаки; затем безотчетным движением схватился за свое оружие, которому священнослужитель дал столь уничтожающую оценку. По мере того как усиливался обличительный тон проповедника, паж чувствовал, что его охватывает непреодолимая ярость; опасаясь совершить сгоряча безрассудный поступок, он поднялся с места, быстро пересек часовню и вышел.

Проповедник от удивления остановился на полуслове, когда необузданный юноша молнией промелькнул перед ним, бросив на него убийственный, испепеляющий взгляд. Но как только Роланд вышел, с силой захлопнув за собой дверь, которая вела в сводчатую галерею, соединявшую часовню с замком, Уорден решил, что неприличие такого поступка дает для его ораторских упражнений весьма благодарную тему, развивая которую он сможет произвести большое впечатление на слушателей. Он с минуту помолчал, а затем размеренным и торжественным тоном произнес слова анафемы:

— Он покинул нас, ибо он среди нас чужой. Страждущий от болезни отверг целебное лекарство из-за его горечи; раненый уклонился от спасительного ножа хирурга; овца ушла из стада и стала добычей волка, ибо отреклась от скромности и смирения, коих требует от всех нас великий пастырь. О братья! Не предавайтесь гневу, не предавайтесь гордыне, не преда-

вайтесь пагубному греху, столь часто предстоящему нашему несовершенному зрению в сверкающих белизной одеждах. Что говорит в нас, когда нас соблазняют земные почести? Гордыня, только гордыня! Что говорит в нас, когда мы хвалимся нашими дарованиями и внешней привлекательностью? Гордыня и пустое тщеславие! Путешественники рассказывают, что индейцы, надевающие на себя ожерелья из раковин и красящие кожу в различные цвета, похваляются своим убранством точно так же, как мы — своей жалкой телесной красотой. Гордыня могла бы совлечь утреннюю звезду с небосвода и привести ее к порогу преисподней. Гордыня и самонадеянность человека виной тому, что огненный меч преграждает нам доступ в земной рай. Гордыня сделала Адама смертным существом, превратила его в утомленного скитальца на той же самой земле, бессмертным владыкой которой он был дотоле. Гордыня сделала нас греховными, и она же отягчает каждый из порожденных ею грехов. Она есть то передовое укрепление, которое дьявол и плоть наиболее ревностно обороняют от наступления святого духа. И пока эта крепость не будет сокрушена и сравнена с землей, на спасение глупца будет больше надежды, чем на спасение грешника. Пусть каждый исторгнет из груди своей проклятый побег, выросший из семени злосчастного яблока; вырвите его с корнем, даже если он оплел древо жизни вашей. Задумайтесь над примером жалкого грешника, покинувшего нас, и взыскайте благодати божьей, пока не поздно, пока совесть вашу не охватило губительное пламя, пока вы не стали глухи, как пресмыкающиеся, и пока сердце ваше не отвердело, как камень. Соберите же свои силы и встаньте на бой; боритесь и преодолевайте; сопротивляйтесь, и враг будет бежать от вас. Молитесь и не поддавайтесь соблазну; пусть падение других послужит для вас предупреждением и примером. А главное — не полагайтесь на самих себя; самоуверенность — вернейший признак тяжелой болезни. Быть может, фарисей полагал, что он смирен, когда стоял коленопреклоненный во храме и благодарил господу за то, что

непохож на других людей и отличен от мытаря. Но в то время как он касался коленями мраморных плит, его дух, вознесенный гордыней, парил над храмом. Поэтому не обманывайте самих себя и не предлагайте фальшивой монеты тому, для кого и чистое золото не имеет цены; божественная мудрость всегда сумеет отличить фальшивое от истинного. И пусть не страшит вас трудность вашей задачи, хотя она отнюдь не легка; мой святой долг не скрывать этого от вас. Многие могут сделать самопознание, немало сможете вы добиться, размышляя о боге и о душе, но благодать господня может совершить все.

В заключение Генри Уорден обратился к своим слушателям с трогательным увещанием, побуждая их стараться привлечь на себя божью благодать, с помощью которой для слабого человека нет ничего невозможного.

Прихожане внимали его словам не без душевного волнения, хотя, надо полагать, злорадное чувство, вызванное постыдным бегством фаворита-пажа, помешало многим из них в должной мере проникнуться призывами проповедника к милосердию и смирению.

Действительно, у слушателей были такие довольные, торжествующие лица, какие бывают у школьников, когда им доводится видеть, как наказывают их товарища за проступок, к которому они непричастны, и когда они, ликуя, что провинившемуся досталось на орехи, а им — нет, с удвоенным усердием принимают зубрить свой урок.

Совсем противоположные чувства испытывала леди Эвенел, возвращаясь из часовни в свои покои. Она сердилась на Уордена за то, что он сделал предметом публичного разбирательства вопрос сугубо семейного свойства, живо затрагивавший ее самое. Но ей было известно, что этот почтенный старец считает своим неотъемлемым правом христианина и проповедника беспрепятственно говорить о чем угодно и что повсюду его собратья обычно требуют для себя такой же свободы. Еще больше огорчало леди Эвенел своевольное поведение ее любимца. То, что он

не посчитался с ее присутствием и тем самым проявил явное неуважение к ней, было только одной стороной дела. Другая состояла в том, что он крайне непочтительно отнесся к проповеди священнослужителя, которую в те времена прихожане обычно выслушивали с благоговением. Все это вместе взятое свидетельствовало в пользу мнения его врагов, утверждавших, что он ни в чем не знает удержу. А ведь все то время, что он был у нее на виду, она склонна была оправдывать его вспыльчивость возрастом и живостью его натуры. Возможно, такой взгляд возник у нее в известной мере вследствие пристрастного отношения к мальчику, а отчасти, может быть, и потому, что она всегда была к нему добра и снисходительна; но все же считала невероятным, чтобы ее представление о Роланде было совершенно ошибочным. Крайняя несдержанность вряд ли совместима с постоянным лицемерием, считала леди Эвенел (хотя она не раз слышала от Лилиас намеки, что в некоторых случаях они отлично уживаются друг с другом), и потому она не могла полностью доверять сообщениям окружающих, противоречившим ее собственным наблюдениям.

Думая об этом сироте, она ощутила в своей душе прилив глубокой нежности к нему, причину которой не могла объяснить даже самой себе. Он как будто был послан ей самим богом, чтобы заполнить ее жизнь в те промежутки, которые прежде она проводила в тоске и одиночестве, не зная никаких радостей. Возможно, он был дорог ей в значительной степени и потому, что, как она прекрасно видела, его никто не любил и, следовательно, отречься от него — значило позволить мнению ее мужа и всех, кто думал так же, как он, восторжествовать над ее собственным, а такое обстоятельство немаловажно в отношениях между супругами, даже если они очень любят друг друга.

Словом, леди Эвенел решила не отступаться от своего пажа до тех пор, пока будет возможно его защищать; и, желая выяснить, есть ли к этому достаточные основания, она велела немедленно призвать его к себе.

Глава V

Когда бушует буря,
Моряк срубает мачту, а купец
Швыряет в волны все свои товары,
Теперь уже утратившие цену.
Так короли, когда восстал народ,
Бросают на погибель фаворитов.

Старинная пьеса

Роланд Грейм явился не сразу. Исполнительница поручения леди Эвенел (это была давнишняя доброжелательница Роланда — Лилиас) сначала попыталась открыть дверь его комнатки с бескорыстной целью насладиться смущением преступника и посмотреть, как он будет себя вести. Но дверь была заперта изнутри длинным железным брусом, употреблявшимся в качестве засова; это обстоятельство воспрепятствовало благим намерениям Лилиас. Она постучала и, с небольшими перерывами, позвала несколько раз:

— Роланд, Роланд Грейм, мейстер Роланд (на слове «мейстер» было сделано особое ударение), соблаговолите отворить дверь. Что с вами? Уж не молитесь ли вы там в одиночестве, чтобы выполнить до конца обряд, который вы не закончили на людях? Наверно, мы должны огородить ширмой ваше место в часовне, чтобы вашей светлости не приходилось быть на виду у простых смертных. — В ответ по-прежнему не раздалось ни звука. — Ладно, мейстер Роланд, — сказала камеристка, — мне придется доложить миледи, что если она хочет получить ответ, то должна прийти сама или же послать к вам людей, которые смогут выломать дверь.

— Что вам велела передать миледи? — отозвался из-за запертой двери паж.

— Да отоприте же вы наконец, тогда и услышите, — ответила камеристка. — Я полагаю, что слова леди подобает передавать, глядя человеку в лицо, и я не стану ради вашего удовольствия пищать в замочную скважину,

— Ваше счастье, что вы можете прикрыться именем своей госпожи, — сказал паж, отворяя дверь, — а то вы не посмели бы так дерзить. Что вам велела передать миледи?

— Что вас просят немедленно явиться к ней; она ожидает вас в гостиной. По-видимому, она намерена дать вам на будущее некоторые указания относительно приличий, которые должно соблюдать, выходя из часовни.

— Скажите миледи, что я сейчас приду, — ответил паж и, захлопнув дверь, задвинул засов перед самым носом камеристки.

— Удивительная любезность! — пробормотала Ли-лиас.

Вернувшись, она сообщила своей госпоже, что Роланд Грейм явится к ней, когда ему это будет угодно.

— Что такое? Он сам произнес эту последнюю фразу или ее сочинили вы? — холодно спросила леди Эвенел.

— У него, миледи, — сказала прислужница, уклоняясь от прямого ответа, — был такой вид, что, если бы я только пожелала его слушать, он наговорил бы еще и не таких дерзостей. Но вот он сам сейчас вам ответит.

В комнату с высокомерным видом вошел Роланд Грейм. Румянец на его лице был ярче обычного; он держался несколько скованно, но явно не испытывал ни страха, ни раскаяния.

— Молодой человек, — сказала леди Эвенел, — пожалуйста, объясните: что я должна думать о вашем сегодняшнем поведении?

— Если оно оскорбило вас, миледи, я об этом глубоко сожалею, — ответил юноша.

— Будь им оскорблена только я, это было бы еще полбеды. Но ты виновен в поступках, чрезвычайно оскорбительных для твоего господина, — в вооруженном нападении на твоих сотоварищей слуг и в неуважении к господу богу в лице его посланца.

— Позвольте мне еще раз ответить вам, миледи, — сказал паж, — что если я оскорбил вас, мою госпожу и благодетельницу, мою единственную заступницу, то

этим я, безусловно, совершил преступление и должен понести заслуженное наказание. Но сэр Хэлберт Глендиннг не считает меня своим слугой, а я не считаю его своим господином; он не вправе бранить меня за то, что я как следует проучил наглого слугу. Не боюсь я и божьего гнева за то, что выразил презрение к непрошеным поучениям какого-то проповедника, сущего нос не в свои дела.

Леди Эвенел и прежде видела у своего любимца проявления мальчишеской обидчивости и нетерпимости ко всякого рода неодобрению или упреку. Но сейчас он держал себя серьезнее и решительнее, чем обычно, и на мгновение она растерялась, не зная, как ей обращаться с юношей, который вдруг стал мужчиной, и притом — мужчиной смелым и решительным. Она помолчала с минуту, а затем, собрав все присущее ей достоинство, сказала:

— Как ты разговариваешь со мной, Роланд! Ты, наверно, хочешь, чтобы я раскаялась в моем расположении к тебе, и потому заявляешь о своей независимости от обоих твоих повелителей — земного и небесного. Ты, видно, забыл, кем ты был когда-то и во что обратишься вскоре, если утратишь мое покровительство.

— Миледи, — сказал паж, — я ничего не забыл. Я слишком много помню. Я знаю, что если б не вы, я бы погиб в этих синих волнах (тут он показал на волнуемое западным ветром озеро, на которое открывался вид из окна комнаты). Ваша доброта простерлась и дальше, миледи: вы защитили меня от злобы окружающих и от моего собственного безрассудства. Вы вправе, если того пожелаете, покинуть воспитанного вами сироту. Вы сделали для него все от вас зависящее, и ему не на что жаловаться. И все же не думайте, миледи, что я не был вам благодарен: мне пришлось вытерпеть нечто такое, чего я не снес бы ни ради кого другого, кроме моей благодетельницы.

— А ради меня сносил! — воскликнула леди Эвенел. — Но что же такое тебе пришлось терпеть из-за меня, о чем ты мог бы вспоминать не с благодарно-

стью и признательностью, а с каким-то иным чувством?

— Вы настолько справедливы, миледи, что не станете требовать от меня благодарности за то холодное пренебрежение, которое я неизменно встречал со стороны вашего супруга, пренебрежение, за которым стояло непреодолимое отвращение. Вы настолько справедливы, что не станете требовать от меня признательности за то презрение и недоброжелательство, которые я на каждом шагу встречал со стороны всех остальных в доме, равно как и за проповеди вроде той, которой сегодня ваш преподобный капеллан угостил за мой счет всю собравшуюся челядь.

— Слыхано ли что-либо подобное! — воскликнула камеристка, воздевая руки к небу и закатывая глаза. — Он говорит так, словно он — графский сын или свет очей благородного рыцаря.

Паж смерил ее взглядом, выражавшим глубочайшее презрение, и не удостоил ее никаким другим ответом. Леди Эвенел, чувствуя себя уже не на шутку оскорбленной, но еще сожалея о безрассудстве юности, сказала, не меняя тона:

— В самом деле, Роланд, ты забываешься настолько, что я должна буду принять серьезные меры, дабы убавить твою самоуверенность, а именно — вернуть тебя на подобающее твоему происхождению место в обществе.

— Это очень просто сделать, — добавила Лилиас, — достаточно выставить его за ворота таким же оборванцем, отродьем нищенки, каким он был, когда ваша милость взяли его сюда.

— Лилиас говорит чересчур резко, — продолжала леди Эвенел, — но она сказала правду, молодой человек; и я не думаю, чтобы мне следовало щадить твою гордость, совсем вскружившую тебе голову. Тебя наряжали в дорогие одежды и обращались с тобой как с сыном дворянина, пока ты не забыл, что ты выходец из простонародья.

— Прошу смиренно вашего прощения, высокочтимая леди, но в словах Лилиас нет ни капли правды, да и вы, ваша милость, не знаете ровно ничего о моем

происхождении и не имеете никаких оснований столь презрительно говорить о нем. Я не отродье нищенки: моя бабушка ни у кого не просила милостыни — ни здесь, ни где-либо еще; она скорее умерла бы в чистом поле. Нас разорили и выгнали из нашего дома — а такие события не раз происходили и в других местах, с другими людьми. И замок Эвенелов, несмотря на окружающее его озеро и на его башни, не всегда был для своих обитателей надежной защитой от нужды и горя.

— Подумать только, какая наглость! — воскликнула Лилиас. — Он осмеливается напоминать миледи о несчастьях ее семьи!

— Этого предмета, конечно, лучше было не касаться, — холодно сказала леди Эвенел, тем не менее весьма задетая намеком Роланда.

— Это было необходимо, миледи, для моего оправдания, — сказал паж. — Иначе я не произнес бы ни слова, зная, что могу этим огорчить вас. Но поверьте мне, высокочтимая леди, я не выходец из простонародья. Родителей своих я не знаю; но моя единственная родственница сказала мне, — и сердце мое отозвалось на ее слова, подтвердив их правоту, — что в моих жилах течет благородная кровь и что со мной должно обращаться как с дворянином.

— И вот эта уверенность, имеющая столь шаткое основание, — сказала леди Эвенел, — позволяет тебе рассчитывать на почести и привилегии, полагающиеся по праву людям высокого звания и благородного происхождения, и ты намерен претендовать на особые права, закрепленные только за дворянами? Опомнись, голубчик, или же дворецкий проучит тебя плеткой, как дерзкого мальчишку. Ты еще не познакомился как следует с наказаниями, соответствующими твоему возрасту и положению.

— Дворецкий познакомится с моим кинжалом прежде, чем я с его взысканиями, — сказал паж с внезапной запальчивостью. — Леди, я слишком долго был вассалом дамской туфли и рабом серебряного свистка. Теперь вам придется найти кого-нибудь другого, кто будет откликаться на ваш зов; желаю, чтобы

этот человек был достаточно низок родом и душой и спокойно сносил презрение вашей челяди, называя монастырского вассала своим господином.

— Я заслужила это оскорбление, — сказала леди Эвенел, покраснев до корней волос, — ибо чересчур долго терпела и поощряла твою дерзость. Уходи, Роланд Грейм. Покинь замок сегодня же вечером. Я буду давать тебе средства к существованию, пока ты не научишься каким-нибудь честным способом зарабатывать себе на жизнь, хотя боюсь, что из-за своей мании величия ты будешь считать недостойными тебя любые занятия, кроме грабежа и насилия. Уходи и не показывайся мне больше на глаза.

Паж упал к ее ногам, охваченный невыразимым горем.

— Моя дорогая, уважаемая госпожа... — вымолвил он, но был не в силах добавить к этому ни слова.

— Встань, Роланд Грейм, — сказала леди, — не держись за край моего платья. Лицемерием нельзя прикрыть неблагодарность.

— Я неспособен ни на то, ни на другое, миледи! — воскликнул паж, вскочив на ноги в мгновенном страстном порыве, столь естественном для его стремительной, пылкой натуры. — Не думайте, что я хотел просить у вас позволения остаться: я давно уже принял решение покинуть замок Эвенелов и никогда не прошу себе, что позволил вам произнести слово «уйди» раньше, чем сказал сам — «Я ухожу от вас». Я стал перед вами на колени, чтобы попросить у вас прощения за необдуманные слова: они вырвались у меня в минуту сильного раздражения, но в разговоре с вами мои уста не смели произносить их. Никакой другой милости я не прошу у вас — вы и так много сделали для меня, — но я повторяю: вам лучше известно то, что делали для меня вы сами, чем то, что мне приходилось терпеть от других.

— Роланд, — сказала леди Эвенел, несколько успокоившись и уже мягче относясь к своему любимцу, — ты должен был обращаться ко мне, когда тебя кто-нибудь обижал. Ты не обязан был терпеть несправедливость, но тебе вовсе не следовало самому вос-

ставать против нее, пока ты находился под моим покровительством.

— А что мне оставалось делать, — сказал юноша, — если эта несправедливость исходила от людей, которых вы любили и осыпали милостями? Должен ли был я нарушать ваш покой докучными нашептываниями и вечными жалобами? Нет, миледи, я молча нес свое бремя, не ропща, ибо не хотел тревожить вас; уважение к вам, в отсутствии которого вы меня упрекаете, было единственной причиной, по которой я не просил вашей защиты и не мстил сам куда более решительным образом. И все же — хорошо, что мы расстаемся. Я не рожден для того, чтобы играть роль нахлебника, пользующегося милостями своей госпожи до тех пор, пока клевета окружающих не погубит его. Да ниспошлет вам господь свое благословение, высокочтимая леди, и, во имя вас, всем тем, кто вам дорог.

Сказав это, он направился к выходу, но леди Эвенел окликнула его. Он остановился и внимательно выслушал те слова, с которыми она напоследок обратилась к нему:

— В мои намерения не входило, и было бы несправедливо, несмотря на мое крайнее недовольство вами, оставить вас без всякой поддержки: возьмите этот кошелек; в нем золото.

— Простите меня, миледи, и позвольте мне уйти с сознанием, что я не опустился так низко, чтобы принимать подавание. Если моя смиренная служба может возместить вам хотя бы часть расходов на мое содержание и одежду, то и в этом случае я на всю жизнь останусь вашим должником; уж это одно — такой долг, который я никогда не смогу оплатить сполна. Возьмите же обратно кошелек и скажите только, что расстаетесь со мной без гнева.

— Да, без гнева, — повторила леди Эвенел, — скорее с печалью, и лишь из-за вашего своеволия; но все же возьмите золото, оно вам пригодится.

— Благослови вас бог за вашу доброту, миледи! Но золота я взять не могу. Я здоров и силен, и нельзя сказать, что у меня совсем нет друзей, как вы,

наверно, полагаете. Может настать время, когда мне удастся доказать свою благодарность не только словами.

Он упал на колени, поцеловал руку леди Эвенел, которую та не отдернула, и быстро вышел из комнаты.

Лилиас несколько минут внимательно следила за своей госпожой, которая была так бледна, что, казалось, вот-вот упадет в обморок; но леди Эвенел вскоре пришла в себя и, отклонив помощь, предложенную ей камеристкой, проследовала в свои покои.

Глава VI

Тебе известны все секреты дома.
Бьюсь об заклад, ты был в буфетной,
Фрэнсис.

Там лился эль, там болтовня лилась,
Твое напивая любопытство.
Сластей и сплетен ты отведал

вдоволь,
Судача с говорливой камеристкой.
Вот где нашел ты ключ к домашним
тайнам.

Старинная пьеса

На следующее утро после описанной нами сцены разжалованный фаворит оставил замок. Во время завтрака осторожный старый дворецкий и миссис Лилиас сидели вдвоем в комнате камеристки и вели серьезный разговор о важном событии этого дня. Их беседа была подслащена приготовленными миссис Лилиас лакомствами, к которым предусмотрительный мейстер Уингейт присоединил фляжку ароматной мадеры.

— Наконец-то он убрался отсюда, — сказала камеристка, потягивая вино. — Скатертью дорога!

— Аминь, — степенно ответил дворецкий, — я не желаю ничего дурного бедному покинутому юноше.

— Убрался прочь, словно дикая утка, так же, как и появился, — продолжала миссис Лилиас. —

Опускать мосты, идти по дамбе — все это для него лишнее. Он сел в лодку, которая называется «Ирод» (стыдно, по-моему, давать христианское имя дереву и железу), и поплыл один-одинешенек на дальний берег озера, и не было рядом с ним ни одной живой души, а все свое добро он оставил в комнате разбросанным как попало. Интересно знать, кто должен убирать за ним все это тряпье, хотя вещи-то, говоря по правде, стоящие.

— В этом не может быть сомнения, миссис Лилиас, — ответил управитель, — а потому, смею полагать, они недолго будут валяться на полу.

— Скажите, мейстер Уингейт, — продолжала камеристка, — не радуется ли вы от всей своей души, что наш дом избавился от этого желторотого выскочки, который всех нас оттеснил в тень?

— Как вам сказать, миссис Лилиас, — ответил Уингейт, — радуюсь ли я... Человек, который, подобно мне, долго жил в знатных семьях, не станет спешить радоваться чему бы то ни было. А что касается Роланда Грейма, то хотя избавиться от него совсем неплохо, все же, как метко говорит пословица, не сменить бы нам горшки на глину.

— Оно, конечно, верно, — согласилась миссис Лилиас. — Но, скажу я вам, хуже, чем он, и быть не может: кого ни возьми, всякий будет лучше. Он мог совсем извести нашу бедную дорогую госпожу (тут она приложила к глазам платок) — сгубил бы и плоть ее, и душу, и имение; ведь она тратила на его наряды вчетверо больше, чем на содержание любого из слуг.

— Миссис Лилиас, — сказал благоразумный управитель, — я полагаю, что наша госпожа не нуждается в вашей жалости, ибо вполне может сама заботиться о своей плоти и о своей душе, равно как и о принадлежащем ей имении.

— Вы, может, и не рассуждали бы так, — ответила камеристка, — если бы видели, как она провожала взглядом молодого человека, когда он уезжал: стояла ну точь-в-точь как жена Лота. Моя госпожа — добрая леди, и высоконравственная, и в поведении безупречная, никто о ней и слова плохого сказать

не посмеет, а все же, умереть мне на этом месте, не хотела бы я, чтобы сэр Хэлберт видел ее вчера вечером.

— Фи, фи, фи, — произнес управитель, — слуги должны всё слышать и видеть, но ничего не должны говорить вслух. Кроме того, миледи весьма предана сэру Хэлберту, что и естественно: он самый прославленный рыцарь в наших краях.

— Ну ладно, ладно, — сказала камеристка, — я не имею в виду ничего дурного. Но те, кто поменьше ищут для себя славы на чужбине, скорее находят покой в своем доме — вот и все. И надо принять во внимание, что именно одиночество толкнуло миледи на то, чтобы приблизить к себе первого попавшегося нищего мальчишку, которого собака вытащила из озера и принесла ей в зубах.

— Вот поэтому-то, — сказал управитель, — я и говорю: не торопитесь радоваться, не радуйтесь чересчур, миссис Лилиас, ибо если миледи нужен был любимчик для препровождения времени, то уж можете не сомневаться — теперь, когда его не стало, время будет тянуться для нее более томительно. Стало быть, ей придется найти себе другого любимчика. А если уж она захочет иметь такую игрушку, игрушка тут же и явится.

— А где она сможет найти ее себе, как не среди своих испытанных и преданных слуг, — сказала миссис Лилиас, — среди тех, кого она кормит и поит столько лет. Я знаю немало таких же знатных дам, которые и не помышляют о каком-нибудь ином друге или фаворите, если при них состоит камеристка, и притом они всегда с должным уважением относятся к старому преданному дворецкому, мейстер Уингейт.

— По правде говоря, миссис Лилиас, — ответил управитель, — вижу я, куда вы метите, да только сомневаюсь, что ваша стрела попадет в цель. Если миледи настроена так, как вы предполагаете, то ни вам с вашими гофрированными чепцами (хотя они и заслуживают весьма уважительного к себе отношения), ни мне с моей сединой и золотой цепью не заполнить пустоты, которую, несомненно, образовал в

жизни миледи уход Роланда Грейма. Это сделает либо молодой ученый-богослов, проповедующий какую-нибудь новую доктрину, либо ученый-лекарь, пользующий больных каким-нибудь новым снадобьем, либо отважный воин, которому будет милостиво даровано право носить цвета миледи на рыцарских турнирах, или, наконец, искусный арфист, умеющий приворожить сердце женщины, как это сделал, по слухам, синьор Давид Риччо с нашей бедной королевой. Вот какие люди могут возместить утрату обожаемого фаворита, а не старый дворецкий или пожилая камеристка.

— Ладно, — ответила Лилиас, — вы человек опытный, мейстер Уингейт, а уж по правде сказать, хотелось бы мне, чтобы милорд перестал ездить туда и сюда и получше присматривал за тем, что творится у него дома. Погодите, среди нас еще тут окажутся паписты: ведь я нашла в вещах нашего любимчика — что бы вы думали? Ни больше, ни меньше, как золотые четки. Поверите ли, самые настоящие Ave и Credo.¹ Я бросилась на них, как ястреб.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь, — сказал дворецкий, с понимающим видом кивнув головой. — Я часто замечал, что мальчишка выполняет какие-то странные обряды, сильно отдающие папизмом, и притом всячески старается скрыть их. Но католика под плащом пресвитерианина можно обнаружить столь же часто, как плута под монашеским капюшоном. Ну что же, все мы смертны... А четки-то недурны, — добавил он, внимательно разглядывая их. — В них будет, пожалуй, унции четыре чистого золота.

— Я сразу же отдам их переплавить, — сказала камеристка, — пока они не ввели во искушение какую-нибудь бедную заблудшую душу.

— Так, так! Это будет очень предусмотрительно, миссис Лилиас, — заметил управитель, одобрительно кивнув головой.

¹ Ave (Ave Maria) — «Богородице, дево, радуйся»; Credo — «Верую» — названия католической молитвы и символа веры. Ими обозначались малые и большие бусины на четках.

— Я велю сделать из них, — сказала миссис Лилиас, — две пряжки для туфель. Ни за что на свете не стала бы я носить хоть на дюйм выше ступни папистские побрякушки или что-нибудь, сделанное из них, будь это даже бриллианты, а не золото. Вот вам плоды того, что отец Амвросий бродит тут тихонечко по замку, как кот, подбирающийся к кринке со сметаной.

— Отец Амвросий — брат нашего господина, — веско заметил управитель.

— Совершенно справедливо, мейстер Уингейт, — ответила его собеседница. — Но это еще не основание для того, чтобы развращать папизмом честных подданных короля.

— Боже упаси, — ответил благонамеренный мажордом, — но все же есть люди и похуже папистов.

— Не представляю, где можно их сыскать, — довольно сухо сказала камеристка. — Сдается мне, мейстер Уингейт, если бы с вами кто-нибудь заговорил о дьяволе, вы и тогда заявили бы, что бывают на свете люди похуже самого сатаны.

— Конечно, я мог бы так сказать, — возразил управитель, — если бы видел сатану так же близко, как вижу вас.

Камеристка вскочила с места, восклицая: «Господи помилуй!» — и добавила:

— Я удивляюсь, мейстер Уингейт, что вам доставляет удовольствие так пугать людей!

— Нет, нет, миссис Лилиас, я вовсе не хотел этого, — ответил тот, — но подумайте: пока что паписты в проигрыше, однако кто знает, сколько продлится это «пока»? На севере Англии живут два могущественных графа; оба они паписты и ненавидят самое слово «Реформация». Я имею в виду графов Нортумберленда и Уэстморленда, обладающих достаточной силой, чтобы поколебать любой трон в христианском мире. Далее: хотя наш шотландский король — благослови его господь! — истинный протестант, все же он еще ребенок; притом пока что жива его мать, которая была нашей королевой (я надеюсь, что не совершу ничего дурного,

призвав и на нее благословение господне); а ведь она католичка. И уже многие начинают думать, что с ней обошлись слишком сурово; так думают Гамильтоны на западе, кое-кто из дворян, живущих в наших пограничных областях, Гордоны на севере. Все они хотят решительных перемен. А если такие перемены действительно произойдут, королева снова получит свою корону, опять пойдут в ход обедни и кресты, и тогда конец кафедрам проповедников, женевским мантиям и черным шелковым ермолкам.

— Да как же у вас, мейстер Джаспер Уингейт, у вас, который слышал истинное божье слово, внимая речам честнейшего и безупречнейшего человека, мистера Генри Уордена, как у вас, повторяю я, хватает хладнокровия даже таить про себя, а не то что высказывать вслух мысль, что папизм снова может обрушиться на нас или что женщина по имени Мария снова может сделать шотландский престол средоточием этой мерзости? Не удивительно, что вы так учтивы с долгополым монахом отцом Амвросием, когда он является в замок, бродит тут с опущенными глазами, никогда не поднимая их на миледи, и говорит тихим, медоточивым голосом, расточая свои благословения. И кто же охотнее всех принимает их, как не вы, мейстер Уингейт?

— Миссис Лилиас, — возразил дворецкий с таким видом, который ясно показывал, что он намерен прекратить спор, — на это есть свои причины. Если я любезно принимал отца Амвросия и смотрел сквозь пальцы, когда он, бывало, перекинется словечком с этим самым Роландом Греймом, то это не значит, что мне было дело до его благословений или проклятий, а значит только, что я уважаю родню моего господина. А кто может поручиться, что, в случае нового появления на престоле Марии, отец Амвросий не окажется такой же надежной опорой для нас, какой всегда был его брат? Ведь когда королева вернет себе власть, тогда худо придется графу Мерри, и дай бог, чтобы у него еще голова удержалась на плечах. Худо придется и нашему рыцарю вместе с его покровителем графом. Кто же тогда скорее всего вскочит в опу-

стевшее седло? Конечно же, он — отец Амвросий. Римский папа в скором времени может разрешить его от монашеского обета, и тогда вместо священнослужителя отца Амвросия перед нами предстанет воин сэра Эдуард.

Миссис Лилиас от гнева и изумления не могла произнести ни слова, пока ее старый приятель самодовольным тоном развертывал перед ней свои политические соображения. Наконец ее возмущение нашло себе выход в негодующей и презрительной речи:

— Как, мейстер Уингейт! Вы столько лет ели хлеб миледи (не будем сейчас говорить о милорде) — и теперь спокойно допускаете, что какой-то жалкий монах, в котором нет ни капли ее родной крови, когда-нибудь захватит законно принадлежащий ей замок Эвенелов? Да хотя я только женщина, а первая схвачусь с ним, и еще посмотрим, чья возьмет — юбка или сутана. Стыдитесь, мейстер Уингейт! Если бы мы с вами не были так давно знакомы, все это уже дошло бы до ушей миледи, — пусть бы меня даже обвинили в том, что я сплетничаю и выслуживаюсь, как в тот раз, когда я рассказала, что Роланд Грейм подстрелил дикого лебедя.

Мейстер Уингейт несколько испугался, увидев, что, подробно излагая свои пронизательные политические суждения, он вызвал в собеседнице не столько восхищение своей мудростью, сколько сомнение в настоящей преданности. Он постарался как можно быстрее исправить свою оплошность и объяснить, что не имел в виду ничего предосудительного, хотя сам при этом был внутренне чрезвычайно оскорблен тем нелепым, с его точки зрения, выводом, какой угодно было сделать миссис Лилиас Брэдборн из его слов; в глубине души он был убежден, что она не одобрила его соображений исключительно по той причине, что, в случае перехода замка во владение к отцу Амвросию, последний, конечно, будет нуждаться в услугах дворецкого, тогда как услуги камеристки окажутся в этом случае совершенно излишними.

Объяснение дворецкого было принято так, как обычно принимаются объяснения такого рода, после

чего друзья расстались: Лилиас отправилась в комнату госпожи, куда ее призывал серебряный свисток, а мудрый мажордом вернулся к исполнению своих ответственных обязанностей. Прощаясь, они сдержанней обычного выразили друг другу свое почтение и уважение: дворецкий почувствовал, что его житейская мудрость посрамлена более бескорыстной привязанностью камеристки, а миссис Брэдборн обнаружила, что ее старый приятель — из тех людей, которые всегда держат нос по ветру.

Глава VII

Когда шестипенсовик я покажу,
В любой деревне мне верят в долг;
А нет ни гроша — наградят пинком:
Никто не знается с бедняком.

Старинная песня

Пока продолжалась описанная нами в предыдущей главе беседа об отъезде паж, разжалованный фаворит шагал в полном одиночестве куда глаза глядят и уже успел удалиться на довольно большое расстояние от замка Эвенелов, но все еще не представлял себе с достаточной ясностью, куда он идет и где закончится его путь. Лодку, в которой он покинул замок, он направил к наиболее удаленному от деревни месту на берегу озера, ибо не хотел быть замеченным поселянами. Гордость подсказывала ему, что он, как отвергнутый фаворит, вызовет у них любопытство и сострадание, а врожденное душевное благородство заставляло юношу думать, что всякий, кто выразит сочувствие его положению, может навлечь на себя неприятности, если об этом узнают в замке. Одна случайная встреча заставила его убедиться в том, что ему нечего тревожиться о своих друзьях по этому поводу. Роланду попался на пути молодой человек, несколькими годами старше его самого, которому в прежние времена не раз представлялась счастливая возможность участвовать в его забавах в качестве сопровождающего,

обязанного во всем ему подчиняться. Ралф Фишер поспешил ему навстречу и дружески, хотя и не без почтительности, приветствовал его.

— Что это вы, мейстер Роланд, переправились на этот берег без сокола и без гончей?

— Да, без сокола и без гончей... — отозвался Роланд. — Верно, никогда уж мне больше не бывать на охоте. Я отставлен от должности. Словом, я ушел из замка.

Ралф очень удивился словам Роланда.

— Что же, вы переходите на службу к рыцарю, будете носить кольчугу и копье?

— Да нет, — ответил Роланд Грейм, — ничего подобного. Я совсем оставил службу в доме Эвенелов.

— А куда же вы направляетесь в таком случае? — спросил молодой крестьянин.

— Гм! Это вопрос, на который сразу не ответишь. Я еще и сам не решил куда, — отозвался разжалованный фаворит.

— Вот оно что! — сказал Ралф. — Ну, тогда я ручаюсь, что вам все равно, какой дорогой идти: уж наверно, миледи, отпуская вас, не забыла набить потуже ваш кошелек.

— Жалкий раб! — вскричал Роланд Грейм. — Ты что же, думаешь, что я мог принять помощь от той, которая предала меня поношению и обрекла на нужду из-за подстрекательств ханжи священника и проныры служанки? Первый же кусок хлеба, купленный на такое подаяние; застрял бы у меня в глотке.

Ралф окинул своего бывшего друга взглядом, который выражал удивление, смешанное с презрением.

— Ладно, — сказал он наконец, — не из-за чего так выходить из себя. Каждый сам знает, что ему по душе, что нет. Вот если бы, к примеру, я оказался, как вы сейчас, чуть свет в чистом поле и не знал, куда податься, то был бы, пожалуй, не прочь иметь в кармане несколько золотых, откуда бы они ни взялись. А может быть, вы пойдете со мной в дом моего отца, отдохнете у нас одну ночку — завтра-то мы ждем моего дядю Менелая со всей его семьей, — но если на одну ночку...

То обстоятельство, что, предлагая ему кров над головой, Ралф сделал это с явной неохотой и к тому же заранее ограничил свое гостеприимство одной ночью, оскорбило гордость отвергнутого фаворита.

— Уж лучше я просплю одну ночь на вереске под открытым небом, как делал не раз и раньше по менее серьезным причинам, чем в закопченной лачуге твоего отца, насквозь пропахшей дымом и асквибо, как плед горца, — сказал Роланд Грейм.

— Поступайте как знаете, молодой сэр, раз уж вы такой неженка, — ответил Ралф Фишер. — Вам еще может очень понравиться запах торфа в очаге и запах асквибо, когда вы хорошенько попутешествуете таким способом, какой вы избрали. Вы могли бы и поблагодарить за сделанное вам предложение, тем более что не всякий согласится пойти на неприятности, пригревая выгнанного слугу.

— Ралф, — сказал Роланд Грейм, — ты, наверно, забыл, как я тебя лупил когда-то, а ведь сейчас у меня в руках та же плетка, которой ты уже отведал.

Ралф, здоровенный, коренастый парень, обладавший физической силой, которая была бы под стать взрослому мужчине, и потому уверенный в своем безусловном превосходстве над стоявшим перед ним тщедушным подростком, только презрительно рассмеялся в ответ на его угрозы.

— Может быть, и та же плетка, — сказал он, — да не та теперь погодка; вот вам и стишок, совсем как в настоящей балладе. Послушай-ка, бывший паж миледи, когда прежде ты замахивался хлыстом, я не отвечал тебе тем же только из страха перед твоими господами, а никак не перед тобой самим. А сейчас уже и не знаю, что удерживает меня от того, чтобы расквитаться с тобой за старое вот этой дубиной, показать тебе, что я берег ливрею твоей госпожи, а не твою шкуру и кости, мейстер Роланд.

Видя, как рассвирепел его собеседник, Роланд Грейм понял, что продолжать препирательство значит быть избитым этим грубияном, который был намного сильнее и старше его; и в то время как его противник своим презрительным вызывающим смехом, каза-

лось, приглашал его помериться силой, он вдруг почувствовал всю глубину своего унижения и горько заплакал, закрыв лицо руками и безуспешно стараясь скрыть брызнувшие из глаз слезы.

Даже такого неотесанного деревенщину, как Ралф, не могло не пронять горе его бывшего товарища.

— Ну полно, мейстер Роланд, — промолвил он, — будем считать, что я сказал все это в шутку. Не стал бы я тебя обижать, дружище, хотя бы в память старого знакомства. Но наперед всегда смотри, с кем имеешь дело, прежде чем грозить человеку плеткой. Ведь твоя рука, дружище, вроде как веретенышко против моей. Чу! я слышу голос Адама Вудкока; он зовет своего сокола. Пойдем, парень, мы хорошо проведем денек, а потом отправимся прямехонько в дом моего отца — что с того, что там пахнет дымом и асквибо. Может быть, удастся найти для тебя какой-нибудь способ честно зарабатывать себе на хлеб, хотя это и не легко сделать в наши нескладные времена.

Несчастный паж ничего не ответил, по-прежнему пряча лицо в ладонях. Тогда Фишер заговорил снова в таком тоне, который казался ему наиболее подходящим для утешения:

— Видишь ли, парень, когда ты был любимчиком миледи, люди считали тебя гордецом, а некоторые думали даже, что ты папист и еще бог знает кто; теперь, когда за тебя больше некому постоять, ты должен быть общителен и дружелюбен со всеми; должен исправно посещать проповеди пастора, чтобы люди забыли все плохое, что говорилось о тебе; если пастор скажет, что ты в чем-нибудь виноват, опускай ниже голову; если же какой-либо дворянин или даже его фаворит бросит тебе в лицо бранное слово либо мимоходом ударит тебя, отвечай — «спасибо за то, что выбили пыль из моего костюма» или что-нибудь в этом роде, как я сам раньше отвечал тебе. Слышишь, Адам Вудкок свистит снова. Пойдем, я по пути научу тебя всей этой премудрости.

— Благодарю, — сказал Роланд Грейм, стараясь показать всем своим видом безразличие к словам собеседника и свое превосходство над ним, — но пе-

редо мной лежит другая тропа, а твоей я не мог бы избрать никогда.

— Истинная правда, мейстер Роланд, — ответил парень, — каждый человек сам лучше разбирается в своих делах, так что не буду сбивать тебя с твоей, как ты говоришь, тропки. Давай руку, дружище, чтобы нам добром помянуть прошлое. Что? Не хочешь даже пожать руку на прощанье? Ну ладно, дело твое. Счастливый тебе путь, и да благословит тебя господь.

— Прощай, прощай, — нетерпеливо произнес Роланд, и парень, насвистывая, неторопливо пошел прочь, явно довольный тем, что избавился от товарища, чьи претензии могли бы принести немало хлопот и от которого теперь не было никакой пользы.

Пока оба они еще могли видеть друг друга, Роланд Грейм заставлял себя идти вперед, чтобы прежний его приятель не увидал его стоящим на одном месте и не сделал вывода об отсутствии у него твердых намерений и определенной цели; однако усилие это потребовало от Роланда очень большого напряжения. Он был словно оглушен, голова у него кружилась, земля казалась неустойчивой и уходила из-под ног, как трясина. Один или два раза он чуть не упал, хотя тропа, по которой он шел, пролегала по твердой земле, среди зеленеющего луга. Несмотря на внутреннее возбуждение, вызывавшее эти ощущения, он упорно продвигался вперед до тех пор, пока фигура его товарища не скрылась вдали, за склоном горы; но затем мужество сразу же оставило его; он сел на траву и, так как поблизости не было ни души, его оскорбленная гордость, обида и страх прорвались наружу, найдя себе естественное выражение в безудержных и горьких рыданиях. Когда этот первый приступ отчаяния прошел, всеми покинутый, одинокий юноша почувствовал душевное облегчение, обычно наступающее после того, как человек даст выход своему горю. Слезы еще продолжали катиться по его щекам, но теперь уже им не владело такое острое чувство заброшенности: оно сменилось щемящей, но более спокойной грустью, навеянной воспоминаниями о его

благодетельнице, о ее неизменной доброте, благодаря которой она была всегда расположена к нему, несмотря на вызывающую дерзость многих его поступков (теперь ему самому казавшихся весьма оскорбительными), оберегала его как от интриг окружающих, так и от последствий его собственного безрассудства и продолжала бы делать это, если бы его чрезмерная самоуверенность не заставила ее отказать ему в своем покровительстве.

«Все унижения, которые я вытерпел, — сказал он себе, — лишь заслуженное возмездие за мою собственную неблагодарность. Разве хорошо это было с моей стороны — жить под кровом моей благодетельницы, пользоваться ее заботами, какими не всякая мать окружает свое родное дитя, и вместе с тем скрывать от нее мое вероисповедание? Но она должна узнать, что католик умеет быть таким же благодарным, как и пуританин, что я не был безнравственным, хотя и вел себя весьма легкомысленно, что даже тогда, когда я особенно озорничал, я любил, уважал и чтил ее и что пригретый ею мальчик-сирота мог совершать небудуманные поступки, но никогда не забывал, чем он ей обязан».

Под влиянием нахлынувших на него мыслей он повернулся и быстро зашагал обратно, по направлению к замку. Но этот бурный порыв раскаяния сразу утих, как только Роланд подумал, с каким холодным презрением должны обитатели замка посмотреть на возвратившегося беглеца, который, как они обязательно будут считать, унизился до роли просителя, явившегося вымаливать прощение за свою вину и ходатайствовать о позволении вернуться на службу. Он замедлил шаг, но не остановился.

«Мне все равно, — подумал он, преисполняясь решимости, — пусть они перемигиваются, кивают, указывают на меня пальцами, рассуждают о пристыженной самонадеянности и сломленной гордости — пусть! Это будет заслуженным наказанием за мое безрассудство, и я вытерплю все. Но если она, моя благодетельница, сочтет меня достаточно низким и малодушным

для того, чтобы просить у нее не только прощения, но и возврата мне тех преимуществ, которыми я пользовался благодаря ее расположению, — если она заподозрит меня в подлости, этого я не смогу перенести».

Он остановился; гордость и присущее ему от природы упрямство, борясь в нем с другим, более высоким чувством, подсказывали ему, что лучше навлечь на себя презрение леди Эвенел, нежели вновь обрести ее благосклонность, пойдя по тому пути, на который толкнула его внезапно возникшая в нем жажда раскаяния.

«Если бы еще был какой-нибудь удобный предлог, — подумал он, — какая-либо веская причина для моего возвращения или извиняющее меня обстоятельство; что-нибудь, показывающее, что я пришел не как униженный проситель или выброшенный за дверь слуга, — тогда я мог бы пойти туда; но так я не могу, — сердце мое выскочит из груди и разорвется».

В то время как эти мысли проносились в сознании Роланда, что-то промелькнуло в воздухе перед самыми его глазами, на мгновение ослепив его и едва не задев пера на его шляпе. Он поднял глаза: любимый сокол сэра Хэлберта кружился над его головой и, казалось, старался привлечь его внимание, как будто узнал в нем своего старого друга. Протянув руку, Роланд издал привычный возглас; сокол тотчас сел ему на запястье и стал охорашиваться, время от времени поворачивая к юноше свой блестящий желтый глаз и бросая на него острый взгляд, как бы вопрошавший, почему он не ласкает его с обычной нежностью.

— Ах, Алмаз, — сказал Роланд птице, будто она могла понять его, — мы с тобой должны теперь расстаться навсегда. Много раз видел я, как ты бросался камнем вниз и поражал беспечную цаплю; но теперь все это в прошлом — кончилась для меня соколиная охота.

— А почему, мейстер Роланд? — спросил сокольниковый Адам Вудкок, появляясь из-за скрывавшего его

кустарника. — Почему это для тебя кончилась соколиная охота? Ну что за жизнь была бы у нас без этой забавы! Знаешь старую веселую песню:

Уж лучше в темнице бы Аллену гнить,
Чем на свободе без сокола жить.
Ах, жить, не охотясь, — такая тоска!
Уж лучше тогда гробовая доска.

Речь сокольничего была добродушной и дружелюбной; когда он читал нараспев свою незамысловатую балладу, то слушая его, нельзя было усомниться в его неподдельной искренности и сердечности. Но воспоминание о происшедшей меж ними ссоре и ее последствиях сковывало Роланда, и он не знал, что ответить.

Сокольничий заметил его неуверенность и сразу угадал, в чем ее причина.

— Что это ты, мейстер Роланд? — сказал он. — Неужто ты, наполовину англичанин, думаешь, что я, с головы до пят англичанин, могу иметь зуб на тебя, да еще когда ты в горе? Этак я был бы похож на иных шотландцев (я, как всегда, исключая из их числа моего уважаемого господина), которые умеют быть учтивыми и лицемерно-приветливыми, но ждут, когда придет их время, а пока что, как они говорят, завязывают узелок на память: делят с вами пищу и питье, охотятся и пускают вместе с вами соколов, а в подходящий момент мстят за какую-нибудь старую обиду ударом кинжала в спину. Мы, мирные йоркширцы, не помним зла. А тебе, парень, я скорее прощу здоровый тумак, чем кому другому — грубое слово. Это потому, что ты понимаешь толк в соколиной охоте, хоть и считаешь, что птенцов надо кормить промытым мясом. Так что давай руку и не злись больше.

Хотя Роланд и чувствовал, что его благородная кровь восстает против слишком вольной манеры честного Адама, все же подкупающая искренность сокольничего покорила его. Закрыв лицо одной рукой, он протянул другую Адаму и охотно ответил на его дружеское рукопожатие.

— Ну вот, так-то оно получается сердечнее, — промолвил Вудкок. — Я всегда говорил, что у тебя доброе сердце, хотя в тебе и сидит дьяволенок — это уж на-верняка. Я нарочно отправился с соколом сюда, чтобы найти тебя, а этот неотесанный мужлан, Ралф, сказал мне, по какой дороге ты пошел. Ты всегда был слишком добр к этому пустобреху, мейстер Роланд, а он, по сути, ничего не смыслит в охоте — разве что от тебя кой-чему научился. Я видел, что тут было между вами, и прогнал его прочь от себя, крикнув ему вдогонку, что не могу терпеть рядом с собой вероломного слугу, — лучше уж держать коршуна среди соколов. А теперь, мейстер Роланд, скажи, куда ты держишь путь?

— Куда бог поведет, — ответил паж со вздохом, который он не смог подавить.

— Ну, ну, парень, не роняй перьев из-за того, что тебя бросили на произвол судьбы, — сказал сокольничий. — Как знать, может быть, от этого твои крылья только окрепнут и ты взлетишь еще выше. Вот, к примеру, наш Алмаз: благородная птица — и как нарядно выглядит со своим колпачком, бубенчиками и тесемками; а ведь в Норвегии есть немало диких соколов, которые не захотели бы поменяться с ним своим положением. То же самое сказал бы я и о тебе. Ты больше не паж миледи, и так красиво, как раньше, теперь тебе не одеваться, так сладко не есть, так мягко не спать, так нарядно не выглядеть. Ну и что же из того? Пускай ты больше не состоишь пажом при даме, зато ты принадлежишь самому себе и можешь идти, куда тебе угодно, не ожидая всякую минуту, что тебя окриknут или позовут свистком. Самое худое здесь то, что ты не можешь больше охотиться; но кто знает, чего ты еще можешь достичь в жизни? Говорят, что сам сэр Хэлберт — я говорю о нем с глубоким уважением — когда-то был рад получить от аббата должность лесничего, а теперь у него есть собственные гончие, и соколы, и сокольничий Адам Вудкок в придачу.

— Ты прав, Адам, мне по душе твои слова, — ответил юноша, сильно покраснев. — Сокол без бубен-

цов может взлететь намного выше, чем с ними, хотя бы они были сделаны из чистого серебра.

— Вот это сказано как надо! — воскликнул сокольничий. — Ну, а куда же теперь?

— Я думал пойти в Кеннаквайрское аббатство, — ответил Роланд Грейм, — попросить совета у отца Амвросия.

— И иди себе с богом, — сказал сокольничий. — Правда, может статься, что ты найдешь старых монахов в некотором расстройстве: говорят, народ хочет выкурить их из келий и отслужить в старой церкви обедню дьяволу; люди считают, что слишком долго воздерживались от этой забавы, и, по правде говоря, я с ними вполне согласен.

— В таком случае для отца Амвросия будет полезно, если рядом с ним окажется друг, — решительно сказал паж.

— Так-то так, мой юный храбрец, — возразил сокольничий, — да только для этого друга едва ли будет полезно оставаться рядом с отцом Амвросием: подвернется как-нибудь под руку, да и схватит ни за что пару-другую тумачков, — вот и выйдет ему в чужом пиру похмелье, а уж что может быть хуже!

— Меня это не пугает, — сказал паж, — страх перед тумачками не удержал бы меня; но я боюсь, что нарушу покой братии, если явлюсь к отцу Амвросию. Лучше я переночую в келье святого Катберта — старый отшельник предоставит мне убежище на ночь, — а оттуда сообщу о себе отцу Амвросию и попрошу его совета, прежде чем сам пойду в монастырь.

— Клянусь пресвятой девой, — сказал сокольничий, — это подходящий план. А теперь, — продолжал он, и при этом его прежняя непосредственность вдруг сменилась неловким смущением, словно ему нужно было что-то сказать, но он затруднялся в выборе выражений, — теперь вот что: тебе известно, что я ношу при себе кошель с мясом для соколов, но знаешь ли ты, чем он подбит изнутри, мейстер Роланд?

— Кожей, конечно, — ответил Роланд, несколько удивленный той несмелостью, с которой Адам Вудкок задал свой вопрос, казалось бы, столь простой.

— Думаешь, кожей? — произнес Вудкок. — Да, но, сверх того, еще и серебром. Смотри-ка, — тут он показал потайной разрез в подкладке своей должностной сумки,¹ — видишь, здесь ровно тридцать гротов с изображением короля Гарри, самые лучшие из тех, что чеканились во времена старого рубаки Хэла. Десять из них готовы тебе служить от всей души. Уф, наконец-то выпалил!

Первым побуждением Роланда было отказаться от всякой помощи; но он вспомнил обет смирения, который только что дал самому себе, и рассудил, что как раз сейчас представляется возможность испытать твердость принятого решения.

Усилием воли овладев собой, он со всею душевною, какую только мог проявить, поступая прямо противоположно своим наклонностям, ответил Адаму Вудкоку, что с благодарностью принимает его любезное предложение, но тут же, ища удовлетворения своей вновь проснувшейся гордости, добавил, что надеется вскоре вернуть долг.

— Это уж как захочешь, как захочешь, молодой человек, — радостно сказал сокольник, отсчитывая и вручая своему юному другу деньги, которые так щедро предложил. Затем он весело добавил:

— Теперь можешь бродить по белу свету; потому что кто умеет ездить верхом, трубить в рог, натравливать гончих, спускать сокола да орудовать мечом и щитом, имея пару целых башмаков, зеленый камзол и десяток новехоньких гротов в кошельке — тому сам черт не брат! Прощай, и да благословит тебя бог!

Сказав это, он круто повернулся, словно желая избежать благодарности своего собеседника, и пошел прочь, оставив Роланда Грейма продолжать свое путешествие в одиночестве.

¹ Такая сумка, как и прочие принадлежности соколиной охоты, считалась почетным отличием. Ее часто носили знатные вельможи. Одного дворянина из рода кэмнитенских Соммервиллов называли «сэр Джон с красной сумкой», потому что он имел обыкновение носить при себе сокольный кошель, обтянутый атласом алого цвета. (Прим. автора.)

Глава VIII

Погасли свечи, храм во мраке,
Повсюду разрушенья знаки,
Разорены святыя раки,
И колокол затих.

Алтарь поверженный — во прахе,
Распятые сломано, и в страхе
По свету разбрелись монахи...
Господь, помилуй их!

*Rediviva*¹

Так называемая пустынь святого Катберта была, или по крайней мере считалась, одним из тех мест отдохновения этого почтенного святого, в которых он велел останавливаться своим монахам, когда они, изгнанные датчанами из своего монастыря в Линдисферне, превратились в странствующую монашескую братию. Переходя с места на место, они обошли всю Шотландию, а частично также и Англию, неся на плечах своего патрона, пока наконец он не пожелал освободить их от обязанности носить его на себе и не избрал местом своего постоянного пребывания величественный храм в Дареме. Аромат святости оставался после него всюду, где он давал монахам краткий отдых от их трудов; и горды были те, кто мог назвать в своей округе какое-нибудь место, где хоть ненадолго останавливался святой Катберт. Пустынь святого Катберта, куда Роланд Грейм направил свой путь, была одной из самых известных и почитаемых в стране; она была расположена к северо-западу от Кеннаквейрского аббатства, которому была подчинена, на довольно большом расстоянии от него. Этот край обладал такими преимуществами, которые римско-католическое духовенство всегда принимало в расчет при выборе места для монастыря. Здесь был целебный источник, покровителем и патроном которого считался, конечно, святой Катберт; источник этот время от времени приносил обитавшему в пустыни отшельнику некоторый доход, — поскольку никому и в голову не приходило воспользоваться целительной

¹ Возрожденная (церковь) (лат.).

силой воды, не одарив щедро священнослужителя. Ключок плодородной земли был занят садом; возделывал его сам монах. Небольшая гора, поросшая лесом, возвышалась за пустыню, прикрывая ее с северо-востока, а с противоположной, юго-западной стороны, куда здание было обращено фасадом, простиралась не тронутая рукой человека, но приятная для глаза долина, по которой бежал быстрый ручей, увлекая за собой встречавшиеся на его пути камни.

Обитель была скорее простым, нежели грубым сооружением; она представляла собой невысокое здание в готическом стиле с двумя помещениями скромных размеров, одно из которых служило жилищем для монаха, а другое — часовней. Поскольку мало кто из представителей белого духовенства отваживался селиться так близко от границы, население нуждалось в помощи монаха для исполнения религиозных обрядов, пока католическая вера еще сохраняла преобладающее влияние в стране; он мог заключать браки, крестить и совершать другие таинства римской церкви. Однако в последнее время, в связи с широким распространением протестантского учения, он предпочитал жить в строгом отшельничестве, стараясь по возможности не привлекать к себе внимания и не вызывать ничьего недовольства. Но внешний вид здания, каким его увидел добравшийся сюда к концу дня Роланд Грейм, ясно показывал, что все предосторожности монаха оказались бесполезными.

Первым побуждением пажа было постучать в дверь, но он тут же с удивлением заметил, что она распахнута настежь, и вовсе не потому, что ее решили оставить незапертой: верхняя петля была сорвана, и дверная створка, держась только на нижней петле, не могла больше выполнять свое назначение. Несколько встревоженный этим и убедившись, что никто не отвечает ни на стук, ни на зов, Роланд внимательно осмотрел здание снаружи, прежде чем решил войти в него. Цветы, посаженные вдоль стен и любовно выращенные, были сорваны, по-видимому, недавно; помятые и истерзанные, они в беспорядке валялись на земле. Окно было разбито, а решетка на нем —

с силой вдавлена внутрь. Сад, который всегда выглядел аккуратным и красивым благодаря неустанным заботам монаха, теперь был разорен и вытоптан сапогами и конскими копытами, следы которых были отчетливо видны на земле.

Не избежал печальной участи и чудотворный ключ. Прежде он бил под сенью сводчатой аркады, которую еще в древние времена воздвигли верующие, заботясь о чистоте и сохранности источника целебных вод. Теперь эта аркада была почти полностью разрушена: камни, из которых она состояла, были навалены на источник, как бы нарочно для того, чтобы закрыть выход для воды и уничтожить ключ, доселе разделявший славу своего святого покровителя, а отныне вместе с ним обреченный на забвение. Часть крыши была сорвана, а один из углов здания явно пытались обрушить при помощи рычагов и вóрота, так как несколько больших камней фундамента было выворочено; но у осаждающих, по-видимому, не хватило времени и терпения, чтобы преодолеть прочность старинной кладки, и они отказались от этой затеи. Такие разрушенные здания по прошествии многих лет, в течение которых природа постепенно прикрывает ползучими растениями и сглаживает ветром и дождем следы повреждений, приобретают меланхолическую красоту руин. Но когда взору предстают свежие, недавно причиненные повреждения, ничто не смягчает потрясающей душу картины опустошения; именно таким было зрелище, открывшееся юному пажу; он глядел на него с естественным ужасом, который охватил бы в этом случае каждого.

Оправившись от первого потрясения, Роланд Грейм без труда сообразил, кем мог быть учинен такой разгром. Уничтожение зданий, принадлежащих католической церкви, происходило не сразу по всей Шотландии, а разновременно, и судьба их зависела от того, как было настроено местное реформатское духовенство: некоторые из протестантских священнослужителей подстрекали своих прихожан на эти разрушительные действия, другие же, обладая более тонким вкусом и более возвышенными чувствами, старались

спасти от гибели древние храмы и желали только, чтобы они были очищены от предметов языческого поклонения. Поэтому население шотландских городов и деревень, побуждаемое чувством отвращения к папистскому суеверию или же поучениями наиболее пылких проповедников, время от времени снова принималось разрушать, направляя свою ярость на уединенно расположенные монастыри, часовни или пустыни, которые уцелели после первой вспышки возмущения против римско-католической религии. Во многих местах пороки католического духовенства, порожденные богатством и лихоимством всех членов этой гигантской иерархии, были настолько велики, что мстительное уничтожение зданий, в которых они обитали, казалось вполне оправданным. Старый шотландский летописец приводит тому замечательный пример:

— Зачем скорбите вы об этом разрушенном здании? — сказала одна пожилая женщина людям, которые выражали недовольство тем, что толпа сожгла такой красивый монастырь. — Если б вам были ведомы хотя бы некоторые из гнусных дел, какие творились в этом доме, вы восславили бы божий приговор, не допустивший, чтобы даже эти бесчувственные стены оставались стоять на христианской земле, ибо они скрывали ужасающее распутство.

Но хотя во многих случаях разрушение зданий римско-католической церкви было актом справедливости, как считала эта женщина, или актом политической необходимости, как считали другие, несомненно, что уничтожать памятники благочестия и щедрости старых времен, да еще в такой бедной стране, как Шотландия, где нельзя было надеяться на замену их новыми сооружениями, значило совершать дело недостойное, зловердное и варварское.

Уединенность простого, мирного обиталища, в котором некогда жил святой Катберт, до сих пор оберегала монаха-отшельника от общего бедствия, но теперь, как видно, несчастье настигло и его. Желая поскорее узнать, остался ли невредимым хотя бы сам монах, Роланд Грейм вошел в полуразрушенную пустынь.

Внутренний вид здания подтвердил худшие предположения, которые возникли у него, когда он рассматривал наружные повреждения. Немногочисленная грубая утварь отшельника была разбита и разбросана по полу, посередине которого, видимо, разжигался из обломков костер, чтобы уничтожить все остальные вещи, и в особенности — примитивную старинную фигуру, изображавшую святого Катберта в епископском облачении. Фигура лежала теперь поверженной на очаге, подобно древнему Дагону; она была разрублена топором и покоробилась от огня, но не погибла окончательно. В маленьком помещении, служившем часовней, был опрокинут алтарь, и четыре массивных камня, из которых он был сложен, беспорядочно лежали на полу. Большое каменное распятие, занимавшее нишу позади алтаря и обращенное к молящимся, было сброшено со своего места и от собственной тяжести раскололось на три куска. На каждом из них были заметны следы кувалды, но изображение не было уничтожено полностью из-за больших размеров и прочности оставшихся кусков, на которых, несмотря на значительные повреждения, скульптура отчасти сохранилась, так что можно было понять, что она представляла собой прежде.

Роланда Грейма, тайно воспитанного в католических догматах, ужаснуло это надругательство над распятием, самой священной, согласно его вере, эмблемой нашей христианской религии.

— Негодяи! — вскричал он. — Они осмелились осквернить символ нашего искупления. О боже, если бы моих слабых сил хватило на то, чтобы восстановить его! О, если бы я только мог стереть следы святотатства!

Обдумывая, как взяться за эту задачу, он наклонился над обломками и вдруг, с неожиданным для себя самого приливом сил, поднял за один конец нижний брус креста и перенес его на большой камень, служивший для него цоколем. Ободренный успехом, Роланд взялся за другой конец, и, к собственному изумлению, ему удалось вставить брус в гнездо, из которого он был вырван, и вернуть, таким

образом, этому обломку распятия вертикальное положение.

В то время, как он был занят этой работой, или, точнее говоря, в тот самый момент, когда обломок был водружен на свое место, позади него раздался хорошо знакомый ему резкий голос, который произнес:

— Благое дело совершаешь ты, ревностный и преданный раб господень! Таким я хотела увидеть снова мое любимое дитя, свет очей моих, надежду моей старости.

Роланд в изумлении обернулся и увидел рядом с собой высокую, величественную фигуру Мэгделин Грейм. Старуха была облачена в свободно ниспадавшее одеяние, подобное тем, какие носят в католических странах кающиеся, но черное и лишь несколько отличающееся по своему покрою от паломнического плаща, чтобы его можно было безопасно носить в стране, во многих местах которой обвинение в исповедании католичества угрожало тяжелыми последствиями для всякого, кого можно было заподозрить в приверженности старой вере. Роланд Грейм упал к ее ногам. Она подняла его и заключила в объятия; это, несомненно, был порыв искренней любви, но тем не менее ее лицо не утратило строгого выражения, граничащего с суровостью.

— Ты сумел сохранить голубя в своем сердце,¹ — сказала она. — И мальчиком и юношей ты твердо держался своей веры. Живя среди еретиков, ты сумел скрыть от врагов нашу тайну. Я плакала, расставаясь с тобой, я редко плачу, но тогда я пролила слезу: не потому, что твоя жизнь была в опасности, но потому лишь, что опасность грозила душе твоей. Я даже не разрешила себе повидаться с тобой, чтобы сказать тебе последнее прости, ибо горе, переполнившее мою душу, выдало бы меня этим еретикам. Но ты сумел сохранить свою веру — так пади же на колени пред

¹ Слова, которые произнес, умирая, сэр Ралф Перси, смертельно раненный в сражении при Хеджли-муре в 1464 году; они должны были означать его нерушимую верность Ланкастерскому дому. (*Прим. автора.*)

священным символом, который злодеи кощунственно хулят и уродуют, возблагодари святых и ангелов за ниспосланную тебе благодать, ибо она оберегла тебя от проказы, укоренившейся в том доме, где ты воспитывался.

— О мать моя! Ибо только так я должен называть вас, — воскликнул Грейм. — Если я вернулся таким, каким вы хотели видеть меня, вы должны благодарить за это благочестивого отца Амвросия: его наставления укрепили в моей душе заповеди, которые вы внушили мне в детстве, научив меня сохранять свою веру и молчать.

— Да будет он благословен за это, — сказала старуха, — благословен везде и повсюду, в келье и в поле, на кафедре и у алтаря. Да осыплют его святые своими милостями! Это они, праведники, побуждают его к свершению благочестивых трудов для противодействия тому злу, которое его ненавистный брат причиняет королевству и церкви. Но он не осведомлен о твоём происхождении?

— Я сам ничего не мог сказать ему об этом, — ответил Роланд. — Мне было известно только одно, с ваших же слов: что сэр Хэлберт Глендининг присвоил мое наследство и что в моих жилах течет такая же благородная кровь, как и в жилах любого шотландского барона. Такие слова не забываются, но сейчас я должен просить вас объяснить мне их.

— Это будет сделано в свое время. Но люди говорят, сын мой, что ты дерзок и вспыльчив. Тем, у кого такой характер, нельзя с легкостью поверять вещи, которые могут привести их в сильное волнение.

— Скажите лучше, мать моя, — возразил Роланд Грейм, — что я хладнокровен и медлителен. Какого еще терпения, какой выдержки можно требовать от того, кто, слушая годами, как высмеивают и оскорбляют его религию, так и не решился вонзить кинжал в грудь богохульника?

— Успокойся, дитя мое, — ответила Мэгделин Грейм, — время вынужденного терпения на исходе: оно сменяется временем, когда надо будет напрячь все свои силы и действовать: надвигаются великие собы-

тия, и ты окажешься среди тех, кто приблизит их. Ты сам оставил службу у леди Эвенел?

— Меня уволили, матушка, попросту прогнали, как самого последнего из слуг.

— Тем лучше, дитя мое, — промолвила старуха. — Твой дух еще более закалится для дела, которое должно быть свершено.

— Только бы оно не причинило вреда леди Эвенел, — сказал паж, — а именно на это как будто намекают ваши слова, и о том же говорит ваш взгляд. Я ел ее хлеб и пользовался ее милостями — и никогда я не позволю себе оскорбить или предать ее.

— Об этом после, сын мой, — сказала Мэгделин, — но ты должен знать, что тебе не дано права хоть в чем-нибудь отступать от твоего долга, говоря: «Вот это я сделаю, а этого делать не буду». Нет, Роланд! И господь бог и сам род человеческий не станут больше терпеть пороков нынешнего поколения. Ты видишь эти обломки? Знаешь ты, что они собой представляют? Как же можешь ты не уравнивать в своем мнении всех этих людей, которые, будучи прокляты небесами, пали так низко, что отвергают, хулят, оскорбляют и разрушают все, во что нам положено верить, что мы обязаны почитать?

Говоря это, она склонилась над сломанным распятием. На лице ее выражались одновременно сильнейшее негодование, одержимость одной идеей и фанатическая набожность. Она подняла левую руку, как бы давая обет, и продолжала:

— Перед этим священным символом нашего спасения, перед твоим ликом, пресвятой угодник, в чьем поруганном храме мы находимся сейчас, я клянусь, что не жажда личной мести заставляет меня преследовать этих ненавистных мне людей и что никакие блага, никакие земные привязанности не заставят меня снять руку с плуга, пока им не будет до конца проведена заветная борозда! Я клянусь в том пред тобою, пресвятой угодник, который некогда был таким же бездомным скитальцем, какими ныне являемся мы сами; пред тобой, милосердная мать божья,

царица небесная; пред всеми вами, святые угодники и ангелы!

Охваченная религиозным экстазом, она стояла, устремив свой взор к звездам, которые уже начинали мерцать в тусклом сумеречном небе, видневшемся сквозь разрушенный свод; вечерний ветер, свободно проникая сквозь эту широкую расселину и разбитые окна, шевелил длинные седые волосы, спадавшие ей на плечи. Роланд Грейм с детства привык робеть перед нею и сейчас, как и в прежние времена, почтительно присмирив от таинственной многозначительности ее слов, не решался просить ее яснее раскрыть те цели, на которые она столь смутно намекала. Сама же она не проявляла больше желания говорить об этом: завершив свою молитву, или заклинание, она благоговейно сложила руки, затем осенила себя крестным знаменiem и вновь обратилась к внуку — уже в другом тоне, более уместном для обыденных житейских дел.

— Ты должен будешь отправиться дальше, Роланд, — сказала она, — но не ранее завтрашнего утра. Тебя не пугает, что ночь тебе придется провести не на таком ложе, к какому ты привык? Ведь ты приучен за эти годы мягко спать — не так, как в ту пору, когда мы с тобой бродили среди туманных Камберлендских и Лидсдейлских гор.

— Я все же не забыл, моя добрая матушка, того, чему научился тогда: я могу спать на жестком ложе, могу скудно питаться и не страдать от этого. За время, прошедшее с тех пор, как мы вместе скитались в горах, я стал охотником, рыбаком и птицеловом, а каждое из этих занятий требует от человека умения проводить ночи под открытым небом, не имея над головой даже такого ненадежного укрытия, какое оставили нам здесь святотатцы.

— Какое оставили нам здесь святотатцы... — повторила старуха слова Роланда и, как бы раздумывая над ними, немного помолчала. — Ты совершенно прав, сын мой, — продолжала она. — Ныне для преданных господу чад его божьи дома и обиталища святых праведников — самые ненадежные убежища. Мы прове-

дем здесь ночь на холоде, овеваемые ветром, дующим сквозь бреши, пробитые в этих стенах еретиками. Но те, кто совершил это, скоро обретут покой там, куда нет доступа холодному ветру. И сон их долго не прервется.

Несмотря на странные, зловещие речи старухи, можно было заметить, что она сохранила в своем сердце такую нежную и преданную любовь к Роланду Грейму, какую обычно испытывают женщины к рожденным ими младенцам или к чужим детям, доверенным их попечению. Казалось, она не хочет позволить ему делать самостоятельно что-либо из того, о чем привыкла заботиться для него сама, и считает, что стоящий перед нею рослый юноша не может обойтись без ее заботливого внимания так же, как и в то время, когда он был маленьким сироткой, который всем был обязан ее любовному уходу.

— Чем же утолишь ты теперь свой голод? — спросила она, перейдя вместе с ним из часовни в келью монаха. — Каким способом ты добудешь огонь, чтобы защититься от резкого немилосердного ветра? Бедное дитя! Ты плохо подготовился к такому длинному путешествию; и ты еще не умеешь проявить сметку, когда средств, имеющихся в твоём распоряжении, недостаточно. Но пресвятая дева поставила рядом с тобой старую женщину, столь же хорошо узнавшую нужду во всех ее видах, как прежде она знала богатство и роскошь. А нужда, Роланд, изобрела необходимые человеку ремесла, она заставляет его быть мастером на все руки.

С озабоченным и хлопотливым видом, что странным образом не соответствовало ее недавним речам, высокопарным и отрешенным от всего земного, она занялась приготовлениями к ужину. Из спрятанной под плащом сумки она достала кремень и огниво, а затем, собрав разбросанные по полу обломки (но не притрагиваясь при этом к кускам, отвалившимся от фигуры святого Катберта), наколола щепок, которых оказалось достаточно, чтобы в очаге покинутой кельи вновь заиграл веселый огонь.

— А теперь, — сказала она, — надо подкрепиться.

— Не думайте об этом, матушка, — сказал Роланд, — если только сами вы не голодны. Для меня будет совсем нетрудно воздержаться сегодня вечером от еды, и я еще отнюдь не искуплю этим того невольного нарушения церковных предписаний, к которому был принужден во время моего пребывания в замке.

— Да разве я могу быть голодна! — воскликнула эта почтенная особа. — Знай, юноша, что мать никогда не испытывает голода, пока не насытится ее ребенок. — И с неожиданной нежностью в голосе, столь противоречившей обычной суровости ее тона, она добавила:

— Ты не должен поститься, Роланд; от тебя это не требуется: ты молод, а молодость не может обходиться без пищи и сна. Щади свои силы, дитя мое, к этому тебя обязывают повелевающая тобой державная власть, твоя религия, твоя родина. Пусть старики измождают постом и бдением свою плоть, способную уже только страдать; молодые люди в наше бурное время должны заботиться о своем телесном здоровье, укреплять свои силы, необходимые для дела.

Пока она говорила, из той же сумы, в которой сохранились орудия для добывания огня, появилось съестное: сама старуха едва прикоснулась к пище, но ревниво следила за тем, как ел ее подопечный, испытывая истинно эпикурейское наслаждение от каждого куска, который он проглатывал с присущим молодости аппетитом, необычайно усилившимся вследствие вынужденного воздержания.

Охотно последовав ее совету, Роланд уплетал за обе щеки еду, предложенную ему с такой любовью и заботой. Когда же сам он пригласил Мэгделин отведать припасенного ею угощения, старуха в ответ только отрицательно покачала головой; но так как Роланд продолжал настаивать, она высокомерным, не допускаям возражений тоном решительно заявила о своем отказе.

— Молодой человек, — сказала она, — ты сам не знаешь, о чем говоришь и к кому обращаешь свою речь. Те, кому небо открыло свои высшие предназначения, должны умерщвлять свою плоть, дабы заслу-

жить приобщения к этому знанию. Они обретают нечто такое, что не нуждается в подкреплении земной пищей, необходимой людям, которых не озарило откровение. Бдение, отданное молитве, заменяет им освежающий сон, а сознание, что они выполняют волю божью, улаживает их более, нежели самые роскошные яства, которые могли бы предоставить им пиршественные столы монархов. А ты должен ночью спать, сын мой, и притом с удобством, — добавила она, и в голосе ее, только что звучавшем фанатически иступленно, вдруг послышались материнская любовь и нежность. — Пусть сон твой будет крепок, пока ты еще молод и можешь в ночном забытии топить дневные тревоги. Различны наши с тобой обязанности, различны и средства, которыми мы готовим и закаляем себя для их выполнения. От тебя требуются телесные силы, от меня — душевные.

Говоря это, она тем временем быстро и ловко приготавливала постель, прежде всего употребив для этой цели сухие листья, на которых обычно спали отшельник и его редкие гости; разрушители не обратили на них внимания, и они остались почти нетронутыми в отведенном для них углу. К листьям она позаботилась присоединить кое-какое валявшееся на полу тряпье. При этом она тщательно отобрала все обрывки, которые могли относиться к церковному облачению, и, отложив их в сторону как непригодные для обыденного употребления, живо и искусно соорудила из остальных ложе, на которое охотно прилег бы всякий человек, нуждающийся в отдыхе; в то же время она решительно и даже с какой-то желчностью отвергала все попытки юноши помочь ей и его настоятельные просьбы воспользоваться самой этим ложем для отдыха.

— Спи, Роланд Грейм, — сказала она, — спи, гонимый, обездоленный сирота, сын злосчастной матери. Спи! Я буду молиться тут, рядом с тобой, в часовне.

Она говорила с такой пламенной страстью и была так непреклонно тверда, что Роланд Грейм не решился больше с ней спорить. И все же ему было как-то неловко уступать ей. В самом деле, она словно забыла, сколько лет прошло с тех пор, как они

расстались, и ожидала, что возвращенный ей рослый юноша, избалованный и своенравный, окажется таким же беспрекословно послушным, каким был ребенок, некогда оставленный ею в замке Эвенелов. Это обстоятельство, разумеется, задевало гордость Роланда, которая была главной и отличительной чертой его характера.

Он, конечно, выполнил ее требование, приведенный к повиновению ожившей в нем давней привычкой неизменно ей подчиняться, а также чувствами привязанности и благодарности. Однако это заметно угнетало его.

«Неужели я отказался от соколиной охоты, — думал он, — только для того, чтобы эта женщина руководила мной по своему усмотрению, как если бы я оставался еще ребенком? Ведь даже завистливые товарищи признавали мое превосходство в этом искусстве, которое они усваивали с большим трудом, а я постиг сразу, словно мне по праву рождения дано владеть им. Нет, так не может и не должно быть! Я не буду ручным ястребом-перепелятником, который сидит на руке у женщины, накрытый колпачком, и видит свою добычу только тогда, когда ему открывают глаза, чтобы пустить в полет. Я узнаю, каковы ее цели, прежде чем стану, как она того желает, способствовать их достижению».

Эти мысли, а также многие другие, одна за другой мелькали в голове Роланда Грейма; и хотя он был сильно утомлен минувшим тяжелым днем, прошло немало времени, прежде чем он успокоился и заснул.

Глава IX

Стань на колени, небом поклянись мне!
Словам без изгороди клятва — не верю!

Старинная пьеса

Проспав всю ночь крепким сном, который естественно последовал за нервным возбуждением и усталостью, Роланд был разбужен утренней прохладой и

лучами восходящего солнца. Сначала его охватило удивление, ибо вместо Эвенелского озера, вид на которое открывался из окна его комнаты, расположенной в одной из башен замка, его взору сквозь оконный проем с выбитой решеткой предстал разоренный сад изгнанного анахорета. Роланд приподнялся на своем ложе из листьев и стал не без удивления перебирать в памяти странные события предшествующего дня. Чем больше он думал о них, тем более удивительными они ему представлялись. Он лишился покровительницы своей юности, но в тот же самый день вновь обрел наставницу и опекуницу своих детских лет. Юноша отдавал себе отчет, что о первом из этих обстоятельств, то есть о своей утрате, он еще не раз будет горько сожалеть; что же касается второго, ему, по-видимому, не с чем было особенно поздравлять себя. Он помнил, что эта старая женщина, заменившая ему мать, всегда заботилась о нем столь же нежно, сколь властно им руководила. Воспоминания о проведенных с нею детских годах связывались с каким-то смешанным чувством любви и страха, которое он испытывал тогда; и теперь радость встречи после долгой разлуки тоже сильно умерялась страхом, — он боялся, что она снова вздумает управлять по своей воле всеми его поступками, — страхом, которого отнюдь не могло рассеять ее вчерашнее поведение.

«Не намерена же она, в самом деле, — думал он, ощущая новый прилив гордости, — водить меня за руку и опекать, словно малого ребенка, зная, что я уже достиг возраста, когда могу сам отвечать за себя. А если именно таковы ее намерения, то она будет горько разочарована».

Чувство благодарности к той, против кого восставало все его существо, заставило Роланда устыдиться этих движений своей души. Он так яростно гнал от себя невольно приходившие ему на ум мысли, словно сопротивлялся подстрекательству самого дьявола. Пытаясь найти поддержку в этой борьбе, он захотел достать свои четки. Но, покидая замок Эвенелов, он,

торопясь, совершенно забыл о них, и они остались в его комнате.

«Час от часу не легче, — подумал он, — две вещи заповедала она мне в строжайшей тайне: молиться, перебирая четки, и тщательно скрывать это от всех; и я до сих пор хранил слово, данное ей; а теперь, когда она спросит у меня четки, мне придется ответить, что я забыл их в замке! Вправе ли я рассчитывать на ее доверие, говоря, что сохранял тайну своей религии, если я так легкомысленно обошелся с символом веры?»

Сильно взволнованный, он шагал по келье взад и вперед. В самом деле, хотя его религиозные чувства были совсем иного рода, чем те, что воодушевляли пылавшую фанатизмом старуху, все же он ни за что на свете не отрекся бы от своей веры. Обладая от природы незаурядным умом и превосходной памятью, он не забыл наставлений, полученных им некогда от бабушки. Хотя тогда он был еще ребенком, он гордился тем, что ему доверяют хранить тайну, и был намерен доказать, что не напрасно облечен таким доверием. Однако это было всего лишь решение ребенка, и оно неизбежно забылось бы в результате воздействия других внушений и примеров, если бы не уверения отца Амвросия, когда-то в миру именовавшегося Эдуардом Глендинингом. Этот ревностный монах был извещен анонимным письмом, врученным ему неким пилигримом, о том, что в замке Эвенелов живет воспитанный в католической вере ребенок, которому, говорилось в письме, грозит такая же опасность, как тем трем отрокам, что были ввергнуты злодеями в печь огненную.

Письмо предупреждало, что если беззащитный агнец, которого пришлось оставить во владениях хищного волка, станет в конце концов его добычей, ответственность за это всецело падет на отца Амвросия. Монаха не нужно было больше убеждать ни в чем: ему достаточно было узнать, что чья-то душа находится в опасности и что католик может стать вероотступником; он участил свои посещения замка, дабы из-за отсутствия духовной поддержки и руководства

с его стороны (а он всегда умел находить возможность быть полезным в этом отношении) церковь не утратила одного из своих приверженцев, чьей душой, если бы это произошло, согласно римскому вероучению, неизбежно завладел бы дьявол.

Однако беседы отца Амвросия с Роландом были редкими, и хотя они побуждали сироту сохранять тайну и твердо придерживаться своей религии, все же происходили они недостаточно часто и были слишком краткими, чтобы внушить мальчику что-нибудь большее, чем слепое выполнение обрядов, на которые указал ему священник. Он следовал канонам католической церкви скорее потому, что считал бесчестным предавать религию своих предков, нежели в силу сознательного убеждения или искренней веры в ее непостижимые разумом догматы. Он сам считал, что именно это отличие главным образом и выделяет его из тех, среди кого он жил, предоставляя ему дополнительный — невольно скрытый и невысказываемый — мотив для того, чтобы презирать своих явных недоброжелателей из числа замковой челяди и не воспринимать никаких наставлений капеллана Генри Уордена.

«Этот фанатический проповедник и не подозревает, — думал он про себя во время очередных нападков капеллана на римскую церковь, — к чьим ушам обращена его нечестивая речь и с каким презрением и отвращением выслушивается его кощунственная хула на святую религию, которая возводила королей на царства и во имя которой принимали смерть многие мученики».

Но этим гордым вызовом, обращенным к ереси, как тогда называли новое исповедание, и ее проповедникам, исчерпывалась вера Роланда Грейма, в чьем представлении католическая религия связывалась с благородной независимостью, а протестантская — с подчинением своего ума и сердца духовной власти мистера Уордена; гордясь тем, что он отличается от всех окружающих, Роланд удовлетворялся этим сознанием и не стремился вникнуть в сущность исповедуемого им учения, а рядом с ним не было

никого, кто бы мог ему разъяснить его. Поэтому в своем сожалении о забытых четках, которые передал ему отец Амвросий, он скорее походил на воина, пристыженного потерей кокарды или какого-либо иного атрибута своей службы, нежели на ревностного сына церкви, скорбящего об утрате вещественного символа своей веры. Однако он был чрезвычайно огорчен происшедшим, предчувствуя, что о допущенной им небрежности непременно станет известно его бабушке. Какое-то чувство подсказывало ему, что только она могла тайно вручить отцу Амвросию четки для него, а он плохо отплатил ей за ее заботу.

«Уж конечно, она не преминет спросить меня о четках, — говорил он себе, — ибо ее рвение не ослабеваает с годами; и если нрав ее остался прежним, она, несомненно, будет разгневана моим ответом».

В то время как он рассуждал таким образом сам с собой, в комнату вошла Мэгделин Грейм.

— Да осенит главу твою благословение неба в начале этого нового дня, сын мой, — сказала она с торжественностью в голосе, от которой юноше стало не по себе, так сурово и возвышенно прозвучало в ее устах это обращение, в котором любовь к нему была слита с истовой набожностью.

— Ты покинул в такой ранний час свое ложе, чтобы не пропустить первый луч солнца? Но это неблагоприятно, мой мальчик. Вкушай мирный сон, пока можешь; недалеко то время, когда ты, как и я, должен будешь пребывать в неустанном бдении.

Нежность и тревога, сквозившие в этих словах, свидетельствовали о том, что, хотя мысли ее были направлены главным образом на божественное, в ней, когда она думала о своем воспитаннике, просыпались связывавшие ее с бранным миром земные чувства и страсти. Но она недолго пребывала в этом душевном состоянии, которое, по-видимому, сама считала минутной слабостью, несовместимой с ее якобы высоким призванием.

— А теперь, юноша, — сказала она, — надо действовать. Нам пора уходить отсюда,

— Куда мы пойдем? — спросил молодой человек. — Какова цель нашего путешествия?

Старуха отступила на шаг и смерила его взглядом, который выражал удивление с оттенком некоторой досады.

— К чему эти вопросы? — произнесла она. — Разве мало того, что я поведу тебя? Ужели оттого, что ты долго пробыл среди еретиков, суетное стремление жить своим умом заставило тебя забыть о почитительности и послушании?

«Настало время, — подумал Роланд Грейм, — когда я должен утвердить свою свободу, или же я навсегда останусь в добровольном рабстве. Я чувствую, что должен именно сейчас позаботиться об этом».

Его опасения не замедлили оправдаться, ибо Мэгделин тут же вернулась к теме, которая, казалось, неотвязно занимала ее мысли, хотя никто не умел лучше, чем она, скрывать свою религию, когда она того желала.

— А где твои четки, сын мой? Молился ли ты уже сегодня?

Роланд Грейм густо покраснел; он чувствовал, что гроза приближается, но счел для себя недостойным прибегнуть к обману, чтобы избежать ее.

— Я забыл их в замке, — сказал он.

— Ты забыл свои четки! — воскликнула старуха. — Ты нарушил верность своей религии и своему долгу, утратил пересланный тебе издалика, с превеликими опасностями, дар самой искренней любви, которым ты должен был дорожить бесконечно, оберегая каждую бусину как зеницу ока!

— Я очень опечален происшедшим, матушка, — ответил юноша, — и я высоко ценил этот дар, догадываясь, что он исходит от вас. Что касается прочего, то я надеюсь заработать достаточно золота, когда выйду в люди, а до тех пор можно будет обойтись четками, вырезанными из дуба или составленными из орешков.

— Да что он такое говорит! — воскликнула Мэгделин Грейм. — Еще совсем юн, а уже как усвоил уроки этой сатанинской школы! Четки, освященные

самим папой и удостоившиеся его благословения, — всего лишь ряд золотых бусин, стоимость которых можно возместить жалованьем за свой мирской труд, — и нанизанные на нитку орешки будут обладать той же силой! Да это чистая ересь! Так думать и так говорить научил тебя Генри Уорден — этот волк, опустошающий стадо пастыря.

— Матушка, — сказал Роланд, — я не еретик; я верю и молюсь согласно правилам нашей церкви. О случившемся несчастье я сожалею, но уже никак не могу его исправить.

— Зато ты можешь предаться раскаянию, — возразила его духовная наставница, — ты можешь каяться, простершись во прахе и посыпав голову пеплом; можешь искупить свою вину постом, молитвой, епитимьей, вместо того чтобы смотреть на меня с таким безмятежным видом, словно ты потерял пряжку от шляпы.

— Успокойтесь, матушка, — сказал Роланд, — я вспомню о своем проступке на ближайшей исповеди, как только для нее представится место и время, и сделаю во искупление его все, что мне прикажет священник. Будь я повинен в тягчайшем преступлении, я не мог бы сделать большего. Но, матушка, — добавил он после короткой паузы, — не гневайтесь на меня по другому поводу — за мои вопросы о том, куда лежит наш путь и где он должен окончиться. Я уже не ребенок, а взрослый мужчина и вправе сам распоряжаться своей судьбой; у меня уже пробивается борода, и я ношу при себе шпагу. Я пойду за вами на край света — лишь бы вы были довольны, — но мой долг перед самим собой осведомиться о направлении и цели нашего путешествия.

— Долг перед самим собой, неблагодарный мальчишка? — воскликнула Мэгделин Грейм, и от сильного волнения кровь прихлынула к ее лицу, вернув ее щекам румянец, который давно уже согнали с них годы. — Нет у тебя никакого долга перед самим собой и быть не может. Ты у меня в долгу за все: я спасла тебе жизнь, когда ты был младенцем, я заботилась о тебе, когда ты подрастал, дала тебе вос-

питание и надежду на высокое положение в будущем, и лучше мне увидеть тебя бездыханным трупом у своих ног, нежели дожидаться того, чтобы ты изменил благородному делу, которому я тебя посвятила.

Роланда испугало охватившее старуху страшное возбуждение, которое могло оказаться губительным в ее возрасте, и он поторопился ответить ей:

— Я не забыл своего долга перед вами, дорогая матушка, и готов пожертвовать жизнью, чтобы доказать вам это; только прикажите — и вы увидите, поколеблюсь ли я хоть на миг. Но слепое повиновение столь же малоценно, сколь и неразумно.

— О святые угодники и ангелы небесные! — воскликнула Мэгделин Грейм. — И этакие слова я слышу от своего детища, на которое возлагала столько надежд, от своего питомца, над чьим изголовьем я не смыкала глаз, о чьем благополучии неустанно молила всех святых! Помни, Роланд, что только повиновением можешь ты доказать свою любовь и благодарность. Какая будет польза от того, что тебе заблагорассудится принять план действий, который предложу я, если он заранее будет тебе подробно разъяснен? В таком случае ты будешь руководствоваться не моим приказом, а собственным усмотрением; не будешь выполнять божью волю, сообщаемую тебе через твоего лучшего друга, которому ты всем обязан, а будешь следовать случайным указаниям своего несовершеннолетнего разума. Слушай, Роланд! Высокий удел предназначен тебе — он ждет, он зовет, он требует тебя. Это достойнейший удел, какой только может выпасть смертному, и он возвещается тебе устами твоего первого, лучшего и единственного друга. Ужели ты отвергнешь его? Тогда иди своим путем, оставь меня одну, — мои земные надежды растаяли, разлетелись как дым... Я преклоню колени перед вот этим оскверненным алтарем, а когда вернутся беснующиеся еретики, пусть они облагодатят его кровью мученицы!

— Но я не покину вас, моя дорогая матушка! — воскликнул Роланд Грейм, чьи полузабытые воспоминания об ее неистовом нраве были внезапно воскрешены этим диким порывом безудержного фанатиз-

ма — Я не покину вас, я всегда буду возле вас; никакие блага мира не заставят меня расстаться с вами; я буду охранять, защищать вас; я хочу жить вместе с вами и готов умереть за вас.

— Одно слово, сын мой, стоило бы всего сказанного тобой. Скажи только: «Я буду повиноваться».

— Не сомневайтесь в этом, матушка, — ответил юноша. — Я хочу, всем сердцем хочу повиноваться вам; но только...

— Нет, я не желаю слышать никаких оговорок, — сказала Мэгделин Грейм, ловя его на слове. — Повиновение, которого я требую от тебя, должно быть беспрекословным; и да благословит тебя господь, дорогой мой мальчик, живое напоминание о моем возлюбленном дитяти, за то, что у тебя хватило сил дать такое обещание, с которым столь трудно примириться человеческой гордыне. Поверь мне, что на том пути, на который ты вступаешь ныне, твоими соратниками будут люди доблестные и влиятельные — могущественная церковь и гордое дворянство. Победишь ты или потерпишь поражение, останешься жив или умрешь, — твое имя будет сиять среди имен тех, вместе с кем равно почетно делить и успех и неудачу, равно желанно жить и умереть. Вперед же, сын мой, вперед! Жизнь коротка, а наше предприятие потребует многих трудов и усилий. Ангелы, святые — весь сонм сил небесных смотрит сейчас на разоренную, истерзанную Шотландию. Что говорю я — на Шотландию! На нас с тобой он смотрит, Роланд, на слабую женщину и на неопытного юношу, поклявшихся среди развалин, в которые превращена богохульниками святая обитель, быть верными божьему делу и делу законной королевской власти. Да будет так, аминь! Святые угодники и великомученики, чьи светлые очи глядят на нас, принимающих это решение, узрят, как оно будет исполнено, или же до их ушей, внемлющих сейчас нашему обету, донесутся наши предсмертные стоны, — ибо мы готовы отдать жизнь за святое дело.

Во время этой речи она одной рукой указывала на небо, а другой крепко сжимала руку Роланда Грейма, чтобы не дать ему воспротивиться клятве,

участником которой он таким образом становился. Произнеся свое воззвание к небесам, она не предоставила ему времени для колебаний и расспросов относительно ее целей, но, перейдя с такой же легкостью, как и прежде, на заботливый тон хлопотливой, любящей родственницы, стала настойчиво выспрашивать у него все, что касалось его пребывания в замке Эвенелов и приобретенных им там знаний и навыков.

— Это хорошо, — сказала она, удовлетворив свое любопытство, — мой соколенок хорошо обучен и высоко взлетит; но тем, кто вскормил его, придется не только с удивлением, а и со страхом следить за его полетом. Ну а теперь, — произнесла она, помолчав, — надо поесть. Не смотри, что наш завтрак скуден: несколько часов ходьбы приведут нас в более дружественный дом.

Они подкрепились остатками вчерашних припасов и не мешкая отправились в дальнейший путь. Мэгделин Грейм шла впереди быстрым, уверенным шагом, на который редко бывают способны люди ее возраста, а Роланд следовал за ней, задумчивый и озабоченный; он был отнюдь не в восторге от того, что снова попал в зависимое положение.

«Неужели я обречен, — говорил он себе, — вечно мучиться жаждой независимости и все же вечно быть руководимым, подчиняться чужой воле?»

Глава X

Среди нехоженных дорог,
Где ключ студеной бил,
Ее узнать никто не мог
И мало кто любил.¹

Вордсворт

На всем протяжении своего пути Мэгделин Грейм и Роланд почти не говорили друг с другом. Мэгделин шла вперед, погруженная в мысли о божественном,

¹ Перевод С. Маршака,

порою напевая один из тех прекрасных старинных латинских гимнов, которые исполняются во время католических богослужений, или бормоча про себя Ave и Credo. Размышления ее внука носили более земной характер: всякий раз, как, метнувшись из вереска и вызывая прокричав, над полем проносилась белая куропатка, он вспоминал о весельчаке Адаме Вудкоке и его верном соколе; или же, когда они пробирались сквозь заросли, в которых невысокие деревья и кусты перемежались с пышным папоротником, дроком и ракитником, образуя густой и спутанный растительный покров, воображение рисовало ему оленя и свору гончих. Но чаще всего он возвращался мыслями к своей благожелательной госпоже, которую оставил глубоко оскорбленную, не сделав даже попытки помириться с нею.

«Мне было бы сейчас легче идти, — думал он, — и на душе у меня не было бы так тяжело, если бы я мог хоть на мгновение вернуться, чтобы повидать ее и сказать: «Леди, воспитанный вами сирота необуздан, но он умеет быть благодарным».

Совершая в столь различном расположении духа свое путешествие, они к полудню добрались до небольшой, но раскинувшейся на значительном пространстве деревушки, над которой возвышались две четырехугольные башни, какие в те времена для оборонительных целей, подробно изложенных нами в другом месте, сооружались в каждом селении на границе Шотландии и Англии. Близ деревни протекала речка, орошавшая окрестную долину. На краю селения, чуть поодаль от него, стоял господский дом, очень ветхий и пришедший в чрезвычайный упадок, но служивший, по-видимому, жилищем для людей довольно знатных. Место это было очень приятное: оно находилось в излучине речки, и здесь росли четыре больших явора, которые прикрывали своей пышной листвой мрачные стены дома, построенного из темно-красного камня. Дом был большой, а теперь стал даже чересчур велик для своих обитателей: несколько окон были наглухо заложены камнем — главным об-

разом окна нижнего этажа; другие же заделаны менее основательно.

Двор перед домом, некогда огороженный низким наружным валом, теперь наполовину разрушенным, был замощен, но камни сплошь покрыты буйно разросшейся крапивой, чертополохом и другими сорняками, которые, прорастая между плитами, сдвинули и перекосили многие из них. Даже то, о чем совершенно необходимо было позаботиться, оставалось без внимания, свидетельствуя о лени или крайней бедности хозяев. Поток, подмыв берег у поворота полуразрушенного вала, снес его вместе с угловой башней, обломки которой теперь лежали поперек русла реки. Течение, прегражденное опрокинутой им глыбой и устремившееся туда, где прежде стояла башня, сильно расширило пробитую брешь и уже подтачивало участок земли, занятый домом, спасти который теперь можно было только безотлагательным сооружением прочной дамбы.

Все это Роланд Грейм успел разглядеть, пока они шли по извилистой дорожке, с которой временами, то с одной, то с другой стороны, открывался вид на здание.

— Если мы направляемся в этот дом, — сказал он своей названной матери, — то я надеюсь, что задержимся мы там недолго. Поглядеть на него, так кажется, что достаточно двух дождливых дней при северо-восточном ветре, и он весь обрушится в реку.

— Ты смотришь на это земными глазами, — ответила старуха. — Господь охранит свое достояние — пусть оно будет даже заброшено и пренебрегаемо людьми. Лучше оставаться на зыбучем песке, уповая на покровительство божье, нежели искать спасения на скале, надеясь лишь на земные силы.

Пока она произносила эту тираду, они вступили во двор перед домом, и Роланд увидел, что фасад старинного здания прежде был богато украшен резьбой по тому же темно-красному камню, из которого оно было сложено. Но все украшения были сломаны и разрушены, а на тех местах, где некогда были ниши и карнизы, видны были только их случайно уцелев-

шие части. Большой парадный вход посредине был заложен каменной кладкой, но по узенькой тропинке, которой, видимо, пользовались не часто, можно было пройти к низкому боковому входу, защищенному дверью с толстыми железными заклепками; в нее-то и постучалась троекратно Мэгделин Грейм, пережидая после каждого удара, пока наконец за дверью не послышался шорох. Когда она постучала в третий раз, дверь открылась, и на пороге появилась бледная худая женщина, которая произнесла:

— *Benedicti qui veniunt in nomine Domini.*¹

Они вошли, и впустившая их особа, поспешно закрыв за ними дверь, вновь задвинула предохранявшие ее массивные засовы. Затем она провела их по узкому коридору в довольно просторные сени с каменным полом и расставленными вдоль стен скамьями, тоже высеченными из камня. В верхней части одной из стен было расположено большое окно, но промежутки между некоторыми из стоявших здесь каменных столбов были загорожены, так что, в общем, помещение выглядело весьма мрачно.

Здесь они остановились, и хозяйка дома — ибо это была она — обняла Мэгделин Грейм и, назвав ее своей сестрой, весьма торжественно поцеловала в обе щеки.

— Да благословит тебя пресвятая дева, сестра моя, — произнесла она вслед за тем, и после этих слов Роланду уже не приходилось сомневаться относительно религии владелицы усадьбы, даже если бы он допускал, что его почтенная и благочестивая руководительница может остановиться в доме, не принадлежащем правоверным католикам. Женщины о чем-то тихо заговорили между собой, и пока длилась их недолгая беседа, Роланд смог получше разглядеть внешность приятельницы своей бабушки.

На вид ей было за пятьдесят; выражение грусти и недовольства, близкого к досаде, было на ее лице, и это мешало сразу увидеть на нем следы былой красоты, которых еще не стерли годы. Она была одета

¹ Благословенны грядущие во имя господне (лат.).

весьма скромно: на ней было темное платье, напминавшее, как и платье Мэгделин Грейм, монашеское одеяние. Тщательная опрятность ее внешности, весь ее подтянутый и аккуратный вид, казалось, говорили о том, что, несмотря на бедность, она не пала духом и не опустилась, настолько сохранив еще привязанность к жизни, чтобы не утратить желания выглядеть достойно, хотя уже отнюдь не изысканно. Ее манеры, лицо, весь ее облик убедительно свидетельствовали о том, что эта бедная одежда далеко не соответствует ее рождению и воспитанию. Короче говоря, все в этой женщине наводило на мысль, что у нее за плечами должна быть полная необычайных событий жизнь. Роланд Грейм стал размышлять на эту тему, но тут как раз женщины перестали шептаться, а хозяйка дома, подойдя к нему, принялась внимательно, и даже не без любопытства, разглядывать его с головы до ног.

— Так, значит, — сказала она, обращаясь к его пожилой родственнице, — этот мальчик и есть дитя твоей несчастной дочери, сестра Мэгделин? И его, единственного наследника вашего старинного рода, ты хочешь посвятить нашему праведному делу?

— Да, клянусь распятием, — ответила Мэгделин Грейм в своем обычном непреклонном, решительном тоне, — я посвящаю его нашему праведному делу, и пусть он целиком принадлежит ему: плотью и кровью, каждой жилочкой и каждым суставом, всем телом и всей душой!

— Ты счастлива, сестра Мэгделин, — отозвалась ее подруга, — ибо настолько высоко поднялась над земными чувствами и привязанностями, что можешь принести на алтарь такую жертву. Будь я призвана совершить подобное жертвоприношение — толкнуть столь юное и прекрасное существо в самую гущу заговоров и кровавых событий нашего времени, то, выполняя божью волю, я бы печалилась об этом больше, чем патриарх Авраам, когда он возводил на вершину горы своего сына Исаака.

Она продолжала упорно смотреть на него с горестным и сочувствующим видом, и в конце концов

от ее испытующего взгляда лицо Роланда залилось румянцем; он хотел уже было отойти в сторону, чтобы не чувствовать на себе этих глаз, но бабушка одной рукой удержала его, а другой, отбросив его волосы с пунцового от смущения лба, произнесла слова, в которых звучали любовь и гордость, но вместе с тем и непоколебимая решимость:

— Посмотри-ка на него хорошенько, сестрица. Ведь правда, тебе никогда не приходилось видеть более прекрасного лица? И во мне тоже, когда я впервые увидела его после долгой разлуки, шевельнулись чувства, присущие простым смертным, и я поколебалась было в своем намерении. Но никакой ветер не сорвет и единого листа с иссохшего дерева, давно уже лишенного листвы, и никакая земная утрата не пробудит мирских чувств, давно усыпленных любовью к господу.

Во время этой речи старуха сама опровергла собственные утверждения, ибо на глазах у нее показались слезы, и тогда она добавила:

— Но не правда ли, сестра моя, чем прекрасней, чем чище жертва, тем более она угодна богу?

Казалось, она освободилась от волновавших ее чувств и испытала облегчение, произнеся:

— Он избежит опасности, сестра; в чаще изловят овна, и наши восставшие братья не обрекут на погибель молодого Иосифа. Господь умеет отстаивать свои права — даже с помощью несмышленных детей и младенцев, женщин и безбородых юнцов.

— Господь покинул нас, — сказала другая, — за наши грехи и грехи наших отцов святые угодники отреклись от покровительства этой проклятой стране. Нас ждут тернии мучеников, а не лавры победителей. Еще один из наших, чья мудрость среди всех этих глубоких потрясений была столь необходима нам, отошел в лучший мир: нет больше отца Евстафия.

— Господи, помилуй душу его! — произнесла Мэгделин Грейм. — Помилуй и нас, грешных, еще оставшихся жить в этой залитой кровью стране! Смерть аббата поистине тяжелый удар для нашего дела:

кто из живущих отличается такой же безграничной опытностью, такой же самозабвенной преданностью господу, такой же высокой мудростью, такой же неустрашимой отвагой? Он пал как знаменосец церкви, но по воле господа встанет другой боец и вновь поднимет святую хоругвь. Кого избрал капитул на его место?

— Ходят слухи, что ни один из немногих еще остающихся братьев не осмеливается вступить в эту должность. Еретики поклялись, что не допустят новых выборов, и грозят жестоким наказанием за всякую попытку назначить кого-либо аббатом монастыря святой Марии. *Conjuraverunt inter se principes, dicentes, Projiciamus laqueos ejus.*¹

— *Quousque, Domine!*² — воскликнула Мэгделин Грейм. — Это, сестрица, нанесло бы поистине ужасный, непоправимый ущерб нашему делу; но я твердо верю, что преемник аббата Евстафия, столь несвоевременно ушедшего от нас, будет найден. Где дочь твоя Кэтрин?

— Она в гостиной, — ответила хозяйка дома, — но...

Тут она посмотрела на Роланда Грейма и прошептала что-то на ухо своей приятельнице.

— Не бойся этого, — ответила Мэгделин Грейм. — Это вполне оправданный и необходимый шаг. Не опасайся ничего со стороны Роланда: я хотела бы, чтобы он был так же непоколебим в своей вере, которая одна только и может оборонить человека от опасностей, насколько он чужд всякой низости в своих мыслях, поступках и речах. В этом отношении нужно отдать должное выучке еретиков: они воспитывают свою молодежь в строгой нравственности и пресекают любые проявления юношеского безрассудства.

— Это все равно что сосуды, начищенные только снаружи, — заметила ее собеседница, — гробы поваленные. Но пускай он увидит Кэтрин, поелику ты,

¹ Сговорились между собой князья: «Накинем петлю» (лат.).

² Доколе, о господи! (лат.).

сестра моя, считаешь это безопасным и благопристойным. Следуй за нами, юноша, — добавила она и вместе со своей приятельницей направилась из сеней в комнаты. Это были единственные слова, сказанные на протяжении всей беседы хозяйкой Роланду Грейму, который молча повиновался. Пока они неторопливым шагом проходили по узким коридорам и пересекали обширные залы, юный паж имел возможность обдумать свое положение, которое, при его пылком воображении, не могло не показаться ему чрезвычайно неприятным.

Теперь у него, по-видимому, появились две поветельницы, или опекуны, вместо одной, две старухи, твердо намеревавшиеся вдвоем руководить им по своей воле ради осуществления планов, в составлении которых он не принимал никакого участия. «Это уж слишком», — думал он, выдвигая мысленно тот убедительный довод, что если его бабушка, она же его благодетельница, и имеет какое-то право руководить им, то, уж во всяком случае, не уполномочена передавать свои права или делить их с приятельницей, которая, как уже можно было судить, бесцеремонно усвоила себе в обращении с ним такой же властный, не терпящий возражений тон.

«Но долго так продолжаться не будет, — подумал он. — Я не стану всю свою жизнь подчиняться свистку женщины: являться по ее зову и отправляться, куда она велит. Нет, клянусь святым Андреем! Рука, умеющая держать копьё, не может быть подвластна прялке. При первой возможности я улизну от них и оставлю их с носом: пусть осуществляют свои замыслы собственными силами. Это может отвлечь от них обеих большую опасность, ибо, как я догадываюсь, задуманное ими отнюдь не является безопасным и легким делом: граф Мерри и его ересь пустили слишком глубокие корни, чтобы их могли выкорчевать две старые женщины».

К тому времени, когда он принял свое решение, они вошли в невысокую комнату, где находилось еще одно существо женского пола. Тогда как все

предыдущие помещения, через которые провели Роланда, были пусты, в этой комнате имелись кое-какие предметы обстановки: здесь стояли стулья и деревянный стол, покрытый куском гобелена. Пол был устлан ковром, в камине была решетка — короче говоря, помещение имело жилой вид и действительно было обитаемо.

Но глаза Роланда вскоре нашли для себя более приятное занятие, нежели рассматривание комнатной обстановки, поскольку вторая обитательница этого дома резко отличалась от всего, что он уже успел здесь увидеть.

В момент его появления она молча приветствовала глубоким реверансом обеих пожилых особ, а затем, бросив беглый взгляд на Роланда, взялась рукой за спадавшую ей на плечи вуаль и прикрыла ею лицо; она проделала это с должной скромностью, но при этом не выказала ни чрезмерной поспешности, ни особого смущения.

Пока она делала это движение, Роланд успел разглядеть личико молоденькой девушки, по-видимому лет шестнадцати или чуть постарше, и заметить, что взор у нее нежный и сияющий. К этим весьма приятным наблюдениям присоединилась уверенность, что их прелестный объект обладает великолепным сложением (возможно, с некоторой склонностью к *embonpoint*¹ и потому скорее напоминающим формы Гебы, нежели сильфиды, но изящным и пропорциональным); это последнее обстоятельство выгодно подчеркивалось облегающим жакетом и сшитой по заграничной моде юбкой, не настолько длинной, чтобы совсем скрыть очаровательную ножку, которую ее обладательница, сидевшая у стола, поставила на одну из его перекладин. Ее пухленькие ручки с тонкими пальчиками усердно занимались починкой лежавшей на столе гобеленовой материи, на которой было несколько серьезных повреждений — таких, что для их устранения требовалось мастерство искуснейшей швеи.

¹ Полноте (франц.).

Надо заметить, что Роланду удалось рассмотреть все эти любопытные подробности, потому что он украдкой бросал взгляды в ее сторону, причем один или два раза ему показалось, что сквозь ткань вуали он уловил взгляд девушки, которая была занята тем же делом, что и он, то есть внимательно изучала его собственную персону. Между тем их пожилые родственницы продолжали свою беседу, время от времени вскидывая глаза на молодых людей, из чего Роланду стало ясно, что именно они-то и составляют предмет этой беседы. Наконец он отчетливо услышал, как Мэгделин Грейм произнесла:

— Нет, сестра моя, мы должны дать им возможность поговорить и познакомиться; они должны лично знать друг друга, а иначе — как смогут они выполнить то, что им поручается?

Очевидно, хозяйка дома, не вполне убежденная доводами своей приятельницы, продолжала представлять какие-то возражения; однако та, как личность более властная, решительно их отвергла.

— Так надо, дорогая сестра, — сказала Мэгделин, — поэтому выйдем на балкон и там закончим нашу беседу. А вы, — обратилась она к Роланду и девушке, — познакомьтесь друг с другом.

С этими словами она подошла к юной особе и откинула вуаль с ее лица, которое, возможно, обычно было более бледным, но сейчас все было залито густым румянцем.

— *Licetum sit*,¹ — сказала она, обращаясь к хозяйке дома.

— *Vix licetum*,² — отозвалась та, давая свое согласие, но с явной неохотой и внутренним сопротивлением, и тут же снова набросила вуаль на лицо девушки, так, чтобы оно оставалось затененным, если и не совсем закрытым. При этом она шепнула девушке несколько слов, которые, однако, были произнесены настолько громко, что паж мог услышать их:

¹ Да будет дозволено (лат.).

² Дозволено по необходимости (лат.).

— Помни, Кэтрин, кто ты и для какой судьбы ты предназначена.

Затем она вместе с Мэгделин вышла из комнаты через одно из доходящих почти до полу высоких окон на большой, просторный балкон с массивной балюстрадой, который когда-то тянулся вдоль всей южной стороны здания, обращенной к речке, и был приятным и удобным местом для прогулок на свежем воздухе. Теперь на нем отсутствовали целые куски балюстрады, кое-где он был обломан и стал значительно уже, но, несмотря на разрушения, по нему еще можно было прогуливаться не без приятности. Здесь и прохаживались медленным шагом две пожилые дамы, занятые каким-то своим разговором, но, видимо, не полностью поглощенные им, ибо, как отметил про себя Роланд, всякий раз, когда их тощие фигуры то с одной, то с другой стороны появлялись перед окном, затемняя в нем свет, они заглядывали в комнату, интересуясь тем, как там обстоят дела.

Глава XI

У жизни есть ее веселый май.
Поют леса, цветы благоухают, —
И даже непогода веселит;
И девушки, закутавшись в плащи,
Чтоб не промокнуть под весенним
ливнем
Хохочут — им смешно, что дождик
льется

Старинная пьеса

Кэтрин отличалась свойственными ее счастливому возрасту неопытностью и жизнерадостностью, и поэтому, когда прошел первый момент смущения, ей вдруг показалось весьма забавным то неловкое положение, в котором она очутилась, оставшись с глазу на глаз с красивым молодым человеком для того, чтобы с ним познакомиться, хотя ей было неизвестно даже его имя. Она сидела за столом, устремив свои

прекрасные глаза на работу, которой была занята, и сохраняла чрезвычайную серьезность, пока старухи вторично не появились перед окном. Однако затем ее глубокие синие глаза на мгновение обратились к Роланду; и, заметив смущение юноши, который, совершенно растерявшись, ерзал на стуле и теребил свою шляпу, решительно не зная, как начать разговор, она не могла сдержаться и вдруг с полнейшей непосредственностью и от всей души расхохоталась. При этом ее глаза, сияя сквозь выступившие от хохота слезы, тоже весело смеялись; ее тяжелые косы покачивались, и весь облик Кэтрин дышал такой прелестью, какой могла бы позавидовать сама богиня смеха. Всякий придворный паж тут же разделил бы с ней ее веселье, но Роланд воспитывался в сельской обстановке и к тому же, будучи несколько подозрителен и застенчив, вообразил, что причиной неудержимого смеха Кэтрин является он сам. Поэтому, сделав попытку подладиться к заданному ею тону, он смог ответить только натянутым смешком, в котором скорее слышалось недовольство, чем веселье, отчего девушка стала хохотать еще пуще, так что, казалось, ей уж никогда не остановиться, как бы она ни старалась побороть себя. Каждому человеку известно по собственному опыту, что когда смех нападает не вовремя и в неподобающих обстоятельствах, все попытки подавить его — и даже самое сознание его неуместности — ведут только к усилению и затяжке непреодолимого хохота.

Несомненно, Кэтрин, как и Роланду, было на пользу то, что он вместе с ней не впал в такую же чрезмерную веселость. Дело в том, что Кэтрин сидела спиной к окну, и ей нетрудно было ускользнуть от наблюдения старух, гулявших по балкону, тогда как Роланд сидел так, что через окно он был виден в профиль; его веселость, разделил он ее с Кэтрин. сразу же была бы замечена, и обе вышеупомянутые особы, конечно, почувствовали бы себя оскорбленными. Он, однако, с некоторым нетерпением пережидал, пока у Кэтрин не истощатся силы или не

пропадет желание смеяться, и когда она с милой грацией снова взялась за иголку, он довольно сухо заметил, что, «пожалуй, нет надобности советовать им поближе познакомиться друг с другом, поскольку они, очевидно, и так уже довольно-таки хорошо знакомы».

Кэтрин испытывала сильное желание вновь разразиться хохотом, но усилием воли сдержалась и, не поднимая глаз от шитья, в ответ попросила извинить ее, пообещав, что впредь не позволит себе ничего оскорбительного.

Роланд был достаточно чуток, чтобы понять, насколько нелепо сейчас было бы разыгрывать оскорбленное достоинство; он сообразил также, что ему нужно решительно изменить свое поведение, если он хочет снова увидеть эти бездонные синие глаза, которые произвели на него столь сильное впечатление, когда девушка, смеясь, смотрела ему в лицо. Поэтому он попытался, как умел, загладить свою оплошность, заговорив подходящим к случаю оживленным тоном, и осведомился у прелестной феи, «с чего ей угодно приступить к более обстоятельному взаимному знакомству, которое так весело началось».

— Об этом, — ответила она, — вы должны догадаться сами; может быть, я зашла немного дальше, чем следовало, поскольку первая начала разговор.

— А что, если мы начнем с того же, — сказал Роланд Грейм, — с чего начинаются все повести в книгах: назовем друг другу наши имена и расскажем кое-что о себе?

— Недурно придумано, — заметила Кэтрин, — и свидетельствует о проницательности вашего ума. Итак, начинайте вы, а я буду слушать и лишь задам вопрос-другой, если в вашем рассказе для меня будет что-нибудь неясно. Откройте ваше имя и расскажите мне о себе, мой новый знакомый.

— Меня зовут Роланд Грейм, а эта высокая пожилая женщина — моя бабушка.

— И ваша опекунша? Так, так. А кто ваши родители?

— Их обоих нет в живых, — ответил Роланд.

— Но кто они были? Ведь были же у вас родители, я полагаю.

— Да, по-видимому, — сказал Роланд, — но мне никогда не удавалось узнать о них поподробнее. Отец мой был шотландский рыцарь, он погиб смертью храбрых, не покидая седла. Моя мать принадлежала к роду Греймов Хезергилских со Спорной земли. Почти вся ее родня была убита, когда лорд Максуэл Херрис Керлеврок выжег дотла Спорную землю.

— Это было давно? — спросила девушка.

— Еще до моего рождения, — ответил паж.

— Значит, с тех пор прошло немало времени, — сказала она, с серьезным видом покачав головой. — Не взыщите, я не могу оплакивать их.

— И не нужно, — сказал юноша, — они умерли с честью.

— Ну, довольно толковать о вашей родословной, любезный сэр, — отозвалась его собеседница. — Живущая ныне представительница вашего рода (тут она бросила взгляд на окно) нравится мне куда меньше, чем те, кого уже нет в живых. Поглядеть на вашу почтеннейшую бабушку, так можно предположить, что она хоть кого заставит плакать горючими слезами. А теперь, любезный сэр, рассказывайте о самом себе, но если вы не будете говорить побыстрее, ваш рассказ прервут на середине. Матушка Бриджет все дольше и дольше задерживается у окна, а в ее обществе так же весело, как в склепе ваших предков.

— Моя сказка скоро сказывается: я попал в замок Эвенелов и стал пажом хозяйки замка.

— Она ведь ревностная гугенотка, не правда ли? — заметила девушка.

— Не менее ревностная, чем сам Кальвин. Но моя бабушка умеет изобразить из себя пуританку, когда это ей нужно для чего-либо, а у нее тогда был план — устроить меня в замке. Он, однако, не осуществился бы, хотя мы и провели несколько недель

в соседней деревушке, если бы на сцене не появился неожиданный церемониймейстер.

— А кто это был? — спросила девушка.

— Большая черная собака по имени Волк, которая в один прекрасный день притащила меня в замок в зубах, как подбитую дикую утку, и преподнесла госпоже.

— Поистине весьма достойный способ попадать в дом, — сказала Кэтрин. — А чему вы смогли научиться в этом самом замке? Мне всегда очень интересно знать, что мои знакомые умеют делать в случае необходимости.

— Гонять сокола, травить собаками зверя, сидеть в седле, владеть копьем, мечом и луком.

— И хвастаться всем тем, чему выучились, — прервала его Кэтрин. — Во Франции по крайней мере это считается высшим достоинством паж. Ну, продолжайте, любезный сэр. Как могли ваш хозяин-гугенот и ваша хозяйка, не в меньшей степени гугенотка, принять в свой дом и держать при себе столь опасную личность, как паж-католик?

— Так получилось потому, что они не знали этого обстоятельства моей жизни, которое меня учили держать в тайне с самого раннего детства, а также потому, что бабушка перед этим усердно посещала проповеди их капеллана-еретика и усыпила всякие подозрения, любезнейшая Каллиполис, — сказал паж и пододвинул свой стул поближе к прелестной собеседнице, учинившей ему этот допрос.

— Нет, нет, держитесь на прежнем расстоянии, достойнейший сэр, — ответила синеокая дева, — ибо, насколько я понимаю, эти почтенные дамы прервут нашу дружескую беседу, как только им покажется, что знакомство, состоявшееся по их желанию, переходит положенные границы. Поэтому соблаговолите, сэр, оставаться там, где вы сидели, и оттуда отвечайте на мои вопросы. Какие доблестные поступки совершены вами благодаря тем качествам паж, которые вам столь счастливо удалось приобрести?

Роланд уже начал приспосабливаться к тону Кэтрин и ее манере вести разговор; он ответил ей в том же духе:

— Не было таких славных деяний из числа приносящих вред, благородная барышня, в свершении которых я не отличился бы. Я подстреливал лебедей, гонялся за кошками, пугал служанок, охотился на оленя и воровал яблоки в саду. О том, что я всячески изводил капеллана, я уж не говорю, потому что я рассматривал это как долг доброго католика.

— Так вот, раз я благородная барышня, — сказала Кэтрин, — я смею предположить, что эти еретики несли католическую епитимью, держа при себе столь разносторонне образованного слугу. А какой же несчастный случай, любезный сэр, мог лишить их общества такого драгоценного домочадца?

— Воистину, благородная барышня, — ответил юный паж, — верна поговорка, что у самой длинной дорожки есть поворот. Нашелся он и у моей дорожки, но это был, так сказать, «от ворот поворот».

— Браво! — воскликнула насмешливая девушка. — Удачный каламбур. Так по какой же причине разразилась столь ужасная катастрофа? Только не начинайте растолковывать мне все подробно, как ученице, я уже обученная. Скажите в двух словах — за что вас уволили со службы?

Пожав плечами, Роланд ответил:

— Короткая сказка скоро сказывается, только начал — глядишь, и конец. Я познакомил помощника сокольничего с моим хлыстом, а сокольничий, в свою очередь, пригрозил помять мне кости дубиной. Он — славный старик, толстый и добрый, и нет человека во всем христианском мире, которому я охотнее дал бы себя отдубасить; да только тогда я еще не знал его достоинств и потому пригрозил всадить в него кинжал, а леди велела мне убираться вон, и пришлось мне распрощаться с должностью пажа в прекрасном замке Эвенелов, но не успел я еще далеко уйти, как встретил свою почтенную родственницу. А теперь начинайте ваш рассказ, благородная барышня, мой — окончен.

— Счастливая бабушка! — воскликнула Кэтрин — Изловила заблудшего пажу сразу же, как только хозяйка спустила его с поводка. И как счастлив должен быть паж, который, перестав быть пажом, тотчас превратился в человека для услуг при пожилой леди!

— Все это не имеет касательства к вашей истории, — возразил Роланд Грейм, которого уже начала сильно занимать живость характера этой барышни с острым язычком — Рассказ за рассказ — таков неписанный закон всех, кто путешествует вместе.

— Ну, так погодите до тех пор, пока мы не начнем вместе путешествовать, — ответила Кэтрин.

— Э, нет, так легко вы от меня не отделаетесь, — сказал паж — Если вы не будете поступать со мной по справедливости, я призову сюда госпожу Бриджет, или как там ее зовут, и нажалуюсь, что вы меня обманули.

— В этом не будет нужды, — ответила девушка. — Моя история в точности совпадает с вашей. Ее можно рассказать почти теми же самыми словами, достаточно лишь заменить имя и поменять мужское платье на женское. Меня зовут Кэтрин Ситон, и я тоже сирота.

— И давно умерли ваши родители?

— Этот вопрос, — сказала она, опустив свои прекрасные глаза, вдруг ставшие печальными, — единственный, который не может вызвать у меня смеха.

— А госпожа Бриджет — ваша бабушка?

Подобно тому, как исчезает облачко, набежавшее на летнее солнце, так исчезла с ее лица грусть, и с обычной для нее живостью она ответила:

— В двадцать раз хуже, госпожа Бриджет — моя тетка и к тому же — старая дева.

— Господь спаси и помилуй! — воскликнул Роланд. — Как печален ваш рассказ! Какие же еще ужасы последуют за этим?

— В точности такая же история, как и ваша. Меня взяли на службу, положив мне испытательный срок ..

— И дали отставку за то, что вы ущипнули дуэнью или оскорбили камеристку миледи?

— Нет, здесь наши пути расходятся: моя госпожа распустила свой штат, или, вернее, штат ее сам разбежался, что, впрочем, дела не меняет. Во всяком случае, теперь я свободна и живу как истинное дитя леса.

— И я этому так рад, как если бы мой колет был подбит чистым золотом, — сказал юноша.

— Благодарю вас за то, что вы так радуетесь, только не вижу, какое отношение это имеет к вам.

— Неважно, продолжайте рассказывать, — воскликнул паж, — потому что скоро вас прервут: почтенные дамы уже довольно давно бродят по балкону, каркая там, как вороны. Дело идет к вечеру, их карканье становится все более хриплым, и скоро им надоест там кружиться и захочется вернуться в гнездо. Так кто же такая была ваша госпожа, как ее имя?

— Имя ее хорошо известно повсюду, — ответила Кэтрин Ситон. — Редкая леди имеет такой богатый дом и столько же благородных дам в своем штате; моя тетушка, госпожа Бриджет, была одной из ее домоправительниц. Правда, мы никогда не видели лица нашей госпожи, но немало слышали о ней. Мы вставали рано, а ложились поздно, питались скудно, но зато много молились.

— И как только не стыдно было старой ведьме так скаредничать! — с сердцем сказал паж.

— Ради всего святого, не богохульствуйте! — воскликнула девушка с выражением страха на лице. — Господи, прости обоих нас! Я не имела в виду ничего дурного. Я называла своей госпожой святую Екатерину Сиенскую — да простит меня господь за мои легкомысленные слова и за то, что я позволила вам совершить великий грех богохульства. Этот дом был раньше монастырем святой Екатерины, здесь жили двенадцать монахинь и аббатиса. Аббатисой была моя тетка — пока еретики не выгнали всех отсюда.

— А где теперь ваши сестры-монахини?

— А где прошлогодний снег? — отозвалась Кэтрин. — Они где угодно — на востоке, на севере, на юге, на западе, кто — во Франции, кто — во Фландрии... Боюсь даже, что некоторые — снова в миру и вкушают земные радости. Нам позволили остаться здесь, вернее — не помешали, потому что моя тетка имеет могущественных родственников среди Керров, а они пригрозили жестоко отомстить всякому, кто только посмеет нас тронуть. В наши дни ведь нет лучшей защиты, чем лук и копье.

— Ну, в таком случае вы под надежным крылышком, — сказал юноша. — Могу себе представить, что вы немало наплакались, когда святая Екатерина распустила свой штат, прежде чем вы стали получать жалованье за свою службу.

— Замолчите вы, бога ради, — сказала девушка и при этом перекрестилась. — Ни слова больше! Как я ни плакала, а глаз не выплакала, — прибавила она, обратив взор к Роланду, а затем снова устремив его на работу. Это был один из тех взглядов, против которых сердце могло бы устоять, только если бы оно было заковано в тройную медную броню, более крепкую, чем та, которая, по мнению Горация, необходима морякам. У нашего юного паж не было решительно никакой защиты.

— Как смотрите вы, Кэтрин, — сказал он, — на то, если бы мы с вами, столь удивительным образом одновременно отставленные от службы, поручили нашим двум почтенным дуэньям нести факел, а сами отправились вместе прогуляться по белу свету?

— Вот поистине замечательное предложение! — сказала Кэтрин. — Оно только и могло родиться в сумасбродной голове разжалованного паж. А какие хитроумные способы добывать средства к жизни могла бы предложить ваша милость? Петь баллады, срезать кошельки или разбойничать на большой дороге? Ни из каких других источников, я полагаю, вы не сможете извлекать себе доход.

— Ну что же, воля ваша, гордячка вы этакая, — пренебрежительно ответил паж, выказывая свое полное безразличие к тому, что его дикое предложение

сигнала к действию и подчиняться, когда он дан. Но я снова спрашиваю вас, дети мои, достаточно ли пылливо вгляделись вы в лица друг друга, чтобы при любом переодевании, которое может оказаться необходимым в тех или иных обстоятельствах, каждый из вас мог опознать в другом тайного посланца того могущественного союза, к которому вы оба отныне приобщаетесь? Смотрите же еще, изучите лица друг друга вплоть до малейшей черточки. Научитесь каждый по походке, по голосу, по движению руки, по случайно брошенному взгляду узнавать сотоварища, посланного господом вам в помощь для осуществления его воли. Узнаешь ты эту девушку в любом месте и во всякое время, мой Роланд?

Роланд без запинки и с полной искренностью ответил в утвердительном смысле.

— А ты, дочь моя, хорошо ли будешь помнишь черты этого юноши?

— Право же, матушка, — ответила Кэтрин Ситон, — я не так много видела мужчин за последнее время, чтобы сразу же забыть, как выглядит ваш внук, хотя и не заметила в нем ничего такого, что стоило бы запомнить.

— А теперь соедините руки, дети мои, — снова заговорила Мэгделин Грейм, но тут ее прервала аббатиса, которая в силу своих монастырских предрассудков во время этой сцены проявляла признаки возрастающего беспокойства и наконец не смогла больше мириться с происходящим.

— Нет, нет, возлюбленная сестра моя, — сказала она Мэгделин, — ты забываешь, что Кэтрин — обрученная божья невеста; такая фамильярность недопустима.

— Так вот, по божьему повелению я и приказываю им обняться! — прогремел голос Мэгделин во всю свою могучую силу. — Наша цель, сестра, освящает средства, к которым мы должны прибегать.

— Все, кто обращается ко мне, именуют меня госпожой аббатисой или по крайней мере матерью, — сказала, вскинув голову, леди Бриджет, явно оскорбленная властным поведением своей приятельницы. —

Леди Хезергил забывает, что говорит с аббатисой монастыря святой Екатерины.

— Когда я именовалась так, как сейчас ты назвала меня, — ответила Мэгделин Грейм, — ты действительно была аббатисой монастыря святой Екатерины, но оба эти звания ушли в прошлое вместе с тем положением в миру и в схиме, которое было с ними связано; теперь в глазах людей мы с тобой обе — всего лишь нищие, презируемые, сломленные судьбой старухи, обреченные влачить в бесчестье остаток своих дней, пока нас не скроет безвестная могила. Но кем являемся мы в очах господ? Его посланницами, отрешенными для исполнения его воли: через нас, слабых женщин, должна проявить себя сила церкви; перед нами должны склониться в унижении и мудрость Мерри и мрачная сила Мортон. Так нам ли быть во власти жестких правил замкнутой монастырской жизни? И, наконец, разве ты забыла о показанном мною тебе предписании твоего церковного начальства подчиняться мне в этих делах?

— В таком случае пусть позор и грех падут на твою голову, — угрюмо произнесла аббатиса.

— Пусть будет так, принимаю их на себя, — сказала Мэгделин. — Обнимитесь же, дети мои.

Но Кэтрин, по-видимому догадываясь, чем может закончиться этот спор, успела выскользнуть из комнаты, разочаровав внука в такой же, если не в большей, степени, как и его бабушку.

— Она пошла принести чего-нибудь съестного, — сказала аббатиса. — Но наша еда вряд ли особенно придется по вкусу мирянам, ибо как угодно, но я не могу отказываться от правил, следовать которым я дала обет, только потому, что злодеи пожелали разрушить святую обитель, где эти правила издавна соблюдались.

— Справедливо, сестра моя, — возразила ей Мэгделин, — отдавать церкви тмин и мяту точно в меру причитающейся ей десятины, и я не осуждаю тебя за строгое соблюдение правил твоего ордена. Но они были установлены церковью и ради блага церкви

и не должны быть помехой, когда дело идет о спасении церкви.

Аббатиса не промолвила в ответ ни слова.

Кто-нибудь лучше знающий человеческую природу, чем неопытный паж, мог бы позабавиться, сравнив два рода фанатизма, которым отличались эти женщины. Аббатиса, робкая, ограниченная и полная недовольства, цеплялась за старинные обычаи и привилегии, которым положила конец Реформация; в несчастье, так же как некогда в благополучии, она оставалась мелочной, малодушной и склонной к ханжеству. Напротив, для неистового и более возвышенного духа ее единомышленницы требовалось более широкое поле деятельности; она не могла ограничивать себя обычными правилами, стремясь к осуществлению тех необычайных проектов, которые ей подсказывало смелое, пылкое воображение. Но Роланду Грейму было не до того, чтобы сопоставлять характеры обеих старух: он с нетерпением ждал возвращения Кэтрин, возможно надеясь, что им снова будет предложено по-братски обняться, поскольку его бабушка, видимо, взялась распорядиться делами по своему усмотрению.

Его ожидания — или надежды, если позволено так выразиться, — были, однако, обмануты, ибо, когда Кэтрин, позванная аббатисой, вернулась в комнату, принесла с собой и поставив на стол глиняный кувшин с водой, а также деревянные тарелки и чашки по числу присутствующих, госпожа Хезергил, удовлетворенная тем, что ей удалось так решительно подавить сопротивление аббатисы, не стала добиваться вящих доказательств своей победы, проявив этим умеренность, за которую ее внук в глубине души едва ли был ей особенно благодарен.

Тем временем Кэтрин продолжала готовить стол для скудного отшельнического ужина, состоявшего в основном из отварной капусты, которая была подана на деревянных тарелках без какой-либо приправы, кроме щепотки соли, и не сопровождалась никаким дополнительным блюдом, кроме грубого ячменного хлеба, притом в весьма ограниченном коли-

честве. Единственным напитком за столом была вода, содержавшаяся в уже упомянутом глиняном кувшине. После молитвы, прочитанной аббатисой по-латыни, гости сели за стол и принялись за свой незамысловатый ужин.

По-видимому, обеим старухам и Кэтрин эта простая и грубая пища не казалась невкусной: они ели умеренно, однако с явным аппетитом. Но Роланд Грейм привык к лучшей еде. Сэр Хэлберт Глендинг, любивший подчеркивать, что его дом ведется на широкую ногу, как у высшей знати, поддерживал в замке дух такого радушного хлебосольства, что мог потягаться в этом даже с баронами Северной Англии. Возможно, он полагал, что, поступая таким образом, он лучше выполняет ту роль, которую ему предназначила судьба, — роль влиятельного вельможи и военачальника. Два быка и шесть баранов составляли еженедельное довольствие жителей замка, когда сам барон Эвенел был дома; оно не намного уменьшалось в отсутствие хозяина. Бочка солода шла еженедельно на варку пива, которое в доме потреблялось вволю. Хлеба пекли столько, сколько нужно было, чтобы все слуги и все люди из свиты барона наедались досыта. Вот среди какого изобилия Роланд Грейм прожил несколько лет, и сейчас сравнение с прошлым не способствовало привлекательности пресного овощного блюда и ключевой воды. Вероятно, на лице его отразилась некоторая досада, вызванная ощущением различия между прошлым и настоящим, потому что аббатиса сделала следующее замечание:

— Видно, в доме барона-еретика, которому ты долго служил, сын мой, стол пышнее, чем у страдающих дочерей церкви; и все же, скажу я тебе, даже в двенадцатые праздники, когда монахиням позволялось разделить со мной за моим столом вечернюю трапезу, самые изысканные яства, которые подавались тогда, не были для меня и вполонину столь лакомы, как сейчас эта капуста с водой; лучше мне не иметь ничего больше для своего пропитания, нежели огступить хоть на волосок от данного

мною обета. Никто никогда не скажет, что я, хозяйка этого дома, учиняла здесь пиршества в мрачные времена, когда бедствия со всех сторон угрожали святой церкви, недостойной служительницей которой я являюсь.

— Ты хорошо сказала, сестра моя, — отозвалась Мэгделин Грейм, — но ныне настала пора действовать во имя праведного дела, а не только страдать за него. Ну, а сейчас, когда наша паломническая трапеза окончена, мы с тобой должны пойти приготовиться к завтрашнему путешествию и обсудить, как нам лучше применить способности наших детей и какие меры следует принять, чтобы не было вреда от их легкомыслия и доверчивости.

Несмотря на тощий ужин, сердце Роланда Грейма радостно забилося при этих словах, которые позволяли рассчитывать на новый tête-à-tête¹ с прелестной послушницей. Но ему не повезло. Кэтрин, видимо, покамест не была намерена поощрять его, ибо, движимая скромностью, или капризом, или же одним из тех неизъяснимых сочетаний того и другого, которыми женщины любят дразнить и одновременно покорять грубый пол, она напомнила аббатисе, что ей перед вечерней необходимо отлучиться на час, и, удостоившись в ответ от своей начальницы милостивого кивка головой, поднялась с места и направилась к выходу. Но, прежде чем выйти из комнаты, она сделала старухам реверанс, склонившись перед ними так низко, что руки ее коснулись колен; затем, оборотясь лицом к Роланду, она сделала реверанс и ему, но менее глубокий, слегка пригнувшись и отведав небольшой поклон. Она выполнила это весьма церемонно, но молодому человеку, к которому эти знаки почтения были обращены, почудилось в ее манере какое-то насмешливо-озорное торжество по поводу постигшего его разочарования. «Черт побери эту ехидную девицу, — сказал он про себя, хотя присутствие аббатисы должно было бы удержать его от таких нечестивых мыслей. — Она жестокосерда,

¹ Свидание наедине (франц.).

как хохочущая гиена, о которой рассказывается в сказках: ей хочется, чтобы она не выходила у меня из головы по крайней мере всю эту ночь».

Обе пожилые особы тоже удалились, наказав пажу ни в коем случае не покидать стен монастыря и не подходить к окнам, поскольку, как разъяснила аббатиса, бессовестные еретики пользуются любым предлогом, чтобы опозорить монашеские ордена.

«Ну и порядки! Построже, чем у самого мистера Генри Уордена, — сказал паж самому себе, когда остался один. — Тот хоть и требовал, чтобы во время его проповедей все сиделч не шелохнувшись, зато, надо отдать ему справедливость, потом позволял нам делать что угодно и порой даже принимал участие в наших развлечениях, если они казались ему вполне невинными. А от этих старух так и веет мраком, таинственностью, отрешенностью от всего мирского. Ну что ж, если мне запрещено высунуть нос за ворота или выглянуть в окошко, остается только посмотреть, нет ли внутри дома чего-нибудь любопытного; а вдруг случится так, что я встречу в каком-нибудь уголке эту самую синеглазую насмешницу».

Выйдя поэтому через дверь, противоположную той, через которую удалились старухи (ибо, как легко можно догадаться, у него не было никакого желания нарушать их уединение), он отправился бродить по комнатам опустевшего здания, с детским любопытством ища в них чего-нибудь занятного или развлекательного. Так попал он в длинный коридор, по обеим сторонам которого были расположены узкие кельи монахинь, сейчас совершенно пустые, лишённые даже той предельно скудной обстановки, которая допускалась уставом ордена.

«Птички улетели, — подумал паж, — а хуже ли им от того, что они вырвались на свежий воздух из этих сырых, тесных клеток, пускай решают между собой моя почтенная родственница и госпожа аббатиса. Но полагаю, что жаворонок, оставленный ими здесь, куда охотнее пел бы на воле, под открытым небом».

Винтовая лестница, узкая и крутая, словно нарочно сделанная для напоминания монахиням об их долге — поститься и умерщвлять плоть, вела в нижнюю анфиладу комнат, занимавшую весь первый этаж здания. Эти помещения были еще более разрушены, чем те, которые Роланд только что покинул, ибо они приняли на себя первый натиск разъяренных врагов, пришедших громить монастырь: окна были высажены, двери сорваны с петель, и даже кое-где были разрушены стены между комнатами. Переходя из одного разоренного помещения в другое, он вдруг с удивлением услышал поблизости от себя коровье мычание. Эти звуки казались здесь настолько странными и неуместными, что Роланд Грейм вздрогнул, словно услышал львиный рык, и схватился за кинжал; но в этот момент на пороге помещения, откуда эти звуки исходили, внезапно выросла стройная, красивая фигура Кэтрин Ситон.

— Бог тебе в помощь, доблестный воин! — сказала Кэтрин. — Со времен Гая Уорика не было никого достойнее тебя, чтобы сразиться в открытом бою с дойной коровой.

— С коровой? — воскликнул Роланд Грейм. — Честное слово, я было подумал, что сам дьявол зарычал тут у меня над ухом. Слыханное ли дело, чтобы коровник помещался прямо в монастыре?

— Здесь теперь место и коровам и телятам, — ответила Кэтрин, — потому что нет больше возможности держать их где-либо снаружи. Но я советую вам, дорогой сэръ, вернуться туда, откуда вы явились.

— Вернусь, но не раньше чем увижу вашу подопечную, — возразил Роланд и решительно переступил порог, несмотря на полушутливые-полусерьезные возражения девушки.

Несчастная одинокая корова — теперь единственная строгая затворница монастыря — была помещена на жительство в обширную залу, которая некогда служила трапезной. Потолок здесь был украшен крестовыми сводами, а стены — нишами со статуями святых, теперь сброшенными со своих мест. Эти остатки архитектурных украшений странно

контрастировали с грубо сколоченными яслями, возле которых была навалена куча корма для коровы.

— Честное слово, — сказал паж, — буренушка устроилась здесь удобнее всех, истинно по-барски.

— Вам бы не мешало остаться при ней, — ответила Кэтрин, — чтобы своими сыновними заботами постараться заменить ей наследника, которого она имела несчастье потерять.

— Я останусь хотя бы для того, чтобы помочь вам приготовить ей на ночь постель, прелестная Кэтрин, — сказал Роланд, хватаясь за вилы.

— Ни в коем случае, — возразила Кэтрин, — так как, во-первых, вы не имеете ни малейшего понятия о том, как нужно прислуживать ей по этой части, а во-вторых, из-за вас меня основательно распекут, чего мне и так-то предостаточно.

— Что? Распекут? За то, что вы мне позволили помочь вам? — воскликнул паж. — И не кому иному, а именно мне, тому, кто отныне становится вашим союзником в каком-то таинственном и важном деле? Но это было бы совершенно неразумно! А теперь, раз уж пришлось к слову, скажите-ка мне, — если можете, конечно, — на какое такое необычайно отважное предприятие меня прочат?

— На то, чтобы разорять птичьи гнезда, я полагаю, — ответила Кэтрин, — принимая во внимание доблести воителя, избранного нашими руководителями.

— Честное слово, — сказал юноша, — тот, кто добрался до соколиного гнезда на Гледскрейгской скале, сделал кое-что, чем не грешно и похвастаться, дорогая сестричка. Но все это теперь позади, и пропади они пропадом, все эти гнезда и соколята вместе с их пищей — мытой или непромытой: ведь как раз из-за кормежки этих проклятых птиц я и вынужден был отправиться в дальнюю дорогу. Не встретить я вас, милая сестричка, я бы стал кусать себе локти от досады на собственное безрассудство. Но так как мы с вами попутчики...

— Сотоварищи, а не попутчики, — возразила девушка, — ибо, да будет вам известно, мы, госпожа

аббатиса и я, отправляемся завтра в путь раньше, чем вы с вашей уважаемой родственницей, и я терплю сейчас ваше общество отчасти потому, что может пройти немало времени, пока мы встретимся снова.

— Клянусь святым Андреем, этому не бывать, — ответил Роланд. — Или мы пойдем охотиться вдвоем, или же я не пойду на охоту вовсе.

— Подозреваю, что в этом вопросе, как и во всех других, нам придется поступать так, как нам прикажут, — закончила свою речь юная леди. — Но стойте, я слышу голос моей тетушки.

Действительно, в этот момент старая леди собственной персоной вошла в залу и бросила сердитый взгляд на племянницу; Роланда же вовремя осенила счастливая мысль затеять какую-то возню с веревкой, которая была на шее у коровы.

— Молодой человек, — сказала Кэтрин с серьезным видом, — помогает мне покрепче привязать корову к столбу, потому что прошлой ночью, когда она высунула голову в окно и замычала, она, по-моему, переполошила всю деревню; еретики заподозрят нас в колдовстве, если не дознаются причины этого явления, ну, а если дознаются, то мы лишимся коровы.

— Пусть тебя это больше не тревожит, — несколько иронически произнесла аббатиса. — Сейчас за ней придет человек, которому она продана.

— Значит, прощай, моя бедная подружка, — сказала Кэтрин, похлопывая корову по спине. — Желая тебе попасть в хорошие руки, потому что за последнее время те часы, когда я ухаживала за тобой, были для меня самыми счастливыми, и как жаль, что я не рождена только для этого!

— Постыдись ты, грубое создание! — воскликнула аббатиса. — Разве достойны такие речи уст наследницы рода Ситонов или сестры из этого дома, идущей путем избранниц? И допустимо ли говорить такое в присутствии постороннего молодого человека? Ступай-ка в мою молельню, милочка, и читай там часы, пока я не приду дать тебе хороший урок,

чтобы ты научилась ценить дарованное тебе блаженство.

Кэтрин собиралась уже удалиться в молчании, бросив на Роланда Грейма полупечальный-полузадорный взгляд, как бы говоривший: «Видите, какие неприятности у меня из-за вашего несвоевременного визита»; но внезапно, изменив свое намерение, она подошла к пажу и, протянув ему руку, пожелала на прощанье всего хорошего. Рукопожатие состоялось. Прежде чем изумленная аббатиса смогла вмешаться, Кэтрин успела выговорить следующее:

— Простите меня, матушка, но ведь мы так давно не видели человеческого лица, которое смотрело бы на нас с добрым выражением. С тех пор как эти бесчинства обрушились на нашу мирную обитель, вокруг нас царят мрак и злоба. Я желаю этому юноше на прощанье всего доброго, потому что он пришел к нам с добром и потому что раздоры в стране так велики, что мы, возможно, никогда больше не встретимся в этом мире. Я понимаю лучше, чем он, что планы, которые вы торопитесь осуществить, слишком грандиозны, чтобы быть вам по силам, и что вы теперь толкаете камень, который, покотившись вниз, неминуемо раздавит вас. Прощай же, — добавила она, — мой товарищ по несчастью, как и я, обреченный на гибель!

Все это было произнесено с глубоким и серьезным чувством, совершенно несовместимым с обычной легкомысленной манерой Кэтрин, и ясно показывало, что под внешней беспечностью, происходящей от чрезвычайной молодости и полного отсутствия жизненного опыта, таилась способность к значительно более глубоким мыслям и переживаниям, нежели это обнаруживалось до сих пор в ее поведении.

После того как Кэтрин покинула залу, аббатиса с минуту молча стояла на месте. Задуманная было отповедь замерла у нее на устах; казалось, она была ошеломлена страстной, полной зловещих угроз речью, которую на прощанье произнесла ее племянница. В молчании она проследовала в комнату, где прежде помещались они обе и где сейчас было приготовлено

то, что аббатисой обозначалось как легкая закуска, которая состояла из молока и ячменного хлеба. Мэгделин Грейм, приглашенная разделить эту скромную трапезу, вышла из соседней комнаты, но Кэтрин больше не появлялась. За едой, поглощенной в весьма рассеянном состоянии духа, говорили мало, и, когда встали из-за стола, Роланд Грейм был отослан в ближайшую келью, где ему для отдыха наскоро устроили некое подобие ложа.

Удивительные обстоятельства, в которых он оказался, возымели обычное в таких случаях действие: они не дали ему погрузиться в сон, и он ясно слышал доносившийся из соседней комнаты, в которой он был перед тем, тихий, но отчетливый шепот обеих старух, продолжавших о чем-то таинственно совещаться между собой. Наконец старухи стали прощаться и Роланд услышал, как аббатиса явственно выговорила следующее:

— Словом, сестра, я уважаю и твои достоинства и те полномочия, которыми мои старшие облекли тебя; все же мне кажется, что нам следует посоветоваться с кем-либо из церковных архипастырей.

— А где и каким образом мы найдем благочестивого епископа или аббата, у которого можно испросить совета? Богобоязненного Евстафия нет больше — он восхищен из мира зла, освобожден от тирании еретиков. Пусть господь бог и пресвятая мать божья отпустят ему его грехи и сократят временные муки, положенные ему за земные слабости! Где найдем мы кого-нибудь вместо него, с кем могли бы посоветоваться?

— Господь позаботится о церкви, — сказала аббатиса, — благочестивые братья, которым еще позволено оставаться в Кеннаквейрском монастыре, решатся избрать аббата. Они не допустят, чтобы не было среди них митрофорного иерея.

— Об этом я узнаю завтра, — сказала Мэгделин Грейм, — но кто же захочет стать правителем на час иначе как для того, чтобы разделить с грабителями их добычу? Завтрашний день откроет нам, продолжает ли кто-либо из тысячи святых, вышедших

из монастыря святой Марии, попечительствовать над ним в бедственные для него дни. Прощай, сестра моя, мы встретимся в Эдинбурге.

— Benedicite! ¹ — ответила аббатиса, и старухи расстались.

«Итак, путь наш лежит в Кеннаквайр, а затем в Эдинбург, — заметил про себя Роланд Грейм. — За эти сведения я заплатил всего лишь бессонницей; ну что ж, это вполне согласуется с моими целями. В Кеннаквайре я увидаю отца Амвросия; в Эдинбурге я найду способ самостоятельно избрать себе поприще, не обременяя мою любезную родственницу; там же, в Эдинбурге, я снова увижу эту обворожительную послушницу с синими глазами и задорной улыбкой».

Он уснул, и ему пригрезилась Кэтрин Ситон.

Глава XIII

Как, вновь восстал Дагон! Я думал,
 он повержен,
Чтоб у порога, здесь, всегда лежать
 в пыли.

Скорей топор сюда! Соседи, помогите
Мне в щелы идола для топки расколоть!

«Ательстан, или Обращенный датчанин»

Роланд Грейм спал долго и крепко, и солнце уже было высоко над горизонтом, когда голос его спутницы призвал его возобновить их паломничество. Поспешно одевшись, он отправился на ее зов и увидел, что неистовая старуха стоит уже на пороге в полной готовности к путешествию.

Характеру этой замечательной женщины были всегда свойственны быстрота в исполнении задуманного и суровая настойчивость, основанная на глубоком фанатизме, который она питала в своей душе и который подавлял в ней все обычные для смертных

¹ В добрый час! (лат.)

стремления и чувства. Только одно человеческое чувство проглядывало сквозь эту неистовую деятельность, подобно солнечному лучу, сверкающему в разрыве грозowych туч. То была ее материнская любовь к Роланду, любовь, доходившая почти до безумия, когда дело не касалось католической религии, но тотчас же отступавшая на задний план, как только она становилась в противоречие или как-то сталкивалась с более властными порывами души Мэгделин и с более возвышенными задачами, которым она посвятила себя. Она охотно отдала бы жизнь ради спасения горячо любимого ею земного существа, но готова была подвергнуть его любым опасностям и, не задумываясь, пожертвовала бы им, если бы ценой его крови можно было бы достичь восстановления римской церкви. Кстати сказать, все речи Мэгделин, за исключением тех случаев, когда ее безграничная любовь к внуку находила себе выражение в словах тревоги за его здоровье и благополучие, неизменно вращались вокруг одной темы, а именно — обязанности поднять приниженное достоинство церкви и восстановить на престоле католического монарха. Иногда она намекала, хотя весьма туманно и отдаленно, что богом предназначено ей самой осуществить в некоторой части эту важнейшую задачу и что, берясь за нее, она имеет надежную опору, причем не только в людях. Но по этому поводу она высказывалась в общих чертах, и нелегко было решить, считает ли она в самом деле, что следует прямому указанию свыше, подобно прославленной Элизабет Бартон, больше известной под прозвищем Кентская монахиня,¹ или же она имеет в виду всего лишь ту обязанность, которую тогда дол-

¹ Монахиня-фанатичка, прозванная Кентской святой девой, претендовавшая на обладание пророческим даром и силой чудотворства. Она предрекла скорую смерть Генриху VIII за его женитьбу на Анне Болейн, была за это привлечена к суду парламента, осуждена на смертную казнь и казнена вместе со своими сообщниками. В течение некоторого времени она настолько успешно обманывала людей, что даже сэр Томас Мор был склонен верить ей. (Прим. автора.)

жен был нести на себе всякий католик и бремя которой она ощущала в чрезвычайной степени.

Однако, хотя Мэгделин Грейм и не заявляла прямо, что ее надлежит рассматривать как существо высшего порядка, отличающееся от обыкновенных смертных, поведение нескольких лиц из числа путешественников, которых они стали время от времени встречать на дороге, когда вступили в более плодородную и населенную часть долины, явственно говорило об их вере в ее сверхъестественные свойства. Правда, двое крестьян, гнавших перед собой стадо, несколько деревенских девушек, направлявшихся, видимо, на какой-то веселый праздник, прохожий солдат в заржавленном шишаке, странствующий школяр, чье занятие угадывалось по черному потертому плащу и сумке с книгами, прошли мимо наших путешественников, не обратив на них внимания или скользнув по ним презрительным взглядом. Более того — стайка детей, привлеченная одеждой Мэгделин, весьма напоминавшей паломническое платье, стала улюлюкать им вслед и кричать хором: «Позор торговцам обеднями!»

Но кое-кто из встречных, втайне питая уважение к пришедшему в упадок церковному чиновничеству, в страхе посмотрев вокруг, не следит ли кто за ними, быстро осеяли себя крестом, преклоняли колено перед той, кого они называли, приветствуя ее, сестрой Мэгделин, целовали ей руку или даже край ее плаща; а затем, встав и снова боязливо оглянувшись, дабы убедиться, что их никто не видел, поспешно продолжали свой путь. Даже когда вблизи были сторонники господствующей религии, навстречу попадались достаточно смелые люди, которые, скрестив руки на груди и наклонив голову, давали понять, что они узнали сестру Мэгделин и почитают как ее самое, так и ее веру.

Она не преминула обратить внимание внука на эти знаки почтения и уважения, которые выказывались ей время от времени.

— Ты видишь, сын мой, — сказала она, — что врагам не удалось совсем искоренить доброе начало и

задушить семя истины. Не все еще превратились в еретиков и схизматиков, расхитителей церковных земель, глумящихся над святыми угодниками и таинствами нашей религии.

— Вы правы, мать моя, — ответил Роланд Грейм, — но, мне думается, это люди не такого свойства, что могли бы нам чем-нибудь помочь. Разве вы не видите, что те, кто при оружии и выглядит посolidнее, проходят мимо нас с таким надменным видом, словно мы самые последние нищие? Ведь люди, проявляющие к нам симпатию, — это беднейшие из бедных, самые обездоленные из всех отверженных, и у них нет ни куска хлеба, чтобы разделить его с нами, ни шпaga, чтобы защитить нас, ни даже умения владеть оружием, если бы оно попало к ним в руки. Вот, например, несчастный бедняк, который только что преклонил пред вами колено с таким истово набожным видом и который, по видимости, совершенно изнурен какой-то болезнью, точащей его изнутри, и нуждой, давящей его извне, — чем может он, бледный, дрожащий, жалкий человек, помочь в осуществлении замысленных вами великих планов?

— Многим, сын мой, — ответила старуха в более мягком тоне, чем мог ожидать Роланд. — Когда этот преданный сын церкви возвратится от мощей святого Рингана, к которым он сейчас совершает паломничество по моему совету и с помощью добрых католиков, когда он вернется, излеченный от точащей его болезни, здоровым и сильным, разве слава о его благочестии, столь чудесно вознагражденном, не будет звучать в ушах ослепленных шотландцев громче, нежели назойливое суесловие, раздающееся еженедельно с тысячи еретических кафедр?

— Но я боюсь, матушка, что рука святого Рингана оскудела. Давно уже мы не слышали о совершенных им новых чудесах.

Старуха несколько минут сохраняла полное молчание, а затем голосом, срывающимся от волнения, произнесла:

— Неужели ты, несчастный, дошел до того, что стал сомневаться в могуществе этого святого угодника?

— Нет, нет, матушка, — поторопился ответить юноша, — я верую именно так, как предписывает нам святая церковь, и не сомневаюсь в способности святого Рингана исцелять страждущих; но я позволю себе со всей почтительностью заметить, что в последнее время он не выказывал к этому склонности.

— А разве наша страна заслужила это? — сказала старая католичка, продолжая быстро подниматься вверх по склону холма, куда их вела узкая тропинка. Дойдя до вершины, она остановилась. — Здесь, — сказала она, — раньше стоял крест, обозначавший границу владений монастыря святой Марии, здесь стоял он, на этой возвышенности, с которой паломнику впервые открывается вид на древний монастырь, светоч нашей страны, убежище святых праведников, место последнего упокоения монархов. И где же теперь этот символ нашей веры? Лежит на земле, превращенный в бесформенную грудку камней, и несколько обломков от него уже утащено, чтобы служить для какого-нибудь низменного употребления, — так что не осталось и подобия того, что было раньше. Посмотри на восток, сын мой, туда, где прежде солнце играло на шпилях стройных колоколен; теперь с них низвергнуты кресты и сорваны колокола, словно бы страна подверглась нашествию орды варваров-язычников; посмотри на окружающие монастырь стены: даже на таком расстоянии видны произведенные в них разрушения; подумай, может ли эта страна ожидать от святых угодников, чьи раки и изображения осквернены, иных чудес, кроме чудесного отмщения? Доколе, — воскликнула она, поднимая глаза к небу, — доколе придется ждать его?

Мэгделин Грейм сделала паузу, а затем ее восторженная речь полилась снова:

— Да, сын мой, все преходяще на земле: радость и горе, ликование и отчаяние сменяют друг друга, как солнечные и пасмурные дни; не вечно будет погираться вертоград, все изъяны будут залечены, а

плодоносящие ветви выхожены и приведены снова в порядок. Я верю, что не пройдет и дня, — нет, даже часа не пройдет, — как мы узнаем важные новости. Не будем же мешкать, пойдем дальше; время не терпит, а суд уже произнесен.

Она снова двинулась вперед по дороге, которая вела к аббатству. В прежние времена дорога была аккуратно размечена столбами и снабжена перилами — для удобства паломников, — но теперь все это было опрокинуто и сломано. После получасовой ходьбы наши путешественники подошли к монастырю, который блистал великолепием, пока на него не обрушилась ярость реформаторов. Самый храм оставался еще нетронутым, но оба длинных здания, расположенные по двум сторонам большого прямоугольного двора и содержавшие в себе кельи, а также другие помещения для нужд братии, совершенно выгорели внутри, от них сохранились только наружные стены, против массивной кладки которых огонь оказался бессилён. Дом аббата, составлявший третью сторону прямоугольника, тоже был поврежден, но все же оставался пригодным для жилья и служил убежищем для немногих монахов, которым не то чтобы действительно разрешили, но из какого-то попустительства не помешали остаться в Кеннаквейре. Превосходные добавочные сооружения — великолепные аркады, под которыми обычно прогуливались монахи, цветущие сады — все это было разрушено и пришло в запустение. Часть руин, годная как строительный материал, очевидно была расхищена жителями окрестных деревень, которые прежде были вассалами монастыря, а теперь без стеснения присваивали себе его добро.

Роланд уже раньше на дороге видел обломки готических колонн с богатой лепкой на месте дверных косяков в самых жалких хижинах; тут и там попадались на глаза перевернутые вверх ногами или лежащие на боку изуродованные статуи, игравшие роль подпорки или порога для какого-нибудь ветхого коровника. Храм пострадал меньше, чем другие здания монастыря; но стоявшие в нишах многочислен-

ных колонн и контрфорсов фигуры святых и ангелов, заклеянные как предметы языческого культа (и не без основания, так как паписты суеверно поклонялись им), были сброшены со своих мест и разбиты вдребезги, причем никто не старался сохранить в целости богатые, искусно выполненные орнаменты, равно как и пьедесталы, на которых эти фигуры возвышались. И если разрушение не пошло дальше, то не потому, что сохранность памятников древности могла хоть сколько-нибудь озаботить сторонников реформатского вероисповедания.

У наших паломников, приученных считать эти изображения священными и заслуживающими почитания, картина их разрушения вызвала чувства совсем другого рода. Антикварию, может быть, позволено сокрушаться о печальной необходимости такой акции, но для Мэгделин Грейм это было нечестивое деяние, требующее немедленного мщения небес, и внук ее в течение нескольких минут испытывал те же чувства не менее остро, чем она сама. Ни он, ни она, однако, не выразили словами своих переживаний, о которых свидетельствовали лишь вздымаемые к небу руки и взор, устремленный ввысь. Паж направился к большим восточным дверям, но бабушка остановила его.

— Эти двери, — сказала она, — давно заложены, дабы еретическое отребье не знало, что среди братии монастыря святой Марии остались еще такие, которые осмеливаются устраивать богослужения там, где их предшественники молились при жизни и нашли себе упокоение после смерти. Следуй за мною, сын мой.

Роланд Грейм повиновался, и Мэгделин, бросив беглый взгляд вокруг, чтобы проверить, не следит ли за ними кто-нибудь (ибо опасности того времени научили ее быть осторожной), велела внуку постучать в небольшую дверцу, которую она ему указала.

— Только стучи тихонько, — добавила она, сделав предостерегающий жест. Некоторое время никто не отвечал на стук, и она знаком приказала Роланду возобновить попытку. Наконец дверь приоткрылась и

за ней мелькнула фигура худого запуганного привратника, который, прячась от взора тех, кто стоял снаружи, старался одновременно и разглядеть их и остаться для них невидимым. Как он был непохож на привратника прежних дней, который встречал богомольцев, паломничавших в Кеннаквайр, с гордым сознанием своего достоинства, отражавшимся на его исполненных важности чертах и во всем его внушительном облике! Вместо своего обычного торжественного обращения: «Intrate, mei filii»,¹ он дрожащим голосом выговорил: «Сейчас нельзя войти, все братья разошлись по своим кельям». Но когда Мэгделин Грейм вполголоса спросила его: «Разве ты не узнаешь меня, брат?» — он не повторил своего вежливого отказа, а произнес: «Войдите, уважаемая сестра, только поскорее, потому что недобрые глаза следят за нами».

Они вошли, и привратник, поспешно и старательно заперев дверь, повел их по каким-то темным, извилистым переходам. Пока они медленно продвигались вперед, привратник разговаривал с Мэгделин Грейм полушепотом, словно боялся даже стенам доверить тайну, которую счел нужным раскрыть почетной гостье:

— Отцы собрались в здании капитула для избрания аббата. Благослови их боже! Но теперь не будет ни колокольного звона, ни торжественной службы, не распахнутся, как бывало, главные двери, чтобы люди могли увидеть своего духовного отца и воздать ему почести. Отцы наши должны скрываться, словно они разбойники, выбирающие атамана, а не священнослужители, призванные избрать митрофорного аббата.

— Не сокрушайся об этом, брат, — сказала Мэгделин Грейм, — первые преемники святого Петра избирались не при солнечном сиянии, а в грозу и бурю, не в залах Ватикана совершалось их избрание, а в катакомбах и темницах языческого Рима; их не приветствовали клики толпы, в их честь не палили

¹ Войдите, дети мои (лат.).

из пушек и мушкетов, не зажигали фейерверков. Нет, их уши слышали только хриплые выкрики ликторов и преторов, явившихся за тем, чтобы повлечь отцов церкви на мучения. Церковь некогда поднялась из пучины бедствий, а теперь благодаря им же она очистится. И помяни мое слово, брат! Никогда, даже в дни наивысшего расцвета этого митрофорного аббатства, избранному братией настоятелю сан его не доставлял таких почестей, каких удостоится тот, кто вступает в эту должность ныне, в дни горя и слез. На кого же падет выбор?

— На кого может он пасть, или — увы! — кто осмелится принять это звание, кроме достойнейшего ученика святого Евстафия, честного и доблестного отца Амвросия?

— Я так и знала, — промолвила Мэгделин Грейм, — сердце подсказало мне это имя задолго до того, как твои уста произнесли его. Выступи же вперед, отважный воитель, и закрой собою роковую брешь! Поднимись, смелый и опытный кормчий, и стань у руля, ибо вокруг бушует шторм. Бери посох и пращу, благородный пастырь рассеянного стада!

— Пожалуйста, потише, сестра, — сказал привратник, отворяя дверь, которая вела в главный неф церкви. — Братия сейчас прибудет сюда, чтобы отпраздновать торжественным богослужением избрание нового аббата. Я должен сопровождать процессию к главному алтарю; теперь все обязанности по этому священному храму лежат на одном несчастном дряхлом старике.

Он покинул церковь, оставив Мэгделин Грейм и Роланда одних под сводами этого обширного помещения, архитектурный стиль которого, отличавшийся одновременно богатством и строгостью форм, говорил о том, что оно сооружено в XIV столетии — то есть в период расцвета готики. Но здесь, как и с наружной стороны церкви, из ниш были выброшены все статуи; в хаосе всеобщего разгрома уничтожение идолопоклоннических изображений распространилось также на гробницы военачальников и царственных особ. Копья и мечи древней выделки, которыми

были увешаны гробницы могучих воителей прошлого, валялись как попало среди различных приношений набожных паломников, украшавших ими гробницы своих покровителей — святых. Фигуры рыцарей и их жен, лежавшие прежде простертыми навзничь или стоявшие в набожных позах, преклонив колена, там, где покоились останки их смертных прообразов, были разбиты, а обломки их разбросаны всюду вперемешку с обломками готических скульптур, изображавших святых и ангелов и также яростно сброшенных со своих мест.

Самым прискорбным во всей картине было то, что, хотя прошло уже много месяцев со времени, когда были произведены эти разрушения, братия, полностью утратив мужество и решимость, не осмеливалась даже очистить церковь от мусора и навести в ней какое-то подобие порядка. Сделать это можно было без особого труда. Но оставшиеся здесь немногочисленные члены некогда могущественной корпорации были скованы ужасом и, сознавая, что им позволяют остаться на старом месте только из попустительства и жалости, не отваживались сделать какой-нибудь шаг, который можно было бы истолковать как утверждение ими своих старинных прав, и удовлетворялись тайным отправлением религиозных обрядов, стараясь делать это как можно более незаметным образом.

Двое или трое старших по возрасту братьев скончались, не выдержав тяжких испытаний своего времени, и, чтобы их похоронить, развалины несколько расчистили. Под одной из плит обрел вечное упокоение отец Николай, и надпись на ней особо упоминала о том, что он принимал обеты от вступавших в орден, когда во главе монастыря стоял аббат Ингильрам — то есть в тот период времени, к которому он так часто возвращался в своих воспоминаниях. Другая, более поздняя плита скрывала под собой бранные останки ризничего Филиппа, известного своей прогулкой по воде в обществе эвенелского призрака; на третьей, появившейся совсем недавно, были изображены контуры митры и начертана краткая

надпись: «Nec jacet Eustacius Abbas»,¹ — ибо никто не решался добавить хотя бы слово похвалы учености этого иеромонаха и его ревностной деятельности во славу римско-католического вероучения.

Мэгделин Грейм разглядывала одну за другой надписи на могильных плитах, внимательно вчитывалась в них; дольше всего ее взор задержался на гробнице отца Евстафия.

— Счастливым для тебя, но несчастным для церкви, — сказала она, — был тот час, когда ты нас покинул. Да осенит нас твой дух, святой праведник, да побудит он твоего преемника следовать по твоим стопам и внушит ему такую же смелость и находчивость, такое же рвение и благоразумие, каким отличался ты, — а по благочестию своему он не уступает даже тебе.

В то время, когда она произносила эти слова, боковая дверь, которая вела в проход, соединявший церковь с домом аббата, открылась настежь, чтобы братия могла вступить на клирос и сопровождать к главному алтарю избранного ею духовного отца.

В прежние времена это зрелище было одним из самых пышных среди тех, которые придумало римское духовенство с целью возбуждать в верующих благоговейное чувство. Пока должность аббата оставалась незанятой, длилось состояние траура, или, по символическому обозначению монахов, — вдовства; эта печальная пора сменялась радостью и ликованием, когда избирался новый настоятель. В таких торжественных случаях створчатые двери распахивались настежь, и на пороге появлялся новый аббат в полном облачении, соответствующем его высокому сану, с кольцом и посохом, в мантии и в митре; перед ним шли седовласые знаменосцы со штандартами и юные служки с кадилами, а позади шествовала почетная свита из монахов. Все это, как и прочие детали церемонии, преследовало цель — как можно торжественнее возвестить о вручении высших полномочий новому избраннику. Его появление служило

¹ Здесь покоится аббат Евстафий (лат.).

сигналом к тому, чтобы орган и хор грянули величественное «Jubilate»,¹ к которому присоединялись мощные возгласы «Аллилуйя!» всей собравшейся паствы. Теперь же все было по-иному. Среди всеобщего развала и запустения семь или восемь стариков, согбенных и ослабевших под бременем годов, а также от горя и страха, в наскоро напяленном облачении своего ордена, ныне запрещенном, брели словно какая-то процессия призраков, по грудам щебня от двери к главному алтарю, чтобы там провозгласить избранного ими настоятеля владыкой этих руин. Они походили на кучку заблудившихся путешественников, выбирающую себе предводителя в Аравийской пустыне, или на команду потерпевшего крушение корабля, назначающую одного из своих сотоварищей капитаном на каком-то скалистом острове, куда их забросила судьба.

Те, кто в мирные времена более других стремится к власти, обычно уклоняются от борьбы за нее в периоды суровых испытаний, когда обладание ею не связано ни с богатством, ни с показным блеском, когда она становится тяжелым бременем, означая львиную долю забот и опасностей, и навлекает на злощастного предводителя ропот его недовольных соговарищей, — притом, что подставляет его под первый удар их общего врага. Но тот, кого теперь облекли саном аббата в монастыре святой Марии, по своему душевному складу вполне соответствовал обстоятельствам, в которых ему предстояло начать свою деятельность. Отважный и исполненный пыла, но одновременно великодушный и снисходительный к людям, мудрый и осмотнительный в своих поступках, но при этом неустанно деятельный и быстрый в решениях, он мог бы стать истинно великим человеком, если бы у него была более высокая цель, нежели защита отживающего суеверия. Но, как гласит поговорка, конец венчает дело, и лишь исходя из того, каков этот конец, можно судить обо всем деле; а посему тем, кто, будучи добросовестен и искренен

¹ Возликуйте (лат.).

в своих действиях, сражается и гибнет за цели неправые, потомки могут в лучшем случае сочувствовать, как жертвам благородного, но пагубного заблуждения.

Именно такой жертвой следует считать отца Амвросия, последнего кеннаквейрского аббата: его намерения должны быть осуждены, так как их осуществление сковало бы Шотландию цепями давно устаревших предрассудков и духовной тирании; но ему были присущи такие качества, которые заставляли окружающих высоко почитать его, и такие добродетели, что даже враги его веры не могли не относиться к нему с уважением.

Поведение нового аббата само по себе придавало достоинство церемонии, лишенной всех других атрибутов величия. Сознывая грозящую им опасность и, без сомнения, вспоминая лучшие дни, чем этот, его собратья настолько были придавлены страхом, стыдом и горем, что явно старались поскорее завершить начатый ими обряд, как некое унижительное и рискованное дело.

Но совсем иной вид был у самого отца Амвросия. Черты его, конечно, выражали глубокую грусть, когда он продвигался вперед по главному нефу среди обломков тех предметов, которые считал священными, но уныния не было в его лице, и его шаг был твердым и торжественно спокойным. Казалось, для него власть, которой ему предстояло облечься, ни в коей мере не зависела от внешних обстоятельств того момента, когда он становился ее носителем; и если, несмотря на твердость духа, он был доступен чувствам горя и страха, то это было лишь потому, что он тревожился и страшился за судьбу церкви, которой посвятил себя, а отнюдь не за свою собственную.

Наконец он взошел по разбитым ступеням к главному алтарю, согласно обычаю, босой и с пастырским посохом в руке; усеянные драгоценными камнями кольцо и митра отсутствовали, став добычей мирян. Не шли теперь чередой послушные вассалы, которые прежде в таких случаях являлись присяг-

нуть на верность своему духовному владыке и принести ему дань, дабы он стал обладателем верховного коня с полной сбруей. Не было на торжестве и епископа, чтобы принять в ряды самых знатных сановников церкви высокопоставленного иерея, чей голос в законодательных делах был столь же влиятелен, как и его собственный.

Спеша, комкая ритуал, несколько оставшихся монахов по очереди подходили к новому аббату, чтобы запечатлеть на его челе поцелуй в знак братской любви и духовной присяги. Затем быстро отслужили мессу — с такой поспешностью, словно она была не самой торжественной частью обряда рукоположения, а лишь наскоро осуществленной проформой, нужной для очистки совести нескольким молодым людям, которым не терпится отправиться на охоту. Священник, произнося сбивчивой скороговоркой слова молитвы, часто поглядывал вокруг, как бы опасаясь, что кто-то прервет богослужение; монахи слушали так, словно месса была еще недостаточно коротка и им хотелось бы еще больше сократить ее.¹

С ходом церемонии их тревога все усиливалась и, как видно, не просто из-за дурных предчувствий; действительно, в паузах гимна можно было слышать доносившиеся снаружи звуки совсем другого рода. Сначала они слышались слабо и издалека, но затем приблизились к самой церкви, превратясь в оглушительный разноголосый шум, от которого совершавшие обряд монахи застыли на месте. За стенами церкви без всякого ладу и складу трубили рожки, звенели колокольчики, били барабаны, ныли волынки, гремели литавры; кричала толпа — то гневно, то со смехом; высокие женские и детские голоса, смешиваясь с низкими голосами мужчин, образовали настоящий Вавилон звуков, которые сначала заглушили, а затем и вовсе заставили умолкнуть бого-

¹ В католических странах, для того чтобы требования религии не мешали забавам вельмож, было принято, когда собирались на охоту, служить укороченную мессу с упрощенным ритуалом, так и называвшуюся охотничьей; краткость ее соответствовала мере нетерпения паствы (*Прим. автора.*)

служебные гимны монастыря святой Марии, так что внутри церкви воцарилась зловещая тишина.

О причине и последствиях этой неожиданной помехи будет рассказано в следующей главе.

Глава XIV

И страшный вал, крушащий все
преграды,
И страшный вихрь, бушующий на воле,
И страшный демон, эти две стихии
Обрушивающий на урожай, —
Все не грозней толпы разгульной
этой —
Смешно и жутко, глупо и опасно!

«Заговор»

Пение монахов прекратилось: подобно хористам в легенде о берклейской ведьме, они пели все тише и тише дрожащими голосами, пока наконец, охваченные ужасом, не умолкли совсем. Словно выводок цыплят, вспугнутый появлением ястреба, они сначала заматались и готовы были броситься врассыпную, но затем, скорее от отчаяния, нежели в надежде на что-то, сгруппировались вокруг нового аббата. А он, сохраняя величественный и бесстрашный вид, отличавший его от других во время церемонии, стоял на верхней ступени алтаря, как бы желая быть самым заметным из всех, чтобы на себя одного навлечь приблизившуюся к ним вплотную опасность и спасти братию хотя бы ценой своей жизни, поскольку никак иначе он защитить их не мог.

Совершенно безотчетно Мэгделин Грейм и Роланд сошли с того места, где до сих пор стояли, не замечаемые никем, и приблизились к алтарю, желая разделить с монахами ожидавшую их участь, какой бы она ни была. Оба почтительно отвесили аббату низкие поклоны; Мэгделин собиралась было заговорить с ним, а юноша, поглядев на главные двери, за которыми сейчас сосредоточился весь шум и гам и которые со-

трясались от неистового стука, схватился за рукоятку кинжала.

Аббат знаком остановил их.

— Спокойно, сестра, — сказал он тихо, но тон его так контрастировал с гроыханием снаружи, что даже среди грохота можно было ясно различить сказанные им слова. — Спокойно, сестра, пусть новый настоятель монастыря святой Марии сам встретит приветствующих его благодарных вассалов, которые пришли отпраздновать его вступление в должность, и сам же пусть ответит им. А тебе, сын мой, я не велю прикасаться к твоему мирскому оружию; если наша покровительница попустит надругательству над ее священным храмом, разрешив совершиться насилию и кровопролитию, да не будет повинен в этих преступлениях верный сын католической церкви!

Шум за дверьми и стук становились громче с каждой минутой; слышались голоса, нетерпеливо требовавшие отворить двери. Аббат, с достойным видом, твердой походкой, которая не стала неувереннее или поспешнее при появлении опасности, направился к portalу и властным тоном спросил, что за люди мешают богослужению и чего они хотят.

На мгновение наступила тишина, а затем снаружи раздался громкий хохот. Наконец один голос ответил:

— Мы хотим войти в церковь; когда откроете нам двери, тогда и узнаете, кто мы такие.

— Какая власть дает вам право требовать этого? — спросил отец Амвросий.

— Власть нашего достопочтенного милорда аббата Глупости, — ответил голос снаружи; и по смеху, который последовал за этими словами, можно было предположить, что они скрывают за собой что-то весьма забавное.

— Я не знаю и знать не хочу, что это означает, — ответил аббат, — так как, по-видимому, это нечто непристойное. Именем господа велю вам: уходите прочь отсюда и оставьте божьих слуг в покое. Я говорю так, ибо имею законное право распоряжаться здесь.

— Откройте двери, — произнес другой, грубый голос, — и мы тут с вами потягаемся, ваше монашеское

преподобие, покажем вам настоятеля, которому все мы обязаны подчиняться.

— Надо сломать двери, если он будет упорствовать, — слышался третий голос, — и разделаться с погаными монахами, мешающими нам воспользоваться нашими правами!

Тут поднялся общий крик:

— Права! Наши права! Ломай двери! Долой бездельников монахов, раз они упорствуют!

Стук сменился теперь тяжелыми ударами молотов, под которыми двери, как бы крепки они ни были, не могли долго устоять. Но аббат, видя, что сопротивление бесполезно, и не желая еще сильнее раздражить нападающих попыткой оказать его, стал уговаривать толпу замолчать и не без труда добился, чтобы его выслушали.

— Дети мои, — сказал он, — я хочу уберечь вас от тяжкого греха. Сейчас привратник откроет двери — он пошел за ключами, а пока, прошу вас, подумайте сами, в том ли вы душевном состоянии, при котором можно переступить порог храма.

— Что вы там мелете, ваше папистское благородие? — слышалось снаружи. — Мы как раз в том расположении духа, в каком бывают монахи, когда нажрутсЯ говядины с пивом вместо постной капусты. Так вот, если ваш привратник не страдает подагрой, пускай живо возвращается, а не то мы без проволоочки высадим дверь. Верно я говорю, друзья?

— Крепко сказано и сделано будет не хуже, — отозвалась толпа; и если бы ключи не появились в тот же момент и испуганный привратник не поспешил бы вступить в исполнение своих обязанностей и отомкнуть главные двери, чернь избавила бы его от этого труда. Охваченный страхом, он, как только сделал свое дело, бросился бежать, подобно человеку, открывшему затвор шлюза и опасаящемуся, что с силой хлынувшая вода захлестнет его. Все монахи, словно по уговору, стали позади аббата, который один не трогался со своего места, примерно в трех ярдах от входа, не выказывая никаких признаков страха или смятения.

Ободренные неустрасимостью своего руководителя, стыдясь покинуть его и сознавая свой долг, они тесно сгрудились за спиной отца Амвросия и стояли не шевелясь.

Когда двери распахнулись, раздался взрыв хохота и торжествующие крики; но, вопреки ожиданию, в церковь не ворвалась толпа разъяренных громил. Послышался неожиданный возглас: «Стой! Стой! Соблюдайте порядок, ребята! Пусть преподобные отцы приветствуют друг друга, как приличествует их сану!»

Толпа, остановленная этим возгласом, имела крайне причудливый вид. Она состояла из мужчин, женщин и детей, потешно выраженных различнейшим образом и державшихся группами — одна пестрее и причудливее другой. Какой-то парень с маской в виде лошадиной головы, с привязанным сзади конским хвостом и покрытый длинной попоной, позволившей мысленно добавить к морде и хвосту недостающий лошадиный корпус, изображал иноходь, делал крутые повороты на месте, вставал на дыбы и пускался в галоп, разыгрывая широко известную роль конька-скакунка, столь часто упоминаемую в наших старинных драмах и до сего дня с успехом исполняемую на подмостках в сцене битвы, которой завершается трагедия о Бэйсе. Соперничая с ловкостью и проворством этого персонажа, выступил вперед другой лицедей, изображавший более страшное существо — огромного дракона с позолоченными крыльями, с раскрытой пастью и пунцовым, раздвоенным на конце языком; дракон делал многократные попытки изловить и пожрать убегавшую от него прелестную царицу Савскую, дочь египетского царя, которую представлял переодетый юноша; между тем воинственный святой Георгий, шутовски вооруженный вертелом вместо копья и с кубком на голове вместо шлема, то и дело встречал между ними и заставлял чудовище отпускать его жертву. Медведь, волк и несколько других диких зверей исполняли свои роли с простодушием столяра Снага: проявляемого ими явного предпочтения к передвижению на одних только задних конечностях было достаточно, чтобы даже самые боязливые

зрители без дополнительных разъяснений убедились в том, что перед ними такие же двуногие, как и они сами. Была здесь также группа разбойников во главе с Робинот Гудом и Маленьким Джоном — персонажами самого популярного представления того времени. Популярность его не удивительна, ибо актеры в большинстве своем были такими же изгоями, людьми вне закона, как и те, кого они представляли. Были и другие ряженные, не изображавшие кого-либо определенного. Мужчины были переодеты в женское платье, женщины — в мужское; дети были переряжены стариками; в нацепленных на них, длинных не по росту, меховых мантиях, с беретами на головах, они ковыляли, опираясь на костыли; а старцы, напялившие на себя детскую одежду, ломались, подражая поведению малышей. У многих в толпе были раскрашены лица и на верхнюю одежду была надета рубашка; кое-кто обвесил себя украшениями из цветной бумаги и лент. Те же, у кого не было ничего этого, вымазали себе лица сажей и вывернули наизнанку куртки; таким образом с легкостью совершалось превращение всей толпы в нелепо-причудливое карнавальное сборище.

Ряженные на время притихли, очевидно ожидая появления кого-то, облеченного среди них высшей властью, и поэтому люди, находившиеся внутри церкви, успели разглядеть всю эту нелепицу. Им нетрудно было понять, в чем смысл шутовского переодевания и какова его цель.

Большинство читателей, вероятно, знает, что в раннюю пору своего существования и в период своего расцвета римская церковь не только попустительствовала сатурнальным вольностям вроде тех, которым сейчас предавалось население Кеннаквайра и окрестных деревень, но даже поощряла их.

Считалось не только дозволенным, но и полезным, чтобы простонародье в дни такого разгула вознаграждало себя за лишения и епитимьи, которым оно подвергалось в другое время, всякого рода выходками, несмотря на то, что далеко не все они были невинно-ребяческими и что некоторые носили откровенно без-

нравственный, языческий характер. Более того — именно церковные обряды и церемонии были излюбленным предметом пародийного осмеяния, и, как ни странно, делалось это с одобрения самого духовенства

Когда церковь была на вершине своей славы, духовенство не опасалось того, что допускаемое им непочтительно-фамильярное обращение мирян со святынями может возыметь дурные последствия; оно тогда представляло себе народ чем-то вроде рабочей лошади, которая подчиняется узде и хлысту ничуть не менее покорно оттого, что ей изредка дадут порезвиться на воле и даже взбрыкнуть копытами на обычно погоняющего ее хозяина. Но когда времена переменились, когда сомнение в римско-католическом вероучении и ненависть к его блюстителям породили большое число сторонников Реформации, духовенство обнаружило — но уже слишком поздно, — что из установившейся традиции игрищ и празднеств, в которых подвергалось осмеянию все, что оно считало наиболее священным, истекают немалые неудобства.

Тогда и для менее хитроумных политиков, чем деятели римской церкви, стало очевидным, что те же самые действия приобретают совсем другую направленность, поскольку теперь они порождаются ненавистью и носят оскорбительно-издевательский характер, перестав быть просто выражением грубого и бесшабашного разгула. Поэтому церковники, спохватившись, постарались употребить все сохранившееся еще влияние своей религии на то, чтобы не допустить возобновления этих непристойных увеселений. В этом отношении католическое духовенство нашло поддержку со стороны большинства реформатских проповедников, которые более оскорблялись язычеством и безнравственностью такого рода представлений, нежели были расположены извлекать выгоду из того, что римская церковь со всеми ее ритуалами выставлялась в них в смешном виде. Но прошло немало времени, пока удалось навсегда положить конец этой неприличной и безнравственной забаве: простонародье не хотело отказываться от своего любимого развлечения, и как в Англии, так и в Шотландии митре католиче-

ского епископа, равно как и стихарю епископа реформатского, а также плащу и перевязи священника-кальвиниста не раз приходилось ступать перед масками комических персонажей — папы дураков, малыша-епископа и аббата Глупости.¹

Именно этот последний персонаж, в своем полном облачении, приближался сейчас к portalу церкви святой Марии, выраженный так, что его костюм представлял собой карикатуру или, иначе сказать, шутовскую пародию на облачение и регалии настоящего аббата, прямо к которому он и направлялся, нимало не смущаясь тем, что это был день вступления аббата в должность, что его окружали другие духовные лица и что он стоял под сенью алтаря своей церкви. Мнимый церковный сановник был толстый малый низкого роста; ему еще нарастили живот, привязав туго набитый чем-то мешок, и от этого его коренастая, приземистая фигура выглядела уморительно-потешной. На нем была кожаная митра, расшитая спереди какими-то грубыми узорами, подобно гренадерскому киверу, и увешанная оловянными побрякушками. На лице его выдавался непомерной величины нос, столь же богато украшенный, как и его головной убор. Ряса его была из клеенки, а риза — из причудливо размазанной холстины с фестонами. На одном плече у него помещалось чучело совы; в правой руке он держал пастырский посох, в левой — небольшое зеркальце с ручкой, таким образом напоминая собой знаменитого шутника, о чьих приключениях рассказывается в книге, которая была переведена на английский язык и пользовалась некогда большой популярностью; еще сегодня ее можно приобрести по цене один фунт стерлингов за каждый лист.

Люди, сопровождающие этого мнимого сановника церкви, одетые соответственным образом и снабженные подобными же атрибутами, имели такое же карикатурное сходство с носителями различных мона-

¹ В интересном романе под названием «Анастасий» сообщается, что такие же пародийные церемонии происходили там, где господствовала греческая церковь. (*Прим. автора.*)

стырских званий, как и их главарь с самим настоятелем. Стройной процессией следовали они за своим главарем, и вся пестрая толпа ряженных, ожидавшая его появления, пропустив его со свитой вперед, стала вливаться в церковь с криками: «Дорогу почтенному отцу Хаулегласу, ученому монаху ордена Беззакония, его священству аббату Глупости!»

Возобновился кошачий концерт, и церковь заполнилась разноголосым гомоном: мальчишки кричали и завывали; мужчины гоготали и орали напропалую; женщины визгливо смеялись и испускали истошные вопли, звери рычали, дракон бил хвостом и шипел, конек-скакунок ржал, становился на дыбы и приплясывал, и все прочие так резвились и прыгали, стуча подкованными каблуками о каменный пол, что в конце концов плиты были сплошь испещрены следами от их неистовых скачков.

Короче говоря, в церкви творилось нечто невообразимое, так что было больно ушам, в глазах рябило и голова шла кругом. Такой хаос ошеломил бы всякого постороннего наблюдателя; монахам же, понимавшим, что народ потешается над ними и что они — главная причина его веселья, было особенно не по себе от опасения, что ряженные, которые вопили и прыгали вокруг них, осмелев благодаря переодеванию, могут при малейшем подстрекательстве превратить потеху в нечто весьма серьезное или по крайней мере перейти к таким грубым шуткам, к которым обычно бывает склонна развеселившаяся и расположенная к озорству чернь. Среди всего этого гама и беспорядка монахи взирали на своего аббата так, как пассажиры корабля взирают во время шторма на кормчего: их взгляды говорили, что сами они чувствуют себя бессильными и уже не слишком надеются на то, что усилия их Палинура увенчаются успехом.

Сам аббат был, по-видимому, в некотором затруднении. Он не испытывал страха, но сознавал, что открыто выразить свое возмущение, которое он едва мог сдержать, было бы весьма опасно. Он подал знак рукой, как бы приказывая толпе утихомириться, но в ответ крики стали еще громче, и раздался взрыв

дикого хохота. Однако, когда Хаулеглас, подражая аббату, сделал такой же жест, его буйная компания немедленно подчинилась, в предвкушении нового повода для веселья — разговора между настоящим аббатом и аббатом мнимым; толпа явно возлагала немалые надежды на грубое остроумие и бесстыдство своего главаря. Все принялись кричать: «На бой! На бой! Выходи, монах, на шалопута! Аббат против аббата — хорошая пара! Схватитесь, умный с глупым, праведник с греховодником!»

— Потише, ребята! — сказал Хаулеглас. — Неужто двое ученых отцов церкви не могут побеседовать друг с другом без того, чтобы вы тут учиняли такой содом, вопили и улюлюкали, словно вы травите гончими взбесившегося буйвола? Тише, говорю вам! Дайте нам с этим ученым отцом посоветоваться о делах, касающихся нашего сана и наших полномочий.

— Дети мои... — начал Амвросий.

— И мои также, — подхватил его комический двойник. — И счастливые они дети, надо сказать! Немало есть славных ребят, которые не знают своих отцов, а этим повезло: они могут выбирать любого из двух.

— Если в тебе есть что-нибудь, кроме безбожия и распутства, — произнес настоящий аббат, — позволь мне, ради спасения твоей же души, сказать несколько слов этим введенным в заблуждение людям.

— Есть ли во мне что-нибудь, кроме безбожия? — переспросил аббат Глупости. — Как же, преподобный братец, во мне есть все, что особе моего звания в это время суток полагается иметь в себе: говядина, пиво, горячительное и всякие разные приправы; а хочешь говорить — говори, а потом скажу я, и мы с тобой померяемся по-честному.

Во время этого препирательства гнев Мэгделин Грейм возрос до предела; она приблизилась к аббату, стала рядом с ним и негромко, но отчетливо произнесла:

— Воспрянь и соберись с силами, отец! Меч святого Петра — в твоей руке: рази им и отмсти за поруганные владения святого апостола. Закуй их в цепи, которые, будучи наложены церковью на земле, не размыкаются в небесах.

— Спокойствие, сестра! Пусть безумие этих людей не заставит нас забыть об осторожности. Прошу тебя, сохраняй спокойствие и не мешай мне в отправлении моих обязанностей. Сегодня в первый, а быть может, и в последний раз я призван исполнить их.

— Напрасно, напрасно, святой братец! — сказал Хаулеглас. — Я полагаю, тебе лучше последовать совету святой сестрицы: ведь для того чтобы монастыри процветали, всегда нужен был совет женщины.

— Замолчи, пустой человек! — воскликнул аббат. — А вы, братья мои...

— Нет, нет, — сказал аббат Глупости, — никаких разговоров с мирянами, пока не поговоришь со мной, твоим рясофорным собратом. Клянусь колоколами, библией и свечами, ни один человек из моей паствы не станет слушать ни единого твоего слова; поэтому обращай лучше ко мне, а я, так и быть, выслушаю.

Чтобы избежать такого шутовского диспута, аббат снова попытался воззвать к благочестивым чувствам, которые, возможно, еще теплились в жителях Хэли-дома, некогда столь преданных своим духовным владыкам. Увы! Аббату Глупости достаточно было взмахнуть своим бутафорским жезлом, чтобы крики, улюлюканье и пляски возобновились с неистовой силой; люди орали так, что им мог бы позавидовать сам Стентор.

— А теперь, ребята, — сказал аббат Глупости, — снова на время заткните глотки и не шумите. Посмотрим, будет ли драться кеннаквайрский петух или же удерет с поля боя.

Снова наступила напряженная тишина, и отец Амвросий воспользовался ею, чтобы обратиться к своему противнику, ибо он убедился, что никаким другим способом ему не удастся заставить толпу выслушать его.

— Несчастный! — воскликнул он. — Неужели ты не знаешь лучшего применения твоей природной сметливости, кроме как заводить слепых, беспомощных людей во мрак преисподней?

— По правде говоря, брат мой, я не вижу большой разницы между тем, на что вы употребляете свой

ум и на что — я: разве только, что вы делаете проповедь из чепухи, а я — чепуху из проповеди.

— Жалкий же ты человек, — сказал аббат, — если тебе представляется самым подходящим предметом для шутовства то, перед чем ты должен трепетать, если पुще всего тебя веселят твои собственные грехи и если, по-твоему, нет лучшей потехи, как делать посмешище из тех, кто мог бы отпустить тебе грехи и снять с тебя вину за них.

— Воистину, — сказал лжеаббат, — вы были бы правы, если, высмеивая лицемеров, я насмеялся бы над религией. Ох, и отличное же дело надеть на себя долгополую рясу и капюшон: становишься одним из столпов матери-церкви, а мальчики уж и не смей играть в мячик под стеной! Вдруг ненароком разобьешь цветные стеклышки.

— Неужели вы, друзья мои, — произнес аббат, оглядев всех вокруг с такой страстью, что на некоторое время привлек к себе внимание присутствующих, — неужели вы можете терпеть, чтобы нечестивый шут оскорблял в божьем храме служителей господа? Многие из вас, а может быть, и все вы, жили под началом моих святых предшественников, которые были призваны отправлять власть в этой церкви, где я призван только страдать. Если вы владеете земными благами, то это их дар. И когда вы не отвергали с презрением лучшие дары — милосердие и всепрощение церкви, — разве не всегда они были вам доступны? Разве мы не молились, когда вы проводили время в веселье, не бодрствовали, когда вы предавались сну?

— О том, бывало, говаривали иные хозяйшкн в Хэлидоме, — сказал аббат Глупости; но его острота встретила на этот раз слабое одобрение, и отец Амвросий, завладев на миг вниманием толпы, поспешил развить свою удачу.

— И что же! — сказал он. — По заслугам ли воздаете вы, пристойно ли, честно ли поступаете, нападая на небольшую горстку стариков и глумясь над ними, хотя все, чем вы владеете, досталось вам от их предшественников, хотя единственное их желание — спо-

койно умереть в этом разрушенном монастыре, бывшем некогда светочем страны, и они ежедневно молятся о том, чтобы глаза их закрылись раньше, чем погаснет последняя искра и страна погрузится во тьму, предпочтя ее свету? Мы не обратили против вас острие духовного меча в отпущение за то, что нас преследуют в этом мире. В своей дикой ярости вы отобрали у нас земли и почти совсем лишили нас хлеба насущного, но мы не воздали вам за это громами анафемы; мы просим вас только об одном: дайте нам дожить наш век в стенах этой церкви, моля господина, пресвятую мать Божию и святых угодников простить все совершенные вами и нами грехи, и не тревожьте нас своим грубым шутовством и богохульством.

Общий тон и в особенности финал этой речи оказались для толпы совершенно неожиданными и произвели на ее чувства такое воздействие, которое не располагало к продолжению озорства. Плясуны, выряженные героями легенды о Робине Гуде, прекратили свой танец, конек-скакунок перестал скакать, труба и барабан затихли, и «тишина, подобно тяжелой туче», казалось, придавила только что бушевавшую чернь. Иные звери явно испытывали угрызения совести: медведь не мог сдерживать рыданий, а огромная лисица утирала себе хвостом глаза. Но особенно был тронут дракон, до сих пор устрашающе вздымавшийся на дыбы: перестав выпускать когти и сворачиваться кольцами, он на этот раз открыл свою свирепую пасть, чтобы жалобно произнести в тоне покаяния:

— Клянусь обедней, я и не подозревал, что это дурно — заняться нашей старинной забавой; но если бы я знал, что святой отец примет это так близко к сердцу, ни в какую не стал бы для вашей потехи представлять дракона.

Во время этой короткой передышки у аббата, окруженного пестрой толпой причудливых масок, был такой же победоносный вид, как у святого Антония в «Искушениях» Калло; но Хаулеглас не собирался отступить.

— Что же это выходит, братцы? — воскликнул он. — Честно ли это? Не вы ли сами выбрали меня аббатом Глупости, и кто же из вас вправе сегодня прислушиваться к здравому смыслу? Разве я не был избран по всем правилам в торжественном собрании всего нашего ордена на постоялом дворе мамыши Мартины? И что ж, теперь вы хотите бросить меня, отказаться от своего старинного развлечения и от своих прав? Игру надо доигрывать до конца, и всякого, кто впредь вымолвит хоть что-нибудь здравомыслящее или разумное, кто станет призывать нас подумать да рассудить, я в силу данной мне власти велю стукнуть башкой о мельничную плотину.

Чернь, до сих пор молчавшая, издала восторженный вопль, опять заиграли труба и барабан, конек-скакунок взвился на дыбы, звери зарычали, и даже раскаявшийся дракон снова стал извиваться, готовясь к новым прыжкам. И все же аббат мог бы пресечь злонамеренные поползновения разгульной толпы, но в этот момент почтенная Мэгделин Грейм дала волю своему долго подавляемому негодованию.

— Безбожники! — воскликнула она. — Велиаловы слуги, нечестивые еретики, свирепые насильники!

— Сдержись, сестра, умоляю тебя, приказываю тебе! — произнес аббат. — Дай мне исполнить мой долг, не вторгайся в мои полномочия!

Но Мэгделин продолжала метать громы и молнии, угрожая еретикам страшными карами от имени всех пап, всех соборов и всех святых, начиная от архангела Михаила.

— Друзья! — воскликнул аббат Глупости. — Эта женщина не сказала ни одного разумного слова, и поэтому можно считать, что к ней закон неприменим. Но сама-то она полагала, что говорит вещи разумные, и если только она не признается и не заявит, что все, сказанное ею здесь, — чепуха, это будет считаться разумным и в качестве такового подпадет под действие наших законов. Исходя из этого, госпожа богомолка, паломница, аббатиса или кто бы ты ни была, сейчас же прекрати свои штуки или же берегись мельничной плотины! Мы не потерпим в нашей епархии

Глупости сварливых старух, все равно — духовного или светского звания!

С этими словами он протянул руку к старухе и под крики своей свиты: «Держи ее, держи!» — попытался было ее схватить, однако намерению его не суждено было осуществиться. Роланд Грейм все это время с негодованием наблюдал, как оскорбляют его старого духовного наставника, но, оказавшись на этот раз достаточно рассудительным, сообразил, что помочь ему он бессилён и может бесполезным вмешательством только ухудшить дело. Однако когда он увидел, что его пожилой родственнице угрожает рукоприкладство, проявилась свойственная его характеру порывистость: резко шагнув вперед, он вонзил кинжал в живот аббату Глупости, которого этот удар сразу же свалил с ног.

Глава XV

Когда перед бушующей толпой,
Что одержима яростью слепой,
Является, презревши град камней,
Поленев и горящих головней,
Отважный муж, чей прям и честен
дух,
Стихает чернь, вся обратившись
в слух.

Вергилий (в переложении Драйдена)

Разгульная толпа, чье веселье было столь ужасным образом нарушено, испустила крик яростного возмущения; но в первую минуту из-за отсутствия у нее оружия, а также будучи устрашена гневным лицом Роланда Грейма и его обнаженным кинжалом, замерла в нерешительности. Аббат, потрясенный до глубины души, воздев руки к небу, молил господи о прощении за кровопролитие, совершенное в святилище. Только лицо Мэгделин Грейм выражало радость и удовлетворение от того, что младший представитель ее рода сурово покарал безбожника; но по ней было видно также, что она охвачена безумным страхом за судьбу любимого внука.

— Пусть издыхает богохульник! — сказала она. — Пусть умрет он на этих священных плитах, оскверненных его прикосновением!

Но гнев толпы, скорбь аббата и экзальтация неистовой Мэгделин оказались беспричинными и напрасными. Якобы смертельно раненный Хаулеглас правильно вскочил на ноги и закричал:

— Чудо, чудо, братцы! Самое настоящее чудо, не хуже всякого другого, что когда-либо совершалось в Кеннаквайрской обители. И, как ваш законно избранный аббат, я велю вам, братцы, никого не трогать без моего приказанья. Ты, волк, и ты, медведь, держите этого шалого мальчишку, но не делайте ему больно. А ты, преподобный отче, со всеми твоими присными, отправляйтесь-ка вы лучше по кельям; ибо наше совещание окончилось так, как кончаются все совещания: каждый остался при своем мнении; а если мы затеем драку, то и тебе, отче, и твоей братии придется солоно, да и церковь останется в накладе. Поэтому берите-ка ноги в руки и улепетывайте отсюда подобру-поздорову!

Галдеж уже начинался снова, но отец Амвросий все еще колебался; ему было не совсем ясно, в чем состоит сейчас его долг, — встретить ли грудью натиск или сохранить себя до более благоприятного времени. Его самозванный собрат, аббат Глупости, заметил, что он в затруднении, и сказал более естественным тоном, без того ломанья, в котором он раньше усердствовал, чтобы лучше играть свою роль:

— Мы пришли сюда без злого умысла — просто для того, чтобы повеселиться; мы лаем громко, но кусаемся не больно, а главное, не хотим вам сделать ничего худого. Поэтому перестаньте нам мозолить глаза, пока дело не обернулось худо: сокол, который уже взлетел, свисти ему не свисти, обратно не вернется, и из пасти гончей нелегко вырвать добычу. Стоит этим ребятам разойтись снова, и сам дьявол не удержит их, а не то что аббат Глупости.

Братия сгрудилась вокруг аббата Амвросия и стала упрашивать его отступить перед неудержимым напором. Это разгульное празднество, говорили они,

представляет собой старинный обычай, который признавали его предшественники, и в прежние времена, при аббате Ингильраме, бывало, сам почтенный отец Николай изображал дракона.

— И вот теперь мы пожинаем плоды того, что когда-то было столь безрассудно посеяно, — сказал отец Амвросий. — В свое время людей научили глумиться над тем, что свято: так можно ли удивляться, что потомки безбожников стали разбойниками и грабителями? Но пусть будет по-вашему, братья мои, идите к себе и вкушайте отдых. А тебе, женщина, я велю уйти отсюда вместе с нами, не произнеся больше ни слова: ты должна сделать это ради твоего уважения ко мне и ради безопасности молодого человека, который тебе дорог. Однако постойте... Что собираетесь вы делать с этим юношей, которого вы держите как пленника? Подумали ли вы о том, — продолжал он суровым тоном, обращаясь к Хаулегласу, — что на нем ливрея дома Эвенелов? Люди, не страшась божьего гнева, должны убояться хотя бы гнева человеческого!

— Не обременяйте себя заботой о молодом человеке, — ответил Хаулеглас. — Мы знаем, кто он и откуда.

— Прошу вас, — умоляюще сказал аббат, — не причиняйте ему зла за опрометчивый поступок, который он в своем пылком рвении чуть было не совершил.

— Говорю вам, не обременяйте себя заботой о нем, отче, — повторил Хаулеглас, — и живо отправляйтесь отсюда со всей вашей свитой мужеска и женска пола, или же я не ручаюсь, что эта самая святая уберется от позорного стула. А что касается злых умыслов, то им в моем брюхе не поместиться, — добавил оратор, похлопав себя ладонью по объемистому животу, — оно слишком туго набито соломой и клееным холстом; великое спасибо им обоим: они выдержали кинжал этого сорвиголовы не хуже миланских лат.

Действительно, кинжал Роланда Грейма вонзился в набивку искусственного брюха, которое входило составной частью в маскарадный костюм аббата Глупости, и лишь сила толчка свалила на мгновение это почтенное лицо на пол.

— Да что ж это такое, братцы? — воскликнул аббат Глупости. — Почему у вас такие постные рожи? Не собираетесь ли вы отказаться от своего старинного развлечения из-за бредней какой-то старухи о святых да о чистилище? А я-то грешным делом думал, что вам давно уже охота поразмяться... Эй, грянь, барабан, играй, арфа, ударьте по струнам, скрипачи, пляшите все и веселитесь сегодня, а завтра — хоть трава не расти! Медведь и волк, следите за вашим пленником, гарцуй, конек, шипи, дракон, вопите вовсю, мальчишки! Мы старимся с каждой минутой, потерянной зря, а жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на игру в молчанку.

Это энергичное увещание возымело желаемое действие. Церковь наполнилась запахом паленой шерсти и жженных перьев, заменившим собой аромат фимиама; в чаши для святой воды налили грязную дождевую воду, а затем разыграли пародию на богослужение, причем роль священника у алтаря исполнял лжеаббат. Люди пели игривые и непристойные песни на мелодии церковных гимнов; портили, рвали и ломали все, что попадалось им под руку из принадлежавшего аббату имуществу, то есть прежде всего — облачение и церковную утварь. Предаваясь самым чепуховым выходкам, какие только могла подсказать им в эти минуты полнейшей свободы их буйная фантазия, они постепенно перешли к более серьезным разрушительным действиям: стали стаскивать с мест и уничтожать деревянные статуи, разбили витражи, уцелевшие после предыдущего нападения на церковь, и, с неослабевающим рвением разыскивая скульптуры, которые считались предметами идолопоклоннического обожания, начали истреблять орнаменты, сохранившиеся еще на гробницах и капителях колонн.

Страсть к разрушению, подобно всякой другой склонности, усиливается, когда не встречает противодействия; и самая буйная часть сборища, раззадоренная картиной уже нанесенного ею вреда, стала испытывать потребность в разрушениях еще более значительного масштаба. Подстрекатели начали кричать:

— Надо вовсе смести это старое воронье гнездо, оно слишком долго служило папе и его присным!

И они затянули балладу, которая тогда была распространена в низших классах общества:

— Нас в темноте отец святой
Хотел держать до гроба;
Когда слепца ведет слепой,
Глядишь — в болоте оба!
Одно лишь зло
Проистекло
От римского главы...
Эх, в самый раз пуститься в пляс
Под зеленью листьев!

Богач-аббат не служит треб, —
Он непотребством занят;
А брат-монах ест даром хлеб,
Из нас деньжонки тянет.
И требник есть —
Да не прочесть...
Вот братья каковы!
Эх, в самый раз пуститься в пляс
Под зеленью листьев! ¹

Громко распевая хором эту балладу, сочиненную каким-то поэтом-сатириком на мотив известной охотничьей песни, люди аббата Глупости с каждой минутой расходились все больше, так что сам их преподобный прелат уже не мог справиться с ними, — как вдруг в церковь вошел закованный в латы рыцарь в сопровождении нескольких вооруженных ратников и решительно потребовал прекратить буйство.

Забрало у рыцаря было поднято, но даже если бы оно закрывало его лицо, ветви остролиста было доста-

¹ Эти грубые строфы заимствованы из народной баллады и лишь слегка изменены. Балладу эту можно найти в уникальном издании под названием: «Собрание духовных песнопений, извлеченных из различных частей писания, и баллад, переделанных из светских песен ради предотвращения греха и распутства, с добавлением некоторых добронравных и богоугодных баллад». Эдинбург, у Андро Харта. Это любопытное собрание перепечатано в «Шотландских поэтах XVI столетия» мистера Джона Грэма Дэлиела, Эдинбург, 1801, 2 тома. (Прим. автора.)

точно, чтобы узнать сэра Хэлберта Глендининга. Проезжая по пути домой через деревню Кеннаквейр, сэр Хэлберт услышал доносившийся из церкви рев и, по-видимому, тревожась за судьбу брата, тотчас поспешил туда.

— Что все это значит, люди добрые? — спросил он. — Ведь вы христиане и королевские подданные, а разрушаете церковь, словно какие-то язычники!

Все сразу утихло, хотя кое-кто был, без сомнения, удивлен и обескуражен, услышав порицание, а не благодарность от такого ревностного протестанта.

Наконец дракон решил взять на себя роль оратора и, раскрыв свою картонную пасть, проревел:

— Мы выметаем из церкви папизм железной метлой.

— Как, друзья мои! — возразил сэр Хэлберт Глендининг. — Неужели вы не видите, что в вашем кривлянье и ряженье больше папизма, чем в этих каменных стенах? Раньше избавьтесь сами от изъязвляющей вас проказы, а уж потом толкуйте об очищении каменных стен; подавите в себе дерзкое своеволие, ведущее лишь к пустому тщеславию и греховной невоздержанности, и знайте, что вы предаетесь сейчас одной из тех нечестивых и бесстыдных забав, которые измыслили сами же римские священники, чтобы сбить с истинного пути и низвести до животного состояния души, попавшие в их сети.

— Вот оно как! И вы туда же! — проворчал дракон с такой злобой, которая вполне соответствовала его роли злого чудовища. — Лучше уж было нам оставаться по-прежнему католиками, если у нас отнимают право развлекаться по-своему.

— Как смеешь ты так отвечать мне? Да и что это за развлечение — ползать по земле, подобно пресмыкающемуся? Вылезай-ка из своей шкуры, или, клянусь честью, я обойдусь с тобой, как с гусеницей, которую ты из себя корчишь.

— Как с гусеницей? — повторил оскорбленный дракон. — Да ведь я такой же человек, как и ты, даром что нет у меня рыцарского титула.

Вместо ответа рыцарь нанес дерзкому дракону таких два удара тупым концом копья, что, не будь достаточно прочными обручи, составлявшие ребра этого сооружения, треснули бы ребра самого актера. Не дожидаясь того, чтобы разгневанный рыцарь отвесил ему еще один удар, лицедей поспешно вылез из своей скорлупы. Став на ноги, бывший дракон явился сэру Хэлберту Глендинингу в хорошо ему знакомом обличье Дэна из Хаулетхэрста, с которым он водил дружбу в прежние годы, когда судьба еще не подняла его высоко над тем состоянием, какое ему было уготовано рождением. Поселянин сердито смотрел на рыцаря, и тот мог прочесть в его взгляде укор за нападение на старого приятеля; да и сам Глендининг, по своей природной доброте, уже раскаивался, что так круто обошелся с ним.

— Я нехорошо поступил, ударив тебя, Дэн, — сказал рыцарь, — но, право же, я не узнал тебя. Ты как был, так и остался шалым парнем. Приходи-ка лучше ко мне в замок Эвенелов, и мы вместе поглядим, как летают мои соколы.

— И если мы не покажем ему соколов, которые взмывают вверх, как шутихи, — сказал аббат Глупости, — ваша милость может отдубасить меня так же крепко, как вот сейчас его.

— Это еще что такое, милейший? Как ты оказался здесь? — произнес рыцарь.

Аббат, поспешно сбросив искажавший его физиономию фальшивый нос и накладное брюхо, которое составляло часть его маскарадного одеяния, предстал перед хозяином в своем истинном виде Адама Вудкока, эвенелского сокольничего.

— Ах, мошенник! — воскликнул рыцарь. — Как посмел ты явиться сюда и учинить беспорядок в доме, где живет мой брат?

— Прошу прощения у вашей милости, но я нахожусь здесь именно по этой причине. Я услышал, что народ собирается избрать аббата Глупости и, конечно, тут же подумал: ведь я пою, пляшу, прыгаю спереди назад через палаш, так что, в общем, умею валять дурака не хуже всякого другого, кто домогается зва-

ний и чинов, и могу вполне рассчитывать, что справлюсь с этой ролью; а коли мне удастся быть избранным, то я могу оказаться не без пользы брату вашей милости, в случае если дело обернется худо для церкви монастыря святой Марии.

— Ты хитрый плут, — сказал сэр Хэлберт. — Только мне сдается, что из одной лишь любви к моему семейству ты едва ли сдвинешься и на ярд, а вот из любви к элю и бренди — не говоря уж об озорстве и буйстве — с легкостью пробежишь целую милю. Ну довольно, уводи своих буянов отсюда прочь, в трактир, если им это по душе, и вот вам деньги на расходы. Беситесь дальше весь остаток дня, а завтра станьте снова рассудительными людьми и научитесь впредь служить доброму делу как-нибудь получше, не превращаясь в шутов и головорезов.

Подчиняясь приказу хозяина, сокольничий стал собирать своих присмиривших людей, нашептывая им на ухо:

— Пошли, пошли, *tace*, — это по-латыни то же, что по-нашему «помалкивай»; не унывайте из-за пуританства нашего рыцаря: мы порезвимся на славу у бочек с крепким элем в пивоварне Мартины-трактирщицы. В путь, арфа и бубен, волынка и барабан, и ни звука, покуда не вышли из церковного двора, а потом гряньте снова, да так, чтобы небу было жарко! Вперед, волк и медведь! Старайтесь держаться на задних лапах, пока не перешагнули за порог церкви, а там уж покажете себя заправскими зверьми. И какой черт принес его сюда портить нам праздник! Но не надо его сердить, друзья мои: его копье — не перышко, ребра Дэна знают об этом кое-что.

— Клянусь своей бессмертной душой, — сказал Дэн, — будь это кто-нибудь другой, а не мой закадычный товарищ, отведал бы он старинного палаша моего папаши.

— Тс, нишкни! — сказал Адам Вудкок. — Держи, братец, язык за зубами, если тебе дороги твои кости. Что поделаешь! Надо принимать всякую монету, которая в ходу, если ее дают не с тем, чтобы нанести обиду.

— Не хочу я принимать таких монет, — сказал Дэн из Хаулетхэрста, сердито отбиваясь от Адама Вудкока, который тащил его прочь из церкви.

В этот момент взгляд сэра Хэлберта Глендининга, острый и наблюдательный, какой обычно свойствен людям военным, заметил Роланда Грейма между его двумя стражами, и удивленный рыцарь воскликнул:

— Эй, сокольничий! Вудкок! Ты что же, привел сюда пажа миледи, одетого в ливрею моего дома, чтобы он участвовал в вашем разгульном празднестве вместе с твоими волками и медведями? Раз уж вы затеяли такое представление, так могли бы вырядить и его, ну хоть обезьяной или как-нибудь иначе, если бы захотели побереечь честь моего дома. Подведите-ка его сюда, молодцы!

Адам Вудкок был слишком честен и прямодушен, чтобы смолчать, услышав, что юношу винят в проступке, которого он не совершал.

— Клянусь, — произнес он, — святым Мартином Буллионским...¹

— А что у тебя общего со святым Мартином?

— Да не очень-то много, сэр, если не считать того, что когда он посылает дождь, мы не можем спускать соколов; но я хочу сказать вашей милости, что я, как честный человек...

— А правильной сказать — как лживый мошенник: такое заверение было бы более правдивым.

— Ну что ж, если ваша милость не позволяет мне говорить, — промолвил Адам, — я могу и придержать язык, но только этот паренек пришел сюда совсем не по моему приказанию, — вот и весь сказ.

— А потому, что это ему самому взбрело в голову; охотно верю, — сказал сэр Хэлберт Глендининг. — Подойди-ка сюда, юноша, и скажи мне, позволила ли тебе твоя госпожа удаляться на такое расстояние из замка и позорить ливрею моего дома участием в подобном игрище?

¹ Святой Суизин, или Плачущий святой, почитаемый в Шотландии. Если в день святого Суизина (4 июля) идет дождь, то это значит, что последующие сорок дней будут дождливыми. (Прим. автора)

— Сэр Хэлберт Глендининг, — с достоинством отвечал Роланд Грейм, — ваша супруга разрешила или, вернее, приказала мне впредь распоряжаться моим временем как мне заблагорассудится. Я оказался совершенно невольно свидетелем этого, как вы изволите выражаться, игрища; а ливрею вашего дома я сброшу тотчас, как достану одежду, лишенную знаков унижительного рабского положения.

— Как понимать все это, молодой человек? — спросил сэр Хэлберт Глендининг. — Говори прямо, я не охотник до загадок. Моя жена благоволила тебе — это мне известно. В чем же ты провинился перед ней, что она решила дать тебе отставку?

— Да ни в чем особенном, — сказал Адам Вудкок, отвечая вместо Роланда. — У него вышла со мной глупая ссора, которую в еще более глупом виде представили моей уважаемой госпоже, и за это бедный мальчик поплатился местом. Я, со своей стороны, должен прямо сказать, что был кругом неправ, за исключением вопроса о том, нужно ли мыть мясо для соколят. Здесь я твердо уверен в своей правоте.

Вслед за этим добряк сокольников подробно рассказал своему хозяину о нелепой стычке, которая навлекла на Роланда Грейма опалу его госпожи; при этом он так старался представить дело в благоприятном для пажасвете, что сэр Хэлберт не мог не догадаться о его благородных побуждениях.

— У тебя доброе сердце, Адам Вудкок, — сказал он.

— Уж такое доброе, какое только может быть у человека, имеющего дело с соколами, — отозвался Адам. — Да и у мейстера Роланда не злее. Но он по своему положению вроде как дворянин, и потому ему кровь легко бросается в голову; ну, а мне тоже.

— Так вот, — сказал сэр Хэлберт, — как бы там ни было, а жена моя приняла чересчур поспешное решение, ибо проступок юноши, которого она столько лет воспитывала, не был столь уж оскорбителен, чтобы надо было прогнать его. Впрочем, я не сомневаюсь, что он отягчил свою вину дерзкими речами. Во всяком случае, все это соответствует тем целям,

которые я преследую. Уведи своих людей, Вудкок, а ты, Роланд Грейм, останься при мне.

Паж молча последовал за рыцарем в дом аббата; когда они вошли в первую комнату, оказавшуюся незапертой, сэр Хэлберт послал одного из своих сопровождающих сообщить его брату, сэру Эдуарду Глендинингу, что он желает поговорить с ним. Ратники, отпущенные своим начальником, в приподнятом состоянии духа отправились в трактир Мартины, вдовы конюха, чтобы присоединиться к веселой компании, которую свел туда их товарищ, Адам Вудкок. Паж с рыцарем остались наедине. Сэр Хэлберт Глендининг некоторое время в молчании мерил шагами пол, а затем обратился к Роланду с такими словами:

— Ты мог заметить, юноша, что я не часто достаивал тебя своим вниманием. Я вижу, ты уже покраснел, но не говори ни слова, пока не выслушаешь меня до конца. Так вот, я редко достаивал тебя своим вниманием, но не потому, что не находил в тебе качеств, заслуживающих похвалы. Нет, я видел их, но также видел и нечто заслуживающее порицания и считал, что похвала может это только усугубить. Твоя госпожа, распоряжаясь штатом своих слуг по личному усмотрению, на что она имеет неоспоримое право, решила выделить тебя из всех прочих и обращалась с тобой скорее как с родственником, а не как со слугой. И хотя ты, будучи взыскан ее милостями, выказал себя тщеславным и дерзким мальчишкой, все же было бы несправедливо отрицать, что ты извлек для себя пользу из твоего обучения и воспитания и что в тебе часто вспыхивает дух благородный и мужественный. Более того — было бы невеликодушно, позволив тебе вырасти таким своевольным и диким, обречь тебя на нужду и скитания за то, что ты проявил раздражительность и неумение держать себя в руках, порожденные тем же слишком нежным воспитанием. По этой причине, а также ради репутации всего штата моих слуг, я решаю оставить тебя в моей свите до тех пор, пока не смогу прилично тебя устроить где-нибудь в другом месте и не буду при

этом уверен, что, выходя в широкий мир, ты не уронишь достоинства семьи, которая тебя воспитала.

Хотя в речи сэра Хэлберта Глендининга и было нечто лестное для гордости Роланда, но вместе с тем она содержала немало и такого, что, на взгляд юноши, было равносильно ложке дегтя в бочке меда. И все же его совесть тут же подсказала ему, что он должен с почтительной благодарностью принять предложение, сделанное супругом его доброй покровительницы; а благоразумие, в сколь малой степени он им ни обладал, заставило его признать, что его ожидает совершенно различное будущее в зависимости от того, вступит ли он в мир, состоя в свите сэра Хэлберта Глендининга, столь прославленного своим умом, отвагой и весомостью своих суждений в государственных делах, или же отправится странствовать со своей родственницей Мэгделин и станет орудием исполнения ее замыслов, которые ему представлялись химерическими.

Все же сильное нежелание возвращаться на службу, от которой он был так унижительно отставлен, почти перевешивало эти соображения.

Сэр Хэлберт, с удивлением посмотрев на Роланда, продолжал:

— Ты как будто колеблешься, юноша. Неужто открывающиеся тебе пути так заманчивы, что ты должен еще поразмыслить, прежде чем принять мое предложение? И нужно ли объяснять тебе, что, хотя ты глубоко оскорбил свою благодетельницу, вынудив ее отослать тебя, ей, без сомнения, будет горько и тяжело сознавать, что ты, лишенный всякого попечения, предоставленный самому себе, скитаешься в мире, охваченном беспорядками, — я имею в виду нашу Шотландию. Хотя бы из чувства благодарности ты обязан побереечь ее; да и простой здравый смысл говорит, что ты ради своего же благополучия должен принять мое покровительство, поскольку, отказавшись от него, ты подвергнешь большим опасностям и свою жизнь и свою душу.

Роланд Грейм ответил в почтительном тоне, но с заметной горячностью:

— Я глубоко благодарен вам, милорд, за оказываемую мне поддержку и счастлив узнать, что порой вы все же снисходили до того, чтобы удостоить меня своим вниманием. Только скажите, где и как могу я ценою жизни доказать свою преданность и благодарность той, кто была для меня неизменно благодетельницей с моих детских лет, и я с радостью умру за нее.

Он замолчал.

— Все это одни лишь слова, юноша, — сказал Глендининг, — к громким изъяснениям чувств нередко прибегают для того, чтобы заменить ими действительные услуги. Я не знаю, как мог бы ты послужить леди Эвенел, рискуя своей жизнью; могу сказать только, что она была бы рада, если бы ты пошел по такому пути, на котором твоей жизни и твоей душе не будет грозить опасность. Что же мешает тебе принять предложенное покровительство?

— Мысль о моей единственной оставшейся в живых родственнице, — ответил Роланд, — по крайней мере единственной, какую я когда-либо знал. Мы снова вместе с тех пор, как я был изгнан из замка Эвенелов, и мне надо посоветоваться с ней, могу ли я пойти по пути, на который вы меня зовете, или же ее старческие немощи и ее намерения в отношении меня, с которыми я обязан считаться, требуют того, чтобы я оставался с нею.

— А где эта твоя родственница? — спросил сэр Хэлберт Глендининг.

— Здесь, в этом доме, — ответил паж.

— Так пойди и отыщи ее, — сказал рыцарь Эвенел, — ибо было бы весьма непочтительно не испросить ее согласия; но она поступила бы крайне неумно, если бы отказалась дать его.

Роланд вышел из помещения и отправился искать Мэгделин; сразу после его ухода пришел аббат.

Сэр Хэлберт и отец Амвросий встретились так, как обычно встречаются братья, которые нежно любят друг друга, но видятся не часто. Именно таковы и были их отношения. Их связывала взаимная любовь, но советник Мерри во всей своей деятельности,

в своем образе жизни и в своих взглядах являл собою полную противоположность римско-католическому священнослужителю; и, конечно же, они не могли часто бывать в обществе друг друга, не оскорбляя этим своих союзников и не вызывая у них подозрений.

После того как они сердечно обнялись и аббат радостно приветствовал брата, сэр Хэлберт Глендинг выразил свое удовлетворение тем, что ему удалось прибыть вовремя и прекратить безобразия, учиненные Хаулегласом и его буйной компанией.

— И, однако, — сказал он, — когда я смотрю на твое одеяние, мне невольно приходит на ум мысль, что аббат Глупости все еще пребывает в стенах монастыря.

— Зачем придирается к моему одеянию, Хэлберт? — сказал аббат. — Это духовные доспехи, соответствующие моему призванию в этом мире; и в этом качестве оно подобает мне так же, как тебе — нагрудные латы и перевязь для меча.

— Но мне думается, что едва ли разумно надевать доспехи, когда нет сил сражаться; опасное безрассудство бросать вызов противнику, с которым нельзя справиться.

— Этого, брат, никто не вправе утверждать, пока битва не кончилась, — сказал аббат Амвросий. — Но если бы дело обстояло именно так, как ты говоришь, все же, думается мне, отважный человек, даже отчаявшись в победе, скорее предпочтет погибнуть в борьбе, нежели сложить меч и щит, вступив в низкий, бесчестный сговор с надменным врагом. Но не будем пререкаться о том, в чем мы не можем достичь согласия; лучше ты останься и раздели с нами — хотя ты и еретик — праздничную трапезу по случаю моего вступления в должность. Тебе не следует опасаться, брат, что в этом случае твои чувства ревнителя строгой воздержанности, которая в старину была присуща церкви и о восстановлении которой ты печешься, будут оскорблены роскошным монастырским пиром. Дни, когда аббатом был наш старый друг отец Бонифаций, миновали; и у настоятеля монастыря святой Марии нет больше ни лесов, ни рыб-

ных прудов, ни рощ, ни пастбищ, ни полей с колосющимися злаками; нет у него теперь ни овец, ни коров, ни красного зверя, ни дичи; нет амбаров, наполненных пшеничным зерном, нет погребов с вином и маслом, с элем и медом. Должность келаря больше не нужна; и мы можем поставить перед тобой только такое угощение, какое в старинной повести отшельник предлагал странствующему рыцарю. Но если ты откушаешь с нами, мы сами будем с радостью в сердце есть эту скудную пищу и скажем спасибо тебе, брат, за то, что ты вовремя защитил нас от этих негодяев безбожников.

— Дорогой брат, — сказал рыцарь, — я глубоко сожалею, что не могу побыть с тобой подольше; но нам обоим не к лицу, если я, принадлежащий к реформатской церкви, окажусь за вашим столом во время праздничной трапезы; и если я смогу когда-либо в дальнейшем, к своему удовольствию, оказать тебе серьезную помощь, то лишь потому, что меня нельзя будет заподозрить в поддержке или поощрении ваших религиозных обрядов и церемоний. Мне придется употребить все свое влияние, которым я пользуюсь среди моих друзей, чтобы защитить смельчака, отважившегося, вопреки закону и парламентским эдиктам, принять на себя сан аббата в монастыре святой Марии.

— Не обременяй себя такой трудной задачей, брат, — ответил отец Амвросий. — Я отдал бы все на свете за то, чтобы ты стал защищать церковь ради нее самой; но пока ты, к несчастью, остаешься ее врагом, я не хочу, чтобы ты ставил под угрозу свою безопасность или хоть в чем-то доставлял себе неприятности, защищая лишь меня одного... Но кто это идет сюда с явным намерением помешать беседе братьев, на которую злая судьба наша отвела всего несколько минут?

Как раз в этот момент дверь отворилась, и в комнату вошла Мэгделин Грейм.

— Кто эта женщина? — довольно резко произнес сэр Хэлберт Глендининг. — Что ей здесь надо?

— То, что вы меня не знаете, — сказала старуха, — не имеет значения; я пришла сюда по вашему же

желанию, для того, чтобы сообщить вам о своем полном согласии на возвращение юного Роланда Грейма к вам на службу. Вот и все, что я хотела сказать, и я не стану дольше докучать вам своим присутствием.

Она повернулась, собираясь уйти, но сэр Хэлберт Глендининг остановил ее и стал расспрашивать:

— Кто вы? Каково ваше занятие? Почему вы не подождете моего ответа?

— Когда я еще принадлежала к этому миру, — ответила она, — я носила далеко небезызвестное имя; а теперь я убогая паломница Мэгделин, радеющая о благе нашей святой церкви.

— Ах, вот как! — сказал сэр Хэлберт. — Значит, ты католичка! А моя жена, насколько я помню, говорила мне, что Роланд Грейм происходит из реформатской семьи.

— Его отец, — ответила старуха, — был еретик или, вернее сказать, не исповедовал ни истинной веры, ни ереси, не признавал ни божьей, ни антихристовой церкви. И я тоже — ибо наше грешное время порождает грешников — делала вид, будто приемлю ваши нечестивые обряды, но мне было дано на это разрешение, и грех был мне заранее отпущен.

— Как видите, брат, — сказал сэр Хэлберт с лукавой улыбкой, — мы не без оснований обвиняем вас в недобросовестности.

— Нет, брат, ты к нам несправедлив, — ответил аббат, — эта женщина, как ты можешь судить по ее поведению, не вполне в своем уме. Но, кстати сказать, ум ее помрачился из-за преследований со стороны ваших грабителей-баронов и вашего якобы терпимого духовенства.

— Я не буду спорить об этом, — сказал сэр Хэлберт. — В наше несчастное время совершается столько зла, что обоим церквам с избытком хватит, за что держать ответ.

Произнеся эти слова, он подошел к окну и, высушившись из него, затрубил в рог.

— Почему ты уже созываешь своих людей? — спросил аббат. — Ведь мы провели вместе всего лишь несколько минут.

— Увы! — произнес старший из братьев. — Даже эти минуты были омрачены разногласием. Я подал сигнал, чтобы мне подвели коня, а тороплюсь уехать я потому, что предотвратить последствия твоего сегодняшнего безрассудства можно только в том случае, если я начну действовать без промедления. А ты, почтеннейшая, изволь сообщить своему юному родичу, что мы сейчас же садимся на коней. Я не хочу, чтобы он возвращался со мной в замок Эвенелов: это повело бы к новым ссорам между ним и другими слугами или по крайней мере к насмешкам, которые больно уязвили бы его гордость, а я желаю ему добра. Поэтому он поедет в Эдинбург вместе с одним из моих людей, которого я сейчас же отправляю туда с поручением рассказать обо всем, что здесь произошло. Ну как, это вам по душе? — добавил он, пристально посмотрев на Мэгделин Грейм, но та выдержала его взгляд, сохраняя на своем лице холодно-бесстрастное выражение.

— Если уж кто-нибудь должен потешаться над Роландом, бедным одиноким сиротой, — сказала она, — то пусть это будет какой угодно люд, но только не челядь замка Эвенелов.

— Не бойся, почтеннейшая, никто не обидит его, — ответил рыцарь.

— Возможно, — отозвалась Мэгделин, — вполне возможно, но я полагаюсь больше на его собственное умение постоять за себя, нежели на вашу поддержку. — С этими словами она покинула комнату.

Рыцарь поглядел ей вслед, а затем, обернувшись к брату и самым горячим образом пожелав ему благополучия и счастья, попросил простить его за то, что он должен сию же минуту удалиться.

— Мои люди, — сказал он, — сильно налегают на эль и не могут бросить пирушку из-за того, что где-то там трубит рог.

— Ты сам освободил их от более крепкой узды, Хэлберт, — заметил аббат, — и тем научил их непокорствовать тебе самому.

— Не опасайся этого, Эдуард, — ответил Хэлберт, никогда не называвший брата его монашеским именем Амвросий. — Никто не выполняет требований нравственного долга лучше тех, кто свободен от рабских обязанностей.

Он повернулся, чтобы наконец уйти, но тут аббат снова сказал ему:

— Подожди еще немного, брат, сейчас нам принесут поесть. Не покидай этого дома, который мне должно сейчас называть своим, доколе меня не изгнали из него силой, прежде чем не вкусишь со мною хлеба.

В комнату вошел тот самый монашек, который исполнял обязанности привратника; он нес с собой незамысловатую закуску и бутылку вина. Почтительно поклонившись, он сказал, что ему удалось найти эту бутылку лишь после того, как он обшарил весь погреб.

Рыцарь наполнил небольшой серебряный кубок и осушил его залпом, сказав, что пьет за здоровье брата. Затем он похвалил вино, признав в нем рейнвейн самого высокого качества и хорошо выдержанный.

— О да, — сказал монашек, — оно находилось в укромном местечке, которое покойный брат Николай (упокой господи его душу!) называл уголком аббата Ингильрама; а ведь аббат Ингильрам воспитывался в Вюрцбургском монастыре, расположенном, как я понимаю, недалеко от тех мест, где растет эта превосходная лоза.

— Именно так, почтеннейший сэр, — сказал сэр Хэлберт. — И поэтому я убедительно прошу тебя вместе с моим братом выпить за мое здоровье кубок столь высоко зарекомендовавшего себя вина.

Старый тощий привратник бросил на аббата полный надежды взгляд. «Do veniam»,¹ — сказал игумен, и старик, схватив дрожащей рукой кубок с напитком, от которого давно отвык, медленно осушил его, стараясь продлить удовольствие, смакуя каждый глоток и наслаждаясь ароматом, а затем поставил кубок на стол, печально улынувшись и покачав головой,

¹ Дозволяю (лат.).

словно навсегда прощался с восхитительной влагой. Оба брата переглянулись с улыбкой. Но когда сэр Хэлберт попросил аббата в свою очередь поднять кубок и отдать должное вину, тот тоже покачал головой и ответил:

— Нынче для аббата монастыря святой Марии не время лакомиться. Вместо вина я выпью воды из источника, носящего имя нашей покровительницы, — добавил он, наполняя кубок этой трезвой влагой, — и пожелаю тебе быть счастливым, а главное, увидеть в истинном свете твои духовные заблуждения.

— А тебе, мой возлюбленный брат Эдуард, — подхватил Глендининг, — я желаю впредь руководствоваться во всем твоим собственным, свободным от предрассудков разумом и выполнять какие-нибудь более значительные обязанности, нежели те, что связаны с пустым званием, которое ты так необдуманно принял.

Братья расстались; оба испытывали при этом глубокое сожаление; и все же каждый из них, будучи тверд в своих взглядах, почувствовал некоторое облегчение, распрощавшись с другим, ибо, при большом взаимном уважении, они мало в чем были согласны друг с другом.

Вскоре после этого заиграли трубы, возвещавшие о том, что едет рыцарь Эвенел со свитой, и аббат поднялся на башню, чтобы с полуразрушенного крепостного вала посмотреть на всадников, которые двигались вверх по отлогой дороге к подъемному мосту. Его глаза были устремлены на это зрелище, когда к нему подошла Мэгделин Грейм.

— Ты пришла, сестра моя, — сказал он, — взглянуть в последний раз на своего внука. Вон там едет он под знаменем того, кто является доблестнейшим рыцарем Шотландии, — если только отвлечься от его вероисповедания.

— Ты можешь засвидетельствовать, отец мой, что этот человек, именуемый рыцарем Эвенелом, возымел желание снова взять моего внука к себе на службу не по моей просьбе и не по просьбе самого Роланда. То была воля неба, посрамляющего мудрейших

в самой их мудрости и грешников в их кознях, — направить юношу ради блага церкви туда, где я больше всего хотела бы его видеть.

— Я не знаю, что ты имеешь в виду, сестра, — сказал аббат.

— Преподобный отец, — ответила Мэгделин, — разве ты никогда не слыхал о том, что есть такие могучие дүхи, которые могут сокрушить стены замка, когда они допущены внутрь, но не могут войти в дом, если их не пригласили и, более того, не втащили через порог? Дважды Роланда Грейма втаскивали в замок Эвенелов нынешние носители этого титула. Пусть они сами и отвечают за то, что из этого проистечет.

С этими словами она покинула башню, а аббате еще помешкал несколько минут, размышляя над ее словами, которые приписал ее душевному расстройству; после чего спустился по винтовой лестнице вниз, чтобы отметить свое вступление в высокую должность постом и уединенной молитвой, вместо того чтобы отпраздновать его пиром и благодарственным молебном.

Глава XVI

Юноша, ты возмужал:
Голос твой грубее стал,
Тверже шаг, острее взгляд,
Скоро станешь бородат.
Ждут тебя ночные бденья:
Позабыть про развлечения,
Наспех есть и спать меж дел —
Вот отныне твой удел.
Ты уж не проказник шалый:
Предстоит тебе немало
Совершить деяний трудных,
Впрочем, тоже безрассудных.

«Жизнь», поэма

Теперь юный Роланд Грейм весело ехал рысью в свите сэра Хэлберта Глендининга. С души у него свалилась тяжесть: он больше не опасался подвергнуться презрению и насмешкам, что легко могло бы

произойти, если бы он сразу вернулся в замок Эвенелов. «Все будет уже по-другому, когда они снова увидят меня, — говорил он себе. — Вместо зеленой куртки на мне будут латы, а шляпу с пером сменит стальной шишак. Пусть-ка осмелится тогда кто-нибудь изощряться в насмешках над конным ратником за безрассудства, совершенные некогда пажом. И я верю, что, пока мы вернемся, я успею отличиться более значительными делами, чем до сих пор. Это посерьезней, чем травить гончими оленя или взбираться на скалу за соколиным гнездом».

Размышляя обо всем происшедшем, он не мог не удивляться тому, что его бабушка, видимо круто переменив свои намерения, несмотря на владевшие ею религиозные предрассудки, сразу же дала согласие на его возвращение в дом Эвенелов; еще загадочнее была для него радость, с которой она прощалась с ним в аббатстве.

— Господь, — сказала старуха, расцеловав его на прощанье, — свершает то, что хочет свершить, даже руками врагов наших, в том числе и тех, которые считают себя сильнее и мудрее всех на свете. Будь готов, сын мой, действовать по призыву твоей религии и твоей отчизны и помни, что узы, скрепляющие тебя с ними, по сравнению со всеми мирскими связями, которые могут возникнуть у тебя с людьми, то же, что туго скрученный канат по сравнению с растрепанной куделью. Ты не забыл еще лица и всего внешнего вида девицы Кэтрин Ситон?

Роланд хотел ответить отрицательно, но слова застряли у него в горле, и Мэгделин продолжила свои поучения:

— Тебе нельзя забывать ее, сын мой; сейчас я вручу тебе одну вещь, которая является условным знаком. Надеюсь, что ты вскоре найдешь способ доставить втайне и со всеми предосторожностями эту вещь ей в собственные руки.

Тут она передала Роланду небольшой сверток, еще раз повторив, что он должен хранить его как зеницу ока и ни в коем случае не показывать кому бы то ни было, кроме Кэтрин Ситон, то есть той самой молодой

особы, — напомнила она ему (что было, впрочем, совершенно излишне), — с которой он познакомился накануне. Затем она торжественно благословила юношу и призвала господу в помощь ему во всех делах.

Было что-то таинственное в ее речах и поведении; но Роланд Грейм, по своему возрасту и характеру, не мог долго ломать себе голову, гадая, что у Мэгделин на уме. Все доступное его непосредственному восприятию сулило удовольствия и новые впечатления. Он радовался тому, что едет в Эдинбург, где окончательно перестанет быть мальчиком и превратится в настоящего мужчину. Ему было приятно думать, что он сможет вновь встретиться с Кэтрин Ситон, лучистый взор и природная бойкость которой так взволновали его воображение; а поскольку он был юноша неопытный и пылкий и впервые вступал на самостоятельный путь, сердце его радостно билось при мысли, что он вскоре увидит своими глазами все те картины придворного великолепия и военных приключений, которые хвастливо живописали люди из свиты сэра Хэлберта во время своих кратковременных посещений замка Эвенелов, на удивление и зависть тем, кто, подобно Роланду, знал о придворной и лагерной жизни только понаслышке и вынужден был сам искать для себя развлечений, живя постоянно вдали от мира, словно в монастыре, в уединенном замке, расположенном посреди пустынного озера в окружении диких, безлюдных гор. «Обо мне еще заговорят, — думал он, — если только достаточно рисковать жизнью, чтобы отличиться, и дерзкие глазки Кэтрин Ситон будут взирать на заслуженного воина с большим уважением, чем на неопытного мальчишку пажу, которого она так обидно высмеивала, надрываясь от хохота». Восторженное упоение, испытываемое Роландом, было бы неполным без одного добавочного обстоятельства, которое, впрочем, имелось налицо: он ехал верхом на горячем скакуне, вместо того чтобы тащиться пешком, как в последние несколько дней.

Живая натура Роланда вскоре дала себя знать: было достаточно причин, мешавших ему сохранять спокойствие. Громкое цоканье копыт не могло заглу-

шить его звонкий голос и смех, и они не раз доносились до слуха всадника, возглавлявшего кавалькаду, который с удовлетворением отметил про себя, что юноша обменивается добродушными шуточками со свитой, беззлобно подтрунивающей над его отставкой и возвращением на службу в дом Эвенелов.

— А я уж думал, мейстер Роланд, что остролист на твоей шляпе совсем завял, — сказал один из ратников.

— Он был только слегка прихвачен морозцем, а теперь, видишь, зелен, как прежде.

— Трудно ему зеленеть на такой жаркой почве, как твоя голова, мейстер Роланд, — произнес другой ратник, который уже многие годы был конюшим сэра Хэлберта Глендининга.

— Не только он один будет там зеленеть, — ответил Роланд, — я еще присоединю к нему лавр и мирт и вознесу их так высоко к небесам, что они живо пойдут в рост.

Во время этого разговора он пришпорил коня и сразу же натянул поводья, заставив коня сделать изящный пируэт.

Сэр Хэлберт Глендининг смотрел на своего чового ратника с той грустной снисходительностью, с которой люди, потратившие немало лет на борьбу за достижение честолюбивых целей и познавшие всю их тщету, обычно глядят на веселую, жизнерадостную, окрыленную молодежь, для которой жизнь еще полна надежд и обещаний.

Тем временем кавалькаду нагнал сокольничий Адам Вудкок, трусивший на низкорослой резвой гэллоуэйской лошадке, которую он погонял изо всех сил. Маскарадный костюм он сбросил, и теперь был одет соответственно своему званию и занятию: на нем была зеленая куртка и шляпа с пером; левая рука была в перчатке, доходившей до локтя; на одном боку висел ягдташ, на другом — короткий кинжал. Присоединившись к кавалькаде, он сразу же завел разговор с Роландом Греймом:

— Итак, молодой человек, ты снова под сенью остролиста?

— Да, и смогу теперь рассчитаться с тобой, мой добрый друг, — ответил Роланд, — вернуть тебе все десять гротов полновесным серебром.

— Еще час тому назад, — сказал сокольниковый, — ты хотел рассчитаться со мной десятью дюймами полновесной стали. Ей-же-ей, в книге наших судеб записано, что мне рано или поздно придется-таки отведать твоего кинжала.

— Ну, ну, не говори так, мой добрый друг, — сказал юноша. — Я охотней проткну свою собственную грудь, чем твою. Но разве можно было узнать тебя в том шутовском наряде?

— Да уж, — ответил сокольниковый, которому, как всякому поэту и актеру, не была чужда известная доля самодовольства, — я полагаю, что был Хаулегласом не хуже всякого другого, кто играл эту роль на масленичном празднестве, да и аббат Глупости из меня получился недурной. Самому сатане не распознать меня, когда я под личиной! И какой это черт наслал на нас рыцаря, пока мы еще не успели доиграть нашу игру! Если бы не он, ты бы еще услышал, как я распеваю балладу моего собственного сочинения таким голосом, что было бы слышно и в Берике. Но прошу тебя, мейстер Роланд, не пускай ты в ход эту стальную штучку по всякому малейшему поводу; ведь, право же, не будь набивки под моим почтенным камзолом, не уйти бы мне из церкви дальше своей могилки на церковном кладбище.

— Не заводи со мной спора об этом предмете, — сказал Роланд Грейм, — у нас не хватит времени довести его до конца, ибо, по распоряжению милорда, я направляюсь в Эдинбург.

— Знаю, — сказал Адам Вудкок, — и как раз поэтому у нас хватит времени, чтобы запаять трещину по пути: ведь сэр Хэлберт назначил мне быть твоим спутником и провожатым.

— Вот как! А зачем он это сделал? — спросил паж.

— На этот вопрос, — сказал сокольниковый, — я ответить не могу; знаю только одно: каким там мясом,

промытым или непромытым, ни стали бы без меня кормить соколят и что бы уж ни стряслось с клетками и насестами, я должен ехать с тобой в Эдинбург и сдать с рук на руки регенту в Холируде.

— Да что ты! Неужто регенту? — переспросил удивленный Роланд.

— Ей-ей! Так оно и есть — самому регенту, — ответил Вудкок, — и вот увидишь, даже если тебе не предстоит поступить прямо к нему на службу, то по крайней мере ты должен будешь остаться при нем в качестве слуги рыцаря Эвенела.

— Но по какому праву, — сказал юноша, — рыцарь Эвенел может перевести меня на службу к регенту, даже если допустить, что ему самому я служить обязан?

— Тс, молчок! — сказал сокольник. — Не советую задавать такие вопросы, если только тебя от твоего феодального сюзерена не отделяет озеро, высокая гора или, еще лучше, государственная граница.

— Но сэр Хэлберт Глендининг, — сказал Роланд, — вовсе не мой феодальный сюзерен; и он не имеет ни малейшего права...

— Прошу тебя, поприветствуй язык, сын мой, — перебил его Адам Вудкок. — Если ты вызовешь неудовольствие милорда, то с ним поправить дело будет еще труднее, чем с миледи. Стоит ему только пальцем шевельнуть, и тебе придется много хуже, чем от самого тяжелого удара, который была способна нанести наша госпожа. Ей-же-ей, он словно сделан из стали: так же чист и прям, но столь же тверд и безжалостен. Ты помнишь Петуха Бедокура, которого он повесил на воротах за случайную ошибку — всего лишь за то, что тот увел какую-то жалкую упряжку волов, думая, что находится на английской земле, а оказалось, что это была Шотландия? Ох, и любил же я Петуха Бедокура: в клане Керров не было честнее человека, а ведь среди них бывали люди, с которых должно бы брать пример всем на границе: такие люди, что похищали не меньше двадцати коров зараз и почитали бы для себя бесчестьем захватить отару овец или что-нибудь подобное, и всегда доблестно

и успешно совершали свои набеги. Но глянь-ка: сэр Хэлберт остановился — мы уже подъехали к мосту. Живо, живо вперед! Мы должны еще получить напутствие от его милости.

Дело обстояло именно так, как говорил Адам Вудкок: дорога спускалась по лощине к мосту, который по-прежнему сторожил тот же Питер по прозвищу Мостовой, теперь уже изрядно состарившийся; сэр Хэлберт Глендининг, задержав в этом месте свой отряд, знаком подозвал Вудкока и Грейма в авангард кавалькады.

— Вудкок, — сказал он, — ты знаешь, к кому ты должен препроводить этого юношу. А ты, молодой человек, старайся добросовестно и ревностно исполнять все получаемые тобой приказы. Будь справедлив, прямодушен и предан — тогда ты сможешь подняться намного выше того положения, в котором находишься сейчас; в тебе самом есть для этого все задатки. Что касается покровительства и поддержки со стороны дома Эвенелов, то тебе никогда не придется жаловаться на их отсутствие, — но опять же при условии, что сам ты будешь честен и справедлив.

Оставив их перед мостом, башня которого начала уже отбрасывать на поверхность воды длинную тень, рыцарь Эвенел, не пересекая реку, повернул налево и продолжал свой путь по направлению к холмам, между которыми было укрыто Эвенелское озеро с расположенным посреди него замком.

Не двинулись вслед за кавалькадой трое: сокольничий, Роланд Грейм и приданный им рыцарем один из низших слуг, которому было вменено в обязанность заботиться в дороге об их удобствах, везти их пожитки и ухаживать за лошадьми.

Когда большая группа всадников отъехала, свернув на запад, оставшиеся, чей путь лежал через реку, вызвали Питера Мостового и потребовали, чтобы он бесплатно пропустил их.

— Не стану я даром опускать мост, — ответил Питер ворчливым голосом человека старого и озлобленного. — Все вы, паписты и протестанты, одним миром мазаны. Папист пугает тебя чистилищем и соблазняет

отпущением грехов, а протестант размахивает шпагой и рассусоливает о свободе совести, но ни тот, ни другой вовеки не скажут: «Питер, вот тебе пенни». Мне уже осточертело все это, и теперь я не опущу моста ни для кого, если мне не будет заплачено звонкой монетой; и знайте, что мне одинаково наплевать на Женеву и на Рим, на проповеди и на индульгенции. Кто хочет пройти через мост — подавай серебряные пенсы, а больше я ни о чем и слышать не хочу.

— Вот проклятый старый скряга! — сказал Вудкок своему спутнику, а затем вскричал: — Послушай, ты, собачий сын, Мостовой, негодяй ты этакий! Что ж ты думаешь, мы отказались отдавать наши пенсы римскому наместнику твоего тезки — святого Петра, чтобы платить тебе за переход через Кеннаквайрский мост? Сейчас же опусти мост для людей из свиты рыцаря Эвенела, или же, даю тебе слово, — и это будет так же верно, как то, что я родной сын своего отца, а отец мой был истый йоркширец и умел ездить верхом, — не позже завтрашнего дня мы доставим сюда с севера, из Эдинбурга, легкий фальконет, и наш рыцарь вышибет тебя из твоего гнезда так, что ты полетишь вверх тормашками прямо в воду.

Питер Мостовой, выслушав речь Адама Вудкока, пробормотал:

— Черт побери все эти лающие, как псы, фальконеты, пушки, мортиры и как их еще там, которые в наши дни натравливают на камни и известь, словно гончих на зверя. То ли дело было в старое доброе время, когда люди обходились почти что одними кулаками! Тогда можно было осыпать каменную стену стрелами хоть всю снизу доверху — ей от этого было вреда не больше, чем от небесного града. Но что делать, плетью обуха не перешибешь...

Утешив свое оскорбленное достоинство этой старинной мудрой поговоркой, Питер Мостовой спустил подъемный мост и позволил путешественникам перейти на другой берег.

Увидев его седую голову, Роланд хотел было дать ему мелкую монету, не обращая внимания на то, что

лицо старика было весьма неприветливым, по-видимому из-за преклонных лет и перенесенных несчастий. Однако Адам Вудкок удержал его от этого.

— Следовало бы еще с него взыскать за его грубость и жадность, — сказал он. — С волком, когда он лишается зубов, надо обходиться как с шелудивым псом.

Оставив Питера Мостового сетовать по поводу того, что настало такое время, когда вместо мирных паломников у его переправы что ни день появляются наглые солдаты или ратники из отрядов знатных вельмож, угнетающие его и не поддающиеся на вымогательство, наши путешественники направились дальше к северу. Адам Вудкок, хорошо знакомый с этой частью страны, предложил, для того чтобы существенно сократить путь, проехать напрямик через небольшую Глендеаргскую долину, широко известную по событиям, происходившим в ней во времена, о которых повествуется в первой половине рукописи бенедиктинца. Рассказы об этих событиях, сопровождавшиеся бесчисленными толкованиями, были хорошо известны Роланду в достоверной и искаженной передаче; ибо в замке Эвенелов, как это бывает во всех господских домах, его обитатели чаще и охотнее всего занимались пересудами о делах своих хозяев. Пока Роланд с любопытством оглядывал эту местность, где водились привидения, Адам Вудкок, все еще сожалея о прерванном веселье и непропетой балладе, время от времени раздражался куплетами вроде следующих:

— Жирны монахи неспроста:

Густое дуют пиво;

У них к капусте в дни поста

Скоромная подлива.

С попом сестра

Блудит, шустра,

Шустрей иной вдовы.

Эх, в самый раз пуститься в пляс

Под зеленью листвы!

— Честное слово, дружище Вудкок, — сказал паж, — хотя я и знаю, что ты убежденный евангелист и не боишься ни святых, ни чертей, все же на твоём

месте я не стал бы распевать такие нечестивые песни в Глендеаргской долине, помня о том, что здесь происходило когда-то.

— Чихать мне на ваших блуждающих духов! — сказал Адам Вудкок. — Мне до них дела не больше, чем беркуту до цепочки гусей. Да уж они все задали стрекача, с тех пор как кафедры заняты честными людьми и из уст этих людей изливается, а в уши мирян вливается истинное учение. Да, кстати, о них упоминает моя баллада, и вот как удачно вышло: я могу заодно допеть ее до конца! — И он снова затянул на тот же мотив:

— Что там за вой? То домовый
И вся ночная нечисть,
Попав в беду, спешат к пруду,
Толкаясь и калечась.
За духом дух
В трясину — бух,
Под уханье совы!
Эх, в самый раз пуститься в пляс
В тени густой листвы!

— Я полагаю, — добавил он, — что если бы у сэра Хэлберта хватило терпения дожидаться, пока дело дошло бы до этого места, он бы от души посмеялся, а это как раз ему приходится делать реже всего.

— Если все то, что люди рассказывают о своей юности, — правда, — сказал Роланд, — он менее других вправе смеяться над домовыми.

— Ну да, если все, что рассказывается, — правда, — ответил Адам Вудкок. — Но кто поручится, что это именно так и есть? А на самом-то деле все это — сказки, которыми монахи дурачили нас, простых мирян; они знали, что благодаря феям и домовым всякие там «Богородице, дево, радуйся» и «Отче наш» повышаются в цене. Но теперь, когда мы перестали поклоняться деревянным и каменным изображениям, нам не к лицу, сдается мне, бояться пузырей на воде и теней в воздухе.

— Однако, — сказал Роланд Грейм, — поскольку католики говорят, что они не поклоняются дереву или

камню и почитают изображения святых угодников лишь как знаки, а не как предметы, священные сами по себе...

— Тьфу на их болтовню, — ответил сокольничий, — гроша ломаного она не стоит. Они же сами пели совсем по-другому, когда эти их крещеные идолы насылали на них со всех четырех сторон ораву долгополых, которые отбирали у старух зерно, масло, мясо, шерсть, сыр — все, вплоть до свечных огарков, так что после отдачи десятины едва оставался один серебряный грот.

Роланда Грейма учили с давних пор, что он должен тщательно скрывать свое вероисповедание и не произносить ни слова в его защиту, когда оно подвергается нападкам, дабы не навлечь на себя подозрения в принадлежности к непопулярной и разгромленной церкви. Поэтому он позволил Адаму Вудкоку остаться победителем в споре, не противореча ему больше, но про себя все же опасался, что какой-нибудь из духов, прежде столь деятельных, отомстит за грубое зубоскальство сокольничего, пока еще они не покинули Глендеаргскую долину. Однако ничего подобного не произошло. Они спокойно провели ночь в хижине, расположенной в узкой лощине, а наутро продолжили свой путь в Эдинбург.

Глава XVII

Эдина! Скотии краса!
Твоим дворцам и башням слава!
Здесь встарь звучали голоса
Тех, кем возвысилась держава.

Бернс

— Эдинбург! — воскликнул Роланд Грейм, когда он со своими спутниками поднялся на один из холмов, откуда открывался вид на великую северную столицу. — Это Эдинбург, город, о котором нам так много рассказывали!

— Так и есть, — подтвердил сокольник. — Тут расположен наш славный Эдинбург; за двадцать миль можно увидеть дым от его очагов — облако, повисшее в небе, словно ястреб, парящий над стаей диких уток. Тут сердце Шотландии, биение которого чувствует вся страна — от Солуэй-ферта до мыса Данкансбей! Гляди, вот Старый замок; а вот здесь, справа, на холме, — Крейгмиларский замок — веселое это было местечко в те времена, когда я бывал тут.

— Не здесь ли, — спросил паж, понизив голос, — держала королева свой двор?

— Именно здесь, — ответил сокольник, — и тогда она была королевой, хотя теперь ты не должен называть ее так. А все же, что там ни говори, много честных сердец будет горевать о Марии Стюарт, если даже все, что люди болтают о ней, чистая правда; ибо видишь ли, мейстер Роланд, она была самым очаровательным созданием на свете, какое я когда-либо видел, и ни одна леди во всей стране не любила больше, чем она, следить за гордым полетом сокола. Мне довелось быть свидетелем большого состязания в Розлин-муре между Босуэлом — сглазил он ее, этот Босуэл, — и бароном Розлином, знавшими толк в соколиной охоте, как мало кто в Шотландии; а ставка была огромнейшая — бочка рейнского и золотое кольцо. Ох, и летели же соколы, борясь за эту награду! Шутка ли — червонное золото и отменнейшее вино! А она-то сама какова была! Видел бы ты, как она гарцует на своей белой лошадке, которая летит стрелой, словно гнушаясь ступить на землю и устаивая прикосновения копыт лишь вересковый цвет; слышал бы ты ее голос, нежный и звонкий, как пение малиновки, среди веселого гиканья и свиста; поглядел бы, как толпились вокруг нее все вельможи! Счастливейшим из смертных был тот, кому она скажет хоть словечко или на кого глянет мельком; всякий готов был мчаться во весь опор, не разбирая дороги, рискуя сломать себе шею, чтобы заслужить от нее похвалу своему умению ездить верхом и хоть на миг привлечь к себе взгляд ясных глаз красавицы королевы. Да, не видать ей соколиной охоты там, где

она находится сейчас. Ох, и недолго же длиться всякие роскошества и удовольствия — все равно как взмах соколиного крыла...

— А где теперь держат несчастную королеву? — спросил Роланд Грейм, заинтересовавшись судьбой женщины, чья красота и грация произвели столь сильное впечатление даже на такую неутонченную натуру, как Адам Вудкок.

— Где она теперь заключена? — произнес честный Адам. — Да разное говорят; ходят слухи, что в каком-то замке на севере; но сам я ничего толком не знаю и думаю, что и не стоит ломать себе голову над тем, чего не поправишь. Пользовалась бы она хорошо своей властью, пока имела ее, так и не знала бы сейчас горя. Люди говорят, что она должна отречься от престола в пользу этого малыша принца, потому что ей нет больше доверия. Нашего хозяина, как и других соседних баронов, в последнее время втянули в это дело. Если бы королева снова вошла в силу, тогда несдобровать бы замку Эвенелов, а впрочем, возможно, что хозяин сумел бы выйти и из этого положения.

— Так, значит, королева Мария содержится в каком-то замке на севере? — переспросил паж.

— Ну да, по крайней мере так говорят. В замке за большой рекой, что там протекает; это только с виду река, а на самом деле — морской рукав, и вода в нем соленая.

— И неужели среди ее подданных, — сказал паж несколько взволнованным голосом, — не найдется никого, кто попытался бы на свой страх и риск как-нибудь ей помочь?

— Это щекотливый вопрос, — ответил сокольничий, — и я должен сказать тебе, мейстер Роланд, что если ты часто будешь задавать его, то можешь сам угодить за решетку какого-нибудь замка, если, конечно, не сочтут за лучшее разом снести тебе голову с плеч, чтобы уже больше не иметь с тобой хлопот. Ишь ты, на свой страх и риск! Господи боже мой, да ведь для Мерри, голубчик, дует сейчас попутный ветер; он в такой силе и вознесся так высоко, что са-

мому дьяволу с ним не совладать. Нет, нет! Там, где она находится, ей и быть, покуда небо не пошлет ей избавления или покуда ее сынок не станет распоряжаться всем. Но Мерри никогда не выпустит ее на волю — слишком хорошо он ее знает. А теперь послушай: мы едем в Холируд, где всяких новостей — хоть отбавляй, так же как и придворных, которые любят передавать их. Так вот, я советую тебе держать язык за зубами; как говорят шотландцы — других слушай, а сам помалкивай. И какую бы новость тебе ни довелось услыхать, не вскакивай так, словно тебе нужно сразу напялить на себя доспехи и лезть в драку. Наш почтенный мейстер Уингейт говорит — а он хорошо знает придворный сброд, — что если тебе сообщат, будто воскрес старый король Коул, то ты должен заявить в ответ: «Вот как! А я и не слыхал!» — и выразить при этом не больше удивления, чем если бы тебе сообщили, как последнюю новость, что король Коул умер и похоронен. Поэтому следи хорошенько за своим поведением, мейстер Роланд; помни мое слово, ты попадаешь к людям проворным, как голодные соколы! И не вспыхивай, точно хворост, если услышишь от кого-нибудь резкое словцо: здесь ты можешь наткнуться на такие же горячие головы, как твоя собственная, и тогда за кровопусканием дело не станет — не понадобятся ни лекарь, ни календарь.

— Ты увидишь, как благоразумен и как осторожен я буду, мой добрый друг, — сказал Грейм. — Но пресвятая богородица! Что это за красивое здание возле города превращено в развалины? Не было ли здесь игры в аббата Глупости, которая окончилась тем, что спалили церковь?

— Вот опять ты понесся по ветру, словно дикий сокол, которого не остановишь ни окликом, ни приманкой, — сказал его спутник. — Этот вопрос можно задавать только шепотом, и отвечать на него нужно не иначе.

— Если я пробуду здесь долго, — сказал Роланд Грейм, — то, наверно, совсем разучусь говорить. Но все-таки что это за развалины?

— Это Керк-оф-Филд, — тихо, но выразительно произнес сокольничий, прикладывая палец к губам. — И больше ничего не спрашивай. С кем-то здесь прескверно обошлись, а кому-то за это досталось на орехи, и пошла такая кутерьма, конца которой мы, пожалуй, не дождемся при жизни. Бедняга Генри Дарнлей! Право, он смыслил кое-что в соколином деле; но одной ясной лунной ночью его отправили туда, откуда нет возврата.

Воспоминание об этой трагедии было так свежо, что паж в ужасе отвел глаза от развалин здания, в котором она разыгралась; ему отчетливо припомнились обвинения, возведенные на королеву в связи с происшедшим здесь, и эти мысли, нахлынув на него, почти вытеснили зародившееся было в нем сочувствие к ее теперешнему бедственному положению. Сильное возбуждение, вызванное отчасти чувством ужаса, но в еще большей степени — любопытством и живым интересом к новой обстановке, охватило Роланда Грейма, когда он проезжал мимо места, где разыгались те потрясающие события, известие о которых нарушило душевный покой людей даже в самых отдаленных уголках Шотландии, дойдя до них подобно перекатывавшемуся в горах эху далекого грома.

«Теперь или никогда! — думал он. — Именно теперь настало для меня время превратиться из мальчика в мужа и принять участие во всех этих делах, о которых простой народ в деревнях толкует так, словно они совершаются существами какой-то высшей породы. Теперь-то уж я узнаю, как это получилось, что рыцарь Эвенел вознесся над всеми соседними баронами и как удастся людям благодаря своей личной доблести и уму пройти путь от дерюжного кафтана до расшитого золотом пурпурного камзола. Говорят, я не отличаюсь глубоким умом; что ж, если это правда, его заменит смелость: ибо я твердо решил, что должен жить настоящей жизнью, а если не выйдет, то лучше не жить совсем».

Честолюбивые мечты, роившиеся в воображении Роланда, сменились сладостными видениями, и он на-

чал строить всякие догадки, когда и где ему доведется снова увидеть Кэтрин Ситон и какова будет их встреча. Погруженный в эти приятные размышления, он вдруг заметил, что они уже въехали в город, и тут все другие чувства уступили место безмерному изумлению, какое обычно испытывает всякий сельский житель, когда он оказывается впервые на улицах большого многолюдного города и, ошеломленный, ощущает себя песчинкой в бурлящем водовороте.

Главная улица Эдинбурга была в ту пору, как и ныне, одной из самых просторных в Европе. Высота домов, разнообразие готических фронтонов, зубчатые стены и балюстрады, венчавшие здания, а также ширина самой улицы могли бы поразить и более привычный к таким зрелищам взор, а для юного Роланда все это было внове. В пределах городских стен теснилось такое огромное население, в то время еще увеличившееся благодаря отрядам лордов — сторонников короля, которые со всех сторон стеклись в Эдинбург к регенту Мерри, — что народ буквально кишел здесь, словно пчелы в улье, сплошь заполняя красивую, широкую улицу. Тогда еще не знали витрин, в которых ныне выставляются для обозрения разные товары: как на наших современных рынках, торговцы раскладывали на открытых лотках, вынесенных прямо на улицу, все, что предназначалось для продажи. И хотя товары были не лучшего качества, все же Роланду Грейму, глядевшему на тюки с кусками фландрского сукна и на образцы гобеленовых тканей, казалось, что здесь сосредоточены все богатства мира; в другом месте его внимание привлекли выставленная напоказ домашняя утварь и столовая посуда. Лотки оружейников с наваленными на них шпагами и кинжалами шотландской выделки, с различными частями доспехов, привезенных из Фландрии, еще более удивили его; на каждом шагу он находил на что поглядеть и от чего прийти в восторг; Адаму Вудкоку стоило немалого труда заставить его двигаться вперед среди всех этих восхитительных зрелищ.

Сновавшая по улицам толпа также была необычайно занятой. Тут какая-то молоденькая леди, укутанная шарфом или с шелковой вуалью на лице, шла легкой походкой сквозь людское скопище, предшествуемая лакеем, который очищал для нее путь, и сопровождаемая пажом, чьей обязанностью было нести ее шлейф, и камеристкой, у которой в руках была большая библия, свидетельствовавшая о том, что госпожа направляется в церковь. Там шли куда-то вместе несколько горожан в накинутах на плечи коротких фламандских плащах, в широких панталонах и куртках с высокими капюшонами, то есть в той одежде, которой шотландцы долго оставались верны, так же как и шляпе с пером. Встретился по пути и реформатский священник в черной женевской мантии с широким поясом; он важно и внимательно слушал, о чем говорили между собой сопровождавшие его люди; а те, несомненно, вели серьезную беседу по какому-то вероисповедному толкованию, которое он избрал темой своей ближайшей проповеди. Короче говоря, прохожие всякого вида и звания шли мимо нескончаемым потоком.

То и дело навстречу Роланду попадался какой-нибудь надменный щеголь в камзоле с разрезами и в кружевах того же цвета, что и подкладка, с длинной шпагой на одном боку и кинжалом на другом; за ним, как правило, шла свита из нескольких дюжих слуг, по числу которых можно было судить о знатности и богатстве хозяина; у них был воинственный вид, как у настоящих ратников: каждый имел при себе короткий меч и небольшой щит, похожий на те, что в ходу у горцев, — круглый и с острым выступом в центре.

Два таких отряда, возглавляемые, видимо, весьма знатными господами, сошлись лицом к лицу на самой середине улицы, или, как говорили тогда, «на гребне мостовой». Путь, пролежавший здесь, считался наиболее почетным, и его оспаривали для себя в Шотландии с таким же упорством, с каким в южной части острова отстаивали право не уступать встречному дорогу. Так как оба предводителя были равны по поло-

жению и, очевидно, испытывали взаимную неприязнь по политическим причинам или в силу давней феодальной вражды, они вплотную подошли друг к другу, не отступив хотя бы на шаг вправо или влево и не выказывая ни малейшего желания посторониться; постояв так с минуту, они извлекли из ножен свои шпаги. Телохранители последовали их примеру: десятка два клинков разом сверкнуло на солнце, и тотчас раздался стук оружия и щитов, с которым смешались возгласы сражавшихся, которые выкрикивали имена своих хозяев. «Эй, наши! Лесли, Лесли, на помощь!» — кричал один, а другие отвечали возгласом: «Ситон! Ситон!» — с каламбурным добавлением: «Вот как разит он!», и восклицали: «Бей холопов Лесли!»

Если до сих пор сокольничему было трудно заставить пажа продолжать путь, то теперь это стало совершенно невозможно. Роланд остановил коня, радостно хлопал в ладоши и, в восторге от стычки, принялся кричать и ругаться так же громко, как и те, кто участвовал в ней.

Шум и крики, поднявшиеся на Хайгейте, — так называлась тогда эта улица, — привели к тому, что в драку ввязалось еще несколько знатных господ со своими слугами, не считая кое-каких случайных прохожих, которые, услышав, что сражаются между собой представители двух таких выдающихся семейств, тоже приняли участие в стычке, то ли из любви к одной из сторон, то ли из ненависти к противоположной.

Бой становился постепенно все более ожесточенным, и хотя люди больше стучали мечами и щитами, нежели причиняли действительный ущерб, все же кое-кому из них доставались основательные удары; те, у кого были рапиры — оружие более внушительное, нежели обыкновенный шотландский меч, — наносили противникам и сами получали довольно тяжелые ранения. Двое уже лежали недвижно на мостовой, и сторона Ситонов начала сдавать, значительно уступая по числу бойцов другой стороне, к которой присоединилось несколько горожан. Тогда, видя, что предводитель отступающих сражается храбро, как подобает

благородному дворянину, но с трудом противостоит один натиску нескольких противников, юный Роланд Грейм не смог больше сдерживаться.

— Адам, — вскричал он, — если ты не трус, вон шпагу из ножен, и станем за Ситонов!

Не дожидаясь ответа и не слушая сокольничего, который умолял его не лезть в схватку, раз он не имеет к ней никакого отношения, пылкий юноша спрыгнул с лошади, обнажил свой клинок и, бросившись с тем же криком — «Ситон! Ситон!» — в самую гущу толпы, нанес удар одному из бойцов, наседавших на того дворянина, чью сторону он принял. Это неожиданное подкрепление ободрило отступавших, и они с большой живостью возобновили сражение; но в этот момент на сцене появились четверо советников городского магистрата, каждый в должностной бархатной мантии и с золотой цепью, в сопровождении стражи, состоявшей из алебардиров и вооруженных длинными палашами горожан. Опытные в такого рода делах, они смело бросились к сражающимся и заставили их разойтись. Оба отряда тотчас же отхлынули в разные стороны, оставив на мостовой раненых, которые не могли передвигаться сами.

Сокольничий, который еще недавно рвал на себе волосы, возмущенный дикой порывистостью своего спутника, теперь подъехал ближе и, взяв под уздцы лошадь Роланда, обратился к нему со следующими словами:

— Мейстер Роланд, сумасброд, безумец ты этакий! Угодно тебе будет наконец сесть на коня и ехать дальше? Или же ты хочешь остаться и ждать, пока не попадешь в тюрьму, чтобы держать ответ за дела, которые сегодня творятся здесь?

Паж, начинавший было отходить вместе со сторонниками Ситонов, словно он был их естественным союзником, был приведен в чувство этим энергичным воззванием и понял, что ведет себя глупо; несколько пристыженный, он, подчиняясь Адаму Вудкоку, ловко вскочил в седло, отеснил лошадей городского стражника, пытавшегося схватить его, и, загарцевав по улице, рядом со своим спутником, вскоре удалился

настолько, что крики и улюлюканье уже не были слышны.

Надо сказать, что столкновения подобного рода в ту пору происходили в Эдинбурге так часто, что обычно не вызывали ничего любопытства после того, как восстанавливался нарушенный порядок, если только драка не кончалась смертью какого-нибудь значительного лица, ибо такой инцидент налагал на друзей убитого обязанность при первой возможности отомстить за него. Правда, городская охрана была настолько слаба, что если отряды сражающихся были многочисленны или примерно равны по силе, схватки нередко длились часами. Но в описываемое время регент, человек с весьма твердым характером, хорошо понимая, какой вред приносят такие бесчинства, велел магистратам держать стражу в постоянной готовности для предотвращения драк или для их пресечения, как это имело место в данном случае.

Сокольников и его юный спутник двигались сейчас вдоль улицы Кэнонгейт, несколько замедлив шаг, чтобы не привлекать к себе внимания, тем более что их, по-видимому, не преследовали. Роланд ехал, опустив голову, как человек, сознающий, что его поведение было не слишком разумным, а его спутник в это время задал ему вопрос:

— Скажи-ка на милость, мейстер Роланд Грейм, в тебе на самом деле сидит какой-то дьяволенок, что ли?

— Право, почтеннейший Адам Вудкок, — ответил паж, — я хотел бы надеяться, что это не так.

— В таком случае, — сказал Адам Вудкок, — хотелось бы мне знать, что это толкает, что подбуждает тебя ввязываться во всякое кровопролитие? Ну скажи, что тебе за дело до этих Ситонов и Лесли, чьих имен ты и слыхом не слыхал?

— Вот здесь ты попал пальцем в небо, друг мой, — ответил Роланд Грейм. — У меня есть свои причины быть сторонником Ситонов.

— Тогда это, должно быть, какие-то весьма тайные причины, — возразил Адам Вудкок, — ибо я готов биться об заклад, что тебе не было известно ни одно

из этих имен. Все-таки я уверен, что отнюдь не из-за Ситонов или Лесли ты сунулся очертя голову в ссору, не имеющую к тебе никакого отношения, а просто тебя неудержимо тянет на стук клинков, наподобие того, как пчелиный рой приманивается звоном медной сковороды. Но я должен предупредить тебя, молодой человек: коли ты собираешься всякий раз, как кто-нибудь на Хайгейте обнажит шпагу, поступать так же, так уж весь остаток твоей жизни прятать клинок обратно в ножны будет напрасным трудом, ибо при таких обстоятельствах, могу тебя заверить, ты едва ли еще долго проживешь на белом свете. Советую тебе серьезно подумать об этом.

— Честное слово, Адам, я весьма признателен тебе за добрый совет и обещаю неукоснительно следовать ему, как подмастерье, присягнувший на верность мастеру, ремеслу и цеху; обещаю вести себя благоразумно и осмотрительно на том жизненном поприще, на которое я ныне вступаю впервые.

— И хорошо сделаешь, — сказал сокольничий. — Я не упрекаю тебя, мейстер Роланд, за то, что ты чуть вспыльчивей, чем следовало бы, ибо знаю, что дикий сокол поддается выучке, а домашняя курица — никогда. Значит, с тобой дело обстоит еще не так плохо. Однако, мой дорогой мейстер Роланд, ты оказывается, не только обладаешь замечательным умением затевать на дороге ссоры с первым встречным, но еще навострился заглядывать под шарфы и вуали всех проходящих женщин; можно подумать, что ты ищешь какую-то знакомую. Но ежели ты в самом деле гоняешься за одной из этих птичек, меня это удивит не меньше, чем пылкий интерес, недавно проявленный тобой к Ситонам: ведь я знаю, что тебе почти не приходилось видеть такой дичи.

— Да ну, Адам, что за вздор! — ответил Роланд Грейм. — Мне просто захотелось посмотреть, какие глаза прячутся под колпачками у этих красивых пернатых.

— Такая любознательность может дорого стоить, — сказал сокольничий, — это все равно что подставить руку без перчатки орлу, чтобы он сел на

нее. Видишь ли, мейстер Роланд, охота за этими хорошенькими куропаточками — дело опасное. Эти пернатые так легко уносятся прочь, скрываются или отбиваются крылышками, что куда там другим птичкам, самым что ни на есть бойким, на которых охотятся соколы! А кроме того, при каждой из этих особ находится либо муж, либо сердечный друг, либо брат, либо какой-нибудь дальний родственник или по крайней мере преданный слуга. Но ты меня не слушаешь, мейстер Роланд, хотя я в этом деле собаку съел; я вижу, тебе интереснее вон та девица, что семенит ножками впереди нас; бьюсь об заклад, она могла бы быть лихой плясуньей на празднествах и пирушках; парочка серебряных мавританских бубенчиков была бы как раз под стать ее хорошеньким ножкам — вроде шелковых тесемочек на лапках красивого норвежского сокола.

— Не болтай глупостей, Адам, — сказал паж. — Мне нет решительно никакого дела ни до девушки, ни до ее ножек. Но надо же, черт возьми, глазам смотреть на что-нибудь!

— Правильно, мейстер Роланд, — ответил его спутник, — но все же я попросил бы тебя поискать для них какой-нибудь другой предмет. Имей в виду, повторяю я тебе, что на Хайгейте женщины в шелковых вуалях или шарфах обычно не ходят без провожатых: либо впереди нее идет слуга, либо ее поддерживает за локоть какой-нибудь родственник, или любовник, или муж, а иногда за нею по пятам следует пара здоровенных телохранителей с мечами и щитами — на приличном расстоянии, но так, чтобы подоспеть в любой момент. Но ты обращаешь на меня не больше внимания, чем ястреб на желтую овсянку.

— Нет, нет, не думай; я слушаю тебя, — ответил Роланд Грейм, — но поддержи-ка на минуту лошадь, я сейчас же вернусь.

Сказав это, Роланд Грейм, к крайнему удивлению сокольничего, на чьих устах замерло неоконченное наставление, перебросил ему поводья своей низкорослой испанской лошади, выпрыгнул из седла и устремился в один из примыкавших к проезжей улице

сводчатых проходов, или переулочков, следом за той самой девушкой, в чрезмерном интересе к которой Адам Вудкок уличил его и которая сейчас свернула именно сюда.

— Святая Мария, святая Магдалина, святой Бенедикт, святой Варнава, — бормотал бедняга сокольничий, будучи, таким образом, вынужден внезапно сделать остановку посреди улицы Кэнонгейт и видя, что его юный подопечный ринулся как безумный вслед за девушкой, которую он, как предполагал Адам, никогда раньше не видел. — Святой Сатана, святой Вельзевул... Тут уж поневоле начнешь клясться всеми святыми и дьяволами. И что это нашло на парня, откуда еще такая напасть? А мне-то что пока делать? Бедному мальчику, как пить дать, перережут глотку — или я не я и не родился у подножия Розберри-Топпинг. Если б еще найти человека, чтобы поддержал лошадей! Но здесь народ такой продувной — совсем как в Йоркшире, где ловкачей не оберешься и где, как говорится у нас, отпустишь поводья — прощайся с лошадыю. Хоть бы встретить кого-нибудь из наших. Ветка остролиста была бы мне милей золотой клетки. Хоть бы кто-нибудь из людей регента попался на глаза. Но оставить лошадей первому встречному я не могу, а уходить, когда мой паренек в опасности, не хочу.

Мы должны, однако, оставить сокольничего наедине с его отчаянием и последовать за пылким молодым человеком, поставившим в столь затруднительное положение своего спутника.

Последняя часть мудрых увещаний Адама Вудкока, сделанных ради блага Роланда, пропала даром, ибо одна из проходивших по улице особ женского пола, с лицом, закрытым шелковой вуалью, показалась юноше, обратившему внимание на ее стройную фигуру и изящество движений, чрезвычайно похожей на Кэтрин Ситон.

Все то время, что сокольничий продолжал свои поучения, Роланд, слыша только звук его голоса, во все глаза смотрел на особу, увлекшую его воображение. Между тем девушка свернула к одному из сводчатых

проходов, который, как и другие, вел с улицы Кэнон-гейт к домам, расположенным в глубине, и был у своего начала украшен лепным гербовым щитом, державшимся на двух огромных каменных лисицах. Но перед тем как юркнуть в этот проход, девушка на мгновение приподняла вуаль, возможно, заинтересовавшись, кто этот всадник, что так пристально глядит на нее уже несколько минут; и того, что Роланд узрел под сенью шелкового покрывала, то есть ее лучистых синих глаз, золотистых локонов и лукавого личика, оказалось предостаточно для нашего неискушенного в жизни, взбалмошного молодого человека, привыкшего беспрепятственно удовлетворять свои желания, чтобы он перебросил поводья Адаму Вудкоку, любезно предоставив ему роль своего слуги, и ринулся через сводчатый проход в большой мощеный двор догонять Кэтрин Ситон, как уже известно читателю.

Женская сообразительность вошла в поговорку, но Кэтрин, видимо, не нашла ничего лучшего, как целиком положиться на быстроту своих ног, в надежде ускользнуть от порывистого Роланда и оказаться в безопасном месте, прежде чем он обнаружит, куда она скрылась. Но когда восемнадцатилетний юноша гонится за своей милой, ей нелегко уйти от него. Кэтрин бежала прямо через мощеный двор, где в больших квадратных каменных кадках росли тисовые деревья, кипарисы и другие образцы вечнозеленых пород, имевшие вид строгий и сумрачный, от чего высокое массивное здание, вдоль которого они были высажены для украшения, приобретало особую внушительность; они устремлялись к прямоугольному вырезу голубого неба точно такой же величины, что и каре, в которое они были выстроены; вокруг них, со всех четырех сторон, возвышались огромные черные стены с пятью рядами окон и с разделявшими этажи массивными карнизами, на которых были начертаны геральдические девизы и изречения из священного писания.

Кэтрин Ситон пронеслась по этому двору с быстротой преследуемой лани, выказав необычайное проворство своих хороших ножек, удостоившихся

похвалы даже такого рассудительного и осторожного человека, каким был Адам Вудкок. Подбежав к большой двери, расположенной посредине стены в глубине двора, она потянула за ручку и, заставив щеколду изнутри поддаться, скрылась в глубине старинного господского особняка. Но если Кэтрин бежала подобно лани, то Роланд Грейм преследовал ее, как молодой гончий пес, впервые спущенный за добычей. Он не терял ее из виду, несмотря на все ее усилия, что и не удивительно, ибо при такого рода погоне влюбленный юноша, желающий приблизиться к предмету своих воздыханий, имеет неоспоримое преимущество перед девушкой, желающей скрыться, — преимущество, которое, насколько мне известно, не раз сводило на нет большую разницу в расстоянии между состязающимися в беге. Короче говоря, Роланд один раз поймал взглядом развевающуюся накидку, слышал стук тувфелек Кэтрин, когда она перебегала через двор, хотя ножки ее едва касались плит, и, наконец, увидел ее самое, за мгновение перед тем, как она нырнула внутрь особняка.

Мы уже не раз говорили, что Роланд Грейм был безрассуден и стремителен в своих поступках; к тому же он не знал действительной жизни, вернее — знал ее только по прочитанным романам, и совершенно не умел силой воли подавить в себе захвативший его порыв; притом он был отважен и находчив. Поэтому, не колеблясь ни минуты, он подошел к двери, за которой исчезла та, которую он искал, и также потянул за ручку, от чего щеколда, поддавшись, вышла из паза и открыла доступ внутрь. Юноша влетел с такой поспешностью, с какой передвигался до сих пор, и оказался в просторных сенях, тускло освещенных решетчатыми витражами и тем более сумрачных, что высокие наружные стены, между которыми был замкнут двор, мешали проникновению солнечных лучей. По стенам были развешаны старинные доспехи, которые перемежались массивными каменными гербами с двойными гирляндами, эмблематическими цветками, пшеничными колосьями, коронами и тому подобными

украшениями, каковые, однако, не вызвали у Роланда ни малейшего интереса.

Единственное, что привлекло здесь его внимание, была сама Кэтрин Ситон, которая, считая себя в безопасности, остановилась, чтобы отдышаться от бега, и присела на стоявшую в дальнем конце залы большую дубовую скамью. Услышав шум, произведенный Роландом, она сразу встрепелулась, вскочила с места и, издав негромкий возглас удивления, шмыгнула в одну из двустворчатых дверей, сходящихся в этом, по-видимому, центральном помещении дома. Роланд тотчас подошел к этой двери и увидел, что она ведет в большую светлую галерею. С другого конца галереи доносились голоса, и слышны были шаги, приближавшиеся к сениям. Перед лицом серьезной опасности Роланд несколько отрезвел и стал размышлять, что будет лучше — продолжать ли упорствовать или отступить, — как вдруг из боковой двери снова появилась Кэтрин Ситон и, подбежав к нему с таким же проворством, с каким еще недавно удирала от него, произнесла:

— О горе! Зачем вы пришли сюда? Бегите, бегите скорее, или вы погибли! Нет, стойте! Они идут, бегство невозможно... Скажите, что вы пришли к лорду Ситону.

Она отпрянула от него и исчезла за той же дверью, из которой только что вышла; в ту же минуту с силой распахнулась большая двустворчатая дверь на другом конце галереи, и шесть-семь богато одетых молодых дворян ворвались в сени; почти все они были вооружены шпагами.

— Кто это осмеливается вторгаться в наш дом? — вскричал один из них.

— Искрошить его в куски! — воскликнул другой. — Пусть заплатит за сегодняшние обиды и раны — это кто-то из людей Лесли.

— Нет, клянусь святой Марией! — отозвался третий. — Он из отряда этого архизлодея и облагородившегося простолюдина — Хэлберта Глендиннга, в прошлом — церковного вассала, а ныне — грабителя

церковных имуществ, который присвоил себе титул барона Эвенела.

— Да, это так, — сказал четвертый, — его выдает ветка остролиста — их отличительный знак. Придержите-ка дверь, он сейчас ответит за свою дерзость!

Двое щегольски одетых молодых людей выхватили шпаги из ножен, подошли к двери, через которую Роланд вошел в сени, и стали возле нее, чтобы помешать его возможному бегству. Остальные надвинулись на пришельца, у которого хватило разума понять, что всякая попытка оказать сопротивление заведомо обречена на неудачу. Несколько человек заговорили одновременно, отнюдь не дружелюбным тоном, спрашивая его, кто он и откуда, как его имя, с каким делом явился и кем послан. Обилие посыпавшихся вопросов было обстоятельством, которое могло ненадолго оправдать его молчание; наступило что-то вроде краткого перемирия, срок которого не успел истечь, как в сени вошел человек, при чьем появлении люди, угрожающе сомкнувшиеся вокруг Роланда, почтительно расступились.

Вошедший был высокий, статный мужчина; его черные волосы уже были тронуты сединой, но взгляд и надменное выражение лица говорили о том, что духом он еще молод. Одет он был в свободную рубашку голландского полотна, во многих местах испачканную кровью. Прямо на рубашку была накинута подбитая дорогим мехом алая мантия, возмещавшая небрежность его туалета. На голове у него была шапочка из алого бархата, украшенная, по обычаю вельмож того времени, тонкой золотой цепочкой, трижды обвитой вокруг тульи и заканчивавшейся медалью.

— Кого это вы тут обступили с таким грозным видом? — спросил он. — Разве вы не знаете, что под этим кровом каждый, кто приходит с мирными намерениями или же как открытый и смелый враг, вправе рассчитывать на благородное обращение?

— Но этот человек, — ответил один из юношей, — негодяй, коварно проникший сюда, чтобы шпионить.

— Я отвергаю это обвинение, — решительно заявил Роланд Грейм. — Я пришел, чтобы повидать милорда Ситона.

— Нечего сказать, правдоподобная выдумка, — отозвались его недоброжелатели. — Особенно в устах ратника из отряда Глендиннга.

— Погодите, молодые люди, — сказал лорд Ситон, ибо это он сам и был. — Дайте-ка мне поглядеть на юношу. Клянусь небом, именно он, меньше чем пол часа тому назад, храбро стал на мою сторону, когда некоторые из моих слуг проявили больше заботы о своих драгоценных особах, нежели обо мне. Отойдите от него, ибо он заслуживает, чтобы вы, вместо вашего грубого обращения, оказали ему почетный и дружественный прием.

Все попятились, повинувшись приказу лорда Ситона, а он, взяв Роланда Грейма за руку, поблагодарил его за быстроту и отвагу в оказании помощи, добавив, что не питает никаких сомнений в отношении цели его прихода: она, конечно, заключается в том, чтобы осведомиться, не опасно ли он ранен.

Роланд низко поклонился в знак согласия.

— Или, быть может, у тебя есть ко мне какое-нибудь дело, в котором я могу быть тебе полезен? Я рад был бы доказать не только на словах, как высоко я ценю твою доблестную и своевременную поддержку.

Но паж, сочтя за благо придерживаться именно того объяснения своего визита, которое так кстати подсказал ему сам лорд Ситон, ответил, что желание увериться, что жизнь его светлости вне опасности, было единственной причиной его вторжения. Ему показалось, добавил он, что милорда задели в схватке.

— Пустяки, — сказал лорд Ситон, — ничтожная царапина. Я как раз снял камзол, чтобы хирург мог перевязать ее, да вот эти горячие молодые люди подняли крик и помешали нам.

Роланд Грейм еще раз отвесил глубокий поклон и собрался уходить, ибо теперь, когда ему больше не грозило быть принятым за шпиона, он начал бояться, что его спутник, Адам Вудкок, так бесцеремонно им

покинутый, либо явится сюда в поисках пропавшего товарища и создаст этим для него новые затруднения, либо просто уедет, бросив его на произвол судьбы.

Но лорд Ситон еще не хотел отпускать его.

— Погоди, молодой человек, — сказал он, — назови мне свое имя и звание. За последнее время Ситону стало привычнее, чтобы его покидали друзья и вассалы, нежели чтобы посторонние оказывали ему помощь. Но, возможно, в мире наступят перемены, и тогда он сможет вознаградить своих доброжелателей.

— Меня зовут Роланд Грейм, милорд, — ответил юноша, — я — паж и в настоящее время состою на службе у сэра Хэлберта Глендининга.

— А что я говорил? — произнес один из молодых людей. — Пусть меня повесят, если это не отравленная стрела из еретического колчана. Уловка, и больше ничего — послать своего шпиона, чтобы он втерся к вам в доверие. Они умеют обучать и мальчиков и женщин быть лазутчиками.

— Что касается меня, то это ложь! — сказал Роланд. — Ни один человек в Шотландии не смог бы меня выучить такому гнусному делу.

— Я верю тебе, юноша, — сказал лорд Ситон, — ибо ты наносил удары шпагой так добросовестно, что это не могло быть по сговору с теми, кому они предназначались. Но, право же, я меньше всего мог ожидать помощи в нужде от кого-нибудь из людей, состоящих на службе у твоего господина; и я хотел бы знать, что заставило тебя вмешаться в стычку и принять мою сторону с опасностью для собственной жизни.

— Прошу прощения, милорд, — ответил Роланд, — но я думаю, что мой господин и сам не стал бы стоять сложа руки, если бы у него на глазах уважаемого человека одолевали в неравном бою и если бы он один мог этому человеку помочь. По крайней мере так учили нас в замке Эвенелов понимать рыцарство.

— Значит, доброе семя упало на плодородную почву, — сказал Ситон. — Но увы, если ты будешь следовать долгу чести в войнах нашего бесчестного

времени, когда хитрость восторжествовала над законным правом, тебе, мой бедный мальчик, долго не прожить на этом свете.

— Пусть я проживу недолго, но с честью, — ответил Роланд Грейм. — А теперь позвольте мне, милорд, откланяться вашей милости и удалиться. На улице меня ждет товарищ, которому я поручил свою лошадь.

— Так возьми хоть это, молодой человек, — произнес лорд Ситон, отстегивая от своей бархатной шапочки золотую цепочку с медалью. — Носи и вспоминай меня.

Роланд был немало польщен этим подарком; приняв из рук Ситона цепь, он тотчас прикрепил ее к своей шляпе, так как уже видел, что молодые щеголи тоже носят такие украшения. Затем он вновь поклонился барону, вышел из сеней, пересек двор и появился на улице как раз в ту минуту, когда Адам Вудкок, раздосадованный и встревоженный его отсутствием, решил бросить лошадей на произвол судьбы и отправиться на поиски своего юного спутника.

— В чей амбар ты вломился на этот раз? — вскричал он, испытывая большое облегчение, хотя лицо его показывало, что он изрядно волновался.

— Не задавай никаких вопросов, — сказал Роланд, ловко вскакивая в седло, — а лучше посмотри, как мало требуется времени, чтобы раздобыть золотую цепь. — И он показал на свое новое приобретение.

— Неужели ты, упаси господи, украл ее или отнял у кого-нибудь силой? — воскликнул сокольничий. — А если нет, то я ума не приложу, откуда к тебе могла попасть эта вещица. Я частенько бывал здесь, и даже по целым месяцам, но еще никто не дарил мне ни золотых цепей, ни медалей.

— А я, как видишь, раздобыл себе такую штучку после менее продолжительного знакомства с городом, — ответил паж. — Но в твоём честном сердце не должно быть места тревоге, Адам: эта вещь не украдена и не отнята силой — она получена честным путем, владелец подарил мне ее по своей доброй воле.

— Ах ты, черт тебя побери! Повесить бы тебя на твоей фанфароне!¹ — воскликнул сокольничий. — Не зря мне кажется, что ты и в воде не потонешь, и в огне не сгоришь, и пеньковая веревка тебя не ударит. Тебя прогнали с должности пажа при миледи только для того, чтобы тут же принять в свиту милорда; ты преследуешь благородную девушку и врываешься во владения какого-то вельможи, а тебе дарят золотую цепь с медалью, — тогда как всякого другого на твоём месте наградили бы за это палочными ударами и хорошо еще, если бы не пырнули кинжалом. Но вот уже и Старое аббатство. Постарайся пронести с собой за эти ворота свою удачливость, и, клянусь пресвятой девой, у тебя будет чем похвалиться на всю Шотландию.

В эту минуту они придержали лошадей, ибо улица, по которой они ехали, уперлась в старинные сводчатые ворота: это был вход в аббатство, другое название которого было Холирудский дворец. За этим тяжело нависающим сводом простирался обширный двор; в глубине его были расположены беспорядочно нагроможденные монастырские здания, соединенные между собой переходами; одно крыло этого сооружения сохранилось до наших дней: оно составляет часть нынешнего дворца, выстроенного в царствование Карла II.

У ворот сокольничий и паж передали своих лошадей караульному, причем сокольничий начальственным тоном приказал ему отвести их в конюшню, как положено.

— Мы люди рыцаря Эвенела, — сказал он громко и, обратившись к Роланду, шепотом добавил: — Мы должны держать себя так, чтобы все видели, кто мы такие, потому что здесь как человек ведет себя, так на него и смотрят. Кто смел — тот семерых съел, как говорится в пословице, а кто слишком скромничает,

¹ Так назывались золотые цепи, которые в те времена носили люди военного звания. Слово это испанского происхождения, ибо мода на такие украшения была распространена среди завоевателей Нового Света. (Прим. автора.)

тот жмись к стенке. Поэтому заломи-ка шляпу, парень, и лихо пройдемся по мостовой.

И, напустив на себя важный вид, как это требовалось, по его мнению, в соответствии с положением и знатностью его хозяина, Адам Вудкок повел за собой Роланда через двор Холирудского дворца.

Глава XVIII

.. Гаспар, на небе тучи,
Тревожным сном спит грозный океан.
Вот так, когда в стране назрел мятеж,
Она придавлена дремотой тяжкой,
Пока враги своих не взвесят сил
И не решатся в бой вступить открытый.

«Альбион», поэма

Роланд Грейм задержался у входа во дворец и попросил своего провожатого о минутной передышке.

— Дай мне оглядеться, Адам, — сказал он, — ведь я никогда прежде не видел ничего подобного... Так это Холируд, местопребывание щеголей и кутил, красавиц, ученых и властителей!

— А как же, он самый и есть! — подтвердил Вудкок. — Но мне, право, хотелось бы надеть на тебя колпачок, как на сокола: ты так дико озираешься вокруг, словно ищешь, как бы снова ввязаться в драку или заполучить еще одну фанфарону. Доставить бы уж скорее тебя по назначению, а то ты больно смахиваешь сейчас на дикого ястреба-тетеревятника.

Разумеется, Роланду должно было показаться необычайным открывшееся ему зрелище — парадный подъезд дворца, где проходили самые различные люди: одни — с сияющим и довольным видом, другие — в глубокой задумчивости, по-видимому обремененные какими-то заботами, государственными или личными.

Кого только здесь не было! То проследует седовласый государственный муж с настороженным, но вместе с тем и властным видом, в подбитой мехом

мантии и в туфлях с собольими выпушками; то промелькнет усатый воин в своем футляре из кожи и стали, с длинной шпагой, волочащейся со звоном по плитам, хмурый взглядом выражающий привычное презрение к опасностям, которое, возможно, на деле не раз оборачивалось жалким малодушием. Вслед за этой фигурой — какой-нибудь слуга знатного вельможи, заносчивый и жестокий, смиренный перед своим господином и равными ему, грубый со всеми прочими. Здесь можно было увидеть людей всякого общественного положения и звания: и бедного просителя с беспокойством во взоре и унынием на лице; и вошедшего в милость чиновника, который, упиваясь своей кратковременной властью, расталкивал локтями людей познатнее его, быть может — даже своих благодетелей; и важного священнослужителя, явившегося выхлопотать себе приход побогаче; и спесивого барона, пришедшего в расчете получить в свое владение церковные земли; и разбойничьего атамана, который, придя с повинной, надеялся выхлопотать себе прощение за ущерб, нанесенный людям; и ограбленного поселянина, который явился просить возмездия за причиненные ему обиды.

Кроме того, тут происходили перекличка и смена караула, то и дело отправлялись и прибывали гонцы; снаружи, из-за ворот, доносилось ржание коней и слышался стук копыт, а внутри дворцовой ограды сверкали доспехи, шелестели плюмажи, звенели шпоры... Короче говоря, придворная жизнь являла здесь все свое пестрое и пышное многообразие, в котором юношеский взор обычно видит одно лишь блистательное и прекрасное, но взор человека, умудренного опытом, различает также немало сомнительного, обманчивого, фальшивого и показного: надежды, которым никогда не суждено сбыться, обещания, которые никогда не будут выполнены, гордыню под маской смирения, наглость в обличье прямодушной и благородной щедрости.

Адам Вудкок, которого начал утомлять восторженный интерес Роланда к зрелищу, столь для него новому, попытался заставить его сдвинуться с места,

пока еще острые на язык обитатели Холируда не заметили его невероятного изумления, но в этот момент сам он привлек к себе внимание какого-то разбитного слуги в темно-зеленой шляпе с пером и в плаще того же цвета с шестью широкими серебряными галунами и двухцветной каймой — фиолетовой с серебром. Признав друг друга, они разом вскрикнули:

— Боже! Кого я вижу! Адам Вудкок явился ко двору!

— Ба! Майкл Обгони Ветер, дружище! Как бегают теперь твоя борзая сука?

— Она уже порядком поизносила свою шкуру, — ответил Майкл на вопрос сокольничего. — Ведь ей восемь годков минуло нынче по весне. Нет на свете собаки, что бегала бы целую вечность, какой бы черт ни сидел в ее ногах. Все же мы держим ее ради приплода, и ей удалось избежать судьбы пограничных жителей. Но что вы стоите тут и глазеете вокруг? Милорд ждет вас и уже спрашивал, не прибыли ли вы.

— Как! Лорд Мерри спрашивал обо мне! Сам регент государства! — воскликнул Адам. — А я и сам рвусь поскорее засвидетельствовать мое почтение нашему повелителю; сдается мне, его светлость еще помнит охоту в Карнуот-муре и моего драммелзайрского сокола, который побил всех соколов с острова Мэн и выиграл для его светлости сотню крон у одного южного барона по имени Стэнли.

— Не тешь себя такой надеждой, Адам, — возразил его приятель, состоявший в придворном штате. — Не помнит он ни тебя, ни твоего сокола. Сам-то он летает теперь куда выше, чем в ту пору, и уже поймал то, за чем гонялся. Ну, пойдем-ка отсюда ненадолго. Надо обновить старую дружбу.

— Чувствую, — сказал Адам, — тебе желательно опрокинуть со мной по кружечке; но прежде я должен водворить вот этого соколенка в такое место, где он навярянка не встретит ни девицы, за которой можно погнаться, ни парня, на которого можно кинуться с обнаженной шпагой.

— А что, он в самом деле такой шалый? — спросил Майкл.

— Именно такой: кидается на все, что ни увидит, — ответил Вудкок.

— Тогда пусть лучше идет с нами, — сказал Майкл Обгони Ветер, — все равно сейчас нам не устроить доброй пирушки: только промочим глотки — и обратно. Я хочу узнать, еще до того как вы пойдете к милорду, что новенького в монастыре святой Марии, и сам расскажу тебе, в какую сторону здесь нынче дует ветер.

С этими словами он направился к боковой двери, выходившей на дворцовую площадь, и уверенно, как человек, хорошо знающий все тайные закоулки дворца, провел сокольничего и его юного спутника по многочисленным темным переходам в небольшую, устланную циновками комнату, где поставил на стол хлеб, сыр и большую флягу с пенящимся элем; к означенной фляге Адам тут же приложился и залпом осушил ее почти до дна. Переведя дух и вытерев пену с усов, он высказался в том смысле, что от волнения из-за юнца у него в горле совсем пересохло.

— Глотни-ка еще, — сказал гостеприимный Майкл, вновь наполняя флягу из стоявшего тут же кувшина. — Я знаю дорогу в погреб. А теперь слушай внимательно, что я буду рассказывать. Сегодня утром граф Мортон явился к лорду-регенту сильно не в духе.

— Так что же, выходит, они как дружили прежде, так и теперь дружат? — спросил Вудкок.

— Ну, а как же может быть иначе, дружище? — ответил Майкл. — Рука руку моет. Так вот, значит, пришел лорд Мортон, сильно не в духе, а в таких случаях, доложу я тебе, вид у него бывает престрашный — ну прямо сущий дьявол. И говорит он лорду-регенту... А я все слышу, потому что как раз в это время у меня в соседней комнате был разговор о соколах, которых мне велели доставить сюда из Дарнауэя; они вполне стоят ваших длиннокрылых, дружище Адам.

— В это я поверю не раньше, чем увижу их в полете, — не преминул возразить Вудкок на брошенное вскользь его товарищем профессиональное замечание.

— Так вот, — продолжал Майкл свой рассказ, — лорд Мортон был сильно не в духе и попросил лорда-регента рассудить, по справедливости ли с ним, Мортонем, поступают. «Дело в том, — сказал он, — что моему брату должны были пожаловать во владение Кеннаквайр; монастырские земли должны были отойти к короне и стать светским феодем, и все доходы с него должен был получать мой брат. А сейчас, — сказал он, — эти лживые монахи имели дерзость выбрать нового аббата, чтобы тот предъявил свои права и стал поперек дороги моему брату. А кроме того, окрестная чернь сожгла и разграбила все, что еще оставалось от аббатства, и моему брату нигде будет даже поселиться, когда он выгонит вон свору праздных монахов». Ну, тут лорд-регент видит, что он разгневан, и мягко говорит ему: «Это дурное известие, Дуглас, но я надеюсь, что это неправда; потому что Хэлберт Глендининг отправился вчера на юг с отрядом копьеносцев и, уж конечно, если бы то или другое произошло, то есть если бы монахи надумали избрать нового аббата или если бы монастырь был сожжен, как вы говорите, Глендининг немедленно распорядился бы наказать виновных в столь дерзких поступках, а к нам отправил бы гонца». А граф Мортон возражает ему... Только, пожалуйста, Адам, имей в виду, что я рассказываю все это сейчас из любви к тебе и к твоему господину, и по старой дружбе, а также потому, что сэр Хэлберт оказывал мне некоторые услуги и, возможно, окажет еще; ну, и потому, разумеется, что я терпеть не могу графа Мортоня, которого, впрочем, все больше боятся, чем любят; так что с твоей стороны было бы низко выдать меня. Так вот, значит, граф и говорит регенту: «Остерегайтесь, милорд, не доверяйтесь чересчур этому Глендинингу, в нем течет мужичья кровь, и уж по одному этому он не может быть верен нам, дворянам». Клянусь святым Андреем, это его подлинные слова. «А кроме того, — сказал он, — у Глендининга есть брат, монах в аббатстве святой Марии; он делает все, что этот брат ему велит, и водит дружбу с Боклю и Фернихерстом, с которыми встречается на границе

и окончательно столкнется, если только в воздухе запахнет переменами». И тут лорд-регент ответил, как и подобает настоящему благородному вельможе: «Стыдитесь, лорд Мортон, я ручаюсь за верность Глендининга, а что касается его брата, то это человек не от мира сего: он только и знает, что писание да молитвенник; если же что-нибудь похожее на рассказанное вами действительно произошло, то в скором времени Хэлберт пришлет мне капюшон, снятый с головы повешенного им монаха, и голову, снятую с плеч буйного мужлана, в подтверждение своего скорого и беспощадного суда». После этого граф Мортон ушел, но вид у него был очень недовольный. А лорд-регент стал то и дело спрашивать меня, не прибыл ли гонец от лорда Эвенела. Все это я рассказал тебе, чтобы ты мог наилучшим образом построить свою речь, потому как, мне сдается, лорду-регенту не больно понравится, если хоть половина того, о чем говорил лорд Мортон, окажется правдой, а твой господин не принял самых строгих мер.

В этом сообщении было нечто такое, от чего бледность разлилась по лицу храброго Адама Вудкока, несмотря на поддержку, оказанную его природной отваге густым холирудским элем.

— Что он такое сказал про голову мужлана, этот свирепый лорд Мортон?

— Да нет, это лорд-регент сказал, что если аббатству нанесен ущерб, то ваш рыцарь, наверное, пришлет ему голову вожака тех, кто творил бесчинства.

— Но как может говорить такое добрый протестант? — промолвил Адам Вудкок. — Подобают ли такие речи истинному лорду конгрегации? Ведь нас называли славными ребятами и гладили по головке, когда мы камнями на камне не оставили от монастырей в Файфе и Пертшире.

— Да, но это было в ту пору, — сказал Майкл, — когда старушка римская церковь еще была при своих, а ее сыновья из числа важных господ решили, что она должна лишиться всякого убежища в Шотландии. Теперь же, когда монахи и попы разбежались во все

стороны, а их дома и земли отданы нашей знати, вельможные особы не могут терпеть, чтобы мы служили делу Реформации, разрушая дворцы ревностных протестантов.

— Но монастырь святой Марии вовсе не разрушен! — воскликнул Адам Вудкок, чье волнение нарастало все больше. — Там разбили только несколько жалких цветных стекол в окнах — все равно ни один знатный дворянин не потерпел бы их у себя в доме, да и оттяпали ноги по колена нескольким каменным святым, как старине Уидрингтону в «Охоте на Чевиотских холмах»; а что до поджога, так никто из нас и лучинки не зажег, кроме одной-единственной спичечки — для того лишь, чтобы запалить паклю, которою дракон плевался в святого Георгия. За этим-то я смотрел строго.

— Как, Адам! — произнес его товарищ. — Неужели ты замешан в этом славном дельце? Послушай, дружище, мне очень не хочется запугивать тебя, а особенно сейчас, когда ты только что с дороги, но я должен тебе сказать, что граф Мортон доставил сюда из Галифакса девицу, какой ты еще никогда не видывал: она как обнимет тебя за шею, так твоя голова и останется у нее в руках.

— Да ну уж! — возразил Адам. — Я слишком стар, чтобы терять голову из-за какой-то девицы. Я допускаю, что лорд Мортон, как и всякий мужчина, может пуститься в дальний путь за пригожей девушкой. Но все-таки какого черта понадобилось ему отправляться в Галифакс? И если у него там есть красotka, то что ей за дело до моей головы?

— Есть дело, и немалое, — ответил Майкл. — Сама дочь Ирода, которая производила такую экзекуцию ногами, то есть посредством плясок, оттяпывала людям головы не лучше, чем эта «дева Мортонa». ¹ Это, дружок, топор, который падает сам, как

¹ Дева Мортонa — машина вроде гильотины; она была доставлена регентом Мртоном из Галифакса значительно позднее того времени, которое описывается в этом повествовании. Сам Мортон и оказался первым человеком, на котором было испытано ее действие. (Прим. автора.)

подъемное окно, так что палачу не нужно и трудиться брать его в руки.

— Экое хитроумное приспособление, — пробормотал Вудкок. — Упаси и оборони нас господи от него.

Паж, видя, что беседа старых друзей затягивается, и тревожась о судьбе аббата, так как то, что он услышал, не предвещало ничего хорошего, вмешался в разговор.

— Мне думается, Адам Вудкок, — сказал он, — что лучше бы ты сейчас доставил регенту письмо своего господина; он, без сомнения, представил там все, что произошло в Кеннаквайре, в наиболее выгодном свете для тех, кто к этому причастен.

— Мальчик прав, — отозвался Майкл Обгони Ветер. — Лорд-регент, видимо, должен испытывать сильное нетерпение.

— Юнец достаточно смышлен, чтобы выходить сухим из воды, — сказал Адам Вудкок, доставая из охотничьей сумки письмо своего хозяина, адресованное регенту Мерри. — Но и я не совсем глуп... Так вот, мейстер Роланд, будь любезен сам отнести письмо лорду-регенту; перед такой особой более подобает появиться юному пажу, нежели старому сокольничему.

— Ишь чего придумал, хитрый йоркширец! — воскликнул Майкл. — А ведь только что ты горел желанием увидеть нашего повелителя. Ты что ж это, хочешь сунуть парня головой в петлю, чтобы самому ускользнуть от нее? Или, быть может, ты полагаешь, что эта девица охотнее обнимет его нежную юную шею, чем твою жилистую, загрубелую от солнца?

— Да ну тебя! — ответил сокольничий. — Ты больно остер, да только не всегда попадаешь в точку. Парню решительно нечего бояться: он совсем не причастен к тому веселью. Ох, и было же там веселье, Майкл, — вовеки никто так не резвился и не озорничал! И я сочинил по этому случаю замечательную балладу; жаль только — не пришлось ее допеть до конца. Но об этом — ни-ни, *tace*, как говорится по-латыни, что по-нашему — започни это хорошенько — значит «помалкивай». Проводи юношу к его светлости, а я останусь здесь и буду держать ушки на макушке, чтобы

сразу задать стрекача, если надо мной начнет кружить ястреб. И коли регент задумает против меня недоброе, много времени не пройдет, как уже нас с ним будет разделять Солтра-Эдж.

— Тогда пошли, паренек, — сказал Майкл, — раз уж надо, чтобы ты сунулся вперед этого хитрого йоркширца.

С этими словами он встал и снова повел последовавшего за ним Роланда по извилистым переходам, миновав которые они пришли к широкой каменной винтовой лестнице; ступени ее были просторные и пологие, отчего подниматься по ней было на редкость легко.

Поднявшись на восемь ступеней, они оказались на следующем этаже; тут провожатый Роланда, сделав шаг в сторону, открыл двери в какую-то темную, мрачную прихожую; здесь было так темно, что Роланд чуть не упал, споткнувшись о низенькую ступеньку, нехстати пристроенную к самому порогу.

— Осторожней, — сказал шепотом Майкл Обгони Ветер, предварительно оглядевшись с целью убедиться, что никто не подслушивает. — Осторожней, мой юный друг: кто падает здесь, редко поднимается снова. Видишь вот это? — еще тише произнес он, показывая темно-красные пятна на полу, освещенные игравшим на них лучом дневного света, который падал сквозь узкое отверстие в стене, рассекая царивший в помещении мрак. — Видишь вот это, юноша? Иди здесь с опаской, потому что в этом месте уже бывали падения, которые кончались плохо.

— Что ты имеешь в виду? — спросил юноша, которого насквозь пробрала дрожь, хотя он и сам не знал почему. — Это кровь?

— Да, не что иное, — ответил, как и прежде, шепотом Майкл, продолжая тянуть Роланда за руку вперед. — Она самая, кровь. Но здесь не место задавать вопросы, и даже смотреть в эту сторону не следует. Это кровь, пролитая ужасным, предательским образом и не менее ужасным и предательским образом отмщенная. Это, — уже едва слышно добавил он, — кровь синьора Давида.

Сердце Роланда Грейма сильно забилося оттого, что он, так неожиданно для себя, оказался в том месте, где совершилось убийство Риччо. Это была трагедия, которая ужаснула решительно всех, даже в те грубые времена; она стала предметом пересудов и сожалений в каждой хижине и в каждом замке Шотландии, и замок Эвенелов не составил в этом отношении исключения.

Но Майкл торопил юношу, не позволяя ему задавать никаких вопросов, и имел при этом вид человека, который, затронув опасную тему, разоткровенничался больше чем следовало. Пройдя конец прихожей, он постучался в невысокую дверь, которую осторожно приоткрыл какой-то человек — караульный или пристав. Майкл сообщил ему, что паж, прибывший с письмом от рыцаря Эвенела, ожидает, когда регенту будет угодно принять его.

— Совет только что кончил заседать, — сказал пристав. — Передайте пакет мне; его светлость сейчас пригласит посланца.

— Пакет должен быть доставлен в собственные руки регента, — возразил паж. — Таково было распоряжение моего господина.

Пристав, видимо удивленный такой смелостью, смерил его взглядом с головы до ног, а затем ответил язвительным тоном:

— Да не может быть, дружок! В самом деле? Как же ты громко кукарекаешь! Можно подумать, что ты уже не цыпленок с заднего двора, а прямо боевой петух.

— В другом месте и в другое время, — сказал Роланд, — я показал бы тебе, что умею не только кукарекать, а пока выполняй свои обязанности: сообщи регенту, что я жду, когда он соизволит принять меня.

— Да ты просто наглец, если смеешь указывать мне мои обязанности, — сказал придворный. — Но я еще покажу тебе твое место. А сейчас жди, пока тебя позовут.

Майкл Обгони Ветер, который во время этого преппирательства, согласно неписаному закону, действующему среди придворных всех рангов и возрастов,

держался поодаль от своего юного спутника, теперь счел излишним быть далее осторожным и снова подошел к нему.

— Ты подаешь надежды, юноша, — сказал он, — я вижу теперь, что старый йоркширец беспокоился не зря. Ты пробыл при дворе всего пять минут, а уже успел нажить себе врага в приставе залы Совета. Это, примерно, то же, как если бы ты оскорбил заместителя дворецкого.

— Мне дела нет до того, кто он, — заявил Роланд Грейм. — Я требую от всякого, с кем разговариваю, чтобы со мной были вежливы. Я прибыл не откуда-нибудь, а из Эвенела, и не потерплю, чтобы меня унижали даже в Холируде.

— Браво, молодой человек! — воскликнул Майкл. — Так и нужно себя вести — хватило бы только у тебя на это пороку. Однако гляди — дверь открывается.

Пристав появился вновь и уже более любезным тоном сообщил, что его высочеству регенту угодно сейчас же принять послание рыцаря Эвенела. Вслед за тем он препроводил Роланда Грейма в залу, где как раз окончилось заседание Государственного совета. Посредине стоял длинный дубовый стол с двумя рядами стульев, сделанных из того же материала; на центральном месте, во главе стола, находилось большое кресло, обитое алым бархатом. На столе были разбросаны бумаги и письменные принадлежности. Два-три сановника, которые замешкались, надевая плащи и шляпы, прилаживая свои шпаги и прощаясь с регентом, медленно выходили через большую дверь, напротив той, через которую вошел паж. По-видимому, Мерри только что отпустил какую-то шутку, ибо расплывшиеся в улыбках лица государственных мужей выражали то восторженное одобрение, какое обычно встречают у придворных шутки августейших особ.

Сам регент смеялся от души, напутствуя уходящих словами:

— Прощайте, милорды, передайте от меня привет Северному Петуху.

Затем он медленно обернулся к Роланду Грейму, и все признаки веселья, искреннего или напускного, полностью исчезли с его лица, подобно тому как на темной поверхности спокойного глубоководного озера исчезают пузыри, возникшие от падения камня, брошенного случайным прохожим; меньше чем через минуту его благородные черты вновь приобрели обычное для них весьма строгое и даже суровое выражение.

Граф Мерри, которого признавали выдающимся государственным деятелем даже злейшие его враги, обладал величавой внешностью и всеми теми благородными качествами, которые могли бы украсить всякого носителя такой власти, какая была в его руках; и если бы он мог взойти на царство по праву законного престолонаследия, о нем, вероятно, сохранилась бы в истории память как об одном из самых мудрых и великих королей Шотландии. Но то, что он стал правителем государства, низложив и лишив свободы свою сестру и благодетельницу, было преступлением, которое могут извинять только люди, полагающие, что честолюбие есть оправдание неблагодарности. Он был одет просто, по фламандской моде, в камзол из черного бархата, и к высокой тулье его шляпы была приколата усеянная драгоценными камнями брошь, составлявшая единственное украшение всего его наряда. На поясе у него висел кинжал, а его шпага лежала на столе Совета.

Таков был тот человек, которому представлялся сейчас Роланд Грейм, онемевший от благоговейного страха и внезапно утративший обычно присущие ему живость и отвагу.

И в самом деле, по своему характеру и воспитанию Роланд был смелым, но не наглым юношей, и его скорее смиряло нравственное превосходство людей, прославленных своими выдающимися дарованиями, нежели чванливые претензии, основанные лишь на знатности и показном блеске.

Будь перед ним какой-нибудь граф, ничем не замечательный, кроме своей перевязи и короны, он мог бы выказать подчеркнутое равнодушие к такой особе, но Роланд совершенно оробел в присутствии знаме-

нитого воина и государственного мужа, носителя власти, исходящей от имени всей нации, главноначальствующего над ее войсками. Самым великим и мудрым людям льстит почтительность молодежи, весьма подobaющая ей и красящая ее, и Мерри с большой учтивостью взял письмо из рук растерянного, покрасневшего до корней волос пажа, а затем, когда тот сбивчиво, заплетающимся языком попытался передать ему приветствие от сэра Хэлберта Эвенела, любезно на него ответил.

Он даже не сразу разорвал шелковую ленту, которой был обвязан свиток, а начал с того, что спросил пажа, как его зовут, — настолько поразили его красивые черты и статная фигура юноши.

— Роланд Грэм? — переспросил он, так как смущенный паж невнятно произнес свое имя. — Как! Ты из рода Грэмов Леннокских?

— Нет, милорд, — ответил Роланд, — мои родители жили на Спорной земле.

Мерри не стал больше ничего спрашивать и углубился в чтение донесения. По мере того как он читал, лицо его становилось суровее: на нем отразилось неудовольствие, постепенно нараставшее, — очевидно, в письме содержалось какое-то известие, которое одновременно удивило и встревожило регента. Он присел на стул и дважды перечитал письмо, хмурясь все больше и больше, так что его брови почти соприкоснулись одна с другой, а затем в течение нескольких минут сохранял молчание. Наконец он поднял голову, и тут глаза его встретились с глазами пристава, который сразу же, хоть и без большого успеха, постарался изменить выражение своего лица: только что он с напряженным любопытством вглядывался в черты регента, а теперь его физиономия изобразила равнодушие и безучастность, как если бы он смотрел в пространство, ничего не видя и не замечая. Такое умение смотреть пустым, невидящим взглядом полезно развивать у себя людям любого звания, которым дозволено находиться в присутствии своих господ или начальников в часы, когда те ведут себя как частные лица и перестают следить за каждым своим

движением. Великие люди так же ревниво прячут от окружающих свои мысли, как жена царя Кандавла скрывала от всех свои прелести, и не колеблясь кают тех, кому довелось прочесть их, хотя бы и невольно, в духовном *déshabillé*,¹ без всякого прикрытия.

— Выйди за дверь, Хайндмен, — строго сказал регент, — и продолжай свои наблюдения где-нибудь в другом месте. Ты слишком остер для своей должности, которая, согласно особому распоряжению, должна отводиться людям поглупее. Вот так! Сейчас ты больше похож на дурака, чем прежде. (Это последнее замечание было вызвано тем, что Хайндмен, как легко можно догадаться, действительно был в немалой степени обескуражен этим выговором). — Пусть у тебя всегда будет такой растерянный, бессмысленный взгляд, и ты сохранишь свое место. Ступай, милейший!

Пристав удалился в полном смятении, не преминув отметить про себя как еще один повод для антипатии к Роланду Грейму то обстоятельство, что паж оказался свидетелем унижительного разноса, которому его подверг регент. Когда он покинул залу, Мерри снова обратился к юноше:

— Так ты говоришь — твое имя Армстронг?

— Нет, — ответил Роланд, — мое имя Грейм, Роланд Грейм, с вашего разрешения, милорд; я из тех Греймов, что звались Хезергилскими, когда жили на Спорной земле.

— Знаю, знаю, на Спорной земле были такие. Есть у тебя знакомые в Эдинбурге?

— Милорд, — произнес Роланд, решив не отвечать прямо на этот вопрос, так как внутреннее чувство подсказало ему, что о приключении, связанном с лордом Ситоном, лучше будет промолчать, — я попал в Эдинбург впервые в жизни и пробыл здесь только один час.

— Как же так? Ведь ты паж сэра Хэлберта Глендинга, не правда ли? — спросил регент.

¹ Обнажении (франц.).

— Я с детства состоял пажом при его супруге, — ответил юноша, — и покинул замок Эвенелов впервые в жизни, или по крайней мере впервые с тех пор, как перестал быть ребенком, всего лишь три дня тому назад.

— Ты был пажом супруги сэра Хэлберта! — повторил граф Мерри, как бы говоря с самим собой. — Странно, что он послал пажа своей жены для такого важного дела. Мортон скажет, что это поступок такого же рода, как и назначение его брата аббатом. И все-таки неопытный юноша лучше чем кто бы то ни было подойдет для выполнения задуманного. Чему тебя обучали, молодой человек, за то время, что ты нес свою удалую службу?

— Охотиться, милорд, с собаками и соколами, — ответил Роланд Грейм.

— С собаками — на кроликов и с соколами — на дроздов! — сказал регент улыбаясь. — Ведь именно так охотятся дамы со своей свитой.

Щеки Роланда Грейма залились румянцем, и он не без некоторого вызова отвечал:

— Мы преследовали отборнейшего красного зверя и стреляли в поднебесье цапель самого высокого полета. Но я не знаю, может быть на северном наречии это значит — охотиться за кроликами и дроздами. Кроме того, я умею владеть мечом и метать копье; по крайней мере так эти предметы называются у нас на границе, но, возможно, здесь их именуют камышовыми стеблями и тростинками.

— В твоем голосе звучит металл, — сказал регент, — но я прощаю тебе резкость за правду. Значит, ты знаешь, в чем состоит служба воина?

— В той мере, насколько этому могут научить упражнения, без их применения в настоящем деле. Но наш рыцарь не позволял никому из своих слуг совершать набеги, и мне ни разу еще не посчастливилось видеть поле брани.

— Не посчастливилось! — повторил регент с грустной улыбкой. — Поверь моему слову, молодой человек, война — это единственная игра, в которой обе стороны проигрывают.

— Не всегда, милорд! — с присущей ему смелостью возразил Роланд Грейм. — Если только можно верить людской молве.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил регент, в свою очередь краснея и, возможно, подозревая в словах пажа нескромный намек на свое высокое положение, обретенное благодаря разразившейся в Шотландии гражданской войне.

— Я хочу сказать, милорд, — не меняя тона, ответил Роланд Грейм, — что тот, кто доблестно сражается с врагом, возвращается с поля битвы со славой или погибает с честью; поэтому война — это игра, в которой не проигрывает ни одна из сторон.

Регент улыбнулся и покачал головой. В этот момент отворилась дверь, и вошел граф Мортон.

— Я вхожу несколько поспешно, без доклада, — сказал он, — но это потому, что у меня важные новости. Дело обстоит именно так, как я говорил: Эдуард Глендининг провозглашен аббатом, и, следовательно...

— Подождите, милорд! — прервал его регент. — Я знаю об этом, но...

— И, может быть, знали раньше, чем я, лорд Мерри, — произнес Мортон; при этом его угрюмое, мрачное лицо стало еще угрюмей и густо побагровело.

— Мортон, — сказал Мерри, — не подозревай меня, не бросай тени на мою честь. Я достаточно страдаю от клеветы врагов; не делай же так, чтобы я должен был обороняться еще и от несправедливых подозрений друзей. Мы не одни, — спохватившись, добавил он, — а то бы я сказал тебе еще кое-что.

Он отвел Мортонa в одну из оконных ниш, которая глубоко врезалась в массивную стену и представляла собой удобное место для уединенной беседы. В этом уголке они все же были доступны наблюдению Роланда, который видел, что разговаривают они очень взволнованно, причем Мерри серьезно и горячо убеждал в чем-то Мортонa, который имел вначале недовольный и обиженный вид, но потом, под влиянием слов регента, стал как будто понемногу отходить.

По мере того как их разговор обострялся, они говорили все громче и громче, забыв о присутствии

пажа, в известной мере потому, что с их места не была видна та часть комнаты, где он находился. Благодаря этому из речей вельмож до него дошло больше, чем он сам того желал. Хотя Роланд и был пажом, но недостойное любопытство в отношении чужих тайн не принадлежало к числу его недостатков. Кроме того, при всем его безрассудстве, ему не могло не прийти в голову, что это довольно опасно — стать невольным свидетелем секретного разговора двух могущественных людей, перед которыми все трепетали. Но не мог же он заткнуть себе уши или деликатным образом покинуть помещение; а пока он размышлял, каким способом напомнить о своем присутствии, он уже услышал так много, что после этого внезапно обнаружить себя было бы столь же нелепо, а может быть, и столь же опасно, как и оставаться тихонько на месте до конца беседы. Однако то, что было им услышано, не давало еще ясного представления о предмете беседы, и если искушенный политик, знакомый с обстановкой тех времен, без труда понял бы, о чем шла речь, то Роланд мог строить относительно содержания разговора лишь самые неопределенные, смутные догадки.

— Все готово, — сказал Мерри, — и Линдсей собирается выезжать. Она должна перестать колебаться. Ты видишь — я следую твоему совету и не позволяю себе поддаться чувству сострадания.

— Верно, милорд, — ответил Мортон, — когда дело идет о завоевании власти, вы не колеблетесь, а идете напролом. Но так же ли заботитесь вы о защите и сохранении того, что достигнуто? Зачем весь этот штат слуг вокруг нее? Разве у вашей сестры недостаточно мужской и женской прислуги, что вы соглашаетесь еще придать ей совершенно излишнюю и опасную свиту?

— Стыдись, Мортон! Ведь она принцесса и моя сестра: могли ли я отказать ей в надлежащем внимании?

— Вот, вот, — ответил Мортон, — именно так всегда и летят ваши стрелы: вы неплохо спускаете их с тетины и метко целитесь; но всякий раз, когда стрела уже в полете, начинает дуть ветерок каких-то никому не нужных братских чувств и отклоняет ее в сторону.

— Не говори так, Мортон, — возразил Мерри, — я проявил решимость и совершил задуманное.

— Да, вы сделали достаточно для того, чтобы приобрести, но не для того, чтобы удержать; не думайте, что она будет рассуждать и поступать точно так же: вы нанесли ей глубокую рану, лишив ее власти и унижив ее гордость, и все ваши попытки залечить эту рану разными успокоительными средствами не имеют ни малейшей цены. При вашем нынешнем положении вам надо отказаться от роли любящего брата и проявить себя смелым и решительным государственным мужем.

— Мортон! — с некоторым нетерпением воскликнул Мерри. — Я не желаю долее выносить твои нападки. Что я сделал, то сделал, и что еще нужно будет сделать, я тоже совершу. Но я не выкован из железа, как ты, и не могу не помнить... Ну, хватит об этом. Я остаюсь при своем решении.

— Но я надеюсь, — сказал Мортон, — что число лиц, предназначенных для ее утешения в домашней жизни, ограничится...

Тут он шепотом назвал имена, которых Роланд Грейм не расслышал. Мерри ответил так же тихо, но к концу фразы настолько повысил голос, что паж услышал следующие слова:

— А я в нем уверен, так как его рекомендует Глендининг.

— И как раз может стать, что эта рекомендация заслуживает столько же доверия, сколько поведение самого Глендининга в аббатстве святой Марии: вы уже слышали, что там избрали аббатом его брата. Ваш фаворит сэр Хэлберт полон таких же братских чувств, как и вы, милорд Мерри.

— Право же, Мортон, твоя шпилька могла бы вызывать с моей стороны недружелюбный ответ, но я прощаю ее, так как во всем этом деле замешаны интересы и твоего брата. Избрание будет объявлено лишенным силы. Говорю тебе, граф Мортон, что пока я от имени моего царственного племянника держу в своих руках бразды правления, ни один лорд или рыцарь в Шотландии не посмеет оспаривать мою власть; и если я

сношу оскорбления от моих друзей, то лишь потому, что я покамест уверен, что они на самом деле друзья мне, и готов прощать им всякие безрассудства за их преданность и верность.

Мортон пробормотал какие-то слова, похожие на извинение, и регент ответил ему уже более мягким тоном, а затем прибавил:

— Кстати, у меня есть, помимо рекомендации Глендинга, еще одно свидетельство верности этого юноши. Его ближайшая родственница отдала себя в мои руки в качестве заложницы с тем, чтобы с ней было поступлено так, как он этого заслужит своим поведением.

— И этого уже достаточно, — заметил Мортон, — но все же, искренне любя вас и желая вам добра, я должен просить вас быть настороже. Враги снова зашевелились, как слепни и шершни после бури. Джордж Ситон шел сегодня посреди улицы с отрядом вооруженных людей и имел стычку с моими друзьями из дома Лесли: они сошлись у Трона и жестоко бились до тех пор, пока не появился в качестве третьей стороны мэр со своей стражей из числа жителей и не велел разогнать сражающихся алебардами, подобно тому как разнимают сцепившихся пса и медведя.

— Он имеет мое разрешение на такое вмешательство, — сказал регент. — Кто-нибудь был ранен?

— Сам Джордж Ситон — Черным Ралфом Лесли. Черт побери рапиру, которая не сумела проткнуть его насквозь! Ралф украсился кровавой шишкой на голове благодаря удару, нанесенному каким-то негодяем пажом, которого никто не знает. Дику Ситону — Уиндигаулу — повредили руку, и двое молодых щеголей из отряда Лесли получили небольшие царапины. Вот и вся благородная кровь, пролитая во время этой маленькой разминки; но с обеих сторон одному-двум йоменам переломали кости и поотрубали уши. Жены конюхов — единственные, кто остается в накладе, когда их мужьям выпадает худая карта, — уволокли их с улицы и теперь плачут навзрыд и голосят над ними.

— Ты слишком легко относишься к таким вещам, Дуглас, — сказал регент. — Эти ссоры, эта кровавая

вражда позорили бы даже столицу турецкого султана, не то что стольный город христианско-реформатского государства. Но если я буду жив, то наведу порядок, и люди скажут, что раз мне было предназначено жестокой судьбой прийти к власти путем низложения моей сестры, то, получив эту власть, я употребил ее на общую пользу.

— И на пользу своих друзей, — подхватил Мортон. — Потому-то я и надеюсь, что вы сейчас же отдадите приказ, лишаящий законной силы избрание аббатом этого тунеядца Эдуарда Глендининга.

— Твое желание будет исполнено без промедления, — ответил регент и, сделав шаг вперед, крикнул: — Эй, Хайндмен! — но тут взгляд его упал на Роланда Грейма. — Вот так так! — воскликнул он, обернувшись к своему другу. — Оказывается, Дуглас, что в беседе, которую мы вели с глазу на глаз, участвовало трое.

— Но беседовать с глазу на глаз могут только двое, — сказал Мортон. — Этому прохоже надо закрыть рот, и навсегда.

— Стыдись, Мортон! Ты же видишь, что перед тобой еще ребенок. Он и так-то обездоленный сирота, а ты еще хочешь... Послушай, дружок, — обратился он к Роланду, — ты рассказывал мне что-то о своих доблестях. Так вот, умеешь ли ты говорить правду?

— Да, когда она мне не во вред, — ответил Грейм.

— Сейчас она послужит тебе на пользу, тогда как ложь тебя погубит. Что ты слышал или уловил из нашего разговора?

— Очень мало такого, что было бы доступно моему пониманию, милорд, — смело отвечал Роланд Грейм, — за исключением того, что вы, как мне показалось, сомневались в верности рыцаря Эвенела, в чьем доме я вырос.

— А что ты сам мог бы сказать по этому поводу, молодой человек? — продолжал спрашивать регент, устремив на Роланда пристальный, испытующий взгляд.

— Это, — сказал паж, — зависит от положения того лица, которое стало бы порочить честь рыцаря, чей

хлеб я ел столько лет. Если человек этот будет по званию ниже меня, я скажу ему, что он лжет, и подкреплю свои слова палкой; если равный мне — то я все-таки скажу, что он лжет, и схвачусь с ним на шпагах, коли только он примет вызов; а если выше меня — то... — Тут он сделал паузу.

— Продолжай смело, — сказал регент. — Что было бы, если человек, который выше тебя по званию, сказал бы нечто, задевающее честь твоего господина?

— Тогда я сказал бы, — ответил Грейм, — что он поступает дурно, клеветая на отсутствующего, и что мой господин может дать отчет в своих поступках всякому, кто спросит его о них, глядя ему прямо в лицо, как подобает мужчине.

— И это было бы сказано именно так, как подобает мужчине, — заключил регент. — Что думаешь ты об этом, лорд Мортон?

— Я думаю, — ответил Мортон, — что, если этот юный пройдоха обладает такой же изворотливостью, как один наш старый друг, на которого он похож как две капли воды лицом и выражением глаз, тогда между его словами и мыслями может быть большая разница.

— А на кого же, по-твоему, он так сильно похож? — спросил Мерри.

— Не на кого иного, как на нашего верного и надежного друга Джулиана Эвенела, — ответил Мортон.

— Но этот юноша родом со Спорной земли, — сказал Мерри.

— Возможно, но Джулиан забирался далеко, когда охотился, и в погоне за хорошенькой ланью мог проделать путь во много миль.

— Да ну, — произнес регент, — это все пустое. Эй, Хайндмен, — позвал он пристава, — где ты, любитель совать нос куда не надо?

Пристав тотчас явился на зов, и Мерри сказал ему:

— Отведи этого юношу к его спутнику. Будьте оба наготове, — предупредил он Роланда, — чтобы по первому указанию сразу же отправиться в путь.

И, сделав жест, означавший разрешение удалиться, Мерри дал понять, что аудиенция окончена.

Глава XIX

И да и нет... И то же и не то...
К чему стремясь, чего ища, готов
был
Я славою пожертвовать и жизнью!
Нет, все же нет! То был такой же
призрак
Создания земного, с теплой кровью,
Как образы, которыми нас дразнят
Бесстрастные, пустые зеркала.

Старинная пьеса

Пристав с важным видом, плохо скрывавшим его раздражение, препроводил Роланда в комнату, расположенную ниже этажом, где паж встретился со своим приятелем сокольничим. Затем придворный чин вкратце объяснил им, что здесь будет их местопребывание вплоть до новых распоряжений его светлости; что они могут в положенные часы ходить в кладовую, в погреб, в винный склад и на кухню получать причитающееся им довольствие, в соответствии со своим званием. Эти наставления Адаму Вудкоку благодаря его давнему знакомству с придворной жизнью были понятны с полуслова.

— На ночлег, — сказал пристав, — вам придется устроиться в подворье святого Михаила, поскольку дворец сейчас переполнен слугами более знатных вельмож.

Едва пристав успел выйти за дверь, как Адам, сгорая от любопытства, воскликнул:

— Ну теперь, мейстер Роланд, выкладывай новости, высыпай все, что есть в мешке. Что сказал регент? Спрашивал ли он об Адаме Вудкоке? Все уладилось, или аббату Глупости достанется на орехи?

— По этой части все в порядке, — сказал паж. — А об остальном... Но что я вижу, черт возьми! Ты снял цепочку и медаль с моей шляпы?

— И как раз вовремя, потому что этот самый мошенник пристав с кислой рожей уже начал выпрашивать, что за папистское украшение ты на себя навесил. Клянись обедней, еще немного, и золото было бы кон-

фисковано ради спасения наших душ, как там, в Эвеле, твоя побрякушка, которой теперь щеголяет миссис Лилиас, переделав ее на две пряжки для туфель. Вот что выходит из твоего пристрастия ко всякой папистской мишуре.

— Ах, мерзавка! — воскликнул Роланд Грейм. — Она переплавилла мои четки в пряжки для своих неуклюжих копыт! Да они ей пристали как корове седло! Но черт с ней, пускай франтит! Я здорово изводил от нечего делать старую Лилиас, так пусть у нее останется память обо мне. Ты помнишь, как я налил ей в варенье уксуса в то пасхальное утро, когда они с почтенным Уингейтом собрались позавтракать вместе.

— Как не помнить, мейстер Роланд! Уингейт после этого целое утро ходил с перекошенной рожой. Всякий другой паж на твоём месте получил бы за такую выходку порцию розог в сторожке привратника. Но благосклонность миледи всегда спасала твою шкуру от побоев. Дай бог, чтобы ты стал не хуже, а лучше благодаря ее защите в подобных делах.

— По крайней мере я признателен ей за эту защиту, Адам, и рад, что ты напомнил мне о ней.

— Ну ладно, приступай к рассказу; излагай все по порядку, ничего не упуская. Куда мы должны отправиться теперь? Что сказал тебе регент?

— Ничего такого, что я мог бы передать, — ответил Роланд Грейм, качая головой.

— Ишь ты! — воскликнул Адам. — Как мы вдруг стали благоразумны! Ты за короткое время многое успел, мейстер Роланд. Сначала тебе чуть было не проломили голову, потом ты обзавелся золотой цепью, потом нажил себе врага в лице этого милейшего пристава с ногами, похожими на жерди, из которых делают насесты для соколов; и, наконец, получил аудиенцию у первого человека в государстве, после чего ходишь с таким таинственным видом, словно привык высоко летать с той самой минуты, когда вылупился из яйца. Между нами говоря, я давно подозреваю, что ты как раз из таких птичек, что едва лишь вылезут на свет божий, так сразу же взлетают

сверх, еще с куском яичной скорлупы на голове, как, к примеру, каравайки, которых в землях монастыря святой Марии и в окрестных местах зовут прыгунками (эх, поохотиться бы на них снова!). Да сядь ты, парень! Адам Вудкок никогда не совал свой нос в то, что ему знать не полагается. Садись, садись, я сейчас схожу за едой. Дворецкого и эконома я знаю с давних пор.

Добряк сокольничий отправился раздобывать пропитание себе и своему спутнику, а Роланд тем временем предался размышлениям о странном сплетении происшествий этого дня, и хотя он пытался спокойно разобраться в них, волнение не оставляло его. Еще вчера он был не имевшим перед собой никакой цели бездомным бродягой, с неясным будущим, и плелся за своей родственницей, в здравом уме которой не был вполне уверен. Теперь же он стал, неведомо как и почему, хранителем какой-то важной государственной тайны, не зная даже толком, в чем она состоит, и видя лишь, что сам регент крайне озабочен тем, чтобы она не была разглашена. Но, несмотря на эту неясность, Роланд отнюдь не сожалел о таком обороте дел, хотя и настолько неожиданным, что он еще не мог даже сообразить, в какое он попал положение, неумышленно став причастным к тайнам государственной важности. Напротив, он чувствовал себя подобно путнику, впервые увидевшему незнакомый живописный ландшафт, который сразу же покрылся дымкой и потускнел, затененный надвинувшимися грозowymi тучами. В таких случаях глаз обычно успевает разглядеть только отдельные детали — скалы, деревья и еще что-либо, и поэтому задернутые туманом горы и покрытые мглой пропасти, о высоте и глубине которых можно только догадываться, кажутся еще более величественными.

Но смертные, особенно в том возрасте, когда обычно не страдают отсутствием аппетита, то есть до двадцати лет, не часто настолько погружаются в размышления о предметах действительных или воображаемых, чтобы забыть о своих земных потребностях, которые в определенный час неизменно заявляют о себе

и настоятельно требуют внимания. Поэтому наш герой (читатель может называть его так, если хочет) приветствовал радостной улыбкой возвратившегося Адама Вудкока, который вошел в комнату, неся на одной тарелке огромный кусок отварной говядины, а на другой — целую гору квашеной капусты. За Вудкоком следовал слуга, доставивший хлеб, соль и прочие приправы к еде. Когда все это было водружено на стол, сокольничий высказался в том смысле, что, с тех пор как помнит себя при дворе, бедным дворянам и йоме-нам из свиты знатных вельмож здесь день ото дня приходится все более и более туго по части довольствия, но уж сейчас стали давать — просто кот наплакал. У двери давка, и отвечают тебе грубо, и суют одни кости, а у окошечка винного склада и у погреба прямо сбивают с ног, и не допросишься ничего, кроме жалкой кружки жиденького эля, в котором на меру солода идет самое меньшее две меры воды.

— Однако, мой юный друг, — сказал он, видя, как проворно управляется Роланд с принесенной едой, — клянусь обедней, лучше пользоваться тем, что сейчас есть, нежели сожалеть о том, что было когда-то, или, того гляди, кругом останешься в накладе.

Произнеся это, Адам Вудкок придвинул стул поближе к столу, вытащил свой нож (ибо в те времена каждый носил при себе это орудие распределения пиршественных яств) и последовал примеру своего юного товарища, который в эти минуты совсем перестал тревожиться о будущем и был всецело занят утолением своего голода, причем, надо сказать, по молодости лет, а также вследствие долгого воздержания, аппетит у него был поистине волчий.

Откровенно говоря, хотя пища была довольно простая, они недурно закусили за счет королевской казны; и Адам Вудкок, несмотря на разнос, учиненный им элю из дворцовой пивоварни, четырежды крепко приложился к кувшину, прежде чем вспомнил, что высказывался неодобрительно о его содержимом. Непринужденно и с удобством откинувшись в старом датском кресле, скрестив вытянутые ноги, он посмотрел на Роланда беззаботно-веселым взглядом

и напомнил своему юному товарищу, что тот еще не слышал баллады, сочиненной им для игры в аббата Глупости. И он тут же затыкнул:

— Нас в темноте отец святой
Хотел держать до гроба...

Роланд Грейм, которому, как легко можно догадаться, сатира сокольничего, ввиду ее темы, не доставляла большого удовольствия, схватил свой плащ и стал надевать его, чем сразу прервал песню Адама Вудкока.

— Куда, скажи на милость, ты снова собрался? — спросил тот. — Экий же ты непоседа! У тебя, наверно, ртуть в жилах: тебе так же трудно провести немного времени за мирной, рассудительной беседой, как соколу без колпачка усидеть у меня на запястье.

— Что ж, Адам, — ответил паж, — если уж ты так хочешь знать, я скажу тебе: иду прогуляться и посмотреть этот красивый город. Стоило ли покидать старый замок на озере, где мы насиделись взаперти, как соколы в клетке, чтобы убивать вечер, сидя здесь в четырех стенах и слушая старинные баллады!

— Но это новая баллада, бойся бога! — воскликнул Адам. — И одна из лучших, какие когда-либо были сочинены, с развеселым припевом.

— Пусть будет так, — сказал паж. — Я послушаю ее как-нибудь в другой раз, когда дождь будет стучать в окно и ни топот копыт, ни звон шпор, ни колыхание перьев на шлемах не будут отвлекать меня и мешать по достоинству оценить ее. А сейчас я хочу побыть среди людей и посмотреть, что делается кругом.

— Ну нет, без меня ты и шагу не ступишь, — заявил сокольничий, — до тех пор, пока я окончательно не сдам тебя целехоньким и невредимым с рук на руки регенту. Так что, если хочешь, мы можем пойти вместе в подворье святого Михаила: там ты увидишь достаточно народу, но только через окно — слышишь? Потому что я не допущу, чтобы ты шатался по улицам в поисках разных Ситонов и Лесли и чтобы тебе понаделали в новой куртке дюжину дырок рапирами да кинжалами.

— Ну что ж, в подворье так в подворье, это мне по душе, — сказал паж, и без дальнейшего промедления они покинули дворец. После того как у ворот они дали точные ответы сменившимся на ночь часовым, допросившим их, кто они такие и куда идут, их пропустили через маленькую калитку рядом с запертым на засов главным входом, и вскоре они добрались до гостиницы, или подворья святого Михаила, расположенного в глубине за домами, выходящими на улицу, почти у самого подножия Келтонского холма. Здание было обширным, но запущенным внутри и неудобным; оно напоминало скорее караван-сарай на Востоке, где люди получают кров над головой, но об остальном должны заботиться сами, нежели одну из наших современных гостиниц,

Где будет гость ухожен, пьян и сыт,
Когда он за ценой не постоит.

Но все же на Роланда Грейма, не привыкшего к подобным зрелищам, движение и суета, происходившие в этом общественном месте, произвели сильнейшее впечатление; они возбуждали и увлекали его. В просторной общей комнате, куда сокольничий с пажом должны были найти дорогу сами, так как трактирщик их туда не проводил, жизнь была ключом: то и дело входили и выходили путешественники и местные жители, люди встречались здесь, приветствовали друг друга, играли в карты или кости, собирались вместе и пили.

Все это было так непохоже на жизнь в чинном и благопристойном доме рыцаря Эвенела, где царили постоянное спокойствие и строгий, ничем не нарушаемый порядок! Здесь же то и дело внутри отдельных компаний вспыхивали препирательства всякого рода — от шуточных споров до серьезных перепалок.

Но гул голосов и шум, видимо, не беспокоили никого из присутствующих, и если кто начинал разглагольствовать громче других, то его слушали разве что ближайшие соседи по столу.

Сокольничий прошел через залу к решетчатому окну, расположенному в углублении стены, которое

образовывало уголок, где можно было устроиться от-дельно от прочих. Расположившись здесь со своим спутником, он крикнул, чтобы принесли еды и питья, но ему пришлось повторить то же самое раз двадцать, прежде чем слуга подал им остатки холодного каплуна, говяжий язык и пузатую флягу с легким французским вином.

— Принеси-ка лучше полгаллона бренди, милейший, — сказал сокольничий, и когда слуга выполнил его требование, заявил Роланду: — Будем сегодня веселиться, а завтра хоть трава не расти.

Но Роланд, который только что основательно подкрепился, не мог снова предаться чревоугодию. Испытывая сейчас большую потребность в удовлетворении своего любопытства, нежели аппетита, он предпочел смотреть сквозь решетку окна, из которого открывался вид на просторный двор, ограниченный с трех сторон принадлежавшими гостинице конюшнями. Пока он жадно впитывал глазами открывшееся ему яркое зрелище, Адам Вудкок, сравнив его с «гусьями лэрда Мак-Фарлена, которые больше любили резвиться, чем кормиться», не стал терять времени зря и занялся содержимым тарелок и фляги, в промежутках мурлыча себе под нос припев своей задушенной в колыбели баллады и отбивая пальцами ее ритм по доске маленького круглого столика, за которым он сидел. Однако от этого занятия его все время отрывали восклицания Роланда, которые тот издавал всякий раз, как замечал во дворе что-нибудь новое, привлекавшее его внимание и возбуждавшее интерес.

Там, внизу, было очень оживленно, потому что в это время в городе все гостиницы были забиты ратниками понаехавших сюда средних дворян и знатных вельмож, а все конюшни — их лошадьми. Десятка два йоменов чистили своих или господских коней и при этом свистели, пели, смеялись и поддевали друг друга такими шуточками, которые звучали дико для ушей Роланда, привыкшего к благопристойным нравам замка Эвенелов. Другие были заняты починкой своих доспехов или начищали до блеска латы хозяев. В одном углу двора сидел ратник со связкой двух де-

сятков копий, только что купленных им; он перекрашивал их из белого в желтый и красный цвета. Несколько слуг прогуливали породистых гончих и волкодавов, на которых для безопасности окружающих предусмотрительно были надеты намордники. Все было здесь в движении: одни уходили, другие приходили, люди собирались группами, перемешивались, расходились в разные стороны. Роланд смотрел как завороченный; ему никогда и во сне не снилось столь пестрое, разнообразное зрелище, содержащее как раз такие вещи, какие видеть ему было всего приятнее. Поэтому он то и дело нарушал покой мечтательно настроенного Вудкока, повторявшего про себя все ту же песенку, возгласами вроде следующих:

— Погляди, Адам, погляди, какой славный гнедой! Ох, и хорош же он спереди! А как хорош вон тот серый, которого чистит парень в байковой куртке, да так неумело, словно он привык иметь дело не с конями, а с коровами! Хотелось бы мне быть рядом с ним и поучить его, как это делается! Глянь-ка, глянь, какие блестящие миланские латы начищает вон тот йомен, они сплошь из стали и серебра, как парадные доспехи нашего рыцаря, над которыми так трясется старый Уингейт! Эге, смотри, какая пригожая девица с подойником в руках пробирается там, среди ратников и лошадей! Наверно, ей пришлось прошагать немало, чтобы дойти сюда оттуда, где пасется ее корова. На ней точно такой же красный жакет, как на твоей милой Сисили Сандерленд, мейстер Адам!

— Ей-богу, парень, — произнес сокольничий, — хорошо, что ты воспитывался в таком месте, где знают, что такое приличия. Даже там, в замке Эвенелов, ты был сорвиголовой, а уж расти ты здесь, в двух шагах от дворца, быть бы тебе самым отъявленным вильгельмом из всех пажей на свете.

— Ну ладно, ладно, только, Адам, голубчик, перестань ты бессмысленно мычать и барабанить по столу; лучше подойди к окну, пока ты не утопил еще весь свой разум в кувшине. Гляди, пришел менестрель со своими людьми, и среди них девушка-плясунья с бубенцами на щиколотках. Ну ясно, так и быть должно: все

йомены и пажи бросили скрести своих лошадей и начищать доспехи; они собрались в круг, чтобы послушать музыку. Пойдем-ка тоже к ним, голубчик Адам!

— Убей меня бог, если я спущусь вниз! — отвечал тот. — И ты мог бы, никуда не ходя, познакомиться с песней, которой позавидует всякий бродячий менестрель, если бы ты только соизволил послушать ее.

— Но красная жакетка тоже остановилась, Адам... Ого, сейчас будут танцевать. Байковая куртка приглашает красный жакет, но девушка смущена и отнекивается.

Но тут, внезапно оставив свой легкомысленно-шутливый тон, Роланд, видимо чем-то сильно заинтересованный и удивленный, воскликнул:

— Пресвятая мать божья! Что я вижу! — и умолк.

Рассудительный Адам Вудкок, находясь в расслабленном состоянии, тихо забавлялся про себя возгласами паж, хотя и делал вид, что пропускает их мимо ушей; ему захотелось поэтому, чтобы тот снова развязал язык и он мог бы еще понаслаждаться своим превосходством, заключавшимся в давнем знакомстве со всем тем, что сейчас приводило его юного спутника в такое изумление.

— Ну, — сказал он, видя, что паж упорно молчит, — что же такое ты заметил, отчего сразу онемел?

Роланд не отвечал.

— Послушай, мейстер Роланд Грейм, — еще раз позвал его сокольничий, — в наших краях не принято отмалчиваться, когда с тобой разговаривают.

Роланд Грейм по-прежнему не произносил ни слова.

— Что за чума его взяла! — воскликнул Адам Вудкок. — То таращил глаза и молол всюю языком, а теперь, верно, от этого же самого ослеп и онемел.

Он наспех допил вино и подошел к Роланду, который стоял неподвижно, как статуя, устремив пристальный взгляд на что-то замеченное им во дворе; но как Адам ни старался, он не мог обнаружить среди царившего там веселья ничего такого, что заслуживало бы столь безраздельного внимания.

«Парень, видать, свихнулся», — сказал сокольничий самому себе.

Но у Роланда Грейма были веские причины для того, чтобы удивляться, хотя он никак не мог поведать о них своему спутнику.

Звуки лютни, на которой заиграл менестрель, привлекли нескольких человек с улицы. Последний из вошедших в ворота поразил Роланда своей внешностью, всецело приковав к себе его внимание. Это был юноша одного с ним возраста или несколько моложе; судя по его платью и манере держать себя, он мог быть того же звания и занимать такую же должность, что и Роланд, ибо имел подчеркнуто щегольской вид, впрочем, вполне уместный при его стройной, хотя чуть худощавой и невысокой фигуре; одет он был в весьма изящный костюм, который наполовину был скрыт небрежно накинутым пурпурным плащом. Войдя, он бросил взгляд на окна, и Роланд, к крайнему своему удивлению, увидел под алой бархатной шляпой, украшенной пером, черты, глубоко врезавшиеся ему в память; он узнал эти золотистые волосы, ниспадавшие локонами, этот живой взгляд больших синих глаз; красиво очерченные брови, нос с легкой горбинкой, алый рот, постоянно улыбающийся сдержанной, едва заметной улыбкой, короче говоря — весь облик Кэтрин Ситон, одетой, однако, в мужское платье и, как видно было, не без успеха имитирующей поведение юного, но от важного паж.

— Святой Георгий, святой Андрей и все угодники! — воскликнул изумленный Роланд. — Видывал ли когда-нибудь свет такую дерзкую девчонку! Кажется, ей самой немного стыдно за это ряженье; не зря старается она прикрыть плащом лицо, да и покраснела как будто. Однако пресвятая богородица! Как она протискивается сквозь толпу, каким смелым и твердым шагом прокладывает себе путь! Можно подумать, что она отродясь не носила никакого другого платья, кроме мужского! Святители божьи! Она подняла свой хлыст, словно собирается ударить им по щеке того, кто стоит ей поперёк дороги! Ей-богу, она ведет себя как заправский паж! Да что это? Неужели она в самом деле решится хлестнуть эту байковую куртку?

Его сомнения быстро рассеялись, ибо давно замеченный им здоровенный детина, стоявший на пути нетерпеливого пажа и из мужицкого упрямства или же просто по глупости не желавший посторониться, получил резкий, с размаху нанесенный удар хлыстом по спине, вследствие чего сразу же отскочил в сторону, потирая ту часть тела, которой столь бесцеремонно дали понять, что не следует преграждать дорогу людям более высокого звания, нежели ее обладатель.

Услыхав негодующие вопли и проклятья пострадавшего, Роланд Грейм подумал уже было о том, чтобы сбежать вниз по лестнице на помощь переодетой Кэтрин; но большинство находившихся во дворе стало смеяться над парнем в байковой куртке, которому по тем временам было, конечно, не под силу схватиться в открытую со своим обидчиком, разодетым в бархат и золото; поэтому парень (он был гостиничным слугой) пустился наутек и, вернувшись к прерванному занятию, под общий хохот снова принялся чистить статного серого коня. Пуще всех смеялась девица в красном жакете, прислуживавшая вместе с ним в гостинице. В довершение его позора, у девицы хватило жестокости одобрительно улыбнуться его обидчику; затем она с непринужденностью, свойственной скорее городской служанке, нежели деревенской коровнице, задала пришельцу вопрос:

— Вам, наверно, нужен здесь кто-нибудь, нарядный молодой джентльмен, и поэтому вы так торопитесь?

— Я ишу тут, — ответил щеголь, — одного молоко-соса с веткой остролиста на шляпе, черноволосого и черноглазого, в зеленой куртке и имеющего вид деревенского франта. Я обыскал уже в поисках его все закоулки и проходы вокруг Кэнонгейта, черт бы его побрал!

— Господи спаси и помилуй! — пробормотал Роланд Грейм в сильнейшем изумлении.

— Обещаю сейчас же справиться о нем ради вашей милости, — сказала служанка.

— Сделай это, — промолвил красивый юноша, — и если ты приведешь его ко мне, то получишь грот

сегодня и поцелуй в воскресенье, когда на тебе будет юбка почище.

— Господи спаси и помилуй! — снова пробормотал Роланд. — Это уж, пожалуй, чересчур.

Через минуту в залу вошел слуга и, придерживая дверь, впустил юного красавца, на которого с таким удивлением взирал наш герой.

Переодетая девушка, без тени смущения на лице, обвела быстрым и смелым взглядом всю старинную залу. Роланд Грейм в первое мгновение растерялся и оробел, но затем, сочтя такое состояние недостойным смелого и бесстрашного мужчины, каким он всегда стремился быть, твердо решил, что не позволит этой удивительной особе презрительно смотреть на него и не оробеет перед ней, а, напротив, ответит ей хитрым, проницательным взглядом старого знакомого, которому ясна забавная сторона происходящего, и, таким образом, покажет, что сразу же разгадал ее секрет и что судьба ее теперь у него в руках. Это, думал он, несколько собьет с нее спесь; по крайней мере она будет вынуждена смотреть на него уважительно и заискивающе и соответственно держать себя с ним.

Задумано все это было превосходно, но как раз в тот момент, когда Роланд примерился, изобразив многозначительный взгляд и едва заметную улыбку, что должно было придать ему лукавый, понимающий вид и обеспечить его торжество, он вдруг встретился глазами со своим собратом пажом, который, возможно, был на самом деле переодетой девушкой, но смотрел дерзким, открытым, не отклоняющимся в сторону взором. Ему достаточно было один раз взглянуть на Роланда, чтобы его зоркие, как у сокола, глаза сразу опознали в нем того, кто был предметом его поисков. Он с весьма независимым видом, сохраняя полное самообладание, подошел к нашему герою и обратился к нему со следующими словами:

— Послушай, ты, остролист, мне нужно поговорить с тобой.

Хотя голос был тот же самый, который Роланд слышал в старом монастыре, и внешнее сходство с Кэтрин на близком расстоянии было еще более

разительным, нежели казалось издали, тем не менее холодный, самоуверенный тон, каким были произнесены эти слова, настолько смутил Роланда, что он стал сомневаться, не ошибся ли с самого начала; лукавое, многозначительное выражение, которое он постарался придать своему лицу, мгновенно слетело, уступив место выражению робости и застенчивости, а сдержанная, но явно рассчитанная на то, чтобы быть замеченной, улыбка сменилась бессильным смешком, какой обычно издают в тех случаях, когда не находят другого способа скрыть свое замешательство.

— Ты разумеешь шотландскую речь, остролист? — спросил Роланда этот удивительный образец метаморфозы. — Я сказал, что хочу поговорить с тобой.

— А что тебе надо от моего товарища, птенчик? — вмешался Адам Вудкок, желая поддержать Роланда, хотя никак не мог понять, почему тот вдруг утратил свою обычную сообразительность и присутствие духа.

— Тебя это не касается, старый филин, — отпарировал юнец. — Иди занимайся своими соколами. И по твоей сумке и по рукавице вижу, что ты мастер по птичьей части.

Он произнес это со смехом, который живо напомнил Роланду неудержимый хохот потешавшейся над ним Кэтрин в тот день, когда они встретились в бывшем женском монастыре. Он чуть было не вскричал: «Клянусь богом, это Кэтрин Ситон!» — но сдержался и сказал только: — Мне кажется, сэр, мы с вами немного знакомы.

— В таком случае мы, наверно, встречались во сне, — сказал юноша. — Но я слишком занят днем и забываю, что мне снилось ночью.

— И, надо полагать, забываете также тех, кого видели накануне наяву, — сказал Роланд Грейм.

Теперь настала очередь юноши смотреть на Роланда с некоторым удивлением, отвечая ему:

— Я не больше моей верховой лошади понимаю, что ты имеешь в виду; но если в твоих словах заключено оскорбление, то я тебе его не спущу и покажу, что значит задирать парней из Лотиана.

— Хотя вы и говорите так, словно видите меня впервые, — сказал Роланд, — вы отлично поняли, что у меня нет никакого намерения затевать с вами ссору.

— Тогда дай мне выполнить мое поручение и поскорее отделаться от тебя, — сказал паж. — Отойдем в сторону, чтобы эта кожаная рукавица не слышала, о чем мы говорим.

Они укрылись в той самой оконной нише, в которой Роланд находился до того, как юноша вошел в залу. Там посланец стал спиной к посетителям, предварительно бросив вокруг себя быстрый и пронизательный взгляд, дабы проверить, не следит ли за ними кто-нибудь. Роланд поступил точно так же, после чего паж в пурпурном плаще обратился к нему со следующими словами, вытаскивая в то же время из-под плаща прекрасной выделки шпагу с серебряной рукояткой и в хорошо вызолоченных, украшенных богатой узорчатой насечкой ножнах:

— Эту шпагу посылает тебе друг; он велел вручить ее тебе с одним условием: ты должен поклясться, что не обнажишь ее иначе, как по повелению твоего законного монарха. Известно, что ты от природы горяч и самонадеянно ввязываешься в чужие ссоры; так вот, этот запрет будет чем-то вроде епитимьи, которая налагается на тебя теми, кто желает тебе добра и будет незримо направлять твою судьбу во всех случаях жизни. Поэтому если ты, в обмен за эту благородную шпагу, дашь свое честное благородное слово, а также свою руку и перчатку в подтверждение его, тогда дело сделано; если же нет, то я отнесу этот «Эскалибар» обратно тем, кто его послал.

— А нельзя ли мне узнать, кто эти люди? — спросил Роланд Грейм, с восхищением любуясь неожиданным подарком.

— Я не имею права отвечать на этот вопрос, — сказал юноша в пурпурном плаще.

— Но если мне нанесут оскорбление, — снова спросил Роланд, — то и тогда, чтобы защитить себя, мне тоже нельзя будет извлечь эту шпагу из ножен?

— Эту — нельзя, — ответил посланец. — Но у тебя есть под рукой твоя собственная, а кроме того, ты же для чего-то носишь при себе кинжал.

— Не для хороших дел, — произнес подошедший к ним вплотную Адам Вудкок. — Это мне известно лучше чем кому бы то ни было.

— Отойди-ка, любезный, прочь, — сказал юноша, — у тебя на роже написано такое любопытство, что она нечаянно может схватить оплеуху, если ты будешь совать свой нос куда тебя не просят.

— Оплеуху, говоришь ты, сэр Забияка? — произнес Адам Вудкок, все же несколько подавшись назад — Лучше ты рукам воли не давай, а не то, клянусь пресвятой девой, получишь оплеуху в ответ.

— Успокойся, Адам Вудкок, — сказал Роланд Грейм. — Позвольте мне еще спросить вас, любезный сэр (пусть будет так, раз уж вы предпочитаете сейчас именно это обращение), нельзя ли мне вынуть эту благородную шпагу хоть на минутку, чтобы увидеть, так же ли хорош сам клинок, как рукоятка и ножны?

— Ни в коем случае, — ответил посланец. — Короче говоря, ты получишь шпагу, если обещаешь никогда не извлекать ее до особого повеления твоего законного монарха, или же не получишь вовсе.

— Я согласен на поставленное условие, и поскольку это оружие передает мне ваша дружественная рука, я принимаю его, — сказал Роланд, беря шпагу из рук паж. — Но поверьте мне, если нам с вами предстоит, как я вижу, действовать совместно в каком-то серьезном и смелом предприятии, то с вашей стороны обязательно потребуются некоторая доверительность и откровенность, чтобы направлять мое рвение по надлежащему пути. Пока я больше ни на чем не буду настаивать, достаточно того, что вы меня понимаете.

— Я тебя понимаю? — воскликнул паж, выказывая, в свою очередь, непритворное удивление — Да провались я на этом месте, если я понимаю хоть что-нибудь! Чего это ты гримасничаешь, хихикаешь и делаешь хитрый вид, словно мы с тобой участники какого-то важного заговора и отлично понимаем друг

друга, хотя ты меня никогда раньше и в глаза не видел.

— Что! — вскричал Роланд Грейм. — Вы будете отрицать, что мы встречались и прежде?

— Буду, черт возьми, перед любым христианским судом, — сказал второй паж.

— И вы также будете отрицать, что нам велели хорошо изучить лица друг друга, чтобы даже в случае переодевания, к которому нас могут побудить обстоятельства, каждый мог узнать в другом тайного агента могущественных сил? Вы не помните, как сестра Мэгделин и госпожа Бриджет...

Тут посланец прервал его, пожав плечами с видом сожаления:

— Бриджет, Мэгделин! Ты что, бредишь или спятил? Послушай, остролист, у тебя, видать, ум за разум зашел; попей-ка лечебного отвара и перед сном напьяль на голову шерстяной колпак — может, полегчает. Помоги тебе бог!

После того как он распрощался в столь вежливых выражениях, Адам Вудкок, который теперь сидел за столом, но уже перед пустым кувшином, сказал ему:

— Не хотите ли, молодой человек, сейчас, когда вы уже выполнили свое поручение, выпить с нами, учтивости ради, кружечку вина и послушать славную песню?

И, не дожидаясь ответа, он затянул свою балладу:

— Нас в темноте отец святой
Хотел держать до гроба

Вероятно, доброе вино сдвинуло что-то с места в голове сокольничего, ибо иначе он вспомнил бы об опасности в общественном месте политических и сатирических шуток в его время, когда умы людей были так легко возбудимы.

Надо отдать ему справедливость — он сразу заметил свою оплошность и прервал пение, увидев, что при словах «отец святой» за несколькими столами посетители прекратили свои частные разговоры и многие из них начали с угрожающим видом вставать с мест, смотря на него во все глаза и готовясь принять

участие в ссоре, которая, казалось, вот-вот вспыхнет, тогда как другие, более сдержанные и осторожные, поспешно расплачивались за угощение и собирались убраться подобру-поздорову, пока дело не приняло худший оборот.

А похоже было, что оно его примет, ибо как только второй паж услышал песенку Вудкока, он поднял свой хлыст и вскричал:

— Гнусный еретик, как смеешь ты в моем присутствии неуважительно говорить о его святейшестве папе! Я отхлещу тебя, как шелудивого пса!

— А я тебе проломлю башку, молокосос, если ты осмелишься хоть пальцем прикоснуться ко мне, — ответил Адам, и, выказывая свое презрение к угрозам юного Дрокенсера, недрогнувшим голосом храбро запел снова тот же куплет:

— Нас в темноте отец святой
Хотел держать...

Но продолжить далее он не смог, так как его самого поверг во тьму вспыльчивый юноша, нанеший ему удар хлыстом по глазам.

Придя в ярость от острой боли и обиды, сокольничий вскочил, и хотя глаза его слезились так сильно, что он решительно ничего не видел, тем не менее он тотчас же схватился бы врукопашную со своим дерзким оскорбителем, если бы не Роланд Грейм, который, выступив в не свойственной ему роли проповедника благоразумия и миротворца, бросился между ними, умолая Вудкока успокоиться.

— Ты не знаешь, с кем имеешь дело, — сказал он. — А ты, — обратился он к посланцу, который стоял на том же месте, презрительно смеясь над яростью Адама, — уходи поскорее, кто бы ты ни был; если ты действительно то лицо, за кого я тебя принимаю, то ты отлично понимаешь, что есть серьезные причины, почему тебе обязательно нужно уйти.

— Вот сейчас ты попал в точку, остролист, — сказал молодой щеголь, — хотя, по-видимому, послал стрелу наудачу. Хозяин, поставь этому йомену полгаллона французского, чтобы он мог избавиться

от боли в глазах, и вот тебе за него французская корона.

С этими словами он бросил на стол монету и быстрым, но уверенным шагом направился к выходу, спокойно поглядывая направо и налево; по пути он щелкнул пальцами перед носом у нескольких горожан, которые, объявив, что это позор — терпеть наглые речи и заносчивое поведение защитников папы, старались нащупать рукоятки своих клинков, как нарочно, в этот момент запутавшиеся в складках их плащей. Но поскольку их противник удалился раньше, чем кто-нибудь из них успел добраться до своего оружия, они сочли уже излишним обнажать клинки и ограничились обменом реплик по поводу случившегося. Один высказался в том смысле, что это вопиющее самоуправство — бить ни в чем не повинного человека по лицу, когда он всего лишь хотел спеть балладу про вавилонскую блудницу, и что если так пойдет дальше и сторонникам папы будет позволено безобразничать даже на наших постоянных дворах, то скоро бритоголовые сядут нам снова на шею.

— Надо бы мэру смотреть за этим, — сказал другой. — При нем должно быть пять-шесть вооруженных добровольцев, которые обязаны прибегать по первому свистку и давать хорошую взбучку таким вот щеголям. Потому что, видишь ли, дружище Лаглезер, не подобает нам с тобой, степенным домохозяевам, ввязываться в ссоры с бессовестными слугами и нахальными пажамы знатных господ, сызмала приученными только то и делать, что проливать кровь да богохульствовать.

— Вот потому-то, дружище, — сказал Лаглезер, — я и отделал бы этого юнца так, чтобы небу стало жарко, если бы смог вовремя достать мой испанский клинок. Но прежде чем я успел повернуть пояс, этого молодца и след простыл.

— Ладно, — промолвил третий, — пусть убирается ко всем чертям, а нас упаси боже от таких передраг. Мой совет, друзья, давайте заплатим за угощение и разойдемся тихонько по домам, потому что с башни

святого Эгидия уже дают сигнал гасить огни, а ночью ходить по улицам опасно.

Порешив на этом, добрые горожане надели плащи и приготовились уходить, а тот, кто, видимо, был самым бойким из них троих, положил руку на свой клинок под названием «Андреа Феррара» и заметил, что «всем молодчикам, которые вздумают восхвалять папу на Хайгейтской улице в Эдинбурге, следовало бы раньше запастись мечом святого Петра для своей защиты».

Пока злоба горожан изливалась пустыми угрозами, Роланду Грейму пришлось сдерживать куда более серьезное негодование Адама Вудкока.

— Да полно, тебе, Адам, — говорил он, — ну, хлестнули тебя разочек по физиономии, так стоит ли поднимать из-за этого такой шум? Высморкайся, протри глаза, и тебе сразу будет легче.

— Клянусь светом божьим, которого я не вижу, — сказал Адам Вудкок, — ты не был мне настоящим другом, молодой человек, не принял моей стороны в ссоре, хотя я был совершенно прав, и не дал мне самому постоять за себя.

— Стыдись, Адам Вудкок, — возразил юноша, который решил теперь взять свое, став в свою очередь проповедником добропорядочного поведения и миролюбия. — Стыдись! Как можешь ты так говорить? Ведь тебя послали со мной, чтобы ты оберегал мою неопытность от всяких ловушек.

— Повесить бы тебя с твоей неопытностью, и делу конец, желаю тебе этого от всей души, — сказал Адам, который начал смекать, к чему клонится это увещание.

— А ты, вместо того, чтобы сидеть тут передо мной примером рассудительности и воздержания, как подобает сокольничему сэра Хэлберта Глендиннга, выдул бог весть сколько фляг эля, не считая галлона вина и полной меры бренди.

— Это был совсем небольшой полгаллоновый жбанчик, — сказал бедняга Адам, который, ввиду сознания собственной неводержанности, мог теперь воевать только с оборонительных позиций.

— Но вполне достаточный, чтобы налакаться как следует, — возразил паж. — И вдобавок, что бы тебе пойти проспать после выпивки, так нет же — расселся тут распевать свои разгульные песни о святых отцах и слепцах, пока в конце концов тебе чуть не вышибли глаза из орбит. И хотя ты, неблагодарный пьяница, обвиняешь меня в том, что я отступился от тебя, но, если б не мое вмешательство, этот молодчик, как пить дать, перерезал бы тебе глотку: он размахивал кинжалом шириной в ладонь и острым как бритва. Вот чему тебя должен учить неопытный юноша! О Адам, какой стыд, какой стыд!

— Черт побери, аминь! Я согласен! — воскликнул Адам. — Стыдно мне должно быть, раз я имел глупость ждать чего-то, кроме нахального зубоскальства, от такого пажа, как ты, который посмеялся бы и над отцом родным, попади тот в переделку, вместо того чтобы оказать ему помощь.

— Но я охотно окажу тебе помощь, — сказал паж, все так же смеясь, — а именно — провожу тебя в твою комнату, дружище Адам. Там ты проспишь ночку, и из тебя за это время испарятся и эль, и вино, и гнев, а утром, когда проснешься, ты снова обретешь свой ясный ум, которым одарен от природы. Только об одном я хочу предупредить тебя, дорогой Адам: отныне и навсегда, всякий раз как ты станешь бранить меня за то, что я несколько горяч и слишком поспешно хватаюсь за кинжал, и так далее и тому подобное, то твое увещевание будет служить прологом к беседе о памятном происшествии в подворье святого Михаила, где кому-то попало по глазам.

Произнеся эту соболезную речь, Роланд доставил упавшего духом сокольничего к его постели, после чего тоже улегся, но еще долго ворочался с боку на бок, прежде чем смог уснуть. Если приходивший к нему посланец был на самом деле не кем иным, как Кэтрин Ситон, то какие же мужские у нее ухватки, какая она резкая! Сколько в ней дерзости и самоуверенности, просто диву даешься! У нее на лице написана такая бесцеремонность, какой хватило бы на два десятка пажей. «Нет, я дознаюсь, — думал

Роланд, — что все это значит. А все же — ее черты, ее взор, ее легкая походка, ее смеющиеся глаза... Грация, с которой она набрасывает на себя плащ так, чтоб из-под него виднелись руки и ноги не больше, чем это совершенно необходимо (хорошо, что она сохранила хоть в этом отношении присущее ей изящество), голос, улыбка... Нет, это может быть только Кэтрин Ситон или же сам дьявол в ее обличье! Одно только меня радует: я положил конец тоскливым назиданиям этого болвана Вудкока, который, будучи оторван от своих соколов, вздумал стать проповедником и моим наставником».

Утешенный этим соображением и благодаря своей собственной всем молодым людям счастливой беззаботности, отгоняющей мысли о завтрашнем дне, Роланд уснул крепким сном.

Глава XX

Меня вы разлучили с тем, кто был
Моим вожатым и моей опорой;
Кто, словно соколенка-дикаря,
Учил меня смирять свои порывы...
Советчика и друга я утратил!

Старинная пьеса

На следующее утро, едва забрезжил свет, ворота гостиницы сотряслись от сильного стука. Стучавший заявил, что пришел от имени регента, и был немедленно впущен внутрь. Несколько мгновений спустя в комнату, где ночевали наши путешественники, ворвался Майкл Обгони Ветер.

— Вставайте, вставайте! — воскликнул он. — Дре-мать не приходится, когда Мерри велит дело делать.

Заспанные путешественники вскочили с кроватей и стали быстро одеваться.

— Ты, друг, — сказал Майкл Обгони Ветер Адаму Вудкоку, — должен сейчас же скакать с этим пакетом к монахам Кеннаквайрского аббатства, а потом вот с этим (говоря, он передавал Адаму пакеты) — к рыцарю Эвенелу.

— В первом, видно, приказ монахам объявить избрание аббата недействительным, — сказал Адам Вудкок, — а второй, наверно, уполномочивает моего хозяина проследить за тем, чтоб это было исполнено. Но, по-моему, не очень-то честно натравливать брата на брата.

— Не рви на себе бороду зазря, старина, — сказал Майкл, — а садись-ка лучше на коня и с богом в путь; потому что если эти приказы не будут выполнены, от церкви святой Марии останутся одни обгорелые стены, а может быть, и от замка Эвенелов тоже. Я, видишь ли, слышал, как лорд Мортон повышал голос, разговаривая с регентом, а у нас сейчас такое положение, что мы не можем ссориться с ним из-за пустяков.

— Ну, а касательно аббата Глупости, — спросил Адам, — об этом происшествии что они говорят? Ежели они сильно обозлены, то я лучше отправлю пакеты к дьяволу, а сам улизну, перемахнув границу.

— Да нет, это сочли шуткой, потому что большого вреда это не причинило. Однако слушай, Адам, — продолжал его товарищ. — Если бы у тебя была на выбор даже дюжина вакантных мест, которые ты мог бы занять в качестве аббата Глупости или Рассудительности, в шутку или всерьез, никогда не надевай на голову поповской митры. Время для этого неподходящее, приятель! А кроме того, нашей «деве» не терпится отхватить голову какому-нибудь жирному церковнику.

— Ну, это, во всяком случае, буду не я, — бросил сокольничий, оборачивая несколько раз вокруг своей могучей загорелой шеи сложенный углом платок и крепко завязывая его. — Мейстер Роланд, мейстер Роланд, — позвал он затем пажу, — поторапливайся! Мы возвращаемся восвояси, к нашим клеткам и насестам, и скорее по милости божьей, чем благодаря нашему собственному разумению, с целыми костями и невоспоротыми животами.

— Да нет же, — сказал Обгони Ветер, — паж не поедет с тобой: регент хочет распорядиться им иначе.

— Святые угодники, это еще что! — вскричал сокольничий. — Мейстер Роланд останется здесь, а я вернусь в замок Эвенелов один! Нет, так быть не может: мальчик пропадет без меня в чужих краях; очень сомневаюсь, чтобы этот соколенок стал слушаться чьего-либо свистка, кроме моего: ведь порой я и сам не могу его приманить.

У Роланда вертелось на языке замечание по поводу того случая, когда они взаимно должны были призывать друг друга к благоразумию, но неподдельное волнение Адама, вызванное предстоящей разлукой, удержало юношу от невеликодушного намерения подшутить над своим товарищем.

Однако сокольничему не удалось совсем избежать неприятных напоминаний, ибо, когда он повернулся лицом к окну, Майкл Обгони Ветер, посмотрев на него, воскликнул:

— Господи боже, Вудкок, что ты сделал со своими глазами? Они у тебя так распухли, что, кажется, сейчас вылезут наружу.

— Пустяки, — ответил Адам, бросив умоляющий взгляд на Роланда Грейма, — просто я спал на этой дрянной кровати без подушки — только и всего.

— Ну, Адам, ты стал, видать, изрядным неженкой, — сказал его старый приятель. — Я знавал тебя в другие времена, когда тебе приходилось спать ночью, положив голову на вересковый куст вместо подушки, и ты, однако, поднимался вместе с солнцем, свежий и бодрый, как сокол. А теперь твои глаза похожи на...

— Что за важность, дружище, какие у меня сейчас глаза? — возразил Адам. — Давай-ка испечем диких яблок, зальем их полугаллоном эля и прополощем себе глотки этим напитком, — увидишь тогда, что я буду выглядеть совсем по-иному.

— И ты будешь в подходящем расположении духа, чтобы спеть твою веселенькую балладу, — сказал его товарищ.

— Ну, конечно же, я ее спою, — подхватил сокольничий, — правда, не раньше, чем мы будем в пяти милях от этого мирного городка, и в том случае, если ты

тоже сядешь на лошадь и проедешь со мной это рас-
стояние.

— Нет, мне уезжать нельзя, — сказал Майкл. — Я могу выпить с тобой по стаканчику, чтобы зарядиться на день, а потом погляжу, как лихо ты будешь восседать верхом, и распрощаюсь с тобой; но раньше я отлучусь ненадолго присмотреть за тем, чтобы тебе без промедления оседлали лошадей и испекли в дороге диких яблок.

Когда он удалился, Адам подошел к пажу и взял его за руку.

— Пусть мне никогда не придется иметь дело с соколами, — сказал добряк, — если мне не так же горько расставаться с тобой, как будто ты мой родной сын, — извини меня за такую вольность. Уж и не знаю, за что я тебя люблю; скорей всего за то же самое, за что любил у нас там одного гнедого гэллоуэйского жеребчика, который был сущий черт и с легкой руки нашего господина рыцаря так и был прозван Сатаной, пока мистер Уорден не переименовал ему имя на Ситон, сказав, что это чересчур дерзко — называть животное именем князя тьмы.

— А мне так думается, — сказал паж, — что с его стороны чересчур дерзко было назвать бессмысленное четвероногое именем благородного семейства.

— Ладно, — продолжал Адам, — как бы его там ни звали, Сатаной или Ситоном, любил я этого жеребчика больше всех наших лошадей. Бывало, как сядешь на него, так уже не задремлешь: носится как угорелый, скачет, встает на дыбы, кусается, лягается и не дает тебе ни минуты покоя, а вдобавок может еще и тряхнуть так, что ты шлепнешься навзничь в вереск. И вот, сдается мне, я тебя люблю сильнее, чем всякого другого парня в замке, за те же самые стати.

— Спасибо, милый Адам. Я тебе глубоко признателен за доброе отношение ко мне.

— Нет, не прерывай меня, — сказал сокольничий. — Сатана был славный жеребчик... Да, вот что я хотел сказать: я назову в твою честь двух молодых соколов — одного Роландом, а другого Греймом, и пока

Адам Вудкок живет на свете, знай, что у тебя есть друг. Вот тебе в том моя рука, сынок.

Роланд ответил Адаму сердечным рукопожатием, а тот, переведя дыхание, продолжал свою прощальную речь:

— Теперь, когда ты остаешься в этом беспокойном мире один и мой житейский опыт уже не сможет помогать тебе, я хочу предостеречь тебя от трех вещей, Роланд. Во-первых, не хватайся за кинжал по малейшему поводу: помни, что не у каждого встречного под камзолом такая набивка, какая была у одного известного тебе аббата. Во-вторых, не увязывайся за каждой хорошенькой девушкой, как кречет за куропаткой: не всегда ты получишь в награду за это золотую цепь; кстати, вот она, твоя фанфарона, возвращаю ее тебе; крепко храни ее: она изрядно весит и может не раз сослужить тебе недурную службу. Наконец, в-третьих, говоря словами нашего почтенного проповедника, берегись бутылки: от нее помрачался разум и у людей поумнее тебя. Я мог бы привести этому примеры, да, пожалуй, нет нужды: потому как ты можешь забыть свои огрехи, но мои — навряд ли. Ну, на том прощай, сынок, желаю тебе удачи.

Роланд не преминул ответить ему такими же добрыми пожеланиями и присовокупил к ним просьбу передать от него почтительный поклон леди Эвенел, а также выразить от его имени глубокое сожаление по поводу того, что он оскорбил ее, и сообщить о его твердом намерении вести себя повсюду так, чтобы ей не пришлось стыдиться за великодушное покровительство, которое она оказывала ему.

Обняв своего юного друга, сокольниковый уселся на перебиравшую в нетерпении ногами коренастую, крутобокую свою лошадку, которую гостиничный слуга подвел к дверям уже оседланной, и, придерживав поводья, двинулся шагом в южном направлении. Размерно-медленный стук копыт производил тягостное впечатление; по аллюру лошади можно было угадать угнетенное душевное состояние всадника. Каждый удар отзывался болью в сердце Роланда, который понимал, что удаляющийся его товарищ утратил свою

обычную бодрость духа и живость, присущую его деятельной натуре; себя же он снова почувствовал одиноким в целом мире.

Его вывел из задумчивости Майкл Обгони Ветер, сказавший, что им необходимо сейчас же вернуться во дворец, так как лорд-регент должен сегодня очень рано присутствовать на заседании гражданского верховного суда. Они немедленно покинули гостиницу, и вскоре Майкл Обгони Ветер, старый верный слуга, ближе допущенный к особе регента и к его частной жизни, нежели многие другие лица, занимавшие значительно более видные посты, ввел Роланда в небольшую, устланную ковром комнату во дворце, где паж был принят тогдашним главой охваченного смутой Шотландского государства. На графе Мерри был халат темного цвета, шапочка и ночные туфли из такой же ткани; но хотя вид у него был вполне домашний, он держал в руке вложенную в ножны рапиру — предосторожность, к которой он прибегал, принимая посторонних людей, скорее вследствие настоятельных предостережений своих друзей и сторонников, нежели из-за собственных опасений. Он молча ответил кивком головы на почтительный поклон пажа и несколько раз, не произнося ни слова, прошелся взад и вперед по комнате, но при этом не спуская с Роланда пристального взгляда, словно хотел проникнуть ему в душу. Наконец он нарушил молчание.

— Тебя зовут, кажется, Джулиан Грейм?

— Не Джулиан, а Роланд Грейм, милорд, — ответил паж.

— Да, да, память подвела меня на этот раз; Роланд Грейм, со Спорной земли. Скажи, Роланд, тебе известны обязанности человека, состоящего на службе у благородной дамы?

— Как мне не знать их, милорд, — ответил Роланд, — если я с детства был приближен к ее милости леди Эвенел! Но, полагаю, мне никогда больше не придется нести их, ибо рыцарь обещал мне...

— Помолчи, молодой человек, — сказал регент. — Говорить буду я, а ты должен слушать и повиноваться. Необходимо, чтобы ты, по крайней мере на

некоторое время, поступил в услужение к благородной даме, которая по званию не имеет себе равных в Шотландии. И я даю тебе свое слово рыцаря и правителя, что эта служба будет для тебя первой ступенью такой карьеры, которая удовлетворила бы честолюбивые мечты многих молодых людей, имеющих в силу некоторых обстоятельств право притязать на более высокое положение, чем ты. Я возьму тебя в свою личную свиту и сделаю моим приближенным или же, если тебе это подойдет больше, назначу тебя начальником пехотной роты; обе должности одинаково лестны, и любую из них рад был бы обеспечить своему младшему сыну знатнейший из лэрдов страны.

— Позволено ли мне будет спросить, милорд, — произнес Роланд, увидя, что граф остановился и ждет ответа, — кто эта благородная дама, которой мне в меру моих слабых сил предстоит служить?

— Тебе это скажут позднее, — ответил регент, но затем, как бы преодолев в себе нежелание распространяться об этом, добавил: — Впрочем, почему бы мне и самому не сказать тебе, что ты поступаешь в услужение к самой прославленной и самой несчастной благородной даме, какую только знает свет, — к Марии Шотландской?

— К королеве, милорд? — воскликнул паж, не будучи в силах скрыть крайнее свое удивление.

— К той, что была королевой! — ответил Мерри тоном, в котором прозвучали одновременно и недовольство и смущение. — Тебе должно быть известно, молодой человек, что теперь царствует не она, а ее сын.

Он тяжело вздохнул, выказывая душевное волнение, отчасти, быть может, искреннее, но отчасти и напускное.

— Я должен буду прислуживать ее величеству в месте ее заточения? — снова спросил паж с такой бесхитростной, отважной прямою, что мудрый и могущественный государственный муж пришел в некоторое замешательство.

— Она не заточена, — отвечал он сердито, — избави бог; она только отстранена от государственных дел и избавлена от тягот представительства до тех

пор, пока все не будет окончательно улажено, чтобы она могла пользоваться своей законной, ничем не стесняемой свободой при условии, что на ее королевское благоусмотрение не будут оказывать влияние порочные и злонамеренные люди. Во имя этой цели, — добавил он, — необходимо, чтобы, назначая ей должную свиту, какая уместна при ее теперешнем уединенном образе жизни, я был уверен, что ее будут окружать люди, заслуживающие моего полного доверия. Из этого, как видишь, следует, что ты призван исполнять должность, которая сама по себе весьма почетна, и притом исполнять ее так, чтобы обрести себе друга в лице регента Шотландии. Мне говорили, что ты на редкость сообразительный юноша, и, судя по выражению твоего лица, ты уже понял, что я имею в виду. Вот в этой памятной записке подробно перечислены все твои обязанности; но главное, что требуется от тебя, — это верность: я подразумеваю верность мне и государству. Потому ты должен быть настороже, чтобы вовремя заметить не только действительную попытку, но и всякий признак намерения войти в сношения с мятежными западными лордами: Гамильтоном, Ситоном, Флемингом и им подобными. Правда, моя высокочтимая сестра, приняв в соображение бедствия, постигшие нашу несчастную страну по вине дурных советников, которые, состоя при ней в прошлом, обращали во зло ее королевскую власть, решила на будущее устраниться от государственных дел. Но наш долг, поскольку мы действуем на благо и от имени нашего малолетнего племянника, быть готовыми предотвратить беды, которые могут проистечь из какой-либо перемены или хотя бы только колебания ее королевской воли. Поэтому твоей обязанностью будет следить и докладывать нашей почтенной матушке, чьей гостьей в настоящее время является наша сестра, обо всем, что может свидетельствовать о ее намерении покинуть то безопасное убежище, которое мы определили ей для жительства, или войти в сношения с кем-либо за его пределами. В том же случае, если тебе доведется подметить что-нибудь серьезное, так что это будет уже не просто подозрение, непре-

менно пошли известие с особым нарочным прямо мне, а благодаря вот этому кольцу ты сможешь в любой момент получить верхового для выполнения такого поручения. А теперь — ступай. Если ты смышлен хоть вполовину по сравнению с тем, как выглядишь, то ты понял все, что я сказал и подразумевал. Служи мне верно, и — в том тебе порукой мое слово высокородного графа — награда твоя будет велика.

Роланд Грейм отвесил глубокий поклон и хотел удалиться, но граф знаком удержал его.

— Я оказал тебе весьма большое доверие, молодой человек, — сказал он, — ибо ты один из всей ее свиты будешь послан к ней по моей личной рекомендации. Своих фрейлин выбрала она сама: было бы слишком жестоко лишить ее этого права, хотя некоторые лица считали, что это противоречит здоровой политике. Ты молод и хорош собой. Принимай участие в их забавах, но присматривай, не прикрывают ли они видимостью женского легкомыслия более серьезные умыслы; если же они интригуют, веди контринтригу. В остальном же соблюдай весь необходимый этикет и должную почтительность по отношению к своей госпоже — она принцесса, хотя и весьма несчастная, и была королевой, хотя, увы, больше не является ею! Отдавай ей подобающую дань почестей и уважения, согласную с твоей преданностью королю и мне. А теперь — прощай! Нет, подожди; ты поедешь с лордом Линдсеем. Это человек старого закала, прямой, честный, хотя и лишенный всякого лоска; смотри же не оскорби его как-нибудь; он не терпит насмешек, а ты, как я слышал, большой охотник до шуток.

Регент произнес эти слова с улыбкой, а потом добавил:

— Хотелось бы мне, чтобы миссия, выполняемая лордом Линдсеем, могла быть поручена какому-нибудь более учтивому вельможе.

— А почему бы вам этого хотелось, милорд? — спросил Мортон, в этот момент вошедший в комнату. — Совет сделал наилучший выбор: у нас было слишком много доказательств упрямства этой особы, а когда дерево не удается срубить остро наточенным

стальным топором, его надо расколоть грубым железным клином. А вот это и есть ее будущий паж? Лорд-регент, без сомнения, дал тебе указания, молодой человек, как ты должен вести себя в соответствующих обстоятельствах. Я со своей стороны добавлю лишь несколько слов. Ты отправляешься в замок, владелец которого носит имя Дуглас; там предательство никогда не свивало себе гнезда, и первая минута подозрения в отношении тебя будет последней в твоей жизни. Мой родственник, Уильям Дуглас, не любит шутить, и если у него будет основание считать, что ты лукавишь, тебя без проволочки вздернут на крепостном валу. А что, долгополый тоже будет находиться при этой особе?

— Иногда, Дуглас, — ответил регент. — Было бы жестоко отказать ей в духовном утешении, которое она считает столь важным для своего спасения.

— Опять это ваше мягкосердечие, милорд! Как! Допустить к ней вероломного попа, чтобы ее жалобы передавались не только нашим недругам в Шотландии, но и Гизам, и в Рим, и в Испанию, и еще бог знает куда?

— Не опасайся этого, — сказал регент, — мы примем все меры для предотвращения предательства.

— Позаботьтесь об этом, — сказал Мортон, — ведь вы знаете мое мнение относительно девицы, которая, с вашего согласия, будет приставлена к ней в качестве камеристки: эта девица принадлежит к фамилии, с давних пор приверженной к ней, как ни одна другая, и враждебной нам. Не прояви мы осторожность, ей подыскали бы и пажа, столь же пригодного для ее целей, как и эта молодая камеристка. До меня дошел слух, что одна полубезумная старуха-паломница, слышавшая у них чуть ли не святой, была уполномочена найти подходящего кандидата.

— Ну, по крайней мере с этой стороны опасность нам больше не угрожает. Напротив, здесь мы теперь в выгодном положении, ибо отправляем к ней юношу, посланного нам Глендинингом; что же касается камеристки, то ты не должен выражать недовольство по поводу какой-то девушки, которая теперь заменит ей всех четырех благородных Марий с их пышной свитой.

— Меня не так уж беспокоит эта камеристка, — сказал Мортон. — Но я не могу примириться с долгоплым. Я полагаю, попы всех убеждений похожи один на другого. Возьмите хотя бы Джона Нокса: он выступал в роли такого доблестного ниспровергателя, а теперь ему этого мало, он желает быть и учредителем тоже — основывать повсюду школы и университеты за счет епископских доходов, монастырских земель и прочего добра римской церкви; другими словами, все, что шотландское дворянство завоевало мечом и самострелом, он хочет отдать тем, кто будет тянуть старую погудку на новый лад.

— Джон Нокс — божий человек, — сказал регент, — и рожденный его воображением замысел полон благочестия.

Регент произнес эти слова со сдержанной улыбкой, так что невозможно было понять, означают ли они одобрение плана, предложенного шотландским реформатором, или насмешку над ним. Затем, как бы спохватившись, что Роланд Грейм слишком долго присутствует при его разговоре с Мртоном, он обернулся к пажу и сказал ему, чтобы тот немедленно садился в седло, так как лорд Линдсей уже отъезжает. Роланд откланялся и покинул залу.

Выйдя в сопровождении Майкла, он увидел, что его лошадь, уже оседланная и подготовленная для дальнего пути, стоит у дворцовых ворот. Здесь толпилось десятка два ратников, предводитель которых имел весьма угрюмый вид и пребывал в сильном нетерпении.

— Так это и есть тот нахальный паж, которого мы столько прождали? — спросил он Майкла. — Пока мы тут мешкаем, лорд Рутвен, может быть, уже добрался до замка.

Майкл утвердительно кивнул головой и пояснил, что юношу задержал регент, напутствуя его некоторыми наставлениями. Предводитель ратников издал какой-то неопределенный горловой звук, который выражал угрюмое удовлетворение сказанным, и, подзвав одного из своих личных слуг, произнес:

— Эдуард, возьми этого молодчика под свое наблюдение, и пусть он ни с кем, кроме тебя, не разговаривает.

Затем он обратился к пожилому, почтенного вида дворянину, чье более высокое звание по сравнению со всеми остальными — ратниками и слугами — сразу угадывалось по его внешности, и, назвав его сэром Робертом, сказал ему, что отряд должен выступить немедленно.

Во время этих переговоров и затем, пока всадники ехали шагом по улице предместья, Роланд успел хорошо разглядеть внешний облик возглавлявшего их барона, которого звали лорд Линдсей Байрс.

Годы наложили свой отпечаток на этого вельможу, но не согнули его. По его отличной выправке и крепкому телосложению было видно, что он еще вполне пригоден для изнурительных бранных трудов. Его густые с проседью брови низко нависали над пылавшими мрачным огнем глазами, взгляд которых казался еще мрачнее оттого, что они были необычайно глубоко посажены под лобными выступами.

Его чертам, и так-то сильным и жестким, придавали дополнительную суровость несколько шрамов, оставшихся от полученных в битвах ран. На голове у него был открытый стальной шлем без забрала, но с козырьком, который, выдаваясь вперед, затенял лицо, от природы не способное, казалось, выражать что-либо иное, кроме простых и грубых чувств; черная с сединой борода, ниспадавшая на латный воротник, полностью скрывала подбородок и щеки сурового старика барона. Он был одет в куртку из буйволовой кожи, которая некогда имела шелковую подкладку и была украшена дорогим шитьем, но теперь была вся в пятнах от долгого ношения в походах и попорчена разрезами, по-видимому приобретенными в битвах. Под курткой у него был нагрудник из вороненой стали с красивой позолотой, теперь уже, однако, во многих местах тронутый ржавчиной. С перевязи, надетой на шею, свисал меч старинной выделки и огромных размеров, который можно было поднять только обеими руками, — вид оружия, в то время уже выходивший

из употребления; он был подвешен так, что протягивался наискось вдоль всей фигуры барона: огромная рукоять выдавалась над левым плечом, а нижний конец почти касался правой пятки и при ходьбе стучался о шпору. Это громоздкое оружие можно было вынуть из ножен, только вытаскивая его из-за левого плеча, потому что никакая человеческая рука не могла бы извлечь его обычным способом — так непомерно был он длинен. Все это снаряжение говорило о том, что его носитель — грубый воин, пренебрегающий своей внешностью вплоть до какого-то мизантропического аскетизма; а властный, жесткий, надменный тон, которым он разговаривал со своими людьми, был лишним свидетельством того, что его натура именно такова.

Человек, ехавший рядом с лордом Линдсеем, являл своими манерами, фигурой и лицом полную противоположность барону. Его тонкие, шелковистые волосы уже совсем поседели, хотя на вид ему было не больше сорока пяти — пятидесяти лет. Голос у него был мягкий и вкрадчивый, худошагая, поджарая фигура сутуловата, бледное лицо несло на себе выражение проницательности и ума, взгляд был живым, но не беспокойным, а вся повадка — располагающей и благожелательной. Он ехал на иноходце, таком, каким обычно пользовались для передвижения дамы, а также священники и другие люди мирных занятий; одет он был в черный бархатный костюм для верховой езды и носил шляпу с пером такой же темной окраски, прикрепленным к тулье золотой медалью; при нем была, — и то скорее для виду и в качестве признака его звания, нежели для действительной нужды, — прогулочная шпага (так называли в то время короткую легкую рапиру) — и больше никакого оружия, с помощью которого можно было бы нападать или обороняться.

Теперь отряд уже выехал из города и продолжал ровной рысью двигаться на запад.

Чем большее расстояние оставалось позади, тем сильнее овладевало Роландом Греймом желание узнать что-нибудь о цели и смысле их путешествия, но человек, рядом с которым его поместили в кавалькаде, имел такое выражение лица, что была очевид-

ной безнадежность всякой попытки завязать с ним непринужденную беседу. Сам барон выглядел не более мрачным и недоступным, чем этот его вассал, рот которого был закрыт устрашающими усами, как крепостные ворота — опускной решеткой, словно нарочно для того, чтобы из него не могло вырваться ни единое слово, если в произнесении такового не было совсем уж настоящей необходимости. Другие всадники, по-видимому, заразились молчаливостью от своего предводителя и ехали, не обмениваясь друг с другом ни словечком, отчего походили более на странствующих картезианских монахов, нежели на отряд вооруженных ратников.

Роланд Грейм был удивлен такими крайностями дисциплины, ибо хотя в доме рыцаря Эвенела довольно строго соблюдался этикет, но в походе людям позволялось чувствовать себя вольготней: они могли свободно петь, шутить и вообще как угодно веселиться и коротать время, разумеется не нарушая при этом благопристойности. Непривычная для Роланда тишина имела, однако, то преимущество, что благодаря ей у него было время здраво поразмыслить, в меру своей способности делать это, о своем нынешнем и будущем положении, которое всякому благоразумному человеку должно было бы показаться в высшей степени опасным и затруднительным.

Ему было ясно, что он, в силу разных обстоятельств, над которыми никак не был властен, вступил в противоречивые связи с обеими соперничающими партиями, борьба которых между собой расколола страну, и при этом, в сущности, не примыкал ни к одной из них. Казалось также несомненным, что его экзальтированная родственница Мэгделин Грейм прочила его на то же самое место в личном штате низложенной королевы, на которое он сейчас был назначен по представлению самого регента; несколько слов, оброненных Мортонем, пролили свет на многое; но при этом столь же несомненно было и то, что оба эти лица — регент, возглавлявший новое королевское правительство, и Мэгделин, считавшая, что это правительство преступно узурпировало власть, один — ярый

враг католической религии, а другая — ревностная ее сторонница, — рассчитывали на совершенно различные услуги со стороны кандидата, в выборе которого они сошлись.

Весьма нетрудно было сообразить, что, поскольку обе стороны требуют от него услуг совершенно противоположного характера, он может вскоре оказаться в таком положении, когда и его чести и жизни станет угрожать серьезная опасность. Но не в натуре Роланда Грейма было заранее думать о беде, пока она не пришла, и готовиться к преодолению трудностей, пока они еще не встали перед ним.

«Я увижу эту прекрасную страдалицу, — сказал он себе, — Марию Сгюарт, о которой так много говорят, а там у меня будет достаточно времени, чтобы решить — быть ли мне за короля или за королеву.

Ни одна, ни другая сторона не могут сказать, что я дал слово или обещание быть верным именно ей, потому что обе они бесцеремонно распорядились мной, не спросив моего желания и даже не объяснив предварительно, для каких дел меня предназначают. Но как удачно, что сегодня утром в кабинет регента вдруг пожаловал Мортон! Иначе мне волей-неволей пришлось бы дать честное слово, что я буду делать все то, чего хочет от меня Мерри, хотя это, по сути, низкое коварство по отношению к заточенной несчастной королеве — подобрать ей такого пажу, который бы шпионил за ней».

Быстро разделившись таким образом со столь важными проблемами, непостоянный юноша стал блуждать мыслями среди других, более приятных предметов. Он то восхищался готическими Барнбагльскими башнями, воздвигнутыми некогда на подтачиваемой морем скале и господствующими над одним из красивейших пейзажей Шотландии; то начинал воображать, какая знатная охота с гончими и соколами могла бы получиться в этой живописной местности, по которой они проезжали; то принимался сравнивать скучную, однообразную рысцу, которою ехал отряд, с веселой скачкой по склонам и долинам, обычно связанной с любимым его занятием. Под влиянием этих

радостных воспоминаний он прищипорил свою лошадь и заставил ее сделать курбет, чем тотчас вызвал замечание своего сурового соседа в кавалькаде, который посоветовал ему держать шаг и ехать спокойно в общем строю, если он не хочет подобными взбалмошными выходками обратить на себя внимание, ибо это может навлечь на него большие неприятности.

Полученный юношей выговор и предписанная ему жесткая дисциплина заставили его с сожалением вспомнить о своем недавнем спутнике и провожатом, добродушном и снисходительном Адаме Вудкоке. Тут воображение мигом перенесло его в замок Эвенелов, и он мысленно вновь увидел тихую, мирную жизнь его обитателей, не стесняемую никакими особыми ограничениями; подумал о доброте той, кто была его покровительницей со времени его детства, и не преминул воспроизвести перед своим внутренним взором многочисленное население замковых конюшен, конур и соколиных клеток. Вскоре, однако, все эти картины были вытеснены в его сознании двойственным образом загадочнейшей из представительниц своего пола — Кэтрин Ситон, которая представлялась ему то в женском, то в мужском обличье, а то сразу в обоих, как некое странное видение, подобное тем, что порой являются нам во сне, когда одно и то же лицо выступает перед нами в двух образах. Он вспомнил также ее таинственный подарок — шпагу, которая висела теперь у него на боку и которую ему нельзя было обнажить иначе, как по приказу законного монарха! Но почему-то ему казалось, что ключ к этой тайне он найдет в конце своего путешествия.

Размышляя таким образом, Роланд вместе с отрядом доехал до переправы у Куинз-Ферри, где люди перебрались на другой берег в заранее их поджидавших лодках. Во время переезда ничего особенного не произошло, кроме того, что одна лошадь, вступая на паром, повредила себе ногу, — случай, который до недавнего времени был обычным в таких обстоятельствах, пока несколько лет тому назад перевоз не был окончательно налажен. Более характерным для той,

отдаленной от нас эпохи был выстрел из кулеврины по отряду, раздавшийся со стен расположенного севернее Ферри Розайтского замка, владелец которого сердился на лорда Линдсея по каким-то причинам общественного или личного свойства и решил таким способом выразить свою неприязнь. Поскольку, однако, этот оскорбительный выпад не причинил вреда, он остался незамеченным и безнаказанным, после чего уже не происходило никаких заслуживающих внимания событий вплоть до того момента, когда отряд увидел перед собой широко раскинувшуюся гладь Лохливенского озера, сверкавшую в ярких лучах летнего солнца.

Старинный замок, построенный на острове почти на самой середине озера, напомнил пажу замок Эвенелов, где он вырос. Но озеро здесь было значительно больше, и по нему вокруг главного острова, на котором стояла крепость, были красиво разбросаны еще несколько островков. Вместо холмов, среди которых было заключено Эвенелское озеро, здесь с южной стороны возвышался величественный горный склон, а с северной расстилалась обширная и плодородная Кинросская долина. Роланд Грейм с некоторым страхом смотрел на опоясанную водой крепость, в те времена, как и ныне, представлявшую собой один большой донжон, который вместе с несколькими службами был расположен внутри просторного двора, окруженного стенами, в которые были встроены две угловые башни. Купы старых деревьев, росших вблизи замка, немного скрашивали безрадостное впечатление от угрюмого, отделенного от всего мира сооружения. Глядя на этот столь уединенный замок, Роланд не мог не вздохнуть о судьбе пленной принцессы, а также и о своей собственной. «Видно, уж под такой звездой я родился, — подумал он, — что мне предназначено всегда состоять на службе у дам и жить посреди какого-нибудь озера. Но если они там не предоставят мне достаточной свободы, чтобы я мог охотиться и развлекаться, как мне вздумается, то увидят, что юношу, умеющего хорошо плавать, удержать не легче, чем поймать дикого селезня».

Тем временем отряд подъехал к берегу озера, и один из ратников, подняв штандарт лорда Линдсея, несколько раз взмахнул им, а сам барон громко затрубил в свой рог. В ответ на эти сигналы на крыше замка взвился флаг, а под стеной показались люди, которые, подойдя к воде, стали отвязывать причаленную к острову лодку.

— Пройдет довольно много времени, пока лодка доберется до нас, — сказал лорду Линдсею сопровождавший его дворянин. — Не отправиться ли нам пока в селение, чтобы немного привести себя в порядок, прежде чем предстать перед...

— Ты можешь поступать как тебе угодно, сэр Роберт, — прервал Линдсей, — а у меня нет ни времени, ни желания заниматься такими пустяками. Мне из-за нее пришлось немало дней и ночей провести в седле; пускай же теперь сколько хочет оскорбляется видом моего поношенного плаща и испачканной куртки; в такую одежду по ее милости облачилась теперь вся Шотландия.

— Не говорите так резко, — сказал сэр Роберт. — Если она и совершила дурные деяния, то уже заплатила за свои провинности дорогой ценой. А поскольку она лишилась всякой действительной власти, то ей не следует отказывать хотя бы в чисто внешних знаках уважения, на которые она вправе претендовать, как благородная дама и принцесса.

— Говорю тебе еще раз, сэр Роберт Мелвил, — промолвил Линдсей, — поступай как знаешь, а я уже слишком стар, чтобы наряжаться щеголем и украшать собой дамский будуар.

— 'Дамский будуар, милорд! — воскликнул Мелвил, глядя на грубую старинную башню. — Как можете вы называть таким нежным именем этот мрачный замок с решетками на окнах, который служит тюрьмой для пленной королевы?

— Называй его как хочешь, — ответил Линдсей. — Если бы регент хотел отправить посланца для беседы с ней как с пленной королевой, то при его дворе нашлось бы немало щеголей, которые постарались бы по такому случаю снискать себе ее располо-

жение речами, заимствованными из «Амадиса Галльского» или «Зерцала рыцарей». Но регент послал старого, неотесанного Линдсея, зная, что тот будет разговаривать с нею как с заблудшей женщиной, ибо ее прежние преступления и теперешнее ее положение не позволяют обращаться с ней иначе. Я не добивался этого поручения — оно возложено на меня помимо моей воли, — и, выполняя его, я не стану заботиться об этикете больше, чем требуется для такой цели.

Сказав это, лорд Линдсей соскочил с седла и, завернувшись в свой походный плащ, растянулся во весь рост на траве в ожидании прибытия лодки, которая теперь шла на веслах от замка к берегу озера. Сэр Роберт Мелвил также спешил и стал со сложенными на груди руками ходить по берегу, делая несколько шагов в одну сторону и снова поворачивая обратно; при этом он часто поглядывал на замок, и лицо его выражало одновременно печаль и тревогу. Все остальные в отряде продолжали сидеть на лошадях неподвижно, как статуи, и только острия их копий, которые они держали поднятыми вверх, слегка колыхались в воздухе.

Как только лодка приблизилась к приспособленному в качестве пристани грубому настилу, возле которого остановился отряд, лорд Линдсей сразу вскочил на ноги и спросил человека, сидевшего за рулем, почему тот не доставил более вместительную лодку, чтобы перевезти также всю его свиту.

— С вашего позволения, — ответил лодочник, — это сделано по приказу нашей госпожи, которая велела нам переправить в замок не более четырех человек.

— Значит, твоя госпожа подозревает меня в предательстве? Умно, нечего сказать! — воскликнул Линдсей. — Допустим, я в самом деле имел бы такие намерения; что помешало бы нам сбросить тебя с твоими товарищами в озеро и посадить в лодку моих молодцов?

Услыхав такие слова, рулевой быстро подал знак своим людям поднять весла и держаться на расстоянии от берега, к которому они приближались.

— Ах ты осел этакий! — вскричал Линдсей. — Что же ты думаешь, твоей дурацкой башке действительно что-то угрожает? Послушай-ка, приятель, меньше чем с тремя слугами я не поеду. Сэру Роберту Мелвилу тоже требуется по крайней мере один сопровождающий; и знайте, что вам и вашей госпоже придется худо, если вы откажетесь перевезти нас, прибывших сюда по делам большой государственной важности.

Рулевой ответил твердо, хотя и в весьма учтивых выражениях, что ему дан совершенно определенный приказ не доставлять на остров более четырех человек, но тут же выразил готовность вернуться, чтобы испросить иное распоряжение.

— Так мы и сделаем, друг мой, — сказал сэру Роберту Мелвил, безуспешно попробовав сначала убедить своего упрямого спутника согласиться на временное сокращение его свиты. — Гребите обратно к замку, раз уже ничего другого нам не остается, и получите у вашей госпожи разрешение переправить лорда Линдсея, меня самого и нашу свиту.

— Эй, послушайте! — крикнул лорд Линдсей. — Возьмите с собой этого пажу, который будет прислуживать госте вашей госпожи. Слезай-ка с седла, молодчик, — сказал он, обращаясь к Роланду, — и садись к ним в лодку.

— А что будет с моей лошадью? — спросил Грейм. — Я отвечаю за нее перед своим господином.

— Я снимаю с тебя заботу о ней, — ответил Линдсей. — В ближайшие десять лет тебе вряд ли придется иметь дело с лошадьми, седлами, уздечками и прочим, что относится к верховой езде. Впрочем, захвати с собой поводья: они могут пригодиться в случае, если тебе станет уж очень тошно жить на свете.

— Если бы я предполагал это... — начал Роланд, но его прервал сэру Роберт Мелвил, сказавший ему добродушно:

— Не пускайся в спор, мой юный друг. Строптивость не принесет тебе добра и может быть чревата для тебя серьезными опасностями.

Роланд Грейм почувствовал справедливость этих слов, и, хотя обращение Линдсея весьма не понравив-

лось ему как по существу, так и по способу выражения, он почел за благо покориться необходимости и сесть в лодку, больше не прекословя. Люди налегли на весла. Пристань и стоявший возле нее конный отряд начали перед взором Роланда отступать назад, а остров и замок на нем — соответственно приближаться, увеличиваясь в размерах; и вскоре лодка подошла к берегу, под тень огромного старого вяза, раскинувшего свою листву, как раз над причалом. Рулевой и Грейм спрыгнули на землю. Гребцы остались сидеть на веслах, чтобы быть наготове к новой переправе.

Глава XXI

О, если б доблесть жизнь могла сберечь,
Над Генрихом народ не лил бы слезы.
Коль ум и блеск могли б сердца увлечь,
Не слышался бы плач Шотландской
Розы.

Льюис, «Надпись на королевском склепе»

У ворот замка показалась величественная фигура леди Лохливен — женщины, которая в юности пленила короля Иакова V и родила от него сына, ныне прославленного регента Мерри. Так как она была наследницей знатного рода (в ее жилах текла кровь графов Мар) и к тому же необыкновенной красавицей, ее близость с Иаковом не помешала искать ее руки многим блестящим кавалерам той эпохи; среди них она выбрала сэра Уильяма Дугласа из Лохливена. Но поэт сказал некогда, что волею богов

...Приятные пороки
Бичами стали и терзают нас.

И хотя ныне леди Лохливен была законной женой высокопоставленного вельможи и уважаемой матерью семейства, ее все же не покидало мучительное сознание незаслуженной обиды и унижения. Гордясь талантами, высоким саном и могуществом своего сына, ныне верховного правителя страны, она тем не менее

не переставала видеть в нем плод своей незаконной связи. «Поступи Иаков со мной по справедливости, — думала она втайне, — мой сын был бы для меня источником ничем не омраченного счастья и безмятежной гордости. Он стал бы законным королем Шотландии, и притом одареннейшим среди всех, кто когда-либо держал в руках скипетр. Род Маров, не уступающий в древности и величии Драммондам, мог бы похвалиться еще и королевой в числе своих дочерей, и на нем не осталось бы пятна, вызванного женской слабостью, непростительной, даже если ее виновником был сам король». Когда такие мысли мучили душу леди Лохливен, от природы гордую и суровую, на ее некогда прекрасном лице проступало выражение угрюмого недовольства и мрачной меланхолии. Подобное расположение духа стало обычным для нее и, вероятно, еще усугублялось ее неумолимо строгими религиозными убеждениями. Исповедуя новую, реформатскую веру, она подражала худшим заблуждениям католиков, которые распространяли область божественной благодати только на тех, кто разделял их собственные религиозные догматы.

Несчастливая королева Мария, ныне невольная гостя — или скорей узница — этой мрачной женщины, была во всех отношениях неприятна хозяйке замка. Последняя ненавидела королеву прежде всего как дочь Марии де Гиз, законной обладательницы руки и сердца Иакова, которых сама она была лишена, по ее мнению, совершенно несправедливо; и эта ненависть еще возрастала оттого, что Мария Стюарт была католичка, последовательница той религии, которую леди Лохливен презирала больше, чем язычество.

Такова была эта величавая женщина с суровым, но все еще прекрасным лицом, которая, кутаясь в черную бархатную накидку, расспрашивала слугу-рулевого, причалившего в лодке к берегу, о том, что произошло с Линдсеем и сэром Робертом Мелвиллом. Выслушав его ответ, она презрительно улыбнулась.

— С дураками не спорят, их берут лестью, — сказала она. — Вернись-ка поскорей к лордам и принеси им самые учтивые извинения. Скажи, что Рутвен уже

прибыл в замок и с нетерпением ждет лорда Линдсея. Да поторапливайся, Рэндл! Постой, а что это за мальчишку ты привез сюда?

— С вашего позволения, миледи, это паж, чтобы прислуживать...

— А, новый мальчуган, дамский угодник, — преврала его леди Лохливен. — Девчонка фрейлина прибыла еще вчера. У нас будет, пожалуй, весьма представительный дом с этой дамой и ее свитой. Надеюсь, вскоре подыщут кого-нибудь, кто бы снял с нас эту обузу. Отправляйся поскорей, Рэндл! А вы, — обратилась она к Роланду Грейму, — следуйте за мной в сад.

Она прошла медленным и величавым шагом в небольшой садик с фонтаном в центре. Сад был окружен каменным забором, украшенным статуями. Его утомительно однообразные клумбы тянулись до самого замкового двора, с которым он был соединен низенькой аркой. Гуляя внутри этого скупотомленного круга, Мария Стюарт привыкала к тяжелой доле узницы, которую, если не считать небольшого перерыва, ей предстояло теперь влачить до конца дней. Две фрейлины сопровождали ее во время этой медленной и печальной прогулки; но стоило Роланду Грейму взглянуть на эту женщину столь высокого происхождения, столь ослепительной красоты, столь обширных познаний и столь жестокой судьбы, как он перестал замечать кого бы то ни было, кроме несчастной королевы Шотландии.

Ее лицо, ее фигура так глубоко запечатлелись у нас в памяти, что даже сейчас, спустя почти три столетия, нет необходимости напоминать самому неискушенному и неосведомленному читателю, до чего поразителен был ее облик, столь полно соединивший в себе все наши представления о величии, обаянии и блеске, что сразу и не оценишь, что в ней, собственно, преобладало — королева, красавица или образованнейшая женщина своего времени. Найдется ли человек, который при одном имени Марии Стюарт не представит себе сразу же ее лицо, ставшее каждому родным и близким, как черты возлюбленной его юности или любимой дочери — отрады его зрелых лет.

Даже тот, кто невольно поверил всему или многому из того, что ей ставили в вину ее враги, не в силах удерживать сочувственный вздох при мысли об этом лице, никак не выражавшем тех отвратительных пороков и преступлений, в которых обвиняли ее при жизни и которые еще и поныне омрачают и чернят ее память.

Этот ясный царственный лоб, эти правильные дуги бровей — они были бы чрезмерно правильными, если бы их не оживляли чарующие глаза газели, словно жаждущие рассказать вам тысячи увлекательных историй; идеальный греческий нос; небольшой, нежно очерченный рот, казалось способный говорить лишь о чем-то восхитительно прекрасном, ямочка на подбородке, стройная, лебединая шея — все это создавало облик, подобного которому, насколько нам известно, не было ни у кого из героев той высокой житейской сферы, где действующие лица привлекают к себе общее жадное внимание. Напрасно говорят, что существующие портреты этой удивительной женщины не похожи один на другой. При всем их несходстве, все они содержат какие-то общие черты, связанные с тем образом, который возник в нашем воображении, когда мы впервые познакомились с ее историей, и закрепился в нашей памяти благодаря виденным впоследствии бесчисленным портретам и гравюрам.

В самом деле, при взгляде даже на худший из портретов, как бы ни был он плохо выполнен, мы не можем отрицать, что на нем изображена именно королева Мария; и лучший пример могучего воздействия красоты заключается в том, что ее чарующий облик после стольких лет все еще вызывает не только восхищение, но и живое, бескорыстное участие. Мы знаем, что даже самые суровые люди, позднее составившие себе неблагоприятное представление о характере Марии, испытывали к ней какое-то особое чувство, как тот палач, который перед выполнением своей страшной миссии хотел поцеловать прекрасную руку своей будущей жертвы.

Мария Стюарт, в глубоком трауре, но с тем очарованием во взгляде, осанке и всем облике, которое устойчивая традиция сделала уже привычным для

читателей, шла навстречу леди Лохливен, а последняя, в свою очередь, постаралась скрыть свою неприязнь и опасения под личиной почтительного равнодушия. Причина этого крылась в том, что леди уже не раз на собственном опыте могла убедиться, насколько превосходит ее королева в искусстве скрытых, но больно жалящих насмешек, которыми женщины так успешно вознаграждают себя за подлинно глубокие обиды. Невольно думаешь — не сыграл ли этот дар такую же роковую роль в судьбе его обладательницы, как и прочие достоинства этой щедро одаренной, но в высшей степени несчастливой женщины; ибо если он часто давал ей возможность торжествовать над своими тюремщиками, то их раздражение от этого еще усиливалось, и за злые сарказмы, которые она позволяла себе, ей приходилось расплачиваться горькими и тяжелыми лишениями, какими они умели ей мстить. Как известно, ее смерть была в значительной мере ускорена письмом к королеве Елизавете, в котором она иронически высказывалась о своей самолюбивой сопернице и графине Шрусбери, изобразив их обеих в самом смешном виде.

Когда дамы приблизились друг к другу, королева сказала, кивнув головой в ответ на реверанс леди Лохливен:

— У нас сегодня счастливый день. Мы можем наслаждаться обществом нашей любезной хозяйки в необычное время — в тот час, который нам раньше разрешалось посвятить нашей уединенной прогулке. Но наша добрая хозяйка отлично знает, что она в любое время имеет к нам доступ, и ей незачем соблюдать бесполезные церемонии, спрашивая на это нашего соизволения.

— Весьма сожалею, если мое присутствие рассматривается вашим величеством как нежелательное вторжение, — ответила леди Лохливен. — Я пришла только сообщить об увеличении вашей свиты, — добавила она, указав на Роланда Грейма. — К таким вещам дамы редко бывают равнодушны.

— О, я умоляю вашу милость извинить меня, я склоняюсь до земли перед добротой моих пэров, или,

быть может, правильное сказать — моих повелителей, которые произвели столь значительное расширение в моем личном штате.

— Они действительно старались, сударыня, выказать свое доброе отношение к вашему величеству, — заметила леди Лохливен, — быть может, даже погрешив против осторожности, и я надеюсь, что этот их поступок не будет истолкован превратно.

— Великий боже! — воскликнула королева. — Какая щедрость по отношению к наследнице многих королей, которая к тому же все еще является правящей королевой, предоставить ей для услуг двух фрейлин и пажа! Вот милость, которую Мария Стюарт никогда не сумеет оценить по достоинству. Подумать только! Моя свита почти сравнялась со штатом какой-нибудь сельской львицы в вашем Файфшире, мне не хватает только дворецкого и нескольких лакеев в голубых livreeх. Впрочем, в своей эгоистической радости я не должна забывать о тех дополнительных заботах и тяготах, которые возложит это блистательное пополнение свиты на нашу добрейшую хозяйку и на весь замок Лохливен. Я вижу, что тревога об этом уже заранее омрачает ваше чело, моя достойная леди. Но утешьтесь: у шотландской казны много превосходных имений, и еще до того, как Марию выпустят из этого гостеприимного замка, ваш любящий сын, а мой столь же любящий брат наградит лучшим из них вашего рыцарственного супруга, чтобы возместить ему расходы, столь обременительные при ограниченных средствах вашей милости.

— Дугласы из Лохливена, ваше величество, — ответила леди, — на протяжении многих веков умели выполнять свой долг по отношению к государству, не думая о награде, даже если их миссия была тяжелой и опасной.

— Ну что вы, дорогая леди Лохливен, — сказала королева. — Вы слишком щепетильны. Умоляю вас не отказываться от хорошего имения. На что же и содержать королеву Шотландии и этот роскошный двор, если не воспользоваться ее собственными коронными землями, и кто лучше поймет желания матери, чем

любящий сын, каковым и является граф Мерри, так удачно сочетающий возможность и готовность удовлетворить эти ее желания Или, быть может, как вы изволили заметить, опасность возложенной на вас миссии омрачает ваше радушное и любезное чело? Несомненно, паж — внушительное подкрепление моей женской лейб-гвардии. И я думаю, уж не по этой ли причине лорд Линдсей не рискует теперь без надежного эскорта проникнуть в сферу действия столь грозной силы.

Леди Лохливен вздрогнула; она выглядела явно озадаченной, тогда как Мария Стюарт, внезапно переходя от вкрадчиво-снисходительной иронии к тону резкому и повелительному, сказала, по-королевски величественно выправив свой стройный стан:

— Да, леди Лохливен, я знаю, что Рутвен уже находится в замке и что Линдсей ждет на берегу возвращения вашей лодки, чтобы прибыть сюда в сопровождении сэра Роберта Мелвила. С какими намерениями прибыли эти пэры, и почему меня, хотя бы просто для приличия, не поставили в известность об их прибытии?

— Свои намерения, миледи, — отвечала леди Лохливен, — они, вероятно, объяснят вам сами, а что касается формального извещения, то какая в нем надобность, если слуги вашего величества умеют сами все так хорошо разведать?

— Увы, моя бедная Флеминг! — воскликнула королева, обернувшись к старшей из сопровождавших ее дам. — Тебя теперь подвергнут допросу, суду и казни через повешение за шпионаж в распоряжении неприятельских войск, и все это только потому, что ты имела неосторожность пройти через большой зал, когда добрейшая леди Лохливен громко разговаривала со своим рулевым Рэндлом. Заткни-ка шерстью свои уши, милая, если хочешь сохранить их в дальнейшем. Помни, что в замке Лохливен уши и языки служат лишь для украшения, а не для того, чтобы ими пользоваться. Наша великодушная хозяйка одна может слушать и говорить за всех. Мы освобождаем вас от нашего дальнейшего присутствия, миледи, — сказала

она, снова обращаясь к той, которая вызвала эту негодующую речь, — и удаляемся, чтобы приготовиться к встрече с нашими мятежными лордами. Мы воспользуемся приемной в качестве зала для аудиенции. Вы, молодой человек, — продолжала она, обернувшись к Роланду Грейму и сразу же переходя от колкой иронии к мягкой, добродушной шутке, — вы, составляющий весь наш мужской штат, от лорда-камергера до последнего рассыльного, следуйте за нами и приготовьте все к приему.

Она повернулась и медленно направилась к замку. Леди Лохливен скрестила руки на груди и с желчной усмешкой смотрела на удаляющуюся королеву.

— Весь мужской штат! — пробормотала она, повторяя слова Марии Стюарт. — Для тебя было бы лучше никогда не иметь более обширной свиты. — Затем, обернувшись к Роланду, которому она загоразживала дорогу, леди пропустила его вперед, добавив: — Ты что, всегда подслушиваешь? Ступай к своей госпоже, любезник, и, если хочешь, передай ей то, что я сейчас сказала.

Роланд Грейм поспешил вслед за своей царственной госпожой и ее спутницами, которые как раз в это время вошли в боковой проход, соединяющий садик с замком. Они поднялись по винтовой лестнице во второй этаж, который состоял из трех комнат, расположенных анфиладой, и был отведен под покои пленной королевы. В самом начале находилась небольшая зала, или приемная, которая вела в большую гостиную, а эта последняя, в свою очередь, сообщалась с опочивальней королевы. Кроме того, к гостиной примыкало еще одно небольшое помещение, служившее спальней для фрейлин.

Согласно своему рангу, Роланд Грейм остановился в первой из этих комнат, чтобы быть под рукой ввиду распоряжений, которые могли последовать. Через решетчатое окно залы он видел выходящих из лодки Линдсея, Мелвила и их спутников. Он заметил также, что у ворот замка их встретил третий вельможа, которому Линдсей крикнул громким и резким голосом:

— Вы опередили нас, милорд Рутвен!

В это мгновение внимание пажа привлек взрыв истерических рыданий, донесшихся из внутренних покоев, и взволнованные восклицания чем-то испуганных женщин, заставившие его броситься им на помощь. Войдя в гостиную, он увидел королеву, упавшую в большое кресло около дверей и плачущую навзрыд в сильнейшем истерическом припадке. Старшая из женщин обеими руками поддерживала ее, в то время как младшая смачивала ее лицо водой и оршала своими слезами.

— Скорей, молодой человек! — крикнула старшая фрейлина в смятении. — Бегите... зовите на помощь... у нее обморок!

Но королева слабым, надломленным голосом воскликнула:

— Остановитесь! Я запрещаю вам!.. Никто не должен видеть... Мне уже лучше... Я сейчас приду в себя.

И действительно, усилием воли, какое появляется лишь во время смертельной схватки, она выпрямилась в кресле, пытаясь взять себя в руки, и только ее лицо все еще пылало от пережитого тяжелого волнения.

— Я стыжусь своей слабости, милые девушки, — промолвила она, беря за руки своих фрейлин. — Но это уже прошло, и теперь я снова Мария Стюарт. Грубый голос этого человека... Мне хорошо известна его беспримерная наглость... Имя, которое он назвал... цель, ради которой они приехали — все это может послужить извинением минутной слабости... Но она так и останется лишь минутной слабостью.

Она сорвала с головы свой убор — нечто вроде косынки или чепца, — сбившийся во время ее истерического припадка, распустила прежде скрытые под ним густые, каштановые косы и, погрузив свои тонкие пальцы в лабиринт перепутавшихся волос, поднялась с кресла, подобная ожившей статуе греческой пророчицы, в то время как на лице ее можно было разглядеть одновременно раскаяние и гордость, улыбку и слезы.

— Мы плохо подготовлены, — сказала она, — к встрече с нашими мятежными подданными. Но, на-

схотько это возможно, мы постараемся предстать перед ними как подобает их королеве. Пойдемте, милые! Как это поется в твоей любимой песенке, Флеминг?

Пойдемте сень плести, девицы,
Каштановых волос.
И где одна коса змеится,
Пусть вьется десять кос.

Увы, — добавила она, повторив с улыбкой эти строки из старинной баллады, — насилие уже лишило меня подобающего моему сану убранства, а то немного, что мне подарила природа, разрушено скорбью и страхом. — Но, произнося эти слова, она продолжала перебирать тонкими пальцами свои густые, прекрасные волосы, покрывавшие ее царственную шею и вздымающуюся грудь. Казалось, что, несмотря на все пережитые муки, она не утратила сознания своей неотразимой женской прелести.

На Роланда Грейма, с его юношеской неопытностью и горячим преклонением перед благородством и красотой, каждое движение прекрасной королевы действовало как чары волшебницы. Он стоял как вкопанный, пораженный и зачарованный всем виденным, мечтая пожертвовать своей жизнью во имя той справедливой борьбы, какую, надо полагать, только и могла вести Мария Стюарт. Она выросла во Франции. Она обладала совершенно необыкновенной красотой. Она была царствующей королевой, и притом шотландской королевой, для которой умение разбираться в людях было необходимо как воздух. Все это помогало Марии Стюарт искуснее любой другой женщины в мире использовать свое природное очарование, которое неотразимо действовало на всех окружающих. Она бросила на Роланда взор, который растопил бы даже каменное сердце.

— Мой бедный мальчик, — произнесла она с чувством, наполовину искренним, наполовину подсказанным расчетом. — Мы не знаем тебя, ты прибыл в эту скорбную темницу, расставшись с нежной матерью, или сестрой, или с юной девушкой, с которой ты мог свободно кружиться в веселом майском хороводе. Мне

жаль тебя. Но ты единственный мужчина в моей скромной свите.. Будешь ты мне повиноваться?

— До самой смерти, государыня, — твердо произнес Роланд Грейм.

— Тогда охраняй дверь в мои покои, охраняй до тех пор, пока они не ворвутся насильно или пока мы не будем достойным образом одеты для приема непрошенных гостей.

— Только через мой труп пройдут они в эти двери, — сказал Роланд Грейм; все его прежние колебания полностью исчезли под влиянием мгновенного порыва.

— О нет, мой славный мальчик, — ответила Мария Стюарт, — не это мне нужно. Если около меня находится всего один верный подданный, то лишь богу известно, как я должна заботиться о его безопасности. Не впускай их, но только до тех пор, пока они не опозорят себя, применив насилие, а тогда я разрешаю тебе впустить их. Помни, таков мой приказ!

С улыбкой, одновременно благосклонной и величественной, она повернулась и, в сопровождении своих фрейлин, удалилась в опочивальню. Младшая из фрейлин несколько замешкалась и, прежде чем последовать за своей подругой, подала знак рукой Роланду Грейму. Он уже давно заметил, что это была Кэтрин Ситон, что не очень удивило сообразительного юношу, который сразу же припомнил таинственные разговоры двух женщин в пустынной обители, на которые пролила свет его встреча с Кэтрин в этом замке. Но таково было неотразимое впечатление, произведенное на него Марией Стюарт, что оно заслонило на мгновение даже чувство юношеской любви. И лишь после того, как Кэтрин Ситон скрылась, Роланд задумался о том, как сложатся в будущем их взаимоотношения.

«Она сделала рукой повелительный жест, — подумал он. — Вероятно, она хотела поддержать мое решение выполнять все приказания королевы, ибо вряд ли она собиралась припугнуть меня, грозя расправиться со мной, как с грумом в байковой куртке или с бедным Адамом Вудкоком. Впрочем, мы вскоре это

выясним. А пока надо оправдать доверие нашей несчастной королевы. По-моему, граф Мерри сам признал бы, что долг преданного пажа велит мне защищать госпожу от тех, кто вторгается в ее покои».

Приняв такое решение, он вышел в маленькую приемную, закрыл на ключ и на засов дверь, которая выходила на широкую лестницу, и затем уселся подле нее в ожидании дальнейшего. Ждать ему пришлось недолго. Грубая и сильная рука сначала попробовала поднять щеколду, затем толкнула и яростно потрясла дверь, а когда дверь устояла против этого натиска, раздался возглас:

— Эй, кто там? Отоприте!

— Зачем и по чьему распоряжению, — спросил паж, — должен я отворить дверь в покои королевы Шотландии?

Еще одна неудачная попытка, заставившая зазвенеть дверные петли и болты, показала, что нетерпеливый проситель, если его не впустят добром, ворвется силой, невзирая на препятствия. Однако через некоторое время снова послышался его голос:

— Отопри дверь, если жизнь тебе дорога! Граф Линдсей пришел говорить с леди Марией Шотландской.

— Граф Линдсей — шотландский пэр и должен подождать, пока у его повелительницы найдется время принять его, — ответил паж.

Между стоявшими за дверью возникла ожесточенная перебранка. Роланд мог различить пронзительно-резкий голос Линдсея, отвечавшего сэру Роберту Мелвилу, который, по-видимому, пытался его успокоить.

— Нет! Нет! Нет! Говорю тебе — нет! Я скорее подложу петарду под дверь, чем позволю распутной бабе остановить меня или наглому мальчишке-лакею — смеяться надо мной.

— Но разрешите мне по крайней мере испробовать сначала учтивые средства, — сказал Мелвил. — Насилие над женщиной навсегда запятнает ваш герб. Подождите хотя бы, пока придет лорд Рутвен.

— Я не желаю больше ждать, — возразил Линдсей. — Пора нам покончить с этим делом и вернуться

в Совет. Впрочем, ты можешь попробовать свои учтивые средства, как ты их называешь, а я тем временем прикажу моим людям приготовить петарду. Я захватил с собой порох, не уступающий тому, каким был взорван Керк-оф-Филд.

— Ради бога, потерпите немного! — уговаривал его Мелвил, и, приблизившись к двери, он произнес, обращаясь к тем, кто находился внутри: — Дайте знать королеве, что ее верный слуга Роберт Мелвил умоляет ее величество, ради ее собственного блага, а также для предотвращения гибельных последствий, отворить дверь и принять лорда Линдсея, прибывшего по поручению Государственного совета.

— Я передам ваши слова королеве, — сказал паж, — и сообщу вам ее ответ.

Он подошел к двери в опочивальню и тихонько постучал. Ему отворила старшая фрейлина, которой он изложил положение дел. Она тут же вернулась с распоряжением королевы принять сэра Роберта Мелвила и лорда Линдсея. Роланд Грейм возвратился в приемную и, как ему было приказано, отворил дверь, через которую ввалился лорд Линдсей с видом солдата, взявшего приступом вражескую крепость, в то время как Мелвил, глубоко подавленный, медленно следовал за ним.

— Я призываю вас в свидетели и прошу вас подтвердить, — сказал паж, пропуская их, — что, не будь на то особого повеления королевы, я бы защищал вход, не жалея своих сил и крови, хотя бы мне пришлось сражаться против всей Шотландии.

— Молчите, молодой человек, — сказал Мелвил тоном сурового упрека, — не подливайте масла в огонь; сейчас не время хвастать мальчишеской доблестью.

— Она до сих пор не явилась! — негодовал Линдсей, не дойдя еще до середины гостиной или аудиенц-залы. — Как вам нравится это новое издевательство?

— Потерпите, милорд, — ответил сэр Роберт, — времени у нас достаточно, к тому же и лорд Рутвен еще не пришел.

В эту минуту двери, ведущие во внутренние покои, распахнулись и навстречу гостям вышла коро-

дева Мария. Она держалась грациозно и величественно, вовсе, казалось, не обеспокоенная ни самим визитом, ни той грубостью, с которой он был ей навязан. На ней было платье из черного бархата; небольшие брыжи закрывали только ее грудь, оставляя полностью открытыми изящно очерченный подбородок и шею; на голове у нее была маленькая кружевная шапочка, а прозрачная белая вуаль ниспадала с плеч на длинное черное платье такими широкими, свободными складками, что при желании ими можно было закрыть лицо и всю фигуру. На шее у нее был золотой крест, а с пояса свисали четки из золота и черного дерева. Сразу же за ней вошли обе ее фрейлины, которые продолжали стоять позади королевы на протяжении всей аудиенции. Даже лорд Линдсей, самый грубый из вельмож этого грубого века, к своему удивлению, почувствовал какое-то своеобразное уважение при виде холодного и величественного выражения лица королевы, которую он думал застать либо неистовствующей в бессильной злобе, либо погруженной в тщетную и бесплодную скорбь, либо, наконец, подавленной страхом, столь обычным при подобных обстоятельствах у венценосных особ, лишаемых власти.

— Боюсь, что мы заставили вас ждать, милорд, — сказала королева, с достоинством делая реверанс в ответ на его принужденный поклон. — Но женщины не любят принимать гостей, не потратив хотя бы нескольких минут на свой туалет. Мужчины, милорд, меньше зависят от подобных условностей.

Лорд Линдсей, бросив взгляд на свой измятый и запыленный в дороге костюм, пробормотал что-то невнятное о спешной поездке, между тем как королева учтиво и, казалось, даже ласково приветствовала сэра Роберта Мелвила. Затем воцарилось гробовое молчание, во время которого Линдсей нетерпеливо поглядывал на дверь, видимо ожидая третьего участника миссии. Лишь одна королева, казалось, совершенно не испытывала смущения: словно для того, чтобы прервать молчание, она обратилась к лорду Линдсею,

бросив взгляд на тяжелый и неуклюжий меч, висевший, как уже было упомянуто, у него на шее.

— У вас был надежный, хотя и обременительный спутник в вашей поездке, милорд. Я полагаю, вы не ожидали встретиться здесь с противником, против которого вам потребовалось бы столь грозное оружие. По-моему, при дворе это украшение выглядит несколько странным, хотя сама я, и мне не раз уже приходилось благодарить за это небо, слишком похожа на своих предков Стюартов, чтобы бояться меча.

— Уже не первый раз, миледи, — ответил Линдсей, повернув меч так, что он вонзился острием в пол, и положив руку на его крестообразную рукоять, — уже не первый раз вторгается этот меч туда, где находятся Стюарты.

— Вполне возможно, милорд, — ответила королева. — Он, вероятно, оказал услугу моему роду. Ваши предки были людьми долга.

— Ах, миледи, — возразил Линдсей, — услугу он действительно оказал, но такую, которую короли не любят ни признавать, ни вознаграждать. Подобную услугу оказывает дереву нож, когда проникает до живых тканей и освобождает его от чрезмерно разросшейся листвы и бесплодных ветвей, высасывающих его жизненные соки.

— Вы говорите загадками, милорд, — сказала Мария Стюарт. — Я надеюсь, что разгадка не содержит в себе ничего оскорбительного.

— Судите сами, миледи, — ответил Линдсей. — Этим добрым мечом был описан Арчибалд Дуглас, граф Ангюс, в тот памятный день, когда он добыл себе прозвище Кошачий Бубенчик за то, что вытащил из дворца вашего прадеда Иакова, который был третьим Стюартом, носившим это имя, целую свору лизоблюдов, льстецов и фаворитов и развесил их на Лодерском мосту, предупреждая всех придворных пресмыкающихся, как опасно приближаться к шотландскому престолу. В другой раз тот же непримиримый поборник шотландской доблести и благородства одним ударом этого меча зарубил Спенса Килспинди, вельможу при дворе вашего деда Иакова Четвертого,

за то, что тот осмелился пренебрежительно отозваться в Кошачьем Бубенчике в присутствии короля. Они сражались у Фейлского ручья, и Кошачий Бубенчик, хватив этим клинком своего противника, отсек ему ногу с такой же легкостью, с какой пастушок срезает прутик с молодой ивы.

— Милорд, — сказала королева, краснея, — у меня достаточно крепкие нервы, они выдержат и не такую историю. Позвольте, однако, спросить вас, как же этот прославленный меч перешел от Дугласов к Линдсеям? Казалось бы, его следовало хранить как священную реликвию в той семье, которая так ревностно выступала против своего короля от имени своей страны.

— О нет, миледи, — испуганно вмешался Мелвил, — не задавайте таких вопросов лорду Линдсею... А вы, милорд, хотя бы из стыдливости... простите, из приличия... воздержитесь от ответа.

— Пора этой леди услышать правду, — ответил Линдсей.

— И можете быть уверены, — сказала королева, — что ничто из рассказанного вами, милорд, не возмутит ее. Бывают случаи, когда справедливое презрение одерживает верх над справедливым гневом.

— Так знайте же, — сказал Линдсей, — что на полях Карбери-Хилла, где лживый и подлый изменник и убийца Джеймс, в прошлом лорд Босуэл и так называемый герцог Оркнейский, предложил сразиться с любым из пэров, решивших привлечь его к суду, я принял этот вызов, и тогда благородный лорд Мортон подарил мне свой добрый меч, чтобы я с его помощью одержал победу. Клянусь богом, если бы у Босуэла оказалось чуть больше самолюбия или чуть меньше трусости, я бы этим клинком так обработал проклятого изменника, что псы и черные вороны наши бы пищу уже разделанной должным образом на куски.

Когда было произнесено имя Босуэла, связанное с длинной вереницей преступлений, с позором и несчастьями, казалось, что присутствие духа вот-вот покинет королеву. Но Линдсей продолжал свое хвастов-

ство, предоставив ей тем самым возможность собраться с силами и ответить с холодным презрением:

— Не трудно рубить противника, отказавшегося принять вызов. Но если бы Мария Стюарт вместе с престолом своего отца унаследовала и его меч, ни один даже самый дерзкий мятежник не мог бы сетовать, что ему в наши дни не с кем обменяться ударом. Ваша милость извинит меня, однако, если я сокращу нашу беседу. Даже самое сжатое описание кровавой битвы вполне удовлетворяет женскую любознательность, и если у лорда Линдсея нет для нас ничего более важного, чем рассказы о подвигах старого Кошачьего Бубенчика и рассуждения о том, как он сам, если бы ему позволило время и место, постарался бы превзойти старика, то мы, пожалуй, удалимся в наши покои, и ты, Флеминг, дочитаешь нам небольшой трактат «Des Rodomontades Espagnoles».¹

— Погодите, миледи, — остановил ее Линдсей, краснея в свою очередь. — Мне с давних пор достаточно хорошо известно ваше остроумие, и я не стал бы добиваться беседы, которая дала бы вам возможность изощрять его на мой счет. Лорд Рутвен и я, вместе с сэром Робертом Мелвиллом, явились к вашему величеству по поручению Тайного совета с предложениями, от которых зависят в значительной степени и ваша личная безопасность и благо государства.

— Тайный совет? — воскликнула королева. — Да чьим же именем он существует и действует, если меня, определившую его статут, держат здесь под незаконным арестом? Но дело не в том... Все, что способствует благу Шотландии, будет принято Марией Стюарт, откуда бы оно ни исходило... А что касается личной безопасности, то ее жизнь и без того затянулась свыше меры и в двадцать пять лет уже успела наскучить ей. Где ваш товарищ, милорд? Почему он опаздывает?

— Он здесь, миледи, — ответил Мелвил, и в ту же минуту появился лорд Рутвен с пакетом в руках. От-

¹ «Испанское бахвальство» (франц.).

вечая на его приветствие, королева смертельно побледнела, но тут же огромным напряжением воли снова взяла себя в руки, как раз в тот момент, когда вельможа, чье появление, по-видимому, так взволновало ее, приближался к ней вместе с Джорджем Дугласом, младшим сыном барона Лохливена, выполняющим, в отсутствие отца и братьев, обязанности сенешаля замка, под началом у старой леди Лохливен, матери его отца.

Глава XXII

Я бремя это тяжкое отринул,
Роняет скиптр немеющая длань,
Моя слеза смывает мой елей,
Моя рука снимает мой венец,
Мой сан священный я слагаю сам,
Мои уста от клятв вас разрешают.

Внешность лорда Рутвена и его манера держать себя выдавали полководца и государственного мужа, а грозное выражение лица снискало ему прозвище Грейстил: так называли его близкие друзья, почерпнув это имя из широко известного в те времена рыцарского романа. Его костюм — расшитая куртка из буйволово́й кожи — придавал ему вид военного, хотя вовсе не был похож на грязную, неряшливую одежду Линдсея. Тем не менее этот сын злосчастного отца и отец не менее злополучного семейства носил на себе печать зловещей меланхолии, по которой физиономисты того времени якобы могли отличить обреченных на насильственную и мучительную смерть.

Страх, который охватил королеву в присутствии этого человека, объяснялся тем деятельным участием, которое он принимал в убийстве Давида Риччо. Отец его, главный виновник этого позорного преступления, хотя и был в то время изнурен тяжелым и продолжительным недугом и даже не в силах был носить доспехи, тем не менее поднялся с постели и совершил

убийство на глазах у своей повелительницы. Сын его тогда помогал старику и сам сыграл немаловажную роль в этом деле. Не удивительно поэтому, что королева, которая так много пережила, когда при ней совершилось это кровавое злодеяние, до сих пор еще испытывала невольный ужас перед его главными участниками. Тем не менее она любезно ответила на поклон Рутвена и протянула руку Джорджу Дугласу, который поцеловал ее, благоговейно преклонив колени. Это был первый знак верноподданнического почтения по отношению к заточенной королеве, который пришлось увидеть Роланду Грейму. Мария Стюарт молча кивнула в ответ, после чего наступило непродолжительное молчание. Дворецкий, человек с мрачным взором и суровым выражением лица, поставил, по указанию Джорджа Дугласа, стол с письменными принадлежностями, а паж, повинуясь некому приказу своей госпожи, придвинул большое кресло с той стороны стола, где находилась королева, вследствие чего стол теперь как бы барьером отделял Марию Стюарт и ее свиту от незваных гостей. После этого дворецкий отвесил низкий поклон и покинул зал. Когда дверь за ним закрылась, королева первая нарушила молчание:

— С вашего позволения, милорды, я сяду... Хотя мои нынешние прогулки не столь продолжительны, чтобы вызвать утомление, все же сейчас я нуждаюсь в отдыхе более, чем обычно.

С этими словами она опустилась в кресло и, закрыв красивой рукой глаза от света, внимательным, испытующим взором посмотрела на каждого из пэров. Мэри Флеминг поднесла платок к глазам, а Кэтрин Ситон и Роланд Грейм обменялись взглядами, полными такого участия и сострадания к их венценосной госпоже, что, казалось, они и думать не могли о чем-либо, касавшемся их самих. С минуту все молчали.

— Я жду объяснения вашего прихода, милорды, — сказала наконец королева. — Я жду, что мне сообщат о миссии, возложенной на вас теми, кого вы называете членами Тайного совета. Вероятно, это пети-

ния с извинениями и просьба вернуться на принадлежащий мне по праву престол, не слишком тяжко покарав тех, кто отнял его у меня.

— Миледи, — ответил Рутвен, — нам нелегко открыть суровую правду государыне, которая так долго правила нами, но мы прибыли сюда прощать, а не просить прощения. Иными словами, миледи, от имени Тайного совета мы предлагаем вам подписать эти акты, которые должны в значительной мере содействовать умиротворению страны, распространению слова божьего и вашему личному дальнейшему благополучию.

— Ваши учтивые слова, милорд, должны быть приняты на веру? Или я получу возможность ознакомиться с содержанием этих актов примирения, перед тем как меня попросят их подписать?

— Безусловно, миледи, желательно и необходимо, чтобы вы прочли то, что требуется подписать, — ответил Рутвен.

— Требуется, — подчеркнуто повторила королева. — Впрочем, это слово здесь вполне уместно... Читайте, милорд.

Лорд Рутвен приступил к чтению составленного по всей форме акта, где от имени королевы говорилось, что она еще в юные годы была призвана управлять престолом и королевством Шотландским и ревностно трудилась на этом поприще, пока ее дух и тело не утомились до полного к этому отвращения, так что в дальнейшем она не сможет выносить тяготы и заботы государственных дел; и что, поелику господь благословил ее прекрасным и многообещающим сыном, она пожелала обеспечить за ним уже сейчас, при жизни своей, преемственность во владении престолом, на который он имеет наследственные права. «Вследствие этого, — стояло далее в документе, — мы, будучи движимы материнской любовью к вышеупомянутому сыну нашему, сочли за благо отказаться и отречься, а этим нашим по доброй воле составленным письмом подтверждаем, что мы действительно отказываемся и отречаемся от престола, власти и управления королевством Шотландским в пользу вышеупомянутого сына

нашего, дабы он, будучи законным государем, наследовал нам, как если бы мы ушли от царствования по причине болезни, а не произвольным решением. И дабы это наше отречение от королевского сана возымело более полное и торжественное действие и дабы никто не мог делать вид, что не знает о нем, мы доверяем, предоставляем и вручаем нашим преданным родичам лорду Линдсею Байрсу и Уильяму, лорду Рутвену, неограниченные, прямые и непосредственные полномочия выступить от нашего имени перед самым большим собранием дворян, духовных лиц и горожан, какое только может быть собрано в Стерлинге, и там, в их присутствии, нашим именем и волей публично объявить об отречении нашем от престола, власти и управления королевством Шотландским».

Здесь королева с видом крайнего изумления прервала чтение.

— Что это значит, милорды? — воскликнула она. — Уж не принимают ли участие в бунте мои уши, обманывающие меня столь необычайными речами? Впрочем, было бы не удивительно, если бы после столь долгого и близкого общения с мятежниками они и сами решили бы попотчевать меня языком мятежа. Скажите же мне, что я ошиблась, милорды, скажите, во имя вашей собственной чести и чести всей шотландской знати, что мои преданные кровные родственники Линдсей и Рутвен, два барона, прославленные своими воинскими подвигами и древностью рода, добирались до темницы своей доброй государыни не с той целью, какую тщетно пытаются внушить мне эти слова. Честью и верностью заклинаю вас, скажите, что мои уши лгут!

— Нет, миледи, — мрачно ответил Рутвен, — ваши уши не лгут вам... Они лгали тогда, когда оставались глухи к речам проповедников евангелия и к достойным советам ваших честных подданных; когда они прислушивались к лести тунеядцев и изменников, чужеземных фаворитов и отечественных временщиков. Страна не может больше выносить правление королевы, которая даже собою не в силах управлять. Вот почему я умоляю вас пойти навстречу последнему

пожеланию ваших подданных и советников; вы этим избавите и нас и себя от дальнейших волнений по столь мучительному поводу.

— И это все, чего требуют от меня мои любящие подданные, милорд? — спросила Мария с горькой иронией. — Неужели они готовы удовольствоваться таким пустяком, как мое согласие передать принадлежащий мне по праву рождения престол годовалому младенцу, и тем, что я обменяю скипетр на прялку? О нет! Этого слишком мало для них. Вон тот, второй свиток, вероятно, подвергнет более тяжелому испытанию мою уступчивость по отношению к подданным.

— Этим актом, — ответил все тем же неумолимо суровым тоном Рутвен, разворачивая новый пергамент, — ваше величество передает вашему ближайшему родственнику, всеми уважаемому и наиболее достойному доверия из ваших подданных Джеймсу, графу Мерри, регентскую власть в королевстве на весь период несовершеннолетия юного короля. Акт этот уже утвержден Тайным советом.

— Так эта стрела из его колчана? Она пущена из лука моего брата? А я-то надеялась на его возвращение из Франции как на единственное или по крайней мере наиболее быстрое средство к моему освобождению! И даже когда я услышала, что он захватил в свои руки управление государством, я все еще полагала, что он постыдится править, прикрываясь моим именем.

— Я должен получить ваш ответ на требование Совета, миледи, — настаивал лорд Рутвен.

— На требование Совета? — повторила королева. — Скажите лучше — на требование шайки разбойников, которым не терпится разделить захваченную добычу. На такое требование, да еще переданное устами изменника, чья голова, не помешай этому мое женское мягкосердечие, давно бы уже украшала городские ворота... на такое требование у Марии Шотландской нет ответа.

— Я надеюсь, миледи, — заметил лорд Рутвен, — что неприемлемость для вас моей особы в качестве посла не усиливает вашего сопротивления в данном

вопросе Вам следовало бы помнить, что за смерть вашего любимца Риччо глава рода Рутвенов заплакал жизнью. Мой отец, который стоил дороже целого графства, столь подлых лизоблюдов, так и умер в изгнании, убитый горем.

Королева закрыла лицо руками и, опутив голову, заплакала так горько, что слезы ручьями заструились по ее тонким белоснежным пальцам, которыми она старалась их скрыть.

— Милорды, — вмешался сэр Роберт Мелвил, — к чему такая жестокость? С вашего разрешения, нас послали сюда не для того, чтобы воскрешать старые обиды, а для того, чтобы найти пути к устранению новых бедствий.

— Сэр Роберт Мелвил, — ответил Рутвен, — нам лучше известно, с какой целью нас послали сюда, и потому было совсем не обязательно навязывать нам ваше общество.

— Ей-богу! — воскликнул Линдсей. — Я так и не пойму, зачем нам был подсунут этот мягкотелый добряк, разве что вместо сахара, которым аптекари подслащивают капризным детям целебные, но горькие пилюли. По-моему, это напрасный труд там, где есть другие средства заставить проглотить лекарство.

— Нет, милорды, — возразил Мелвил, — вам достаточно хорошо известны данные вам секретные инструкции; я же, мне кажется, лучше всего выполню свой долг, стараясь посредничать между вами и ее величеством.

— Молчите, сэр Роберт Мелвил, — сказала королева, поднимаясь с пылающим от возмущения лицом. — Дай мне платок, Флеминг! Я стыжусь, что этим изменникам удалось так взволновать меня. Скажите, надменные лорды, — продолжала она, вытирая глаза, — на каком основании королевские вассалы осмеливаются оспаривать права богопомазанной государыни, хотят изменить присяге, которую они ей принесли, и лишить престола ту, которой он был дан божьим соизволением?

— Миледи, — ответил Рутвен, — будем говорить откровенно: ваше правление, начиная с роковой битвы

при Пинки-Клю, когда вы еще младенцем лежали в колыбели, и до настоящего времени, когда вы стоите перед нами зрелой женщиной, оказалось сплошной цепью трагических утрат, бедствий, гражданских смут и внешних войн, каких еще не знала наша история. Французы и англичане единодушно избрали Шотландию ареной битв, в которых они решают свои собственные исконные споры. У нас же каждый готов поднять руку против своего родного брата; ни один год не проходит без мятежа и резни, изгнания вельмож и преследования горожан. Мы не в силах этого больше выносить, а потому, как королеву, которой бог отказал в умении прислушиваться к мудрым советам и на чьи действия и планы никогда не падало его благословение, мы просим вас уступить другому лицу управление и руководство страной, чтобы спасти хоть остатки этого обезумевшего королевства.

— Милорд, — ответила Мария, — мне кажется, что на мою злосчастную и обреченную голову вы взвалили вину за такие бедствия, в которых, с гораздо большим основанием, я могла бы обвинить ваши собственные строптивые, дикие и неукротимые нравы — ту неистовую свирепость, с которой вы, шотландские магнаты, вступаете в распри друг с другом, не останавливаясь в гневе ни перед какими жестокостями, сурово мстя за ничтожные обиды, пренебрегая мудрым законом предков, запрещающим подобные жестокости, восставая против законной власти и ведя себя так, как если бы не существовало короля в стране или, точнее, как если бы каждый был королем в своих собственных владениях. А теперь во всем этом вы вините меня — ту, чья жизнь была отравлена вашими раздорами, чье спокойствие было нарушено, чье счастье было погублено. Разве не приходилось мне скакать через леса и горы с горсткой преданных мне людей, чтобы восстановить мир и устранить притеснения? Разве я не носила кольчугу на теле и пистолеты в седле, поневоле изменив женственности и достоинству королевы, чтобы личным примером воодушевить своих приверженцев?

— Мы согласны, миледи, — возразил Линдсей, — что смуты, вызванные вашим же дурным управлением, могли порой потревожить вас, когда вы веселились среди ряженных и бражников, могли прервать вашу идолопоклонническую мессу или иезуитские наставления какого-нибудь французского посла, но самое длительное и тягостное путешествие, если только память мне не изменяет, ваше величество проделали из Хоуика в замок Эрмитаж, а послужило ли оно благу государства или хотя бы вашей собственной чести, останется на совести вашего величества.

Королева повернулась к Линдсею с невыразимой мягкостью и бросила на него один из тех обольстительных взглядов, которые дало ей в дар небо как бы для того, чтобы показать, как бессильны порой самые могучие женские чары.

— Линдсей, — сказала она, — вы не говорили со мной столь суровым тоном и с такой грубой насмешливостью в тот ясный летний вечер, когда мы с вами стреляли по мишеням, соревнуясь с графом Маром и Мэри Ливингстон, когда мы выиграли у них ужин в укромном садике в Сент-Эндрюсе. Тогда властитель замка Линдсей принадлежал к числу моих друзей и клялся вечно быть моим верным защитником. Чем же я обидела графа Линдсея? Или, быть может, почести изменили его нрав?

При всей жестокой бесчувственности Линдсея его, видимо, тронула эта неожиданная жалоба, но он почти тотчас же ответил:

— Всем известно, что вы, ваше величество, в то время кого угодно могли лишить рассудка. Ну что ж, я был не умней других. Но уже очень скоро более занятные люди и более искусные царедворцы оттеснили в сторону меня с моей грубоватой преданностью, и, по-моему, ваше величество еще помнит, как мои неуклюжие попытки усвоить приятные манеры доставили много веселых минут придворным хлыщам, вашим четверем Мариям и французенкам.

— Милорд, я сожалею, если оскорбила вас своей неуместной веселостью, — промолвила королева. — В качестве оправдания могу лишь сказать, что это было

совершенно непреднамеренно. Вы полностью отомщены, — прибавила она со вздохом, — ибо веселостью я уж никогда больше никого не оскорблю.

— Наше время истекает, миледи, — напомнил лорд Рутвен. — Я вынужден просить вас решить тот важный вопрос, который я вам изложил.

— Как, милорд! — воскликнула королева. — Я должна ответить сразу, не получив ни минуты на размышление? Неужели члены Совета, как они себя имеют, думают, что я соглашусь на это?

— Миледи, — возразил Рутвен, — Совет придерживается того мнения, что с той роковой ночи, когда был убит король Генрих, и до дня Карбери-Хилла у вашего величества было достаточно времени, чтобы подготовиться к предложенному ныне наиболее легкому способу избежать многочисленных опасностей и тягот.

— Великий боже! — воскликнула королева. — И вы еще считаете это благодеянием? Но ведь то, чего вы от меня требуете, любой христианский монарх счел бы утратой чести, не менее тягостной, чем утрата самой жизни. Вы отнимаете у меня мой престол, мою власть, моих подданных, мое богатство, мое государство. Что же, во имя всех святых, можете вы предложить или действительно предлагаете мне в обмен на мое согласие?

— Мы даруем вам прощение, — сурово ответил Рутвен. — Мы предоставим вам место и дадим возможность провести остаток вашей жизни в уединении и раскаянии, мы дадим вам время примириться с небом и приобщиться к истинной вере, которую вы всегда отвергали и преследовали.

Королева побледнела, услышав угрозу, которая отчетливо прозвучала не только в словах, но и в суровом, неумолимом тоне говорившего.

— А если я не соглашусь на ваше столь жестоко навязываемое требование, милорд, что тогда?

В ее голосе слышались и естественный женский страх и чувство оскорбленного достоинства. Наступило молчание. Казалось, никому не хотелось давать ясный ответ на этот вопрос. Наконец Рутвен сказал:

— Не знаю, нужно ли напоминать вашему величеству, столь сведущей в законах и исторических летописях нашего королевства, что убийство и прелюбодеяние являются такими преступлениями, за которые до сих пор даже королевы подлежали смертной казни.

— Но откуда, милорд, и каким образом возникло такое страшное обвинение против той, которая стоит сейчас перед вами? — спросила королева Мария. — Лживая и отвратительная клевета, отравившая общественное мнение в Шотландии и сделавшая меня беспомощной пленницей в ваших руках, бесспорно еще не есть доказательство моей вины.

— Нам не требуется более веских доказательств, — ответил суровый лорд Рутвен, — чем бесстыдный брак вдовы убитого с главарем шайки убийц. Те, кто соединили свои руки в роковые майские дни, уже заранее объединили сердца и мысли в действиях, всего на несколько недель предшествовавших этому браку.

— Милорд, милорд! — в волнении воскликнула королева. — Вспомните-ка лучше, сколько людей помимо меня настаивало на этом роковом браке, на этом самом злосчастном событии моей и без того злосчастной жизни. Бывает, что дурные советники подсказывают монарху пагубный шаг, но хуже демонов соблазна и предательства те из них, которые требуют к ответу своего несчастного государя за поступки, ими самими подсказанные ему. Разве вы не слышали, милорды, о договоре, который скрепили своей подписью пэры, навязывая злополучной Марии Стюарт этот злополучный союз? Боюсь, что, если взглянуть в этот договор, который обязывал меня выйти замуж за того несчастного, там окажутся имена и Мортон, и Линдсея, и Рутвена. О стойкий и преданный лорд Хэрис, не знающий обмана и бесчестья, напрасно ты преклонил тогда передо мною свои благородные колена, предостерегая от грозившей мне опасности, и напрасно ты же первый обнажил в мою защиту свой меч, когда я действительно пострадала оттого, что пренебрегла твоим советом! О. верный

мой пэр и надежный рыцарь, насколько отличаешься ты от тех дурных советников, которые теперь угрожают моей жизни за то, что я попала в западню, которую они же мне и расставили.

— Миледи, — прервал ее Рутвен, — мы знаем, что вы искусно владеете даром слова, и, быть может, именно по этой причине Совет послал сюда тех, кто лучше разбирается в языке сражений, чем в хитроумных уловках законоведов и в придворных интригах. Мы хотим лишь знать, согласны ли вы, при условии сохранения вашей жизни и чести, отказаться от шотландского престола?

— А кто поручится, — спросила королева, — что вы честно выполните наш договор, если я действительно обменяю сан королевы на заточение и слезы одиночества?

— Порукой послужит наша честь и наше слово, миледи, — ответил Рутвен.

— Для поруки они слишком легковесны и ненадежны, милорд, — усмехнулась королева. — Добавьте хоть щепотку пуху, чтобы утяжелить чашу весов!

— Пойдем отсюда, Рутвен! — воскликнул Линдсей. — Эта женщина всегда оставалась глуха к добрым советам и прислушивалась только к словам льстецов и лакеев. Пусть же она останется при своем отказе и пожнет его плоды.

— Погодите, милорд, — вмешался граф Мелвил, — лучше всего будет, если вы разрешите мне... всего на несколько минут... получить частную аудиенцию у ее величества. Если мое участие в посольстве преследует какую-либо цель, то только посредничество. Заклинаю вас не прекращать переговоров и не покидать замка, пока я не сообщу вам окончательное решение ее величества!

— Мы будем ждать в замке еще полчаса, — сказал Линдсей. — Но, отвергнув наше честное слово и наше поручительство, она оскорбила мою честь. Пусть же теперь хорошенько обдумает, какого пути ей придерживаться. Если по истечении получаса она все еще не согласится на требования народа, ее пребывание в этом мире не слишком затянется.

Без особых церемоний оба лорда покинули зал, прошли через приемную и спустились по винтовой лестнице; при этом было слышно, как огромный меч Линдсея ударялся о каждую ступеньку. Джордж Дуглас последовал за ними, предварительно обменявшись с Мелвиллом взглядами, полными удивления и сочувствия.

Как только они вышли, королева, бросившись в кресло, заломив руки и, видимо, окончательно предавшись отчаянию, дала волю своему волнению, страху и скорби. Ее фрейлины, тоже в слезах, умоляли ее успокоиться, а сэр Роберт Мелвил, стоя на коленях у ее ног, присоединился к их мольбам. Дав выход бурному взрыву горя, Мария Стюарт наконец обратилась к Мелвилу:

— Не склоняйте колена, Мелвил, не смейтесь надо мной, выказывая почтительность, которой и следа не осталось ныне в вашей душе. Стоит ли вам связывать свою судьбу с низложенной и осужденной государыней, которой и жить-то, быть может, остается считанные часы? Моя благосклонность распространялась на вас не в большей мере, чем на других; почему же вы, в отличие от них, тщетно продолжаете изображать благодарность и признательность?

— Миледи, — ответил сэр Роберт Мелвил. — Да отвратит провидение в час величайшего горя свой взор от меня, если мое сердце не осталось сейчас столь же преданным вам, как и в дни вашего наивысшего величия.

— Преданным мне! Преданным мне! — повторила королева с оттенком презрения. — Ах, Мелвил, что это за преданность, которая шагает об руку с вероломством моих врагов. К тому же твоя рука никогда не была знакома с мечом настолько, чтобы я могла положить на тебя там, где требуется мужская храбрость. О милая Ситон, где твой отважный отец, который не только мудр и предан, но и полон доблести?

Роланд Грейм не в силах был больше бороться с желанием предложить свои услуги столь прекрасной и столь жестоко страдающей государыне,

— Ваше величество, — сказал он, — если одна шпага сможет подкрепить мудрость этого почтенного советчика или защитить ваше правое дело, то вот мое оружие, а с ним и рука, готовая его обнажить и пустить в ход.

С этими словами он поднял одной рукой свою шпагу, а другую положил на ее эфес. Увидев юношу в этой позе, Кэтрин Ситон внезапно воскликнула:

— Я узнаю условный знак моего отца, ваше величество! — и тут же, подойдя к Роланду Грейму, схватила его за полу плаща и строго спросила, откуда у него эта шпага. Паж с удивлением ответил ей:

— Здесь как будто не место для шуток, мисс. Уж вы-то, бесспорно, лучше меня знаете, откуда и каким образом досталось мне это оружие.

— Сейчас как будто не время для глупостей, — ответила Кэтрин Ситон. — Немедленно обнажите шпагу!

— Если королева прикажет, — сказал юноша, посмотрев на свою царственную госпожу.

— Стыдись, девочка! — сказала королева. — Уж не хочешь ли ты втянуть бедного юношу в бесполезную схватку с двумя искуснейшими бойцами всей Шотландии?

— Ради вашего величества, — ответил паж, — я не побоюсь вызвать их на смертный бой.

Произнося эти слова, он наполовину вытащил шпагу из ножен; при этом клочок пергамента, навёрнутый на клинок, развернулся и упал на пол. Кэтрин Ситон схватила его с жадной поспешностью.

— Это почерк моего отца, — сказала она, — и, бесспорно, здесь содержится его мудрый верноподданнический совет вашему величеству. Я знала, что он готовился отправить записку в этой шпаге, но я ожидала иного посланца.

«Черт возьми, — подумал Роланд, — уж если ты, красавица, не знала, что это секретное послание отправлено со мной, то я тем более ничего не знал о нем»,

Королева пробежала глазами письмо и на некоторое время погрузилась в глубокое раздумье.

— Сэр Роберт Мелвил, — сказала она наконец. — Послание Ситона предлагает мне подчиниться необходимости и подписать документы, привезенные этими безжалостными людьми, как подчинился бы каждый человек, понуждаемый страхом перед угрозами бунтовщиков и убийц. Вы благоразумны, сэр Роберт; Ситон же обладает не только мудростью, но и отвагой. Я полагаю, в таком деле ни вы, ни он не станете вводить меня в заблуждение.

— Государыня, — ответил Мелвил, — пусть я не обладаю силой лорда Хэриса и лорда Ситона, но я никому не уступлю в преданности вашему величеству. Я не могу сражаться за ваше дело, подобно этим двум вельможам, но ни один из них так не жаждет умереть за вас, как я!

— Я верю этому, мой старый и верный советник, — сказала королева. — И поверь мне, Мелвил, что я лишь на мгновение была несправедлива к тебе. Прочти, что написал нам лорд Ситон, и дай свой разумный совет.

Сэр Роберт пробежал глазами послание и воскликнул:

— О дорогая моя венценосная госпожа, только изменник способен подать вам иной совет, чем лорд Ситон. Все ваши друзья — он сам, Хэрис, Хантли, английский посол Трогмортон и другие — в один голос утверждают, что любой акт или документ, подписанный вами в этих стенах, не будет иметь никаких последствий и никакой юридической силы, поскольку он вырван у вашего величества жестокостью мятежников, обусловлен вашими нынешними страданиями и страхом перед последствиями вашего отказа. Поэтому вам следует уступить силе, и поверьте: какой бы манифест они ни заставили вас подписать, он вас ничем не свяжет в дальнейшем, ибо в нем нет единственного, что его может узаконить, — свободной воли лица, подписавшего документ.

— То же говорит и лорд Ситон, — ответила Мария. — Но мне все же кажется, что для наследницы

столю древнего королевского рода отказаться от ее законных прав, уступив угрозам бунтовщиков, означало бы унизить свое королевское достоинство и заслужить дурную славу среди будущих историков. Изменники, сэр Роберт Мелвил, могут расточать самые свирепые угрозы и самые страшные слова, но они не осмелятся поднять руку на нашу особу.

— Увы, ваше величество! Они уже зашли так далеко и навлекли на себя такие опасности, что им остался лишь один шаг к худшей из крайностей.

— Не может быть, — возразила королева, которую снова стал одолевать страх, — чтобы шотландские вельможи прибегли к убийству беззащитной женщины.

— Вспомните, ваше величество, — уговаривал ее Мелвил, — какие страшные события происходят в наши дни. Да есть ли такое черное злодеяние, которое не нашло бы в Шотландии руки, готовый осуществить его? Лорд Линдсей от природы суров и жесток. Но ведь он, кроме того, еще ближайший родственник Генри Дарилея, а у Рутвена имеются свои опасные и далеко идущие планы. К тому же Совет утверждает, что он располагает письменными и устными доказательствами вашей вины, говорит о ларце с письмами и еще бог знает о чем.

— Ах, мой добрый Мелвил! — ответила королева. — Если бы я была так же уверена в беспристрастной справедливости и честности моих судей, как в своей собственной невинности! И тем не менее...

— О, ваше величество! — прервал ее Мелвил. — И невинность иногда бывает вынуждена временно отступить перед клеветой. Кроме того, вы ведь находитесь здесь...

Он осмотрелся и замолчал.

— Продолжайте, Мелвил, — сказала королева. — Среди тех, кто окружает меня, нет никого, кто желал бы мне зла; даже этому бедняге пажу, которого я сегодня увидела впервые в жизни, я спокойно могу доверить ваше сообщение.

— Хорошо, ваше величество, — ответил Мелвил. — Ввиду крайней необходимости и поскольку он привез послание лорда Ситона, я отважусь сказать при нем и при этих прекрасных дамах, чью верность и преданность я не подвергаю сомнению... итак, я отважусь сказать, что есть еще другие средства, помимо судебного процесса, от которых часто умирают низложенные монархи; как говорил Маккиавелли, один шаг отделяет темницу государя от его могилы.

— О, если бы только смерть была быстрой и не мучительной! — воскликнула несчастная королева. — Если бы она была верной и счастливой переменой для души, ни одна женщина на свете не совершила бы этот шаг с большей охотой, чем я! Но увы, Мелвил, когда думаешь о смерти, тысячи грехов, которых мы прежде, как червей, попирали ногами, поднимаются перед тобой, подобно яростным огненным змеям. Обвинять меня в соучастии в убийстве Дарнлея — ужасная несправедливость. Но пресвятая дева! Я дала слишком ясный повод для такого подозрения — я вышла замуж за Босуэла!

— Не думайте сейчас об этом, ваше величество, — сказал Мелвил. — Думайте лучше о том, как вернее всего спасти себя и своего сына. Уступите их нынешним возмутительным требованиям и поверьте, что очень скоро наступят лучшие времена.

— Государыня, — сказал Роланд Грейм, — с вашего разрешения, я нынче же переплыву озеро, если мне откажут в иных способах добраться до берега. Я объеду один за другим дворы Англии, Франции и Испании; я всюду засвидетельствую, что вы подписали этот подлый акт лишь под страхом смерти, и готов буду драться с каждым, кто станет утверждать противное.

Королева обернулась и, улыбаясь одной из тех прелестных улыбок, которые в романтическую пору жизни с избытком вознаграждают человека за любой риск, протянула руку Роланду, не сказав, однако, при этом ни слова. Он опустил на одно колено и почти-тельно поцеловал ее руку, а Мелвил возобновил свои просьбы.

— Ваше величество, — сказал он, — время не ждет, и вы не должны допустить, чтобы ушли эти лодки, а я вижу, что они уже готовятся отчалить от берега. Здесь достаточно свидетелей — эти дамы, этот отважный юноша, наконец я сам, если мое свидетельствo может вам понадобиться — хотя мне бы не хотелось быть замешанным в этом деле... Но и помимо меня здесь достаточно людей, готовых подтвердить, что вы уступили требованию Совета не по велению сердца, не по доброй воле, а под влиянием насилия и страха. Вот уже гребцы сели в лодки и взялись за весла, чтобы перевезти их на другую сторону. Позвольте же вашему старому слуге окликнуть их!

— Мелвил, — ответила королева, — ты один из старейших наших придворных. Видел ли ты когда-либо, чтобы верховный повелитель призывал вернуться подданных, которые удалились от него столь же непристойно, как удалились от нас посланцы Совета? Видел ли ты, чтобы они снова были приглашены к нему, не принеся извинений и не выразив своей покорности? Пусть это будет стоить мне жизни и престола, но я не предложу им вернуться ко мне.

— Ах, ваше величество, неужели эти пустые условия окажутся неодолимым препятствием! Ведь если я вас правильно понял, вы согласны последовать разумному и полезному совету... Впрочем, ваше самолюбие спасено... я слышу, как они возвращаются, чтобы узнать ваше окончательное решение. Послушайтесь же благородного Ситона — и вы еще будете повелевать теми, кто ныне торжествует над вами. Но тише!.. Они уже в приемной.

В этот момент Джордж Дуглас открыл дверь и торжественно ввел обоих вельмож-посланцев.

— Мы пришли, миледи, — сказал лорд Рутвен, — чтобы узнать ваш ответ на предложение Совета.

— Ваш окончательный ответ, — добавил лорд Линдсей, — ибо в случае отказа вы сами ускорите свою гибель, утратив последнюю возможность примириться с богом и продлить свое пребывание в этом мире.

— Милорды, — сказала Мария Стюарт с невыразимым очарованием и достоинством, — если нельзя противиться злу, приходится ему подчиниться. Я подпишу эти документы с той степенью доброй воли, какую предоставляют мне создавшиеся обстоятельства. Если бы я находилась на том берегу озера, на моем бы-строногом берберийце, с десятком смелых и верных рыцарей, я бы скорей подписала приговор, осуждающий меня на вечные муки, чем это отречение от престола. Но здесь, в замке Лохливен, когда кругом глубокая вода, а передо мной — вы, милорды, у меня нет выбора. Подай мне перо, Мелвил, и будь свидетелем того, что я делаю и почему я это делаю.

— Надеюсь, ваше величество не считаете, что вас принуждают угрозами согласиться на то, что должно быть сделано вами по доброй воле, — сказал лорд Рутвен.

Королева уже подошла к столу и, разложив перед собой документы, взялась за перо, чтобы подписать их. Но, услышав слова Рутвена, она внезапно остановилась, подняла на него глаза и отбросила перо.

— Если вы ждете от меня признания, что я отрекаюсь от престола добровольно, а не под угрозой горчайших бедствий для меня самой и моих подданных, — сказала она, — то я не поставлю своего имени под такой ложью, даже если мне предложат за это безраздельную власть над Англией, Францией и Шотландией, каждою из которых я некогда владела или имела право владеть.

— Берегитесь, миледи! — воскликнул Линдсей, и, схватив руку королевы своей железной перчаткой, он в ярости сдвинул ее, по-видимому не подозревая, с какой силой он это делает. — Берегитесь спорить с теми, кто сильнее вас и распоряжается вашей судьбой!

Он продолжал сжимать руку Марии, устремив на нее грозный и неумолимый взгляд, пока наконец Рутвен и Мелвил не крикнули: «Стыдитесь!», а Дуглас, который до сего времени сохранял безразличный вид, сделал шаг вперед, как будто собираясь вмешаться. Тогда суровый барон отпустил руку королевы, пытаясь под мрачной и презрительной усмеш-

кой скрыть смущение, которое он на самом деле испытывал, до такой степени поддавшись внезапному гневу.

Королева, лицо которой побелело от боли, тут же подняла рукав и обнажила руку, на которой его железные пальцы оставили багровый след.

— Милорд, — сказала она, — как рыцарь и джентльмен, вы могли бы избавить мою хрупкую руку от столь тяжелого доказательства того, что сила на вашей стороне и что вы полны решимости ее применить. Но я благодарна вам за это наглядное подтверждение того, в каких условиях происходит вся эта процедура. Я призываю в свидетели всех вас — мужчин и женщин, — сказала она, указывая на багровый след, пылавший на ее руке, — что я подписываю эти акты, подчиняясь личной печати милорда Линдсея, оттиск которой вы можете видеть на моей руке.

Линдсей хотел что-то возразить, но лорд Рутвен удержал его.

— Успокойтесь, милорд, — сказал он. — Пусть леди Мария Шотландская объясняет свою подпись как ей угодно. Наше дело было — добиться этой подписи и доставить ее в Совет. Если впоследствии возникнут споры о способах, какими она была добыта, у нас будет достаточно времени разобраться в них.

Линдсей замолчал, лишь буркнув в бороду:

— Я не хотел сделать ей больно, но, видно, женское тело нежно, как свежавыпавший снег.

Королева тем временем торопливо и равнодушно подписала пергаментные свитки грамот, словно делая что-то, не влекущее за собою никаких последствий, или выполняя пустую формальность. Покончив с этим тягостным делом, она встала и поклонилась лордам, намереваясь удалиться в свою опочивальню. Рутвен и сэр Роберт Мелвил также попрощались с нею, причем первый из них ограничился официальным приветствием, а второй склонился в глубоком поклоне; при этом его желание выразить свое сочувствие все же умерялось страхом, как бы Рутвен и Линдсей не сочли его уж чересчур преданным прежней повелительнице. Один Линдсей стоял неподвижно. Наконец,

когда его спутники совсем было приготовились уходить, он, словно охваченный внезапным порывом, обошел вокруг стола, отделявшего его от королевы, опустился перед ней на колени, взял ее руку, поцеловал, выпустил и, поднявшись, сказал:

— Ты все же поистине благородна, миледи, хотя ты и употребила во зло ценнейшие дары бога. Я преклоняюсь перед мужеством твоего духа, чего никогда не сделал бы перед властью, которою ты так долго и незаслуженно обладала. Я склоняю колена перед Марией Стюарт, а не перед королевой.

— Королева и Мария Стюарт одинаково жалеют тебя, Линдсей, — промолвила Мария, — одинаково жалеют и одинаково прощают тебя. Сражаясь за своего монарха, ты был бы всеми почитаемым полководцем; соединившись с мятежниками, ты стал лишь добрым мечом в руках разбойника. Прощайте и вы, лорд Рутвен, более учтивый, но и более убежденный изменник. Прощай, Мелвил, желаю тебе найти господина, который понимает государственную политику лучше и обладает средствами награждать за нее щедрее, чем Мария Стюарт! Прощайте, Джордж Дуглас, дайте понять вашей уважаемой бабушке, что мы хотели бы провести остаток этого дня в уединении. Богу известно, как мы нуждаемся в том, чтобы собраться с мыслями.

Все откланялись и ушли; но едва они очутились в приемной, как между Рутвеном и Линдсеем началась разногласия.

— Не ворчи на меня, Рутвен, — послышался голос Линдсея в ответ на какие-то невнятные слова его спутника. — Не ворчи на меня, ибо я не потерплю этого! Ты отвел мне роль палача в этом деле, а ведь даже настоящему палачу разрешается попросить прощения у его будущей жертвы. Как бы мне хотелось иметь столь же глубокое основание быть другом этой женщины, сколь глубоко причины, сделавшие меня ее врагом. Ты бы тогда увидел, что, сражаясь за нее, я не пожалел бы ни своей крови, ни самой жизни.

— Да ты, как я вижу, дамский угодник! — воскликнул Рутвен. — Ты готов сражаться ради женщины

только потому, что у нее хорошенькое личико и в глазах стоят слезы. Такие глупости, думалось мне, ты уже выбросил из головы много лет назад!

— Будь справедлив ко мне, Рутвен, — сказал Линдсей. — Ты похож на гладко отполированные стальные латы; они ярко сверкают, но так же тверды, насколько не мягче... нет, в пять еще раз тверже глазговского нагрудника из кованого железа. Впрочем, хватит! Мы слишком хорошо знаем друг друга.

Они спустились по лестнице и кликнули лодочника. Королева подала знак Роланду удалиться в приемную и оставить ее с фрейлинами.

Глава XXIII

Мне пир приятен на траве зеленой;
Пусть повар плох, зато ручей журчит
У самой скатерти, и так отрадны
Чирикание и щебет резвых птиц,
Что прыгают, выклянчивая крошки...
А пир в тюрьме — какое в нем веселье?

Комедия «Лесничий»

Свет в переднюю проникал через небольшое оконце, у которого примостился Роланд Грейм, наблюдая за отплытием лордов. Отсюда было видно, как прибывшие с ними люди усаживались на коней, каждый отряд под своим знаменем... Лучи заходящего солнца поблескивали на их латах и стальных шлемах, когда они суеились, то садясь на коней, то снова спешиваясь. Рутвен и Линдсей уже пересекли узкую полосу земли между замком и озером, направляясь к своим лодкам; лордов провожали леди Лохливен, ее внук и старшие служители замка. Насколько Роланд мог судить по их жестам, гости и хозяева церемонно попрощались друг с другом, и лодки отчалили от пристани. Гребцы налегли на весла, и суденышки стали быстро уменьшаться, удаляясь от взора праздного созерцателя, не нашедшего себе более интересного занятия, чем наблюдать за ними. Тем же, по-види-

мому, были заняты и леди Лохливен с Джорджем Дугласом, когда они шли с пристани, то и дело оглядываясь, словно желая убедиться в отъезде гостей, пока наконец не остановились окончательно под тем окном, у которого стоял Роланд Грейм. Роланд отчетливо расслышал, как леди Лохливен, глядя на озеро, сказала Дугласу:

— Итак, она уступила, пожертвовав королевством ради спасения своей жизни?

— Разве что-либо угрожало ее жизни, миледи? — воскликнул внук. — Кто же в замке моего отца осмелился бы поднять руку на королеву? Если бы я заподозрил, что Линдсей имеет такое намерение, столь настойчиво добываясь разрешения перевезти сюда свою свиту, ни он, ни его спутники не проникли бы через железные ворота Лохливена.

— Речь идет не о тайном злодеянии, дитя мое, а об открытом судебном процессе, приговоре и публичной казни. Именно это ей угрожало, и перед этой угрозой она отступила. Правда, если бы вероломная кровь Гизов, текущая в ее жилах, не вытеснила кровь шотландских королей, она бы швырнула им в лицо свой отказ. Но тут одно неотделимо от другого, и низость — естественная спутница разврата. Сегодня вечером я, вне всякого сомнения, освобождена от обязанности предстать перед ее светлыми очами. Иди же ты, сын мой, и окажи этой королеве, лишенной королевства, обычные почести за ее трапезой.

— С вашего позволения, миледи, — сказал Дуглас, — я бы предпочел не встречаться с ней.

— Ты прав, сын мой; я потому и доверяю твоему благоразумию, что вижу, как ты осторожен. Эта женщина подобна острову в океане, который окружен рифами и подводными скалами. Его зелень красива и приятна для взора, но множество надежных кораблей потерпело крушение, неосторожно приблизившись к его берегам. За тебя же, сын мой, я не страшусь, а между тем, честь нашей семьи может пострадать, если во время трапезы Марии Стюарт не будет присутствовать кто-либо из Дугласов. Она может умереть по воле неба, или в минуту отчаяния дьявол одержит

над нею верх И тогда для спасения нашей чести нам, возможно, придется доказывать, что у нас в доме, за нашим столом, с ней обходились благородно и с соблюдением всех обычаев.

В этот момент внезапный удар по плечу прервал наблюдения Роланда, живо напомнив ему о том, что произошло вчера с Адамом Вудкоком. Он обернулся, будучи почти уверен, что увидит пажа из подворья святого Михаила. И действительно, перед ним стояла Кэтрин Ситон. На этот раз она была в женском платье, хотя по материалу и покрою оно сильно отличалось от того, в каком он увидел ее впервые, и гораздо более подходило для дочери благородного барона и королевской фрейлины.

— Итак, любезный паж, — обратилась она к Роланду, — оказывается, подслушивание также входит в круг ваших пажеских добродетелей?

— Любезная сестрица, — в том же тоне ответил Роланд, — если бы кое-кто из моих друзей овладел прочими нашими добродетелями в такой же мере, как искусством сквернословить, важничать и стегать людей хлыстом, ни один паж во всем христианском мире не мог бы преподать ему еще какие-либо тонкости своего ремесла.

— Если только эта превосходная речь не означает, что со времени нашей последней встречи вас самого проучили с помощью хлыста, а в вероятности этого я нисколько не сомневаюсь, то признаюсь, любезный паж, я просто не понимаю, о чем вы говорите. Впрочем, сейчас не время для споров — подали ужин. Соболаговолите, господин паж, приступить к исполнению ваших обязанностей.

Вошли четверо слуг с подносами в руках; впереди шел тот же старый дворецкий, которого Роланд уже видел раньше, а замыкал шествие знакомый нам сэр Джордж Дуглас, внук леди Лохливен, который в качестве сенешаля представлял здесь своего отца, владельца замка. Он вошел, скрестив руки на груди и потупив взор. С помощью Роланда Грейма стол в гостиной был должным образом накрыт, слуги с надлежащими церемониями расставили подносы

с кушаньями, а дворецкий и Дуглас, увидев, что все полностью готово, отвесили низкий поклон, как будто их царственная узница уже сидела за столом. Дверь отворилась, и Дуглас, быстро подняв глаза, тут же снова опустил их, увидев, что вошла одна лишь леди Мэри Флеминг.

— Ее величество, — объявила она, — не будет сегодня ужинать.

— Позвольте выразить надежду, что ее решение еще не окончательное, — сказал Дуглас. — А пока разрешите нам приступить к исполнению наших обязанностей.

Слуга принес хлеб и соль на серебряном подносе, а старый дворецкий при появлении каждого блюда давал отведать нового кушанья Дугласу, как это было принято за столом у государей, боявшихся, что смерть проберется к ним в отравленной пище.

— Итак, королева не выйдет сегодня вечером? — еще раз спросил Дуглас.

— Так она заявила, — ответила леди Флеминг.

— В таком случае наше дальнейшее присутствие здесь бесполезно. Продолжайте ужинать, прекрасные дамы, а мы покидаем вас. Желаем вам провести приятно остаток вечера.

Он удалился так же медленно, как и вошел, с тем же выражением глубокой печали на лице, и слуги замка последовали за ним. Обе дамы уселись за стол, а Роланд Грейм с большим усердием начал им прислуживать. Кэтрин Ситон шепнула что-то своей приятельнице, которая в ответ на это тихо спросила ее, бросив взгляд на пажу, благородной ли он крови и хорошо ли воспитан. Полученный ответ, по-видимому, удовлетворил ее, ибо она сказала Роланду:

— Садитесь, молодой человек, и поужинайте с вашими сестрами по заточению в этой темнице.

— Позвольте мне лучше прислуживать вам, ведь это моя обязанность, — ответил Роланд, горя желанием продемонстрировать ту куртуазную почтительность, которая в то время считалась обязательной по отношению к прекрасному полу, в особенности к дамам и девицам из высшего общества.

— Вы скоро увидите, господин паж, — сказала Кэтрин, — что у вас остается не так уж много времени на еду; поэтому оставьте бесполезные церемонии, иначе вы еще до завтрашнего утра расклетесь в вашей учтивости.

— Ваша речь слишком свободна, дорогая, — сказала старшая из дам. — Скромность этого юноши могла бы научить вас более приличным манерам в отношении человека, которого вы видите сегодня первый раз в жизни.

Кэтрин Ситон потупила глаза, но перед этим успела бросить на Роланда взгляд, полный невыразимого лукавства, тогда как ее более степенная приятельница сказала ему покровительственным тоном:

— Не обращайтесь на нее внимания, молодой человек, она мало бывала в свете и знакома только с правилами поведения, принятыми в захолустном монастыре. Садитесь за стол и подкрепитесь после долгого пути.

Роланд Грейм повиновался с величайшей охотой, так как за целый день ему впервые представилась возможность поест. Линдсей и его спутники, казалось, вовсе не считались с человеческими потребностями. Тем не менее, невзирая на хороший аппетит Роланда, его природная учтивость и желание приобрести репутацию благовоспитанного юноши, хорошо усвоившего все правила светского обхождения с прекрасным полом, а также, надо полагать, и ценившего удовольствие поухаживать за Кэтрин Ситон, не позволили ему в этот вечер ни на минуту забыть о тех бесчисленных маленьких услугах, которые обязаны были оказывать дамам галантные кавалеры того времени. Он искусно разрезал мясо, выбирая, как это предписывалось этикетом, лучшие куски для дам. Не успевали они выразить какое-нибудь желание, как он вскакивал из-за стола, готовый немедленно исполнить его: наливал вино, разбавлял его водой, убирал и менял подносы, и все это с веселым усердием, почтительно и грациозно играя роль хозяина.

Увидев, что они кончили ужинать, он тут же предложил старшей из дам серебряный кувшин с водой,

тазик и полотенце с такой же церемонной торжественностью, как если бы он прислуживал самой королеве Марии. Затем он столь же почтительно подал тазик с чистой водой Кэтрин Ситон. Однако последняя, очевидно, решила нарушить, по возможности, его важную торжественность, и когда она мыла руки, ей удалось, как бы случайно, забрызгать водой лицо ее усердного помощника. Впрочем, если у нее и было подобное коварное намерение, она потерпела явную неудачу, ибо Роланд Грейм, внутренне гордясь своим хладнокровием, не рассмеялся и даже не был сконфужен. Единственное, чего добились девушка своей шалостью, был суровый упрек со стороны старшей подруги, которая расценила ее поведение как неловкую и бестактную выходку. Кэтрин на это ничего не ответила, но надулась с видом капризного ребенка, который только и ждет случая выместить на ком-нибудь свое неудовольствие по поводу незаслуженно полученного выговора.

Между тем не было ничего удивительного, что леди Мэри Флеминг пришлось по душе почтительное и ловкое поведение пажа, и она сказала Кэтрин, бросив благосклонный взгляд на Роланда Грейма:

— Вы были правы, Кэтрин, наш товарищ по заточению действительно благородного происхождения и получил подлинно светское воспитание. Я бы не желала, чтобы он возгордился от моих похвал, но благодаря ему мы сможем теперь обойтись без услуг Джорджа Дугласа, который устаивает нас своим вниманием только в присутствии самой королевы.

— Гм, едва ли, — ответила Кэтрин. — Ведь Джордж Дуглас — один из самых блестящих кавалеров во всей Шотландии, и смотреть на него приятно даже здесь, где мрачность замка Лохливен навевает на него такую же меланхолию, как и на все окружающее. Когда он был в Холируде, никому бы и в голову не пришло, что юный, подвижный Джордж Дуглас согласится стать тюремщиком здесь, в Лохливене, где ему не предоставляется ничего более веселого, чем держать по замком нескольких беззащитных женщин. Странное занятие для рыцаря

Окровавленного Сердца! Почему бы ему не предоставить это дело своему отцу или братьям?

— Возможно, что у него, как и у нас, не было выбора, — ответила леди Флеминг. — Но ты, Кэтрин, до-видимому, хорошо воспользовалась своим недолгим пребыванием при дворе, если помнишь даже, каким был тогда Джордж Дуглас.

— Я использовала только свои глаза, которые, по-моему, для того нам и даны, чтобы мы ими пользовались, а при дворе было на что посмотреть! Когда я жила в монастыре, глаза мне не приносили большой пользы, а теперь я оказалась в Лохлиvene, где они мне тоже почти не нужны, если не считать этого бесконечного вышивания.

— И вы говорите так, пробыв здесь, среди нас, лишь несколько часов? Неужели я слышу это от той, которая готова была жить и умереть в темнице, лишь бы ей дозволили прислуживать прекрасной ее королеве?

— Ну, раз уж вы осуждаете меня серьезно, тогда и я не стану шутить, — рассердилась Кэтрин Ситон. — В своей преданности моей бедной крестной матери я не уступлю самой напыщенной придворной даме, на устах которой вечные нравоучения, а на шее — туго накрахмаленные брыжи. И вы отлично знаете, что это правда, госпожа Мэри Флеминг, и говорить, что это не так, значит понапрасну оскорблять меня.

«Сейчас она вызовет на дуэль эту фрейлину, — подумал Роланд Грейм. — Она, наверно, швырнет ей перчатку, и, если у Мэри Флеминг хватит духу ее поднять, произойдет настоящий поединок!»

Но ответ Мэри Флеминг сразу же угасил весь пыл ее противницы.

— Ты хорошая и преданная девочка, Кэтрин, — сказала старшая леди. — Но да сжалится небо над тем, кто в один прекрасный день получит в жены это создание, чья прелесть будет его восхищать, но чье лукавство измучит его. Ты способна свести с ума десяток мужей.

— Ну, — сказала Кэтрин, снова давая волю своему беспечному добродушию, — мой муж сам должен

быть сумасшедшим, если предоставит мне такую возможность. Но я рада, что вы не рассердились всерьез на меня. — С этими словами она бросилась в объятия своей подруги и продолжала уже примирительным и нежным тоном, целуя ее в обе щеки: — Вы ведь знаете, моя дорогая Флеминг, что мне приходится бороться с соединившимися во мне высокомерной гордостью моего отца и веселым нравом моей матери. Да будет господь милостив к ним! Они дали мне эти прекрасные качества, за неимением прочих, более подходящих по нынешним временам, вот я и выросла своенравной и дерзкой. Но достаточно мне пробыть одну неделю в этом замке, и... увы, моя дорогая Флеминг, мой нрав станет таким же смиренным и тихим, как ваш собственный.

Чопорность и приверженность к этикету Мэри Флеминг не могли устоять перед этими пылкими излияниями. Она, в свою очередь, с нежностью поцеловала Кэтрин Ситон и в ответ на ее последние слова лишь заметила:

— Пресвятая дева не допустит, милая Кэтрин, чтобы вы утратили хоть крупицу своей живой резвости и беззаботности, которые так вам к лицу. Постарайся удерживать свой острый язычок в границах разумного, и нам всем от этого будет только лучше. Но пусти меня, сумасшедшая девчонка, я слышу свисток ее величества. — И, вырвавшись из объятий Кэтрин, она бросилась к дверям опочивальни королевы Марии, откуда доносился звук серебряного свистка, который ныне употребляют лишь боцманы на кораблях, но в те давние времена, когда еще не вошли в моду колокольчики, такой свисток являлся обычным средством, каким пользовались дамы, в том числе и дамы высшего света, для вызова слуг. Мэри Флеминг уже сделала несколько шагов к двери, но затем вернулась и, приблизившись к молодой паре, которую она оставила ненадолго наедине, сказала тихо, но очень серьезно:

— Я считаю немислимым, чтобы кто-либо из нас при каких-либо обстоятельствах забыл, что мы со-

ставляем свиту шотландской королевы; а в ее тяжелом положении всякое мальчишество, всякие ребяческие вольности могут лишь порадовать ее врагов, которые и без того не раз ставили ей в вину легкомыслие всевозможных праздных развлечений, которых при ее дворе предавались молодые веселые люди. — С этими словами она удалилась.

На Кэтрин Ситон это предупреждение произвело, по-видимому, сильное впечатление. Она вновь опустилась в то кресло, с которого встала, бросившись обнимать Мэри Флеминг, и несколько минут сидела неподвижно, подперши голову рукой. Роланд Грейм не спускал с нее глаз: его обуревали различные чувства, которых он, пожалуй, и сам не мог бы ни выразить, ни объяснить. Когда она медленно подняла голову, изменив свою покаянную позу, ее глаза встретились с глазами Роланда, и постепенно в них снова появилось обычное выражение веселого лукавства, что, естественно, вызвало такое же выражение у столь же непосредственного в своих настроениях паж. С минуту они сидели с весьма серьезным видом, глядя друг на друга, между тем как глаза их искрились весельем, пока наконец Кэтрин первая не нарушила молчание.

— Не объясните ли вы мне, любезный сэр, — начала она с примерной скромностью, — какие открытия в моем лице вызывают те проникновенные и многозначительные взгляды, которыми устаивает меня ваша милость? Если судить по вашему в высшей степени лукавому виду, добрейший сэр, между нами существуют какие-то таинственные связи и секреты, а между тем даже пресвятая дева могла бы подтвердить, что до сегодняшнего дня я видела вас всего лишь два раза в жизни.

— И где же, да позволено мне будет спросить, состоялись эти счастливые встречи? — спросил Роланд.

— Первая — в монастыре святой Екатерины, — ответила девушка, — а вторая, длившаяся не более пяти минут, — во время небезызвестного налета или набега, который вам угодно было произвести на дом моего отца, лорда Ситона, откуда, к моему, да,

пожалуй, и вашему удивлению, вы вернулись с залогом дружбы и расположения, вместо того чтобы вальтася где-нибудь с переломанными костями, что было бы куда более вероятной наградой за ваше вторжение, если вспомнить о вспыльчивости семейства Ситонов. Я очень огорчена, — добавила она насмешливо, — тем, что ваша память изменяет вам, когда речь идет о столь важных событиях, и для меня просто унизительно, что моя память в этом случае оказалась крепче вашей.

— Ваша память не так уж точна, любезная сударыня, — ответил паж, — если вы забыли о нашей третьей встрече, в подворье святого Михаила, когда вам угодно было оставить след хлыста на лице моего спутника, без сомнения для того, чтобы показать, что в роду Ситонов ни вспыльчивость его членов, ни ношение камзола и штанов не подчиняется салическому закону и не является исключительной привилегией мужчин.

— Любезный сэръ, — ответила Кэтрин, глядя на него в упор и с некоторым удивлением, — если только вас не покинул разум, я, право, не знаю, о чем вы говорите.

— Честное слово, любезная леди, — ответил Роланд, — если бы даже я был столь же мудр, как колдун Майкл Скотт, я и тогда вряд ли разгадал бы загадку, которую вы мне предложили. Разве я не видел вас вчера вечером в подворье святого Михаила? Разве не вы вручили мне эту шпагу с условием, что я обнажу ее только по приказу моей прирожденной и законной повелительницы? И разве я нарушил это условие? Или эта шпага — просто кусок дерева, мои слова — шелест камыша, моя память — сон, а мои глаза ничего не видят и годны лишь на пищу воронам, которые выключают их из моих глазниц?

— Ну, раз ваши глаза и в других случаях служат вам так же, как во время вашего видения в подворье святого Михаила, — сказала Кэтрин, — го, если не говорить о боли, я не думаю, чтобы вороны причинили вам большой ущерб, выклевав их. Но тсс, я слышу звон колокола. Ради бога, тише; нашу беседу придется прервать.

Девушка была права. Ибо как только глухой звон замкового колокола раздался в сводчатых покоех, дверь передней отворилась, и мрачного вида дворецкий с золотой цепью и белым жезлом вошел в гостиную в сопровождении тех же слуг, которые раньше накрывали на стол, а теперь с такими же церемониями стали готовиться вынести его. Дворецкий оставался неподвижным, как старинное изваяние, пока слуги делали свое дело; а когда оно было выполнено, со стола все убрано и столешница снята с подставки и приставлена к стене, он громогласно заявил, словно глашатай, читающий торжественное обращение:

— Моя благородная госпожа, леди Маргарет Эрскин, в замужестве Дуглас, доводит до сведения леди Марии Шотландской и ее приближенных, что служитель истинного евангелия, его преподобие капеллан, сегодня вечером, как обычно, будет излагать, толковать и пояснять священное писание в согласии с учением евангелической конгрегации.

— Послушайте-ка, друг мой, мистер Драйфсдейл, — сказала Кэтрин. — Насколько я понимаю, это объявление является обычной вечерней церемонией. Так вот, прошу вас запомнить, что леди Флеминг и я, — ибо я полагаю, что ваше дерзкое приглашение обращено только к нам, — решили идти к небесам дорогою святого Петра. Поэтому я не вижу, кому бы здесь могло принести пользу ваше изложение, толкование и пояснение святого писания, если не считать разве этого бедняги паж, который, находясь, подобно вам, в когтях у сатаны, сделает, пожалуй, лучше, если отправится молиться с вами и не станет стеснять нас в наших подлинно христианских молитвах.

Паж собрался уже начисто отвергнуть все то, что ему приписывалось в этой речи, но вдруг вспомнил то, что произошло между ним и регентом, и, заметив предостерегающе поднятый палец Кэтрин, понял, что здесь ему придется снова притворяться так же, как в замке Эвенелов, и последовал за Драйфсдейлом вниз, в часовню, где принял участие в вечерней молитве.

Капеллана звали Элиас Хендерсон. Это был человек в расцвете сил, обладавший незаурядными способностями, которые он старательно развивал, получив прекрасное по тем временам образование. К этому следует добавить, что он умел сжато и выразительно излагать свои мысли, а иногда поднимался до подлинного красноречия, поясняя свои идеи убедительными примерами.

Религиозные убеждения Роланда Грейма, как мы уже имели случай отметить, покоились на довольно шатких основаниях, подкрепляясь скорее приказаниями бабки и тайным стремлением противоречить замковому капеллану, чем прочной и устойчивой системой взглядов, сложившихся на основе римского вероучения. То, что ему пришлось пережить в последнее время, расширило и обогатило его взгляды на жизнь. Кроме того, чувство стыда от того, что он не все понимает в политических диспутах между сторонниками ортодоксальной и реформатской религий, заставляло его прислушиваться с большим вниманием, чем он делал это раньше, к взволнованным рассуждениям капеллана по поводу основных разногласий между обеими церквями. Так прошел его первый день в замке Лохливен; что же касается последующих, то некоторое время они были утомительно скучны, мало чем отличаясь один от другого.

Глава XXIV

Сколь тягостна здесь жизнь!
Тяжелый свод, решетки да затворы
И мрачные часы с соседом мрачным,
Чья мысль своей заполнена бедою...
Ему ли думать о моих страданиях?

Комедия «Лесничий»

Вдали от мира тускло и монотонно протекала жизнь Марии Стюарт и ее небольшой свиты. Разнообразие вносила разве только погода, которая либо допускала обычные прогулки королевы в саду или

по крепостному валу замка, либо делала их невозможными. Большую часть утра Мария Стюарт со своими фрейлинами занималась вышивками, многие из которых сохранились до нашего времени как свидетельство ее неустанного трудолюбия. В эти часы пажу разрешалось прогуливаться по замку и по острову; иногда он даже получал приглашение сопровождать Джорджа Дугласа на рыбную ловлю или на охоту. Эта возможность развлечься омрачалась лишь странной меланхолией, наложившей, казалось, навсегда свою печать на черты этого юноши и определявшей все его поступки; его скорбь была так глубока, что Роланд ни разу не видел Дугласа улыбающимся или разговаривающим о чем-либо, кроме тех вещей, которыми они в данный момент занимались.

Приятнее всего для Роланда были те случайные часы, когда ему разрешалось оказывать различные услуги королеве и ее фрейлинам, а также обеденное время, которое он всегда проводил с Мэри Флеминг и Кэтрин Ситон. Ему часто приходилось восхищаться остроумием и изобретательной фантазией молодой девушки, которая была неутомима в стараниях развлечь королеву и хотя бы на время прогнать одолевавшую ее грусть. Она танцевала, пела, рассказывала различные истории из старых и новых времен с тем подлинным талантом, при котором человек испытывает наслаждение не от тщеславной демонстрации своих способностей перед окружающими, а от радостного ощущения своего артистического дарования. При всем том ее высокие совершенства носили отпечаток простоты и легкомыслия, более подходящих какой-нибудь деревенской красотке, кокетничавшей в майском хороводе, чем дочери знатного барона и наследнице древнего рода. В ней было что-то прелестно озорное, что, однако, никогда не переходило в бестактность и было чрезвычайно далеко от вульгарности; это придавало всем ее поступкам какую-то резвую веселость, и Мария Стюарт, порою защищая девушку от суровых замечаний ее чопорной

приятельницы, сравнивала Кэтрин с вырвавшейся из клетки певчей птицей, которая, наслаждаясь свободой и беспечно порхая в зелени, продолжает распевать те же песни, каким ее обучили в неволе.

Время, которое паж проводил, наслаждаясь обществом этого прелестного существа, пролетало настолько незаметно, что краткие эти мгновения вознаграждали его за тягостную скуку всего остального дня. И тем не менее уж очень непродолжительны были эти полные своеобразной прелести минуты, а встречи наедине не только не разрешались, но были просто невозможны. То ли приближенные королевы должны были соблюдать особую щепетильность, то ли так уж сложились представления госпожи Флеминг о пристойности, но только эта дама прилагала все усилия, чтобы помешать возникновению какой-либо близости между молодыми людьми, и, хлопоча, по ее мнению, о собственном благе Кэтрин, использовала всю свою опытность и пустила в ход весь запас бдительности, который приобрела в бытность свою старшей фрейлиной королевы, снискав себе этим искреннюю ненависть всех прочих фрейлин. И все-таки вовсе прекратить их случайные встречи можно было бы лишь в том случае, если бы Кэтрин искренне старалась их избежать, а Роланд Грейм не так усердно стремился подстеречь девушку. В этих случаях всегда допускались улыбки, насмешки, шутки, смягченные лукавым взглядом. Но эти мимолетные свидания не давали ни повода, ни возможности возобновить разговор об обстоятельствах их предшествующих встреч и не помогали Роланду подробнее выяснить загадку появления в подворье святого Михаила пажа в пурпурном бархатном плаще.

Прошли скучные зимние месяцы, и уже приближалась весна, когда Роланд Грейм стал замечать какие-то перемены в поведении своих товарищей по заточению. Не будучи занят каким-либо определенным делом, он, как и всякий другой человек его возраста, воспитания и профессии, с любопытством присматривался к окружающим и сначала заподозрил, а затем проникся уверенностью в том, что их терзает

какая-то забота, которую они очень хотели бы скрыть от него. Теперь он уже почти наверняка знал, что королева Мария каким-то непонятным для него путем поддерживает связь с кем-то, находящимся за пределами замка, по ту сторону озера, и питает тайную надежду на освобождение или бегство. В ее разговорах с фрейлинами, при которых ему волей-неволей приходилось присутствовать, королеве не всегда удавалось скрыть свою осведомленность по поводу событий, происходивших во внешнем мире, событий, о которых он сам узнавал только из ее уст. По его наблюдениям, она теперь больше чем обычно писала и меньше вышивала; вместе с тем, как бы желая усыпить подозрения леди Лохливен, она стала мягче обращаться с владелицей замка, что, по-видимому, должно было выражать ее решимость покориться судьбе.

«Они считают меня слепым, — возмущался паж, — и не доверяют мне, то ли потому, что я, по их мнению, слишком еще молод, то ли потому, что меня прислал сюда регент. Ну что ж, пусть будет так! Когда-нибудь они еще будут рады довериться мне, и тогда даже язвительная Кэтрин Ситон удостоверится, что на меня можно положиться ничуть не меньше, чем на этого мрачного Дугласа, за которым она все время ухаживает. А быть может, они не могут мне простить того, что я прислушиваюсь к проповедям преподобного Элиаса Хендерсона? Но ведь они сами направили меня к нему, а если речи этого человека полны истины и здравого смысла, если он проповедует подлинное слово божье, значит, ему можно доверять не меньше, чем папе и церковным соборам».

Весьма возможно, что эта последняя догадка Роланда Грейма раскрывала истинную причину того, почему дамы не допускали его на свои совещания. За последнее время он часто беседовал с Хендерсоном о догматах религии и дал понять капеллану, что нуждается в его духовном руководстве, хотя Роланду и в голову не приходило, что было бы, пожалуй, лучше и даже непременно следовало бы признаться

проповеднику в том, что до настоящего времени он разделял догматы римской церкви.

Элиас Хендерсон, ревностный пропагандист реформатской религии, неспроста избрал для себя поприще в уединении замка Лохливен. Он надеялся отторгнуть от Рима приближенных свергнутой королевы, а также укрепить в вере тех, кто уже раньше придерживался протестантской доктрины. А быть может, его устремления были еще более дерзновенны, и он мнил увидеть в числе прозелитов самое низложенную властительницу. Увы, подобные надежды, если он и питал их, были начисто пресечены тем упорством, с которым королева и ее фрейлины отказывались увидеть и выслушать его. Поэтому возможность расширить религиозное образование Роланда Грейма и внушить ему более здравые представления о его долге перед господом рассматривалась этим добрым человеком как врата, открытые провидением для спасения грешников. Ему, конечно, и не снилось, что он обратил в истинную веру паписта, однако невежество Роланда в некоторых вопросах реформатской веры было настолько глубоко, что преподобный Хендерсон, расхваливая его перед леди Лохливен и ее внуком за усердие, редко упускал случай добавить, что у его достопочтенного собрата Генри Уордена, по-видимому, несколько поубавилось силы духа, если в его пастве находятся люди, столь мало сведущие в основных вопросах вероисповедания. Роланд же не стал раскрывать ему истинную причину такого положения и не сказал, что для него было делом чести забыть все, чему учил его Генри Уорден, сразу же, как только его не заставляли больше под угрозой порки заучивать эти уроки наизусть.

Уроки нового учителя, пусть даже менее доходчивые, воспринимались Роландом потому, что они заинтересовывали его, пробуждали его сознание, а уединенное пребывание в замке Лохливен располагало к более серьезным размышлениям, чем те, которые занимали пажу до сих пор. Тем не менее он все еще колебался; правда, это были колебания человека, уже почти полностью убежденного. Его вни-

мательность во время бесед с капелланом вызвала одобрение самой суровой владелицы замка, и ему даже раза два разрешили, правда с большими предосторожностями, съездить по поручению своей несчастной госпожи в соседнее селение Кинрос, расположенное на противоположном берегу озера.

В течение некоторого времени Роланд Грейм казался как бы нейтральной фигурой в борьбе двух партий, на которые делились обитатели окруженного водой лохливенского замка. Но по мере того, как он вырастал во мнении хозяйки замка и ее капеллана, он с глубоким прискорбием замечал, что теряет во мнении Марии Стюарт и ее приближенных. Уже очень скоро паж почувствовал, что на него смотрят как на шпиона, что та непринужденность, с которой они прежде вели при нем разговор, не скрывая естественных проявлений гнева, скорби или веселья, подсказанных минутным настроением, сейчас уступила место настороженной сдержанности; беседы их сводились теперь к самым безобидным предметам, и даже тут обо всем говорилось с подчеркнутой осторожностью. Это очевидное недоверие усугубилось еще и общей переменой в их отношении к злополучному пажу. Королева, которая вначале была с ним подчеркнуто любезна, теперь почти вовсе не удоставала его разговором, если не считать необходимых деловых распоряжений. Леди Флеминг ограничивалась в высшей степени сухими и холодными проявлениями внешней учтивости, а Кэтрин Ситон стала на редкость колючей в своих шутках — и вместе с тем более робкой, обидчивой и раздражительной во время тех кратких бесед, какие иногда им еще случалось вести. К вящему неудовольствию паж, он заметил — или ему казалось, что он заметил, — признаки какого-то сговора между Джорджем Дугласом и хорошенькой Кэтрин Ситон; охваченный ревнивыми подозрениями, он почти окончательно убедил себя в том, что подмеченные им взгляды, которыми они порой обменивались, содержат в себе глубокий тайный смысл.

«Что ж тут удивительного, — думал он, — если, сблизившись с сыном гордого и могущественного барона, она не находит больше ни ласкового взгляда, ни словечка для незадачливого бедняги паж».

Словом, положение Роланда Грейма стало действительно неприятным, и естественно, что он восставал в душе против подобной несправедливости, лишившей его единственного, что могло еще скрасить томительное заточение в замке. Он обвинял королеву Марию и Кэтрин Ситон (мнение леди Флеминг было ему безразлично) в непоследовательности, с которою они сердятся на него за то, что явилось прямым следствием их собственных распоряжений. Не к чему было посылать его слушать столь неотразимо убедительного проповедника. Аббат Амвросий, вспоминал он, лучше понимал всю слабость папских догматов. Недаром он рекомендовал ему во время проповедей и поучений старого Генри Уордена мысленно твердить «Ave», «Credo» и «Pater noster»,¹ чтобы таким путем ни на одно мгновение не склонять слух к доводам еретической доктрины.

«Не могу я дольше влачить подобную жизнь, — решил паж. — Неужели они считают меня способным на измену королеве только потому, что я с полным основанием усомнился в ее вере? Ведь это значило бы служить, как они выражаются, дьяволу из любви к богу. Лучше уж мне вообще уйти отсюда и отправиться бродить по свету. Тот, кто находится в услужении у красивых женщин, вправе рассчитывать хотя бы на благосклонный взгляд или доброе слово. Это просто невыносимо, что джентльмену приходится терпеть их подозрительность и холодность, да еще при этом находиться в пожизненном заточении. Завтра же на рыбной ловле я выскажу все это Джорджу Дугласу».

Взволнованный своим смелым решением, Роланд Грейм провел бессонную ночь, а утром поднялся, все еще сомневаясь, стоит ли следовать этому решению.

¹ «Богородице, дево, радуйся», «Верую» и «Отче наш» (лат.).

Между тем случилось так, что его вызвали к королеве в необычное время дня, как раз в тот момент, когда он с Джорджем Дугласом собрался на рыбную ловлю. Паж отправился в сад узнать, каковы будут распоряжения королевы. Но когда он появился перед ней с удочками в руках, Мария Стюарт, обернувшись к леди Флеминг, сказала:

— Мэри, придется придумать для нас какое-нибудь другое развлечение, та *bonne amie*; ¹ наш скромный паж уже составил себе программу увеселений на сегодня.

— Я говорила с самого начала, — ответила леди Флеминг, — что вашему величеству не приходится рассчитывать на общество этого молодого человека, которому его связи с гугенотами доставляют возможность проводить время куда приятнее, чем оставаясь с нами.

— Мне бы хотелось, — вмешалась Кэтрин с возбужденным, покрасневшимся от обиды лицом, — чтобы друзья этого молодого человека забрали его подальше от нас, а на смену ему привезли бы пажа, который (если такая вещь возможна) был бы верен своей королеве и своей религии.

— Первая часть вашего желания легко может быть выполнена, миледи, — сказал Роланд Грейм, будучи не в силах более сдерживаться под этими падавшими со всех сторон ударами, и чуть было не добавил: «Я искренне желаю вам подыскать на мое место такого пажа, который (если такая вещь возможна) сносил бы все дамские капризы и не сошел с ума». Но тут он, к счастью, вспомнил, какие угрызения совести ему приходилось испытывать всякий раз, когда он в подобных случаях давал волю своему от природы несдержанному нраву, и, стиснув зубы, подавил этот державшийся на кончике языка упрек, столь неуместный в присутствии ее величества.

— Ну что же вы стоите, точно в землю вкопанный? — спросила королева.

¹ Мой дорогой друг (франц.).

— Я ожидаю распоряжений вашего величества, — отвечал паж.

— Мне ничего не нужно от вас. Ступайте, сэр!

Покинув сад и направляясь к лодке, он отчетливо расслышал, как Мария Стюарт укоризненно заметила одной из фрейлин:

— Вот видите, в какое неловкое положение вы нас поставили!

Вышеописанная короткая сцена окончательно утвердила Роланда Грейма в его намерении по возможности скорей покинуть замок, и он решил безотлагательно сообщить об этом Джорджу Дугласу.

Этот джентльмен, по обыкновению молча сидевший на корме небольшого челна, которым они пользовались в подобных случаях, приводил в порядок свои рыболовные принадлежности и время от времени знаками показывал сидящему на веслах Грейму, куда нужно грести. Когда они были на расстоянии одного или двух фёлонгов от замка, Роланд положил весла и отрывисто заявил своему спутнику:

— Любезный сэр, с вашего позволения, я бы хотел сообщить вам нечто весьма важное.

Меланхолическую задумчивость Дугласа как рукой сняло; его лицо мгновенно приняло выражение острого, напряженного и жадного интереса, какое бывает у человека, ожидающего услышать весть о чем-то тревожном и весьма значительном.

— Мне до смерти надоел замок Лохливен, — продолжал Роланд.

— И это все? — спросил Дуглас. — Вряд ли найдется в этом замке хоть один обитатель, который не мог бы сказать о себе то же самое.

— Возможно! Но я не рожден в этом замке и не являюсь узником. Следовательно, мое желание покинуть его вполне обоснованно.

— Столь же обоснованно было бы ваше желание покинуть замок, если бы вы родились в нем или были его узником.

— Но я не просто желаю покинуть замок Лохливен, — настаивал Роланд, — я твердо решил осуществить это желание.

— Принять подобное решение легче, чем его выполнить, — ответил Дуглас.

— Но почему же, если я собираюсь заручиться на это вашим согласием и согласием леди Лохли-вен?

— Вы ошибаетесь, Роланд, — сказал Дуглас, — вам следует знать, что столь же существенно и согласие двух других лиц — леди Марии, вашей госпожи, и моего дяди регента, который приставил вас к ее особе и который сразу же заподозрит что-то неладное, если она так часто будет менять своих приближенных.

— Выходит, что я должен оставаться здесь независимо от моего желания? — спросил паж, несколько озадаченный тем, что уже давно дошло бы до сознания человека более опытного.

— Во всяком случае, — сказал Джордж Дуглас, — вам придется оставаться здесь до тех пор, пока мой дядя не согласится отпустить вас.

— Если говорить по совести, — сказал паж, — я готов признаться вам, как человеку, который не выдаст меня, что, как только я почувствую себя узником этого замка, никакие стены и никакое озеро не удержат меня здесь.

— Если говорить по совести, — ответил Дуглас, — я не могу осудить вас за такое намерение; но, невзирая на это, мой отец, или дядюшка, или граф, или кто-либо из моих братьев, словом — любой из королевских лордов, в чьи руки вы попадетесь, в этом случае повесит вас как собаку или как часового, сбежавшего с поста. И смею вас уверить, вам вряд ли удастся уйти от них. Гребите-ка к острову Сент-Серф, потому что ветер сейчас западный, а рыба лучше клюет под ветром, где рябь сильнее. Мы с вами вернемся к этому вопросу по окончании рыбной ловли.

Их ловля продолжалась успешно, но даже в этом молчаливом и необщительном времяпрепровождении никогда еще два рыболова не были менее много-словны.

Когда время истекло, Дуглас, в свою очередь, сел на весла, а Роланд Грейм, по его указанию, повел лодку, направляя ее к замковой пристани.

Внезапно на середине озера Дуглас также положил весла и, озираясь вокруг, сказал Грейму:

— Я хотел бы сообщить вам об одном важном деле. Но это — тайна, и притом столь серьезная, что даже здесь, где вокруг нас лишь волны да облака и где никто не может нас подслушать, я все-таки не решаюсь раскрыть ее вам.

— Пусть она лучше так и останется нераскрытой, сэр, — сказал Роланд Грейм, — если уж вы не доверяете честности того, кто один лишь может услышать вас.

— В вашей честности я не сомневаюсь, — возразил Джордж Дуглас. — Но вы молоды, опрометчивы и непостоянны.

— Я действительно молод и, возможно, опрометчив, — согласился Роланд. — Но кто вас осведомил о моем непостоянстве?

— Некто, знающий вас, быть может, лучше, чем вы сами себя знаете, — ответил Дуглас.

— Мне кажется, вы имеете в виду Кэтрин Ситон? — спросил паж, и при этих словах его сердце забилося сильнее. — Но ее собственный нрав во сто раз более изменчив, чем озеро, по которому мы плывем.

— Мой юный друг, — сказал Дуглас, — прошу вас не забывать, что Кэтрин Ситон — благородная и знатная леди, и о ней не следует говорить в подобной манере.

— Мейстер Джордж Дуглас! — воскликнул Грейм. — Если я вас правильно понял и в ваших словах действительно кроется угроза, то разрешите вам заметить, что для меня цена таких угроз не превышает плавника вон той мертвой форели, а кроме того, вам следует понять, что у рыцаря, выступающего в защиту всех благородных и знатных дам, которых мужчины обвиняют в непостоянстве взглядов и вкусов, наберется, пожалуй, немало хлопот.

— Да ну тебя, — сказал сенешаль, хотя тон его оставался добродушным. — Ты просто сумасбродный мальчишка, неспособный ни на что более серьезное, чем рыбная ловля или соколиная охота.

— Если ваша тайна связана с Кэтрин Ситон, — сказал паж, — мне до нее нет дела. Можете так и передать ей, если желаете. Я уверен, что она сама предоставит вам возможность поговорить с ней, как она это делала и раньше.

Румянец, вспыхнувший на лице Дугласа, показал, что паж попал в цель, хотя и говорил наугад. Однако внезапно возникшая уверенность подействовала на Роланда, как удар кинжала в самое сердце. Его спутник, не произнеся больше ни единого слова, взялся за весла и с силой греб, пока они не добрались до острова и замка. Слуги унесли их добычу, а оба рыбака молча разошлись по своим комнатам.

Роланд Грейм на протяжении целого часа в жалобах изливал свой гнев на Кэтрин Ситон, королеву, регента и на весь род Лохливых с Джорджем Дугласом во главе. Тем временем подошла пора, когда он должен был прислуживать за обедом у королевы. Одеваясь для этой цели, он посетовал, что это стоит ему столько хлопот, хотя до сих пор из мальчишеского щегольства рассматривал подобного рода хлопоты как свою важнейшую обязанность. А когда ему пришлось занять место за стулом королевы, его вид так ясно выражал оскорбленное достоинство, что это не могло укрыться от глаз Марии Стюарт и, по-видимому, рассмешило ее, ибо она шепнула что-то по-французски своим фрейлинам, что заставило леди Флеминг рассмеяться, а Кэтрин, казалось, одновременно позабавило и привело в смущение. Эту шутку, причина которой была ему неизвестна, несчастный паж воспринял, конечно, как новое оскорбление, и от этого выражение мрачного достоинства на его лице еще более усилилось, что могло бы вызвать новый взрыв веселья, если бы настроение Марии Стюарт не изменилось и в ней не пробудилось сочувствие к юноше.

С тем особым тактом и деликатностью, в которых ни одна из женщин не могла с ней сравниться, королева постепенно умерила возмущение своего обидчивого пажа. Превосходное качество форели, пойманной им во время рыбной ловли, отменный вкус и красивый красный цвет рыбы, которою с давних пор славилось озеро, подали королеве отличный повод прежде всего выразить свою благодарность пажу за столь приятное дополнение к столу, особенно в *jour de jeûne*; ¹ затем она перешла к расспросам о месте, где проходила ловля, о размерах форели, ее особенностях, периоде вылова, а также к сравнению лохливленской форели с той, которую ловят в реках и озерах на юге Шотландии. Дурное расположение духа Роланда Грейма никогда не носило устойчивого характера. Оно растаяло, как туман под солнцем, и он с легкостью перешел к пылкому и воодушевленному рассказу о лохливленской форели, о форели морской и речной, о форели-кумже, о хариусе, который никогда не попадает на крючок, о парре, которого некоторые считают молодым лососем, о херлинге, который часто встречается в Ните, и о вендисе, которую можно выловить только в озере замка Лохмейбен. Он продолжал бы говорить и дальше, с энтузиазмом и пылкостью молодого рыбака, если бы внезапно не заметил, что улыбка, с которою королева вначале слушала его, постепенно погасла и слезы выступили у нее на глазах, несмотря на все ее усилия подавить их. Он сразу остановился и, в свою очередь огорчившись происшедшим, спросил:

— Не вызвал ли я невольно неудовольствия вашего величества?

— Нет, мой бедный мальчик, — ответила королева. — Но когда вы перечисляли озера и реки моего королевства, воображение, как это иногда бывает, унесло меня прочь от этих мрачных стен к романтическим водам Нитсдейла и королевским башням Лохмейбена. О страна, которой так долго правили мои предки, твоя королева лишена теперь тех радо-

¹ Постный день (*франц.*).

стей, которыми ты так щедро одеяешь всех и каждого! Теперь ничтожнейший из нищих, свободно бродящий по прибрежным городам и дорогам, не обменялся бы долей с Марией Шотландской.

— Вашему величеству, — сказала леди Флеминг, — было бы лучше перейти в опочивальню.

— Ну что же, пойдем, моя добрая Флеминг, — сказала королева. — Я не стану обременять столь юные души зрелищем моей скорби.

Эти слова сопровождались печальным взглядом, полным сочувствия к Роланду и Кэтрин, которые теперь оставались одни в зале.

Позиция пажа была затруднительной, потому что, как, вероятно, испытал на себе каждый читатель, побывавший в подобном положении, находясь наедине с красивой девушкой, в высшей степени трудно сохранять позу оскорбленного достоинства, какими бы основательными ни были причины вашей обиды. Что касается Кэтрин Ситон, то она была молчалива и спокойна, подобно неторопливому привидению, которое, располагая избытком времени, терпеливо дожидается, пока жалкий смертный, которому оно явилось, преодолеет ужас и, в согласии с основным законом демонологии, заговорит первым. Но так как Роланд, видимо, не спешил воспользоваться этой привилегией, она сделала еще один шаг и сама прервала молчание:

— Нельзя ли узнать, любезный сэр, если только мне позволено будет столь незначительным вопросом нарушить ваше августейшее раздумье, куда вы изволили девать ваши четки?

— Я потерял их, сударыня, недавно потерял, — ответил Роланд смущенно и несколько сердито.

— А могу я еще спросить у вас, сэр, почему вы не заменили их другими? Мне бы хотелось подарить вам вот эти, — сказала она, доставая из кармана эбеновые четки, украшенные золотом. — Храните их в память о нашем прежнем знакомстве.

Голос ее при этих словах задрожал, что мгновенно заставило Роланда Грейма забыть об обиде и присесть рядом с Кэтрин. Но девушка тут же

снова обрела свой обычный смелый и решительный тон.

— Я ведь не просила вас подойти и сесть рядом со мной, тем более что знакомство, о котором я нынче вспомнила, вот уже много дней как умерло, окоченело, было уложено в гроб и предано земле.

— Избави бог! — воскликнул паж. — Оно всего только заснуло; и нынче, как только вы пожелали его пробудить, прекрасная Кэтрин, поверьте, что залог вашей вновь вернувшейся благосклонности...

— Нет, нет, — сказала Кэтрин, отводя руку с четками, за которыми уже потянулся было Роланд, — по зрелом размышлении я изменила свое намерение. Зачем нужны еретику эти святые четки, на которых лежит благословение святейшего отца церкви.

Роланд с горечью поморщился; он хорошо понимал, какой оборот принимает разговор, и чувствовал, что его положение в любом случае окажется затруднительным.

— Но ведь вы их предложили мне как знак вашего расположения, — напомнил он.

— Это так, любезный сэр, но это расположение относилось к верному подданному королевы, преданному и благочестивому католику, и тому, кто в одно время со мной торжественно посвятил себя великому делу, которое, как вы теперь уже знаете, заключалось в служении церкви и Марии Стюарт. Такому человеку, если вам о нем приходилось слышать, я действительно могла бы подарить свое расположение, но отнюдь не тому, кто водится с еретиками и вот-вот станет отступником.

— Мне трудно верить, прекрасная леди, — сказал Роланд с возмущением, — что флюгер вашей благосклонности поворачивается только в ту сторону, куда дует католический ветер, в особенности если учесть, что он так явно указывает на Джорджа Дугласа, который, насколько мне известно, отнюдь не католик и к тому же верный слуга короля.

— Джордж Дуглас достоин того, чтобы вы о нем лучше думали, — начала было Кэтрин, но внезапно оборвала свою речь, как бы испугавшись, что наго-

ворила лишнего, и продолжала уже в другом тоне. — Поверьте мне, мейстер Роланд, что все, кто вам желает добра, глубоко сожалеют о вас.

— Их число не так уж велико, я полагаю, — ответил Роланд, — и их сожаление, если оно вообще имеет место, не продолжится и десяти минут.

— Число их больше, а сожаление глубже, чем вам кажется, — возразила Кэтрин. — Но... возможно, они ошибаются — вам лучше судить о ваших поступках; и если вам золото и церковные земли дороже, чем честность, преданность и вера ваших предков, то почему совесть должна стеснять вас больше, чем других?

— Бог свидетель, — ответил Роланд, — что если у нас и имеется различие во взглядах... то есть, если у меня и возникли некоторые сомнения в области веры, они основаны исключительно на моих убеждениях и голосе моей совести.

— О, ваша совесть, ваша совесть! — повторила Кэтрин с насмешкой. — Ваша совесть служит вам козлом отпущения. Пожалуй, она достаточно вынослива, чтобы выдержать тяжесть одного из лучших имений аббатства святой Марии в Кеннаквейре, недавно конфискованного нашим благородным королем у аббата и монастырской общины за тяжкий грех верности своим религиозным обетам, каковое имение ныне, быть может, будет вручено высочайшим и всемогущим изменником и прочая и прочая Джеймсом, графом Мерри, исправному дамскому угоднику Роланду Грейму за его преданную и верную службу в качестве соглядатая и доверенного тюремщика при особе его законной государыни королевы Марии.

— О, как вы несправедливы ко мне! — воскликнул паж. — Да, Кэтрин, жестоко несправедливы. Богу известно, что я готов ради несчастной королевы рискнуть и даже пожертвовать собственной жизнью. Но что я или кто бы то ни было другой мог бы сделать для нее?

— Кое-что можно сделать... многое можно сделать... все можно сделать, если бы только нашлись люди столь же верные, как шотландцы времен Брюса

и Уоллеса. О Роланд, если бы вы знали, какие возможности вы упускаете только благодаря вашему непостоянству и холодности вашей натуры!

— Как могу я упустить возможности, о которых мне ничего не известно? — резонно возразил Роланд. — Был ли такой случай, чтобы королева, или вы сами, или кто бы то ни было другой говорил со мной о какой-либо услуге для королевы и чтобы я отказался ее выполнить? А разве все вы не остерегались меня во время ваших совещаний, словно я гнуснейший изменник, какой только был со времен Ганелона?¹

— А кто же сможет доверять, — возразила Кэтрин Ситон, — закадычному другу, ученику и соратнику еретического проповедника Хендерсона! Нечего сказать, хорошего наставника вы себе избрали взамен достопочтенного Амвросия, который ныне изгнан из своего дома и усадьбы, если еще не брошен в темницу за противодействие тирании Мортонa, брату которого регент передал владения и доходы этой божьей обители.

— Возможно ли это? — воскликнул паж. — Неужели достопочтенный отец Амвросий так страдает?

— Весть о вашем отпадении от веры предков, — ответила Кэтрин, — будет для него ужаснее всех издевательств тирана.

— Но почему, — спросил глубоко растроганный Роланд, — почему вы предполагаете, что... что... что... все это у меня так, как вы говорите?

— А разве вы сами отрицаете это? — возразила Кэтрин. — Разве вы посмеете отрицать, что пили отраву, которую вам следовало оттолкнуть от уст? Что она и сейчас продолжает бродить в ваших жилах если еще не отравила самый источник жизни? Станете ли вы отрицать, что у вас появились сомнения, как вы их гордо именуете, относительно того, в чем папы и церковные соборы запрещают нам сомне-

¹ Ган, Гано или *Ганелон* Майнцский в поэмах о Карле Великом и его палadiniах всегда изображается предателем, который губит христианских рыцарей. (*Прим. автора.*)

ваться? Не поколебалась ли ваша вера, если она уже окончательно не разрушена? Разве этот еретик проповедник не хвалится уже своей победой? Разве еретичка хозяйка этой темницы не ставит вас в пример? А королева и леди Флеминг, разве они не поверили уже полностью в ваше отступничество? И разве есть хоть кто-либо, за исключением одной... да, я готова признаться в этом, можете думать, что вам угодно... есть ли здесь кто-либо, кроме меня, у кого осталась хоть слабая вера, что вы еще оправдаете те надежды, которые мы все на вас некогда возлагали?

— Я не знаю, — ответил бедный паж, пришедший в большое смущение от сознания, что на него возлагались какие-то надежды, да еще той самой девушкой, которая так живо интересовала его и к которой приковано было все его внимание во время пребывания в замке Лохливен. — Я не знаю, чего вы ждете от меня и чего вы остерегаетесь. Я послан сюда прислуживать королеве Марии, и я готов быть ей слугой до гробовой доски. Если кто-либо ожидает от меня услуг другого рода, то это не входит в мои обязанности. Я не признаю и не отвергаю доктрины реформатской церкви. Если говорить откровенно, мне кажется, что распушенность католического духовенства справедливо навлекла на него всеобщее осуждение; быть может, как раз это и послужит к его исправлению. Но предать несчастную королеву... Бог свидетель, как далек я от такой мысли. Даже если я когда-либо думал о ней хуже, чем полагается думать верному слуге и чем имеет право думать ее подданный, я все-таки никогда не предал бы ее, больше того — я помог бы ей в любом предприятии, которое даст ей возможность оправдаться перед всем миром.

— Довольно! Довольно! — воскликнула Кэтрин, сжимая руки. — Значит, ты не покинешь нас, если представится случай добыть свободу нашей царственной госпоже и дать ей возможность вступить в справедливые переговоры с ее мятежными подданными?

— Нет, — ответил паж. — Но послушайте, прекрасная Кэтрин, что сказал мне лорд Мерри, посылая меня сюда...

— Уж лучше я выслушаю, что сказал дьявол, — отрезала Кэтрин, — чем то, что говорил этот вероломный вассал, вероломный брат, вероломный друг, вероломный советник. Этот человек, который жил от щедрот казны и довольствовался скромной пенсией, был возведен в советники ее величества, стал распорядителем всех богатств шотландской короны; его звание, доходы, положение, влияние, могущество росли как грибы... И все это исключительно благодаря милости его сестры, а он отплатил ей тем, что заточил в этой мрачной темнице, лишил престола и лишил бы жизни, если бы у него хватило на это смелости.

— А я вовсе не такого плохого мнения о графе Мерри, — ответил Роланд Грейм и добавил с улыбкой: — По правде говоря, меня следовало бы чем-нибудь подкупить, чтобы я полностью и без оглядки примкнул к той или иной стороне.

— Ну, если дело только за этим, — пылко воскликнула Кэтрин Ситон, — вам наградой послужат молитвы угнетенного народа, разоренного духовенства, оскорбленной знати, вечная слава среди потомков и горячая признательность современников, хвала на земле и блаженство в небе. Ваша страна сохранит память о вас, королева будет у вас в долгу, одним прыжком вы подниметесь от низшей ступени рыцарства до самой высокой, все мужчины будут уважать вас, все женщины будут любить вас, а я, давно уже вместе с вами посвятившая себя освобождению королевы, буду... да, да, я полюблю вас больше, чем сестра когда-либо любила брата.

— Продолжайте, продолжайте! — прошептал Роланд, опустившись на одно колено, и взял руку, которую протянула ему Кэтрин в пылу увещаний.

— Нет, — сказала она после непродолжительного молчания, — я и так уже высказала достаточно... слишком много, если мои слова не убедили вас, и слишком мало, если они достигли своей цели. Но они убедили вас, — продолжала она, увидев, что лицо юноши запылало тем же воодушевлением, что и ее собственное. — Или скорее высокая идея сама поко-

рила вас. Итак, я посвящаю тебя в рыцари этой идеи. — С этими словами она протянула палец ко лбу удивленного юноши и, не прикасаясь к нему, начертала над ним знак креста. Наклонившись к Роланду, она, казалось, поцеловала пустое пространство, в котором был начертан этот символ. Затем, вскочив и вырвав у него свою руку, она бросилась в покои королевы.

Роланд Грейм даже не переменял позы, в которой оставила его восторженная девушка; он так и застыл, преклонив одно колено, затаив дыхание и устремив взор туда, где только что находилась очаровательная Кэтрин Ситон.

Если его чувства не исчерпывались одним только восторгом, то, во всяком случае, он хлебнул волнующего и пьянящего зелья, где смешались радость и страдание, крепчайшего в той смеси, что наполняет чашу жизни.

Он встал и побрел к себе; и хотя в этот вечер капеллан Хендерсон прочел свою лучшую проповедь против заблуждений папизма, я бы не поручился, что юный прозелит, ради блага которого развивал свое красноречие проповедник, внимательно следил за ходом рассуждений своего духовного отца.

Глава XXV

Когда любовью сердце пламенет,
Тогда сэр Разум, с поученьем

Не больше стоит, чем **мудрым,**
церковный **служба,**

Который тащит немощный насос
И тщетно тонкой, смянувшей струей
Пожар залить стремится

Старинная пьеса

В задумчивости Роланд Грейм направился на следующее утро к крепостному валу, где он рассчитывал без помехи поразмыслить над своим положением. Однако на этот раз место для уединенной прогулки

было выбрано не совсем удачно, ибо здесь к пажу сразу же присоединился мистер Элиас Хендерсон.

— Я искал вас, юноша, — заявил проповедник. — Мне нужно сообщить вам кое-что, имеющее к вам самое непосредственное отношение.

У Роланда Грейма не нашлось повода уклониться от разговора с капелланом, хотя он и почувствовал, что нынешняя беседа может поставить его в затруднительное положение.

— Разъясняя в меру моих несовершенных знаний ваши обязанности перед господом, — начал капеллан, — я недостаточно коснулся некоторых ваших обязанностей перед человеком. Вы состоите на службе у женщины благородного происхождения, заслуживающей всяческого сочувствия по поводу постигшего ее несчастья и с избытком наделенной теми внешними достоинствами, которые вызывают к ней всеобщее расположение и любовь. Задумывались ли вы когда-либо над подлинным смыслом и значением вашего расположения к леди Марии Шотландской?

— Мне кажется, достопочтенный сэр, — ответил Роланд Грейм, — что я правильно понимаю обязанности слуги моего звания по отношению к венценосной госпоже, особенно в ее нынешнем униженном и тяжелом положении.

— Возможно, — ответил проповедник. — Но когда речь идет о леди Марии, самые честные побуждения могут вовлечь вас в измену и в тяжкое преступление.

— Каким образом, достопочтенный сэр? — возразил паж. — Признаться, я просто не понимаю вас.

— Я не стану говорить о преступлениях этой безрассудной женщины, — сказал проповедник, — ибо такие речи не пристало слушать ее преданному слуге. Достаточно сказать, что эта злосчастная особа отвергла столько миролюбивых и почетных предложений, сколько не делали ни одному государю во всем мире, и что теперь, когда время ее величия миновало, она заключена в этом уединенном замке во имя общего блага всего шотландского народа, а быть может, и ради блага ее собственной души.

— Достопочтенный сэр, — нетерпеливо ответил Роланд, — мне достаточно хорошо известно, что моя злополучная госпожа находится в заключении, поскольку я сам имею несчастье разделять его с ней и оно, если говорить честно, мне уже основательно наскучило.

— Как раз об этом я и хотел поговорить с вами, — мягко сказал капеллан. — Но сначала, мой добрый Роланд, посмотрите как мирно выглядит эта прекрасно возделанная равнина. Там, где вьется дымок, раскинулась деревня, утопающая в зелени, и вам известно, что мир и трудолюбие царят в ней повсюду. На берегах рек там и сям разбросаны замки баронов, окруженные хижинами земледельцев, и все они, как вы знаете, живут сейчас в полном согласии; копья висят на стенах, мечи покоятся в ножнах. Вы видите также немало превосходных церквей, где жаждущим предлагается испить от чистого источника жизни и где алчущий насыщается духовною пищей. Чего заслуживает человек, готовый принести пламя и смерть в эти мирные и счастливые пределы, желающий обнажить мечи баронов и столкнуть их друг с другом? Чего заслуживает тот, кто ввергнет замки и хижины в огонь и станет заливать дымящиеся угли кровью их жителей? Чего заслуживает тот, кто восстановит древнего Дагона старых суеверий, которого низвергли богатыри нашей эпохи, и заново превратит храмы божьи в святилище Ваала?

— Вы нарисовали устрашающую картину, достопочтенный сэр, — сказал Роланд Грейм. — Но мне неясно: кто же, по-вашему, собирается произвести столь страшную перемену?

— Да не допустит бог, — ответил проповедник, — чтобы мне пришлось сказать тебе: этот человек — ты! Поэтому, служа своей госпоже, Роланд Грейм, не забывай о высшем долге, помни, что ты обязан стоять на страже мира в твоей стране и охранять благоденствие ее народа; иначе на твою голову, Роланд Грейм, падут проклятья и неизбежные кары. Если тебя увлекут зовы сирен и ты окажешь содействие бегству этой злосчастной королевы из ее нынешнего

надежного места покаяния, тогда настанет конец миру в хижинах Шотландии и процветанию в ее замках, тогда будущие поколения проклянут имя человека, открывшего путь ужасу войны между матерью и сыном.

— Мне неизвестны подобные планы, достопочтенный сэр, — ответил паж, — и поэтому я не могу оказать им содействие. Мои обязанности по отношению к королеве не превышают функций обычного слуги; иногда мне очень хочется освободиться от них, но тем не менее...

— Именно ради того, чтобы подготовить тебя к несколько большей свободе, — сказал проповедник, — я и пытался внушить тебе чувство глубокой ответственности в отношении твоих обязанностей. Джордж Дуглас сказал леди Лохливен, что тебе опротивела твоя служба, и мое вмешательство частично способствовало тому, что ее светлость, поскольку она не может отпустить тебя, согласилась давать тебе некие поручения за пределами острова, которые раньше выполнялись другими доверенными лицами. Поэтому сейчас пойдем со мной к леди, ибо уже сегодня ты получишь одно из подобных поручений.

— Извините меня, достопочтенный сэр, — сказал паж, почувствовавший, что большее доверие со стороны хозяйки замка и ее семьи еще более затруднит его положение, — но мне кажется, что нельзя быть слугою двух господ, а я очень боюсь, что моя госпожа не простит мне, если я буду служить еще и другой хозяйке.

— Об этом не тревожься, — сказал проповедник. — Твою госпожу спросят и получают ее согласие. Думаю, что она весьма охотно согласится на это, надеясь воспользоваться твоей помощью для связи со своими друзьями, как называют себя эти вероломные люди, превратившие ее имя в пароль братоубийственной войны.

— Но тогда, — сказал паж, — меня будут подозревать обе стороны, ибо моя госпожа, видя, как мне доверяют ее враги, почтет меня их соглядатаем; а леди Лохливен никогда не перестанет подозревать

во мне возможного предателя, потому что обстоятельства могут помочь мне им стать. Лучше уж я останусь в моем нынешнем положении.

Воцарилось минутное молчание, на протяжении которого Хендерсон пристально всматривался в лицо Роланда, как бы стремясь узнать, нет ли какого-либо тайного смысла в его словах. Однако это ему не удалось, ибо Роланд — паж с детских лет — умел капризным, недовольным выражением лица маскировать любые свои чувства.

— Я не понимаю тебя, Роланд, — сказал проповедник, — или, быть может, ты серьезнее размышлял над этим, чем я мог ожидать от тебя. Мне казалось, что удовольствие от прогулки на тот берег с луком, ружьем или удочкой пересилит все прочие чувства.

— Так оно и было бы, — ответил Роланд, понимая, как опасно дать укрепиться пробудившимся подозрениям Хендерсона. — Я и не подумал бы ни о чем, кроме ружья, весел да водяной дичи, которая так соблазняет меня, плавая за пределами моих выстрелов, если бы вы не предупредили меня, что поездка на тот берег может привести к сожжению городов и замков, падению евангелической веры и возрождению литургии.

— В таком случае, пойдем со мной к леди Лохливен, — сказал Хендерсон.

Они застали леди за завтраком вместе с ее внуком Джорджем Дугласом.

— Мир вам, миледи, — сказал проповедник, кланяясь своей покровительнице, — Роланд Грейм ожидает ваших распоряжений.

— Молодой человек, — обратилась к нему леди, — наш капеллан ручается за твою верность, и мы решили дать тебе некоторые поручения в Кинросе.

— Без моего совета, — холодно заметил Дуглас.

— Я и не говорила, что по твоему совету, — несколько резко ответила леди. — Мать твоего отца, я думаю, достаточно пожила на свете, чтобы иметь собственные суждения о столь простых делах. Ты, Роланд, возьмешь ялик и двух слуг, которых тебе

пришлют Драйфсдейл или Рэндл, и привезешь мне оттуда посуду и портьеры, доставленные вчера вечером обозом из Эдинбурга.

— Кроме того, передай этот пакет нашему слуге, который будет там ждать, — сказал Джордж Дуглас. — Это доклад моему отцу, — добавил он, взглянув на свою бабу, которая утвердительно кивнула головой.

— Я уже говорил мистеру Хендерсону, — сказал Роланд Грейм, — что, поскольку мои обязанности требуют, чтобы я служил королеве, необходимо получить согласие ее величества, прежде чем я смогу взять на себя ваше поручение.

— Позаботься об этом, сын мой, — сказала старая леди. — Такая щепетильность делает честь молодому человеку.

— Прошу вас извинить меня, миледи, но я бы не желал так рано навязывать ей свое присутствие, — сказал Дуглас равнодушным тоном. — Это может не понравиться ей и будет не слишком приятно для меня.

— А я, — ответила леди Лохливен, — хотя за последнее время нрав Марии Стюарт несколько смягчился, тем не менее не хотела бы без нужды становиться мишенью для ее острот.

— С вашего разрешения, сударыня, — сказал капеллан, — я сам передам вашу просьбу королеве. На протяжении всего моего долгого пребывания в этом доме она ни разу не удостоила меня беседой и ни разу не слушала моей проповеди, а между тем бог свидетель, что забота о ее душе и стремление вывести ее на праведный путь более всего прочего побуждали меня приехать сюда.

— Берегитесь, мистер Хендерсон, — заметил Дуглас тоном, который мог бы показаться насмешливым. — Не следует спешить с делом, к которому у вас нет призвания. Вы человек ученый, и вам знакомо старинное изречение: «*Ne accesseris in consilium nisi vocatus*».¹ Кто же требует от вас этого?

¹ Не ходи в совет, не будучи приглашенным (лат.).

— Господь, на служение которому я обрек себя, — ответил проповедник, подняв глаза кверху. — Тот, кто постоянно приказывает мне усердствовать во славу его.

— Ваше знакомство с двором и знатными людьми, кажется, было не особенно близким, — продолжал молодой вельможа.

— Нет, сэр, — ответил Хендерсон. — Но так же, как и мой учитель Нокс, я не вижу ничего страшного в красивом лице молодой женщины.

— Сын мой, — сказала леди Лохливен, — не охлаждай похвального рвения этого доброго человека, пусть он выполнит свою миссию по отношению к этой несчастной государыне.

— Ну что ж! Лишь бы мне самому этим не пришлось заниматься, — сказал Джордж Дуглас. Но что-то в его лице, казалось, противоречило этим словам.

Священник же, вместе с Роландом Греймом, направился к заточенной государыне, попросил у нее аудиенции и был принят. Он застал Марию Стюарт с ее фрейлинами за обычным дневным занятием — они вышивали. Королева встретила его с той же любезностью, с какой она обычно встречала гостей, благодаря чему священник в начале своей миссии почувствовал себя несколько более скованным, чем ожидал.

— Добрая леди Лохливен... если это доставит удовольствие вашему величеству.. — Он запнулся, а Мария ответила с улыбкой:

— Моему величеству доставило бы удовольствие, если бы леди Лохливен стала доброй. Но продолжайте. Чего же она желает, добрая леди Лохливен?

— Она желает, миледи, — сказал капеллан, — чтобы вы позволили этому юному джентльмену, вашему пажу Роланду Грейму, поехать в Кинрос присмотреть за доставкой некоторых предметов домашнего обихода и портьер, присланных сюда для лучшего убранства покоев вашего величества.

— Леди Лохливен, — сказала королева, — устраивает никому не нужные церемонии, испрашивая нашего позволения в таком деле, которое зависит

исключительно от ее собственного желания. Нам хорошо известно, что мы бы не могли пользоваться услугами этого молодого джентльмена, если бы не имелось в виду, что он скорей будет под началом у этой доброй леди, чем у нас. Тем не менее мы охотно разрешаем ему отлучиться по ее поручению, еще и для того, чтобы ни одно живое существо по нашей вине не переживало тяготы заточения, которому подвергли нас самих.

— О сударыня, — возразил проповедник, — людям свойственно роптать на неволю, и это понятно. Но бывает и так, что человек использует непродолжительное заточение, чтобы освободиться от духовного рабства.

— Я поняла вашу мысль, сэр, — ответила королева, — но я слышала вашего апостола, вашего магистра Джона Нокса, и если бы меня можно было совратить с моего пути, я бы охотно предоставила этому самому выдающемуся и влиятельному из ересиархов не столь уж великую честь восторжествовать над моей верой и моими надеждами.

— Миледи, — сказал проповедник, — не только от доброй воли и опыта землепашца зависит даруемый ему господом урожай. Слова нашего апостола, как вы его называете, тщетно взывавшего к вам в суеи и веселье королевского двора, могут быть лучше восприняты здесь, где у вас больше времени на размышления. Видит бог, миледи, что я говорю в простоте сердечной, столь же мало приравнивая себя к названному вами святому человеку, как и к ангелам бессмертным. Но если бы вы решились употребить на благо те таланты и знания, в которых вам нельзя отказать, если бы вы хоть слегка обнадежили нас, что прислушаетесь и присмотритесь к нашим доводам против слепого суеверия и идолопоклонства, в которых вас воспитывали, я не сомневаюсь, что одареннейшие из моих собратьев, и даже сам Джон Нокс, поспешили бы сюда, чтобы вырвать вашу душу из сетей папистских заблуждений.

— Я очень обязана вам и вашим братьям за подобное милосердие, — сказала Мария Стюарт, —

но сейчас у меня всего одна приемная и мне бы не хотелось превращать ее в гугенотский синод.

— Ах, миледи, не упорствуйте в своем ослеплении! Перед вами человек, подвергнувший себя посту и бдению, днем и ночью молившийся перед тем, как отважиться на великий подвиг вашего обращения, и готовый умереть, лишь бы увидеть завершенным это дело, столь важное для вас и столь благодетельное для Шотландии. Да, миледи, если бы мне удалось хотя бы поколебать этот последний в нашей стране столп языческого храма — позвольте мне выразить этой метафорой вашу веру в римские заблуждения, — я согласен был бы сам погибнуть под его развалинами.

— Мне не хочется осуждать ваше религиозное рвение, сэр, — возразила Мария Стюарт, — но боюсь, что вы способны скорее позабавить филистимлян, чем сокрушить их. Ваше милосердие заслуживает благодарности, ибо оно высказано с жаром и, вероятно, от чистого сердца. Но поверьте мне так, как я верю вам, и подумайте, что мне, быть может, так же хочется вернуть вас на старую и единственную столбовую дорожку веры, как вам хочется, чтобы я свернула на вашу окольную тропку.

— Но, миледи, если таковы ваши великодушные намерения, — сказал проповедник, полный рвения, — что же мешает вам посвятить часть того времени, которым ныне ваше величество, к несчастью, располагаете в избытке, на обсуждение столь значительных проблем? Вы, как это всем известно, остроумны и многообразно осведомлены, а я хоть и лишен этих преимуществ, но силен в защите своей веры, как гарнизон в осажденной крепости. Почему бы нам не попытаться выяснить, кто из нас прав в этом важном вопросе?

— Нет, — сказала Мария Стюарт, — я никогда не льстила себя мыслью, что у меня хватит сил принять битву с ученым полемистом *en champ clos*.¹ К тому

¹ На ристалище (франц.).

же наши силы неравны. Вы, сэр, можете отступить, если почувствуете, что битва складывается не в вашу пользу, а я прикована к столбу и не могу даже пожаловаться, что этот спор утомил меня. Мне хотелось бы остаться одной.

При этих словах она сделала глубокий реверанс; Хендерсон, чье действительно пылкое рвение не нарушало, однако, пределов учтивости, в свою очередь откланялся и приготовился уходить.

— Мне хотелось бы, — сказал он, — чтобы мои пожелания и молитвы принесли вам любое благо или утешение, и в особенности то, которое является нашим единственным благом и утешением, с такой же легкостью, с какою малейший намек способен избавить вас от моего присутствия.

Он уже собрался выйти, когда Мария Стюарт учтиво сказала ему:

— Не думайте обо мне слишком плохо, мой добрый сэр, быть может, если бы мое пребывание здесь затянулось, — а я рассчитываю, что этого не случится, так как либо мои восставшие подданные раскаются в своих мятежных действиях, либо сохранившие мне верность вассалы одержат над ними верх, — но если бы оно действительно затянулось, мне, быть может, было бы приятно выслушать столь рассудительного и сочувственно настроенного человека, как вы, хотя я и рискую в этом случае навлечь на себя ваше презрение, попытавшись заново собрать и повторить вам те доводы, которыми теологи и церковные соборы подкрепляют исповедуемую мною религию. Впрочем, да поможет мне бог, я боюсь, что уже и латыни своей я лишилась, как всего, чем я раньше владела. Но об этом в другой раз. А сейчас, сэр, передайте леди Лохливен, что она может воспользоваться услугами моего пажа как ей заблагорассудится. Я не стану навлекать на него подозрения и не обмениюсь с ним ни единым словом перед его уходом. Мой друг Роланд Грейм, не упускайте случая развлечься — танцуйте, пойте, бегайте и прыгайте; на том берегу всякий может веселиться, тогда как

здесь нужно иметь ртуть в жилах, чтобы оставаться веселым.

— О миледи! — возмутился проповедник. — К чему вы призываете юношу в то время, как жизнь проходит так быстро и вечность грозит унести нас! Можем ли мы прийти к спасению души через суетные развлечения или даже свершать благие деяния без трепета и содрогания?

— Я не умею трепетать и содрогаться, — ответила королева, — подобные чувства незнакомы Марии Стюарт. Но если мои слезы и скорбь могут искупить юные радости этого мальчика, не сомневайтесь, я заплачу полной мерой.

— Но, милостивая леди, — сказал проповедник, — вы жестоко ошибаетесь; все наши слезы и вся скорбь едва ли покроют даже наши собственные грехи и заблуждения, и уж никак нельзя их действия перенести на других людей, как этому ошибочно учит ваша церковь.

— Могу я попросить вас, сэр, не слишком обижаясь на меня за эту просьбу, перенести самого себя куда-нибудь в другое место? Мне и без того тоскливо, и не следует усугублять этого дальнейшим спором. А ты, Роланд, возьми этот небольшой кошелек. — Повернувшись к священнику, она показала ему содержимое кошелька и сказала: — Смотрите, достопочтенный сэр, в нем содержится лишь два-три золотых тестона, а эта монета, хоть и носит на себе мое скромное изображение, гораздо чаще действовала против своей королевы, чем в ее пользу, так же как мои подданные, которые моим же именем были собраны на вооруженную борьбу против меня. Возьми, Роланд, этот кошелек, чтоб тебе было на что повеселиться. Не забудь... не забудь привезти мне новости из Кинроса; только пусть это будут новости, не вызывающие подозрения или обиды, чтобы их можно было сообщить в присутствии этого достопочтенного джентльмена или самой доброй леди Лохливен.

Намек был слишком прозрачен, и Хендерсон вынужден был удалиться, наполовину оскорбленный,

наполовину удовлетворенный приемом, который ему был оказан; ибо Мария Стюарт благодаря своему длительному опыту и природному такту удивительно искусно умела уклониться от разговора, затрагивающего ее чувства или предрассудки, не обидев при этом собеседника.

Повинуясь приказу своей госпожи, Роланд Грейм удалился вместе с капелланом; но от него не укрылось, что, когда он покидал покои королевы, пятась спиной к двери и отвешивая глубокий поклон, каким принято было прощаться с государями, Кэтрин Ситон движением, заметным только ему, подняла свой тонкий палец, как бы говоря: «Помни о том, что произошло между нами!»

В заключение юный паж получил еще напутствие от леди Лохливен.

— Нынче в Кинросе праздник, — сказала она. — Древнее бродило безумия, которое еще римские жрецы внедрили в душу шотландского крестьянина, все еще действует, и власть моего сына бессильна против него. Запретить тебе участвовать в празднике — значило бы нарочно расставить тебе ловушку или приучать тебя лгать. А этого мне бы не хотелось. Но ты должен с умеренностью наслаждаться суетными развлечениями. Со временем ты научишься презирать их и будешь от них воздерживаться. Наш управитель в Кинросе Льюк Ландин, доктор, как он себя необоснованно величает, расскажет тебе, что ты должен сделать. Помни, что тебе доверяют, и покажи, что ты достоин этого доверия.

Вспомним, что Роланду Грейму не было еще и девятнадцати лет и что он провел всю свою жизнь в уединенном замке Эвенелов, если не считать нескольких часов в Эдинбурге и его нынешнего пребывания в Лохлиvene (причем последний период весьма незначительно расширил его знакомство со светскими удовольствиями), и мы не удивимся, что при мысли о развлечениях даже сельского храмового праздника его сердце забилося сильнее от ожидания и любопытства. Он побежал в свою комнатку и перевернул весь гардероб, которым его, вероятно

по распоряжению графа Мерри, снабдили еще в Эдинбурге и который во всех отношениях соответствовал его нынешнему положению. Выполняя желание королевы, он до сих пор прислуживал ей в платье черного или по крайней мере темного цвета. Королева считала, что условия ее жизни не располагают к чему-либо более веселому. Но сегодня Роланд Грейм выбрал костюм самой нарядной расцветки, сочетавший в себе алое с черными прорезями — цвета шотландского королевского дома. Он расчесал свои длинные вьющиеся волосы, повязал цепь с медалью поверх недавно вошедшей в моду бобровой шапки и на вышитой перевязи укрепил шпагу, попавшую к нему при столь загадочных обстоятельствах. В этом наряде, который очень шел к его открытому лицу и стройной фигуре, он мог считаться отличным образцом юного щеголя той эпохи.

Ему еще хотелось нанести прощальный визит королеве и ее дамам, но старый Драйфсдейл уже приготовил лодку.

— Не следует, мейстер, больше видаться с ними без свидетелей, — торопил он Роланда. — Раз уж вам оказали доверие, приходится беречь вас от искушения использовать этот удобный случай. Да поможет тебе бог, мальчуган, — добавил он, бросив презрительный взгляд на яркий костюм пажа. — Если там будет вожак медведей из Сент-Эндрюса, остерегайся приближаться к нему.

— А почему, позвольте узнать? — спросил Роланд.

— Как бы он не принял тебя за одну из его сбежавших обезьян, — ответил дворецкий с язвительной усмешкой.

— Моя одежда куплена не на твои деньги, — возмущенно сказал Роланд.

— Но и не на твои, — ответил дворецкий, — а то она более соответствовала бы твоим заслугам и твоему званию.

Роланд Грейм с трудом удержал ответ, уже готовый сорваться с языка, и, запахнув свой алый плащ,

уселся в лодку, которую двое гребцов, желавших поскорее попасть на праздник, быстро направили к западному концу озера.

Когда они отплыли, Роланду показалось, что из ниши окна выглянуло, прячась от посторонних взглядов, лицо Кэтрин Ситон, наблюдавшей за его отъездом. Он снял шапку и поднял ее в знак того, что видит девушку и приветствует ее. Из окна помахали белым платочком, и на всем протяжении этого непродолжительного путешествия мысли о Кэтрин Ситон соперничали с предвкушением тех удовольствий, которые ожидали его на храмовом празднике. По мере приближения к берегу звуки праздничного веселья, музыки, смех, восклицания и крики становились все громче. В мгновение ока лодка пристала к берегу, и Роланд Грейм немедленно отправился разыскивать управляющего, чтобы выяснить, сколько времени у него в запасе, и использовать это время наилучшим образом.

Глава XXVI

Дорогу, парни, коновод идет,
А перед ним певцы и музыканты —
И барабанщик шумный, и трубач,
И мощно раздаются звуки рога.

Сомервил, «Сельский праздник»

Роланду Грейму не стоило большого труда разыскать среди праздничной толпы, веселящейся в открытом поле между озером и городком, столь значительную фигуру, как доктор Льюк Ландин, который с полным сознанием своей ответственности представлял на празднике особу лендлорда; причем для большей внушительности управляющего сопровождали трубач, барабанщик и четверо дюжих парней с заржавленными алебардами, украшенными пестрыми лентами. Это были верные служители власти, которые, несмотря на ранний час, уже успели многим на-

мать бока во славу грозного лэрда Лохливена и его управляющего.¹

Как только этот сановник узнал, что из замка прибыла лодка со щеголем, одетым как молодой лорд, и что этот человек немедленно желает говорить с ним, он тут же поправил свои брыжи и черный плащ, повернул перевязь таким образом, что стал виден расписной эфес его длинной шпаги, и с подобающей важностью направился к берегу. Он имел право держаться с важностью и по менее значительному поводу, ибо предназначал себя первоначально для почтенного ремесла медика, как это легко могли установить знакомые с медициной люди по тем изречениям, которыми была пересыпана его речь. К сожалению, его претензии не были подкреплены соответствующими успехами. Но так как он был уроженцем соседнего Файфского графства и не то родственником, не то просто приживальщиком старинного рода Ландинов из Ландина, которые поддерживали тесную дружбу с домом Лохливен, ему удалось заручиться их покровительством и уютно обосноваться в своей нынешней должности на берегах этого прекрасного озера. Доходы управляющего были весьма скромными, в особенности в те тревожные времена, и он пополнял их, понемногу практикуя по своей первоначальной специальности. Ходили слухи, что жители городка Кинрос и всей округи были менее связаны

¹ На шотландских ярмарках балли — должностное лицо, назначенное лендлордом, разрешившим сборище, — расхаживая во главе стражи, наблюдает за порядком, пресекает случайные столкновения и тут же, на месте, карает незначительные проступки. Свита балли обычно вооружена алебардами, и по крайней мере в некоторых случаях его сопровождают музыканты. Вот, например, что говорится в «Жизни и смерти Хэбби Симпсона» об этом знаменитом музыканте:

На ярмарках за ним шагал отряд;
Играет Хэбби впереди ребят,
Мечи сверкают, панцири блестят,
Как четки из агата.
Но нынче Хэбби наш на небо взят.
За кем шагать солдатам?

(Прим. автора.)

необходимостью (или, вернее сказать, кабальной обязанностью) молоть свое зерно исключительно на мельнице барона, чем врачебной монополией его управляющего. Горе наследникам того зажиточного поселянина, который вздумал бы распрощаться с жизнью без разрешения доктора Ландина! Если бы когда-нибудь в дальнейшем им пришлось иметь дело с бароном, — а без этого редко кто обходился, — можно было с уверенностью предсказать, что они найдут в управляющем не слишком рьяного защитника их интересов. При всем том, однако, он был достаточно благожелателен и без всякой платы избавлял бедняков от недугов, а заодно порой и от всех прочих земных огорчений. Напыщенный вдвойне, как врач и как должностное лицо, гордый крохами учености, которые делали его речь почти совсем непонятной, доктор Льюк Ландин приблизился к берегу и приветствовал вышедшего ему навстречу паж:

— С благоуханным утром, любезный сэръ! Готов биться об заклад, что вас прислали сюда последить за соблюдением на этом празднике предписанного ее светлостью регламента, который имел целью воспрепятствовать выполнению нелепых обрядов и суеверных древних обычаев. Мне известно, что ее светлость охотно бы совсем отменила и запретила этот праздник, но, как я уже имел честь процитировать ей из трудов Геркулеса Саксонского: *omnis curatio est vel sarcopica vel coacta*, что означает, мой любезный сэръ (ибо шелк и бархат редко сочетаются со знанием латыни *ad unguem*¹), «всякое лечение основывается либо на традиции, либо на принуждении», и опытный врач всегда выберет первое. А так как их светлость соизволила принять и одобрить мои аргументы, я счел за благо перемешать наставления и предостережения с развлечениями (*fiat mixtio*,² как мы выражаемся) и ручаюсь, что подобное слабительное так прочистит и прослабит мышление этой черни, что *grimæ viæ*³

¹ Тщательно, до тонкости (лат.).

² Изготовь смесь (лат.).

³ Кратчайшая дорога (лат.).

будет свободна, а тогда уж мистер Хендерсон или другой искусный пастор при желании даст ей закрепляющего, чтобы завершить полное нравственное исцеление *tuto, cito, jucunde*.¹

— Но я не уполномочен, доктор Ландин... — начал было паж.

— Не называйте меня доктором, — прервал его управитель, — поскольку, взяв на себя управление Кинросом, я отказался от своей меховой мантии и докторской шапочки.

— О сэр, — возразил паж, которому уже знаком был по рассказам характер этого оригинала, — не ряса, подпоясанная веревкой, делает человека монахом; кто же не слышал о врачебном искусстве доктора Ландина?

— Пустяки, мой юный сэр, сущие пустяки, — ответил лекарь, с достоинством отказываясь признать за собой высокое мастерство. — Это лечение наугад, которое производится скромным, отошедшим от практики джентльменом в коротком плаще и камзоле, но — удивительное дело! — небо все же благословило мои труды, и могу ручаться, что самые лучшие врачи не сумели вылечить такого множества больных, как я. *Lunga goba, corta scienza*,² как говорят итальянцы. Вам знаком итальянский язык, сэр?

Роланд Грейм не счел нужным отвечать этому ученому халдею, понял ли он его фразу; оставив вопрос нерешенным, он объяснил ему, что приехал по поводу груза, который должны были прошлой ночью доставить в Кинрос и который находится, видимо, в распоряжении управителя.

— Черт возьми! — воскликнул доктор. — Уж не страхлась ли какая-нибудь беда с нашим возчиком Джоном Охтермахти. Дело в том, что его обоз вчера не прибыл. Сторона у нас для путешествий не слишком подходящая, мейстер, а этот олух еще ездит по ночам, когда не только все мыслимые болезни,

¹ Безопасно, быстро, приятно (*лат.*).

² Мантия длинна, да знания коротки (*итал.*).

начиная каким-нибудь *tussis*¹ и кончая той же *pestis*,² носятся в воздухе, но, помимо этого, ему может повстречаться и десяток головорезов, которые разом освободят его от поклажи и прочих земных тягот. Придется, видно, послать кого-нибудь разузнать, что с ним случилось: ведь дело идет о вещах, принадлежащих почтенному дому их светлости, да к тому же, черт возьми, там и для меня есть кое-какой груз — снадобья из города для моих противоядий; об этом стоит позаботиться. Ходж! — повернулся он к одному из своих грозных телохранителей. — Возьми с Тоби Телфордом большого бурого ломовика да вороную кобылу с подрезанным хвостом и поезжай в сторону Кейри-крейгза. Постарайтесь там разузнать об Охтермахти и его обозе. По-моему, его задержало в пути лекарство из винного погребка: других медикаментов этот каналья не признает. Только снимите, ребята, ленты с ваших алебард да наденьте колеты, стальные нарукавники и шлемы, чтобы нагнать страху на противника, если вы его встретите.

Затем, обернувшись к Роланду Грейму, он добавил:

— Бьюсь об заклад, что мы получим вскоре известие о нашем обозе. А тем временем вам, наверно, любопытно будет взглянуть на местные развлечения. Но прежде всего направимся в мой скромный домик, где вы сможете принять вашу утреннюю дозу. Ибо, как говорит по этому поводу Салернская школа:

*Poculum, mane haustum,
Restaurat naturam exhaustam.*³

— Ваша ученость слишком глубока для меня, — ответил паж. — Боюсь, что и ваша утренняя доза также придется мне не по силам.

— Ошибаетесь, любезный сэр; кубок укрепляющего сердце хереса, настоящего на полыни, — лучшее противочумное средство; а сейчас, если говорить по

¹ Кашлем (лат.).

² Чумой (лат.).

³ Чаша, выпитая с утра, восстанавливает истощенные силы (лат.).

совести, в воздухе немало болезнетворных миазмов. Мы ведь переживаем особенно счастливые времена, молодой человек, — продолжал он с усмешкой, — и пользуемся многочисленными благами, совершенно неизвестными нашим предкам. У нас, например, два монарха в стране. Один правит, а другой стремится захватить его престол. Казалось бы, уже этого предостаточно; но, сверх того, мы можем при желании отыскать короля в любой пограничной башне. Так что, если нет государственного управления, то дело отнюдь не в недостатке правителей. Затем, нам дана для ежегодного кровопускания гражданская война, чтобы народ не умирал от недостатка пищи; с этой же целью чума извещает нас о своем приходе, а она — лучшее средство для уменьшения народонаселения и превращения младших братьев в старших. Тут уже пусть каждый следует своему призванию. Вы, молодежь, владеющая шпагой, сможете драться или там, скажем, фехтовать с каким-нибудь искусным противником, а я буду бороться не на жизнь, а на смерть с чумой.

Они шли по улицам Кинроса к дому доктора, и люди, встречавшиеся на их пути, постоянно привлекали к себе внимание Ландина. Он поминутно указывал пажу то на одного, то на другого.

— Видите вон того мужчину в красной шапке и синей куртке, с большой необструганной палкой в руках? Этот мужлан крепок, как корабельная мачта, он прожил на свете полсотни лет и ни разу не потратил ни одного пенни на лекарства для поощрения нашей свободомыслящей науки. А теперь посмотрите на этого, с *facies Hippocratica*,¹ — сказал он, указывая на изнуренного крестьянина с распухшими ногами и лицом, страшным как у мертвеца. — Это один из достойнейших людей во всем графстве: он завтракает, обедает и ужинает не иначе, как по моим указаниям, и все время принимает мои лекарства. Он один истребил больше медикаментов из моего скромного запаса, чем все прочие жители нашей местности.

¹ С маской Гиппократ (лат.).

Как вы себя чувствуете, мой честный друг? — спросил он у поселянина сочувственным тоном.

— Плохо, сэр, очень плохо, — ответил врачу пациент. — Особенно после электуария. Видать, он не слишком мирится с гороховой кашей и пахтаньем.

— Гороховая каша и пахтанье! Для того ли вы были под моим наблюдением целых десять лет, чтобы так злоупотреблять диетой? Завтра же снова примите электуарий и ничего не ешьте в течение шести часов.

Бедняга поклонился и заковылял дальше. Следующим, кого доктор удостоил внимания, хотя тот вовсе не заслуживал подобной чести, был хромой, который при виде сэра Льюка Ландина нырнул в толпу со всей поспешностью, какую только допускало его увечье.

— Вот неблагодарный пес! — воскликнул доктор. — Я вылечил его от подагры, скрутившей ему ноги, а теперь он болтает о больших издержках на лекарства и на своих оживших ногах норовит улизнуть от врача. Тут подагра, видно, перешла в хирагру, как это было у почтенного Марциала, — боль скрутила пальцы руки, и он не в состоянии развязать кошелек. Правильно гласит старинное изречение: *Præmia cum poscit medicus, Sathan est.*¹ Мы — ангелы, когда оказываем помощь, и дьяволы, когда требуем платы. Но он еще увидит, как я пропишу слабительное его кошельку. Вон идет его брат, такой же гнусный скряга, как он сам. Эй, Сондерс Дарлет! Вы болели, я слышал?

— Да, но мне вроде бы легче стало, как раз когда я уже за вашей милостью посылать собрался. А теперь я совсем молодцом. Видать, и болел-то я не так уж тяжело.

— Послушайте-ка, сэр, — сказал доктор, — вы, надеюсь, не забыли, что с вас причитается лорду еще четыре мешка ячменной муки да мерка овса. Кроме того, я просил бы вас не присылать больше таких тощих кур, как в прошлом году. С виду они были то-

¹ Врач — сатана, когда он требует вознаграждения (лат.).

гда точь-в-точь как больные, которых только что написали из чумного лазарета. К тому же вы ведь и деньгами изрядно задолжали.

— Я надумал, сэр, — сказал крестьянин тоге Scotico,¹ то есть не отвечая прямо на поставленный вопрос, — лучше все же мне завтра зайти к вашей милости да попросить совета, как быть, если, не ровен час, снова захвораю.

— Вот так и поступай, дружище, — ответил Ландин. — Помни изречение Экклезиаста: «Уступай врачу, да не покинет он тебя, ибо ты в нем нуждаешься».

Его увещевание было прервано появлением нового лица, которое вызвало у доктора не меньше страха и растерянности, чем его собственная личность внушала встречным поселянам. Эта особа, столь глубоко поразившая кинросского эскулапа, оказалась высокой старухой в остроконечном колпаке, с шарфом на шее. Колпак, казалось, еще больше увеличивал ее рост, а шарф служил для того, чтобы скрыть нижнюю часть лица, и поскольку верхняя часть также была скрыта низко надвинутым на лоб колпаком, то разглядеть можно было лишь смуглые скулы да черные глаза, сверкавшие из-под седых косматых бровей. Старуха была одета в длинное темное платье необычного фасона, обшитое внизу и по бокам белой тканью, наподобие еврейских филактерий, с надписью на каком-то неизвестном языке. В руках она держала посох из черного дерева.

— Клянусь духом Цельса, — воскликнул доктор Льюк Ландин, — это сама старуха Никневен пришла сюда бросить вызов мне, в моей собственной округе, да еще при исполнении мною служебных обязанностей! Ну, старая ведьма, держи юбку крепче, как поется в песне. Хоб Энстер, немедленно задержи ее и отведи в тюрьму, а если найдутся ревностные братья, которым захотелось бы воздать этой старой карге по заслугам и окунуть ее, как ведьму, в озеро, приказываю тебе ни в коем случае не чинить им препятствий.

¹ По шотландскому обычаю (лат.).

Но стражники доктора Ландина в этом случае не торопились выполнить его приказание. Хоб Энстер отважился даже высказать, от своего собственного имени и от имени своих собратьев, некоторые возражения:

— Конечно, мне положено повиноваться вашей милости, и, что бы там в народе ни болтали о ловкости и чарах матушки Никневен, мне бы надо, положившись на господа бога, бесстрашно схватить ее за шиворот. Но матушка Никневен не просто колдунья, вроде Джин Джопп из Брайери-болка. За нее заступятся многие лорды и лэрды. Сейчас тут на праздник прибыли папист Монкриф из Типпермалоха, известный сторонник королевы лэрд Карлслоги, и кто знает, сколько за ними стоит мечей и щитов! Такие люди наверняка выступят, если хоть один стражник сунется к этой папистской ведьме, с которой все они дружбу водят. Опять же лучшие бойцы лэрда сейчас не в замке, а с ним в Эдинбурге, и уж не знаю, много ли найдет ваша светлость доктор людей, если пойдут в ход мечи.

Доктор с неудовольствием выслушал этот осторожный совет и успокоился лишь тогда, когда его подчиненный клятвенно заверил его, что старуха будет немедленно и без шума арестована в следующий раз, как только она появится в пределах графства.

— А тогда, — сказал доктор своему спутнику, — дрова и пламя будут для нее лучшим приветствием.

Женщина в это время проходила мимо них и, услышав слова доктора, метнула на него из-под седых бровей насмешливый взгляд, полный презрительного превосходства.

— Вот сюда, сюда проходите, — продолжал врач, приглашая гостя в дом. — Осторожно, не споткнитесь о реторту. Для непосвященных опасно ходить путями науки.

Паж нашел, что предостережение было сделано своевременно, ибо ему пришлось лавировать не только среди чучел птиц и ящериц, сосудов со змеями, лекарственных трав, частью связанных в пучки, частью разбросанных для просушки, причем и то и другое

находилось в состоянии полнейшего хаоса и исходило всевозможные тошнотворные запахи, присущие аптекарским снадобьям, но надо было еще пробираться через груды угля, тигли, сита, жаровни и другие принадлежности химической лаборатории. Доктор Ландин, наряду с прочими достоинствами философа, отличался удивительной неряшливостью и беспорядочностью, а его старая домоправительница, посвятившая, если ей верить, всю жизнь тому, чтобы содержать его дом в порядке, помчалась, как и все прочие, вместе с молодежью на торжище веселья. Поэтому немало было звона и грохота, пока доктор среди кувшинов, бутылок и колб разыскивал столь усердно рекомендованный целебный напиток, и не менее продолжительными и шумными были производившиеся среди битых склянок и глиняных горшков поиски чашки, из которой его можно было бы выпить.

Когда наконец то и другое было найдено, доктор показал пример своему гостю, залпом осушив чашку возбуждающего сердечную деятельность напитка и, пропустив его в глотку, одобрительно причмокнул. Роланд, в свою очередь, не отказался отведать напиток, который его хозяин столь настойчиво расхваливал, но питье оказалось таким невыносимо горьким, что ему захотелось тут же выбежать из лаборатории и глотком воды заглушить этот мерзкий вкус.

Несмотря, однако, на все его усилия, ему пришлось уступить словоохотливости хозяина, желавшего рассказать ему о матушке Никневен.

— Я остерегаюсь говорить о ней под открытым небом, в толпе людей, не потому, что я испытываю перед ней страх, как этот трусливый пес Энстер, но я не хотел бы подать повод к драке: у меня просто нет времени лечить раны, ушибы и переломы костей. Люди зовут эту старую каргу пророчицей, а по-моему, она вряд ли способна предсказать, когда вылупится цыпленок из яйца. Люди болтают, что она читает судьбу по звездам, но моя черная сука, когда она воет на луну, разбирается в этом деле ничуть не хуже ее. Уверяют также, что эта старая тварь — колдунья,

ведьма и бог знает что еще. *Inter nos*,¹ я не противоречу этим слухам, которые могут привести ее на костер, чего она вполне заслуживает, но я-то хорошо знаю, что эти рассказы о ведьмах, которыми нам все уши прожужжали, сплошной обман, надувательство и бабьи сказки.

— Но, во имя бога, кто же она тогда, — воскликнул паж, — если вы так волнуетесь из-за нее?

— Она одна из тех проклятых старух, — ответил доктор, — которые всюду и ко всем бессовестно лезут со своими советами и лечат болезни с помощью каких-то дрянных трав, чудодейственных заговоров, отваров и зелий, причитаний и возбуждающих средств.

— Не надо, не продолжайте! — воскликнул паж. — Если они готовят возбуждающие средства, то да погибнут они сами и все, кто им помогает!

— Вы сказали сущую правду, молодой человек, — похвалил его доктор Ландин. — Я, например, не знаю большего зла для общества, чем эти старые дьяволицы, проникающие в спальни ослабевших духом и настолько выживших из ума больных, что они разрешают им вмешиваться, нарушая правильное и научное лечение своими отварами, настоями, порошками леди Как-бишь-ее и пилюлями благородной мадам Тряпье. Так плодят они вдов и сирот и оттесняют настоящих ученых врачей, чтобы добыть себе славу колдуньи, знахарки и тому подобное. Но довольно об этом. Матушке Никневен² еще предстоит встретиться со мной когда-нибудь, и тогда она поймет, что небезопасно иметь дело с врачом.

— Это правда, и многие уже убедились в этом, — сказал паж. — Но с вашего разрешения, мне бы хотелось выйти на свежий воздух и посмотреть на местные увеселения.

¹ Между нами (лат.).

² Таково было имя великой Матушки Колдуньи, настоящей Гекаты шотландских народных суеверий. Это имя в некоторых случаях давали колдуньям, которые, по-видимому, были похожи на нее своим высоким искусством в «Адской черной грамматике». (Прим. автора)

— Вот и хорошо, — сказал доктор. — Я и сам пойду. Тем более что нас с вами, молодой человек, ожидают, чтобы начать представление. Сегодня *totus mundus agit histrionem*.¹ — С этими словами доктор повел пажу полюбоваться на веселое зрелище.

Глава XXVII

Смотри, толпа теснится на лужайке!
Все рвутся поглядеть на стройных нимф
Да резвых шутников; веселье там
Смягчило все различья, и лакей
Стоит чуть не в обнимку с дворянином.

Сомервил, «Сельский праздник»

Новое появление почтенного управителя на улицах Кинроса было встречено одобрительными возгласами собравшихся, ибо это означало, что откладывавшееся по причине его отсутствия театральное представление теперь наконец начнется. Это наиболее увлекательное из зрелищ возникло в Шотландии совсем недавно и поэтому вызывало особый интерес у зрителей. Все другие увеселения пришлось прервать. Майский хоровод распался, пляски прекратились, а их участники, ведя за руку своих подружек, поспешили к лесному театру. Тут же было заключено перемирие между громадным бурым медведем и трепавшими его косматую шкуру мастифами. При этом поводырь медведя и полдесятка добровольцев из поселян, используя особые приемы, именуемые в просторечии «за хвост» и «за загривок», растащили в разные стороны несчастных животных, ярость которых еще совсем недавно служила для зрителей одним из главных развлечений. Странствующий менестрель внезапно обнаружил, что слушатели покинули его в тот самый момент, когда он приступил к интереснейшей части старинного рыцарского романа в стихах и как раз послал мальчишку с шапкой по кругу, надеясь со-

¹ Весь мир участвует в представлении (лат.).

брать обильное вознаграждение. Незадачливый певец в негодовании оборвал на середине историю Розуола и Лилиан, сунул свою трехструнную скрипку «ребек» в кожаный футляр и с недовольной миной последовал за толпой навстречу зрелищу, затмившему его собственное искусство. Фокусник перестал выпускать из рта пламя и дым, предпочитая лучше дышать подобно простым смертным, чем бесплатно играть роль огненного дракона. Короче говоря, все прочие увеселения были прерваны, ибо толпа жадно ринулась смотреть диковинное представление.

Жестоко ошибется тот, кто попытается представить себе это зрелище похожим на современный театр, ибо оно отличалось от него не меньше, чем примитивные действия Феспида от тех, которые Еврипид ставил на афинской сцене, усиливая волшебными эффектами роскошь костюмов и декораций.

В данном случае не существовало какой-либо сцены или театральных подмостков, не было ни машин, ни партера, ни лож, ни галереи, ни фойе; не было, впрочем, и платы за вход, а это в нищей Шотландии вознаграждало за отсутствие всего остального. В духе изобретений добряка Основы, зеленая лужайка служила актерам сценой, а куст боярышника — артистической уборной и костюмерной. Зрители располагались на скамейках, которые кольцом окружали три четверти лужайки, оставляя свободным вход и выход для участников спектакля. В самом центре сидел управитель — как старшее по рангу должностное лицо, — а вокруг него вся прочая неприятная публика, собравшаяся, чтобы повеселиться, готовая всем без исключения восхищаться и не проявляющая ни малейшей склонности к критике.

Образы, которые проходили перед заинтересованными и увлеченными зрителями, были теми же, что характеризовали раннюю пору театра у других народов: то были старики, которых дурачили их жены, водили за нос родные дочери, грабили сыновья и надувала прислуга; хвастливый вояка, жуликоватый странствующий монах, торгующий индульгенциями, деревенский увалень и городская распутница. Однако

никто из этих персонажей и даже все они вместе взятые не привлекали в такой степени сердца зрителей, как шут, который, подобно Грасьосо испанской комедии, пользовался в этом театре полнейшей свободой действий. В своей шапке, похожей на петушинный гребень, с дубинкой, на которой была вырезана фигурка, державшая в руках дурацкий колпак, он то появлялся, то исчезал, то снова возвращался, чтобы своими шутками и остротами вмешаться в любую сцену и прервать действие, в котором сам не участвовал, часто даже перенося свои насмешки с актеров на сидевших вокруг зрителей, которые охотно аплодировали всему, что бы им ни показали.

Грубоватое остроумие этой пьесы было направлено преимущественно против католических суеверий, и командовал всей театральной артиллерией не кто иной, как сам доктор Ландин, который не только велел руководителю труппы выбрать для представления один из бесчисленных сатирических памфлетов, направленных против папистов (многие из них облекались в драматическую форму), но даже, подобно датскому принцу, приказал включить, или, как он сам выразился, «подсыпать», туда несколько его собственных шуток все на ту же неисчерпаемую тему, надеясь этим путем смягчить строгость леди Лохливен, не любившей подобного рода развлечений. Он не упускал случая толкнуть локтем Роланда, сидевшего в качестве почетного гостя сразу же за доктором, обращая его внимание на особенно понравившиеся ему места в пьесе.

Что касается паж, которому одна лишь мысль о подобном зрелище казалась необычайно новой, то он пребывал в таком же неослабевающем восторженном экстазе, какой владеет людьми всех сословий, когда они впервые смотрят театральное представление. Он смеялся, кричал и хлопал в ладоши на протяжении всего действия. И только одно неожиданное происшествие внезапно охладило его интерес к происходившему на сцене.

Видным персонажем комической части драмы был, как мы уже упомянули, монах, торгующий индulgенциями, ничем не отличающийся от целой армии

странствующих клириков, которые бродят повсюду, торгуя подлинными или поддельными реликвиями, вызывая у народа благоговение и сострадание и обманывая, как правило, оба эти чувства. Лицемерие, бесстыдство и разврат этих бродячих монахов сделали их излюбленными персонажами сатириков от Чосера до Джона Хейвуда. Монах, изображавший одного из подобных персонажей на лесной сцене, следовал их обычаю, выдавая за реликвию свиную кость или расхваливая раковину, принесенную будто бы с гробницы святого Иакова Компостельского, да маленький оловянный крестик, которым он позвякивал в священной ладанке из Лорето, предлагая все эти предметы благочестивым католикам и запрашивая за них почти такую же цену, какую в наше время любители древностей платят за безделушки столь же сомнительного качества. Под конец монах вытащил из сумы маленькую склянку, на вид не содержащую ничего, кроме чистой воды, достоинства которой он стал расхваливать в следующих стихах:

— Послушайте-ка, добрые люди,
Рассказ о неслыханном чуде.
На свете город есть Вавилон,
Далеко на востоке находится он.
Там люди первыми солнце встречают,
Как нам о том мудрецы возвещают
Так вот, в той стране, совсем невелик,
Бьет из скалы волшебный родник.
Струю принимает гранитная ванна,
Где мылась встарь целомудренная Сусанна.
От тела святого, от рук и от ног
Чудесное свойство обрел тот поток.
По этой склянке судите сами;
Я нес в ней ту воду ночами и днями,
В зимнюю стужу и в зной иногда,
Пока наконец не доставил сюда.
Если сумела вас обойти
Жена или девушка сбилась с пути,
Дайте понюхать ей склянку, и, глядь,
Она мгновенно начнет чихать.

Шутка, как, вероятно, сразу же заметил читатель, искусственный в языке старинной драмы, вращалась вокруг той же темы, что и в древних сказаниях о «Застольном роге короля Артура» и «Плохо скроенном плаще», но слушатели, недостаточно ученые и не слишком критически настроенные, не выражали претензий за недостаток оригинальности. Могушественный талисман, с подобающими ужимками и прибаутками, по очереди предлагался всем женским персонажам, и никто из них не выдерживал испытания в безупречной нравственности. Все они, к величайшему удовольствию зрителей, чихали, и притом громче и продолжительней, быть может, чем им бы этого хотелось. Выдумка, казалось, удалась на славу, и монах собирался уже перейти к другой, как вдруг шут, потихоньку завладев склянкой с чудодейственной жидкостью, поднес ее к носу молодой женщины, которая сидела в первом ряду зрителей, закрыв лицо черным шелковым шарфом или вуалью, и целиком, казалось, была поглощена тем, что происходило на сцене. Содержимое склянки, составленное, видимо, с таким расчетом, чтобы подкрепить достоверность слов паломника, вызвало у девицы сильнейшее чиханье, свидетельствовавшее о ее греховности, что и было встречено взрывом восторга со стороны зрителей. Однако их смех внезапно обратился на самого шута, когда оскорбленная девица, еще не совсем перестав чихать, высвободила руку из складок плаща и наградила весельчака такой затрещиной, что он отлетел на два шага в сторону и пал ниц, словно благодаря ее за подобную милость.

Никто не жалеет актера, злоупотребляющего свободой своего амплуа, и когда шут, поднявшись с земли, стал жаловаться на суровую расправу, вызывая к зрителям, ему не удалось вызвать их сочувствие. Однако управитель решил, что в данном случае задето его собственное достоинство, и приказал двум своим алебардирам привести к нему нарушительницу порядка. Когда эти официальные лица приблизились к воинственной девушке, она сначала заняла было надежную оборонительную позицию, по-видимому

собираясь оказать сопротивление блюстителям порядка. Памятуя о силе и ловкости, образец которой она только что им продемонстрировала, представители власти не выказывали большой охоты выполнить свою миссию. Однако, поразмыслив с минуту, их противница изменила свои намерения и, с девической скромностью закутавшись в плащ, послушно направилась к великому мужу под охраной двух своих храбрых стражей. Когда девушка перешла лужайку и приблизилась к высокой скамье доктора, в ее походке и фигуре обнаружилась та легкая и гибкая грация, которую знатоки считают неотъемлемым признаком женской красоты. Это впечатление еще более усиливал ее костюм — изящная коричневая куртка, выгодно обрисовывавшая ее стан, и короткая юбка того же цвета, позволявшая видеть ее прелестные ножки. Лицо девушки было скрыто вуалью, но доктор, при всей его важности претендовавший на звание знатока женской красоты, сумел оценить целое по той его части, которая была доступна взору наблюдателя. Тем не менее он довольно сурово сказал ей:

— Ах ты дерзкая девчонка! А что, если я отдам распоряжение окунуть тебя в озеро за то, что ты в моем присутствии посмела ударить мужчину?

— Неужели, — ответила провинившаяся девушка, — ваша милость считает, что мои недуги можно излечить с помощью холодной ванны?

— Да ты, оказывается, ядовитая шельма! — рассмеялся доктор и шепнул Роланду Грейму: — Бьюсь об заклад, что она красавица. Ее голос сладок, как сироп. — После этого он снова обратился к девушке: — Однако ты, красотка, что-то уж чересчур старательно скрываешь свое лицо. Сняла бы ты шарф.

— Мне кажется, с этим лучше подождать, пока мы окажемся наедине с вашей милостью. Мое доброе имя может пострадать, если все узнают, что это надомной мерзкий плут сыграл такую наглую шутку.

— О своем добром имени можешь не тревожиться, моя дорогая щепоточка медовой манны, — ответил доктор. — Я заявляю официально, как управитель

Лохливена, Кинроса и прочая, что даже сама целомудренная Сусанна расчихается, понюхав этот элекси́р, ибо на самом деле в склянке содержится искусно отогнаный и очищенный *acetum*, или уксусная эссенция, которую я сам собственноручно изготовил. А засим, поскольку уж ты выразила желание явиться ко мне и с глазу на глаз лично оправдаться в совершенном тобой проступке, я приказываю немедленно продолжать представление, как если бы не произошло ничего, нарушившего предписанный ход событий.

Девушка сделала реверанс и отправилась на свое место. Пьеса продолжалась, но теперь не к ней было приковано внимание Роланда Грейма.

Голос, фигура этой деревенской красотицы, наконец ее шея и локоны, не совсем прикрытые шарфом, настолько напоминали Кэтрин Ситон, что он почувствовал себя начисто сбитым с толку этой путаницей изменчивых и неправдоподобных видений.

Пресловутая сцена в гостинице снова встала в его памяти во всех ее сомнительных и странных подробностях. Уж не воплотились ли в этой необыкновенной девушке колдовские силы, о которых он читал в рыцарских романах? Ведь если бы она даже смогла перенестись сюда из окруженного стенами и вооруженною стражею замка Лохливен, отрезанного широким озером (Роланд невольно бросил на него взгляд, как бы желая убедиться, что озеро все еще на месте) и охраняемого с той тщательностью, какой требует национальная безопасность, — если она даже и преодолела бы все эти преграды, то как могла она столь беззаботно и рискованно использовать обретенную свободу, не найдя ничего лучшего, как ввязаться в публичную ссору на сельском празднике? Роланд не мог даже определить, что показалось ему в этом особенно необъяснимым, — усилия, каких, вероятно, стоило ей вырваться на свободу, или то, как она эту свободу использовала.

Теряясь в сомнениях, он не спускал взгляда с той, которая стала их предметом, и в каждом случайном ее движении заново открывал, — или ему

казалось, что он открывал, — еще какую-нибудь черту, лишний раз напоминавшую Кэтрин Ситон. Правда, Роланд много раз говорил себе, что он обманывается, преувеличивая случайное сходство. Но потом он снова возвращался к встрече в подворье святого Михаила, и ему казалось в высшей степени невероятным, чтобы в столь различных условиях его воображение дважды сыграло с ним такую удивительную шутку. На этот раз, однако, он желал во что бы то ни стало разрешить свои сомнения и с этой целью весь остаток представления держался как борзая на стойке, готовая броситься на зайца при первом же его появлении. Между тем девица, за которой он столь внимательно следил, желая помешать ей по окончании зрелища скрыться в толпе, сидела, как бы вовсе не подозревая о том, что за ней наблюдают. Зато достойный доктор сразу же заметил, куда устремлены взоры пажа, и тут же, великодушно подавив в себе желание стать Тезеем для этой Ипполиты, решил отдать дань закону гостеприимства и не мешать любовным делам своего юного гостя. Он ограничился лишь тем, что отпустил несколько острот по поводу того пристального внимания, которым паж удостаивал незнакомку, и по поводу своей собственной ревности, добавив, однако, что если бы они с Роландом одновременно были прописаны пациентке в качестве лекарства, она, без сомнения, предпочла бы молодого человека, как более действенное средство.

— Я боюсь, — добавил доктор, — что мы еще не скоро дождемся вестей об этом жулике Охтермахти, так как бездельники, которых я послал за ним, как будто подтверждают версию о вóроне, выпущенном из Ноева ковчега. Это означает, мейстер паж, что у вас есть еще в запасе часок-другой, и, поскольку теперь, когда пьеса уже закончилась, возобновили свою музыку менестрели, а у вас явно есть желание потанцевать, прошу вас учесть, что вон там перед вами превосходная зеленая лужайка, а тут сидит ваша будущая партнерша. Надеюсь, мое искусство ставить диагноз не останется незамеченным. Я, правда, смотрел вполглаза, но сразу определил вашу болезнь и

назначил вам весьма приятный курс лечения. *Discernit sapiens res, quas confundit asellus*¹ (как говорится у Чеймберса).

Едва ли паж слышал окончание этого мудрого изречения, как не слышал он и наставлений управителя, советовавшего ему не слишком далеко отлучаться на случай, если обоз прибудет неожиданно и раньше, чем его ожидали; он страстно жаждал освободиться от ученого спутника и удовлетворить свое любопытство по поводу незнакомой девицы. Но при всей поспешности, с которой Роланд устремился вперед, он помнил, что, если он хочет добиться разговора с девушкой наедине, ему не следует пугать ее внезапной атакой. Поэтому, сдерживая нетерпение, юноша учтиво приблизился к ней, с подобающей самоуверенностью опередив при этом трех-четырех деревенских парней, которые питали относительно девицы те же намерения, что и паж, но не знали, как к ней подступить. Роланд сообщил ей, что он уполномочен почтенным управителем и от его имени просит оказать ему честь потанцевать с ним.

— Почтенный управитель, — сказала девица, смело протянув руку пажу, — хорошо сделал, поручив эту часть своих привилегий другому лицу; и я полагаю, что, по обычаям праздника, мне остается только принять предложение его достойного представителя.

— Если, конечно, его выбор не слишком неприятен вам, любезная мисс, — сказал Роланд.

— Об этом, любезный сэр, — ответила девушка, — я скажу вам после первого тура.

Кэтрин Ситон была необычайно искусна в пляске, и порой ей случалось танцами развлекать свою венеценосную госпожу. Роланд Грейм нередко присутствовал при этих ее выступлениях, а иногда, по приказанию королевы, бывал партнером Кэтрин. Поэтому он хорошо изучил ее манеру танцевать и нашел, что его нынешняя партнерша в точности напоминает младшую фрейлину королевы по живости, грациоз-

¹ Умный может разобраться в вопросах, которые осел запутывает (лат.).

ности, чувству ритма и верности исполнения; пожалуй, лишь шотландская джигга, которую они танцевали сейчас, требовала более быстрых и бурных движений, отличаясь грубоватой резвостью от дворцовых балльных танцев — лавольты и куранты, которые Кэтрин исполняла в покоях королевы Марии.

Живой танец не оставлял ему времени для размышления или для разговора; но когда они наконец уступили место на лужайке прочим танцорам, окончив свое па-де-де и заслужив шумное одобрение поселян, которым редко удавалось видеть подобное зрелище, паж воспользовался своим правом кавалера и попытался завязать разговор с девицей, которую он все еще держал за руку.

— Прекрасная партнерша, не могу ли я спросить имя той, которая так любезно согласилась танцевать со мной?

— Спросить вы можете, — сказала девушка, — но все дело в том, ответу ли я вам.

— Почему же вы не ответите? — спросил Роланд.

— Да потому, что никто не любит давать, ничего не получая взамен, а вы не можете сообщить мне ничего такого, что мне хотелось бы услышать.

— Разве я не могу сообщить вам за это мое имя и родословную?

— Нет, — ответила девушка, — ибо вы и сами не знаете ни того, ни другого.

— Почему вы так думаете? — спросил паж с некоторым раздражением.

— Не сердитесь, — промолвила его собеседница. — Я сейчас докажу вам, что знаю о вас больше, чем вы сами о себе знаете.

— В самом деле? — ответил Грейм. — Кто же я, по-вашему?

— Дикий сокол, — ответила она, — которого еще не оперившимся птенцом собака принесла в некий замок и которого все еще не спускают с пальца, чтобы он не упустил добычи и не набросился на мертвечину. Этого сокола нужно держать под колпачком, пока он не обретет полную ясность зрения и не научится отличать хорошее от плохого,

— Ну что же, пусть так, — ответил Роланд Грейм. — Отчасти и я разгадал вашу тайну, моя несокочтимая дама; возможно, я даже знаю о вас не меньше, чем вы обо мне, и могу обойтись без тех ответов, на которые вы так скупитесь.

— Если вы докажете это, — сказала девушка, — я поверю, что вы проникательней, чем я полагала.

— Это можно сделать немедленно, — сказал Роланд Грейм. — Первая буква вашей фамилии С, а последняя — Н.

— Превосходно! — воскликнула его партнерша. — Продолжайте.

— Сегодня вам нравится носить ленты и юбку, а завтра, быть может, вас увидят в шляпе с пером, в куртке и штанах.

— Прямо в точку! Вы угодили в самый центр мишени! — воскликнула девушка, подавляя величайшее желание расхохотаться.

— Вы можете хлыстом выбить человеку глаз и можете вырвать ему сердце из груди! — Эти последние слова были произнесены тихим и нежным голосом, что, к величайшей обиде и неудовольствию Роланда, не только не растрогало его партнершу, но, казалось, еще усилило ее желание смеяться. Едва сдержав себя, она сказала:

— Если рука моя кажется вам такой ужасной, — при этих словах девушка вырвала свою руку из его пальцев, — вам незачем было так сильно ее сжимать; однако вы, как я погляжу, настолько хорошо знаете меня, что, пожалуй, даже не стоит показывать вам мое лицо.

— Любезная Кэтрин, — сказал паж, — тот не достоин видеть вас, а тем более служить вместе с вами под одной кровлей, кто не может узнать вас по фигуре, жестам, походке, по тому, как вы танцуете, как поворачиваете голову; словом, нет такого тупицы, который по всем этим признакам сразу же не признал бы вас; что касается меня, то я мог бы поклясться, что это вы, взглянув на одну эту прядь волос, которая выбилась из-под вашего шарфа.

— И тем более увидев лицо, которое этот шарф скрывает, — сказала девушка, откидывая вуаль и в то же мгновение пытаясь снова закрыться.

Черты ее лица были те же, что у Кэтрин Ситон, но нетерпеливое раздражение залило их румянцем, когда она, неловко дернув вуаль, оказалась не в состоянии поправить ее с той легкостью, которая считалась главным достоинством кокеток того времени.

— Черт бы побрал это тряпье! — вскричала девушка, стараясь поймать шарф, развевавшийся у нее за спиной; она произнесла это столь сурово и решительно, что паж замер на месте от удивления. Он снова взглянул на лицо своей партнерши, но глаза его засвидетельствовали то же, что и раньше: перед ним было лицо Кэтрин Ситон. Он помог ей поправить шарф, и оба с минуту молчали. Девушка заговорила первая, ибо Роланд Грейм был слишком ошеломлен противоречиями, из которых, по-видимому, были сотканы характер и самый облик Кэтрин Ситон.

— Вы удивлены тем, что слышали и видели? — спросила девушка. — Но времена, когда женщины становятся мужчинами, менее всего благоприятствуют превращению мужчины в женщину; тем не менее вам сейчас как раз угрожает подобная опасность.

— Мне — опасность стать женщиной?

— Да, вам, несмотря на всю вашу смелость, — подтвердила собеседница Роланда. — В то время как вам надлежало бы укрепиться в вашей вере, которой угрожают со всех сторон бунтовщики, изменники и еретики, вы позволяете ей ускользнуть из вашего сердца, как ускользает вода, зачерпнутая в горсть, просачиваясь между пальцами. Если вы отказываетесь от веры ваших предков из страха перед изменником — разве это по-мужски? Если вас обошли, обманув хитрыми речами еретического шарлатана или похвалой пуританской старухи, разве это по-мужски? Если вас подкупили надеждами на награбленную добычу и повышением в звании, разве это по-мужски? И если вас удивляет, что у меня вырывается порой угроза или проклятье, почему вас не удивляет ваша собственная особа — ведь вы же претендуете на

благородное имя, стремитесь получить рыцарское звание — и в то же время ведете себя столь трусливо, глупо и своекорыстно.

— Если бы такое обвинение исходило от мужчины, — сказал паж, — он не прожил бы и мгновения после того, как назвал меня трусом.

— Берегитесь пышных слов, — ответила девушка. — Вы ведь сами сказали, что я иногда ношу штаны и куртку.

— И все же в любом костюме вы останетесь Кэтрин Ситон, — заметил паж, снова пытаясь завладеть ее рукой.

— Вам нравится так называть меня, — возразила девушка, отдергивая руку, — но у меня есть еще много других имен.

— И вы не хотите откликнуться на то, которое отличает вас от любой другой девушки во всей Шотландии? — спросил паж.

Но его собеседница не обратила внимания на комплимент и внезапно, продолжая держаться на расстоянии от пажа, весело пропела ему строфу из старинной баллады:

— Зовут меня иные Джек,
Другие кличут Джил,
Но в Холируде я для всех
Всегда — Упрямый Уил.

— Упрямый Уил! — воскликнул паж нетерпеливо. — Скажите лучше — Упрямый Джек с фонарем,¹ ибо никогда еще не было на свете такого обманчивого блуждающего огонька.

— Если я такова, — ответила девушка, — я ведь не прошу глупцов следовать за мной, а если они все же не отстают, то делают это на собственный страх и риск.

— Но, дорогая Кэтрин, — воскликнул Роланд Грейм, — будьте же хоть мгновение серьезны!

— Если вам хочется называть меня дорогой Кэтрин после того, как я предоставила вам на выбор

¹ Блуждающий огонек на болоте.

столько других имен, — ответила девица, — то как вы можете с такой настойчивостью просить меня быть серьезной, предполагая, что я удрала на два-три часа из башни и пользуюсь сейчас, быть может, единственными веселыми минутами за долгие месяцы заточения?

— Но, дорогая Кэтрин, бывают минуты глубокого и искреннего чувства, более ценные, чем тысячи лет величайшего веселья. Например, вчера, когда вы так близко...

— *Что так близко?* — быстро спросила девица.

— Когда ваши губы были так близко к знаку, который вы начертали у меня на лбу.

— Пресвятая дева! — вскричала она еще более яростно и еще более по-мужски, чем раньше. — Кэтрин Ситон приблизила свои губы ко лбу мужчины, и этот мужчина — ты? Ты лжешь, грубиян!

Паж так и обмер от изумления, но, сообразив, что он затронул деликатнейшие чувства девушки, напомнив ей минутную ее слабость и ту форму, в которой она проявилась, он попытался что-то пролепетать в свое оправдание. Его извинения, хотя он не сумел придать им связную форму, были доброжелательно приняты собеседницей, которая сразу же после первой вспышки подавила свое негодование.

— Ни слова об этом! — сказала она. — А теперь нам придется разойтись; наша беседа может привлечь к нам больше внимания, чем этого хотелось бы.

— Но разрешите мне хоть пройти за вами в какое-нибудь более укромное местечко.

— Вы не осмелитесь, — ответила девушка.

— Я не осмелюсь? — удивился юноша. — Куда же это у вас хватит смелости пройти, а у меня не хватит?

— Вы боитесь Джека с фонарем, — услышал он в ответ, — как же вы отважитесь пойти навстречу огненному дракону с колдуньей на спине?

— Подобно тому как это делали сэр Эджер, сэр Грайм или сэр Грейстил? — спросил паж. — Но разве сейчас встречается подобная чертовщина?

— Я иду к матушке Никневен, а она достаточно могучая колдунья, чтобы оседлать самого черта с помощью красной шелковой нити вместо узды и рябинового прута в качестве хлыста.

— Я пойду за вами, — сказал паж.

— Только на расстоянии, — ответила девушка. И, закутавшись в плащ еще плотнее, чем прежде, она смешалась с толпой, направляясь в сторону городка, а Роланд Грейм последовал за ней на некотором расстоянии, принимая все предосторожности, чтобы не быть замеченным.

Глава XXVIII

И та, что видела тебя младенцем,
С надеждой думала об утре дней
твоих,
Глазами, потускневшими от слез,
Взирает ныне на твое бесчестье.

Старинная пьеса

Не доходя до главной и, к слову сказать, единственной улицы Кинроса, девушка, за которой следовал Роланд Грейм, оглянулась, как бы желая убедиться, что он не потерял ее из виду, и внезапно свернула в узкий переулок, застроенный двумя рядами убогих, полуразвалившихся лачуг.

У двери одного из этих жалких строений она на мгновение задержалась, еще раз бросила взгляд в сторону Роланда, затем подняла щеколду и исчезла за дверью. Паж немедленно последовал ее примеру, но ему пришлось повозиться некоторое время и со щеколдой, которая отодвигалась не совсем обычным образом, и самой дверью, которая не без сопротивления уступила его усилиям.

Темный и дымный коридор проходил, как это было принято в то время, между наружной стеной дома и «холланом», или глиняной стенкой, отделявшей его от внутреннего помещения. В конце этого коридора в перегородке виднелась дверь в «бен» — так называлась

внутренняя часть хижины, — и когда Роланд взялся за ручку этой двери, чей-то женский голос приветствовал его следующими словами: «*Benedictus qui veniat in nomine Domini, damnandus qui in nomine inimici*». ¹

Войдя в комнату, паж увидел женщину, сидевшую у низкого очага, в которой он узнал ту, кого доктор Ландин назвал матушкой Никневен. Кроме нее, в комнате не было никого. Роланд Грейм удивленно осматривался, не зная, как объяснить исчезновение Кэтрин Ситон, и не обратил бы особого внимания на мнимую колдунью, если бы она не спросила его с каким-то странным выражением голоса:

— Чего ты ищешь здесь?

— Я ищу, — ответил паж в полном замешательстве, — я ищу...

Его ответ остался неоконченным, ибо старуха, нахмурившись, сурово сдвинула свои нависшие седые брови, отчего ее лоб покрылся тысячью морщин, затем выпрямилась во весь свой огромный рост, сорвала с головы платок и, схватив Роланда за руку, шагнула с ним к окошку, где свет упал на ее лицо; ошеломленный юноша узнал в ней Мэгделин Грейм.

— Да, Роланд, — сказала она, — твои глаза не лгут; ты действительно видишь перед собой ту, которая ошиблась в тебе; ты обратил ее вино в желчь, ее хлеб довольства — в горькую отраву, а ее надежду — в беспросветное отчаяние. Это она ныне спрашивает тебя: чего ты ищешь здесь?

Пока она говорила, ее большие черные глаза не отрывались от лица юноши; так орел рассматривает добычу, перед тем как разорвать ее на куски. В это мгновение Роланд не в силах был ни ответить ей, ни уклониться от ответа. Эта необыкновенная, экзальтированная женщина еще не утратила над ним той власти, которой он привык подчиняться с детства. Кроме того, он знал, как неистова она в своих страстных порывах, как нетерпима к малейшему возраже-

¹ Блажен грядущий во имя божье, проклятие тому, кто приходит от имени дьявола (лат.).

нию, и понимал, что любое его замечание способно лишь довести ее до полного исступления. Поэтому он предпочитал молчать, в то время как Мэгделин Грейм с возрастающей страстностью продолжала осыпать его упреками:

— Итак, я снова спрашиваю тебя, чего ты ищешь здесь, вероломный юноша? Ищешь ли ты честь, которую утратил, веру, от которой отрекся, надежды, которые разрушил? Или ты ищешь меня, опору твоей юности, единственную известную тебе родственницу, чтобы надругаться над моими сединами так же, как ты надругался уже над лучшими устремлениями моего сердца?

— Простите, матушка, но, по справедливости, я не заслужил ваших упреков, — возразил Роланд Грейм. — Все окружающие меня и даже вы сами, моя глубокочтимая родственница, обращались со мной так, как если бы у меня не было ни свободной воли, ни здравого разума или если бы я не был достоин ими воспользоваться. Меня завели в какое-то заколдованное царство, где повсюду царили странные видения. Каждый при встрече со мной надевал маску, все говорили загадками; я бродил, как будто окутанный дурманом; а теперь вы же еще упрекаете меня за то, что мне не хватает благоразумия, рассудительности и стойкости, то есть того, что присуще здравомыслящему человеку, не знающему ни чар, ни видений, отдающему себе отчет в том, что он делает и зачем он это делает. Когда человеку приходится иметь дело с личинами и призраками, перелетающими с места на место, словно он живет не в реальном мире, а в царстве грез, тут может поколебаться самая устойчивая вера и закружиться самая крепкая голова. Если вы этого требуете, — что ж, признаюсь в своем безумии: я искал Кэтрин Ситон, ту самую, с которой вы первая познакомили меня; я встретил ее при весьма загадочных обстоятельствах здесь, в Кинросе, веселящейся на празднике, хотя только что я оставил ее в надежно охраняемом замке Лохливен, безутешной фрейлиной заточенной королевы. Я искал ее, а вместо нее нахожу здесь вас, моя матушка,

и притом еще более причудливо замаскированную, чем сама Кэтрин.

— А что тебе до Кэтрин Ситон? — сурово спросила его старуха. — Разве в такое время в этом мире можно ухаживать за девушками или плясать в майском хороводе? Когда трубы будут созывать верных шотландцев сплотиться вокруг знамени их истинной королевы, тебя, пожалуй, придется искать в дамской спальне?

— Клянусь небесами, этого не будет! Но не ищите меня и в заточении, в суровых стенах замка Лохливен, — ответил Роланд Грейм. — Мне даже хотелось бы, чтобы раздался наконец этот трубный звук, ибо боюсь, что менее громкий призыв не развеет окружающих меня химерических видений.

— Верь мне, он прогремит, этот трубный сигнал, — сказала старуха, — и с такой ужасающей силой, какой никогда больше не услышать в Шотландии до тех пор, пока не раздастся тот последний оглушительный призыв, который возвестит горам и долам о конце земной жизни. А до тех пор ты должен быть мужественным и стойким... Служи господу богу и почитай королеву. Не отступай от своей веры! Я не могу... не хочу... не дерзаю спрашивать тебя, справедливо ли это ужасное подозрение в отступничестве. Не совершай этой проклятой жертвы: ты все еще можешь, хоть и с запозданием, стать таким, каким я мечтала видеть тебя, достойным моих самых заветных надежд... Да что там — моих надежд! Ты должен стать надеждой всей Шотландии, ее славой и гордостью! Тогда, быть может, сбудутся твои самые невероятные, самые безумные мечты. Мне бы надо краснеть, примешивая корыстные побуждения к тем благородным наградам, какие я сулила тебе. Мне совестно в моем возрасте говорить о суетных страстях юности, не осуждая и не порицая их. Но ребенка заставляют принять лекарство, маня его сладостями, а юношу влечет на благородный подвиг предвкушение любовных утех. Так знай же, Роланд! Любовь Кэтрин Ситон получит лишь тот, кто добудет свободу ее госпоже, и верь мне: возможно, когда-нибудь от тебя

самого будет зависеть, станешь ли ты этим счастливецем. Так отбрось же сомнения и страхи, готовь себя к тому, к чему призывает вера, чего ждет родина, чего требует от тебя долг верноподданного слуги. И верь, что самые тщеславные и безумные чаяния твоего сердца могут осуществиться там, где следуют призыву долга.

Она замолчала, и в этот момент послышался двойной удар во внутреннюю дверь. Старуха торопливо закрыла нижнюю часть лица шарфом и снова уселась в кресло у очага; только после этого она спросила, кто стучится.

— *Salve in nomine sancto*,¹ — прозвучал ответ снаружи.

— *Salvete et vos*,² — ответила Мэгделин Грейм.

Вошел человек, одетый, как обычно одеваются латники из дружины знатного вельможи, с мечом на перевязи и со щитом.

— Я к вам, матушка Мэгделин, и к тому, кого я застаю у вас, — сказал он и, обращаясь к Роланду, спросил его: — Нет ли у тебя письма от Джорджа Дугласа?

— Оно при мне, — ответил паж, внезапно вспомнив об утреннем поручении Дугласа, — но я могу отдать его только тому, кто докажет свое право получить это письмо.

— Ты действуешь правильно, — согласился латник и шепнул ему на ухо: — Письмо, о котором я говорил, содержит доклад его отцу. Достаточно ли тебе этого?

— Достаточно, — ответил паж и, вынув письмо, спрятанное у него на груди, передал его незнакомцу.

— Я сейчас же вернусь, — сказал латник и вышел из домика.

Роланд, к этому времени уже достаточно опомнившийся от удивления, решил, в свою очередь, спросить у Мэгделин Грейм, почему она находится здесь, в таком опасном месте, и так странно одета.

¹ Приветствую во имя божье (лат.).

² Приветствую и вас (лат.).

— Не можете же вы не знать, какую ненависть питает леди Лохливен ко всем, кто исповедует вашу... я хотел сказать — нашу религию. К тому же подобный маскарад может навлечь на вас и другие, не менее опасные подозрения. Как католичка, как колдунья или как сторонница несчастной королевы, вы подвергаетесь одинаковой опасности в пределах владений Дугласов; а в управителе, который их здесь представляет, вы, правда уже по другим мотивам, также должны видеть врага, и притом одного из самых заклятых.

— Мне это известно, — сказала старуха, и глаза ее засветились торжеством. — Мне известно, что кичащийся своей греховной мудростью и школьной ученостью Льюк Ландин завистливо и злобно смотрит, как святые угодники придают благодатную силу моим молитвам и в особенности священным реликвиям, от одного прикосновения и даже от простого лицезрения которых так часто отступают болезнь и смерть. Я знаю, что он рад был бы замучить и растерзать меня, да бодливой корове бог рог не дает, и раба господня не станет его жертвой, пока не свершится великий замысел божий. А когда этот срок наступит, пусть тогда тени заката низойдут на меня в грозе и буре, и да будет благословен час, в который очи мои освободятся от лицезрения греха, а слух — от речей кощунствующих. Только бы ты оставался стойким. Выполняй же свое дело, как я выполняла и буду выполнять свое, и тогда моя смерть уподобится кончине святых мучеников, чье восхождение на небеса ангелы встречали псалмами и песнопениями, тогда как земля преследовала их хулой и проклятиями.

В это время латник снова вошел в дом и сказал:

— Дела идут хорошо! Срок установлен: все произойдет нынче ночью.

— Какой срок? Что установлено? — воскликнул Роланд Грейм. — Надеюсь, я не ошибся, передав письмо Дугласа...

— Успокойся, юноша, положишь на мое слово и на пароль, — ответил латник.

— Я не знаю, тот ли это пароль, и не могу положиться на слово незнакомца, — возразил паж.

— Что же, — сказала старуха, — если бы ты, горячая голова, и в самом деле передал верному слуге королевы письмо, порученное тебе одним из мятежников, это не было бы промахом с твоей стороны.

— Клянусь святым Андреем, это был бы грубейший промах; ведь на первой ступени рыцарства мой долг велит мне прежде всего соблюдать верность слову, и если бы сам дьявол послал меня с поручением, то я, поскольку я дал ему слово, не выдал бы его тайны ангелу божьему.

— Клянусь любовью, которую я некогда питала к тебе, — воскликнула старуха, — я готова собственными руками задушить тебя, когда ты разглагольствуешь о том, что верность мятежникам и еретикам для тебя выше долга перед церковью и государем!

— Терпение, сестра моя, — сказал латник. — Я представляю ему такие доказательства, которые сразу успокоят его совесть. Дух его благороден, хотя в нынешних условиях это, быть может, несвоевременно и неуместно. Следуй за мной, юноша!

— Прежде чем я пойду и призову к ответу этого незнакомца, — сказал старухе паж, — мне бы хотелось знать, нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы вам жилось лучше и безопаснее.

— Ничего, — ответила она, — ничего, кроме того, что сбережет твою собственную честь. Святые, которые так давно покровительствуют мне, поддержат меня в трудную минуту. Ты же иди дорогой славы и помни, что есть на свете душа, для которой высшим счастьем было бы услышать о твоём подвиге. А сейчас следуй за этим человеком; он сообщит тебе новость, которой ты вовсе не ждешь.

Незнакомец задержался на пороге, как бы поджидая Роланда; как только он убедился, что паж следует за ним, он быстрым шагом двинулся вперед. Они прошли дальше в переулок, и Роланд заметил, что теперь дома тянутся только с одной стороны, по другую же сторону высится старая стена, из-за которой кое-где выглядывают ветви деревьев. Пройдя еще

немного вдоль стены, они разыскали в ней небольшую дверь. Провожатый Роланда остановился и, оглянувшись, не идет ли кто за ними, отпер эту дверь ключом. Он вошел, знаком поманил за собой Роланда и тщательно запер дверь изнутри. Осмотревшись, паж увидел, что они находятся в небольшом, заботливо возделанном фруктовом саду. Незнакомец провел его по дорожкам, на которые падала тень от ветвей, обремененных зрелыми плодами. Они пришли в зеленую беседку, где латник уселся на дерновую скамью и предложил Роланду сесть на скамью напротив. После минутного молчания он заговорил:

— Итак, ты не поверил словам незнакомца и требуешь более веского доказательства того, что доверенное тебе письмо Джорджа Дугласа попало в надежные руки?

— Да, я требую этого, — сказал Роланд. — Я боюсь, не поступил ли опрометчиво, и если это так, мне придется любыми средствами исправить свою ошибку.

— Ты считаешь, что я вовсе незнаком тебе? — спросил латник. — Вглядись-ка внимательно в мое лицо: не напоминает ли оно кого-нибудь хорошо знакомого тебе в прошлом?

Роланд смотрел пристально, но тот образ, который возник в его памяти, так не вязался с грубой одеждой наемного латника, которую носил сидевший перед ним человек, что он даже не решился высказать свою догадку.

— Да, сын мой, — сказал незнакомец, видя его смущение, — ты действительно видишь перед собой несчастного отца Амвросия, который некогда считал завершенной свою миссию по спасению твоей души от сетей ереси, но который сейчас вынужден оплакивать тебя, как вероотступника.

Живой характер Роланда Грейма сочетался с большой душевной добротой. Для него невыносимо было смотреть на своего престарелого и почитаемого наставника и духовного отца, претерпевшего такие превратности судьбы; он пал пред ним на колени, обнял его ноги и горько заплакал.

— Что означают эти слезы, сын мой? — спросил аббат. — Если ты раскаиваешься в собственных грехах и безумствах, тогда они воистину льются благодетельным дождем и способны принести тебе пользу; меня же не стоит оплакивать. Ты действительно видишь главу общины святой Марии в доспехах бедного латника, который служит своему господину мечом и копьем, а в случае надобности отдаст ему и свою жизнь за этот грубый ливрейный наряд и четыре марки в год. Но это одеяние соответствует духу времени, и оно так же подобает прелатам воинствующей церкви, как епископский посох, митра и парча — служителям церкви торжествующей.

— Но как же это... — спросил паж и тут же добавил, обрывая самого себя: — Впрочем, что я спрашиваю? Кэтрин Ситон частично подготовила меня к этому. Но перемена так разительна, падение так безысходно!..

— Да, сын мой, — сказал аббат Амвросий, — ты сам видел собственными глазами мое незаслуженное возведение в сан аббата, этот последний торжественный акт в церкви святой Марии, если только небо снова не поднимет нашу церковь из ее униженного состояния. Сейчас пастырь сражен, почти повержен, паства рассеяна, а гробницы святых мучеников и благочестивых покровителей церкви служат убежищем для ночных сов и вампиров пустыни...

— А ваш брат, рыцарь Эвенел, разве он не в силах был защитить вас?

— Он и сам попал под подозрение властей поддерживающих, которые столь же несправедливы к своим сторонникам, сколь жестоки к врагам, — промолвил аббат. — Я бы не стал об этом жалеть, если бы смел надеяться, что это поможет удалить его от ложного пути; но я хорошо знаю душу Хэлберта и боюсь, что в таком положении он скорее будет склонен подтвердить свою преданность этому нечестивому делу каким-нибудь новым поступком, еще более губительным для церкви и еще более оскорбительным для бога. Впрочем, довольно об этом, перейдем к предмету нашей встречи. Надеюсь, тебе достаточно моего слова,

что принесенное тобой письмо от Джорджа Дугласа действительно предназначалось мне?

— Но тогда, значит, Джордж Дуглас... — начал было паж.

— Искренний друг своей королевы, Роланд; а вскоре, надеюсь, у него раскроются глаза и на ошибки его церкви (столь незаслуженно носящей это название).

— Но тогда какова его роль по отношению к отцу и леди Лохливен, которая заменила ему мать? — нетерпеливо спросил паж.

— Он их лучший друг, ныне и присно и во веки веков, — сказал аббат, — ведь он собирается исправить то зло, которое они причинили и продолжают причинять людям.

— Боюсь, — сказал паж, — что мне не очень по душе дружба, которая начинается с предательства.

— Я не осуждаю тебя за подобную шепетильность, сын мой, — ответил аббат, — но наше время подорвало приверженность христиан к их вере и верность подданных своему королю, не говоря уж об иных, менее прочных связях; в такое время простые узы родства так же не могут заставить нас свернуть с пути, как не могут задержать паломника, следующего своим обетам, репей и терновник, вцепившиеся в его плащ.

— Но в таком случае, отец мой... — воскликнул юноша и замолчал, не решаясь продолжать.

— Говори, сын мой, — ободрил его аббат, — говори смело.

— Тогда, я надеюсь, вы не станете обижаться, — продолжал Роланд, — если я напомню, что именно это и ставят нам в вину наши противники, когда говорят, что у нас цель оправдывает средства и что мы готовы совершить величайший грех ради возможного грядущего блага.

— Еретики испробовали на тебе свои обычные уловки, сын мой, — ответил аббат. — Они хотели бы, чтобы мы добровольно отреклись от искусства действовать мудро и скрытно, в то время как их превосходство в силе не дает нам возможности сражаться

с ними в открытом и равном бою. Они довели нас до изнеможения, а теперь еще хотели бы отнять те средства, которые искупают недостаток у нас силы и которыми повсюду в природе слабый защищается от более мощного противника. С таким же успехом собака могла бы уговаривать зайца: «Оставь свои лукавые увертки, выходи на честный бой!» Ведь именно так поступает вооруженный до зубов, полный сил еретик, требуя от повергнутого и придавленного к земле католика, чтобы тот отказался от змеиной мудрости — единственного орудия, оставленного нам для того, чтобы восстановить разрушенный Иерусалим, который мы оплакиваем и который мы обязаны воссоздать вновь. Но об этом мы еще поговорим позже. А сейчас я именем твоей веры приказываю тебе, сын мой, рассказать мне искренне и подробно обо всем, что произошло с тобой после того, как мы расстались, и поведать, в каком состоянии находится сейчас твоя совесть. Сестра Мэгделин — необычайно одаренная женщина, она полна ревностной веры, которую не смогут пошатнуть ни сомнения, ни опасности, хотя вера эта не всегда подкреплена знаниями. Вот почему, сын мой, я по своей воле взял на себя роль твоего исповедника и наставника в эти мрачные и коварные времена.

С уважением, какое он всегда питал к своему первому наставнику, Роланд Грейм вкратце рассказал ему о событиях, уже известных читателю; он не утаил от своего духовного отца того впечатления, которое произвели на него доводы проповедника Хендерсона, и почти непроизвольно обмолвился о том, какое влияние оказывает на него Кэтрин Ситон.

— Я с радостью обнаруживаю, мой дорогой сын, — промолвил аббат, — что прибыл вовремя и что еще есть возможность удержать тебя у самого края пропасти. Терзающие тебя сомнения — это сорняки, которые обычно произрастают на здоровой почве, и чтобы их искоренить, нужна заботливая рука земледельца. Ты должен прочесть небольшую книжицу, которую я передам тебе в подходящую минуту. В этой книге, с божьей помощью, мне удалось представить

в более ясном свете те вопросы, вокруг которых идет борьба между нами и нынешними еретиками, сеющими среди пшеницы такие же мерзкие плевелы, какие еще до них примешивали к добрым семенам альбигойцы и лолларды. Не следует, однако, полагаться на один только разум в борьбе с дьявольскими наущениями. Соппротивление иногда уместно, но чаще следует прибегать к бегству. Ты должен замкнуть свои уши для доводов сторонников ереси, если положение не позволяет тебе избегать их общества. Пусть твои мысли будут прикованы к служению пресвятой деве, вместо того чтобы попусту тратить духовные силы на борьбу с софизмами еретиков. Если ты не сможешь приковать свое внимание к божественным предметам, то уж лучше думай о земных наслаждениях, но не искушай провидение, склоняя свой слух к ложным догматам. Думай о своем соколе, о собаке, удочке, о своем мече и щите... Думай, наконец, о Кэтрин Ситон — это все же лучше, чем отдавать свою душу во власть искушителя. Ах, сын мой! Не считай, что, изнуренный обетами и сгорбившись скорее под бременем невзгод, нежели лет, я забыл о том, какую силу имеет красота над сердцем юноши. Даже бессонными ночами, наряду с томительными мыслями о заточенной королеве, о нашей раздираемой смутами родине, о поверженной и опустошенной церкви, приходят и другие мысли и чувства, принадлежащие к более ранней и более счастливой поре моей жизни. Но да будет так! Мы должны нести наше бремя, пока есть силы, и не напрасно заложены в нашу душу эти страсти, ибо, как это произошло с тобою, они могут прийти на помощь более высоким замыслам. Но знай, сын мой, Кэтрин Ситон — дочь одного из самых гордых и вместе с тем самых могущественных баронов Шотландии. А твое положение не должно было бы тебе позволить парить в твоих мечтах столь высоко. Но так уж случилось. Небо осуществляет свои планы через безумства людские. И честолюбивые стремления Дугласа, так же как и твои, должны послужить желанной цели.

— Как, отец, — спросил паж, — значит мои подозрения оправдались? Дуглас любит...

— Да, это так, и его чувства столь же неуместны, как и твои, однако остерегайся его... не ссорься с ним... не препятствуй ему.

— Пусть он не ссорится со мной и не мешает мне, — воскликнул паж, — ибо я не уступлю ему ни на шаг, хотя бы в нем одном воплотились души всех Дугласов со времен Темно-серого человека.¹

— Успокойся, сумасброд, помни, что ваши любовные притязания никогда не столкнутся между собой. Но довольно толковать об этих суетных предметах; используем лучше то время, которое у нас еще осталось. На колени, сын мой! Приди ко мне вновь, после долгого перерыва, со своей исповедью, чтобы при любом повороте событий урочный час застал тебя верным католиком, именем святой церкви освобожденным от бремени грехов твоих. Я не могу выразить свою радость, Роланд, при виде того, как ты снова наилучшим и наиболее достойным образом используешь свои колени. *Quid dicis, mi fili?*²

— *Culpas meas,*³ — ответил юноша; и, в согласии с ритуалом католической религии, он исповедался, получив отпущение грехов, при условии выполнения некоторых дополнительных епитимий. Когда эта религиозная церемония была окончена, к беседке подошел старик в опрятной крестьянской одежде и, поклонившись аббату, сказал:

— Я дожидался, когда вы кончите исповедь, чтобы сказать, что вашего гостя разыскивает управитель и что молодой человек хорошо сделает, если сейчас же отправится к нему. Святой Франциск! Если его

¹ Согласно старинной, хотя и маловероятной легенде, Дугласы получили свое имя от воина, который отличился в одном из сражений. Когда король спросил, кто решил исход боя, один из приближенных ответил ему: «*Sholto Douglas*, ваше величество», что значит: «Вон тот темно-серый человек». Однако на самом деле это имя, несомненно, связано с наименованием местности и происходит от принадлежащих этому роду реки и долины Дуглас. (*Прим автора.*)

² О чем поведаешь, сын мой? (*лат.*).

³ О моих прегрешениях (*лат.*).

станут здесь искать алебардиры, моему саду несдобровать. Они ведь на службе... Есть у них время посмотреть, что топчут они — жасмин или турецкую гвоздику!

— Мы сейчас поторопим его, брат мой, — ответил аббат. — Но, боже мой, неужели подобный пустяк еще способен тревожить вас в столь грозное время?

— Достопочтенный отец, — отвечал владелец сада, ибо это как раз он и был, — сколько раз уже я просил вас приберечь ваши возвышенные советы для таких же возвышенных душ, как ваша собственная! Разве я, хоть и скрепя сердце, не выполняю всех ваших просьб?

— Моя единственная просьба, это — чтобы вы оставались самим собой, брат мой, — ответил аббат Амвросий. — Вспомните, кем вы некогда были и к чему призывают вас ваши прежние обеты.

— А я вам скажу, отец Амвросий, — возразил садовод, — что даже у святого, который только и делает, что вечно твердит «Отче наш», лопнуло бы терпение, если бы его подвергали таким испытаниям, как меня. Чем был я прежде, об этом теперь не время вспоминать; никто лучше вас не знает, святой отец, от чего я отрекся в надежде получить приют и покой на весь остаток моей жизни, и никто лучше вас не знает, как мое убежище подверглось нашествию, мои фруктовые деревья были поломаны, цветы вытоптаны, покой нарушен; даже сон покинул меня с той поры, как наша бедная королева, благослови ее господь, оказалась заточенной в Лохливленском замке. Я ничуть не виню ее; узнице, конечно, хочется вырваться из этой отвратительной тюрьмы, где вряд ли есть даже место для приличного сада и где вечный туман, как мне говорили, губит молодые цветы. Я повторяю, что не могу винить ее за то, что она хочет вырваться на волю. Но почему при этом должен страдать я и почему моя безобидная беседка, которую я выстроил своими собственными руками, должна стать местом тайных сборищ? Почему маленькая пристань, которую я выстроил для своей собственной рыбацьей

лодки, превратилась в секретный причал для таинственных погрузок и отправок? Словом, почему я должен быть втянут в одно из тех дел, которые кончаются либо виселицей, либо плахой? Этого я, признаться, никак не пойму, достопочтенный отец.

— Брат мой, — ответил аббат, — ты мудр и должен понимать...

— Нет и еще раз нет, я вовсе не мудр, — ответил с раздражением садовод, затыкая уши. — Меня никогда не называли мудрым, за исключением тех случаев, когда хотели заставить совершить какую-нибудь уж очень большую глупость.

— Но, добрый брат мой... — снова начал было аббат.

— Я вовсе и не добр, — прервал его сварливый садовод, — я не добр и не мудр; если бы я был мудр, вас бы здесь и в помине не было, а если бы я был добр, мне, по-моему, следовало бы отправить вас, куда-нибудь в другое место вынашивать заговор, который должен нарушить покой всей страны. Чего стоит спор между королем и королевой, если люди могут жить в мире — *sub umbra vitis sui*?¹ И так бы мне и следовало поступить, в согласии со священным писанием, если бы я был, как вы утверждаете, мудр и добр. Но, оставаясь таким, каков я есть, я сунул свою шею в ярмо, и вы можете теперь заставить меня тащить любой груз. Пойдемте со мной, молодой человек. Достопочтенный отец, который в этих доспехах выглядит не более достопочтенным, чем я сам, согласится со мной по крайней мере в том, что вы и так уже слишком долго оставались здесь.

— Иди за почтенным отцом, Роланд, — сказал аббат, — и помни мои слова. Близок день, который явится испытанием для всех верных шотландцев. Да будет твоя душа тверда, как сталь твоей шпаги.

Паж молча поклонился, и они расстались; владелец сада, невзирая на свой почтенный возраст, быстрым шагом шел впереди и, как это бывает у старых людей с ослабевшим рассудком, бормотал что-то

¹ Под сенью своего виноградника (лат.).

на ходу, частью про себя, частью обращаясь к своему спутнику.

— Когда у меня всего было вволю, — брюзжал он, — когда был собственный мул, да еще иноходец под седлом, тогда я скорее согласился бы летать по воздуху, чем нестись с такой скоростью. У меня были подагра, и ревматизм, и еще сотня других болезней, которые оковами висели на моих ногах. А сейчас благодаря пресвятой деве и честному труду я могу потягаться с любым молодцом моих лет во всем Файфском графстве. Жаль, что опыт приходит так поздно!

В этот момент его взгляд упал на ветку грушевого дерева, которая, не имея опоры, склонилась до самой земли; старик тут же, позабыв про свою спешку, остановился и деловито начал подвязывать ветку. Роланд Грейм, как всегда услужливый и к тому же обладавший в этом деле некоторым опытом, также принял участие в работе; за несколько минут ветка была укреплена и подвязана по всем правилам искусства; старик с сочувствием посмотрел на нее.

— Это бергамоты, — сказал он, — я вас угощу ими, если вы приедете сюда осенью. Таких вы не найдете в Лохливленском замке: там не сад, а жалкий козий загон; а их садовник Хью Хоукэм не ахти какой искусник в своем деле. Так что осенью непременно приезжайте сюда полакомиться грушами, мейстер паж. Впрочем, что я говорю!.. Пока наступит эта пора, они вас угостят кислыми сливами вместо груш. Послушайте, юноша, меня, старика, который достаточно пожил на свете и занимал такое высокое место, какого вам в жизни не видать; переделайте свою шпагу на садовый нож, а кинжалом попробуйте копать ямки для черенков — вы проживете тогда дольше и будете много здоровее. Приходите помогать мне в саду, и я научу вас настоящему французскому способу прививки, который англичане называют черенкованием. Сделайте это, и сделайте без промедления, потому что на нашу страну надвигается буря, и уцелеют лишь те, кто низко склоняется к земле, так что буря не сможет сломать их стволы.

С этими словами он открыл Роланду Грейму дру-
гую дверь — не ту, через которую тот вошел в сад, —
и, перед тем как они расстались, благословил и пере-
крестил юношу. Затем, все еще что-то бормоча себе
под нос, он вернулся в сад и запер дверь изнутри.

Глава XXIX

Молись, чтобы она не оказалась
Мужчиной вскоре...

Шекспир, «Король Генрих VI»

Когда Роланд Грейм вышел из сада, он обнару-
жил, что от городка его отделяет заросшая травой
лужайка, на которой паслись две коровы, принадле-
жавшие владельцу сада. Он пересек ее, все еще бу-
дучи погружен в размышления о том, что ему рас-
сказал аббат. Отец Амвросий сумел воспользоваться
тем огромным влиянием, какое воспитатели и настав-
ники нашего детства сохраняют над нами и в более
зрелые наши годы. Тем не менее, когда Роланд вспо-
минал наставления аббата, он чувствовал, что послед-
ний стремился скорее вовсе избежать спора на рели-
гиозные темы, нежели разбить доводы противника и
развеять те сомнения, которые зародились в душе
юноши под влиянием проповедей Хендерсона.

«Просто у него не было на это времени, — пробо-
вал внушить себе паж, — да и у меня едва ли бы хва-
тило сейчас душевного спокойствия и знаний, чтобы
судить о столь значительных предметах. Кроме того,
вообще было бы низостью отречься от своей веры в
момент, когда ей изменила фортуна и у тебя нет воз-
можности убедительно доказать, что твое отречение,
если оно произойдет, совершенно свободно от корыст-
ных мотивов. Я был рожден католиком, воспитан в
вере Брюса и Уоллеса, так буду же держаться этой
веры, пока время и разум не докажут мне ее оши-
бочность. Буду служить бедной королеве, как вер-
ный подданный должен служить своему заточенному,

и униженному монарху. Пусть те, кто определил меня на эту должность, пеняют на самих себя: они послали сюда джентльмена, воспитанного в правилах чести и верности, а им следовало бы подыскать для этой цели какого-нибудь раболепного притворщика, двоедушного шарлатана, который мог бы одновременно быть и исполнительным пажом королевы и подобострастным шпионом на службе у ее врагов. Если уж мне предстоит выбор — предать королеву или помочь ей, я поступлю как подобает ее слуге и подданному. Но Кэтрин Ситон... Кэтрин Ситон, которую любит Дуглас и которая между делом, со скуки или из каприза, то приближает меня к себе, то снова отталкивает! Как же мне держать себя с этой кокеткой? Клянусь небом, при первом же подходящем случае я потребую от нее объяснений или порву с ней навсегда!»

Приняв столь мужественное решение, он перелез через изгородь, которой была обнесена лужайка, и почти сразу же столкнулся с доктором Льюком Ландином.

— Ба, мой драгоценный юный друг, — обрадовался доктор, — откуда вы? Впрочем, я узнаю это место. Да, садик соседа Блинкхули чрезвычайно удобен для свиданий, а вы как раз в том возрасте, когда одним глазом смотрят на сочные сливы, а другим — на красивую девушку. Но что это! Вы выглядите подавленным и печальным. Боюсь, что ваша девушка оказалась чересчур жестокой, или, быть может, сливы не дозрели? Между прочим, я всегда считал, что дамасские сливы Блинкхули плохо переносят зиму: слишком уж старик скупится на сахарный сироп для варений. Все же не падайте духом, юноша! В Кинросе не одна Кейт, а что до незрелых плодов, то стаканчик моей бидистиллированной *aqua mirabilis probatum est*.¹

Паж бросил гневный взгляд на старого шутника, но тут же сообразил, что имя Кейт, вызвавшее его неудовольствие, было употреблено доктором, по всей вероятности, ради аллитерации; поэтому он подавил свой гнев и спросил только, прибыл ли обоз.

¹ Чудодейственной воды — испытанное средство (лат.).

— Еще бы, я вас разыскиваю уже целый час, чтобы довести до вашего сведения, что груз уже давно в лодке и требуются только ваши распоряжения. Охтермахти просто связался с другим таким же бездельником, как он сам, и они все это время провели вместе за бутылкой водки. Гребцы ваши уже на веслах, а со сторожевой башни дважды махали флагом, давая знать, что в замке с нетерпением ожидают вашего возвращения. Тем не менее у нас еще, пожалуй, хватит времени для легкой закуски; я как друг и как врач не рекомендую вам бороться с озерным ветром на пустой желудок.

Роланду Грейму ничего не оставалось, как, приняв веселый вид, быстро направиться к берегу, где на причале стояла его лодка; он отклонил приглашение доктора, хотя последний обещал перед закуской угостить его великолепным напитком для возбуждения аппетита — настойкой из трав, которые он сам собрал и приготовил. Роланд, по-видимому, сохранил слишком яркие воспоминания об «утренней дозе» и готов был стойко отвергнуть любую закуску, которой предшествовало бы такое же неприятное вступление.

В то время как они шли к лодке (ибо церемонная учтивость достойного управителя не позволяла ему отпустить пажу, не проводив его), Роланд Грейм в толпе людей, окружавших труппу странствующих музыкантов, заметил, как ему показалось, платье Кэтрин Ситон. Отделившись от своего спутника, он одним прыжком очутился в центре поляны, рядом с девушкой.

— Кэтрин, — прошептал он, — не повредит ли вам, что вы все еще здесь? Не следует ли вам вернуться в замок?

— Ну вас к черту с вашей Кэтрин и вашим замком! — воскликнула с досадой девушка. — Неужели за столько времени вы еще не избавились от ваших глупостей? Убирайтесь! Я не желаю быть больше с вами, да и для вас небезопасно впредь навязываться мне.

— Но если вам грозит опасность, любезная Кэтрин, — возразил Роланд, — то почему вы не разрешаете мне остаться и разделить ее с вами?

— Назойливый дурак! — вскричала девушка. — Да ведь тебе-то и грозит опасность; если уж говорить прямо, ты больше всего рискуешь тем, что я стукну тебя по физиономии рукояткой кинжала. — С этими словами она надменно отвернулась от него и направилась прямо через толпу; люди расступались, удивленные той чисто мужской резкостью, с которой она расчищала себе путь.

Роланд, едва сдерживая свой гнев, тем не менее собирался последовать за ней, но доктор Льюк Ландин удержал его за руку, напомнив о лодке с грузом, о двух сигналах флагом с башни замка, об опасности холодного ветра на пустой желудок и о том, что не стоит тратить столько времени на чрезмерно застенчивых девушек и недозрелые сливы.

Таким-то образом он повлек Роланда прямо к лодке, где пажу больше ничего не оставалось делать, как дать приказ сняться с якоря и возвратиться в Лохливенский замок.

Переправа через озеро заняла не много времени, и вскоре на причале замка старый Драйфсдейл встретил пажу суровым и ехидным приветствием:

— Итак, вы прибыли наконец, юный кавалер, с опозданием в шесть часов и после двукратного сигнала с башни замка? Без сомнения, какая-нибудь случайная пирушка настолько захватила вас, что вы позабыли и думать о вашей службе и о долге. Где список посуды и утвари? Уж не потерялось ли, не дай бог, что-нибудь по нерадивости этого бесшабашного ветрогона?

— Потерялось по моей нерадивости, сэр дворецкий? — сердито переспросил паж. — Повторите это всерьез, и тогда, клянусь небом, даже ваши седины не защитят ваш дерзкий язык.

— Полно болтать, молодой сэр, — ответил дворецкий, — в нашем замке хватит подземелий и затворов для драчунов. Иди-ка лучше к госпоже и там бахвалься, если у тебя хватит храбрости. Вот где ты получишь настоящий повод для обиды: она ведь ждет тебя давно и ее терпению пришел конец.

— А где сейчас леди Лохливен? — спросил паж. — Ведь ты о ней говоришь?

— А о ком же еще? — ответил Драйфсдейл. — И кто, кроме леди Лохливен, имеет право распоряжаться в этом замке?

— Леди Лохливен — твоя госпожа, а моя госпожа — королева шотландская, — возразил Роланд.

Дворецкий на мгновение пристально посмотрел на него и тут же принял подчеркнуто презрительный вид, плохо скрывая свое недоверие и неприязнь.

— Хвастливый петушок, — сказал он, — всегда выдает себя, кукарекая слишком рано. Я уже заметил, что в последнее время ты по-иному ведешь себя в часовне, а за трапезой обмениваешься взглядами с некоей пустенькой девицей, которая так же, как и ты, любит поиздеваться надо всем, что полно достоинства и требует к себе почтения. Придется за тобой присматривать, мейстер. Но если ты хочешь узнать, кто твой хозяин, леди Лохливен или другая леди, — ты найдешь их обеих в покоях леди Марии.

Роланд поспешил туда, довольный тем, что ему удалось ускользнуть от старика с его злобной пронизательностью, и в то же время силясь разгадать причину, которая привела леди Лохливен в покои королевы в столь необычное для визитов время. Его сообразительность помогла ему.

«Она хочет, — догадался он, — сама увидеть, как я встречусь с королевой после возвращения, чтобы проследить, нет ли между нами тайной договоренности или соглашения. Мне надо быть настороже».

Помня об этом, он вошел в гостиную, где королева, сидя в кресле, на спинку которого облокотилась леди Флеминг, заставила леди Лохливен стоять на ногах в течение почти целого часа, что в значительной степени ухудшило и без того дурное настроение этой особы. Роланд Грейм, войдя, отвесил глубокий поклон королеве, затем другой поклон — леди Лохливен и остановился, как бы выжидая, когда к нему обратятся с вопросом. Обе дамы заговорили почти одновременно.

— Итак, молодой человек, — промолвила леди Лохливен, — вы наконец вернулись? — и остановилась в негодовании, меж тем как королева произнесла, не обращая на нее внимания:

— Мы рады приветствовать вас с возвращением, Роланд. Вы оказались верным голубем, а не вороном. Впрочем, едва ли вас можно было бы винить, если бы, вырвавшись из нашего окруженного водами ковчега, вы и вовсе не вернулись бы назад. Надеюсь, вы принесли с собой и оливковую ветвь, ибо наша добрая и почтенная хозяйка немало волновалась по причине вашего долгого отсутствия; пожалуй, мы никогда еще так не нуждались в символе мира и спокойствия.

— Мне очень жаль, что я вынужден был задержаться, миледи, — ответил паж. — Но груз, за которым меня посылали, опоздал прибыть, и я получил эти вещи только к вечеру.

— Вот видите, — обратилась королева к леди Лохливен, — а мы никак не могли убедить вас, дорогая хозяйка, что ваша утварь в полной целости и сохранности. Правда, ваше беспокойство можно объяснить еще и тем, что эти величественные покои так скудно обставлены, и мы даже не могли предложить вам стул за все то продолжительное время, в течение которого вы соизволили почтить нас своим присутствием.

— Вам не хватало для этого вашего собственного желания, миледи, а не средств для его выполнения, — ответила леди Лохливен.

— Как, — воскликнула королева, оглядываясь с подчеркнутым удивлением, — значит, в этом зале имеются стулья: один, другой.. да их целых четыре, если считать и тот, сломанный. Истинно королевская роскошь! Мы просто не заметили их. Не желает ли ваша милость присесть?

— Нет, сударыня, я сейчас избавлю вас от своего присутствия, — ответила леди Лохливен. — А пока что пусть лучше еще немного потерпят мои старые ноги, чем моя душа унижится, приняв вынужденную любезность.

— Но, леди Лохливен, если это вас так обижает, — воскликнула королева, вставая и указывая на освободившееся кресло, — я готова предложить вам свой собственный стул; вы будете не первым членом вашей семьи, который занимает мое место.

Леди Лохливен с поклоном отказалась; ей, видимо, стоило большого труда подавить в себе гневный ответ, уже готовый сорваться с уст.

Во время этой словесной дуэли внимание пажа было отвлечено появлением Кэтрин Ситон, которая вышла из внутренних покоев в той одежде, в какой она обычно прислуживала королеве, и ничто в ее поведении не указывало на спешку или небрежность, обычную при торопливом переодевании, или на боязнь, что ее опасные приключения будут раскрыты. Роланд Грейм отважился поклониться ей, когда она вошла, но она ответила ему с видом полного равнодушия, что, по его мнению, никак не соответствовало сложившимся между ними отношениям.

«Теперь уж, — подумал он, — ей не удастся одурачить меня, заставив усомниться в том, что я видел собственными глазами, как было тогда, на подворье святого Михаила. Я дам ей понять, что она напрасно теряет время и что всего умнее и надежнее для нее будет полностью довериться мне».

В то время как все эти мысли проносились в его сознании, королева, закончив свои пререкания с владелицей замка, снова обратилась к нему:

— Ну, как праздник в Кинросе, Роланд Грейм? Вероятно, там было очень весело, судя по тем звукам музыки и крикам ликования, которые доносились даже до наших решетчатых окон и замирали здесь, как замирает всякое веселье, приближаясь к этим мрачным стенам. Однако у тебя такой унылый вид, как будто ты прибыл из гугенотской молельни.

— Вполне возможно, что так оно и было, сударыня, — заметила леди Лохливен, в которую метил этот выпад. — Я надеюсь, что среди праздных игрищ не было недостатка и в благочестивых поучениях, склоняющих людей к чему-то более возвышенному,

чем эти суетные увеселения, которые вспыхивают и угасают, как сгорающий с треском сухой терновник, не оставляющий после себя ничего, кроме праха и пепла.

— Мэри Флеминг,— сказала королева, обращаясь к фрейлине и плотнее запахнув мантилью, — вот было бы славно, если бы мы могли подбросить в камин вязанку-другую того самого терновника, который так хорошо описала леди Лохливен. Я думаю, что это влажный воздух озера, застаиваясь в сводчатых залах, создает здесь такой адский холод.

— Желание вашего величества будет исполнено, — сказала леди Лохливен. — Я, однако, возьму на себя смелость напомнить вам, что сейчас лето.

— Как я вам благодарна за эту новость, дорогая леди, — ответила королева. — Ведь узники лучше узнают об изменениях в природе из уст тюремщика, чем по своим собственным ощущениям. Итак, Роланд Грейм, что же было на празднике?

— Люди развлекались, сударыня, — ответил паж, — как они развлекаются обычно. Там не было ничего интересного для вашего величества.

— Ах, вы не знаете, — воскликнула королева, — как снисходителен стал мой слух ко всему, что говорит о свободе и радостях свободных людей. Я бы сейчас охотнее, пожалуй, смотрела на веселящихся поселян, пляшущих в майском хороводе, чем на чопорные маски в залах королевского дворца. Отсутствие каменных стен, ощущение под ногами зеленой травы, по которой можно вольно и невозбранно бродить, дороже всего того, чем искусство и роскошь могут обогатить лучшее дворцовое празднество.

— Надеюсь на этих игрищах, — спросила, в свою очередь обращаясь к пажу, леди Лохливен, — не произошло какого-либо буйства или беспорядка, какие с такой легкостью возникают из подобных забав?

Роланд взглянул мельком на Кэтрин Ситон, словно пытаясь привлечь ее внимание, и ответил:

— При мне не случилось никакого серьезного нарушения порядка, сударыня; ничего такого я не заме-

тил, если не считать того, что одна смелая девушка дала оплеуху актеру, за что рисковала быть выкупанной в озере.

Произнеся эти слова, он снова бросил взгляд на Кэтрин Ситон; но она с безмятежным лицом выслушала намек, который, по его мнению, не мог не вызвать у нее испуга и смущения.

— Я не буду больше обременять ваше величество своим присутствием, — сказала леди Лохливен, — если только у вас нет каких-либо распоряжений.

— Никаких, наша добрейшая хозяйка, — ответила королева, — за исключением просьбы в дальнейшем не считать необходимым откладывать все другие занятия, требующие вашей заботы, ради столь длительного пребывания с нами.

— Нельзя ли попросить вас, — продолжала леди Лохливен, — приказать этому юному джентльмену пойти со мной, чтобы выяснить некоторые подробности относительно груза, прибывшего для вашего величества?

— Разве мы можем отказать в том, что вам угодно требовать, миледи, — ответила королева. — Ступай с этой дамой, Роланд, если только для этого действительно необходимо наше приказание. Мы завтра послушаем о развлечениях в Кинросе. На сегодняшний вечер мы освобождаем тебя от твоих обязанностей.

Роланд Грейм пошел с леди Лохливен, которая не упустила случая подробно расспросить его обо всем, что происходило на празднике. При этом молодой паж старался отвечать так, чтобы по возможности усыпить ее подозрения, касавшиеся его приверженности к королеве Марии, и прежде всего избежать малейшего намека на появление в Кинросе Мэгделин Грейм и аббата Амвросия. Наконец, после долгого и тщательного допроса, его отпустили с такими напутствиями, которые в устах сдержанной и суровой леди Лохливен могли означать известную степень благосклонности и расположения.

Теперь Роланду прежде всего необходимо было подкрепиться, что было легче сделать с помощью

добродушного буфетчика, чем сурового Драйфсдейла, который в подобных случаях следовал обычаям Пудинг-берн-хауза, где руководствовались правилом:

Кто к обеду не выходит,
Тот обеда не находит.

Покончив с ужином, Роланд, который был отпущен королевой на весь вечер и не искал общества других обитателей замка, прокрался в сад, где ему разрешалось проводить свой досуг в тех случаях, когда у него возникало такое желание. Это было место, где строители и садоводы самих себя превзошли в изобретательности и выдумке, постаравшись на весьма ограниченном пространстве создать максимум разнообразия; и, пользуясь живой изгородью и перегородками из камня с незатейливой скульптурой, им действительно удалось добиться весьма искусного расположения дорожек и пестроты пейзажа.

Юноша бродил здесь, печально размышляя о событиях минувшего дня и сравнивая то, что ему удалось узнать от аббата, с тем, что он и сам замечал в поведении Джорджа Дугласа.

«Иначе и быть не могло! — сделал он мучительный, но неизбежный вывод. — Только при его помощи может она, словно привидение, переноситься с места на место и по своему желанию появляться то на острове, то в селении. Иначе и быть не могло, — повторил он снова. — Между нею и Дугласом существуют какие-то таинственные и интимные отношения, совершенно несовместимые с теми благосклонными взорами, какие она порой дарит мне, и в корне пресекающие всякую надежду, которую, как это ей хорошо известно, внушают подобные взоры».

Тем не менее, поскольку любовь не теряет веры даже там, где разум отчаивается, в сознании Роланда все еще теплилась мысль, что, быть может, Кэтрин поддерживает страсть Дугласа лишь в той мере, в какой это соответствует интересам ее госпожи, и что она по своему характеру слишком открыта, прямо-

душна и благородна, чтобы внушать надежды, которые сама считает неосуществимыми.

Запутавшись в столь противоречивых размышлениях, паж уселся на дерновую скамью, с которой было видно озеро и та часть замка, где находились покои королевы.

Солнце только что зашло, и майские сумерки как-то внезапно перешли в ясную ночь. На озере прибывала вода, колыхаясь под легчайшим дуновением нежного южного ветерка, вызывавшего едва заметную рябь на ее поверхности. Вдали виднелись очертания острова Сент-Серф, куда некогда стекались благочестивые паломники с посохами и в сандалиях, искавшие благословения жившего здесь святого подвижника; после его смерти остров был заброшен и осквернен, став убежищем ленивых монахов, ныне справедливо изгнанных и уступивших место овцам и коровам протестантского барона.

Когда Роланд смотрел на это темное пятно среди синеватых волн озера, путаница религиозных споров снова возникла в его сознании. Были ли эти люди изгнаны справедливо, как безнравственные трутни, грабившие и одновременно позорившие трудовой улей, или же хищная рука корыстолюбия изгнала из храма не осквернявших его распутников, а благочестивых иноков, верой и правдой служивших святым мощам?

Доводы Хендерсона в этот час размышлений приобретали для Роланда Грейма удвоенную силу, и их уже не могли опровергнуть те пышные речи, которые аббат Амвросий обращал не к его рассудку, а к его чувствам, и которые более влияли на юношу в житейской сутолоке, чем сейчас, когда его сознание оставалось относительно спокойным. Требовалось известное усилие, чтобы отвлечь мысли от этих запутанных противоречий; лучше всего это удавалось, когда его взор падал на башню, где в окне комнаты Кэтрин Ситон мерцал слабый огонек, по временам затемняемый силуэтом прекрасной обитательницы комнаты, проходившей в этот момент между свечой и окном. Но вскоре свечу унесли или потушили, и этот объект

наблюдения исчез из глаз влюбленного юноши. Не знаю, могу ли я признаться в этом, не рискуя навсегда погубить его репутацию в ваших глазах, но только веки нашего героя стали тяжелесть, умозрительные доводы религиозных споров причудливо переплелись в его сознании с тревожными сомнениями по поводу чувств его возлюбленной, усталость после богатого приключения дня взяла верх над занимавшими его беспокойными мыслями, и Роланд Грейм крепко заснул.

Его глубокий сон был внезапно прерван железным языком замкового колокола, который, казалось, заливал своими глубокими и скорбными звуками всю поверхность озера и, будя эхо, доносился до Бенартской скалы, обрывавшейся на южном берегу. Роланд вскочил, ибо этот колокол всегда звонил в десять часов вечера, служа сигналом к замыканию ворот замка, ключ от которых после этого вручался сенешалю. Поэтому Роланд поспешил к дверям, которые вели из сада в здание, но в тот момент, когда паж добежал до них, он к величайшей досаде услышал, что запор с неприятным скрипом вошел в каменную канавку дверной перемычки.

— Стойте, стойте! — закричал паж. — Впустите меня.

Изнутри послышался голос Драйфсдейла:

— Время истекло, любезный мейстер. Вам не нравится в этих стенах, так уж погуляйте до конца и проведите на воле не только день, но и ночь.

— Открой дверь, — воскликнул в негодовании паж, — или, клянусь святым Эгидием, я тебя в порошок сотру вместе с твоей золотой цепью!

— Извольте прекратить шум, — возразил неумолимый Драйфсдейл. — Приберегите свои богохульные клятвы и глупые угрозы для тех, кто обращает на них внимание. А я исполняю свои обязанности и должен отдать эти ключи сенешалю. Прощайте, юный мейстер! Пусть холодный ночной воздух немного охладит вашу горячую кровь.

Дворецкий оказался прав, ибо лихорадочный приступ гнева, который испытывал Роланд, действительно

нуждался в охлаждающем действии ветра, хотя и потребовалось изрядное время, чтобы это средство достигло своей цели. В конце концов, однако, после долгого метания по саду, когда ярость Роланда нашла некоторый исход в тщетных угрозах отомстить, до его сознания постепенно дошло, что создавшееся положение должно было бы скорее вызывать смех, чем подлинное возмущение. Для прирожденного охотника провести ночь на открытом воздухе было сущей безделицей, и жалкая злоба дворецкого казалась теперь юноше более заслуживающей презрения, чем негодования.

— Дай бог, — сказал он, — чтобы этот злобный старик и впредь ограничивался подобной безобидной местью; а то иной раз он имеет такой вид, что его можно заподозрить и в более страшных намерениях.

Возвратившись на ту же дерновую скамью, на которой он дремал раньше и которая была частично защищена искусственной стеной зеленого остролиста, он закутался в плащ, вытянулся во весь рост на ложе из дерна и снова попытался погрузиться в сон, из которого его совершенно напрасно вывел замковый колокол.

Но сон, подобно прочим земным благам, ускользает от нас именно тогда, когда его нетерпеливо ждут. Чем больше старался Роланд заснуть, тем решительнее сон бежал от его глаз. Если тогда его разбудили звуки колокола, то теперь он бодрствовал, чувствуя приток свежих сил, и ему было трудно заставить себя забыться. Постепенно, однако, его сознание снова начало теряться в лабиринте неприятных мыслей, и ему удалось возобновить прерванный отдых. Однако и эта дремота была опять потревожена — на сей раз голосами двух гуляющих по саду людей, разговор которых вначале смешивался с грезами юноши, а затем полностью пробудил его. Он поднялся со своего ложа, крайне удивленный тем, что какие-то пришельцы в столь поздний час беседуют в саду за стенами тщательно охраняемого Лохливенского замка. Сперва он подумал о привидениях; затем решил, что это вылазка сторонников королевы Марии; наконец, его

последняя мысль была о Джордже Дугласе, который, владея ключами и имея возможность по своему усмотрению входить в замок и выходить из него, использовал свое положение, назначив в саду свидание Кэтрин Ситон. Он укрепился в своей догадке, услышав, как один из собеседников тихим шепотом спросил:
— Все ли готово?

Глава XXX

Иная страсть на дне души таится,
Как порох, скрытый в погребе
дворцовом.
Но вот случайно подожен пальник —
И гром гремит, и молния сверкает,
И эхо весть о гибели разносит.

Старинная пьеса

Роланд Грейм приник к просвету в живой изгороди остролиста и в ярком свете луны, которая к этому времени как раз взошла, получил возможность, сам оставаясь незамеченным, следить за всеми движениями тех, кто столь неожиданно потревожил его сон; наблюдения пажа лишь укрепили его ревнивые подозрения. Собеседники были поглощены серьезным и, видимо, секретным разговором, который они вели в четырех ярдах от того места, где притаился Роланд Грейм, и он без труда узнал высокую фигуру и бас Дугласа, а также бросающийся в глаза наряд и знакомый голос пажа из подворья святого Михаила.

— Я был у дверей комнаты пажа, — произнес Дуглас, — но его там нет, или он не желает отвечать. Дверь, как обычно, прочно заперта изнутри, и нам никак не проникнуть к нему, а что означает его молчание — мне неясно.

— Слишком уж вы на него полагаетесь, — отвечал его собеседник. — Ведь это глупый юнец с неопределившимися взглядами и горячий головой, которая вряд ли способна что-нибудь принимать всерьез.

— Да ведь это вовсе не я советовал положиться на него, — возразил Дуглас. — Однако меня уверили, что, когда дойдет до дела, он непременно будет на нашей стороне, потому что... — Здесь он понизил голос настолько, что Роланд не мог разобрать ни слова, и это было тем более досадно, что, как прекрасно понимал паж, речь шла как раз о нем.

— Что до меня, — уже более громко произнес собеседник Дугласа, — то я отделался от него несколькими любезными фразами, на которые так падки глупцы; сейчас, однако, решающий момент, и если этот птенчик не внушает вам доверия, придется расчистить путь кинжалом.

— Подобная поспешность вряд ли уместна, — ответил Дуглас. — К тому же, как я уже сказал, дверь его комнаты заперта на ключ и на засов. Пойду еще раз попробую разбудить его.

Грейм сразу понял, что дамы, узнав каким-то образом, что он в саду, заперли дверь наружной комнаты, которая обычно служила ему спальней и где он, подобно часовому, охранял единственный проход в покои королевы.

«Но тогда, — подумал он, — каким образом Кэтрин Ситон оказалась снаружи, если королева и другая дама оставались все еще в своих покоях, а проход в эти покои надежно заперт? Сейчас я доберусь до разгадки всех этих тайн и тогда поблагодарю мисс Кэтрин, если это действительно она, за добрый совет Дугласу по поводу кинжала. Насколько я понимаю, они ищут меня; ну что же, их поиски не останутся бесплодными!»

Дуглас тем временем снова вошел в замок через ворота, которые теперь были открыты. Его собеседник стоял один в аллее, скрестив руки на груди и бросая нетерпеливые взгляды на луну, словно упрекая ее за то, что она может выдать его своим ярким светом. В одно мгновение Роланд очутился перед ним.

— Неплохая ночь, мисс Кэтрин, — промолвил он, — в особенности для молодой девушки, которая в мужском костюме отваживается выйти в сад на свидание с мужчиной.

— Тише! — воскликнул незнакомец. — Тише ты, безмозглый шалопай. Немедленно отвечай — друг ты нам или враг?

— Как я могу быть другом тому, кто отделяется от меня любезными фразами и учит Дугласа разговаривать со мной при помощи кинжала? — в свою очередь спросил Роланд.

— К чертям Джорджа Дугласа и тебя вместе с ним, проклятый дурак, вечный камень преткновения на нашем пути! — воскликнул тот. — Нас обнаружат, и тогда нас ждет смерть.

— Кэтрин, — продолжал Роланд, — вы вели себя вероломно и жестоко. Сейчас нам надо объясниться: вам не уйти от меня.

— Сумасшедший, — воскликнул незнакомец, — я не Кейт и не Кэтрин, луна достаточно ярко светит, чтобы отличить оленя от лани.

— Это переодевание не поможет вам, любезная дама, — возразил Роланд, хватая пришельца за полу плаща, — уж по крайней мере на этот раз я выясню, с кем имею дело.

— Да пустите же меня! — вскричала она, пытаясь высвободиться от него, и продолжала тоном, в котором гнев, казалось, боролся с желанием расхохотаться: — Неужели вы так мало уважаете дочь Ситона?

Но ее смешливость придала новое мужество Роланду, который понял, казалось, что примененное им насилие не воспринимается как непростительное оскорбление. Поэтому он продолжал удерживать ее за плащ, и тогда она сказала уже более серьезным тоном, в котором сквозило явное негодование:

— Да пусти же меня, безумец; ведь сейчас речь идет о жизни и смерти! Я не хочу вредить тебе, но не доводи меня до крайности!

Сказав это, она снова попыталась вырваться, и тут пистолет, который она держала в руке или за поясом, случайно выстрелил. Этот боевой сигнал мгновенно пробудил весь надежно охраняемый замок. Часовой затрубил в рог и ударил в замковый колокол с криком:

— Измена! Все сюда! Сзывай всех сюда!

Призрак Кэтрин Ситон, которого Роланд выпустил из рук в первый момент растерянности, скрылся в темноте, после чего послышался всплеск весел, а в следующее мгновение уже с полдюжину аркебуз и замковый фальконет стали один за другим палить по поверхности озера с крепостного вала, как бы преследуя какой-то плывущий на воде предмет.

Смущенный этим происшествием и не имея возможности помочь Кэтрин (если это она отчалила в лодке от берега), Роланд решил обратиться к помощи Джорджа Дугласа. С этой целью он побежал в покои королевы, откуда доносились громкие голоса и топот множества ног. Когда он вошел туда, то встретил группу смущенных людей, собравшихся в покоях королевы и с удивлением рассматривавших друг друга. В дальнем конце залы стояла сама Мария Стюарт в дорожном костюме и в окружении не только леди Флеминг, но и вездесущей Кэтрин Ситон, одетой в обычную для ее пола одежду и державшей в руках шкатулку с теми драгоценностями, которые Марии Стюарт было разрешено оставить у себя. На другом конце залы находилась леди Лохливен, наспех одетая, как человек, которого внезапно подняли с постели, а вокруг нее столпились слуги — одни с факелами, другие с обнаженными мечами, протазанами, пистолетами и прочим оружием, какое они успели схватить впопыхах во время ночной тревоги. Между этими двумя группами стоял Джордж Дуглас, скрестив руки на груди и потупив глаза, подобно преступнику, застигнутому на месте преступления, который не знает, как ему отпереться от своей вины, но не находит мужества в ней сознаться.

— Отвечай, Джордж Дуглас, — обратилась к нему леди Лохливен, — отвечай и опровергни подозрение, которое грозит запятнать твое имя. Скажи им: «Дугласы никогда не обманывали оказанное им доверие, а я — Дуглас». Скажи так, мой дорогой Джордж, и одного этого для меня будет достаточно, чтобы очистить твое имя от подозрений, несмотря на столь тяжкие улики. Подтверди, что только коварство этих несчастных женщин и вероломного юнца подготовило

весь план этого побега, столь роковой для Шотландии и столь гибельный для дома твоего отца.

— Миледи, — вмешался старый дворецкий Драйфсдейл, — об этом безрассудном паже я могу сказать лишь одно: не он помогал открыть дверь, потому что сегодня вечером я сам запер его в саду, за пределами замка. Кто бы ни затеял всю эту ночную суматоху, роль юнца в ней была не слишком велика.

— Ты лжешь, Драйфсдейл! — воскликнула леди. — Ты готов возвести клевету на дом твоего хозяина ради спасения никчемной жизни этого цыганенка.

— Я был бы рад его смерти больше, чем его жизни, — мрачно ответил дворецкий, — но правда есть правда.

При этих словах Дуглас гордо поднял голову, выпрямился и заявил уверенно и смело, как человек, принявший бесповоротное решение:

— Ничья жизнь не должна подвергаться опасности из-за меня. Я один...

— Дуглас, — перебила его королева, — уж не лишились ли вы разума? Замолчите, я приказываю вам!

— Государыня, — ответил он, почтительно склонившись перед ней, — я охотно выполнил бы ваш приказ, но здесь требуется жертва, так пусть же ею станет истинный виновник. Да, миледи, — продолжал он, обращаясь к леди Лохливен, — только я один виновен во всем, и, если вы еще сколько-нибудь цените слово Дугласа, верьте мне — этот юноша ни в чем не виноват. Во имя вашей чести, умоляю вас не причинять ему вреда и не усиливать строгости в обращении с королевой, которая только решила воспользоваться возможностью обрести свободу, которую моя преданность... которую другое, более глубокое чувство могло ей добыть. Да, это правда! Я задумал помочь бегству самой прекрасной и самой гонимой женщины, и я не только не жалею о том, что сумел на время обмануть бдительность ее врагов, но горжусь этим и с величайшей готовностью пожертвовал бы своей жизнью ради Марии Шотландской.

— Боже, сжался над моей старостью, — воскликнула леди Лохливен, — дай мне сил вынести это не-

счастье! О королева, рожденная в злую годину, вы по-прежнему несете соблазн и гибель каждому, кто приблизится к вам. О древний дом Лохливленов, столь прославленный своим высоким происхождением и благородством, в недобрый час принял ты эту искушительницу под свой кров!

— Не говорите так, миледи,— возразил ее внук, — древняя слава Дугласов еще более возвысится, если один из членов этого рода отдаст свою жизнь за самую униженную из королев и достойнейшую из женщин.

— Дуглас! — воскликнула королева. — Неужели сейчас, в ту самую минуту, когда мне грозит опасность навсегда лишиться преданного вассала, я должна напомнить вам, как подобает говорить о королеве?

— Несчастное дитя! — воскликнула в отчаянии леди Лохливен. — Неужели так сильны цепи, которыми сковала тебя эта моавитянка, что ты готов пожертвовать своим именем, долгом вассала, рыцарской присягой, своими обязанностями перед нашим родом, отчизной и богом ради ее притворных слез или грешной улыбки тех губ, которые расточали лесть бессильному Франциску, увлекли на смерть безумца Дарнлея, читали сладострастные стихи ее любимца Шателара, подпевали любовным песням бродяги Риччо и в экстазе прижимались к губам бесчестного и распутного Босуэла?

— Не кощунствуйте, миледи! — возмущенно вскричал Дуглас. — А вы, прекрасная королева, чья добродетель не уступает красоте, не браните в такую минуту вашего вассала за непомерные притязания! Поверьте, одно лишь верноподданническое чувство не могло заставить его взять на себя эту роль. Вы заслужили того, чтобы любой из ваших подданных принял смерть ради вас, но я пошел на большее — я совершил то, к чему Дугласа могла побудить одна лишь любовь, — я стал притворщиком и лицемером. Прощай же, королева всех сердец и повелительница сердца Джорджа Дугласа! Когда ты сбросишь эти мерзкие узы заточения, — а ты их непременно сбро-

сишь, если есть еще справедливость на небе, — и когда ты станешь награждать почестями и титулами счастливцев, которые доставили тебе свободу, вспомни на миг и о том, кто отказался бы от самой высокой награды ради того, чтобы поцеловать твою руку, подумай на мгновение о его преданности и пролей слезу над его могилой. — Он бросился к ногам королевы и, схватив ее руку, приник к ней губами.

— И это у меня на глазах! — воскликнула леди Лохливен. — Ты осмеливаешься предаваться этой преступной страсти на глазах у своих родных! Оттащите их друг от друга и посадите его под стражу! Хватайте же его, если вам жизнь дорога! — добавила она, видя, что ее слуги нерешительно поглядывают друг на друга.

— Они колеблются, Дуглас! — воскликнула Мария Стюарт. — Спасайтесь, я приказываю вам!

Он немедленно вскочил со словами:

— Моя жизнь и моя смерть в ваших руках, одна вы можете повелевать мною.

Затем он выхватил шпагу и проложил себе ею путь к двери. Этот порыв был настолько внезапным и стремительным, что остановить юношу могло бы лишь самое отчаянное сопротивление. Но так как вассалы его отца любили и боялись Джорджа Дугласа, никто не отважился вступить с ним в бой.

Леди Лохливен стояла, потрясенная его неожиданным бегством.

— Неужели меня окружают изменники? — воскликнула она. — В погоню, негодяи, за ним! Рубите, колите его!

— Ему не ускользнуть с острова, миледи! — вмешался Драйфсдейл. — Ключ от цепей лодочного причала у меня.

Но несколько голосов снизу, принадлежавших слугам, кинувшимся то ли из любопытства, то ли повинаясь приказу своей госпожи преследовать Дугласа, сообщили, что он бросился в озеро.

— Отважный Дуглас! — воскликнула королева. — О чистая и благородная душа, ты смерть предпочел темнице!

— Стреляйте в него! — кричала леди Лохливен. — Найдется ли у его отца хоть один верный слуга? Стреляйте в изменника, и пусть воды озера скроют наш позор!

Послышались одиночные выстрелы, сделанные скорее в угоду леди Лохливен, чем с действительным желанием попасть в цель; и тут же вошедший Рэндл сообщил, что мейстера Джорджа подобрала находившаяся неподалеку от замка лодка.

— В лодки! За ними! — приказала леди Лохливен.

— Теперь уже поздно, — ответил Рэндл. — За это время они покроют полпути, а луна скрылась за тучами.

— Значит, изменнику удалось бежать? — спросила леди Лохливен, прижимая руки ко лбу с выражением отчаяния. — Честь нашего дома посрамлена навеки, теперь каждого из нас будут считать соучастником этой подлой измены.

— Леди Лохливен, — промолвила Мария Стюарт, приблизившись к ней, — в эту ночь вы расстроили мои лучшие надежды, вы обратили долгожданную свободу в узы заточения и отшвырнули прочь чашу радости, которую я уже поднесла к губам; и все же ваше горе вызывает во мне то участие, в котором вы отказываете мне. Я бы охотно утешила вас, если бы могла, но так как сделать это невозможно, мне бы хотелось по крайней мере уйти, примирившись с вами.

— Ступайте прочь, надменная! — ответила леди Лохливен. — Кто еще так умеет наносить тягчайшие раны под личиной доброты и кротости? Кто со времен величайшего из предателей умел так предавать своим поцелуем?

— Леди Дуглас из Лохливена, — сказала королева, — в эту минуту вы ничем не можете оскорбить меня, даже своей грубой, непристойной для женщины речью, обращенной ко мне в присутствии лакеев и вооруженных слуг. В эту ночь я так благодарна одному из Дугласов, что могу простить все, что сделает или скажет владелица этого замка в безумии своего гнева.

— Мы вам очень признательны, королева, — сказала леди Лохливен, стараясь усилием воли сдерживать себя и переходя от тона неистовой ярости к горькой иронии. — Наш бедный дом не часто удостаивался королевской улыбки, и, насколько это будет зависеть от меня, он вряд ли променяет свою суровую честность на те придворные почести, которыми располагает сейчас Мария Шотландская.

— Кто ловко умеет брать сам, — возразила Мария, — свободен от необходимости благодарить. А в том, что мне сейчас нечего предложить в награду, виновны Дугласы вместе с их союзниками.

— Стоит ли страшиться, миледи? — ответила леди Лохливен с той же горькой иронией. — Вы все еще располагаете средствами, которых не истощит даже ваша расточительность и которых вас не может лишить ваш оскорбленный народ. Пока в вашем распоряжении остаются красивые слова и лживые улыбки, вам не нужны другие средства, чтобы толкать юношей на безрассудные поступки.

Королева не без удовлетворения бросила взгляд в огромное стенное зеркало, где при свете горящих факелов отражались ее прекрасное лицо и фигура.

— Наша хозяйка льстит нам, милая Флеминг, — сказала она. — Мы не думали, что скорбь и заточение настолько пощадили богатство, которое женщины считают наиболее ценным.

— Ваше величество доведет эту мрачную женщину до бешенства, — тихо ответила Флеминг. — Я на коленях молю вас вспомнить о том, что она уже и так смертельно оскорблена и что мы здесь находимся в ее власти.

— Я не пощажу ее, Флеминг, — ответила королева, — это не в моих правилах. В ответ на мое искреннее сочувствие она разразилась бранью и оскорблениями. Теперь наступила моя очередь: пусть она, за недостатком метко разящих слов, воспользуется кинжалом, если у нее хватит на это смелости.

— Леди Лохливен хорошо бы сделала, — громко сказала леди Флеминг, — если бы предоставила сейчас возможность отдохнуть ее величеству.

— Еще бы, — ответила леди, — и предоставить возможность ее величеству и фаворитам ее величества поразмыслить над тем, как бы завлечь в свою паутину еще какую-нибудь простодушную муху. Мой старший внук — вдовец; разве плохо было бы воспламенить в нем те лестные надежды, которыми вы совратили его брата? Впрочем, вы уже трижды налагали на себя узы супружества, а ведь римская церковь называет брак таинством небесным, и ее верные последователи не должны бы чересчур уж часто к нему прибегать.

— Зато последователи женевской церкви, — ответила Мария, покраснев от негодования, — которые, видимо, не считают брак небесным таинством, порою, говорят, обходятся и вовсе без церковной церемонии. — После этого, как бы испугавшись последствий своего меткого намека на ошибки молодости леди Лохливен, королева добавила: — Пойдем, Флеминг, слишком много чести для нее в подобной словесной дуэли; мы удаляемся в опочивальню. Если она захочет снова потревожить нас сегодня, ей придется выломать дверь.

С этими словами королева удалилась к себе в опочивальню, и ее фрейлины последовали за нею.

Леди Лохливен, совершенно сраженная последней резкостью королевы и досадуя на то, что сама навлекла на себя это публичное оскорбление, застыла как статуя, будучи не в силах преодолеть обрушившийся на нее позор. Стремясь рассеять напряженность создавшегося положения, Драйфсдейл и Рэндел обратились к хозяйке с вопросами:

— Каковы будут распоряжения их высокочтимой милости насчет охраны замка?

— Не удвоить ли число часовых? Не поставить ли стражу в саду и у пристани?

— Не послать ли курьера к сэру Уильяму в Эдинбург, чтобы сообщить ему обо всем происшедшем? — спросил Драйфсдейл. — Может быть, объявить тревогу в Кинросе? Они могут собрать людей на том берегу озера!

— Делай как знаешь, — ответила леди Лохливен, собравшись с силами и намереваясь уходить. — Ты ведь опытный воин, Драйфсдейл. Прими же все необходимые меры. Праведное небо! Стерпеть такое оскорбление при всех!

— Не соизволите ли вы... — начал, колеблясь, Драйфсдейл, — в отношении этой особы... этой дамы... не усилить ли строгость надзора?

— Нет, вассал! — ответила леди с негодованием. — Я не унижусь до столь жалкой мести. Моя месть будет достойна меня, и я осуществлю ее или покрою позором могилы моих предков.

— Вы осуществите ее, миледи, — ответил Драйфсдейл. — Солнце не успеет зайти дважды, как вы будете полностью отомщены.

Леди Лохливен не ответила: быть может, покидая залу, она не расслышала его слов. По команде Драйфсдейла слуги также вышли; часть из них удалилась на караульные посты, другие отправились на отдых.

Когда все разошлись, сам дворецкий задержался, и оставшийся в зале Роланд Грейм был весьма удивлен тем, что этот старый воин приблизился к нему с видом сердечного расположения, плохо сочетавшимся с его обычной суровостью.

— Я был несправедлив к вам, молодой человек, — начал он, — но вы сами виноваты в этом. Ваше поведение казалось мне столь же легкомысленным, как перо на вашей шапочке. И действительно, ваша причудливая одежда, ваше постоянное пристрастие к забавам и всяческим глупостям могли создать у меня весьма нелестное о вас мнение. Но сегодня ночью я видел из своего окна (когда я выглянул посмотреть, как вы там устроились в саду), какое усилие вы приложили, чтобы задержать соучастника того человека, который утратил право на имя своих предков и должен быть отсечен от своего рода, подобно гнилой ветке. Я как раз хотел поспешить вам на помощь, когда раздался выстрел и часовой (вероломный негодяй, которого, как я подозреваю, они купили по дешевке) вынужден был забить тревогу, чего он до этого не делал, я уверен, сознательно. Так вот, чтобы загла-

дить свою несправедливость. Я охотно окажу вам услугу, если вы согласитесь принять ее от меня.

— Могу ли я сначала узнать, в чем она заключается?

— Всего лишь в том, чтобы поручить вам доставить известие о сегодняшних событиях в Холируд, где вы сможете предстать в выгодном свете как перед Мортонем и регентом, так и перед сэром Уильямом Дугласом, учитывая, что вы видели все от начала до конца своими собственными глазами, зарекомендовав себя перед этим с самой лучшей стороны. Таким образом, вы сами поможете своей карьере, если, как я надеюсь, будете держаться вдали от пустой суеты и научитесь жить в этом мире как человек, который заботится о будущей жизни.

— Господин дворецкий, — ответил Роланд Грейм, — я благодарен вам за любезность, но не смогу исполнить ваше поручение. Не говоря уже о том, что я служу королеве и не могу тайно действовать против нее. Даже если забыть об этом, мне кажется, я вряд ли завоюю расположение сэра Уильяма из Лохливена тем, что первый сообщу ему весть об отступничестве его сына. Регент также не будет в восторге, узнав о неверности своего вассала, равно как и Мортон вряд ли придет в восторг, узнав о вероломстве своего родича.

— Гм! — Этим нечленораздельным звуком дворецкий выразил свое удивление, к которому явно примешивалось неудовольствие. — Ну что ж, оставайтесь тогда там, где вы находитесь; ибо, при всем вашем легкомыслии, вы уже разбираетесь, как следует вести себя в свете.

— Я готов доказать вам, что в моей манере вести себя своекорыстия меньше, чем вам кажется, — ответил паж. — Просто я полагаю, что искренность и веселый нрав лучше, чем хитрые уловки и напускная суровость, или, во всяком случае, могут еще поспорить с ними. Вы никогда не были ко мне расположены меньше, чем в данный момент. Я знаю, что вы не питаете ко мне искреннего доверия и что ваши лицемерные похвалы не следует принимать за чистую

монету. Лучше уж пусть все будет по-старому. Подозревайте меня и следите за мной сколько угодно, мне это безразлично. Вы встретите во мне достойного противника.

— Клянусь небом, молодой человек, — ответил дворецкий, бросая на него взгляд, полный неприкрытой враждебности, — если вы замышляете измену дому Дугласов, ваша голова, выставленная на сторожевой башне, почернеет от солнца!

— Как может изменить тот, кто не ищет вашего доверия? — спросил паж — А что до моей головы, то она также крепко сидит у меня на плечах, как крепко стоит на земле любая башня, когда-либо сложенная каменщиком.

— Прощай, болтливая сорока, которая так кичится своим крикливым языком и пестрым опереньем, — сказал Драйфсдейл. — Берегись силков и клея!

— Прощай и ты, хриплый старый ворон, — ответил паж. — Твой медлительный полет, траурные перья и дурацкое карканье не заколдованы от стрелы или залпа дробы, которые легко могут тебя настичь. Теперь между нами война в открытую: каждый за свою госпожу — и да поможет господь правому!

— Аминь, и да защитит он тех, кто служит ему! — ответил дворецкий — Я доложу своей госпоже, какое пополнение получила эта компания изменников. Спокойной ночи, милорд Пустая Башка!

— Спокойной ночи, сэра Старая Коряга, — ответил паж и, когда старик удалился, стал устраиваться на покой.

Глава XXXI

Отравлен! Умерщвлен, покинут, брошен!

Шекспир, «Король Иоанн»

Несмотря на то, что замок Лохливен порядком надоед Роланду Грейму и он от всего сердца сочувствовал планам бегства королевы Марии, никогда, пожалуй, еще он не просыпался в лучшем настроении, чем

в то утро, которое последовало за крушением попытки Джорджа Дугласа осуществить свои намерения. Прежде всего, он теперь знал точно, что намеки аббата были им истолкованы ложно и что Дуглас питал страсть к королеве, а не к Кэтрин Ситон, кроме того, объяснение с дворецким развязывало ему руки, и он мог теперь, нисколько не поступившись своей честью в отношениях с домом Лохливленов, оказывать всяческое содействие будущим попыткам освободить королеву. К тому же, независимо от того, что он и сам сочувствовал этим замыслам, ему было ясно, что участие в их осуществлении открывает ему вернейший путь к сердцу Кэтрин Ситон.

Теперь ему нужно было только улучшить удобный случай и сказать Кэтрин, что отныне он целиком посвящает себя этому делу, и судьба, явно благоволившая влюбленному пажу, предоставила ему для подобного разговора необычайно благоприятную возможность. Когда в урочный час принесли завтрак и, соблюдая обычный этикет, поставили его на стол во внутренних покоях, дворецкий с насмешливой важностью обратился к Роланду:

— Обязанности стольника, мой юный сэръ, возлагаются отныне на вас. Слишком уж долго их выполнял у леди Марии один из Дугласов.

— Даже для самого основателя этого рода, — возразил паж, — было бы честью выполнять подобные обязанности.

Дворецкий ответил на эту браваду пажа мрачным, полным гнева взглядом и удалился. Грейм, оставшись один, с усердием человека, увлеченного любимым делом, попытался в меру своих сил воспроизвести те учтивые и грациозные приемы, которыми обычно пользовался Джордж Дуглас, прислуживая за столом у шотландской королевы. За этим крылось не одно только юношеское тщеславие, но и то благородное чувство, с каким на поле брани храбрый солдат заменяет павшего товарища.

«Теперь я их единственный защитник, — сказал он себе. — Что бы ни произошло, в радости и в беде,

я приложу всю свою силу и ловкость, чтобы показать себя не менее преданным, надежным и храбрым, чем лучший из Дугласов».

В этот момент в залу вошла Кэтрин Ситон, вопреки обыкновению — одна и, что было еще более необычным, вытирая платком заплаканные глаза. Роланд Грейм приблизился к ней с бьющимся сердцем и, потупив взгляд, тихо спросил ее, здорова ли королева.

— Неужели вы могли предположить, что она здорова? — сказала Кэтрин. — Разве ее сердце и сама она сделаны из железа и стали, чтобы вынести суровое разочарование вчерашнего вечера и подлые насмешки этой пуританской ведьмы? О, если бы небо создало меня мужчиной, уж я бы сумела ей помочь!

— Те, кто носят пистолеты, хлысты и кинжалы, — заметил паж, — если и не мужчины, то, уж во всяком случае, амазонки, а это не менее грозно.

— Вам угодно упражняться в остроумии, сэр? — ответила девушка. — А я сейчас не в настроении шутить или отвечать на шутки.

— Прекрасно, — сказал паж, — тогда давайте поговорим серьезно. Прежде всего разрешите заметить, что вчерашнее предприятие могло бы иметь более удачный исход, если бы вы посвятили меня в ваши планы.

— Мы собирались это сделать, но кто же мог предположить, что господин паж вздумает провести ночь в саду, наподобие помешанного рыцаря из испанского романа, вместо того чтобы остаться в собственной спальне, куда заходил Дуглас, собираясь рассказать ему о наших намерениях.

— Но зачем же было откладывать столь важный разговор до последней минуты?

— Всему виной ваше общение с Хендерсоном; к тому же, вы только не сердитесь, но ваша природная вспыльчивость и непостоянство до самого последнего мгновения удерживали нас и мешали поделиться с вами этой важной тайной.

— Но тогда почему же в последнее мгновение... — спросил паж, обиженный этим откровенным признанием. — Почему вы все же отважились признаться мне в последнее мгновение, раз уж я имел несчастье внушить вам такие великие подозрения?

— Ну вот, теперь вы снова рассердились и заслуживаете того, чтобы я прервала этот разговор. Я, однако, буду великодушна и отвечу на ваши вопросы. Знайте же, что мы решили довериться вам по двум причинам. Во-первых, мы вряд ли смогли бы избежать этого, поскольку вы спите в комнате, через которую нам нужно было пройти. А во-вторых...

— Ну, — сказал паж, — можно обойтись и без второй причины, если первая заставила вас довериться мне только по необходимости.

— Да успокойтесь же вы наконец! — воскликнула Кэтрин. — Так вот, как я уже говорила раньше, среди нас имеется одна неразумная особа, которая верит, что сердце Роланда Грейма полно тепла, хотя голова его полна ветра, что его кровь чиста, хоть она и закипает чересчур поспешно, и что его честь и преданность надежны, как путеводная звезда, хотя его язык порой не слишком сдержан.

Это признание Кэтрин произнесла очень тихо, устремив глаза в землю, словно она избегала встретиться взглядом с Роландом, пока слова откровенности еще были у нее на устах.

— И этот мой единственный доброжелатель, — воскликнул юноша в восторге, — этот единственный друг, который оказался справедливым к бедному Роланду Грейму, та, кого ее собственное благородное сердце научило проводить различие между безрассудством и порочностью... Не скажете ли вы мне, дорогая Кэтрин, кому же я должен принести свою самую сердечную, самую искреннюю благодарность?

— Ну, — сказала Кэтрин, все еще не поднимая глаз, — если ваше собственное сердце не подсказывает вам...

— Дорогая Кэтрин! — воскликнул паж, беря ее за руку и падая перед ней на колени.

— Если ваше собственное сердце, как я уже говорила, не подсказывает вам, — продолжала Кэтрин, мягко высвобождая руку, — то оно очень неблагодарно; ибо материнская доброта, с которой леди Флеминг...

Паж вскочил на ноги.

— Клянусь небом, Кэтрин, ваша речь так же изменчива, как и ваш облик. Вы просто издеваетесь надо мной, жестокая девушка! Вы отлично знаете, что леди Флеминг так же нет дела ни до кого на свете, как вот этой одинокой принцессе, вытканной на старинных шпалерах.

— Может быть, это и так, — сказала Кэтрин Ситон, — но не говорите так громко.

— Вот еще! — усмехнулся паж, все же понизив голос. — Ей нет дела ни до кого из нас, она думает лишь о себе да о королеве. И, кроме того, вам хорошо известно, что ничье мнение, кроме вашего, не интересует меня, даже мнение самой королевы Марии.

— Тем хуже для вас, если это действительно так, — спокойно заметила Кэтрин.

— Но, прекрасная Кэтрин, — настаивал паж, — почему вы охлаждаете мой пыл именно в ту минуту, когда я готов телом и душой посвятить себя делу вашей госпожи?

— Потому что, поступая таким образом, вы приносите благородное дело, примешивая к нему более низменные или более личные мотивы. Поверьте мне, — продолжала она, зардевшись, с пылающим взглядом, — несправедливо и подло судят о женщинах те, кто считает, что они любят тешить свое тщеславие и что им льстят преувеличенное восхищение и страсть. Женщина (я говорю о тех, кто заслуживает этого имени) предпочитает всему этому мужскую доблесть и честь. Тот, кто служит своей вере, своему государю и родине, служит ревностно и самоотверженно, не должен умолять о взаимности, прибегая к напыщенным банальностям романтической страсти. Женщина, которую он удостоит своей любви, сама в долгу перед ним, и ее ответное чувство призвано увенчать его славный подвиг.

— Вы назначили драгоценную награду за подобный подвиг, — сказал юноша, не отрывая от нее восхищенного взора.

— Она драгоценна только для сердца, которое сумеет ее оценить, — ответила Кэтрин — Тот, кто освобождает из заточения нашу несчастную государыню, кто доставит ее к преданным и воинственным пэрам, сердца которых жаждут приветствовать свою повелительницу на свободе.. да разве найдется тогда во всей Шотландии девушка, которая не будет польщена любовью подобного героя, даже если она происходит из королевского рода, а сам он — отпрыск бедного пахаря, никогда не разлучавшегося с плугом!

— Я решил и попробую это сделать, — сказал Роланд Грейм. — Но скажите мне сначала, Кэтрин, и притом искренне, как если бы вы говорили с вашим исповедником, — эта несчастная королева... я знаю, она действительно несчастна, но считаете ли вы ее невиновной, Кэтрин? Ее ведь обвиняют в убийстве.

— Разве можно считать ягненка виновным в том, что на него напал волк? — ответила Кэтрин — Могу ли я считать солнце оскверненным, если земной туман омрачает его лучи?

Паж вздохнул и потупил взор.

— О, если бы я был убежден так же, как вы! Во всяком случае, ясно одно: сюда, в заточение, она попала несправедливо. Она согласилась на капитуляцию, условия которой не были выполнены. Я буду защищать ее дело, пока я жив.

— Будете? Действительно будете? — спросила Кэтрин, в свою очередь беря его за руку. — О, но только стань тверд духом так же, как ты смел в действиях и скор в решениях; сдержи свою клятву, и будущие поколения станут чтить тебя, как спасителя Шотландии!

— Но когда, в поте лица потрудившись, я добуду эту Лию — честь, ты не приговоришь меня, моя Кэтрин, — сказал паж, — к новому долговому служению ради Рахили — любви?

— Об этом, — ответила Кэтрин, снова высвободив свою руку, — у нас еще будет время поговорить;

честь — старшая сестра, и она должна быть завоевана первой.

— Я, может быть, не завоюю ее, — сказал паж, — но я буду честно сражаться за нее; ни один человек не может сделать большего. Знайте же, прекрасная Кэтрин — чтобы вам были ясны самые сокровенные помыслы моей души, — не одна только честь и не только та, другая, ее более прекрасная сестра, за одно упоминание о которой вы сердитесь на меня, но и суровый голос долга заставляет меня содействовать освобождению королевы.

— В самом деле! — сказала Кэтрин. — А ведь раньше у вас были сомнения.

— Да, но тогда жизни королевы ничто не угрожало, — ответил Роланд.

— А разве теперь она в большей опасности, чем раньше? — испуганно спросила Кэтрин Ситон.

— Не тревожьтесь, — сказал паж, — но вы ведь слышали, как ваша царственная госпожа отчитала леди Лохливен?

— Слишком хорошо, к сожалению, слишком хорошо, — сказала Кэтрин. — Увы! Она не может сдерживать свой королевский гнев и избежать подобных вспышек.

— Между ними произошло то, чего ни одна женщина никогда не прощает другой, — произнес Роланд. — Я видел как побелело, а затем позеленело лицо леди Лохливен, когда королева в присутствии всех слуг замка, пренебрегая тем, что сила и власть на стороне ее противницы, совсем уничтожила леди Лохливен, напомнив о ее позорном прошлом. Я сам слышал, как леди Лохливен в страшном гневе поклялась отомстить, как она шепнула об этом на ухо тому, кто, судя по его ответу, с готовностью выполнит ее волю.

— Вы приводите меня в ужас! — воскликнула Кэтрин.

— Не принимайте этого так близко к сердцу, призовите на помощь мужество и доблесть вашего духа. Мы раскроем и обезвредим ее замыслы, как бы

опасны они ни были. Почему вы так смотрите на меня, почему вы плачете?

— Увы! — отвечала Кэтрин. — Потому что вот сейчас вы стоите предо мной, живой и здоровый, готовый рисковать и искать выхода со всем восторженным пылом юности и веселой беззаботностью ребенка, вы стоите здесь, полный великодушной решимости и детского безрассудства. И если не сегодня-завтра на полу этой мерзкой темницы будет валяться ваше искалеченное и бездыханное тело, кто, как не Кэтрин Ситон, будет виновна в том, что ваша смелая и веселая жизнь оборвется так рано? Увы! Та, кого вы избрали, чтобы свить вам венок, быть может должна будет шить для вас саван.

— Вот и чудесно! — воскликнул паж, полный юношеского энтузиазма. — Шейте мне саван! И если его украсят такие же слезы, какие вы роняете сейчас при одной мысли о нем, саван этот окажет более высокую честь моим останкам, чем оказала бы графская мантия моему живому телу. Но стыдитесь своего малодушия! Время нуждается в сильных людях. Будьте женщиной, Кэтрин, а еще лучше — будьте мужчиной; ведь вы можете быть мужчиной, если пожелаете.

Кэтрин вытерла слезы и попыталась улыбнуться.

— Вы не должны спрашивать меня, — сказала она, — о том, что так тревожит ваши мысли; со временем вы все узнаете... пожалуй, вы бы могли это узнать даже нынче, если бы не... Тише, сюда идет королева.

Мария Стюарт вышла из своей опочивальни более бледная, чем обычно, видимо изнуренная бессонной ночью и тягостным, гнавшим сон раздумьем. Однако выражение усталости не уменьшило ее очарования, разве что ее величавая грация королевы уступила место хрупкому изяществу прекрасной женщины. Вопреки обыкновению, она одевалась наспех, и ее волосы, которые Флеминг всегда заботливо причесывала, сегодня выбивались из-под торопливо наброшенной накидки, ниспадая длинными, пышными, от природы вьющимися локонами на шею и грудь, прикрытые на сей раз без обычной тщательности.

Когда она переступила порог, Кэтрин, поспешно осушив слезы, кинулась навстречу своей царственной госпоже и, прёклонив колена, поцеловала ее руку. Затем девушка быстро поднялась и стала по другую сторону королевы, как бы желая разделить с леди Флеминг честь помогать их госпоже и поддерживать ее.

Паж, в свою очередь, приблизился к королеве, поставил поудобнее парадное кресло, в котором она обычно сидела, поправил на нем подушки и подвинул ей под ноги скамеечку. Затем он отступил назад и, готовый к услугам, занял то место, которое обычно занимал его предшественник, юный сенешаль.

Взгляд Марии на мгновение остановился на нем; она не могла не заметить этой замены. Ее сердце было не из тех, которым чуждо сострадание, по крайней мере, когда речь шла об отважном юноше, пострадавшем из-за нее, хотя бы страсть, которая вела его на подвиг, была чрезмерно самонадеянной. Быть может, против воли королевы с ее уст сорвались слова: «Бедный Дуглас!» Она откинулась на спинку своего кресла и поднесла платок к глазам.

— Да, ваше величество, — сказала Кэтрин, принимая веселый вид и всячески стараясь развлечь свою повелительницу, — наш храбрый рыцарь действительно подвергся изгнанию, не ему суждено выполнить это дело; зато он оставил нам молодого кавалера, который столь же верен вам и через мое посредство вручает в ваше распоряжение свой меч и свою десницу.

— Если они чем-нибудь могут быть полезны вашему величеству, — добавил Роланд с низким поклоном.

— Увы! К чему это, Кэтрин? — возразила королева. — Стоит ли вовлекать в эту борьбу новые жертвы, чтобы и их сразил мой жестокий рок? Не лучше ли отказаться от сопротивления и отдаться на волю волн, чем снова и снова толкать к гибели всякое великодушное сердце, которое пожелало прийти нам на помощь. Вокруг меня было слишком много заговоров и интриг с тех самых пор, когда, рано осиротев, я

еще лежала в колыбели, а вельможи спорили, кому из них править страной от имени несмышленного младенца. Настала пора покончить с этими опасными распрями. Уж лучше я буду именовать свою темницу монастырем, а заточение — добровольным отказом от мирских соблазнов.

— Не говорите так, государыня, с вашими верными слугами, — воскликнула Кэтрин Ситон, — не ослабляйте их усердия и не разбивайте их сердца! Наследница королей не должна сейчас действовать столь не по-королевски. Подойдите сюда, Роланд! Мы, самые молодые из сторонников королевы, покажем себя достойными защитниками ее дела. Преклоним колена и будем молить ее снова обрести душевное мужество.

Она подвела Роланда к креслу королевы, и оба стали на колени перед своей госпожой. Мария Стюарт подняла голову и выпрямилась; одну руку она протянула пажу для поцелуя, а другой пригладила локоны Кэтрин, упавшие на гордый и прекрасный лоб пылкой девушки.

— Как жаль, *ma mignonne*,¹ — сказала королева, которая часто в минуты нежности так называла свою младшую фрейлину, — что вы с такой отчаянной решимостью сплели свои юные жизни с моей злосчастной судьбой. Посмотри, какая прелестная пара, Флеминг! Не тяготит ли твою душу мысль, что мне придется стать орудием их гибели?

— Скорее произойдет нечто другое, милостивая королева, — сказал Роланд Грейм, — и мы станем орудием вашего спасения.

— *Ex oribus parvulorum...*² — произнесла королева, устремив взор к небу. — Если устами этих детей небеса возвращают меня к возвышенным помыслам, присущим моему сану и происхождению, это значит, что они даруют этим невинным душам свое покровительство и дадут мне возможность вознаградить их за усердие.

¹ Моя милочка (франц.).

² Устами младенцев... (лат.).

Затем, повернувшись к леди Флеминг, она тотчас же добавила:

— Ты ведь знаешь, друг мой, что дарить счастье своим верным подданным всегда было любимым делом Марии Стюарт. Разве не потому хулили меня суровые проповедники кальвинистской ереси, разве не потому отворачивались от меня свирепые лица моих вельмож, что я разделяла невинные радости тех, кто был молод и весел, и скорее ради их удовольствия, чем ради своего собственного, принимала участие в маскарадах, песнях, плясках моей юной свиты? Что ж! Я не раскаиваюсь в этом, хотя Нокс клеймил это как грех, а Мортон называл падением. Я была счастлива, когда все вокруг меня были счастливы, и горе той низкой зависти, которая считает грехом беспечное веселье! Если нам вернут престол, моя дорогая Флеминг, почему бы нам не устроить веселый пир на веселой свадьбе? Мы пока умолчим о том, чья это будет свадьба, но жених получит баронство Блейргаури — прекрасный королевский подарок, а венок невесты будет украшен лучшим жемчугом, который когда-либо находили в водах Лох-Ломонда; и ты сама, Мэри Флеминг, искуснейшая мастерица из всех, кто когда-либо причесывал королеву и кто никогда еще не оказывал этой услуги особе менее высокого ранга, ты сама из любви ко мне вплетишь этот жемчуг в волосы невесты. Подумай, моя милая Флеминг, ведь если локоны у нее будут такими же пышными, как у нашей Кэтрин, они, пожалуй, не посрамят твоего искусства.

Говоря это, она нежно гладила волосы своей юной любимицы, а старшая фрейлина печально ответила:

— Увы, государыня, ваши мысли унеслись слишком далеко.

— Да, моя милая Флеминг, — согласилась королева, — но правильно ли и хорошо ли с твоей стороны вновь возвращать их сюда? Бог свидетель, в эту ночь они достаточно долго оставались здесь, накажу-ка я их за это тем, что снова воскрешу радостное видение. Так вот, на этой веселой свадьбе Мария сбросит

с себя бремя забот и государственных дел. Она сама откроет бал. На чьей это свадьбе мы танцевали в последний раз? Тревоги, видимо, несколько притупили нашу память... И все же кое-что я припоминаю... Да помоги же мне, Флеминг, я ведь знаю, что ты прекрасно это помнишь!

— Увы, государыня... — начала было леди Флеминг.

— Что, — перебила ее Мария, — ты отказываешься? Ну конечно, твоя сварливая чопорность готова счесть наши слова безрассудной болтовней. Но ты придворная дама и должна понимать, что сейчас королева *приказывает* Флеминг напомнить ей, где мы открывали последний branle.¹

Фрейлина не в силах была долее противиться приказу королевы. Смертельно побледнев, готовая провалиться сквозь землю, она пролепетала:

— Милостивая госпожа... если память мне не изменяет, это было на маскараде в Холируде, во время свадьбы Себастьяна.

Бедная королева, до сих пор с грустной улыбкой следившая за колебаниями Флеминг, услышав эти зловещие слова, внезапно прервала ее криком, столь диким и пронзительным, что загремели, казалось, все своды; Роланд и Кэтрин вскочили на ноги в ужасе и смятении. Тем временем Мария Стюарт, внезапно застигнутая страшным воспоминанием, не только утратила самообладание, но на какое-то время, видимо, вовсе лишилась рассудка.

— Изменница! — крикнула она леди Флеминг. — Ты хочешь убить свою повелительницу... Позвать мою французскую стражу!.. *À moi! À moi, mes Français!*² Измена в моем собственном дворце... Они убили моего мужа... Помогите! На помощь шотландской королеве!

Она вскочила с кресла. Ее лицо, еще недавно столь очаровательное в своей томной бледности, теперь пылало в неистовом безумии; она напоминала Беллону.

¹ Общий круг в танце (франц.).

² Ко мне! Ко мне, мои французы! (франц.).

— Мы сами поведем войско в бой, — продолжала королева. — Объявить тревогу в городе! Известить Лотиан и Файф! Оседлайте нам испанского берберийца, и пусть француз Парис проверит седельные пистолеты! Лучше погибнуть во главе храбрых шотландцев, следуя примеру нашего деда под Флодде-ном, чем умереть с горя, как умер наш несчастный отец.

— Успокойтесь, придите в себя, моя дорогая госпожа, — уговаривала ее Кэтрин и затем, с укоризной обращаясь к Флеминг, добавила: — Как вы могли на-помнить ей о муже?

Эти слова долетели до слуха несчастной королевы, которая подхватила их и торопливо заговорила:

— Муж! Какой муж? Не идет ли речь о его христианнейшем величестве?.. Он нездоров... Он не сможет держаться на лошади. Не о Ленноксе, а о герцоге Оркнейском ты говоришь...

— Ради бога, государыня, успокойтесь! — умоляла ее Флеминг. Но королева находилась в таком волнении, что никакие уговоры не могли отвлечь ее от этих видений.

— Пусть он поспешит к нам на помощь! — кричала она. — Пусть приведет своих «барашков», как он их называет, — Боутона, Хея из Тала, Черного Ормистона и его родича Хоба. Фи! Какие они черномазые, и как от них пахнет серой! Что? Совещается с Мртоном? Ну, уж если Дуглас и Хепберн вместе затевают заговор, то этот птенец, когда он вылупится из яйца, приведет в трепет всю Шотландию. Разве это не так, моя милая Флеминг?

— Рассудок изменяет ей, — произнесла Флеминг. — Здесь, пожалуй, чересчур много ушей для этих безумных криков.

— Роланд, — сказала Кэтрин, — бога ради, уходите! Вы ничем не можете здесь помочь. Оставьте нас с ней наедине. Уходите, уходите скорее! — Она подтолкнула его к двери приемной, но даже когда он вышел и закрыл дверь, до него еще долго доносились громкие и повелительные выкрики королевы, продолжавшей отдавать распоряжения, пока нако-

нец ее голос не затих в слабых и заунывных жалобах.

Вскоре после этого в приемную вышла Кэтрин.

— Теперь не тревожьтесь, кризис миновал, но дверь следует держать на запоре: пусть никто не входит, пока королева полностью не придет в себя.

— Бога ради, что все это означает? — спросил паж. — Почему слова Флеминг вызвали такой безумный ужас у королевы?

— О Флеминг! Флеминг! — с негодованием повторила Кэтрин. — Она просто дура, эта Флеминг; она любит свою госпожу, но настолько не разбирается в том, как следует выражать эту любовь, что прикажи ей королева достать яд, она и тут бы не сочла возможным ее послушаться. Мне так и хотелось сорвать крахмальный чепец с этой чопорной особы. У меня королева скорей вырвала бы сердце из груди, чем заставила бы произнести имя Себастьяна. А у этой старой тряпки, именующей себя женщиной, не хватило толку даже на то, чтобы соврать что-нибудь путное.

— Но что это за история с Себастьяном? — спросил паж. — Клянусь небом, Кэтрин, вы все так загадочны!

— Вы, оказывается, не умнее Флеминг, — нетерпеливо ответила девушка. — Разве вы не знаете, что в ночь убийства Генри Дарнлея, когда был взорван Керк-оф-Филд, королева находилась в отсутствии только потому, что в Холируде был устроен маскарад как раз по случаю свадьбы ее любимого слуги Себастьяна, взявшего в жены одну из фрейлин, близких к ее особе.

— Клянусь святым Эгидием! — воскликнул паж. — Меня теперь не удивляет ее состояние; мне только непонятно, как могла она настолько забыться, чтобы так настойчиво требовать ответа у Флеминг.

— Это трудно объяснить, — сказала Кэтрин. — Вероятно, тяжелые переживания и ужас иногда ослабляют память, окутывая пережитое облаком, подобно тому как дым обволакивает пушку после выстрела. Но мне больше нельзя здесь оставаться. Я ведь

пришла не ради хитроумной беседы с вами, а для того, чтобы охладить свой гнев на не слишком умную леди Флеминг. Теперь он как будто слегка остыл, и я смогу, пожалуй, вынести ее присутствие без риска испортить ей платок или чепчик. А вы тем временем держите дверь на запоре. Ни за что на свете нельзя допустить, чтобы кто-нибудь из этих еретиков увидел королеву в таком ужасном состоянии, до которого они сами довели ее своими дьявольскими интригами, но которое они же, с их ханжеским лицемерием, не преминут выдать за наказание, ниспосланное господом.

Не успела Кэтрин выйти, как кто-то попробовал снаружи приподнять дверную щеколду. Однако Роланд еще до этого успел запереть дверь на засов, и теперь она успешно противилась попыткам непрошеного гостя.

— Кто там? — громко спросил Грейм.

— Это я, — хриплым, но негромким голосом ответил дворецкий Драйфсдейл.

— Сейчас вам нельзя войти, — ответил юноша.

— Но почему же нельзя, — спросил Драйфсдейл, — если я собираюсь только выполнить свой долг и узнать, что означают крики из покоев этой моавитянки. Почему, повторяю, я не могу войти, если мне поручили это выяснить?

— Хотя бы уж потому, — отвечал юноша, — что дверь заперта на засов и я не собираюсь ее отворять. Сегодня я занимаю выгодную позицию — такую же, какую вы занимали вчера вечером.

— Ты с ума спятил, бесстыжий мальчишка! — закричал дворецкий. — Как ты смеешь разговаривать так со мной? Я немедленно доложу миледи о твоей дерзости.

— Дерзость, — возразил паж, — адресована тебе одному и является справедливой наградой за твою собственную неучтивость по отношению ко мне. Что же касается леди Лохливен, у меня найдется для нее более любезный ответ. Можете передать ей, что королеве нездоровится и она просит не беспокоить ее ни визитами, ни посланиями.

— Заклинаю вас именем бога, — сказал старик торжественным тоном, непохожим на тот, которым он говорил вначале, — скажите, действительно ли опасна ее болезнь?

— Она не нуждается ни в вас, ни в вашей госпоже, а посему убирайтесь и не тревожьте нас больше; мы не желаем принимать и не примем помощи из ваших рук.

Получив такой решительный ответ, дворецкий, ворча и негодуя, стал спускаться по лестнице.

Глава XXXII

О, горе королям, коль служат им
Рабы, готовые любую прихоть
Понять как беспощадное веленье
Взорвать обитель жизни! Наш кивок
Они за приговор считать готовы.

Шекспир, «Король Иоанн»

Леди Лохливен уединилась в своей комнате, безуспешно пытаясь сосредоточиться на черных письменах библии, которая лежала перед ней в переплете из вышитого бархата, украшенная массивными серебряными пряжками и застешками. Никакие старания не могли отвлечь ее мысли от вчерашнего оскорбительного разговора с королевой, которая так ядовито намекнула ей на грехи ее юности, уже давно заглаженные последующими годами раскаяния.

— Почему, — говорила она, — я прихожу в столь сильное негодование, когда кто-либо другой попрекает меня тем, чего я сама постоянно стыжусь? И как посмела эта женщина, которая сама пользуется плодами моего безумия, которая оттеснила от престола моего сына, как осмелилась она, в присутствии моих и ее собственных слуг, швырнуть мне в лицо мой позор? Разве она не в моей власти? Неужели она не боится меня? О коварный искушитель! Я буду изо всех сил

бороться против тебя и найду лучшие советы, чем те, которые подсказывает озлобленное сердце!

Она снова принялась за святую книгу, пытаясь сосредоточить мысли на ее содержании, но тут ее потревожил стук в дверь. В ответ на ее приглашение войти в дверях появился дворецкий Драйфсдейл с мрачным и тревожным выражением лица.

— Что случилось, Драйфсдейл, почему ты так странно выглядишь? — спросила дворецкого его госпожа. — Плохие вести о моем сыне или о внуках?

— Нет, сударыня, — ответил Драйфсдейл. — Но вчера ночью вам нанесли жестокое оскорбление, и я опасаюсь, что уже сегодня утром последовало столь же жестокое возмездие. Где сейчас капеллан?

— Что ты хочешь сказать этими туманными намеками и этим неожиданным вопросом? Капеллан, как тебе известно, уехал в Перт на совещание конгрегации.

— Впрочем, это неважно, — ответил дворецкий, — он всего лишь слугитель Ваала.

— Драйфсдейл, — сурово сказала леди, — что ты имеешь в виду? Мне всегда говорили, что в Нидерландах ты наслушался анабаптистских проповедников — этих вепрей, разрывающих вертоград, но священника, который достаточно хорош для меня и моего дома, должны уважать все, кто мне служит.

— Мне бы хотелось получить добрый совет у священника, — ответил дворецкий, не обращая внимания на упрек своей госпожи. — Эта моавитянка...

— Говори о ней с должным почтением, — прервала его леди Лохливен. — Она дочь короля.

— Пусть так, — ответил дворецкий, — но теперь она на пути туда, где нет различий между ней и дочерью нищего. Мария Шотландская умирает.

— Умирает, у меня в замке? — воскликнула леди Лохливен, вскакивая в тревоге. — От какой болезни? Или, быть может, от несчастного случая?

— Терпение, миледи, это моя работа.

— Твоя, подлый предатель! Как ты осмелился?..

— Я слышал, как вас оскорбили, миледи... Я слышал, как вы взывали к мести... Я обещал, что

вы будете отомщены, и вот я принес вам весть об этом.

— Ты бредишь, Драйфсдейл?

— Нет, я не брежу, — отвечал дворецкий. — То, что мне было написано на роду за миллионы лет до того, как я впервые увидел свет, я обязан выполнить. Боюсь, что сейчас у нее в жилах находится такое зелье, которое быстро иссушит родники ее жизни.

— Презренный негодяй, неужели ты отравил ее?

— А если и так? — ответил Драйфсдейл. — Что же тут особенного? Травят же вредных насекомых — почему же не освободиться таким путем и от своих врагов? В Италии такие вещи делают за один крейцер.

— Прочь с глаз моих, подлый убийца!

— Подумайте лучше о моей преданности, миледи, — ответил дворецкий, — и перед тем как судить меня, оглянитесь вокруг. Линдсей, Рутвен и ваш родич Мортон закололи кинжалами Риччо, но сейчас на их вышитых камзолах не видно крови. Лорд Семпил заколол лорда Сэнкухара — но разве от этого шлем не так гордо красуется на его голове? Разве есть во всей Шотландии хоть один вельможа, который из мести или преследуя политические цели не принимал бы участия в подобных делах? А разве кто-нибудь упрекает их за это? Пусть это не оскорбляет вас — яд и кинжал одинаково приводят к цели, и между нами лишь небольшая разница. Один хранится в стеклянном пузырьке, другой — в кожаных ножнах, один останавливает сердце, другой выпускает кровь. Притом я ведь вам не говорил, что дал что-нибудь этой женщине.

— Так что же ты тут мелешь ерунду, — рассердилась леди Лохливен. — Если хочешь спасти свою шею от веревки, которую ты заслужил, немедленно открой мне всю правду — ты давно уже слынешь опасным человеком.

— О, на службе у своего господина я умею быть холодным и острым, как этот меч. Да будет вам известно, что, когда я в последний раз был на том берегу, я обратился за советом к ученой и искусной женщине по имени Никневен, о которой с некоторыми

пор идет молва по всей округе. Глупцы ищут у нее любовного зелья, скряги — способа увеличить свое богатство. Одни хотят узнать будущее — пустое дело, все равно его нельзя изменить; другие желают получить объяснение прошлого, что еще глупее, ибо его и вовсе нельзя исправить. Я слушал с презрением их нелепые речи и попросил у старухи средство отомстить смертельному врагу, ибо я становлюсь стар и не могу довериться мечу из Бильбоа. Она дала мне пакетик и сказала: «Раствори это в какой-нибудь жидкости, и твоя месть свершится».

— Негодяй! И ты, подмешав это зелье к пище узницы, обесчестил дом своего хозяина?

— Я восстановил поруганную честь дома моего хозяина, высыпав содержимое пакета в кувшин с настоем цикория. Они редко им пренебрегают, а эта женщина любит его больше всего на свете.

— Сам дьявол надоемил вас обоих, — воскликнула леди Лохливен, — и просившего порошок и ту, что дала его. Прочь, несчастный! Надо спешить туда, может быть мы еще не опоздали.

— Они не впустят нас, сударыня, если мы не применим силу. Я дважды был там, но мне не удалось туда проникнуть.

— Если понадобится, мы выломаем дверь... Пришли сюда поскорей Рэндла... Слушай, Рэндл, здесь произошел несчастный случай. Немедленно отправь лодку в Кинрос: говорят, что управитель Льюк Ландин искусно врачует. Доставь сюда также эту проклятую ведьму Никневен; пусть она поможет нам справиться с ее собственными чарами, а затем я велю ее сжечь на острове Сент-Серф. Скорей, скорей, скажи им, пусть они поставят парус и гребут во всю мочь, если хотят когда-либо увидеть добро от Дугласов.

— На этих условиях матушку Никневен сюда не заманишь, — вмешался Драйфсдейл.

— Тогда поручись за ее безопасность; помни, ты головой ответишь мне, если королева не будет спасена!

— Мне следовало это предвидеть, — мрачно заметил Драйфсдейл. — Я могу утешаться лишь тем, что

отомстил не только за вас, но и за себя. Она глумилась и издевалась надо мной, она поощряла своего наглого любезника-пажа, высмеивавшего мою чинную поступь и неторопливую речь. Я знал, что судьба предназначила мне стать орудием мести.

— Иди в западную башню и оставайся там под арестом, пока не выяснится, чем кончится вся эта история. Я знаю твою твердость, ты не станешь искать спасения в бегстве.

— Даже если бы стены той башни были из яичной скорлупы, а озеро покрылось льдом, — сказал Драйфсдейл. — Я достаточно пожил на свете и убедился в том, что человек сам по себе ничто; он всего лишь пена на волнах, которая поднимается, пузырится и бурлит, но не по своей воле, а повинаясь могучей силе судьбы. И все же, миледи, если вам угодно будет принять мой совет, то в своих хлопотах о спасении этой шотландской Иезавели не забывайте о вашей собственной чести и держите все, что произошло, в тайне.

Сказав это, угрюмый фаталист отвернулся от нее и с мрачным видом направился в отведенную ему темницу.

Его госпожа приняла к сведению этот последний намек; в дальнейших разговорах она ограничивалась опасением, что узница съела что-то нехорошее и опасно захворала. Весь замок был в тревоге и смятении. Рэндел отправился на ту сторону озера, чтобы привезти Льюка Ландина с его противоядиями, а также разыскать, если удастся, матушку Никневен, которой леди Лохливен своим честным словом обеспечивала безопасность.

Тем временем сама леди Лохливен вела переговоры у дверей апартаментов королевы и тщетно уговаривала пажу впустить ее.

— Глупый мальчишка! — говорила она. — Твоей собственной жизни и жизни твоей госпожи угрожает опасность. Отвори же, или мы выломаем дверь.

— Я не могу открыть дверь без приказа моей госпожи, — отвечал Роланд. — Ей было очень плохо, но сейчас она уснула. Если вы разбудите ее, применив

насилие, ответственность падет на вас и на ваших людей.

— Ни одна женщина никогда не была в таком ужасном положении! — воскликнула леди Лохливен. — По крайней мере следы, безрассудный мальчишка, чтобы никто не прикасался к пище и особенно к кувшину с цикорием.

Затем она поспешила к башне, где Драйфсдейл сам безропотно подверг себя заточению. Она нашла его за чтением и спросила:

— А быстро действует твое адское снадобье?

— Напротив, очень медленно, — ответил Драйфсдейл. — Старая ведьма спросила меня, какое средство я предпочитаю. Я сказал, что предпочитаю месть медленную, но верную. Мщение, сказал я, лучший из земных напитков, и его следует смаковать по капельке, а не глотать с жадностью залпом.

— Против кого, несчастный, замыслил ты столь страшную месть?

— У меня был не один враг, но главный из них — этот наглый паж.

— Да ведь он еще совсем мальчик, проклятый изверг! — воскликнула леди Лохливен. — Чем мог он вызвать к себе такую ненависть?

— Он все больше приобретал ваше расположение, и вы давали ему разные поручения; но это была лишь одна из причин. Он завоевал также симпатию Джорджа Дугласа, и это была вторая причина. Он стал любимцем кальвиниста Хендерсона, который ненавидит меня за то, что я не признаю обособленного духовенства. Моавитянская королева тоже благосклонна к нему, — словом, все ветры благоприятствовали ему, в то время как старый слуга вашего дома утратил всякое значение. Но главное — это то, что с первой же нашей встречи во мне зародилось желание уничтожить его.

— И такое чудовище я держала у себя в доме! — воскликнула леди Лохливен. — Да простит мне бог, что я кормила и одевала тебя!

— Это не зависело от вас, миледи, — ответил дворецкий. — Задолго до того, как был построен этот замок, даже еще до того, как остров, на котором он

воздвигнут, поднялся над голубыми водами озера, мне было предназначено свыше быть вашим верным рабом, а вам — моей неблагодарной госпожой. Вспомните, как еще при матери этой моавитянки я ринулся на одолевавших нас французов и выручил вашего супруга, тогда как те, которые были вскормлены той же грудью, что и он, не отважились прийти ему на помощь. Вспомните, как я бросился в озеро, когда буря унесла лодку вашего внука, доплыл до нее и подтащил ее к берегу. Слуга шотландского барона, миледи, не думает о своей жизни или о жизни других людей, он думает только о своем господине. А что до смерти этой женщины, я бы еще раньше применил свое снадобье, если бы мейстер Джордж не пробовал перед едой все блюда. Разве весть о ее смерти не осчастливит Шотландию? Разве она не отродье кровавых Гизов, столь часто обгагривших свой меч святой кровью избранников божьих? Разве она не дочь проклятого тирана Иакова, которого само небо лишило королевства и унизило в его гордости подобно тому, как ранее оно сразило царя вавилонского?

— Молчи, подлый! — воскликнула леди Лохливен. Тысячи самых разнообразных воспоминаний пронеслись в ее памяти при имени ее венценосного возлюбленного. — Молчи и не тревожь прах усопшего... царственного и несчастного мертвеца. Читай свою библию, и да поможет тебе господь понять ее смысл лучше, чем это удавалось тебе ранее.

Она торопливо удалилась, и когда вышла в другую комнату, слезы хлынули из ее глаз с такой силой, что ей пришлось остановиться и вытереть их платком.

«Этого я не ждала, — подумала она. — Разве можно добыть воду из твердого камня или сок из высохшего дерева? Мои глаза оставались сухими во время отступничества и позора Джорджа Дугласа — надежды нашего дома, сына детища моей любви, и все же сейчас я лью слезы о том, кто так давно поконится в могиле и кому я обязана насмешками со стороны его дочери, опозорившей мое имя. Но это *его* дочь, и мое сердце, ожесточившееся против нее из-за стольких причин, смягчается, когда взгляд ее очей внезапно

оживляет передо мной образ ее отца, хотя столь же часто сходство с ее ненавистной матерью, этой истинной дочерью Гизов, снова укрепляет во мне ненависть. Но она не должна... ни в коем случае не должна умереть в моем доме, став жертвой столь вероломной интриги. Благодарение богу, отраву действует медленно, и, может быть, Марию можно еще спасти. Не вернуться ли мне в мои покои? Но кто мог думать, что этот безжалостный негодяй, которого мы так ценили и который столько раз доказывал свою верность, поставит нас в такое положение? Каким чудом в одной душе могут сочетаться такая преданность и такая порочность?»

Леди Лохливен не знала, до какой степени мрачные и решительные характеры могут быть чувствительны по отношению к самым незначительным обидам и насмешкам, если к тому же эта чувствительность сочетается с эгоизмом и своекорыстием, да еще питается теми нездоровыми, дикими и плохо переваренными идеями, которые этот человек почерпнул в фанатических сектах Германии. Она не знала, насколько доктрина фатализма, которую он так безоговорочно воспринял, притупляет голос совести, представляя любые наши поступки результатом неизбежного предопределения.

В то время как леди Лохливен посещала узника, Роланд передал Кэтрин содержание своего разговора с хозяйкой замка. Сообразительная девушка сразу поняла, чего опасается леди Лохливен, но предубеждение завело ее дальше того, что произошло в действительности.

— Они хотели нас отравить! — воскликнула она в ужасе. — Вот стоит эта роковая жидкость, которую они намеревались пустить в ход. С тех пор как Дуглас не пробует нашу пищу, в нее, вероятно, стали подмешивать яд. Ты, Роланд, должен был попробовать ее и, значит, был обречен умереть вместе с нами. О милая Флеминг, простите, простите меня за те несправедливые слова, которые я вам наговорила в гневе; вашими устами говорило небо, желая спасти наши жизни и особенно жизнь несчастной королевы. Но что же нам

тогда делать? Этот старый крокодил из озера сейчас вернется проливать лицемерные слезы над нашими агонизирующими телами. Что же нам делать, Флеминг?

— Пресвятая дева, помоги нам в нашей горе! — ответила та. — Что я могу сказать? Может быть, подать жалобу регенту?

— Дьяволу подать жалобу! — нетерпеливо оборвала ее Кэтрин. — И обвинить его собственную мать у подножия его пылающего трона! Королева еще спит. Мы должны выиграть время. Эта ведьма-отравительница не должна знать, что ее замысел рухнул. У ядовитого паука слишком много способов исправить порванную паутину. Кувшин с настоем цикория... Роланд, будьте же мужчиной, помогите мне — вылейте содержимое этого кувшина в камин или в окно, еду приведите в такой вид, как будто мы ели, как обычно, оставьте немного в чашках и в миске, но не пробуйте ничего, если вам жизнь дорога. Я буду у королевы и, когда она проснется, расскажу ей, как ужасно наше положение. Ее живое воображение и находчивость подскажут, что нам делать дальше. А пока, до новых распоряжений, помните, Роланд, что королева находится сейчас в забытьи и что леди Флеминг больна. Эта роль, — добавила она, понизив голос, — удастся ей лучше других, она избавит ее мозг от бесплодного напряжения. А что касается меня, то я... не так уж больна... вы меня поняли?

— А я? — спросил паж.

— Вы? — ответила Кэтрин. — Вы совершенно здоровы. Кому придет в голову травить щенков и пажей?

— Уместна ли подобная шутка в такое время? — спросил паж.

— Уместна, уместна, — ответила Кэтрин Ситон. — Если королева согласится, то я уже ясно предвижу, как эта неудачная попытка может послужить нам на пользу.

Во время разговора она усердно помогала Роланду. Стол вскоре принял такой вид, какой он имел обычно после завтрака, и дамы тихо удалились в опочивальню королевы.

Когда леди Лохливен вновь постучалась, паж отворил дверь и впустил ее в приемную, извинившись за то, что не сразу выполнил ее распоряжение и сославшись в свое оправдание на то, что королева впала в забытье, едва разговевшись после поста.

— Значит, она ела и пила? — спросила леди Лохливен.

— Конечно, — ответил паж, — как ее величество это обычно делает, если не считать религиозных постов.

— Кувшин, — воскликнула она, торопливо исследуя его содержимое, — он пуст... Леди Мария выпила всю воду?

— Большую часть, сударыня; а после этого я слышал, как леди Кэтрин Ситон в шутку пеняла леди Мэри Флеминг за то, что та якобы выпила больше, чем полагалось на ее долю, так что самой леди Кэтрин досталось совсем немного.

— А они обе хорошо себя чувствуют? — спросила леди Лохливен.

— Леди Флеминг, — ответил паж, — жалуется на усталость и выглядит более вялой, чем обычно; а у леди Кэтрин Ситон голова кружится больше, чем ей бы того хотелось. — Он немного повысил голос, произнося эти слова, для того чтобы предупредить дам о роли, которую каждой из них предстояло играть, и не без желания, пожалуй, довести до ушей Кэтрин мальчишескую шутку, которая скрывалась в его ответе.

— Я войду в опочивальню королевы, — сказала леди Лохливен, — дело не терпит отлагательства.

Однако, когда она приблизилась к дверям опочивальни, оттуда донесся голос Кэтрин Ситон:

— Никто не должен входить сюда! Королева спит.

— Я не спрашиваю у вас разрешения, моя милая, — ответила леди Лохливен. — Насколько мне известно, здесь нет внутренних засовов, и я войду, не считаясь с вашими запретами.

— Здесь действительно нет внутренних засовов, — ответила Кэтрин, — но есть скобы, в которые прежде вставлялись засовы. Сейчас я вложила в них свою руку, подобно одной из женщин вашего рода, когда

она, не в пример нынешним Дугласам, таким образом защитила опочивальню своей повелительницы от убийц. Попробуйте применить силу, и вы увидите, что дочь Ситонов готова соперничать в мужестве с женщиной из рода Дугласов.

— Я не отважусь на такую попытку, — ответила леди Лохливен. — Странно, что эта государыня, при всей справедливости возводимых на нее обвинений, сохраняет такую власть над поступками своих приверженцев! Послушайте, мисс, я даю вам слово чести, что я пришла сюда ради спасения королевы и ради ее блага. Разбудите ее, если вы действительно ее любите, и попросите у нее разрешения впустить меня. А пока я подожду в гостиной.

— Уж не собираетесь ли вы разбудить королеву? — спросила леди Флеминг.

— Но ведь у нас нет иного выхода, — трезво ответила девушка. — Не станете же вы дожидаться, когда леди Лохливен сама предстанет в роли ее камер-фрейлины. Терпения у нее хватит ненадолго, а королеву необходимо еще подготовить к встрече с ней.

— Но приступ болезни может повториться у королевы, если вы ее разбудите.

— Не дай бог! — промолвила Кэтрин. — Впрочем, если он и повторится, можно приписать это действию отравы. Я, однако, надеюсь на лучший исход и думаю, что когда королева проснется, она сама сумеет определить, как необходимо действовать в нашем критическом положении. А вы, дорогая Флеминг, тем временем примите самый измученный и утомленный вид, какой только позволяет вам вся живость вашей натуры.

Кэтрин опустилась на колени у изголовья королевы и, не переставая целовать ее руки, разбудила спящую, не встревожив ее. Мария Стюарт, казалось, была удивлена, что лежит в постели совершенно одетая, но затем приподнялась и села. Она выглядела настолько пришедшей в себя и была так спокойна, что Кэтрин Ситон сочла возможным, без всяких предварительных вступлений, сообщить королеве о том затруднительном положении, в которое они попали. Мария Стюарт

побледнела и несколько раз перекрестилась, узнав об опасности, которая ей угрожала. Но у нее, как у гомеровского Одиссея,

„проходит сон, и разом
Готов к работе деятельный разум.

Она тут же поняла всю сложность возникшей ситуации, со всеми ее опасностями и преимуществами.

— Лучше не придумаешь, — решила она после краткого разговора с Кэтрин, прижав ее к груди и поцеловав в лоб, — самое правильное для нас — последовать тому плану, который так удачно создали твой живой ум и смелое воображение. Открой дверь ипусти леди Лохливен — она встретит во мне достойную соперницу, правда не в вероломстве, а в хитрости. Моя милая Флеминг, задерни-ка плотней штору и ложись по ту сторону; ты лучше умеешь быть вялой больной, чем подвижной актрисой. Постарайся дышать потяжелее и, если хочешь, испускай слабые стоны. Этого будет достаточно. Но тише, они идут. Ну, да вдохновит меня твой дух, Екатерина Медичи, ибо холодный северный ум недостаточно изощрен для подобного представления.

Стараясь ступать как можно тише, леди Лохливен вошла в сопровождении Кэтрин Ситон в затемненную спальню и подошла к постели, где Мария Стюарт, бледная и изнуренная после бессонной ночи и утренних волнений, лежала вытянувшись во весь рост, как бы подтверждая своей неподвижностью худшие опасения хозяйки.

— Ах! Да простит бог наши грехи! — воскликнула леди Лохливен, забыв свою гордость и бросившись на колени у ее изголовья. — Увы, это правда: ее действительно убили!

— Кто это в опочивальне? — спросила Мария Стюарт, как бы просыпаясь от глубокого сна. — Ситон, Флеминг, где вы? Я слышу чужой голос. Кто сегодня дежурит? Позовите Курсель!

— О боже! Ее душа в Холируде, тогда как тело ее в Лохлиvene. Простите, государыня, — продолжала леди Лохливен, — что я потревожила вас; это я, Мар-

гарэт Эрскин из рода Маров, в замужестве — леди Дуглас из Лохлиvena.

— О, наша благородная хозяйка, — ответила королева, — которая так заботится о нашем жилище и пропитании. Мы слишком долго утруждали вас, любезная леди Лохливен, но сейчас ваши гостеприимные заботы о нас почти на исходе.

— Ее слова словно острый нож вонзаются в мое сердце, — прошептала леди Лохливен. — С болью в душе я прошу вашу светлость сообщить мне, что вас мучит, чтобы помочь вам, если еще есть возможность.

— О моей болезни, — ответила королева, — не стоит и говорить, ей уже не нужно вмешательство врача. Я чувствую тяжесть во всем теле, холод подступает к моему сердцу. Ведь у узника тело и сердце редко бывают свободны от таких ощущений. Свежий воздух и свобода, по-моему, очень скоро оживили бы меня. Но Собрание Сословий определило иначе, и одна лишь смерть раскроет дверь моей тюрьмы.

— О государыня! — воскликнула леди Лохливен. — Если бы свобода действительно могла принести вам полное исцеление, я не побоялась бы навлечь на себя гнев регента, моего сына сэра Уильяма и всех моих друзей, только бы вам не пришлось встретить смерть в моем замке.

— Ах, миледи, — сказала вдруг леди Флеминг, выбрав, по ее мнению, весьма удачный момент, чтобы доказать, насколько необоснованны суждения о недостаточной изворотливости ее ума, — испытайте, как подействует на нас свобода! Мне, например, при моем больном сердце, было бы, вероятно, очень полезно побродить по лугам.

Леди Лохливен встала, отошла от постели королевы и метнула пронизательный взгляд на старшую фрейлину, нуждающуюся в лечении.

— Вы так серьезно больны, леди Флеминг?

— Я очень серьезно больна, миледи, — ответила придворная дама, — в особенности после нынешнего завтрака.

— О помогите! Помогите! — вскрикнула внезапно Кэтрин, стремясь помешать разговору, который грозил

расстроить весь ее план. — Помогите! Умоляю вас! Королева близка к смерти. Спасите ее, леди Лохливен, если у вас доброе сердце!

Леди Лохливен бросилась поддержать голову королевы, которая, устремив на нее глаза, сказала с видом крайнего утомления:

— Благодарю вас, милая леди Лохливен; если не считать некоторых происшествий из недавнего прошлого, я никогда не обманывалась на ваш счет и несколько не сомневалась в вашей привязанности к нашему дому. Вы успели, как я слышала, доказать ее еще до моего рождения.

Леди Лохливен, которая было снова опустилась на колени у изголовья больной, быстро вскочила и, в страшном волнении пройдя через всю комнату, поспешно подняла решетку на окне, как бы желая вдохнуть побольше воздуха.

«Да простит мне пресвятая дева, — заметила про себя Кэтрин, — как глубоко сидит в нас, женщинах, это пристрастие к колкостям, если даже королева, при всей ее рассудительности, готова скорее шею себе свернуть, чем держать в узде свое остроумие». Затем она отважилась подойти к своей госпоже и, взяв ее руку, прошептала:

— Ради бога, сдерживайтесь, государыня!

— Ты слишком много позволяешь себе, девочка! — сказала королева, но тут же добавила шепотом: — Прости меня, Кэтрин, но когда руки этой старой отравительницы дотронулись до моей головы и шеи, я почувствовала такое отвращение и ненависть, что должна была или сказать ей что-нибудь резкое, или умереть. В дальнейшем я буду лучше вести себя; только не позволяй ей прикасаться ко мне.

«Ну, слава богу, — сказала про себя леди Лохливен, отворачиваясь от окна, — лодка идет с самой большой скоростью, какую только могут развить парус и весла. На ней везут врача и женщину. Судя по наружности, это именно та самая, которая мне нужна. Поскорее бы эта Мария выбралась наконец из моего замка, не запятнав нашей чести, и поселилась на вершине самой дикой норвежской горы! Или уж лучше бы

мне самой попасть туда, раньше чем я взяла на себя эту обузу!»

В то время как она, стоя у окна, выражала таким образом свои заветные желания, Роланд Грейм из другого окна следил за лодкой, бороздившей воды озера, которые расступались перед ней, образуя рябь и пену. Он тоже увидел, что на корме сидел врач-управитель, завернувшись в свой черный бархатный плащ, и что Мэгделин Грейм, все еще играя роль матушки Никневен, стояла на носу лодки, скрестив на груди руки и устремив свой взгляд в сторону замка; даже на таком расстоянии видно было, что она горит нетерпением поскорей добраться до пристани. Наконец они прибыли к месту назначения, и, в то время как мнимая колдунья осталась внизу, врача ввели в покои королевы, куда он вошел, сохранив всю свою профессиональную важность. Кэтрин тем временем отошла от постели Марии и, улучив минуту, шепнула Роланду:

— Судя по поношенному бархатному плащу и внушительной бороде этого осла, его нетрудно будет взнудать. Но ваша бабка, Роланд... Ее рвение может нас погубить, если вы не подадите ей знак, чтобы она не выдала себя.

Роланд, не говоря ни слова, выскользнул в гостиную и, перейдя ее, благополучно добрался до приемной, но когда он попытался пройти дальше, окрики двух вооруженных карабинами людей: «Назад! Назад!», прозвучавшие как эхо, убедили его, что предусмотрительная леди Лохливен, даже в разгар тревоги, не позабыла принять все меры предосторожности и расставить часовых для охраны своих пленников. Поэтому ему пришлось вернуться в гостиную, или аудиенц-залу, где он застал хозяйку замка, державшую совет со своим искусным врачом.

— Только, пожалуйста, без пышных фраз и шарлатанского важничанья, сэр Ландин, — так обратилась она к этому ученому мужу. — Скажи мне сразу, если только ты можешь это сказать, действительно ли эта леди приняла что-нибудь не слишком полезное?

— Видите ли, моя добрая леди, моя высокочтимая госпожа, которой я равно обязан служить и как медик

и как управитель, нужно подойти к этому делу разумно. Если моя прославленная пациентка станет отвечать на вопросы только вздохами и стонами, если эта другая почтенная леди будет только зевать мне в лицо, когда я расспрашиваю ее, чтобы поставить диагноз, и если, наконец, эта третья молодая девица, которая, нельзя не сознаться, выглядит весьма миловидно...

— Что вы мне толкуете о миловидности и о девицах? — возмутилась леди Лохливен. — Я вас спрашиваю, здоровы ли они? Короче говоря, отравились они или нет?

— Отравы бывают разные, миледи, — ответил ученый врач. — Бывают животные яды, вроде *Ierup maripus*,¹ упоминаемого у Диоскорида и Галена, бывают минеральные и полуминеральные яды, например состав из отогнанного королька сурьмы, купороса и солей мышьяка, или яды из трав и зелени, вроде *aqua sumbalagiae*,² опиума, аконита, кантаридов и тому подобных веществ; существуют также...

— Да провались ты в преисподнюю, ученый осел! — рассердилась леди Лохливен. — И я тоже хороша, вожусь тут с этим чурбаном, как будто от него можно ждать дельного ответа.

— Если только ваша милость соизволит немного потерпеть... мне бы только узнать, какую пищу приняли больные, или взглянуть на остатки их последней еды... Ибо по внешним и внутренним симптомам мне не удалось установить ничего определенного; как говорит Гален во второй книге своих *de Antidotis*...³

— Убирайся прочь, дурак! — крикнула леди Лохливен. — Приведите сюда эту старую ведьму! И либо она признается, что за яд дала она этому мерзавцу Драйфсдейлу, либо щипцы и тиски палача вырвут у нее пальцы из суставов вместе с признанием.

— У науки нет более страшного врага, чем невежество, — произнес обиженный доктор и отступил в

¹ Морского зайца (лат.).

² Насоя пуполистника (лат.).

³ О противоядиях (лат.).

угол в ожидании дальнейшего. Правда, из осторожности он высказал свое замечание по-латыни.

Через несколько минут в покои королевы вошла Мэгделин Грейм в том же одеянии, в котором она была на сельском празднике, но шарф был откинут назад, и видно было, что старуха решила отказаться от какой-либо маскировки. Ее сопровождали два стража, которых она, вероятно, даже не замечала, но которые тем не менее выглядели робко и смущенно, видимо подавленные верой в сверхъестественное могущество матушки Никневен и тем, как она уверенно и бесстрашно держалась.

Мэгделин Грейм стойко выдержала полный глубокого презрения взгляд леди Лохливен, которая, казалось, едва выносила ее присутствие.

— Подлая женщина! — воскликнула леди Лохливен, почувствовав, что ее величественная суровость не смутила старуху. — Что за порошок получил от тебя слуга этого дома Джаспер Драйфсдейл для какого-то медленного и тайного мщения? Сейчас же раскрой нам свойства и состав этого яда, или, клянусь честью Дугласов, я предам тебя костру еще до захода солнца.

— Увы! — ответила Мэгделин Грейм. — С каких это пор Дугласы или слуги Дугласов стали так беспомощны, что им приходится искать орудия мести у бедной и одинокой женщины? Башни, в которых чахли и сходили в могилу ваши узники, ведь стоят прочно на своих фундаментах, процветающие в них преступления еще не взорвали их сводов, ваши слуги все еще владеют арбалетами, пистолетами и кинжалами, — зачем же вам искать порошка или зелья для ваших мстительных замыслов?

— Слушай ты, проклятая ведьма! — вскричала леди Лохливен. — Да что с тобой говорить!.. Приведите сюда Драйфсдейла и устройте им очную ставку.

— Можете избавить ваших слуг от этого труда, — ответила Мэгделин Грейм. — Я пришла сюда не для того, чтобы стоять на очной ставке с подлым лакеем, и не для того, чтобы отвечать на вопросы еретички,

любовницы Иакова. Я пришла говорить с королевой Шотландии. Пропустите меня к ней.

И пока леди Лохливен стояла, ошеломленная ее смелостью и тем упреком, который старуха бросила ей в лицо, Мэгделин Грейм прошла мимо нее в опочивальню королевы и, опустившись на колени, приветствовала Марию Стюарт, как бы собираясь, по восточному обычаю, коснуться лбом пола.

— Привет тебе, государыня! — сказала она. — Привет тебе, наследница многих королей, превзошедшая их всех, ибо ты одна была призвана пострадать за истинную веру! Привет тебе, чья корона выкована из золота, очищенного в семижды раскаленном горниле бедствий. Прислушайся к утешению, которое бог и пресвятая дева посылают тебе устами твоей недостойной прислужницы. Но прежде всего... — Тут, склонив голову, она несколько раз перекрестилась и, все еще стоя на коленях, казалось, быстро повторила какие-то слова молитвы.

— Хватайте ее и тащите в темницу! Бросьте эту ведьму в самое глубокое подземелье! Только по внушению самого дьявола дерзнула она оскорбить мать Дугласа в его собственном замке.

Так кричала разъяренная леди Лохливен, но врач решил вступить за старуху:

— Прошу вас, уважаемая госпожа, разрешить ей провести лечение и не прерывать ее. Может быть, мы узнаем что-нибудь о средстве, которое она, вопреки закону и правилам лечения, дала этим дамам через посредничество дворецкого Драйфсдейла.

— Что ж, для такого дурака, как ты, это не такой уж глупый совет, — согласилась леди Лохливен. — Я сдержу свой гнев до конца их разговора.

— Только, боже сохрани, уважаемая леди, не сдерживайте его дольше! Это в высшей степени вредно для вашего почтенного организма. И в самом деле, если тут замешано колдовство, то, согласно народному поверью и даже в согласии со взглядами виднейших специалистов по демонологии, три скрупула золы, оставшейся после ведьмы, если она достаточно хорошо и

старательно будет сожжена на костре, окажутся в этом случае превосходным лекарством, так же как обычно прописывают *crinis canis rabidi*,¹ укусившей пациента, в случаях водобоязни. Я не ручаюсь ни за какое средство, выходящее за пределы науки, но в данном случае опыт над этой старой некроманткой и шарлатанкой никому вреда не принесет — *fiat experimentum* (как говорится) *in corpore vili*.²

— Замолчи, дурак! — сказала леди Лохливен. — Она собирается говорить.

В это мгновение Мэгделин Грейм поднялась с колен и, повернувшись лицом к королеве, подалась вперед, простирая руки и всем своим видом напоминая одержимую сивиллу. Ее седые волосы выбились из-под накидки, глаза метали искры из-под косматых бровей, выразительные, хотя и изнуренные черты ее лица производили неотразимое впечатление, которое еще больше усиливалось ее тревожной экзальтацией, граничащей с безумием, и весь облик старухи наводил ужас на собравшихся людей. Некоторое время ее глаза дико блуждали, как бы отыскивая вокруг себя нечто такое, что придало бы силу и выразительность ее словам, а губы нервно подергивались, как у человека, который хочет говорить, но вынужден отбросить приходящие на ум слова, так как они не в силах выразить его мысль. Сама Мария Стюарт, как бы увлеченная ее магнетическим влиянием, поднялась со своего ложа, не будучи в силах оторвать взор от глаз Мэгделин, как бы ожидая прорицания пифии. Ждать ей пришлось недолго. Как только одержимая собралась с силами, ее взгляд стал напряженно-сосредоточенным, черты лица приобрели энергичное выражение, и когда она начала говорить, ее речь потекла легко и свободно. Казалось, на нее снизошло вдохновение свыше, и она сама, вероятно, не сомневалась в этом.

— Восстань, королева Франции и Англии, — провозгласила она, — восстань, львица Шотландии, и не тревожься, если даже сети ловцов захлестнули тебя!

¹ Шерстинку бешеной собаки (лат.).

² Да свершится опыт в ничтожном теле (лат.).

Не унижайся, прибегая к притворству перед вероломными, с которыми ты вскоре встретишься на поле боя. Исход битвы решается в небесах, но твое дело решится битвой. Отбрось поэтому уловки простых смертных и поступай так, как подобает королеве! Истинная защитница единственной истинной веры, тебе доступно оружие неба. Верная дочь церкви, возьми ключи святого Петра, чтобы вязать и разрешать узы. Венценосная правительница страны, возьми меч святого Петра, чтобы низвергать и побеждать. Во тьме таится жребий твой; но не в этих башнях, не под рукой этой их высокомерной владелицы завершится твоя судьба. В других странах львица может уступить силе тигрицы, но на своей земле, в Шотландии, королева шотландская недолго будет томиться в заточении, и не изменникам Дугласам решать судьбу царственных Стюартов. Пусть леди Лохливен удвоит свои запоры и еще больше углубит свои подземелья, они не удержат тебя. Все стихии окажут содействие тебе во время твоего плена: земля пошлет землетрясение, вода — свои волны, ветер — бурю, огонь — всепожирающее пламя, готовое опустошить этот дом, дабы он перестал быть местом твоего заточения. Слушайте и трепещите, вы все, ополчившиеся против света небесного, ибо это говорит вам та, которая удостоилась откровения свыше.

Она умолкла, и удивленный врач сказал:

— Если в наши дни бывают бесноватые или одержимые демонами, то языком этой женщины говорил сам дьявол.

— Обман! — вскричала леди Лохливен, оправившись от удивления. — Обман и плутовство! В темницу ее!

— Леди Лохливен, — сказала Мария Стюарт, поднимаясь с постели и выступая вперед с присущим ей достоинством. — Прежде чем вы арестуете кого-либо в нашем присутствии, разрешите мне сказать вам всего несколько слов. Я была несправедлива к вам. Я считала вас соучастницей злодейского умысла вашего вассала и обманула вас, заставив поверить, что отравление удалось. Я была несправедлива к вам, ибо

я вижу, что ваше желание помочь мне было искренним. Мы не дотронулись до этой жидкости, и мы не больны, если не считать тоски по свободе.

— Вот это признание в духе Марии Шотландской! — воскликнула Мэгделин Грейм. — Но знаете, впрочем, что если бы королева даже выпила все до дна, это было бы так же безвредно, как вода из святого источника. Неужели вы думаете, надменная женщина, — добавила она, обращаясь к леди Лохливен, — что я... я могла бы совершить подобную низость — дать отраву в руки слуги или вассала из дома Лохливен, зная, кого в этом доме содержат? С таким же успехом я приготовила бы отраву для своей родной дочери!

— Неужели я должна терпеть такие наглые речи в своем замке? — закричала леди Лохливен. — В темницу ее! Пусть узнает, что полагается за торговлю ядами и за колдовство.

— Но послушайте меня хоть одно мгновение, леди Лохливен, — вмешалась Мария. — А вам, Мэгделин, я приказываю молчать. Ваш дворецкий, миледи, сознался в покушении на мою жизнь и жизнь моих приближенных, а эта женщина сделала все для того, чтобы спасти нас, дав ему в руки безобидный порошок вместо яда, который он у нее просил. Я думаю, будет справедливо, если я от всего сердца прощу вашего вассала, предоставив возмездие богу и его собственной совести, а вы, со своей стороны, простите смелые слова, которые произнесла в вашем присутствии эта женщина. Ибо не сочтете же вы за преступление то, что она заменила безобидным питьем смертельный яд, предназначавшийся нам в этом кувшине.

— Боже сохрани, государыня, — сказала леди Лохливен, — чтобы я сочла преступлением то, что спасло дом Дугласов от подозрений в вероломном нарушении чести и гостеприимства. Мы написали нашему сыну о злодеянии его вассала, и последний ожидает своей участи. Скорее всего он будет осужден на смертную казнь. Что же касается этой женщины, то ее ремесло проклято в священном писании и наказуемо смертью,

согласно мудрым законам наших предков. Она также получит то, что заслужила.

— Но разве я не могу, — спросила королева, — потребовать от Дугласов возмещения за ту опасность, которой я едва избежала в стенах этого замка? Я прошу ведь только пощадить жизнь этой престарелой и слабой женщины, чей разум, как вы сами видите, пострадал, вероятно, под бременем лет и тяжких страданий.

— Если леди Мария, — ответила неумолимая леди Лохливен, — имеет какие-либо претензии к дому Дугласов, пусть ей послужит воздаянием то, что ее заговор принес этому дому изгнание его достойного сына.

— Не просите больше за меня, моя милостивая повелительница, — сказала Мэгделин Грейм. — Не унижайте себя, выпрашивая у этой леди хотя бы один мой седой волос. Я знала, какому риску я подвергаю себя, служа моей церкви и моей королеве, и всегда готова заплатить выкуп ценой своей ничтожной жизни. Утешением мне послужит мысль о том, что, обрекая меня на смерть, или лишая меня свободы, или даже нанеся вред хоть одному седому волосу на моей голове, этот дом, честь которого леди Лохливен так безудержно восхваляет, переполнит чашу своего позора, нарушив свою собственную торжественно подписанную охранную грамоту. — И, вынув хранящуюся на груди бумагу, она протянула ее королеве.

— Это торжественная гарантия неприкосновенности ее жизни и тела, — сказала королева Мария, — с правом входа и выхода в замок Лохливен, за подписью и печатью управителя Кинроса, предоставленная Мэгделин Грейм, обычно называемой матушкой Никневен, в случае ее согласия отправиться, если это потребуется, на двадцать четыре часа за железные ворота замка Лохливен.

— Негодяй! — крикнула леди Лохливен, обернувшись к управителю. — Как ты посмел выдать ей подобную охранную грамоту?

— Я сделал это по приказанию вашей милости, переданному Рэндлом. Он может сам подтвердить

это, — возразил доктор Ландин. — Я в данном случае действовал как простой фармацевт, который изготавляет лекарство по рецепту врача.

— Да, припоминаю... припоминаю... — промолвила леди Лохливен. — Но я предполагала выдать ей грамоту только в том случае, если она будет находиться в чужих владениях, где ее невозможно будет захватить по нашему приказанию.

— Так или иначе, — сказала королева, — леди Лохливен связана действиями своего уполномоченного, выдавшего охранное свидетельство.

— Государыня, — отвечала леди Лохливен, — дом Дугласов никогда не нарушал своих обязательств и никогда не нарушит их. Слишком много пришлось нам претерпеть из-за вероломства тех, кто нарушал обязательства по отношению к нам самим, когда один из предков вашего величества, Иаков Второй, не считаясь с обычаями гостеприимства и с выданной им же самим охранной грамотой, своей собственной рукой убил кинжалом отважного графа Дугласа в двух шагах от стола, за которым тот сидел как почетный гость шотландского короля.

— Пожалуй, — небрежно сказала королева, — помня о столь недавней и чудовищной трагедии, которая произошла всего двенадцать десятилетий тому назад, Дугласам следовало бы меньше тяготеть к обществу своих государей, чем вы по отношению ко мне.

— Рэндл! — позвала леди Лохливен. — Отвези эту ведьму обратно в Кинрос и выпусти на свободу, да предупреди ее, что в дальнейшем переход границы наших владений грозит ей смертью. А вы, мудрец, — обратилась она к управителю, — составьте ей компанию и не опасайтесь за свою репутацию, хотя вам и придется ехать с ней рядом, ибо если она действительно ведьма, то вас сжигать, как колдуна, было бы излишней тратой топлива.

Если приунывший управитель готов был удалиться молча, то Мэгделин Грейм, напротив, собиралась дать ответ леди Лохливен, но тут королева прервала ее:

— Добрая матушка, мы сердечно благодарим вас за ваше неустанное рвение в служении нашей особе и приказываем вам, как нашей подданной, воздержаться от всего, что может угрожать вашей личной безопасности. Кроме того, мы повелеваем вам удалиться отсюда, не обменявшись ни единым словом ни с одним из обитателей этого замка. В качестве награды сейчас примите от нас этот небольшой ковчежец — его подарил нам наш дядя кардинал, и он хранит в себе благословение самого святейшего отца. А теперь идите с миром и в молчании. Что же касается вас, ученый сэр... — продолжала королева, обращаясь к Ландину, который смущенно поклонился ей, боясь отвесить королеве недостаточно глубокий поклон и в то же время опасаясь, слишком преувеличив его, вызвать этим неудовольствие своей госпожи. — Что касается вас, ученый сэр, то ведь не по вашей вине, а благодаря нашей счастливой судьбе мы не нуждаемся в настоящее время в вашем искусном лечении. Поэтому было бы непристойным для нашего сана, при любых обстоятельствах, отпустить нашего врача, не вручив ему той награды, какую мы в силах ему предложить.

С этими словами и с учтивостью, которая ей никогда не изменяла, хотя в данном случае за ней скрывалась легкая, изящная насмешка, королева предложила небольшой вышитый кошелек управителю, который с протянутой рукой, согнув спину, склонил свою ученую голову так низко, что физиономист мог бы упражняться на нем в метопоскопической науке, наблюдая его лицо сзади через широко расставленные ноги.

Ландин готов уже был принять свой гонорар, предлагаемый столь прекрасной и прославленной рукой, но тут вмешалась леди Лохливен, которая громко сказала, глядя на управителя:

— Всякий слуга нашего дома, осмелившийся принять какой-либо дар из рук леди Марии, навлечет на себя наше величайшее неудовольствие и при этом немедленно утратит свою должность.

Грустно и медленно привел управитель свою согнутую фигуру в вертикальное положение и уныло покинул покой королевы. За ним шла Мэгделин Грейм. Не произнеся ни слова, она поцеловала ковчег, которым ее наградила королева, подняла свои сжатые руки и устремила глаза к небесам, как бы призывая божье благословение на Марию Стюарт. Когда старуха вышла из замка и направилась к набережной, где стояли лодки, Роланд Грейм; желая, если представится возможность, поговорить с ней, бросился ей наперерез, и ему бы удалось еще обменяться с ней несколькими словечками, ибо ее охраняли только унылый управитель и его алебардиры, но Мэгделин Грейм восприняла приказ королевы ни с кем не разговаривать в точном и буквальном смысле слова; ибо на повторные знаки своего внука она ответила только тем, что показала пальцами на свои губы. Доктор Ландин не был столь сдержан. Сожаление по поводу упущенного щедрого гонорара, а также возложенное на него тяжкое бремя самоотречения омрачили дух этого достойного администратора и ученого медика.

— Вот так, мой друг, — сказал он, пожимая на прощание руку пажу, — вознаграждаются наши заслуги. Я прибыл сюда, чтобы вылечить эту несчастную леди, и признаюсь, она вполне достойна этого, ибо, что бы о ней ни говорили, у нее удивительно подкупающие манеры, приятный голос, любезная улыбка и весьма величественные движения рук. Но скажите, дорогой Роланд, разве я виноват, что она не была отравлена? Я-то ведь готов был помочь ей, если бы ее действительно отравили. А теперь мне не разрешили принять мой вполне заслуженный гонорар! О Гален! О Гиппократ! Вот каковы судьбы докторской шапочки и красной мантии! *Frustra fatigamus remediis aegros.*¹

Он вытер глаза, шагнул на планшир, и лодка, отчалившая от берега, весело поплыла по глади озера, слегка взволнованной летним ветром.

¹ Втуне докучаем больным лекарствами (лат.).

Глава XXXIII

Смерть далека? О нет, всегда вблизи
Она копье подьѣмлет роковое:
Здорового — на дне бокала ждет,
С больным — у ложа нагло скалит зубы,
Стоим, иль ходим, или мчимся вдаль —
Повсюду смерть сидит ловцом в засаде.

«Испанский монах»

После волнующей сцены в опочивальне королевы леди Лохливен удалилась в свою комнату и приказала позвать дворецкого.

— Разве тебя не обезоружили, Драйфсдейл? — спросила она, увидев, что вошедший дворецкий по обыкновению вооружен шпагой и кинжалом.

— Нет! — ответил старик. — Да и как они могли это сделать? Когда ваша милость отдали меня под стражу, вы ничего не сказали о моем оружии, а без вашего приказа или приказа вашего сына вряд ли кто-либо из ваших слуг осмелился бы обезоружить Джаспера Драйфсдейла. Может быть, отдать вам мою шпагу? Она теперь немного стоит, в частых битвах во славу вашего дома она притупилась, как старый, зазубренный нож буфетчика, и превратилась в кусок негодного железа.

— Ты замышлял злодейское убийство — ты хотел отравить лицо, находящееся у нас под охраной.

— У вас под охраной? Гм! Я не знаю, что об этом думает ваша милость, но люди считают, что охрана была на вас возложена именно с этой целью; и вам было бы лучше, если бы все окончилось, как я предполагал; вы об этом ничего не знали, и никто не подумал бы о вас плохо.

— Негодяй! — воскликнула леди Лохливен. — Ты так же глуп, как и подл. Даже свой преступный замысел ты не сумел довести до конца!

— Я сделал все, что было в моих силах, — возразил Драйфсдейл. — Я отправился к этой женщине — папистке и ведьме. Если я не достал яда, значит, так было предопределено свыше. Я честно старался.

Впрочем, с вашего разрешения, наполовину сделанное может еще найти свое завершение.

— Подлец! Я сейчас же пошлю нарочного к моему сыну, чтобы выяснить, как поступить с тобой. Приготовься к смерти, если сумеешь.

— Тот, кто видит в смерти нечто неизбежное, имеющее свой определенный и точный срок, всегда готов к ней, миледи, — отвечал Драйфсдейл. — Летние блины не для того, кто повешен в мае, — так говорят старые слуги. Но кого, разрешите спросить, собираетесь вы послать с этим славным поручением?

— В посланцах недостатка не будет, — ответила его госпожа.

— Готов ручаться, что будет, — возразил старик. — Ваш замок не располагает большим гарнизоном, если учесть количество караульных постов. К тому же одного караульного и еще двух других вы отстранили после измены мейстера Джорджа. А ведь для сторожевых башен, замкового двора и темницы каждая стража должна состоять из пяти человек; выходит, что большая часть остальных вынуждена спать, не раздеваясь. Если вы отправите еще одного, караульные совсем измучатся, а это принесет вред делу. Нанимать новых солдат опасно, охрана королевы может быть поручена лишь испытанным людям. Таким образом, я вижу лишь одну возможность — придется мне самому везти ваше письмо сэру Уильяму Дугласу.

— Это действительно удачный выход! И в какой день в течение ближайших двадцати лет оно будет доставлено? — спросила леди.

— Так скоро, как движется всадник верхом на лошади, — ответил Драйфсдейл. — Ибо хотя мне и безразличны последние дни некоего вашего старого слуги, все же любопытно было бы узнать как можно скорее, принадлежит моя шея мне или веревке.

— Неужели ты так мало ценишь свою жизнь? — спросила леди Лохливен.

— А я не слишком ценю и чужую, — ответил фаталист. — Что такое смерть? Всего лишь прекращение жизни. А что такое жизнь? Однообразное чередование света и тьмы, сна и бодрствования, голода и сытости,

Мертвецу не нужны ни свечка, ни кружка, ни очаг, ни перина, а теплую куртку заменит ему ящик, сколоченный столяром на вечные времена.

— Несчастный! Разве ты не веришь в посмертное воздаяние?

— Миледи, — ответил Драйфсдейл, — поскольку вы моя госпожа, я не смею спорить с вами, но, говоря о душе, вы уподобляетесь обжигальщику кирпича в Египте, не ведающему о святом освобождении; ибо, как мне точно разъяснил один ученый человек — Николаус Шефербах, которого замучил кровавый епископ Мюнстерский, — не может согрешить тот, кто лишь осуществляет предустановленное свыше, потому что...

— Молчи! — прервала его леди Лохливен. — Воздержись от своего строптивого и дерзкого кощунства и выслушай меня. Ты давно уже служишь в нашем доме...

— Я родился слугой Дугласов. Я отдал им лучшие годы жизни, я служу у них с тех пор, как покинул Локерби; мне было тогда десять лет, к этому следует добавить еще шесть десятков лет.

— Твой нелепый замысел не удался, значит ты виновен только в покушении. Тебя бы следовало повесить на сторожевой башне, но, при твоём нынешнем образе мыслей, это означало бы отдать лишнюю душу дьяволу. Я принимаю твоё предложение, можешь отправляться. Вот мой пакет. Я добавлю сюда лишь просьбу о присылке нам нескольких верных людей для пополнения гарнизона. Пусть мой сын сам разделяется с тобой, как сочтёт нужным. Если ты не глуп, ты удерешь в Локерби, как только выберешься на сушу, и поручишь мой пакет другому посланцу; смотри только, чтобы тот доставил его по назначению.

— Нет, миледи, — возразил дворецкий, — я родился, как я уже сказал, слугой Дугласов, и в мои годы мне бы не хотелось оказаться вороном из Ноева ковчега. Письмо это будет доставлено вашему сыну, как если бы речь шла не о моей, а о чужой шее. Разрешите проститься с вашей милостью.

Леди Лохливен распорядилась переправить Драйфсдейла через озеро, и старик отправился в свое необычайное путешествие. Читателю придется сопровождать его на этом пути, которому провидение сулило быть не слишком продолжительным.

Добравшись до Кинроса, дворецкий, хотя здесь уже было известно о его опале, с помощью управителя легко раздобыл лошадь и, так как дорогу ни в коем случае нельзя было считать безопасной, присоединился к возничему Охтермахти, собираясь в его обществе добраться до Эдинбурга.

По дороге достойный фургонщик, в полном соответствии с обычаями всех возчиков, кучеров и других особ того же общественного положения, свойственных им с древнейших времен и до наших дней, никогда не затруднялся в подыскании поводов для остановок, настолько частых, как это ему представлялось необходимым, и наиболее привлекательной резиденцией для отдыха считал так называемую биржу, расположенную неподалеку от романтической ложины, известной под именем Кейри-Крейгз. Совсем иные прелести, чем те, что приводили туда Джона Охтермахти и его обоз, еще и ныне привлекают путешественников в эти романтические места, и кто хоть однажды побывал здесь, неизменно стремился продлить свое пребывание в этой местности и радовался возможности вскоре снова вернуться сюда.

Когда обоз подошел к этому излюбленному возчиком трактиру, Драйфсдейл, несмотря на весь свой авторитет (правда, уже несколько пошатнувшийся в связи со слухами о постигшей его немилости), не мог помешать Охтермахти, упрямому, как те животные, которыми он правил, сделать здесь свою обычную остановку, не ставя ее ни в какую зависимость от того, насколько незначительна была пройденная им часть пути.

Старый Келти, хозяин трактира, по имени которого назывался мост, расположенный неподалеку от его прежнего жилья, принял возничего с обычным веселым радушием и сам проводил его в дом под предлогом каких-то важных переговоров, которые, вероятно,

еостояли в совместном осушении нескольких кружек доброго эля.

В то время как хозяин и его достойный гость занялись своим делом, бывший дворецкий, выглядевший еще более суровым, чем обычно, с досады побрел на кухню, где пока что находился всего один посетитель. Незнакомец был строен станом, едва вышел из детского возраста и носил одежду паж, но в его лице и манерах сквозило столько аристократической самоуверенности и даже надменности, что Драйфсдейл принял бы его за особу самого высокого ранга, если бы опыт не подсказывал ему, что часто подобную выскомерную осанку перенимают от шотландских вельмож их слуги и латники.

— Добрый путь, старина, — сказал юноша. — Ты, кажется, прибыл из Лохливена? Какие новости о нашей доброй королеве? Никогда еще такая прекрасная голубка не жила в более мерзкой голубятне.

— Тот, кто так говорит о Лохлиvene и о тех, кто находится в его стенах, — ответил Драйфсдейл, — затрагивает честь Дугласов, а тот, кто затрагивает честь Дугласов, рискует многим.

— Вы говорите так из страха перед ними, старина, или вы готовы драться за них? Мне казалось, что возраст мог бы охладить ваш пыл.

— Ничто не охладит его, если на каждом углу встречаются щеголеватые пустомели, готовые подогреть его снова.

— Меня останавливают только твои седые волосы, — сказал юноша, уже было приподнявшись и снова садясь.

— Что ж, можешь поблагодарить их, не то я оставил бы тебя розгой, — ответил дворецкий. — Ты, по моему, один из тех головорезов, которые горланят в пивных и тавернах. Если бы слова были копьями, а клятвы — шпагами Андреа Феррары, эти молодчики вскоре бы восстановили по всей стране свою вавилонскую веру, а на престол посадили бы моавитянку.

— Ну, клянусь святым Беннетом Ситонским, — вскричал юноша, — я сейчас надаю тебе пощечин, старый сквернослов, богохульный еретик!

— Святой Беннет Ситонский! — отозвался дворецкий. — Подходящая клятва и подходящий покровитель для волчьего логова Ситонов! Я арестую тебя, как изменника королю Иакову и нашему славному регенту. Эй! Джон Охтермахти, помоги задержать изменника королю!

С этими словами он схватил юношу за шиворот и вытащил свой меч. Джон Охтермахти заглянул было в комнату, но, увидев обнаженное оружие, немедленно выбежал вон. Келти, хозяин трактира, также прибежал, но не примкнул ни к одной из сторон, а только восклицал:

— Джентльмены! Джентльмены! Ради бога!

Возникла схватка, в которой юноша, разгоряченный наглостью Драйфсдейла и не будучи в состоянии, как он рассчитывал, с легкостью вырваться из цепких рук старика, вытащил свой кинжал и с быстротой молнии нанес ему три удара в грудь, из которых даже самый слабый оказался смертельным. Старик с хриплым стоном повалился на пол, а трактирщик от удивления разразился жалобным криком.

— Тихо, визгливый пес! — прервал его раненый. — Неужели удары кинжала и умирающие стали такой редкостью в Шотландии, что стоит при этом кричать, как будто дом рушится? Молодой человек, я не прощаю тебя только потому, что мне нечего тебе прощать. Ты сделал то же, что я сам проделывал со многими. И я испытываю сейчас то же, что тогда испытывали они. Все это было предначертано свыше и не могло произойти иначе. Но если ты хочешь оказать мне последнюю услугу, доставь этот пакет в руки сэра Уильяма Дугласа. Смотри, чтобы на моей памяти не осталось пятна: люди могут подумать, что я медлил его доставить, опасаясь за свою жизнь.

Юноша, у которого гнев утих сразу же после того, как он расправился со своим противником, слушал старика с сочувствием и вниманием. Но в этот момент в комнату вошел человек, закутанный в плащ, который сразу же воскликнул:

— Боже мой! Это Драйфсдейл... Он умирает!

— Да, Драйфсдейл, — ответил раненый, — и он предпочел бы умереть, не услышав голоса единственного Дугласа, который оказался изменником. Впрочем, так даже лучше. Отойди-ка от меня, ты, мой добрый убийца, и все прочие, дайте мне поговорить с этим несчастным отступником. Наклонись ко мне, мейстер Джордж, ты ведь слышал, что я неудачно пытался устранить этот моавитянский камень преткновения вместе со всем его окружением. Я считал, что таким образом мне удастся убрать соблазн с твоего пути, и хотя твоей бабушке и другим я приводил иные мотивы, но сделал я это главным образом из любви к тебе.

— Из любви ко мне, презренный отравитель! — возмутился Дуглас. — Ты хотел совершить такое страшное, ничем не оправданное злодеяние и связать его с моим именем?

— А почему бы и не так, Джордж Дуглас? — ответил Драйфсдейл. — Мне не хватает дыхания, но, чтобы оправдаться в этом, я готов потратить свои последние минуты. Разве ты, презрев сыновний долг, преданность своей вере и верность королю, не был настолько околдован прелестями этой чаровницы, что пытался помочь ей бежать из заточения и проявил готовность своей рукой снова утвердить ее на престоле, который она превратила в средоточие мерзости? Нет, не уходи от меня. Моя рука почти онемела, но в ней хватит еще силы удержать тебя на месте. Какую цель ты преследовал? Жениться на этой шотландской ведьме? Я уверен, что ты достиг бы своей цели, — ее рука и сердце часто добывались и менее дорогой ценой, чем та, которую ты по своей глупости счастлив был бы предложить. Но разве слуга твоего дома мог равнодушно смотреть, как ты движешься навстречу участи этого безрассудного Дарнлея или подлого Босуэла — участи убитого дурака или живого разбойника, в то время как унция яда способна была тебя спасти?

— Подумай о боге, Драйфсдейл, — сказал Джордж Дуглас, — и оставь эти чудовищные речи. Покайся, если можешь, а если не можешь, уж помолчал бы.

Помоги мне, Ситон, поддержать этого несчастного, чтобы он, если это возможно, успокоился и подумал о спасении души.

— Ситон! — воскликнул умирающий. — Значит, я сражен рукой Ситона! В этом есть какая-то справедливость, поскольку ваша семья чуть не потеряла свою дочь по моей вине. — Не сводя слабеющего взора с лица юноши, он добавил: — У него те же черты лица, та же внешность! Нагнись, молодой человек, дай-ка мне поближе посмотреть на тебя. Я хочу узнать тебя, когда мы встретимся на том свете, ибо убийц там поддержат вместе, а я тоже один из них.

Не обращая внимания на сопротивление юноши, он совсем близко притянул к себе лицо Ситона, пристально посмотрел на него и сказал:

— Совсем молодым ты начал свое поприще; тем раньше оно оборвется. Да ты сам увидишь это, и очень скоро. Никогда не примется молодое растение, если обрызгать его кровью старика. Но зачем это я браню тебя? Какой странный поворот судьбы, — пробормотал он, уже не обращаясь к Ситону. — Я задумал то, чего не смог совершить, а он совершил то, о чем, вероятно, и не помышлял. Как странно, что наши желания всегда противоречат могучему и непреодолимому течению событий, что мы постоянно боремся с силой потока, в то время когда имеем возможность просто плыть по течению. Мой разум отказывается дольше судить об этом. Хорошо, если бы здесь присутствовал сейчас Шефербах... Впрочем, зачем? Я теперь иду туда, где челнок движется без участия гребцов. Прощай, Джордж Дуглас. Я умираю верным слугой дома твоего отца.

Тут он забился в конвульсиях и вскоре скончался.

Ситон и Дуглас смотрели на умирающего, и, когда все кончилось, юноша первым прервал молчание:

— Клянусь жизнью, Дуглас, я этого не хотел, и мне очень жаль, что так вышло. Но он схватил меня, и для защиты своей свободы я вынужден был прибегнуть к кинжалу. Даже если бы он был десять раз твоим другом и слугой, я мог бы только сказать, что мне очень жаль его.

— Я тебя не виню, Ситон, — сказал Дуглас, — хотя я и оплакиваю его участь. Над всеми нами господствует рок, хотя и не в том смысле, в котором его представлял себе этот бедняга, сбитый с толку каким-то чужеземным мистиком, который использовал это страшное слово для оправдания любого своего поступка. Нам следует вскрыть пакет.

Они ушли во внутреннюю комнату и долго совещались, пока их не потревожил там Келти, который сконфуженно спросил, каковы будут распоряжения мейстера Джорджа Дугласа относительно тела.

— Вашей милости известно, — добавил он, — что я зарабатываю себе на хлеб, имея дело с живыми людьми, а не с трупами. А старый мистер Драйфсдейл, который и при жизни-то был не слишком щедрым клиентом, сейчас занимает мою главную залу, хотя сам он скончался и уже никогда не закажет ни пива, ни бренди.

— Привяжи ему камень на шею, — сказал Ситон, — и, когда солнце зайдет, отнеси его в Лох-оф-Ор и брось в воду, а дно он уже сам разыщет.

— С вашего разрешения, сэр, — сказал Джордж Дуглас, — все это будет не так. Ты, Келти, всегда был мне верен, и за это ты получишь награду. Отправь с кем-нибудь или отнеси сам тело либо в часовню у Шотландской Стены, либо в церковь Болингри и наплети там что хочешь о том, как он был убит в стычке с каким-нибудь из твоих непутевых гостей. Охтермахти ничего, кроме этого, не знает, а время сейчас такое, что никто не станет слишком уж тщательно расследовать это дело.

— Пусть он расскажет правду, — вмешался Ситон. — Это ведь не повредит нашим планам. Скажи, старина, что с ним дрался Генри Ситон, а кровная месть, по мне, не стоит и ломаного гроша.

— Кровная месть Дугласов всегда опасна, — сказал Джордж; на этот раз в его от природы суровом, торжественном тоне явно чувствовалось недовольство.

— Только не тогда, когда славнейший из этого рода на моей стороне, — возразил Ситон.

— Увы, Генри! Если ты имеешь в виду меня, то я только наполовину Дуглас в этом деле — полголовы, полсердца и полруки. Но я думаю о том, кто никогда не будет забыт и кто сделал столько же или даже больше, чем все мои предки вместе взятые. Келти, скажи, что это сделал Генри Ситон, но не говори ни слова обо мне! Пусть Охтермахти отвезет этот пакет моему отцу в Эдинбург, — сказал он, протягивая трактирщику пакет, вновь скрепленный печатью Дугласов. — А вот это тебе на похоронные издержки и за убытки в торговле.

— А также за мытье пола, — вставил трактирщик, — это ведь нелегкий труд; кровь, говорят, никогда полностью не удается смыть.

— Что же касается вашего плана, — сказал Джордж Дуглас Ситону, как бы продолжая предыдущий разговор, — то задуман он неплохо; но вы сами, с вашего позволения, слишком молоды и слишком вспыльчивы, не говоря уже о других многочисленных соображениях, препятствующих вам сыграть эту роль.

— Об этом мы посоветуемся с настоятелем монастыря, — сказал юноша. — Вы приедете сегодня вечером в Кинрос?

— Да, собираюсь, — ответил Дуглас, — ночь будет темной, подходящей для того, кто прячется. Келти, я забыл тебе сказать, что на могилу этого человека нужно поставить камень с его именем и написать про его единственную заслугу — он был верным слугой Дугласов.

— Какую религию он исповедовал? — спросил Ситон. — Он тут произносил такие речи, что я подумал, не слишком ли рано я отправил к дьяволу его будущего подданного.

— Я не много могу сообщить вам об этом. Замечали, что он не был доволен ни Римом, ни Женевой и все твердил о свете истины, который открылся ему, когда он жил среди надменных сектантов Нижней Германии. Если судить по последствиям, это очень вредная доктрина. Да хранит нас господь от преждевременного суждения о таинствах неба.

— Аминь! — заключил юный Ситон. — И избави нас бог от непредвиденных встреч на сегодняшний вечер.

— Не в твоих привычках молить об этом бога, — заметил Дуглас.

— Нет! Я предоставляю это вам, — возразил юноша, — если вас одолевают угрызения совести после схватки с вассалами вашего отца. Но я бы предпочел смыть со своих рук кровь этого старика, прежде чем проливать кровь других людей. Сегодня вечером я исповедуюсь перед аббатом, и вряд ли он наложит на меня слишком тяжелую епитимью за то, что я очистил землю от подобного еретика. Все же жаль, что он не был помоложе лет на двадцать. Единственное утешение, что он первый обнажил клинок.

Глава XXXIV

Ты с лестницей веревочной явился,
Ты захватил и маску и фонарь, —
Ах, Педро! Можно подкупить лакея,
К дуэнье старой ловко подольститься,
Но здесь грифоном стал родной отец
И, недоступный сну, коварству, лести,
Хранит сокровище девичьей чести.

«Испанский монах»

Ход нашей истории приводит нас вновь в замок Лохливен, где цепь описываемых событий оборвалась в тот примечательный день, когда уехал Драйфсдейл. Прошел полдень, наступил обеденный час, но в покоях королевы не было заметно никаких приготовлений к обеду. Сама Мария уединилась в своей спальне и что-то усердно писала. Ее приближенные собрались в гостиной и оживленно спорили о том, почему задерживается обед; ибо не мешает напомнить, что в этот день они были лишены еще и завтрака.

— Я готов предположить, — сказал паж, — что, после того как из-за неудачного выбора поставщика

яда не удалась попытка отравить нас, они, по-видимому, решили уморить нас голодом.

Леди Флеминг была весьма встревожена подобной перспективой, и ее утешило только то, что кухонная труба дымилась целый день, а это явно противоречило пессимистическому предположению паж. Внезапно Кэтрин Ситон воскликнула:

— Через двор несут обед; впереди шагает сама леди Лохливен в своих самых высоких и туго накрахмаленных брыжах, в платье с рукавами из кипорной ткани и огромными старомодными фижмами из малинового бархата.

— Я готов ручаться, — сказал паж, который также подошел к окну, — что в этих самых фижмах она пленила сердце доброго короля Джеми, благодаря чему осчастливила нашу бедную королеву ее драгоценным братцем.

— Это маловероятно, мейстер Роланд, — ответила леди Флеминг, которая была большим знатоком всех изменений моды. — Фижмы стали носить впервые, когда королева-правительница удалилась в Сент-Эндрюс после битвы при Пинки; тогда они назывались *vertugardins*.

Она бы и дальше развивала свои суждения об этих весьма важных предметах, если бы ее не прервало появление слуг с подносами; во главе процессии шла леди Лохливен, решившая отныне лично пробовать каждое блюдо, подаваемое к столу королевы. Леди Флеминг вежливо посочувствовала хозяйке замка, которой приходилось нести столь обременительную обязанность.

— После того, что произошло нынче утром, миледи, — сказала леди Лохливен, — моя собственная честь и честь моего сына настоятельно требуют, чтобы я сама предварительно отвеживала той пищи, которую будет есть моя невольная гостья. Пожалуй-ста, известите леди Марию, что я жду ее распоряжений.

— Ее величество, — ответила леди Флеминг, подчеркнув королевский титул, — будет поставлена в известность о том, что леди Лохливен ожидает ее.

Мария Стюарт немедленно вышла и обратилась к хозяйке замка любезным тоном, который граничил с подлинной сердечностью:

— Вы поступаете очень благородно, леди Лохливен, — сказала она. — И хотя мы сами не страшимся никакой опасности, будучи под вашим кровом, наши дамы были очень встревожены утренним событием. Теперь наш обед будет более приятным благодаря вашему присутствию, внушающему им уверенность в собственной безопасности. Прошу вас, садитесь.

Леди Лохливен последовала приглашению королевы, а Роланд по обыкновению резал мясо и прислуживал за столом. Однако, вопреки сказанному королевой, обед проходил тихо и безмолвно; любая попытка Марии Стюарт завязать общий разговор замерзала от холодной важности ответов леди Лохливен. В конце концов получилось так, что королева, которая гордилась своим умением вести любезную беседу и считала, что в данном случае она идет на уступки своей гостье, почувствовала себя оскорбленной необщительностью леди Лохливен. Обменявшись многозначительными взглядами с леди Флеминг и Кэтрин, она слегка пожала плечами и больше не прерывала молчания. После продолжительной паузы леди Дуглас сказала:

— Я замечая, ваше величество, что нарушаю веселье вашего почтенного круга. Прошу извинить меня, но я вдова, одиноко несущая бремя своего опасного положения; преданная моим собственным внуком, обманутая слугой, вряд ли я была достойна вашего милостивого приглашения отобедать с вами за одним столом, где от гостей, по-видимому, ждут остроумия и умения развлечь общество.

— Если леди Лохливен говорит серьезно, — сказала королева, — нам странно, что она так просто душно считает наши нынешние обеды достаточно веселыми. Хоть она и вдова, но она живет, окруженная почетом, на свободе, возглавляя дом своего покойного мужа. Мне же известна в этом мире по крайней мере одна овдовевшая женщина, при которой никогда не следовало бы упоминать об изменах и предательстве,

ибо никто лучше ее не ознакомился с горьким смыслом этих слов.

— Я не собиралась, миледи, напоминать вам о ваших несчастьях, когда перечисляла свои, — ответила леди Лохливең, и за столом снова воцарилось молчание.

Наконец Мария Стюарт обратилась к леди Флеминг:

— Мы здесь не в состоянии серьезно согрешить, та воппе,¹ слишком уж строго нас охраняют для этого, но если бы мы действительно согрешили, можно было бы рассматривать это картезианское молчание как один из видов епитимьи. Если ты, моя милая Флеминг, плохо укрепила мою накидку, или если Кэтрин сделала кривой стежок в своей вышивке, думая о чем-то, не относящемся к ее рукоделию, или если Роланд Грейм промахнулся, стреляя по дикой утке, и разбил стекло в стрельчатом башенном окне, как это случилось с ним на прошлой неделе, теперь как раз время всем вам поразмыслить о своих грехах и покаяться в них.

— При всем моем уважении к вам, миледи, — сказала леди Лохливең, — разрешите мне, старухе, воспользоваться привилегией моего возраста и заметить, что ваши приближенные могли бы покаяться и в чем-нибудь более серьезном, чем в тех безделицах, о которых вы упомянули, и притом упомянули в таком тоне — я еще раз прошу извинить меня, — как будто вы не относитесь серьезно ни к греху, ни к покаянию.

— Вы стали теперь нашим стольником, леди Лохливең, — сказала королева, — но кроме этого вы хотите совместить ваши функции с обязанностями нашего духовника. А между тем, если уж говорить серьезно, то разрешите вас спросить, в частности, о духовнике. Почему до сих пор не выполнено обещание регента, как именует себя ваш сын? Время от времени оно возобновляется, но затем его неизменно снова нарушают. По-моему, тот, кто так много говорит о своей собственной серьезности и святости,

¹ Моя милая (франц.).

не должен лишать других религиозной поддержки, в которой они крайне нуждаются.

— Миледи, граф Мерри действительно проявил слабость, — сказала леди Лохливен, — уступив вашему несчастному предрассудку, и присланный им папистский священник прибыл в селение Кинрос. Но Дуглас — хозяин у себя в замке, и он никогда не допустит, чтобы его порог хотя бы на миг переступил эmissар римского епископа.

— Но в таком случае, — сказала Мария Стюарт, — лорд регент мог бы отправить меня туда, где было бы меньше щепетильности и больше человечности.

— Тут, миледи, — возразила леди Лохливен, — вы неправильно понимаете и человечность и религию. Человечность дает больному лекарства, которые восстанавливают его здоровье, но она отказывает ему в соблазнительных деликатесах и напитках, которые приятны на вкус, но усиливают его болезнь.

— Эта ваша человечность, леди Лохливен, просто жестокость под маской лицемерной дружеской заботы. Меня здесь у вас притесняют, как будто собираясь разрушить и тело мое и душу. Но бог не допустит, чтобы вечно длилась подобная несправедливость, и те, кто принимает в ней самое активное участие, скоро получат свое возмездие.

В этот момент в покои королевы вошел Рэндл, с таким встревоженным видом, что леди Флеминг слегка вскрикнула, королева заметно вздрогнула, а леди Лохливен, слишком твердая и гордая, чтобы обнаружить свой испуг, торопливо спросила его, что произошло.

— Убили Драйфсдейла, миледи, — услышала она в ответ. — Он был убит, едва ступив на сушу, мейстером Генри Ситоном.

Теперь уже Кэтрин вздрогнула и побледнела.

— Убийце вассала Дугласа удалось ускользнуть? — быстро спросила леди Лохливен.

— Его некому было задержать, кроме старого Келти да возничего Охтермахти, — ответил Рэндл. — Слишком неравны силы, чтобы противостоять одному из отчаяннейших головорезов, не знающих себе рав-

ных среди ровесников во всей Шотландии, да еще, вероятно, имевшему неподалеку друзей и единомышленников.

— Он был убит наповал? — спросила леди Лохливен.

— Наповал, и притом по всем правилам, — ответил Рэндл. — Ситон редко наносит удар дважды. Однако тело не подверглось ограблению, и пакет вашей милости продолжает свой путь в Эдинбург вместе с Охтермахти, который выедет из Келти-бридж завтра утром. Возчик осушил две бутылки водки, чтобы изгнать страх из головы, а теперь отсыпается подле своей упряжки.

После этого рокового известия наступило молчание. Королева и леди Дуглас обменялись взглядами, как будто каждая из них обдумывала, как бы лучше использовать этот эпизод в споре, который все еще не был завершен. Кэтрин Ситон поднесла платок к глазам и заплакала.

— Вот видите, миледи, к чему приводят кровавые догматы и дела фанатичных папистов, — сказала леди Лохливен.

— Нет, миледи, — возразила королева, — скажите лучше: видите ли вы, как заслуженно покарало небо кальвиниста-отравителя.

— Драйфсдейл не принадлежал ни к женевской, ни к шотландской церкви, — быстро ответила леди Лохливен.

— Все равно, он был еретиком, — настаивала Мария Стюарт. — Есть лишь один истинный и неуклонный путь; все прочие одинаково ведут к заблуждению.

— Прекрасно, миледи; это происшествие, надеюсь, примирит вас с вашим убежищем. Оно показывает, каковы нравы у тех, кто стремится вернуть вам свободу. Все они кровожадные тираны и жестокие мучители, начиная от клана Роналдов и Тоусехов на севере до Фернихерстов и Боклю на юге, от убийц Ситонов на востоке и до...

— Миледи, кажется, забывает, что я из рода Ситонов? — сказала Кэтрин, отнимая платок от лица, которое теперь пылало возмущением.

— Если я и забыла это, любезная мисс, ваше дерзкое замечание напомнило мне об этом, — ответила леди Лохливен.

— Если мой брат убил негодяя, который пытался отравить государыню и его сестру, — возразила Кэтрин, — я могу только пожалеть, что он освободил от этой работы палача. Что же касается прочего, то лучший из Дугласов не был бы унижен, будучи сражен шпагой Ситона.

— Прощайте, прекрасная мисс, — сказала леди Лохливен, поднимаясь чтобы уйти. — Такие девушки, как вы, способствуют появлению легкомысленных бражников и заядлых буянов. Все эти юноши хотят возвысить себя в глазах какой-нибудь шустрой девицы, мечтающей проплясать всю свою жизнь, как французский гуляка. — Затем она сделала реверанс королеве и добавила:

— Прощайте и вы, миледи, до вечернего колокола, когда мне, вероятно, придется, собрав всю свою решимость и невзирая на ваше недостаточное радушие, принять участие в вашем ужине. Пойдем, Рэндл, ты расскажешь мне подробнее об этом ужасном собитии.

— Какой необычайный случай, — сказала королева, когда леди Лохливен вышла. — Однако и такому негодяю следовало бы дать время покаяться в грехах. Мы сделаем что-нибудь для успокоения его души, если нам удастся выбраться на свободу, и церковь окажет милосердие этому еретику. Но скажи, Кэтрин, *mon pignon*, этот твой брат, которого слуга называет головорезом, все так же поразительно похож на тебя?

— Если ваше величество имеет в виду характер, то вам лучше судить, головорез ли я, как называет моего брата Рэндл.

— Что ж, ты действительно не лишена озорства, — ответила королева, — и все-таки ты остаешься моей любимицей. Но я спрашиваю о твоём брате-близнеце, по-прежнему ли он схож с тобой лицом и фигурой? Я припоминаю, твоя мать из-за этого хотела даже отдать тебя в монастырь. Она считала, что если вы

оба будете жить среди мирян, тебе станут приписывать безумные выходки твоего брата.

— Я думаю, ваше величество, — ответила Кэтрин, — что и сейчас еще есть простак, которые не могут отличить нас друг от друга, в особенности, когда мой брат для развлечения переодевается в женский наряд. — При этих словах она бросила быстрый взгляд на Роланда Грейма, которого словно озарил луч истины, столь же желанный, как для узника свет свободы из распахнувшейся двери тюрьмы.

— Твой брат, должно быть, очаровательный кавалер, если он похож на тебя, — сказала королева. — В эти последние годы он был, вероятно, во Франции, ибо я его не видела в Холируде.

— Его никто не считал безобразным, — ответила Кэтрин. — Но мне бы хотелось, чтобы в нем было меньше вспыльчивости и гнева, которые в наше коварное время так портят золотую молодежь. Одному богу известно, мне не жаль, что он рискует жизнью ради вас, и я люблю его за ту готовность, с которой он борется во имя вашего освобождения. Но зачем ему было ввязываться в стычку с этим старым негодяем слугой и запятнать свое имя подобной ссорой, а свои руки — кровью старика простолюдина?

— Ну успокойся, Кэтрин, не возводи напраслины на моего храброго юного рыцаря. С таким рыцарем, как Генри, и таким верным оруженосцем, как Роланд Грейм, я буду похожа на принцессу из старинного романа, которая может не обращать внимания на темницы и на всяческие происки злых волшебников. Однако у меня разболелась голова от тревожений этого дня. Принеси мне «*La Mer des Histoires*»¹ и найди то место, где мы остановились в среду. Да хранит пресвятая дева твою головку, милая, или да хранит она лучше твое сердце. Я ведь просила «Море историй», а ты принесла «Хронику любви».

Поплыв по «Морю историй», королева продолжала вышивать, а леди Флеминг и Кэтрин попеременно читали ей на протяжении двух часов.

¹ «Море историй» (франц.).

Что касается Роланда Грейма, то он, вероятно, продолжал питать тайные надежды насчет «Хроники любви», невзирая на то, что королева как будто наложила запрет на этот вид занятий. Сейчас он припомнил тысячи оттенков в голосе и поведении Кэтрин Ситон, которые, если бы не его предубеждение, легко могли бы помочь ему отличить брата от сестры; и ему стало неловко, что, при всей ее живости и озорстве, он, так хорошо изучивший особенности ее разговора, жестов и манер, все же счел ее способной принять ту смелую походку, громкий голос и самоуверенную осанку, которые могли быть присущи только ее энергичному и мужественному брату. Он пытался встретиться с ней глазами, чтобы понять, как она относится к нему теперь, после того как секрет был раскрыт, но он не добился успеха, ибо Кэтрин, даже когда она сама не читала, казалось, была так захвачена подвигами тевтонских рыцарей, сражавшихся с эстонскими и ливонскими язычниками, что пажу не удавалось даже на мгновение перехватить ее взгляд. Зато когда чтение было окончено и королева приказала фрейлинам отправляться в сад, она, вероятно, намеренно (ибо стремление Роланда не могло ускользнуть от столь проницательного наблюдателя) предоставила ему удобный случай поговорить со своей возлюбленной. Королева велела им идти на некотором расстоянии, ибо ей якобы необходимо было поговорить с леди Флеминг по частному, интимному вопросу, предметом которого, как нам удалось узнать из других источников, были сравнительные достоинства высоких стоячих брыжей перед спускающимися лентами.

Роланд был бы уж слишком неловким и застенчивым поклонником, если бы не сумел воспользоваться предоставлявшейся ему возможностью.

— Весь этот вечер мне хотелось спросить вас, прекрасная Кэтрин, — сказал паж, — насколько глупым и ненаблюдательным вы должны были считать меня, если я способен был перепутать вас с вашим братом?

— Конечно, это делает мало чести моим простым манерам, — ответила Кэтрин, — если оказалось воз-

можным приписать мне поведение буйного юноши. Но со временем я, несомненно, остепенюсь, и, в чаянии этого, я уже сейчас предпочитаю не столько думать о ваших глупостях, сколько попытаться исправить свои собственные.

— Вторых явно меньше, чем первых, — сказал Роланд.

— Не знаю, — очень серьезно ответила Кэтрин, — по-моему, мы оба были непростительно глупы.

— Я действительно был безумен, непростительно безумен! — воскликнул Роланд. — Но вы, любезная Кэтрин...

— Я, — перебила его Кэтрин тем же необычным для нее серьезным тоном, — слишком долго разрешала вам обращаться ко мне подобным образом... Боюсь, что больше я не должна вам этого разрешать, и я виню себя за ту боль, которую это, быть может, причинит вам.

— Но что могло оказать столь роковое влияние на наши взаимные чувства? Что заставляет вас с такой неожиданной жестокостью изменить ваше отношение ко мне?

— Вряд ли я смогла бы ответить вам на это, — сказала Кэтрин. — Просто события нынешнего дня внушили мне, что для нас обоих лучше держаться по-дальше друг от друга. Такая же случайность, которая выдала вам существование моего брата, легко могла бы осведомить его о том, как вы со мной обычно разговариваете, и тогда... О!.. Зная его нрав, зная о случившемся сегодня, не приходится сомневаться в последствиях.

— О, не бойтесь этого, милая Кэтрин, — ответил паж. — Я вполне могу защитить себя от подобной опасности.

— Иными словами, — возразила она, — вы будете драться против моего брата, доказывая этим свое расположение к его сестре. Я однажды слышала, как королева в минуту грусти сказала, что мужчины в своей любви или ненависти — самые эгоистичные животные; и ваша беспечность в таком случае прямо

подтверждает это. Но не смущайтесь — вы поступаете не хуже, чем другие.

— Вы несправедливы ко мне, Кэтрин, — возразил паж. — Я подумал только о шпаге, которая мне угрожала, и забыл о том, в чью руку вложило ее ваше воображение. Если против меня обнажит оружие ваш брат, столь схожий с вами голосом, лицом и обаянием, пусть он выпустит из меня всю кровь до последней капли, я не стану обороняться и не причиню ему вреда.

— Увы! — воскликнула она. — Дело не только в моем брате. Вы думаете лишь о необычной ситуации, где мы с вами оказались равны и, я бы сказала, даже близки. Но вы не думаете, что, как только я вернусь в дом моего отца, между нами разверзнется пропасть, которую вам не преодолеть, даже рискуя жизнью. У вашей единственной родственницы дикий и необычайный нрав, она принадлежит к враждебному и разбитому клану,¹ а другие ваши родственники вовсе неизвестны; извините меня, что я высказала вам эту неопровержимую истину.

— Любовь, моя очаровательная Кэтрин, не считается с родословной, — ответил Роланд Грейм.

— Зато лорд Ситон весьма считается с ней, — возразила девушка.

— Королева, ваша и моя госпожа, поможет нам в этом. О, не отталкивайте меня в такую минуту, которую я считал счастливейшей в жизни! Разве вы сами не говорили мне, что и вы и она будете считать себя в долгу передо мной, если я буду способствовать ее освобождению?

— Вся Шотландия будет считать себя в долгу перед вами, — сказала Кэтрин. — Но что касается плодов нашей благодарности, то вы должны помнить, что я во всем подчиняюсь своему отцу; а бедная королева еще долгое время будет, вероятно, зависеть от настроя своих сторонников пэров, пока получит полную власть над ними.

¹ Разбитым кланом назывался такой, у которого не было вождя, способного обеспечить его безопасность — клан отверженцев; и клан Греймов со Спорной земли как раз и находился в подобном положении. (Прим. автора)

— Пусть так! — воскликнул Роланд. — Мои дела победят предрассудки, и в этом суетном мире я буду бороться за свое счастье. Рыцарь Эвенел, который так высоко вознесен ныне, столь же скромного происхождения, что и я.

— О, так говорили доблестные рыцари из старинных романов, когда готовились проложить путь к пленной принцессе, невзирая на врагов и огнедышащих драконов.

— Но если я действительно освобожу принцессу и она сможет свободно выбирать, — сказал паж, — на кого, дорогая Кэтрин, падет ее выбор?

— Освободите принцессу из неволи, и она сама скажет вам, — ответила девушка, оборвав разговор, и присоединилась к королеве настолько стремительно, что Мария Стюарт вскрикнула вполголоса:

— Надеюсь, нет плохих новостей? Не произошло раскола в моей небольшой свите? — И затем, глядя на разгоревшиеся щеки Кэтрин и на Роланда с ясным лицом и сверкающими глазами, она сказала:

— Нет, нет! Я вижу, все идет хорошо. Ma petite mignonne,¹ пойдй в мою комнату и принеси мне... погоди-ка... да, принеси мне коробочку с духами.

Отослав под этим предлогом свою фрейлину, чтобы, таким образом, дать ей возможность скрыть свое смущение, королева сказала Роланду:

— По крайней мере теперь у меня будет двое благодарных мне подданных — Кэтрин и вы; ибо какой монарх, кроме Марии, так охотно помог бы искренней любви? Ага, вы кладете руку на шпагу, эту вашу petite flamberge à rien,² прекрасно, время вскоре покажет, насколько правдивы те заверения, которые сейчас у вас на устах. Однако я слышу, в Кинросе звонит вечерний колокол. Вернемся в наши покои. Эта старуха обещала быть здесь сегодня еще и за ужином. Если бы не надежда на скорое освобождение, ее присутствие довело бы меня до безумия. Но я буду терпелива.

¹ Моя милая малютка (франц.).

² Ничтожную шпажонку (франц.).

— Сознаюсь, — сказала вернувшаяся в эту минуту Кэтрин, — мне хотелось бы хоть на мгновение стать Генри, используя преимущества мужского пола. О как мне хочется швырнуть тарелку в это средоточие надменности, чопорности и злобы!

Леди Флеминг упрекнула свою юную приятельницу за ее несдержанность; королева рассмеялась, и все отправились в гостиную. Почти тотчас же туда был доставлен ужин, и вслед за ним появилась хозяйка замка. Королева, укрепившись в своем благоразумном решении, выносила ее присутствие с большой выдержкой и хладнокровием, пока ее терпение не подверглось новому испытанию, до сих пор еще не входившему в церемониал замка. Когда другие слуги удалились, вошел Рэндл со связкой ключей и, объявив, что охрана расставлена, а ворота заперты, почтительно вручил ключи леди Лохливен.

Королева и ее дамы обменялись взглядами, в которых сквозили разочарование, гнев и досада; Мария Стюарт сказала, не утешив:

— Теперь нам нельзя жаловаться на скромные размеры нашей свиты, если наша хозяйка у нас на глазах принимает на себя столько должностей. В добавление к обязанностям главного дворецкого этого дома и лорда — раздатчика милостыни, сегодня она еще и начальник нашей охраны.

— Не только сегодня, но и в будущем, миледи, — совершенно серьезно ответила леди Лохливен. — История Шотландии учит меня тому, как плохо выполняются обязанности, передоверенные другому лицу. Мы слышали, миледи, о фаворитах недалекого прошлого, и притом столь недостойных, как Оливер Синклер.¹

— О, миледи, — ответила королева, — у моего отца бывали не только фавориты, но и фаворитки — леди Сэндилендс и Олифант,² а также и некоторые другие, насколько мне помнится; впрочем, их имена

¹ Фаворит Иакова V и, как уверяют, недостойный. (Прим. автора.)

² Имена этих дам и третьей легкомысленной фаворитки Иакова сохранились в эпиграмме слишком непристойной, чтобы ее цитировать. (Прим. автора.)

не могли сохраниться в памяти такой серьезной особы, как вы.

Леди Лохливен, казалось, готова была убить королеву на месте, но, овладев собой, она молча вышла из покоев, взяв с собой внушительную связку ключей.

— Слава богу, что эта женщина согрешила в юности, — сказала королева. — Не будь у нее этого уязвимого места, ее бы ничем не прошибить. Но в это пятно, вопреки тому, что говорят об отметинах ведьмы, я могу наносить ей чувствительные удары, как она ни защищена во всех других отношениях. Однако что вы скажете, мои милые, о нашем новом затруднении? Как теперь добыть эти ключи? Боюсь, что этого дракона не обманешь и не подкупишь ничем.

— Нельзя ли узнать, — спросил Роланд Грейм, — если ваше величество окажется за стенами замка, найдутся ли у вас средства переправы и убежище на противоположном берегу?

— Можете не сомневаться, Роланд, — сказала королева. — В этом отношении наш план безупречен.

— Тогда, с позволения вашего величества, я, пожалуй, мог бы оказаться полезным.

— Но как, мой милый юноша? Говорите, не бойтесь, — сказала королева.

— Мой патрон, рыцарь Эвенел, обычно заставлял юношей, находившихся у него на службе, обучаться искусству владеть топором и молотом, уметь обрабатывать железо и дерево. Он любил вспоминать о старых северных бойцах, которые сами ковали свое оружие, и о вожде Доналде Нан Орде из Хайленда, или Доналде с Молотом, которого он знал лично и который обычно работал у наковальни с кузнечным молотом в каждой руке. Некоторые считали, что он расхваливал это искусство лишь потому, что в его собственных жилах текла кровь простолюдина. Так или иначе, я приобрел в этом деле кое-какой навык, как это отчасти известно леди Кэтрин Ситон, которой я недавно выковал серебряную брошь,

— Да, — ответила Кэтрин, — но вам следовало бы рассказать ее величеству, сколь ненадежной была ваша работа: ведь брошь сломалась на следующий же день, и мне пришлось ее выбросить.

— Не верьте ей, Роланд! — воскликнула королева. — Она расплакалась над сломанной брошью, и спрятала обломки у себя на груди. Но вернемся к вашему плану: достаточно ли вы искусны, чтобы изготовить вторую связку ключей?

— Нет, миледи, у меня ведь нет под рукой образца или слепка с них. Но я наверняка смог бы изготовить другие ключи, внешне настолько сходные с теми, которые находятся в руках у леди Лохливен, что, если бы удалось каким-нибудь образом заменить связку, ей и в голову бы не пришло, что она унесла не те ключи.

— Слава богу, что у этой доброй женщины слабое зрение, — сказала королева. — Но как быть с инструментами, и сможешь ли ты работать тайно от нашей хозяйки?

— Мастерская оружейника, в которой я обычно работал с ним вместе, находится в нижнем ярусе башни. Сейчас он смещен вместе с часовыми, заподозренными в излишней приверженности к Джорджу Дугласу. Люди привыкли видеть меня там; и я наверняка сумею под каким-нибудь предлогом пустить в ход кузнечный мех и использовать наковальню.

— Пожалуй, этот план сулит успех, — согласилась королева. — За дело, мой мальчик, поторопись и смотри, чтобы никто не раскрыл твою тайну.

— О, я постараюсь держать дверь на засове; тогда, если забредут нежданные посетители, у меня хватит времени припрягать мою работу, перед тем как я отворю дверь.

— Но на таком бойком месте уже это одно может навлечь на вас подозрения, — вмешалась Кэтрин.

— Ничуть, — возразил Роланд. — Оружейник Грегори, как и всякий искусный мастер, всегда запирался от посторонних взоров, когда работал над каким-нибудь особо тонким изделием. Во всяком случае, игра стоит свеч.

— А сейчас пойдемте-ка спать, и да благословит вас господь, мои дети! Если Марии Стюарт удастся когда-нибудь вынырнуть из пучины и возвыситься, вы оба возвыситесь вместе с ней.

Глава XXXV

Не праздник, а смертельная опасность
Грядет, коль маску надевает клирик

«Испанский монах»

Затея Роланда удалась на славу. Из серебра, полученного от королевы, было изготовлено несколько безделушек, работа над которыми не мешала его основному делу. Он расчетливо дарил эти вещички тем, кто проявлял особую любознательность по поводу мастерской и наковальни. Теперь и эти люди стали считать его занятия вполне невинными и даже полезными для окружающих. Всем было очевидно, что паж просто развлекается, выделявая из серебра безобидные сувениры. А между тем он тайком изготовил целую связку ключей, по форме и по весу до того похожих на ключи леди Лохливен, что при беглом взгляде трудно было отличить одну связку от другой. С помощью соли и воды ему удалось придать ключам темную, ржавую окраску, и тогда, гордый своим искусством, он наконец принес их королеве Марии в гостиную за час до вечернего колокола. Она осмотрела их с удовлетворением и в то же время с сомнением.

— Допустим, — сказала она, — что, подменив этой связкой подлинные орудия заточения, мы могли бы обмануть леди Лохливен, зрение которой не отличается особой остротой, но как это осуществить и кто из моей немногочисленной свиты сумеет с какими-либо шансами на успех проделать подобного рода *tour de jongleur*?¹ Если бы нам удалось вовлечь ее

¹ Фокус, требующий большой ловкости рук (*франц.*).

в интересный спор... Но тот, который я обычно начинаю с ней, заставляет ее только поскорей схватить ключи, как будто говоря этим: вот что ставит меня выше всех ваших насмешек и упреков! А до любезного разговора с этой надменной еретичкой Мария Стюарт не унижится даже во имя свободы. Что же нам делать? Может быть, леди Флеминг испытает свое красноречие, описывая ей парижские головные уборы последней моды? Увы! Наша добрая хозяйка, насколько мне известно, не меняла фасона своей накидки со времен битвы при Пинки. Может быть, моя маленькая Кэтрин споет ей одну из своих удивительных песенок, которые до глубины души трогают меня и Роланда Грейма? Увы! Госпожа Маргарет Дуглас предпочитает этим песням гугенотский псалом Клемана Маро, исполняемый на мотив «Réveillez-vous, belle endormie». ¹ Друзья и советники, скажите, что же нам делать, ибо наша изобретательность полностью истощилась. Может быть, нашему защитнику и телохранителю Роланду Грейму следует мужественно напасть на старую леди и отобрать у нее ключи *par voie du fait*? ²

— О, с позволения вашего величества, — заметил Роланд, — я полагаю, что это можно будет сделать более осторожно; хотя, выполняя поручение моей государыни, я не побоялся бы...

— Целой толпы старух, — прервала его Кэтрин, — вооруженных прялками и веретенами; ему только не по душе копыя и алебарды, которые набегут сюда, когда поднимется крик: «На помощь! За Дугласа! За Дугласа!»

— Тот, кто не боится злого языка красотки, тому уже никто не страшен, — заметил паж. — Но я почти уверен, ваше величество, что мне удастся подменить ключи леди Лохливен; я опасаюсь только часового, которого теперь поставили дежурить по ночам в том саду, через который лежит наш путь.

¹ Проснитесь, спящая красавица (*франц.*).

² Насилью (*франц.*).

— В этом деле нам помогут друзья с того берега, — ответила королева.

— А ваше величество уверены в преданности и бдительности этих друзей?

— За их преданность я ручаюсь жизнью, да и за бдительность их также могла бы поручиться жизнью. Ты можешь тотчас же убедиться, мой верный Роланд, что они не уступают тебе в изобретательности и так же надежны, как и ты. Иди за мной в опочивальню, и ты, Кэтрин, пойдешь с нами — мне не следует там оставаться наедине с этим ловким пажом. Милая Флеминг, запри-ка дверь в гостиную и при малейшем шуме предупреди нас. Впрочем, постой, лучше ты, Кэтрин, оставайся у двери. У тебя и слух острее, да и смекалки побольше, чем у нее, — прибавила королева шепотом. — Моя добрая Флеминг, ты пойдешь с нами. Ее почтенное присутствие обеспечит наблюдение за Роландом не хуже, чем твое собственное, — прибавила она снова шепотом. — Так что, не терзайся ревностью, *mißgunne*.

С этими словами королева, в сопровождении Роланда Грейма и леди Флеминг, вошла в опочивальню, небольшую комнату с окном, выходящим на озеро.

— Посмотри-ка в окно, Роланд, — сказала она, — видишь огоньки, которые зажглись и бледно мерцают в сумерках там, в селении Кинрос? Видишь вон тот огонек, отделившийся от других, вон там, несколько ближе к воде? Отсюда он не ярче маленького светлячка; и все же, мой добрый мальчик, этот огонек для Марии Стюарт дороже большой звезды, сверкающей в небесном своде. С помощью этого сигнала я узнаю, что много преданных сердец сплотилось ради моего освобождения. А лишенная этого сознания и надежды на свободу, которые он мне приносит, я бы давно уже покорилась судьбе и умерла от горя. Планы составлялись и отклонялись один за другим, но огонек все еще теплится, а пока она теплится, жива и моя надежда! О! Сколько раз по вечерам я изнывала от отчаяния из-за наших рушащихся замыслов и уже теряла веру, что увижу этот благо-

словенный сигнал; как вдруг он снова загорался и, подобно огням святого Эльма в бурю, приносил надежду и утешение туда, где царили разочарование и отчаяние.

— Если я не ошибаюсь, — ответил Роланд, — свеча горит в окне у садовода Блинкхули?

— У тебя хорошее зрение, — ответила королева. — Там верные вассалы — да снизойдет на них божье благословение! — держат совет о моем освобождении. Голос бедной узницы замер бы в этих синих водах, так и не дойдя до мужей совета, и все-таки я могу поддерживать с ними связь. Я раскрою тебе этот секрет. Я как раз собиралась спросить своих друзей, близок ли срок великой попытки. Поставь лампу на окно, Флеминг.

Фрейлина повиновалась, а затем убрала лампу. Как только она это сделала, исчез огонь и в домике Блинкхули.

— Теперь считайте, — приказала королева Мария, — ибо мое сердце бьется так сильно, что я не могу считать сама.

Леди Флеминг, не торопясь, начала считать: один, два, три, и когда она дошла до десяти, снова показался бледный мерцающий свет на том берегу.

— Хвала пресвятой деве! — воскликнула королева. — Еще две ночи тому назад света не было так долго, что я успела сосчитать до тридцати. Час освобождения близок. Да благословит бог тех, которые с такой преданностью трудятся над этим, — увы! — сами подвергаясь смертельной опасности; да благословит он также и вас, дети мои! Пойдем, нам нужно вернуться в гостиную. Наше отсутствие может возбудить подозрение у тех, кто придет накрывать стол для ужина.

Они возвратились в гостиную, и вечер прошел, как обычно.

Зато совершенно необычайное событие произошло на следующий день. В то время как леди Дуглас из Лохливена выполняла свои ежедневные обязанности гостыи и столъника за обеденным столом королевы, ей доложили, что прибыл вооруженный гонец от ее

сына, не имеющий при себе ни письма, ни какого-либо пароля, за исключением устного сообщения.

— Передал ли он вам его? — спросила леди.

— Он бережет его, по-моему, для слуха вашей милости, — ответил Рэндл.

— Это он делает правильно, — одобрила леди Лохливен. — Прикажи ему подождать в зале... Впрочем, нет... С вашего разрешения, миледи, — обратилась она к королеве, — пусть его приведут сюда.

— Если вам нравится принимать своих слуг в моем присутствии, — сказала королева, — у меня нег иного выбора...

— Извинением пусть послужит моя старость, миледи, — ответила леди Лохливен. — Жизнь, которую мне здесь приходится вести, плохо совместима с годами, которые обременяют меня и побуждают нарушить этикет.

— Моя добрая леди, — ответила королева, — мне бы хотелось, чтоб в этом замке нашлось еще что-нибудь столь же зыбкое, как этикет; к сожалению, замки и засовы здесь устроены много прочней.

При этих словах в комнату вошел человек, о котором говорил Рэндл, и Роланд сразу узнал в нем аббата Амвросия.

— Как тебя зовут, любезный? — спросила леди Лохливен.

— Эдуард Глендининг, — ответил аббат, отвесив ей положенный поклон.

— Ты из рода рыцаря Эвенела? — спросила леди Лохливен.

— Да, сударыня, я его близкий родственник, — ответил мнимый латник.

— Что ж, в этом нет ничего удивительного, — заметила леди Лохливен. — Рыцарь этот скромного происхождения и только собственными подвигами возвысился до нынешнего славного сана. Тем не менее он, бесспорно, надежен и достоин уважения. Я рада видеть его родственника. Ты придерживаешься, конечно, истинной веры?

— В этом можете не сомневаться, сударыня, — отвечал переодетый священник.

— У тебя есть пароль сэра Уильяма Дугласа? — спросила леди.

— Есть, миледи, — ответил он, — но этот пароль я могу сказать вам только с глазу на глаз.

— Ты прав, — сказала леди Лохливен, отходя с ним в нишу окна, — ну, каков же этот пароль?

— Это слова старого барда, — ответил аббат.

— Повтори их, — потребовала леди, и он продекламировал ей шепотом строки из старинной поэмы «Сова»;¹

— О Дуглас! Дуглас!

Нежный и верный.

— Верный сэр Джон Холенд! — воскликнула леди Дуглас, воодушевленная словами поэта. — Никогда более доброжелательная душа не вдохновлялась поэтическим даром, а имя Дугласов постоянно звучало на струнах твоей лиры! Мы зачисляем вас к нам на службу, Глендининг. Только ты, Рэндл, присмотри, чтобы ему поручали пока одни лишь внешние посты; в дальнейшем мы разузнаем о нем более подробно от нашего сына. Ты не боишься ночного воздуха, Глендининг?

— Служа той, перед которой я стою сейчас, я ничего не боюсь, — отвечал переодетый аббат.

— В таком случае наша стража пополнилась еще одним надежным воином, — сказала старая леди. — Иди на кухню и дай им понять, что они должны относиться к тебе с уважением.

Когда леди Лохливен удалилась, королева сказала Роланду Грейму, который теперь почти все время находился при ней:

— Я следила за выражением лица этого незнакомца; не знаю, откуда родилось мое убеждение, но я совершенно уверена, что он наш друг.

— Проницательность вашего величества не обманула вас, — ответил паж; и он тут же сообщил коро-

¹ Поэма сэра Джона Холенда «Сова» известна любителям по превосходному изданию, преподнесенному Бэннатайн-клубу мистером Дэвидом Лэнгом. (*Прим. автора.*)

леве, что роль новоприбывшего воина играет сам аббат монастыря святой Марии.

Королева перекрестилась и подняла глаза к небу.

— Такая грешница, как я, — воскликнула она, — недостойна того, чтобы этот святой человек столь высокого духовного сана переодевался ради меня простым латником и рисковал быть повешенным, как лазутчик врага!

— Бог защитит своего слугу, государыня, — сказала Кэтрин Ситон. — Его участие ниспошлет благословение неба на все наше предприятие, если оно не благословенно само по себе.

— Что меня восхищает в моем духовном отце, — сказал Роланд, — это то непроницаемое выражение, с которым он смотрел на меня, ничем не выдав нашего знакомства. Мне казалось, что подобная вещь невозможна, с тех пор как я перестал верить, что Генри и Кэтрин — одно и то же лицо.

— А заметили вы, — спросила королева, — как умно достойный отец уклонялся от вопросов нашей леди Лохливен, говоря ей сущую правду, которую она все-таки понимала превратно?

Роланд подумал, что если правду говорят с целью ввести в заблуждение, она ничем не лучше лжи. Но теперь было не время обсуждать этот щекотливый вопрос.

— Нам надо следить за сигналом с того берега! — воскликнула Кэтрин. — Сердце подсказывает мне, что сегодня мы увидим в нашем эдемском саду два огня вместо одного. А тогда, Роланд, сыграйте мужественно вашу роль, и мы вскоре будем плясать на лугу, подобно ночным феям!

Предчувствия Кэтрин не обманули ее. Вечером действительно в домике зажглись две свечи вместо одной, и у пажа забилося сердце, когда он услышал, что новоприбывшему воину поручено охранять внешнюю стену замка. Он сообщил эту новость королеве, и она протянула ему свою руку, но когда Роланд, преклонив колено, с подобающим уважением поднес ее к губам, он почувствовал, что она влажна и холодна, как мрамор.

— Ради бога, государыня, не падайте сейчас духом, не поддавайтесь слабости!

— Призовите на помощь пресвятую деву, моя повелительница! — убеждала ее леди Флеминг. — Молитесь своему ангелу-хранителю.

— Призовите на помощь тени тех королей, от которых вы ведете свое происхождение! — воскликнул паж. — В такой час решимость монарха нужней, чем помощь сотни святых.

— О Роланд Грейм, — промолвила Мария Стюарт в глубоком унынии, — не покидайте меня! Многие изменили мне. Увы! Я сама не всегда оставалась верна себе! Мое предчувствие говорит мне, что я умру в заточении и что эта смелая попытка всем нам будет стоить жизни. Еще во Франции предсказатель говорил, что я умру в тюрьме, и притом насильственной смертью. Теперь наступил этот час. Хоть бы господь застал меня подготовленной к нему!

— Ваше величество, — воскликнула Кэтрин Ситон, — вспомните, что вы королева! Лучше всем нам погибнуть в этой отважной попытке добыть свободу, чем оставаться здесь и быть отравленными, как трава вредных насекомых в щелях старых домов!

— Ты права, Кэтрин, — сказала королева, — и Мария Стюарт поступит так, как она поступала всегда. Но увы! Твоя юная и жизнерадостная натура плохо понимает причины, разбившие мне сердце. Простите меня, дети мои, и давайте расстанемся на время. Мне нужно подготовиться душой и телом к этой опасной попытке.

Они разошлись по разным комнатам, пока их снова не собрал вместе вечерний колокол. Королева была серьезна, но полна силы и решимости, леди Флеминг с искусством опытной придворной дамы скрывала свой внутренний страх; глаза Кэтрин пылали огнем, в них как бы отражалась вся смелость задуманного плана, а легкая усмешка на ее прекрасных устах, казалось, выражала презрение к любой опасности и любым последствиям провала; Роланд, который чувствовал, что все зависит от его энергии и ловкости, призывал на помощь всю свою отвагу, и если ему казалось

временами, что присутствие духа изменяет ему, он бросал взгляд на Кэтрин, которая, по его мнению, никогда еще не была столь прекрасна.

«Я могу потерпеть поражение, — думал он, — но когда в будущем меня ждет такая награда, им придется призвать на помощь самого дьявола, чтобы одолеть меня».

В столь решительном настроении он вел себя, как борзая, бегущая по следу; его руки, сердце, глаза — все было напряжено, он только и ждал случая осуществить свой план.

Согласно обычному церемониалу, ключи были сданы леди Лохливен. Она стояла спиной к окошку, которое, подобно окну в опочивальне королевы, выходило в сторону селения Кинрос и небольшой кладбищенской церкви, расположенной неподалеку от селения, ближе к озеру, чем к широко раскинувшимся домикам Кинроса. Стоя спиной к окну и, следовательно, лицом к столу, на который она положила ключи, когда пробовала расставленную на столе еду, леди Лохливен была сегодня насторожена более обычного — так по крайней мере показалось ее пленникам — и не спускала глаз с тяжелой кучки металла, орудия их заточения. Когда она покончила со своими обязанностями столъника королевы и уже собиралась взять ключи, стоявший рядом паж, который передавал ей блюда для пробы, посмотрел в окно и удивился вслух тому, что на кладбище в склепе горят погребальные свечи. Леди Лохливен, хотя и незначительно, но все же была подвержена суевериям своего времени. Судьба ее сыновей способствовала ее вере в приметы, а погребальные свечи в фамильном склепе предвещали, как считалось тогда, чью-то смерть. Она быстро обернулась к окну и, увидев отдаленное мерцание, забыла на один момент о своих обязанностях; и как раз в этот момент погибли все плоды ее предшествующей бдительности. Паж вынул из-под плаща фальшивые ключи и с удивительной ловкостью подменил ими настоящие. Однако, как ни искусно он действовал, ему не удалось предотвратить легкий звон, который раздался, когда он поднял связку ключей со стола.

— Кто трогает ключи? — быстро спросила леди Лохливен, и так как паж ответил, что он нечаянно задел их полкой своего плаща, она обернулась, взяла фальшивую связку, лежавшую теперь на столе вместо настоящей, и снова обернулась к окну, наблюдая за свечами, которые Роланд назвал погребальными.

— По-моему, эти огни светятся не на кладбище, — сказала она после некоторого размышления, — а в домике садовода Блинкхули. Никак не пойму, что это в последнее время напало на старика. Он постоянно жжет свечу до поздней ночи. А я-то считала его таким трудолюбивым и скромным. Если он спутался с бездельниками и ночными бродягами, придется выселить его из наших владений.

— Быть может, он плетет свои корзины, — вмешался паж, желая усыпить ее подозрения.

— Или сети, не правда ли? — спросила леди Лохливен.

— Конечно, миледи, — продолжал паж, — для форели и лосося.

— Или для дураков и мошенников, — последовал ответ. — Впрочем, мы завтра разберемся в этом. Желаю вашему величеству и всему обществу спокойной ночи. А ты, Рэндл, иди за мной.

И Рэндл, который, передав связку с ключами, остался ждать свою госпожу в передней, пошел проводить леди Лохливен, как он это обычно делал, когда она возвращалась из покоев королевы.

— Завтра? — повторил ее последние слова паж, радостно потирая руки. — Глупые ждут завтрашнего дня, а мудрые действуют сегодня. Нельзя ли попросить вас, моя милостивая госпожа, удалиться отсюда на полчаса, пока все в замке улягутся спать? Мне еще нужно пойти смазать маслом это благословенное орудие нашего освобождения. Были бы отвага и настойчивость, тогда все будет хорошо, если, конечно, наши друзья на том берегу не позабудут прислать лодку, о которой мы с вами говорили.

— Об этом не беспокойтесь, — ответила Кэтрин. — Они надежны, как сталь, только бы у нашей дорогой

госпожи не иссякла ее благородная и царственная отвага.

— Не сомневайся во мне, Кэтрин, — ответила королева. — Я лишь на время утратила присутствие духа, но тут же вспомнила об удали моих прежних, более веселых дней, когда мне приходилось сопровождать своих вооруженных вельмож и когда я желала сама стать мужчиной, чтобы наслаждаться жизнью в открытом поле с мечом и щитом, в колете и шлеме!

— Даже жаворонок не живет столь беззаботно и не поет столь звонких песен, как весельчак воин, — ответила Кэтрин. — Ваше величество вскоре окажетесь среди них, и присутствие их законной повелительницы удесатерит в час тяжкого испытания силы вашей армии. Однако у меня еще уйма всяческих дел.

— У нас не так уж много времени, — напомнила королева Мария. — Одна из двух свечей в домике погасла. Это означает, что лодка уже в пути.

— Они будут грести очень медленно, — заметил паж, — а в неглубоких местах они предпочтут отталкиваться шестом, во избежание шума. Возьмемся-ка и мы за дело. Я попробую снестись с нашим добрым аббатом.

В полуночный час, когда все было тихо в замке, паж вставил ключ в замочную скважину двери, которая вела в сад и находилась у самой лестницы в покои королевы.

— Ну теперь, милый ключик, повернись-ка помягче и не скрипи, если только смазка способна справиться с ржавчиной, — уговаривал паж, и принятые им предосторожности оказались настолько действенными, что ключ и в самом деле повернулся, почти не произведя шума. Роланд Грейм не решился переступить порог калитки и только спросил переодетого аббата, готова ли лодка.

— Вот уже полчаса, — ответил последний, — как она причалила и стоит в тени крепостного вала, так близко у берега, что ее не видно часовым; однако боюсь, что, когда она станет отплывать, вряд ли удастся обмануть их бдительность.

— Темнота и умение действовать бесшумно помогут нам уйти незамеченными, — возразил паж. — В башне несет стражу Хилдебранд — осовелый мужлан, который стремится облегчить себе ночное дежурство кувшином пива; быюсь об заклад, что он и сейчас уже спит.

— Тогда проводи королеву, — сказал аббат, — а я позову Генри Ситона помочь дамам сесть в лодку.

На цыпочках, неслышными шагами и затаив дыхание, вздрагивая даже от шуршания их собственной одежды, прекрасные узницы одна за другой сошли по лестнице, предводительствуемые Роландом Греймом; у двери в сад их встретили Генри Ситон и священник. Генри, по-видимому, сразу же решил взять на себя все руководство операцией.

— Ваше преосвященство, — сказал он, — подайте руку моей сестре, я сам поведу королеву, а этому юноше выпадет честь сопровождать леди Флеминг.

Тут не было времени обсуждать порядок шествия, хотя Роланд Грейм вряд ли выбрал бы именно этот вариант. Кэтрин Ситон, которая прекрасно знала все дорожки сада, умчалась вперед, подобно сильфиде, скорее помогая аббату, чем получая от него помощь. У королевы ее врожденное присутствие духа победило женскую робость и тысячи мучительных размышлений; она твердой поступью шла вперед в сопровождении Генри Ситона. Между тем леди Флеминг, боязливая и беспомощная, сильно мешала идти Роланду Грейму, который замыкал шествие и нес в другой руке сверток необходимых вещей, принадлежащих королеве. Ворота, ведущие из сада на берег, поддались одному из ключей Роланда Грейма, хотя ему пришлось при этом предварительно испробовать несколько других; это был момент, полный напряженного страха и ожидания. Затем двух дам отвели, а одну отнесли на берег озера, где их ждала лодка с шестью гребцами, которые лежали на дне ее, скрываясь от глаз сторожей. Генри Ситон посадил королеву на корму, аббат пытался помочь Кэтрин, но, прежде чем он успел это сделать, она уже сидела рядом с Марией Стюарт. Роланд Грейм собрался было перенести леди Фле-

минг через борт лодки, когда внезапная мысль осенила его, и с восклицанием:

— Совсем забыл! Подождите секунду! — Он снова опустил на берег беспомощную фрейлину королевы, бросил в лодку сверток с вещами и, не производя шума, с быстротой молнии бросился обратно в сад.

— Клянусь небом, он в конце концов все-таки изменил нам! — воскликнул Ситон. — Я всегда опасался этого.

— Он так же надежен, как само небо, — возразила Кэтрин, — я ручаюсь за него.

— Молчи ты, кокетка, — рассердился ее брат, — хотя бы из стыда, если уж ты утратила страх. Ну-ка, в путь, ребята, и гребите что есть сил, дело идет о жизни и смерти!

— Помогите, не оставляйте меня! — взывала покинутая леди Флеминг громче, чем этого требовала осторожность.

— В путь! В путь! — кричал Генри Ситон. — Пусть все остаются, только бы спасти королеву!

— Неужели вы допустите это, государыня? — умоляюще воскликнула Кэтрин. — Неужели вы обречете на смерть вашего освободителя?

— Я этого не сделаю, — ответила королева. — Ситон, я приказываю вам ждать, чего бы это нам ни стоило.

— Простите, ваше величество, но этому приказу я не могу повиноваться, — ответил неподатливый юноша, и, поддерживая одной рукой леди Флеминг, он другой оттолкнулся от берега.

Гребцы прошли уже с десятков футов и развернули суденышко носом к селению, когда появился Роланд Грейм и прыгнул с берега прямо в лодку, опрокинув стоявшего на его пути Ситона. Юноша хотел было высказать свое возмущение, но сдержался и только остановил Грейма, который собирался направиться к корме:

— Для вас нет места около знатных дам! Отправляйтесь на нос и постарайтесь уменьшить дифферент

лодки. Ну, теперь наконец в путь! Вперед! Гребите сильнее, во имя бога и королевы!

Гребцы повиновались, и под сильными ударами весел лодка стала удаляться от берега.

— Почему вы не обернули весла? — спросил Роланд Грейм. — Всплески разбудят часового. Теперь гребите, ребята, сильнее! Нам нужно выйти за пределы выстрелов. Потому что, если только старый Хилдебранд, сторож на башне, не нахлебался макового отвара, такой шум наверняка разбудит его.

— Это все из-за твоей задержки, — отвечал Ситон. — Я потом с тобой еще рассчитаюсь и за это и за многое другое.

Предсказание Роланда оправдалось настолько быстро, что у него не осталось времени для ответа. Часовой, которого не разбудил шепот, проснулся от всплесков весел. Сразу же раздался его оклик:

— Эй, лодка! Остановитесь, или я буду стрелять!

Так как они продолжали грести, он громко закричал:

— Измена! Измена!

Тут же он ударил в большой колокол замка и разрядил свой аркебуз вслед уходящей лодке. Дамы, в смятении от вспышки и грома выстрела, прижались друг к другу, как испуганные птицы, а мужчины торопили гребцов, стремясь во что бы то ни стало ускорить ход лодки. Было слышно, как несколько пуль скользнуло по поверхности озера невдалеке от их утлого суденышка, а по огням, метавшимся от одного окна к другому, можно было догадаться, что весь замок пришел в движение и что их бегство обнаружено.

— Быстрее! — снова вскричал Ситон. — Налягте на весла, пока я не подбодрил вас кинжалом! Они сейчас спустят лодку!

— Об этом я уже позаботился, — ответил Роланд. — Я закрыл вход и выход, когда возвратился в сад, и если только ворота, сработанные из доброго дуба, и железные затворы могут удержать людей за каменной стеной, ни одна лодка не отчалит сегодня ночью от острова. А теперь я отказываюсь от своей

должности привратника замка Лохливен и передаю эти ключи на сохранение Келпи.

Когда тяжелая связка ключей исчезла в озере, аббат, который до этого времени повторял свои молитвы, воскликнул:

— Да благословит тебя бог, сын мой! Ты своей предусмотрительностью посрамил нас всех!

— Я это знала, — сказала королева, переводя дыхание, после того как они оказались вне пределов досягаемости мушкетных выстрелов, — я была уверена в преданности, сообразительности и находчивости моего пажа. Я надеюсь, он станет другом моим не менее верным рыцарям Дугласу и Ситону. Но где же Дуглас?

— Здесь, ваше величество, — ответил тихим и печальным голосом кормчий, который сидел рядом с ней и управлял ходом лодки.

— Боже! Так это вы прикрывали меня своей грудью, когда вокруг нас свистели пули? — спросила королева.

— Неужели вы могли подумать, что Дуглас упустит случай защитить королеву хотя бы ценой собственной жизни? — тихо промолвил кормчий.

Их разговор был прерван несколькими выстрелами из тех небольших пушек, которые артиллеристы называют фальконетами и которые в те времена использовались для обороны замков. Выстрелы были произведены наугад и не могли причинить вреда, но мощная вспышка и оглушительный гром, повторенный громогласным эхом в полуночной тиши Бенарти, испугал беглецов и заставил их замолчать. Прежде чем они опять обрели дар речи, лодка причалила к пристани или набережной, удаленной на значительное расстояние от сада. Они высадились, и пока аббат громко возносил благодарение небу, которое до сих пор благоприятствовало их замыслам, Дуглас считал себя с лихвой вознагражденным за участие в этом отчаянном предприятии тем, что именно он сопровождал королеву к домику садовода.

Мария Стюарт, даже в этот полный страха и напряжения момент, не забыла о Роланде Грейме, при-

казав Ситону сопровождать леди Флеминг, в то время как Кэтрин сама, не дожидаясь приглашения, оперлась на руку паж. Ситон, однако, тут же передал леди Флеминг аббату, сославшись на то, что ему нужно позаботиться о лошадях. Его люди сбросили плащи гребцов и поспешили вслед за ним.

В то время как готовили лошадей для дальнейшей поездки, Мария Стюарт отдыхала в домике Блинкхули; заметив забившегося в угол владельца сада, она велела ему подойти поближе. Он выполнил ее распоряжение с некоторым колебанием.

— Что же ты медлишь, брат мой, поздравить свою венценосную королеву и госпожу со свободой и вновь обретенным королевством? — спросил его аббат.

Услышав это, старик подошел к королеве и в учтивых выражениях выразил свою радость по поводу ее освобождения. Королева сердечно поблагодарила его и сказала под конец:

— Нам остается предложить вам пока небольшую награду за вашу преданность. Нам хорошо известно, что ваш дом служил прибежищем верным слугам, готовившим наше освобождение.

С этими словами она протянула ему кошелек с золотыми монетами, прибавив:

— С течением времени мы постараемся более щедро вознаградить вас за эти услуги.

— На колени, брат мой, — воскликнул аббат, — немедленно на колени, поблагодари ее величество за доброту!

— Добрый брат мой, еще не так давно ты подчинялся мне, и даже сейчас ты много моложе меня, — обиженно ответил садовод. — Позволь мне выразить мою признательность так, как я считаю нужным. До сих пор королевы склоняли передо мной колени, а мои колени, если говорить по чести, слишком стары и негибки, чтобы склонять их даже перед этой прекрасной дамой. Быть может, вашему величеству было приятно, когда ваши слуги заполнили мой дом настолько, что я уже не мог назвать его своим, что в усердном хождении туда и сюда они потоптали мои цветы и, заведя в сад коней, погубили все мои надежды на обильный

урожай плодов, но я прошу у вашего величества только одной награды — избрать себе резиденцию по возможности подальше от меня. Я уже старик, мне бы хотелось идти к могиле с легким сердцем, в мире, доброжелательстве, погруженным в спокойные труды.

— Я торжественно обещаю вам, добрый человек, — ответила королева, — что, насколько это будет зависеть от меня, я ни за что на свете не выберу для своей резиденции этот замок. Но возьмите, пожалуйста, деньги. Пусть они послужат вам возмещением за те опустошения, которые мы произвели в вашем саду.

— Я благодарен вам, ваше величество, но это ни в какой степени не послужит мне возмещением. Уничтожены груды целого года; можно ли их возместить тому, у кого не осталось, быть может, и одного года жизни? Кроме того, говорят, что мне, в мои преклонные лета, придется покинуть это место и отправиться странствовать. А у меня ведь нет на свете ничего, кроме этих фруктовых деревьев и нескольких старых пергаментных свитков с ничего не стоящими чужими семейными тайнами. Что касается золота, то если бы я жаждал его, я бы остался пастырем аббатства святой Марии, и все-таки мне неясно, хорошо ли было бы мне тогда, ибо если аббат Бонифаций стал всего лишь бедным поселянином Блинкхули, то его преемник аббат Амвросий пережил еще худшее перевоплощение, превратившись в латника.

— Как! Неужели вы действительно аббат Бонифаций, о котором мне столько говорили? — воскликнула королева. — Тогда действительно мой долг велит мне склонить колени и просить у вас благословения, добрый отец!

— Не склоняйте передо мной колен, миледи! Благословение старика, который больше не является аббатом, и без того последует за вами через горы и доли. Но чу! я слышу топот ваших коней.

— До свидания, отец мой! — сказала королева. — Когда мы возвратимся в Холируд, мы не забудем тебя и твой разоренный сад.

— Забудьте то и другое, и да хранит вас господь, — отозвался бывший аббат.

Выходя из дома, они слышали, как старик все еще что то бормотал про себя, торопливо запирая за ними дверь на щеколду и на замок.

— Месть Дугласов настигнет несчастного старца, — сказала королева. — Да поможет мне бог, я приношу гибель каждому, кто приближается ко мне.

— О нем уже позаботились, — ответил Ситон, — ему нельзя здесь оставаться. Его тайком переправят в более безопасное место. Но вашему величеству следовало бы уже быть в седле. На коней! На коней!

Группа Ситона и Дугласа выросла до десятка вооруженных людей, включая тех, кто присматривал за лошадьми. Королева, ее дамы и все, кто был в лодке, тут же сели на коней и, оставив в стороне городок, проснувшийся от выстрелов из замка, последовали за Дугласом, указывавшим дорогу. Вскоре они выехали в открытое поле и помчались так быстро, как только могли, стараясь лишь не растягиваться и соблюдать принятый порядок движения.

Глава XXXVI

Под ним его вороной скакун,
Чалый — красотку мчит,
Охотничий рог висит на боку,
И лишь ветер в ушах свистит.

Старинная баллада

Свежесть ночного ветра, скачка на конях через горы и долины, звяканье уздечек, радость обретенной свободы и быстрота езды постепенно рассеяли охватившие Марию Стюарт смятение и скорбную скованность. В конце концов она уже не могла утаить перемену своего настроения от всадника, который держался рядом с ней и который, как она полагала, был отцом Амвросием, ибо Ситон со всем юношеским пылом гордился, и притом совершенно законно, своим первым удачным делом и, приняв важный и озабоченный вид, осуществлял обязанности командира неболь-

шого отряда, эскортировавшего ту, кого называли тогда Счастьем Шотландии. Он то скакал во главе отряда, то придерживал своего разгоряченного коня, поджидая подтягивающийся арьергард, требовал от передовых всадников равномерного, хоть и быстрого аллюра; отставших же заставлял пустить в ход шпоры, не допуская нарушения строя. Через мгновение он уже скакал около королевы или ее фрейлин, осведомляясь, не утомил ли их быстрая езда и не будет ли каких-нибудь распоряжений по его части. Но если Ситон был занят делами всего отряда — главным образом правильным ритмом процессии, и в значительной мере любовался самим собой, то всадник, скакавший рядом с королевой, все свое внимание безраздельно посвящал ей одной, как если бы его заботам было поручено какое-то высшее существо. Когда попадался неровный и опасный участок дороги, он, казалось, вовсе не обращал внимания на своего собственного коня и все время придерживал рукой уздечку лошади королевы. Если на их пути встречалась река или большой мост, он левой рукой поддерживал Марию Стюарт в седле, а правую держал на узде ее скакуна.

— Я никогда не думала, достопочтенный отец, — сказала королева, когда они выехали на противоположный берег реки, — что монастырь может воспитать столь искусного всадника.

Ее собеседник только вздохнул, не ответив ни слова.

— Не знаю, — сказала королева Мария, — то ли от ощущения свободы, то ли от верховой езды — моего любимого развлечения, которого я так долго была лишена, а быть может, от того и от другого вместе, но только я чувствую себя как на крыльях. Ни одна рыба не скользит в воде, ни одна птица не рассекает воздух с таким восторженным чувством полной свободы, с каким я рвусь сейчас вперед сквозь ночной ветер по этому пустынному нагорью. Я снова в седле, и это магическое ощущение приводит к тому... Нет, я готова поклясться, что подо мной снова моя верная Розабел, с которой ни одна лошадь во всей Шотландии

не сравнится в быстроте, в легкости шага и уверенной поступи.

— Если бы лошадь, несущая столь бесценный груз, могла заговорить, — слышался в ответ тихий, печальный голос Джорджа Дугласа, — она бы сказала вам: кто же, кроме Розабел, достоин при подобных обстоятельствах служить любимой госпоже, и кому, как не Дугласу, придерживать ее за повод?

Королева Мария вздрогнула: она сразу поняла, какими страшными последствиями для нее и для него самого грозит восторженная страсть этого юноши, но ее чувства благодарной и сострадательной женщины помешали ей ответить с достоинством королевы; она попыталась продолжать разговор в равнодушном тоне.

— Мне казалось, — сказала она, — что при дележе моего имущества Розабел стала собственностью Элис, любовницы и фаворитки лорда Мортон.

— Благородное животное действительно претерпело подобное унижение, — ответил Дуглас. — Его держали за четырьмя замками, за ним наблюдала целая орава грумов и конюхов; но королева Мария нуждалась в Розабел, и вот Розабел здесь.

— Хорошо ли это, Дуглас? — укоризненно сказала королева Мария. — Нас подстерегает столько смертельных опасностей, а вы еще сами увеличиваете их число по такому незначительному поводу.

— Вы называете незначительным то, что доставило вам радость хотя бы на мгновение? — ответил Дуглас. — Разве вы не вздрогнули от счастья, когда я сообщил вам, что вы скачете на Розабел? И пусть эта радость длилась не дольше, чем вспышка молнии, разве не стоила она того, чтобы Дуглас сотни раз рискнул ради нее своей жизнью?

— Тише, Дуглас, тише! — прошептала королева. — Таким языком вам не подобает говорить. Кроме того, — добавила она, оправившись от смущения, — мне нужно было бы сейчас поговорить с аббатом монастыря святой Марии. Но я не хочу, чтобы вы обиделись, Дуглас.

— Обиделся, госпожа? — отозвался Дуглас. — Увы! Только скорбью могу я ответить на ваше презре-

ние, которое я вполне заслужил. Разве я мог бы обидеться на небеса за то, что они глухи к дерзким желаниям смертного?

— Останьтесь около меня, — сказала Мария Стюарт, — господин аббат поедет с другой стороны. Кроме того, вряд ли он сможет так искусно помогать мне и Розабел на трудной дороге.

Аббат подъехал, и она сразу же завязала с ним разговор о расстановке враждующих сил в стране и о дальнейших планах в связи с ее освобождением. В этом разговоре Дуглас принимал участие только тогда, когда королева непосредственно обращалась к нему. Как и до сих пор, он, казалось, весь был поглощен заботой о безопасности Марии Стюарт. Ей с трудом удалось установить, что это благодаря его изобретательности аббат, которому он сообщил семейный пароль Дугласов, сумел проникнуть в Лохливен под видом латника.

Задолго до рассвета их быстрое и опасное путешествие закончилось у ворот замка Нидри, в западном Лотиане, принадлежавшем лорду Ситону. Когда королева собиралась спешиться, Генри Ситон, опередив Дугласа, принял ее на руки и, опустившись перед ней на колени, попросил ее величество войти в дом его отца, ее верного вассала.

— Ваше величество, — сказал он, — сможет здесь отдохнуть в полной безопасности. Замок охраняется верными людьми, готовыми защищать вас. А моего отца я уже известил, и можно рассчитывать, что он немедленно прибудет сюда с шестьюстами воинами. Поэтому не волнуйтесь, если ваш сон будет прерван конским топотом: знайте, что это прибыли к вам на службу новые десятки дерзких Ситонов.

— И никто не сможет нести охрану шотландской королевы лучше, чем дерзкие Ситоны, — ответила Мария Стюарт. — Розабел неслась с быстротой летнего ветра и почти с такой же легкостью, но я уже давно не садилась в седло и чувствую, что мне необходимо отдохнуть. Кэтрин, та *mignonne*, ты будешь нынче спать в моих покоях и окажешь мне гостеприимство в замке твоего благородного отца. Благодарю, благо-

дарю всех моих добрых освободителей. Пока еще мне нечего им предложить, кроме благодарности и пожелания доброй ночи. Но если Фортуна вознесет меня ввысь, на моих глазах не будет ее повязки. Глаза Марии Стюарт останутся открытыми, и она сумеет различить своих друзей. Вряд ли необходимо с моей стороны, Ситон, поручать достопочтенного аббата, Дугласа и моего пажа вашему радушному гостеприимству и вашим заботам.

Генри Ситон поклонился, а Кэтрин и леди Флеминг последовали за королевой в ее покои, где она призналась им, что сейчас ей было бы трудно, согласно своему обещанию, держать глаза открытыми; Мария погрузилась в сон и проспала до полудня.

Первым ощущением королевы, когда она проснулась, было сомнение в том, что она действительно свободна. Эта мысль заставила ее вскочить с постели; торопливо набросив плащ на плечи, она кинулась к окну. О, радостное зрелище! Вместо хрустальных вод Лохливена, менявших свой вид только под влиянием ветра, пред ней простиралась местность, где деревья чередовались с полянами, заросшими вереском. А в парке вокруг замка расположились войска ее наиболее преданных и близких вельмож.

— Вставай, вставай, Кэтрин! — воскликнула в восхищении государыня. — Иди скорей сюда! Вот мечи и копья в надежных руках и блестящие латы, скрывающие верные сердца. Вот знамена, развевающиеся по ветру с легкостью летнего облачка. Великий боже! Как радостно моим усталым глазам узнавать их девизы: твоего храброго отца, величественного Гамильтона, преданного Флеминга... Смотри, они увидели меня, они спешат к окну!

Она распахнула окно, радостно кивая головой с рассыпавшимися в беспорядке волосами, и приветливо помахала своей прекрасной обнаженной рукой, лишь слегка прикрытой плащом, в ответ на громогласные крики воинов, разносившиеся на много фёлонгов вдаль по окрестностям замка. Когда прошел первый порыв радости, она вспомнила, как небрежно она одета, и, закрыв руками ярко вспыхнувшее от

смушения лицо, отпрянула от окна. Причина ее исчезновения была сразу понята и только усилила всеобщее восхищение государыней, которая, забыв про свое королевское величие, торопилась увидеть своих верных подданных. Ничем не приукрашенное очарование этой удивительной женщины тронуло суровых воинов больше, чем это смог бы сделать блестящий парадный наряд со всеми королевскими регалиями. И если даже появление королевы в подобном виде можно было счесть известной вольностью, все искупалось восторженностью момента и той стыдливостью, с которой она поспешно отступила от окна. Одни возгласы, не успевая отзвучать, переходили в другие, и гулкое эхо разносило их по лесу и прилегающим холмам. Многие в это утро поклялись на крестообразной рукояти своего меча, что их рука не оставит оружия до тех пор, пока Мария Стюарт не будет восстановлена в королевских правах. Но что значат подобные обещания, чего стоят надежды человеческие? Спустя какой-нибудь десяток дней все эти доблестные и преданные приверженцы Марии были либо убиты, либо пленены, либо обращены в бегство.

Мария Стюарт опустилась в ближайшее кресло и, все еще раскрасневшаяся, но с улыбкой на устах, воскликнула:

— Что только они обо мне подумают, та *mignonne*? Показаться им с обнаженными ногами, торопливо сунутыми в спальные туфли, укрывшись одним лишь этим плащом, с распущенными волосами, голыми руками и шеей! Скорее всего они подумают, что пребывание в заточении помutilo разум их королевы. Но мои мятежные подданные видели меня на последней грани отчаяния. Почему же я должна соблюдать более строгую церемонию, являясь перед теми, кто мне верен и предан? И все-таки позови Флеминг. Надо полагать, она не забыла пакет с моими платьями? Мы должны одеться со всей возможной роскошью, *mignonne*.

— Боюсь, ваше величество, что наша добрая леди Флеминг была не в состоянии помнить о чем бы то ни было.

— Ты шутишь, Кэтрин, — сказала королева оскорбленным тоном. — Насколько я знаю, на нее непохоже так забыть о своих обязанностях, чтобы лишить нас возможности переменить туалет.

— Об этом, миледи, позаботился Роланд Грейм, — ответила Кэтрин. — Он бросил в лодку сверток с платьями и драгоценностями вашего величества перед тем, как побежал запереть ворота. Я никогда еще не встречала столь неловкого пажа — сверток чуть не угодил мне в голову.

— Убытки он возместит твоему сердцу, девочка, — со смехом ответила королева Мария, — и щедро заплатит за эту обиду и за все прочие. Но позови-ка Флеминг, и пусть она оденет нас для встречи с нашими верными лордами.

Столь усердны были старания и столь велико искусство леди Флеминг, что Мария вскоре предстала перед собравшимися вельможами в наряде, какой приличествовал королеве, хотя он и не мог затмить ее природное очарование. С самой подкупающей любезностью выражала она каждому из них в отдельности свою искреннюю благодарность и удостоила своим вниманием не только всех пэров, но и некоторых менее знатных баронов.

— Куда же нам теперь направиться, милорды? — задала она вопрос. — Какой путь вы посоветуете нам избрать?

— В замок Дрэфейн, — ответил лорд Арброт, — если это будет угодно вашему величеству. Оттуда в Данбартон, где ваше величество окажется в полной безопасности. А тогда мы посмотрим, устоят ли эти изменники против нас в открытом поле.

— Когда же мы отправимся?

— Мы бы предложили, — ответил лорд Ситон, — если ваше величество не слишком устали, седлать коней сразу же после завтрака.

— Ваше желание, милорды, стало моим желанием, — ответила королева. — Мы будем руководствоваться в этом путешествии вашими мудрыми советами, которым мы надеемся в дальнейшем следовать и в управлении нашим королевством. Вы позволите,

милорды, мне и моим дамам позавтракать вместе с вами. Нам придется пренебречь этикетом и самим на время превратиться в воинов.

Множество увенчанных шлемами голов низко склонилось в знак благодарности при этом изъявлении королевского расположения. Между тем Мария Стюарт, бросив взор на собравшихся, внезапно обнаружила, что среди них нет Дугласа и Роланда Грейма, и шепотом осведомилась о них у Кэтрин Ситон.

— Они в часовне, ваше величество, и оба весьма грустно настроены, — ответила Кэтрин; при этом королева заметила, что глаза ее любимицы покраснели от слез.

— Вот уж этого не должно быть, — сказала королева. — Ты будешь пока развлекать гостей, а я пойду за ними и сама приведу их сюда.

Она направилась в часовню и сразу же увидела там Джорджа Дугласа, который, скрестив руки, стоял или, вернее, полулежал, опираясь спиной на подоконник. При виде королевы он вздрогнул, и на лице его отразилось на мгновение живейшее восхищение, которое, однако, тут же вновь сменилось обычным его скорбным выражением.

— Что с вами, Дуглас? — спросила она. — Почему создатель и отважный исполнитель столь удачного плана моего освобождения избегает общества своих друзей пэров и своей столь многим ему обязанной повелительницы?

— Государыня, — ответил Дуглас, — люди, которых вы удостоили своим обществом, доставили сюда воинов, чтобы бороться за ваши права, и богатство, чтобы содержать ваш двор. Они могут предложить вам залы для пиршеств и неприступные замки для защиты. Я же человек без дома и земли, лишенный наследства и проклятый отцом, у меня нет ни имени, ни родных, и я могу принести под ваше знамя лишь меч свой да никому не нужную жизнь его владельца.

— Уж не хотите ли вы, Дуглас, попрекнуть меня, перечисляя ваши утраты? — спросила королева.

— Боже упаси, государыня, — поспешно прервал ее юноша. — Если бы мне снова пришлось совершить

то же самое и если бы я утратил в десять раз больше чинов и богатств, да еще в двадцать раз больше друзей, — все это с лихвой искупил бы ваш первый свободный шаг по земле родного королевства.

— Но что же тогда тревожит вас и почему вы не вместе с теми, кто, как и вы, радуется этому событию? — спросила королева.

— Государыня, — ответил юноша, — даже отвергнутый своим родом и лишенный наследства, я все еще Дуглас. Мое семейство веками находилось во вражде со многими из ваших пэров. Если они нынче окажут мне холодный прием, это меня оскорбит, а если они протянут мне руку дружбы — это еще больше унизит меня.

— Стыдитесь, Дуглас, — ответила королева. — Сбросьте с себя эту малодушную скорбь! Я могу вас сделать равным любому из них по сану и положению, и, верьте мне, так я и поступлю. А сейчас идите к ним, таков мой приказ!

— Этого достаточно, — ответил Дуглас, — я повинуюсь. Поверьте, однако, что не ради сана и положения совершил я все то, за что Мария Стюарт не захочет, а королева не сможет меня вознаградить.

С этими словами он покинул часовню, смешался с толпой вельмож и уселся в дальнем конце стола. Королева еще раз взглянула на него и поднесла платок к глазам.

— Да сжалится надо мной пресвятая дева, — сказала она. — Едва окончились тревоги заключения, как уже подступают новые, которые гнетут меня как женщину и как королеву. Счастливица Елизавета! Для тебя политика — все, и твое сердце, никогда не предавало твой разум. А теперь мне нужно разыскать второго юношу, не то между ним и молодым Ситоном дело дойдет до кинжалов.

Роланд Грейм находился в той же часовне, но на некотором расстоянии от Дугласа, так что не мог слышать его разговора с королевой. Он тоже выглядел задумчивым и угрюмым, но его лицо сразу же проявилось, когда королева спросила:

— Что же это вы, Роланд, сегодня пренебрегаете вашими обязанностями? Или вас так утомила вчерашняя поездка?

— О нет, ваше величество, — ответил Грейм. — Но только мне сказали, что одно дело быть пажом в Лохлиvene, а другое — в замке Нидри; таким образом, мейстер Генри Ситон дал мне понять, что мои услуги больше не нужны.

— Силы небесные! — воскликнула Мария Стюарт. — Как быстро эти петушки пускают в ход шпоры! Но уж с детьми-то и с юнцами я могу держаться как подобает королеве. Я хочу, чтобы вы подружились. Пришлите мне кто-нибудь Генри Ситона!

Последние слова она произнесла громко, и юноша, которого она звала, сразу же появился в часовне.

— Подойдите сюда, Генри Ситон, — сказала она. — Я хочу, чтобы вы подали руку этому молодому человеку, который так много содействовал моему побегу из заточения.

— Охотно, — ответил Ситон, — если этот молодой человек взамен обещает мне, что не коснется руки других Ситонов; он знает, о ком я говорю. Моя рука уже и раньше заменяла ему ее руку, а чтобы завоевать мою дружбу, он должен навсегда отказаться от всякой мысли о моей сестре.

— Генри Ситон, — сказала королева, — разве вам подобает ставить условия там, где я приказываю?

— Государыня, — ответил Генри, — я слуга престола вашего величества, сын одного из самых преданных вам людей во всей Шотландии. Наше имущество, наши замки, наша кровь принадлежат вам. Но о нашей чести заботимся мы сами. Я бы мог сказать и больше, но...

— Ну что ж, продолжай, дерзкий юноша! — воскликнула королева. — Что пользы было освободить меня из Лохливена, если мои мнимые освободители готовы тут же наложить на меня новое иго и мешают мне воздать должное человеку, который заслужил этого не в меньшей степени, чем они сами.

— Не огорчайтесь из-за меня, моя царственная госпожа, — сказал Роланд. — Этот молодой джентль-

мен — верный слуга вашего величества и брат Кэтрин Ситон. Это способно усмирить мой самый сильный гнев.

— Еще раз напоминаю тебе, — сказал надменно Генри Ситон, — что твои слова никогда не должны давать кому-либо повод предположить, будто дочь лорда Ситона ближе тебе, чем любому другому простолюдину в Шотландии.

Королева собиралась уже снова вмешаться, ибо лицо Роланда побагровело и неясно было, долго ли еще его чувство к Кэтрин способно сдерживать природную пылкость характера. Однако появление нового действующего лица, до сих пор не обнаружившего своего присутствия, помешало Марии Стюарт снова принять участие в споре. В часовне, за дверью из дубовой решетки, находилась небольшая ниша, в которой помещался высокопочитаемый образ святого Беннета. Из этого убежища внезапно появилась Мэгделин Грейм, которая там, по-видимому, была погружена в свои молитвы, и, обратившись к Генри Ситону, воскликнула в ответ на его последнее утверждение:

— А, собственно, из какого теста созданы эти Ситоны, что кровь Греймов не смеет слиться с их кровью? Знай же, надменный юноша, что сын моей дочери ведет свое происхождение от Мэлайза, графа Стрэттерна, прозванного Мэлайз со Сверкающим Мечом, и едва ли кровь вашего дома течет из более благородного источника.

— Мне казалось, матушка, — сказал Ситон, — что ваше благочестие ставит вас выше земной суеты; вы и в самом деле, по-видимому, несколько забывчивы в этих вопросах; ведь для благородного происхождения имя и родословная отца должны быть столь же высокими, как и у матери.

— А если я скажу, что по отцовской линии он происходит из рода Эвенелов, — ответила Мэгделин Грейм, — разве это не означало бы, что его кровь по своей окраске не уступает твоей?

— Эвенел?! — воскликнула королева. — Неужели мой паж происходит из рода Эвенелов?

— Да, всемилостивейшая государыня, и он последний мужской отпрыск этого древнего рода. Его отец — Джулиан Эвенел, тот самый, который пал в битве с англичанами.

— Я слышала об этой грустной истории, — сказала королева. — Значит, это твоя дочь последовала за несчастным бароном на поле битвы и умерла, обнимая своего мертвого супруга! Увы! Какими различными путями любовь приводит женщину к гибели. Эту историю часто рассказывали и распевали бродячие менестрели. Значит, это ты, Роланд, чадо горя, найденное среди убитых и раненых? Генри Ситон, он равен тебе по крови и происхождению.

— Едва ли, — ответил Генри Ситон, — даже если бы он был законным сыном. Но если верить балладе, то Джулиан Эвенел оказался вероломным рыцарем, а его возлюбленная — слабой и чрезмерно доверчивой девушкой.

— Клянусь небом, ты лжешь! — вскричал Роланд Грейм и схватился за рукоять шпаги.

Но в этот момент появление лорда Ситона предотвратило грозившую вспыхнуть схватку.

— Помогите, милорд, — обратилась к нему королева. — Разнимите этих двух горячих и несдержанных молодцов.

— Как, Генри, — воскликнул барон, — неужели в моем замке и несмотря на присутствие самой королевы ты даешь волю своей дерзости и вспыльчивости? И притом, с кем ты затеял ссору? Если глаза не обманывают меня, это тот самый юноша, который так храбро пришел мне на помощь в стычке с Лесли? Позвольте-ка, любезный молодой человек, взглянуть на медаль, которую вы носите на шляпе. Клянусь святым Беннетом, это та самая медаль! Генри, я приказываю тебе примириться с ним, если ты дорожишь моим благословением.

— И если вы считаетесь с моим приказанием, — добавила королева. — Он оказал мне важные услуги.

— Ах, государыня, — возразил юный Ситон, — если он и доставил записку в Лохливен в ножнах

своей шпаги, он знал о ней не больше, чем почтовая лошадь.

— Зато знала я, которая посвятила его этому великому делу, — вмешалась Мэгделин Грейм, — я, чьи советы и действия помогли вывести из заключения нашу законную властительницу, я, которая не побоялась рискнуть последней надеждой униженного рода ради этого великого дела. Я-то, во всяком случае, знала, ибо именно я и придумала это. Всемиловейшая королева, пусть же награда за мои заслуги достанется этому юноше. Моя миссия окончена. Вы получили свободу, вы полновластная государыня, вы стоите во главе храброго войска, окруженная доблестными баронами. В моих услугах вы теперь не нуждаетесь, они могут лишь бросить тень на вас. Теперь ваша судьба зависит от мужской доблести и мужской шпаги. Да будут они столь же надежными, как преданность женщины.

— Вы не покинете нас, матушка, — сказала королева, — вы, которая так много сделала для нашего освобождения, подвергала себя таким опасностям, так искусно маскировалась, обманывая наших врагов и поддерживая связь с нашими друзьями. Вы не покинете нас сейчас, когда разгорается заря нашей грядущей удачи, до того времени, когда мы сможем поближе узнать вас и отблагодарить.

— Вы не можете поближе узнать ту, которая сама себя не знает, — ответила Мэгделин Грейм. — Бывает такое время, когда в этой старческой голове кроется сила того, кто был рожден в Гате, в этих потрясенных мозгах — мудрость самых опытных советников, но, глядишь, случится такое, когда снова надвинется на глаза туман, сила станет слабостью, мудрость — безумием. Мне приходилось говорить перед государями и кардиналами, да, благородная королева, даже перед государями из твоего собственного Лотарингского дома. Я сама не знаю, откуда брались у меня слова убеждения, которые слетали с моих уст, услаждая их слух. А теперь, даже когда я крайне нуждаюсь в словах убеждения, что-то обрывает мой голос и мешает мне говорить.

— Если в моих силах будет сделать что-либо для тебя, — сказала королева, — тебе достаточно будет сказать одно слово, и оно подействует лучше всякого красноречия.

— Венценосная госпожа, — ответила ей Мэгделин Грейм, — мне стыдно, что сейчас, в этот торжественный момент, суетные человеческие просьбы могут быть обращены к той, к чьим молитвам прислушиваются святые на небесах, чью борьбу за правое дело благословляет само небо. Но это следует сделать, потому что бессмертная душа заключена в земную плоть, я могу поддаться безумию, — прибавила она со слезами на глазах, — и тогда всему будет конец. — Тут она взяла за руку Роланда, подвела его к королеве, опустила на одно колено и заставила его поклонить оба колена.

— Могушественная государыня, — сказала она, — взгляни на этот цветок. Его нашел чужой человек на кровавом поле битвы, и много времени прошло, прежде чем мои глаза увидели, а мои руки прижали к сердцу все, что осталось от моей единственной дочери. Ради тебя и ради нашей общей святой веры, я оставила этот цветок, еще совсем нежным, на попечение чужих людей, наших врагов, которые, быть может, пролили бы его кровь, как вино, знай этот еретик Глендининг, что в его доме живет наследник Джулиана Эвенела. С тех пор я видела это любимое мною чадо только в редкие часы сомнений и страха, а теперь я расстаюсь с ним навсегда... Навсегда! О, за все тяготы долгого пути, который я проделала, защищая твое правое дело в нашей стране и в чужих землях, окажи покровительство этому ребенку, которого я уже не смею больше называть своим.

— Я клянусь тебе, матушка, — сказала глубоко растроганная королева, — что ради тебя и ради него самого я позабочусь о его счастье и успехе.

— Благодарю тебя, дочь королей, — сказала Мэгделин Грейм и прижалась губами сначала к руке королевы, а затем к челу своего внука. — А теперь, — сказала она, вытирая слезы и поднимаясь с достоинством, — земля получила свое, а небу причитается

остальное. Борись за победу, львица Шотландии! И если молитвы преданного сердца могут помочь тебе, я стану их возносить за тебя во многих странах и во многих святых местах. Я буду, подобно призраку, переходить из страны в страну, из храма в храм, и там, где даже не знают о моей родине, священники будут спрашивать, кто эта королева полуночной земли, за которую так неистово молится старая паломница. Прощай! Тебя ждут почет и земное счастье, если на то будет воля божья; а если нет, пусть покаяние здесь предопределил твое блаженство в веках! Пусть никто не обращается ко мне и не следует за мной; мое решение принято. Мой обет не может быть нарушен.

С этими словами она неторопливо удалилась, бросив последний взгляд на своего любимца внука. Он поднялся и хотел последовать за ней, но королева и лорд Ситон остановили его.

— Не нужно настаивать, если вы не хотите потерять ее навеки, — сказал лорд Ситон. — Много раз приходилось мне видеть эту святую женщину, и часто — в самые трудные для нас минуты. Но всякую попытку нарушить ее уединение или воспрепятствовать ее планам она считает преступлением и не прощает никогда. Я думаю, мы все же еще увидим ее, когда она нам понадобится. Эта женщина, бесспорно, праведница, она целиком посвятила себя молитве и покаянию. Поэтому еретики считают ее безумной, а истинные католики — святой.

— Будем надеяться, что вы, милорд, поможете мне выполнить ее последнюю волю.

— Какую? Покровительствовать моему юному спасителю? С величайшей охотой.. По крайней мере в том, что ваше величество сочтет приличным потребовать от меня. Генри, немедленно подай руку Роланду Эвенелу, ибо именно так, я полагаю, мы должны теперь называть его.

— И он получит во владение свое баронство, если бог благословит наше правое дело, — прибавила королева.

— Только для того, чтобы снова отдать его моей первой покровительнице, которая и ныне владеет

им, — сказал молодой Эвенел. — Лучше уж мне на всю жизнь остаться вовсе без владений, чем узнать, что она по моей вине утратила хотя бы одну пядь земли.

— Смотрите, — сказала королева лорду Ситону, — его чувства так же благородны, как и его кровь. Генри, ты все еще не подал ему руку.

— Вот она, — воскликнул Генри, но, соблюдая внешне самый учтивый вид, он успел шепнуть Роланду: — А руки моей сестры ты все-таки не получишь!

— Теперь, когда с этим покончено, — сказал лорд Ситон, — не соизволит ли ваше величество удостоить своим присутствием нашу трапезу. Близится час, когда мы увидим наши знамена отраженными в водах Клайда. Мы должны без промедления седлать коней.

Глава XXXVII

Ах, сэр, корона в этот бурный век
Была игралищем судьбы коварной,
Как тот дукат, что властью игрока
Поставлен, выигран и вновь
утрачен.

«Испанский монах»

Мы не собираемся вдаваться в изложение исторических подробностей царствования злосчастной Марии Стюарт или рассказывать, как на протяжении недели, последовавшей за ее бегством из Лохливена, к ней отовсюду стекались ее сторонники со своими вассалами, создав отважное войско в шесть тысяч человек. Мельчайшими подробностями этого периода столь тщательно занимался мистер Чалмерс в своей превосходной книге «История королевы Марии», что читателя спокойно можно отослать к этой работе, где он найдет более полную информацию, которую автор почерпнул из старинных хроник того времени. Для нашей цели достаточно сказать, что за то время, пока штаб-квартира Марии находилась в Гамильтоне,

регент и его приверженцы именем короля собрали в Глазго свою собственную армию, уступавшую в численности войску королевы, но сильную военными дарованиями Мерри, Мортонa, лорда Грейнджского и других полководцев, с юных лет принимавших участие во внешних и междоусобных войнах.

Для Марии Стюарт в этих условиях сама собой напрашивалась выжидательная тактика, стремившаяся избежать военных действий, так как, покуда королева находилась в безопасности, число ее сторонников должно было возрасти с каждым днем, в то время как силы ее противников, как это не раз бывало в прежние годы ее правления, таяли бы и утрачивали свой боевой дух.

Все это было настолько ясно советникам королевы, что они решили в качестве первостепенной меры перевезти Марию Стюарт в сильно укрепленный замок Данбартон и там дожидаться дальнейшего развития событий — прибытия подкреплений из Франции и подхода рекрутов, набор которых производился сторонниками королевы по всем провинциям Шотландии. В соответствии с этим был отдан приказ всем воинам, конным и пешим, в полном боевом вооружении выступить под знаменем королевы и, согласно принятому решению, не считаясь с противником, препроводить ее в замок Данбартон. Сперва последовал смотр военных сил на Гамильтон-мур, а затем начался поход со всей пышностью феодальной эпохи. Играла военная музыка, развевались знамена и флажки, повсюду блистали доспехи, а копыя сверкали и искрились, как звезды на зимнем небосклоне.

Живописное зрелище войскового смотра на этот раз было украшено присутствием самой королевы, которая появилась в сопровождении большой свиты дам и домашней челяди, а также особой дворянской лейб-гвардии, среди которой выделялись юный Ситон и Роланд. Мария Стюарт выказывала свою благосклонность и доверие армии, которая выстроилась рядами перед королевой, а также по обеим сторонам и позади своей повелительницы. Многие клирики также присоединились к войску. Их сан не помешал

большинству из них взять в руки оружие и объявить о своем намерении пустить его в ход в защиту Марии Стюарт и католической веры. Иначе обстояло дело с аббатом монастыря святой Марии. Роланд, не видевший этого прелата с самой ночи их бегства из Лохливена, теперь заметил его рядом с королевой, в одеянии его монашеского ордена. Юноша поспешил снять шлем и попросил у аббата благословения.

— Да будет оно всегда с тобой, сын мой, — сказал священник. — Я вижу тебя теперь под твоим истинным именем и в одежде, которая принадлежит тебе по праву. Шлем с ветвью остролиста хорош на твоем челе. Я долго ждал часа, когда ты наденешь его.

— Значит, вы знали о моем происхождении, достопочтенный отец?

— Знал от твоей бабушки, но это была тайна, доверенная мне на исповеди. Я не имел права ее раскрыть, пока матушка Мэгделин сама не раскрыла ее.

— Но почему она держала все это в такой строгой тайне, отец мой? — спросил Роланд Эвенел.

— Вероятно, из страха перед моим братом, страха бессмысленного, ибо Хэлберт даже ради целого королевства не обидел бы сироту. Кроме того, в мирное время, если даже считать, что твой отец честно обошелся с твоей матерью, в чем я почти не сомневаюсь, твои права на этот замок все же уступают правам жены Хэлберта, дочери старшего брата Джулиана.

— Ей нечего опасаться моих притязаний, — сказал Эвенел. — Шотландия достаточно обширна, и в ней найдется немало имений, помимо замка моей благодетельницы. Но подтвердите, ваше преосвященство, что мой отец честно обошелся с моей матерью, докажите это мне, чтобы я мог считать себя законным потомком Эвенелов, и вы навсегда найдете во мне своего преданного раба!

— Постараюсь, — ответил аббат. — Ситоны, как я слышал, презирают тебя за это пятно на твоем гербе. Однако я кое-что узнал от прежнего аббата Бонифация, и если только его сведения подтвердятся, тебе удастся полностью избавиться от этого обвинения.

— Откройте мне эту благословенную тайну! — воскликнул Роланд. — И всю мою дальнейшую жизнь...

— Нетерпеливый юноша! — сказал аббат. — Боюсь, что я напрасно возбуждаю твою и без того пылкую натуру, внушая надежды, которым, быть может, никогда не дано осуществиться. Да и время ли сейчас для подобных дел? Подумай, какой опасный поход нам предстоит, и если у тебя есть в чем покаяться, не упусти этого, быть может, последнего часа, который небо предоставило тебе для исповеди и отпущения грехов.

— Я полагаю, что для того и для другого хватит времени, когда мы достигнем замка Данбартон, — возразил паж.

— Ну вот, — воскликнул аббат, — ты петушишься, как и все прочие; но мы ведь еще не в Данбартоне, и на пути туда нас подстерегает лев в засаде.

— Вы имеете в виду Мерри, Мортон и других мятежников из Глазго, почтенный отец? Но ведь они даже не посмеют взглянуть на королевский штандарт!

— Вот так же, — ответил аббат, — рассуждают многие из тех, кто постарше тебя и кому необходимо рассуждать иначе, чем ты. Я только что вернулся из южных графств, где многие славные бароны вооружаются для защиты королевы. Уезжая оттуда, я оставил лордов мудрыми и рассудительными, а по возвращении нахожу их совершенно обезумевшими. Они хотят из надменности и пустого тщеславия бросить вызов врагу и провезти королеву, словно в триумфальной процессии, мимо стен Глазго, на глазах у войска наших противников. Небеса редко покровительствуют столь преждевременной самоуверенности. Нам навяжут сражение, и не к нашей выгоде.

— Ну что же, тем лучше, — обрадовался Роланд, — поле битвы было моей колыбелью.

— Берегись, как бы оно не стало твоим смертным ложем, — сказал аббат. — Но что пользы говорить молодым волкам об опасностях охоты. Вы, возможно, еще сегодня узнаете, каковы те люди, которых вы сейчас оцениваете столь презрительно.

— Ну, и каковы же они? — спросил Генри Ситон, присоединившись к ним. — Разве у них жилы из проволоки и тела из железа? Пронзает ли их свинец и сражает ли их сталь? Если так, достопочтенный отец, то нам нечего их бояться.

— Это скверные люди, — сказал аббат, — но война и не требует святых. Мерри и Мортон прославились как лучшие полководцы в Шотландии. Никто никогда не видел, чтобы Рутвен или Линдсей обратились в бегство. Кирколди Грэйнджского коннетабль Монморанси назвал первым воином Европы. Мой брат — слишком уж славное имя для подобного дела — также повсюду известен как искусный полководец.

— Тем лучше, тем лучше! — торжествуя, вскричал Ситон. — Все эти знатные и сановные изменники предстанут перед нами в честном бою. Наше дело самое правое, и мы превосходим их численностью, а наши сердца и мускулы не уступают им ни в чем. Вперед, святой Беннет с нами!

Аббат ничего не ответил, но, казалось, погрузился в раздумье; его беспокойство в какой-то степени передалось и Роланду Эвенелу, который всякий раз, когда путь их шел через гору или возвышенность, бросал тревожный взгляд на башни Глазго, как бы ожидая увидеть признаки того, что оттуда выступает противник. Не то чтобы он боялся боя, но исход битвы был настолько важен для него и для его страны, что прирожденное пламя его храбрости пылало не столь оживленно, хотя и не менее ярко. Любовь, честь, слава, счастье — все, казалось, зависело от исхода сражения, возможно опрометчивого и рискованного, но ныне, видимо, неизбежного и решающего.

Когда войска королевы почти подошли к Глазго, Роланд заметил, что холмы на их пути были уже частично заняты чужими солдатами, над которыми также развевалось королевское знамя Шотландии, и как раз в этот момент им на подмогу подходили новые колонны пехотинцев, а из городских ворот быстро выступали эскадроны кавалерии, торопясь оказать поддержку передовым частям, которые уже перекрыли дорогу воинам королевы. Гонцы из авангарда

доносили, что Мерри бросил на это поле всю свою армию, стремясь помешать походу Марии Стюарт и вызвать ее войско на бой. Теперь характеры людей подверглись внезапному и суровому испытанию, и те, кто слишком самоуверенно рассчитывал, что им не навяжут боя, несколько смутились, увидев себя сразу, без подготовки, перед лицом противника, настроенного весьма решительно. Все военачальники немедленно собрались около королевы, держа срочный военный совет. Дрожащие губы Марии Стюарт выдавали ее страх, который она пыталась скрыть, сохраняя гордый и полный достоинства вид. Однако ее усилия были побеждены мучительными воспоминаниями о бедственном исходе ее последнего вооруженного выступления под Карбери-хиллом. И, желая узнать мнение членов совета о плане битвы, она невольно спросила, нельзя ли избежать сражения.

— Избежать? — переспросил лорд Ситон. — Если бы нас было здесь вдесятеро меньше, чем врагов вашего величества, я бы еще, пожалуй, пытался уклониться от боя, но не сейчас, когда у нас трое воинов против каждого двух солдат противника.

— Сражаться! Сражаться! — закричали собравшиеся лорды. — Мы погоним мятежников с их позиций, как гончие сбивают с пути зайца на склоне холма.

— Не кажется ли вам, благородные лорды, — спросил аббат, — что не менее удачным было бы опередить их в захвате этого тактически выгодного пункта? Наш путь лежит вон через ту деревушку, прилепившуюся на кромке обрыва, и тот, кому посчастливится завладеть ее огородами и садами, получит хорошо укрепленную позицию.

— Достопочтенный отец прав, — сказала королева. — Поторопись же, Ситон, поторопись и займи ее раньше их. Они ведь несутся как ветер.

Лорд Ситон низко поклонился и повернул своего коня.

— Ваше величество оказывает мне честь, — сказал он, — я немедленно двинусь вперед и перехвачу проход.

— Но не раньше меня, милорд: мне поручено командовать авангардом, — заявил лорд Арброт.

— Раньше вас и любого другого Гамильтона во всей Шотландии! — вскричал лорд Ситон. — Таков приказ королевы. За мной, мои вассалы и родичи! Святой Беннет с нами, вперед!

— За мной, мои благородные родичи и храбрые вассалы! — воскликнул лорд Арброт. — Посмотрим, кто первый достигнет опасного места. За веру и королеву Марию!

— Что за пагубная спешка, какое бессмысленное соперничество, — сказал аббат, наблюдая, как лорды и их приверженцы, стремясь обогнать друг друга, пустились вскачь по направлению к горе, забыв даже расставить свои войска в боевом порядке. — А вы, джентльмены, — продолжал он, обращаясь к Роланду и Ситону, каждый из которых уже приготовился скакать вместе с прочими навстречу битве, — неужели вы оставите королеву без всякой охраны?

— О, не покидайте меня, джентльмены! — воскликнула королева. — Роланд и Ситон, не покидайте меня, там достаточно воинов для этой свирепой битвы, не отнимайте у меня тех, кому я доверила заботу о моей безопасности!

— Мы не можем оставить королеву, — сказал Роланд, посмотрев на Ситона, и повернул назад своего коня.

— Я так и думал, что ты на это сошлешься, — ответил надменный юноша.

Роланд только прикусил до крови губу и, прищипывая коня, подъехал к Кэтрин Ситон, сидевшей на иноходце.

— Я никогда не думал совершить что-нибудь, что сделало бы меня достойным вас, — шепнул он ей, — но сегодня я выслушал упрек в трусости, и тем не менее моя шпага осталась в ножнах. Я сделал это только из любви к вам.

— Нас всех охватило безумие, — ужаснулась девушка. — Мой отец, мой брат и вы — все лишились рассудка. Вам следовало бы думать только о нашей бедной королеве, а вас обуревают нелепые ревнивые

страсти. Аббат — единственный настоящий воин и муж совета среди вас всех. Ваше преосвященство, — громко сказала она, — не лучше ли нам податься к западу и выждать волю неба, вместо того чтобы оставаться здесь, на холме, подвергая опасности королеву и мешая передвижениям войск.

— Ты права, дочь моя, — ответил аббат, — но нужен человек, который проводил бы нас туда, где королеве не угрожает опасность. А между тем наши вельможи спешат в бой, не обращая внимания на ту, ради которой затеяна вся эта война.

— Следуйте за мной, — сказал появившийся неизвестно откуда рыцарь или латник на прекрасном коне, весь закованный в черные доспехи, но с опущенным забралом и без герба на шлеме или девиза на щите.

— Для того чтобы следовать за незнакомым человеком, — сказал аббат, — мы должны быть уверены в его преданности королеве.

— Я здесь один и полностью нахожусь в вашей власти, — сказал всадник. — Если вы хотите узнать обо мне больше, королева может поручиться за меня.

Королева оставалась все это время как бы прикованной к месту. Оцепенев от страха, она все же машинально улыбалась, кланялась и приветствовала движением руки склонявшиеся перед ней знамена и опущенные копы, когда отряды Ситона и Арброта, стремясь опередить друг друга, продвигались вперед к месту битвы. Но как только черный всадник шепнул ей что-то на ухо, она тут же выразила свое согласие, и когда он громко скомандовал: «Джентльмены, королева соизволила приказать вам следовать за мной», — Мария Стюарт почти резко подтвердила:

— Да, это так!

Все сразу же пришло в движение, а черный всадник, который при первом появлении выглядел несколько апатичным, теперь быстро носился на своем коне то туда, то сюда, пришпоривал его и заставлял проделывать такие невероятные скачки и крутые повороты, которые бывают под силу лишь весьма искус-

ным наездникам. Выстроив походным порядком свиту королевы, он повел ее влево, по направлению к замку, расположенному на вершине отлогой возвышенности, с которой открывался широкий вид на расстилающуюся внизу местность, в частности — на те высоты, куда сейчас торопились добраться обе армии и где должно было в самое ближайшее время развернуться ожесточенное сражение.

— Кому принадлежат эти башни? — спросил аббат у черного всадника. — В дружественных ли они руках?

— Там никто не живет, — ответил незнакомец, — или, во всяком случае, в них нет неприятеля. Но убедите этих юношей поспешить, ваше преосвященство. Сейчас не время для пустого любопытства и созерцания битвы, в которой они не принимают участия.

— Тем хуже для меня, — сказал Генри Ситон, услышав эти слова. — Я бы предпочел сейчас сражаться под знаменами моего отца, чем стать управляющим двора в Холируде за терпеливое и добросовестное выполнение моих нынешних мирных обязанностей по эскورتу королевы.

— Место под знаменами вашего отца вскоре станет весьма опасным, — заметил Роланд Эвенел, который, повернув коня на запад, все еще не мог оторвать взгляд от сходящихся армий. — Уже сейчас видно, что вон тот кавалерийский отряд, наступающий с востока, достигнет деревни раньше войск лорда Ситона.

— Это всего лишь кавалерия, — сказал, приглядевшись, Ситон, — они не удержат деревню без поддержки аркебузирова.

— Вглядитесь внимательней, — сказал Роланд, — и вы увидите, что за каждым из всадников, с такой скоростью мчащихся из Глазго, сидит пехотинец.

— Клянусь небом, он прав! — воскликнул черный рыцарь. — Одному из вас придется отвезти эту весть лорду Ситону и лорду Арброту, чтобы они не торопили своих кавалеристов до подхода пехоты, а постарались вести правильное наступление.

— Поручите это мне, — попросил Роланд. — Я первый разгадал план врага.

— Но, с вашего позволения, — воскликнул Ситон, — дело идет об отряде моего отца, и скорее мне бы следовало поспешить ему на выручку.

— Я готов подчиниться решению королевы, — сказал Роланд Эвенел.

— Как, снова жалобы? Опять за споры? — воскликнула королева Мария. — Разве в той туче войск мало врагов Марии Стюарт? Нужно ли еще ее друзьям враждовать между собой?

— Но, ваше величество, — возразил Роланд, — юный владелец Ситона и я оспаривали друг у друга только право покинуть вашу особу, чтобы передать важное сообщение войску. Он считает, что его имя дает ему полное право на это, а я полагаю, что лучше подвергнуть этой опасности меня, как лицо менее значительное.

— Нет, — сказала королева, — если один из вас должен покинуть меня, то пусть это будет Ситон.

Генри Ситон, полный благодарности, отвесил королеве столь низкий поклон, что белые перья его шлема смешались с разметавшейся гривой его красивого боевого коня. Затем с торжествующим видом он уселся покрепче в седле, решительно взмахнул копьем и, шпорами заставляя коня преодолевать все препятствия, поскакал по направлению к знамени, осенявшему все еще поднимавшийся по холму отряд его отца.

— Мой брат! Мой отец! — вскрикнула Кэтрин, охваченная тяжелым предчувствием. — Они оба там, в гуще опасности, а мне ничто не грозит!

— О, если бы бог дал мне возможность, — сказал Роланд, — быть вместе с ними и за каждую каплю их крови отдать две своих!

— Разве я не знаю, что ты стремишься к этому? — ответила Кэтрин. — Может ли женщина сказать мужчине то, что я уже почти высказала тебе, если она считает его способным испытывать страх или слабодушие? В этих звуках приближающейся битвы есть что-то и привлекательное и пугающее. Хотела бы я быть мужчиной, чтобы ощущать этот восторг без примеси ужаса.

— Сюда, сюда, леди Кэтрин Ситон! — кричал аббат, в то время как они продолжали скакать и уже подъезжали к стенам замка. — Сюда! Помогите леди Флеминг поддержать королеву. Она слабеет с каждой минутой.

Они остановились и сняли Марию Стюарт с седла. Ее хотели уже вести к замку, когда она сказала им слабым голосом:

— Не туда, не туда! Я никогда больше не вступлю в этот замок.

— Будьте королевой, ваше величество, — сказал аббат, — и забудьте, что вы женщина.

— О, мне нужно забыть гораздо большее, прежде чем я смогу снова смотреть на эти слишком знакомые мне места. Мне придется забыть дни, когда я была невестой покойного... убитого...

— Это замок Крукстон, — сказала леди Флеминг, — в котором королева давала свою первую аудиенцию после того, как вышла замуж за Дарнлея.

— О боже, — воскликнул аббат, — над нами твоя десница! И все-таки возьмите себя в руки, государины! Ваши враги — противники святой церкви, и господь решит сегодня, будет ли Шотландия католической или еретической.

Тяжелый, длительный грохот пушек и мушкетов придавал потрясающую значительность его словам и произвел на королеву даже большее впечатление, чем сами эти слова.

— К тому дереву, — сказала она, указывая на тис, росший на пригорке у стен замка. — Оно мне хорошо знакомо. Отсюда открывается такой же обширный вид, как с вершины Шехэлиона.

Оттолкнув поддерживавших ее женщин, она решительным, хоть и несколько неровным шагом направилась к стволу благородного тиса. Аббат, Кэтрин и Роланд Эвенел последовали за ней, в то время как леди Флеминг, замыкая шествие, удерживала в некотором отдалении прочих членов свиты. Черный всадник неотступно, как тень, следовал за королевой, соблюдая дистанцию в несколько ярдов. Он сложил руки на груди, повернулся спиной к битве и, казалось, был

занят только тем, что смотрел на Марию Стюарт сквозь решетку своего забрала. Королева, казалось, не видела его, она устремила свой взгляд на раскидистый тис.

— О прекрасное и стройное дерево, — сказала она, как бы уносясь в этом созерцании прочь от окружающего ее мира и преодолевая ужас, охвативший ее при первом приближении к замку Крукстон, — ты стоишь по-прежнему, веселое и доброе, как всегда, хотя сейчас к тебе доносятся звуки битвы, а не любовные клятвы. Все унеслось с тех пор, как я в последний раз приветствовала тебя, — любовь и любящий, клятвы и клявшийся, король и королевство... Как идет сражение, ваше преосвященство? Надеюсь, в нашу пользу... И все же, что, кроме горя, может увидеть Мария в этом месте?

Ее приближенные жадно устремили взгляд на поле битвы, но ничего не могли разобрать там, кроме того, что сражение было весьма ожесточенным.

Небольшие огороды и домики этой деревушки, расположенные на всех подступах к ней, кроме непосредственно прилегающего пространства, все эти кленовые и ясеневые аллеи, столь мирно и спокойно выглядевшие в мягких лучах майского солнца, ныне были превращены в огневую полосу, окутаны дымом, а непрерывающийся гул выстрелов из мушкетов и пушек, к которому примешивались крики сражавшихся бойцов, показывал, что до сих пор ни одна из сторон не уступила другой и исход сражения еще не определен.

— Многим душам эта чудовищная канонада открывает последний путь на небо или в ад, — сказал аббат. — Верующие в святую католическую церковь да вознесут со мной молитву о нашей победе в этом ужасном сражении.

— Только не здесь... не здесь, — просила несчастная королева. — Не молитесь здесь, святой отец, или же молитесь тихо. Мое сердце разрывается между прошлым и настоящим, я не решаюсь приблизиться к престолу всевышнего. Помолитесь, если хотите, за грешницу, у которой самые нежные привязанности

становились ее самыми страшными преступлениями и которая перестала быть королевой только потому, что была мягкосердечной и доверчивой женщиной.

— Не подъехать ли мне поближе к войскам, чтобы выяснить исход сражения? — спросил Роланд.

— Ради бога, поезжай туда, — сказал аббат, — ибо, если наши друзья разбиты, нам придется бежать как можно скорее. Только будь осторожен, держись в стороне от битвы. От твоего благополучного возвращения зависит не только твоя собственная жизнь.

— О, не подъезжайте туда слишком близко, — просила его и Кэтрин. — Не забудьте только посмотреть, как дерутся Ситоны и как они держатся в бою!

— Не тревожьтесь, я буду осторожен, — пообещал Роланд Эвенел и, не дожидаясь ответа, направился к полю битвы, придерживаясь более высоко расположенной и свободной от заграждений дороги и то и дело осторожно оглядываясь по сторонам, из опасения заехать в расположение неприятельских отрядов. По мере приближения к месту сражения выстрелы звучали все громче и громче, перестрелка становилась все более и более ожесточенной, и он почувствовал то биение сердца, ту смесь естественного страха, напряженного любопытства и тревоги за исход дела, которая овладевает даже самыми храбрыми людьми, когда они в одиночку приближаются к месту интересных и опасных событий.

Наконец он подъехал настолько близко, что с вала, укрытого кустами и подлеском, ему отчетливо представилось место, где схватка достигла наибольшего ожесточения. Перед ним проходила ведущая к деревне большая дорога, по которой, проявляя больше безрассудной смелости, чем трезвой осмотрительности, продвигался авангард войск королевы с целью овладеть этим выгодным стратегическим пунктом. Приблизившись к деревне, сторонники королевы обнаружили, что неприятель предупредил их. За живой изгородью и искусственными ограждениями засели уже воины прославленного Кирколди Грэйнджского и графа Мортон; в результате этого наступающие понесли немалый урон, пробираясь вперед, на сближение с против-

ником. Но сторонники королевы — главным образом вельможи и бароны со своими родичами и вассалами — продолжали вести наступление, презирая опасность, не обращая внимания на препятствия, и к тому времени, когда Роланд прибыл на место сражения, они уже сошлись вплотную с авангардом регента в узком проходе, стремясь силой оружия выбить его из деревушки, тогда как их противники были полны неменьшей решимости сохранить добытое преимущество и с таким же ожесточением старались оттеснить осаждающие их войска неприятеля.

Оба стана дрались в пешем строю и были хорошо вооружены; так что когда длинные копья передних бойцов уперлись каждое в щит, латы или нагрудники неприятеля, сражение стало напоминать столкновение двух быков, упершихся лоб в лоб и остающихся в таком положении часами, пока один из них, превосходящий другого силой или упрямством, не обратит своего противника в бегство или не опрокинет его на землю. Так стояли и они, сцепившись в смертельной схватке, порой продвигаясь немного вперед или назад, в зависимости от того, какая из партий на несколько минут одерживала верх. Тех, кто падал, топтали ногами и друзья и враги; те, у кого ломалось оружие, отходили из передних рядов, их место занимали другие, в то время как задние ряды, не имеющие возможности принять иного участия в сражении, стреляли из пистолетов и метали во врага, словно дротики, свои кинжалы, наконечники копий и обломки оружия. «Бог и королева!» — провозглашала одна сторона; «Бог и король!» — гремело в ответ. Если во имя своих государей сограждане в обоих станах проливали братскую кровь, то во имя своего создателя они искажали его образ и подобие. Среди всего этого шума раздавались голоса начальников, выкрикивающих команды, или полководцев и вождей, созывающих сбор, слышались стоны и вопли падающих и умирающих.

Бой длился уже более часа. Силы обоих противников, казалось, были на исходе; но ярость их и упрямство не убывали. В это время Роланд, внимательно следивший за происходящим, увидел колонну

пехотинцев с несколькими всадниками во главе, которая, обогнув насыпь, где находился паж, ударила во фланг авангарда войск королевы, направив свои длинные копья на тех, кто был занят схваткой с врагом, находившимся впереди. Роланд с первого же взгляда узнал в руководителе столь искусного маневра своего старого хозяина, рыцаря Эвенела. Следующий взгляд убедил его в том, что этот маневр решит судьбу сражения. Результат атаки свежих и не участвовавших еще в бою войск на фланг бойцов, уже утомленных длительной схваткой, действительно оказался мгновенным.

Колонна осаждающих, которая до сих пор выглядела единым и неразрывным рядом пернатых шлемов, сразу же была опрокинута и в беспорядке отброшена вниз по холму, которым они так долго пытались овладеть. Напрасно начальники созывали своих воинов и сами пытались еще сопротивляться там, где сопротивление было уже безнадежным. Одни из них были убиты, другие повергнуты наземь, третьи увлечены смешанным потоком бегущих и преследователей.

Как ужасны были переживания Роланда, видевшего это беспорядочное бегство и понимавшего, что ему остается лишь повернуть коня и попытаться обеспечить безопасность королевы! И все-таки, как бы ни были сильны чувства печали и стыда, охватившие его, то и другое было забыто, когда почти у подножия насыпи, где он стоял, он увидел Генри Ситона, оттесненного от своих соратников, покрытого пылью и кровью и отчаянно защищавшегося от нескольких врагов, которых привлекли его блестящие доспехи. Роланд, не колеблясь ни минуты, направил своего коня вниз и ворвался в центр неприятельской группы. Он нанес несколько ударов, уложив двух врагов и заставив остальных отступить на значительное расстояние. Затем, протянув руку Ситону, он велел ему крепко держаться за гриву лошади.

— Сегодня мы либо вместе погибнем, либо вместе пробьемся, — сказал он. — Держитесь только крепче, пока мы выберемся из этой свалки, а там — мой конь к вашим услугам.

Ситон, услышав его, напряг последние силы, благодаря чему Роланду удалось вытащить Генри из опасной схватки и отвести его к тем кустам, под прикрытием которых паж раньше следил за трагическим исходом сражения. Но едва они оказались под сенью деревьев, как Ситон разжал руки и упал на дерн, несмотря на старания Роланда поддержать его.

— Не беспокойтесь больше обо мне, — сказал Генри, — хотя это мое первое и последнее сражение, но я уже досыта на него насмотрелся и мне не хочется видеть его конец. Торопитесь спасти королеву и кланяйтесь от меня Кэтрин, больше никогда ее не примут за меня и меня за нее. Удар меча навеки уничтожил наше сходство.

— Я помогу вам сесть на коня, — горячо возразил Роланд. — Вы еще можете спастись, а я доберусь пешком. Поверните на запад, и конь понесет вас легко и быстро, как ветер.

— Я никогда больше не сяду на коня, — ответил юноша. — Прощайте. Умирая, я люблю вас больше, чем когда-либо любил вас при жизни. Хотелось бы, чтобы мои руки были чисты от крови этого старика! *Sancte Benedicte, ora pro me!*¹ Не стойте, глядя на умирающего, а спешите спасти королеву.

Эти слова он произнес последним усилием воли, и едва они прозвучали, как говорившего не стало. Слова его напомнили Роланду о долге, который он чуть не позабыл; но не только он слышал эти слова.

— Королева, где королева? — воскликнул сэр Хэлберт Глендининг, который появился в этот момент в сопровождении нескольких всадников.

Вместо ответа Роланд повернул коня и, понукая его уздечкой и шпорами, целиком положился на его быстроту; по неровной местности, через холмы и лощины, помчался он к замку Крукстон. Более тяжело вооруженный и сидевший на менее быстром коне сэр Хэлберт Глендининг последовал за ним с копьем наперевес.

¹ Святой Бенедикт, помолись за меня! (лат.).

— Остановитесь, сэр с остролистом! Докажите свое право на этот знак, не удирайте так трусливо, не позорьте чужой герб! Да стойте же, господин трус, или, клянусь небом, я всажу вам копье в спину и убью вас как последнего негодяя! Я — рыцарь Эвенел, сэр Хэлберт Глендининг!

Но Роланд, который не имел намерения сражаться со своим бывшим покровителем и, кроме того, понимал, что от его проворства зависит безопасность королевы, не отвечал ни единым словом на вызовы и оскорбления, которыми продолжал его осыпать сэр Хэлберт. Пришпоривая коня, он скакал быстрее прежнего и обогнал своего преследователя на сотню ярдов, когда возле тиса, где он оставил королеву, показались его друзья, спешившие ему навстречу. Он закричал изо всех сил:

— Враги! Враги! Скачите прочь, прекрасные дамы! Храбрые дженгльмены, выполняйте свой долг и защищайте их!

С этими словами он внезапно повернул коня и, избегая столкновения с сэром Хэлбертом Глендинингом, так резко бросился на одного из его спутников, оказавшегося почти рядом с ним, что опрокинул своим копьем коня и всадника. Затем он выхватил шпагу и атаковал второго противника, между тем как черный рыцарь преградил дорогу Глендинингу, и эти двое с такой силой ринулись друг на друга, что оба упали на землю вместе со своими лошадьми. Ни тот, ни другой не могли подняться, так как черный всадник был пронзен насквозь копьем Глендининга, а рыцарь Эвенел, придавленный тяжестью своего коня и сильно ушибленный при падении, находился, казалось, не в лучшем положении, чем тот, кого он смертельно ранил.

— Сдавайтесь, сэр рыцарь Эвенел, на милость и на немилость! — закричал Роланд, который, выведя из строя второго противника, поспешил к Глендинингу, чтобы помешать ему снова принять участие в этой схватке.

— Я вынужден сдаться, ибо у меня нет выбора, — сказал сэр Хэлберт, — я не могу продолжать бой, но мне стыдно сдаваться такому трусу, как ты.

— Не называйте меня трусом, — сказал Роланд, приподнимая забрало и помогая своему пленнику встать. — Если бы не ваша прежняя доброта ко мне и в особенности доброта вашей жены, я принял бы ваш вызов, как подобает храбрецу.

— Любимый паж моей жены! — удивленно произнес сэр Хэлберт. — О несчастный мальчик, я слышал о твоей измене в Лохлиvene.

— Не упрекай его, брат мой, — сказал аббат, — он был только орудием провидения.

— На коней, на коней! — воскликнула Кэтрин Ситон. — Седлайте коней — и вперед, иначе мы пропали. Я вижу, наше храброе войско бежит. На коня, ваше преосвященство, на коня, Роланд. Скорее на коня, моя милостивая повелительница. Нам бы надо быть уже за много миль отсюда!

— Взгляни на эти черты, — сказала Мария Стюарт, указывая на умирающего рыцаря, с которого чья-то сострадательная рука сняла шлем, — взгляни и скажи мне, должна ли та, которая губит всех, кто полюбит ее, сделать еще хоть один шаг для спасения своей злосчастной жизни?

Читатель, вероятно, давно догадался об открытии, которое чувства королевы подсказали ей еще до того, как она убедилась в этом своими глазами. Это было лицо несчастного Джорджа Дугласа, и смерть уже начертала на нем свой знак.

— Взгляни, хорошенько взгляни на него, — продолжала королева, — так было со всеми, кто любил Марию Стюарт: царственность Франциска, остроумие Шателара, сила и доблесть жизнерадостного Гордона, мелодии Риччо, величавая осанка и юношеская грация Дарнлея, смелая предприимчивость и придворное изящество Босуэла, а теперь самоотверженная, преданная страсть благородного Дугласа — ничто не могло спасти их: они были увлечены несчастной Марией, а любить ее было преступлением, которое могла искупить лишь ранняя смерть. Не успевала жертва с любовью устремиться ко мне, как уже отравленный кубок, топор и плаха, кинжал или взрыв готовы были покарать ее за то, что она тратит свои чувства на та-

кую грешницу, как я. Не настаивайте, я не стану бежать. Умирают всего один раз, и я умру здесь!

Когда она говорила это, ее слезы падали на лицо умирающего, продолжавшего смотреть на нее с такой страстью во взоре, которую не могла охладить даже сама смерть.

— Не оплакивайте меня, — произнес он слабым голосом, — позаботьтесь о собственной безопасности. Я умираю в своих доспехах, как подобает Дугласу, я умираю, оплакиваемый Марией Стюарт!

С этими словами он испустил последний вздох, не отводя взгляда от ее лица, и королева, чье нежное и мягкое сердце могло бы сделать ее счастливой в семейной жизни, если бы ее мужем оказался более достойный человек, чем Дарнлей, продолжала плакать над умершим, пока ее не привел в чувство голос аббата, избравшего необычное средство увещания.

— Государыня, — начал он, — мы все здесь преданные приверженцы вашего величества, у нас также есть друзья и родные, которых нужно оплакивать; я оставляю в большой опасности брата, муж леди Флеминг, отец и брат леди Кэтрин — все они либо, как мы опасаемся, лежат мертвыми на том кровавом поле, либо захвачены в плен. Мы забываем об участии самых близких и самых любимых наших людей, чтобы служить нашей королеве, а она так занята своей скорбью, что не может уделить даже мысли нашим горестям.

— Я не заслужила вашего упрека, отец, — сказала королева, едва сдерживая слезы, — но я готова подчиниться. Куда нам идти? Что нам делать?

— Нам нужно бежать, и притом немедленно, — ответил аббат. — Куда? На это ответить нелегко. Но мы обсудим это дорогой. Поднимите королеву на седло — и в путь!

Они пустились в путь. Паж королевы задержался на минуту, чтобы приказать людям рыцаря Эвенела проводить своего хозяина в замок Крукстон и передать ему, что Роланд отпускает его на свободу, не ставя никаких условий, кроме честного слова, данного рыцарем за себя и за своих спутников, что они сохраняют в тайне от преследователей направление,

в котором скрылась королева. Когда он повернул коня и собирался уехать, он увидел честную физиономию Адама Вудкока, уставившегося на него с таким изумлением, что в другое время это вызвало бы у пажавзрыв смеха. Вудкок оказался одним из тех солдат сэра Глендининга, которые на себе испытали силу ударов Роланда. Теперь сокольничий и паж узнали друг друга, так как Роланд поднял забрало, а честный йомен сбросил шишак с железным наконечником, чтобы лучше помочь своему хозяину. В этот лежавший на земле шишак Роланд не преминул бросить несколько золотых (плоды щедрот королевы), и, помахав Адаму рукой в знак того, что он узнал его, и в залог прочной дружбы, паж поскакал галопом, догоняя свиту королевы, чьи кони поднимали пыль далеко внизу по склону холма.

— Это не призрачные деньги, — сказал честный Адам, перебирая и взвешивая на ладони монеты. — И это уж наверняка был сам мейстер Роланд — та же щедрая душа и, клянусь пресвятой девой, — поежился сокольничий, — тот же здоровый кулак! Миледи будет рада услышать об этом, ибо она оплакивает его, как родного сына. Посмотреть только, каков щеголь! Впрочем, эти легковесные пареньки всегда взбираются наверх, как пена в пивной кружке. А наш брат, который потолще, так и остается в сокольничих.

С этими словами он отправился помочь товарищам, число которых увеличили новоприбывшие, препроводить своего хозяина в замок Крукстон.

Глава XXXVIII

Прощай, мой край родной!

Байрон

Немало горьких слез пролила королева Мария во время поспешного бегства, размышляя о крушении своих надежд, о грозном будущем и о друзьях, павших на поле битвы. Смерть отважного Дугласа и

вспыльчивого, но доблестного юного Ситона, казалось, потрясла ее не меньше, чем утрата уже почти достигнутого престола. Кэтрин Ситон, втайне снедаемая собственными горестями, пыталась восстановить надломленный дух своей госпожи, в то время как аббат, предаваясь невеселым думам о будущем, тщетно ломал голову, стремясь найти какой-нибудь выход, обрести хотя бы луч надежды. Один только юный Роланд, который также принимал участие в импровизированных дискуссиях, возникавших среди сторонников королевы во время ее бегства, полностью сохранял присутствие духа.

— Ваше величество, — сказал он однажды, — вы проиграли всего лишь одну битву. Ваш предок Брюс проиграл подряд семь сражений и тем не менее с триумфом взшел на шотландский престол, победоносно утвердив на поле Бэннокберна независимость своей страны. Разве эти степи, по которым мы нынче беспрепятственно несемся на наших конях, не лучше, чем запертый, тщательно охраняемый и окруженный озером замок Лохливен? Мы свободны! Одно это слово способно вознаградить нас за все утраты.

Эта смелая речь не встретила, однако, отклика в сердце Марии Стюарт.

— Уж лучше бы мне остаться в Лохливене, чем видеть страшную бойню, учиненную мятежниками моим подданным, которые отдали свои жизни ради меня. Не говори мне о дальнейших попытках: они прежде всего будут стоить жизни вам, моим друзьям, тем самым, которые уговаривают меня продолжать борьбу. Я не хочу снова испытать те чувства, которые овладели мной на вершине горы, когда я увидела, как мечи свирепых всадников Мортонна опустошают ряды моих верных Ситонов и Гамильтонов только за их преданность королеве. Я не хочу снова испытать то, что я почувствовала, когда кровь Дугласа обагрила мой плащ только потому, что он любил Марию Стюарт. Я бы не согласилась пережить это вновь, даже если бы мне предложили стать владычицей всех британских морей. Подыщите лучше какое-нибудь место,

где бы смогла приклонить свою несчастную голову та, которая навлекает гибель на каждого, кто полюбит ее; такова последняя услуга, которой ждет Мария Стюарт от своих преданных друзей.

Находясь в столь мрачном расположении духа и все-таки продолжая свое бегство с неослабевающей поспешностью, бедная королева, к которой присоединился теперь лорд Хэрис и некоторые другие ее сторонники, сделала наконец первую остановку в аббатстве Дандренан, в шестидесяти милях от поля боя. В этом отдаленном уголке Гэллоуэя реформатская церковь еще не обратила свою ярость на монахов; некоторые из них по-прежнему оставались в своих кельях, не подвергаясь преследованиям, и действительно со слезами на глазах и с почестями встретил победленную королеву у ворот монастыря.

— Я несу вам гибель, мой добрый отец, — сказала королева, когда ей помогли сойти с коня.

— Мы примем ее с радостью, — ответил настоятель, — если она застанет нас на стезе долга.

Сойдя на землю и опираясь на фрейлин, королева бросила взгляд на свою измученную лошадь, которая стояла с опущенной головой и как будто оплакивала горести своей хозяйки.

— Добрый Роланд, — шепнула королева пажу, — пусть позаботятся о Розабел. Спроси свое сердце, и оно подскажет тебе, почему меня тревожит эта безделица даже в такой ужасный час.

Марию Стюарт провели в отведенные ей покои, и на спешном совещании ее вельмож было принято наконец роковое решение отступить в Англию. Утром оно получило одобрение Марии Стюарт, и к английскому губернатору был послан нарочный с просьбой предоставить эскорт и оказать гостеприимство королеве Шотландии. На следующий день аббат Амвросий, прогуливаясь в монастырском саду с Роландом, высказал ему свое недовольство по поводу принятого решения.

— Это безумие и гибель, — сказал он. — Лучше отдать себя в руки диких горцев или пограничных разбойников, чем довериться Елизавете. Женщина до-

веряется своей сопернице! Претендентка на престол отдает себя в руки завистливой и бездетной королевы! Хэрис верен и предан своей госпоже, Роланд, но его совет толкает ее в бездну.

— Ах, бездна ожидает нас всех, — сказал стоявший с лопатой в руках старик в мирской одежде, которого прежде не заметил аббат, увлеченный своей речью. — Не смотрите на меня с таким удивлением. Я тот, кто был аббатом Бонифацием в Кеннаквайре и садоводом Блинкхули в Лохлиvene; преследования загнали меня в эти края, где я некогда проходил свое послушничество и куда теперь явились вы, чтобы снова потревожить мой покой. Тягостно складывается жизнь человека, который всегда ценил спокойствие, как величайшее из благ.

— Мы скоро избавим вас от нашего общества, добрый отец, — ответил аббат, — и королева, боюсь, уже никогда больше не потревожит вас в вашем уединении.

— Это вы и раньше говорили, — возразил ворчливый старик, — и все-таки меня выгнали из Кинроса, а по дороге я еще был ограблен солдатами. Они отняли у меня то свидетельство, ну, вы знаете... по поводу барона... впрочем, он был таким же грабителем, как и они сами... вы еще просили у меня это свидетельство, но я тогда никак не мог разыскать его, а они разыскали... Это по поводу чьей-то женитьбы... память изменяет мне... Смотрите, как все же люди отличаются друг от друга! Отец Николай порассказал бы вам еще сотню историй об аббате Ингильраме, да сжалится господь над его душой! А ведь ему уже было, уверяю вас, полных восемьдесят шесть, тогда как мне не больше, чем... погодите-ка...

— Не Эвенел ли было то имя, которое вы стараетесь припомнить, мой добрый отец? — спросил Роланд, весь горя от нетерпения, но стараясь сдержаться, чтобы не испугать или не обидеть дряхлого старика.

— Да, правильно, Эвенел, Джулиан Эвенел, вы верно назвали имя... Я сохранял важные признания, сделанные на исповеди, поскольку это соответствует

данному мной обету... Но я не сумел разыскать его, когда оно понадобилось моему преемнику Амвросию... а вот солдаты разыскали, и тогда рыцарь, командовавший отрядом, ударил себя в грудь так, что его стальная рубашка зазвенела, как пустая лейка.

— Святая Мария! — воскликнул аббат. — В ком эта бумага могла пробудить такой интерес? А как выглядел этот рыцарь? Каков был его герб? Какие у него цвета?

— Вы меня окончательно сбили с толку вашими вопросами... Я ведь едва решился взглянуть на него... Они утверждали, что я везу письма для королевы, и обыскиали мой дорожный мешок... Все это из-за ваших проделок в Лохлиvene.

— Я уверен, — сказал аббат Роланду, который стоял тут же рядом с ним, дрожа от нетерпения, — что бумаги попали в руки моего брата. Я слышал, что он со своими солдатами патрулировал на дороге между Стерлингом и Глазго. Не носил ли этот рыцарь остролист на шлеме? Не припомните ли вы?

— Припомнить... припомнить... — раздраженно ответил старик. — Проживите с мое, если ваши заговоры вам позволят, тогда увидите, многое ли вам удастся припомнить. Я с трудом припоминаю те пирмейны, которые я своими руками посадил здесь пятьдесят лет назад.

В этот момент с берега моря послышался громкий звук рога.

— Это смертный глас, возвещающий конец царствования Марии Стюарт, — сказал Амвросий. — Пришел ответ английского губернатора, и наверняка благоприятный. Разве захлопывают дверь ловушки перед жертвой, ради которой она поставлена? Не падай духом, Роланд, в твоем деле мы разберемся до конца; но сейчас нам нельзя оставлять королеву. Иди за мной, исполним наш долг, а дальнейшее предоставим воле божьей. Прощайте, добрый отец, я вскоре снова навещу вас.

Он собрался уходить из сада, Роланд неохотно последовал за ним.

Бывший аббат снова взялся за лопату.

— Я бы пожалел этих людей, — сказал он, — и даже эту бедную королеву, но что такое земные горести, когда человеку восемьдесят лет? А сегодня на редкость удачное утро для ранней капусты.

— Годы ослабили его разум, — промолвил Амвросий, увлекая за собой Роланда к берегу моря. — Нужно время, чтобы он собрался с мыслями, а сейчас нам следует думать только о судьбе королевы.

Вскоре они добрались туда, где стояла Мария Стюарт, окруженная своей небольшой свитой. Рядом с ней, в пышной одежде, стоял во главе своих воинов шериф Камберлендский, вельможа из дома Лаутеров. На лице королевы отражалось удивительное сочетание готовности к отъезду с неуверенностью. Ее слова и жесты должны были внушить надежду и утешение ее друзьям; казалось, она пыталась убедить себя самое, что шаг, который она предпринимает, не сулит ей опасностей и что заверения в том, что она встретит дружественный прием, были вполне достаточными; но дрожащие губы и беспокойный взгляд тут же выдавали ее отчаяние при расставании с Шотландией и боязнь довериться сомнительному гостеприимству Англии.

— Приветствую вас, ваше преосвященство, — сказала она, обращаясь к Амвросию, — и тебя, Роланд Эвенел; у нас есть радостные вести для вас. Этот саванник нашей любящей сестры предлагает нам от ее имени безопасное убежище от мятежников, которые изгнали нас из наших владений; мне грустно лишь, что нам придется расстаться с вами на короткое время.

— Расстаться с нами, ваше величество! — воскликнул аббат. — Неужели английское гостеприимство должно начаться ограничением вашей свиты и отстранением ваших советников?

— Ну зачем же это так воспринимать, добрый отец? — возразила Мария Стюарт. — Губернатор и шериф, верные слуги нашей венценосной сестры, считают необходимым повиноваться в данном случае всем ее инструкциям до последней буквы, а согласно этим инструкциям, они могут принять только меня

и моих фрейлин. Из Лондона тотчас же будет отправлен нарочный с указанием места для моей резиденции, а когда будет формироваться мой двор, я всех вас немедленно призову к себе.

— Ваш двор будет формироваться в Англии! И это в то время, как там живет и царствует Елизавета? — воскликнул аббат. — Мы скорее увидим два солнца на одном небе!

— Не судите так, — возразила королева, — мы уверены в добропорядочности нашей сестры. Елизавета гонится за славой, но разве все, что она добыла силой и мудростью, не бледнеет перед тем, что обретет она, оказав гостеприимство своей несчастной сестре? И что бы она ни сделала доброго, мудрого и великого, все это не в силах будет стереть позор, которым она покрывает себя, обманув мое доверие. Прощай, мой паж, ныне ставший моим рыцарем, мы расстаемся не надолго. Я осушу слезы Кэтрин или буду плакать вместе с ней, пока у нас обеих не иссякнут слезы.

Она протянула руку Роланду, который, бросившись на колени, взволнованно поцеловал ее. Он готов был оказать такой же знак уважения и Кэтрин, но королева, приняв веселый вид, сказала:

— В губы, глупый мальчик! А ты, Кэтрин, не скромничай! Пусть этот английский джентльмен знает, что даже в нашем холодном климате Красота умеет вознаграждать Доблесть и Верность!

— Нам и без того известны чары шотландской красоты и пыл шотландской доблести, — любезно заметил шериф Камберленда. — Мне бы искренне хотелось со всем возможным гостеприимством пригласить в Англию спутников той, кто является королевой шотландской красоты. Но, к сожалению, это исключено распоряжениями нашей государыни, а ее приказ не подлежит обсуждению среди подданных. Да будет мне позволено напомнить вашему величеству, что начинается отлив.

Шериф подал руку королеве, и она уже ступила на сходни, ведущие в лодку, как вдруг аббат, которого слова шерифа повергли в скорбь и изумление, очнулся

от своей неподвижности и, бросившись в воду, схватил королеву за край плаща.

— Она предвидела это! Она предвидела это! — воскликнул он. — Она предвидела ваше бегство в ее страну и, зная о нем, отдала приказ, чтобы вас приняли только на этих условиях. Слепая, обманутая, обреченная королева! Ваша судьба предreshена, если вы покинете этот берег! Королева Шотландии, ты не должна расставаться с наследием твоих предков, — продолжал он, все еще держась за плащ Марии Стюарт. — Преданные люди пойдут наперекор твоей воле и спасут тебя от плена и смерти. Не бойся алебард и луков за спиной у этого щеголя! Мы сумеем помериться с ним силой! О, если бы здесь был мой воинственный брат! Роланд Эвенел, обнажай свою шпагу!

Королева стояла в страхе и нерешительности, ступив уже одной ногой на сходни и все же не решаясь оторвать другую ногу от песка родного берега, который она покидала навсегда.

— Зачем применять насилие, сэр священник? — сказал шериф Камберленда. — Я прибыл сюда по вызову вашей королевы, чтобы оказать ей услугу. По первому ее распоряжению я немедленно удалюсь, если она отвергнет ту помощь, которую я в силах ей предложить. Не диво, если наша мудрая королева предвидела, что среди смут, волнующих вашу беспокойную державу, могло произойти и такое событие и что, желая предоставить гостеприимство своей царственной сестре, она сочла правильным запретить переход английской границы остаткам разбитой армии ее приверженцев.

— Вы слышите, — сказала королева Мария, мягко высвобождая свою одежду из рук аббата, — нам предоставляют полное право решать самим, покинуть ли нам этот берег, и, бесспорно, такую же свободу решения нам предоставят, если мы захотим поехать во Францию или вернуться в наши собственные владения. Впрочем, сейчас слишком поздно.. Благословите нас, отец, и да хранит вас господь.

— Да хранит он и тебя, королева, и пусть он смирится над тобой! — сказал аббат, отступая. — Но сердце говорит мне, что я вижу тебя в последний раз.

Гребцы подняли паруса, налегли на весла, и лодка быстро понеслась через Фрит, который отделяет берега Гэллоуэя от берегов Камберленда, но пока она не уменьшилась до размеров детского кораблика, сомневающиеся, огорченные и покинутые приверженцы королевы не покидали берега. И долго, долго следили они за платком, которым королева махала, прощаясь со своими преданными друзьями и с берегами Шотландии.

Если бы хорошие вести, касающиеся собственной персоны Роланда, могли утешить пажу в разлуке с его возлюбленной и в несчастьях, постигших его государыню, то подобного рода утешение было ему предоставлено через несколько дней после отъезда королевы из Дандренана. Запыхавшийся курьер, которым оказался не кто иной, как Адам Вудкок, привез депешу от сэра Хэлберта Глендининга аббату, который вместе с Роландом все еще находился в Дандренане и понапрасну терзал Бонифация все новыми расспросами. Этим письмом сэр Хэлберт настоятельно приглашал своего брата хотя бы временно избрать в качестве резиденции замок Эвенел.

«Милосердие регента, — говорилось в письме, — дарует прощение вам обоим — тебе и Роланду, при условии, если вы будете временно находиться под моей опекой. Кроме того, у меня есть сведения о родителях Роланда, которые не только будут приятны вам, но которые обязывают меня как мужа его ближайшей родственницы принять участие в его дальнейшей судьбе».

Аббат прочел это письмо и остановился, как бы решая, что ему лучше сделать. Тем временем Вудкок отвел Роланда в сторону и обратился к нему со следующими словами:

— Смотрите, мейстер Роланд, чтобы теперь какая-нибудь папистская глупость не увела священника и

вас в сторону от преследуемой дичи. Вы ведь всегда держались как джентльмен. Так вот, прочтите-ка это и благодарите бога за то, что на дороге нам попался старый аббат Бонифаций, которого двое слуг Ситона везли сюда, в Дандренан. Мы обыскали его, желая обнаружить что-либо, касающееся ваших славных подвигов в Лохлиvene, которые многим стоили жизни и от которых у меня и до сих пор еще болят все кости, а нашли мы то, что для вас, пожалуй, важнее, чем для нас.

Бумага, которую он передал Роланду, представляла собой свидетельство монаха аббатства святой Марии, отца Филиппа, именовавшего себя «недостойным ризничим», в котором последний заверял, что «он, дав клятву о неразглашении, сочетал священными узами брака Джулиана Эвенела и Кэтрин Грейм; но, когда Джулиан раскаялся в этом союзе, он, отец Филипп, греховно согласился утаить и скрыть этот брак, благодаря каковому сговору между ним и вышеупомянутым Джулианом Эвенелом несчастная девица была введена в заблуждение и считала, что церемонию бракосочетания совершило лицо, не имевшее духовного сана и не обладавшее правом на подобные обряды. Означенное греховное сокрытие истины нижеподписавшийся считает причиной того, что его стал мучить водяной дух, который своими злыми чарами заставлял его в ответ на любой вопрос, в том числе касающийся самых возвышенных предметов, распевать лишь нелепые отрывки из старинных песен, а кроме того, постоянно досаждал ему ревматическими болями. Вот почему он составил это свидетельство и признание, с указанием даты и дня означенного венчания, и отдал своему законному наставнику, отцу Бонифацию, аббату монастыря святой Марии, *sub sigillo confessionis*».¹

Из письма, написанного Джулианом и аккуратно приложенного к свидетельству, явствовало, что аббат Бонифаций вмешался в это дело и добился от барона обещания признать свой брак; однако смерть

¹ В знак признания (лат.).

обоих супругов — самого Джулиана и его обманутой жены, — равно как и отказ аббата от своего сана, притом, что святой отец ничего не знал о судьбе их несчастного ребенка, а, главное, его собственная апатичная и бездеятельная натура, — все это привело к тому, что дело было полностью забыто и лишь во время случайной беседы с аббатом Амвросием о судьбах рода Эвенелов оно снова вынырнуло из небытия. По просьбе своего преемника бывший аббат принялся за поиски, но никто не помог ему разобраться в тщательно сохраняемой пачке бумаг с записями различных церковных казусов и важных признаний на исповеди, так что это свидетельство могло бы остаться навсегда погребенным среди них, если бы не более тщательные поиски сэра Хэлберта Глендиннга.

— Выходит, что вы теперь, пожалуй, унаследуете Эвенел, мейстер Роланд, после того как мои хозяева отправятся на покой, — сказал Адам. — У меня к вам будет всего одна просьба. Надеюсь, вы мне не скажете «нет»?

— Ни в коем случае, если в моих силах будет сказать «да», мой верный друг...

— Ну так вот, если я только доживу до того дня, я вынужден буду продолжать кормить соколят непромытым мясом, — сказал Вудкок твердо, но, видимо, не будучи уверен в том, как будет воспринято это его требование.

— Ты будешь кормить их как захочешь, — смеясь, ответил Роланд. — Я стал старше всего на несколько месяцев с тех пор, как покинул замок, но я набрался достаточно ума, чтобы не спорить со знатоками своего дела в области их собственного ремесла.

— Тогда я не поменяюсь местом даже с сокольным королем, — воскликнул Адам Вудкок, — или самой королевы! Впрочем, говорят, что она теперь сама попала в клетку, и ей уже никогда не понадобится сокольников. Я вижу, вас это печалит, и я готов погрузиться с вами вместе; но что поделаешь, Фортуна летит своим путем, хотя бы человек призывал ее до хрипоты,

Аббат и Роланд отправились в замок Эвенелов, где священника ласково приветствовал его брат, в то время как хозяйка замка пролиwała слезы радости, узнав, что, оказывая покровительство сироте, она помогала единственному оставшемуся в живых отпрыску своего рода. Сэр Хэлберт Глендининг и все его слуги немало удивлялись, той перемене, которую произвело в их прежнем домочадце столь непродолжительное знакомство со светом, и радовались, увидев вместо капризного, избалованного и взбалмошного пажа скромного и непритязательного юношу, слишком уверенного в себе и в своих видах на будущее, чтобы горячиться или обижаться, требуя уважения, которое ему теперь оказывали охотно и добровольно.

Старый мажордом Уингейт первым начал петь Роланду хвалу, которой тут же стала громко вторить и миссис Лилиас, никогда не расстававшаяся с надеждой, что господь наставит юношу в духе истинной веры.

К истинной вере сердце Роланда давно уже втайне стремилось, и отъезд доброго аббата во Францию, где он собирался вступить в один из монастырей своего ордена, устранил главное препятствие для его выхода из католической церкви. Другим препятствием могло бы явиться его чувство долга по отношению к Мэгделин Грейм, с которой его связывали узы родства и признательности, но вскоре после прибытия в замок Эвенелов он узнал, что его бабка умерла в Кельне при выполнении непомерно суровой для ее возраста епитимьи, которую она наложила на себя во имя королевы и шотландской церкви при известии о поражении при Лэнгсайте. Религиозное рвение аббата Амвросия было не таким чрезмерным, но он удалился в *** ский шотландский монастырь и там жил столь праведно, что братия собиралась даже причислить его к лику святых. Амвросий, однако, разгадал их намерение и на смертном одре обратился к ним с просьбой не оказывать никаких особых почестей телу такого же грешника, как и они сами. Он просил лишь отправить его прах и его сердце для погребения в родовом склепе Эвенелов в обители святой Марии, чтобы

последний аббат этой прославившейся своим благочестием общины мог почитать среди развалин родного монастыря.

Еще задолго до его смерти Роланд Эвенел обвенчался с Кэтрин Ситон, которая, прожив два года со своей несчастной королевой, была вынуждена уехать, когда ее госпожа подверглась еще более строгому заточению, чем вначале. Она вернулась в дом своего отца, и, так как Роланд был признан преемником и законным наследником древнего рода Эвенелов, владения которого были во много раз приумножены заботами сэра Хэлберта Глендининга, семья Кэтрин не стала возражать против этого брака. Мать ее умерла еще раньше, незадолго до того, как Кэтрин была помещена в монастырь. А ее отец в беспокойные времена, последовавшие за бегством Марии Стюарт в Англию, не противился союзу с молодым человеком, который, сам будучи предан королеве, пользовался благодаря сэру Хэлберту Глендинингу известным влиянием и среди правящей партии.

Таким образом, Роланд и Кэтрин соединились, невзирая на различие их религиозных убеждений, и Белая дама, которую редко видели здесь, когда род Эвенелов, казалось, готов был угаснуть, часто появлялась теперь у своего любимого источника, и на ней сверкала золотая полоса, такая же широкая, как графский пояс.

КОММЕНТАРИИ

«АББАТ»

Работая над «Монастырем», Вальтер Скотт задумал и его продолжение — роман «Аббат». В предшествующем тексту «Монастыря» послании от капитана Клаттербака автору «Уэверли» говорится, что рукопись, переданная капитану неким монахом-бenedиктинцем, состоит из двух частей. В конце «Монастыря» Скотт уведомляет читателя: «На этом заканчивается первая часть рукописи бенедиктинца».

«Монастырь» появился в марте 1820 года, а в сентябре того же года издатель Лонгмен выпустил в свет «Аббата». За этот промежуток времени первоначальный замысел «Аббата» несколько изменился. Сперва Скотт хотел сосредоточить повествование вокруг того же Мелрозского аббатства, которое описано в «Монастыре» под именем Кеннаквайрского. Но затем обстоятельства, относящиеся к жизни монастыря, были оттеснены другим материалом, и лишь одна сцена романа разыгрывается в стенах Кеннаквайрского аббатства. В ответе автора «Уэверли» капитану Клаттербаку Скотт говорит о «сокращениях и изменениях», якобы произведенных им в «рукописи бенедиктинца», и отмечает, что название романа «перестало соответствовать его содержанию». Действительно, аббат Амвросий занимает в романе более или менее заметное место, но отнюдь не является ведущим его персонажем. Исчезла также и Белая дама — призрак, играющий значительную роль в сюжете «Монастыря». Зато большое внимание уделено историческим событиям и персонажам.

Действие происходит в годы острого религиозного и политического конфликта между движением Реформации и сторон-

никами римско-католической церкви. Религиозная оболочка конфликта скрывала материальные интересы различных классов, втянутых в эту борьбу. Шотландская распря многими нитями была связана с соперничеством крупнейших европейских держав того времени. протестантской Англии, где бурными темпами шло буржуазное развитие, и стран, в которых господствовали реакционные феодально-католические силы — Франции и Испании. Несмотря на то, что в Шотландии оба враждебных лагеря возглавлялись представителями феодальной знати, гражданская смута своеобразно выражала начало ломки старого феодального уклада.

В 1816 году Скотт впервые посетил расположенное на берегу Лохливленского озера имение Блэр-Адам, которое принадлежало его другу, президенту гражданского суда Шотландии Адаму. В течение многих лет он регулярно встречался здесь с несколькими такими же, как и он сам, любителями и знатоками шотландской старины. Члены «Блэр-Адам-клуба» обследовали развалины древних замков и крепостей, находившихся в окрестностях. Руины замка Дугласов, возвышавшиеся посреди Лохливленского озера, живо напоминали о некогда заточенной здесь Марии Стюарт. В Блэр-Адаме и родилась у Скотта мысль описать этот эпизод из жизни низвергнутой и впоследствии казненной королевы.

Имя Марии Стюарт неотделимо от бурных событий, оказавших решающее влияние на ход шотландской истории. Марии Стюарт выпало на долю быть первым в европейской истории «законным монархом», свергнутым с престола, судимым и казненным. Низвержение Марии и ее казнь фактически знаменовали решение вопроса о существовании самостоятельного шотландского государства. Под многолетним соперничеством Англии и Шотландии подводилась итоговая черта.

В сознании подпавших под английское господство шотландцев, которые не раз — до самого конца XVIII века — поднимались на борьбу с Англией, предание о Марии Стюарт ассоциировалось с воспоминанием об утраченной независимости.

Образ Марии приобрел в веках романтический ореол. Ее трагическая судьба — многолетнее заточение в Англии, а затем пристрастный суд и казнь — заставляли забывать о тяготевших над Марией обвинениях, а главное — о ее объективной исторической роли.

Между тем обвинения были весьма серьезными, и хотя многие историки пытались впоследствии обелить Марию Стюарт, им так и не удалось убедительно опровергнуть доказательства соучастия Марии в убийстве ее мужа Генри Дарнлея, осуществленном лордом Босуэлом, за которого она вскоре после этого вышла замуж. Известно также, что к пленной королеве стягивались все нити направленных против Англии интриг и заговоров. Главное же в оценке исторической роли Марии Стюарт заключается в том, что она возглавляла феодально-католическую реакцию, на которую возлагали надежды папский Рим, Франция и Испания в борьбе с протестантской Англией. Мария Стюарт была помехой на пути исторического прогресса, и ее гибель была неизбежной и закономерной.

Скотт, как и большинство шотландцев, отдавал дань восхищения Марии Стюарт. В уста сокольничего Адама Вудкока вложена восторженная речь о Марии. О темных страницах ее биографии, о приписываемых ей преступлениях в романе только глухо упоминается.

Однако из романа явствует, что личное обаяние Марии не затмевало для Скотта ее реакционной политической роли. В 1828 году Скотт писал своему зятю и биографу Локхарту: «Вряд ли чью-нибудь жизнь я мог бы описать с большей легкостью, чем жизнь Марии Стюарт, но этого я ни в коем случае не стану делать, так как мой взгляд на события ее жизни противоречит как народным чувствам, так и моим собственным».

Католическая церковь в Шотландии обладала огромными богатствами: монастыри вроде Кеннаквайрского были крупнейшими феодальными землевладельцами и извлекали немалые доходы из своих крестьян. Показывая в одной из самых красочных сцен народное возмущение против церкви, Скотт не оставляет у читателя никаких сомнений в том, что оно законно и оправданно. Аббат Амвросий охарактеризован как человек, обладающий личными достоинствами, но служащий делу обреченному и неправому. Весьма сомнительна исповедуемая им церковная мораль, допускающая любой обман во имя «святого дела». Религиозное неистовство Мэгделин Грейм выглядит нелепым пережитком.

Но и другому лагерю Скотт не отдает безоговорочного предпочтения. Мрачный фанатизм кальвинистского проповедника не менее бесчеловечен. Лорды, примкнувшие к Реформации и возглавившие ее, заинтересованы в ней постольку, поскольку

могут прибрать к рукам монастырские земли. Простым людям Шотландии равно безразлична религиозная догматика папистов и реформатов. Народные массы отнюдь не склонны поддаваться аскетическим проповедям католиков и кальвинистов и отказываться от своей давней языческой традиции жизнерадостных увеселений и игр.

Описывая историю Марии Стюарт и ее времени, Скотт позволяет себе отступления от исторических фактов. Он вольно обходится с хронологией. «Я тщетно пытался, — пишет Скотт в «Монастыре», — определить точное время, к которому относится повествование, факты которого находятся в противоречии с хронологией наиболее достоверных источников». Та же неувязка и в «Аббате». Роланд Грейм родился перед смертью своего отца Джулиана Эвенела, убитого в стычке при Кеннак-вайре, то есть в конце 1550-х годов. Через семнадцать лет, в середине 70-х годов, Роланд становится пажом Марии Стюарт, заключенной в Лохливленском замке. Между тем заключение Марии в Лохливлене, ее бегство и битва при Лэнгсайде падают на 1567—1568 годы. Граф Мерри называется регентом уже в «Монастыре» и на первых страницах «Аббата» — за семь лет до основного действия романа. В действительности Мерри стал регентом только после отречения Марии и лишь тогда возвратился в Шотландию.

Совершенно иначе, чем это было в действительности, описана первая попытка побега из Лохливена. Мария бежала из замка, переодетая прачкой, но была узнана гребцами по ее холемым рукам. Роль в ее побеге, выполняемая в романе Роландом Греймом, в действительности принадлежала историческому лицу, пажу Уильяму Дугласу.

Автор совсем не упоминает о том, что в Лохливлене Мария родила ребенка, отцом которого был Босуэл. Режим в Лохливленском замке на самом деле был далеко не таким жестким, как с целью обострения драматизма действия это изображено в романе.

Если факты кое-где «подправлены» при помощи вымысла, то вымышленные автором эпизоды, места действия и образы имеют под собой исторические основания. В некоторых случаях писатель исходит из скупых сведений, приводимых источниками, и развертывает их в живые сцены (например, глава, описывающая свидание лордов с Марией), в других — пользуется данными, относящимися к быту и нравам того времени. В резуль-

тате возникает панорама эпохи со всей материальной обстановкой и духовной атмосферой, с широким народным фоном, выпавшим до того из поля зрения историков. Адам Вудкок — носитель живого народного юмора и здравого смысла — фигура, не уступающая в реальности и исторической подлинности изображенным в романе именитым лордам — вершителям судеб Шотландии.

Приключения Роланда Грейма, история его любви к Кэтрин Ситон и тайна его происхождения представляют собой ведущую интригу романа; ее движение и повороты определяются историческими событиями. Воля Мэгделин, Глендиннинга, Мерри, Марии, преследующих свои политические цели, направляют судьбу Роланда. В романе «Аббат» мы видим мастерское умение Скотта связывать индивидуальные судьбы людей с социально-политической действительностью их времени. Новая для читателя первой четверти XIX века философия истории, проникнутая духом глубокого историзма, нашла себе в этом романе замечательное воплощение.

Стр. 8. ...в вступительном послании к первому изданию «Приключений Найджеала»... вложены в уста вымышленного персонажа... — Роман Вальтера Скотта «Приключения Найджеала» вышел в 1822 г. Его открывает «Вступительное послание капитана Клаттербака», в которое включена беседа-диалог между этим вымышленным персонажем и автором «Уэверли» о литературе.

...со времен Чосера до Байрона... — Чосер Джефри (1340—1400) — крупнейший поэт раннего периода английского Возрождения, автор знаменитых «Кентерберийских рассказов».

Своего великого современника Байрона Вальтер Скотт глубоко почитал и вскоре после появления его первых поэм отказался от поэтического творчества.

Джонсон Сэмюел (1709—1784) — английский писатель, критик, языковед, автор известного словаря английского языка, издатель Шекспира.

Аристарх Самофракийский (217—145 до н. э.) — знаменитый греческий грамматик и критик, издатель и комментатор Гомера. Имя его стало нарицательным обозначением авторитетного и справедливого критика.

Черчил Чарлз (1731—1764) — английский поэт-сатирик, в своих стихах высмеивал актеров (в частности, знаменитого Гаррика) и журналистов, в том числе — Джонсона,

Стр. 9. *Гримм Фридрих (Фредерик) (1723—1807)* — немецкий барон; прожил долгие годы во Франции и стал французским литератором. Был близко знаком с Руссо, Дидро и другими французскими просветителями. В своих многочисленных письмах, изданных под названием «Литературная, философская и критическая переписка», давал критические обзоры современной ему французской литературы.

...неистощимый Вольтер выпускал памфлет за памфлетом... — Вольтер был автором многочисленных сочинений памфлетного характера, направленных главным образом против католического фанатизма и мракобесия.

Фернейский патриарх — прозвище Вольтера, поселившегося в 1758 г. в имении Ферне, на юге Франции, возле швейцарской границы.

Теперь либо всплывешь, либо утонешь! — цитата из исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV», ч. I (акт I, сц. 3).

Стр. 11. *...способом бакалавра Самсона Карраско, который закрепил флюгер Хиральды Севильской...* — Самсон Карраско — персонаж из «Дон-Кихота» Сервантеса. В главе XIV второй части романа он рассказывает вымышленную историю о том, как он победил севильскую великаншу Хиральду и велел ей «стоять спокойно и не вертеться, ибо уже больше недели ветер дул только с севера». В действительности Хиральда (исп. *gigalda* — флюгер) — установленный в XVI в. на башне севильского собора огромный флюгер, трехметровой высоты, изображающий статую победы.

Джек Убийца Великанов — герой английских сказок.

Бассанио — персонаж из комедии Шекспира «Венецианский купец».

Бывало, в юности я упустил стрелу... — цитата из «Венецианского купца» (акт I, сц. 1).

Аякс — имя двух греческих героев, о которых рассказывается в поэмах Гомера. Аякс, сын Оилея, носил прозвище «Малого», в отличие от значительно превосходившего его ростом другого Аякса, сына Теламона; последний обладал непомерной физической силой и имел огромный «семикожный» щит «с восьмой оболочкой из меди» («Илиада», песнь седьмая). В «Илиаде» Аяксы сражаются иногда вместе, но они не братья — Скотт ошибается.

Пажон Анри (ум. 1776) — французский литератор, писавший в жанре волшебной сказки. Его «История принца Соли и принцессы Феле» вышла в 1740 г.

Стр. 12. ...*Мелроз стал местом погребения сердца великого Роберта Брюса*. — Мелроз — деревня на берегу Твида, в шестидесяти километрах к югу от Эдинбурга; от нее получило свое название расположенное поблизости аббатство, которое сторонники Реформации разрушили в 1559 г. Роберт Брюс (1274—1329) — шотландский король с 1306 по 1329 г. Возглавил восстание шотландцев против английского господства, завершившееся после битвы при Бэннокберне (1314) возвращением Шотландии независимости.

...*сослаться на авторитет автора «Калеба Уильямса», который так никогда и не снизошел до того, чтобы раскрыть нам истинное содержание сундука...* — «Калед Уильямс» (1794) — роман английского писателя Уильяма Годвина (1756—1836). Сундук действительно играет важную роль в сюжете романа: злоключения героя начинаются после его попытки вскрыть сундук, где хранилось нечто, разоблачавшее тайну его хозяина. Однако тайна открывается другим путем, а содержимое сундука так и остается неизвестным.

Колмен-младший Джордж (1762—1836) — английский драматург. Его пьеса «Сундук» была поставлена в 1796 г.

Стр. 13. ...*Мунго из «Висячего замка»*... — «Висячий замок» (1768) — фарс английского комедиографа Исаака Бикерстафа (ок. 1735 — ок. 1812). Мунго — чернокожий слуга, жалующийся на обилие поручений.

Альфред, по прозванию Великий (849—900) — англосаксонский король, правил с 871 г.

Елизавета I (1533—1603) — английская королева, дочь Генриха VIII.

Уоллес Уильям (1270—1305) — национальный герой Шотландии, вождь начавшегося в 1297 г. народного восстания против англичан. После поражения восстания был схвачен англичанами и казнен.

Стр. 14. *Хотспер* (hot spur — англ. «горячая шпора») — прозвище сэра Генри Перси (1364—1403), воевавшего с шотландцами и взятого ими в плен в битве при Оттерборне. Хотспер выведен Шекспиром в исторической хронике «Король Генрих IV», часть I. «*Пройти через гулко ревущий поток*» — стих из этой хроники (акт I, сц. 3), однако произносит эти слова не Хотспер, а другой персонаж, Вустер, в беседе с Хотспером.

Мария Стюарт (1542—1587) — «королева шотландцев» по официальному титулу, дочь короля Иакова V, умершего вскоре

после ее рождения, и Марии де Гиз. Провозглашенная королевой еще в младенчестве, с семилетнего возраста воспитывалась при французском дворе. В 1558 г. вышла замуж за дофина, впоследствии короля, Франциска II. После смерти Франциска вернулась в 1561 г. в Шотландию. Правление королевы-католички в стране, принявшей Реформацию, было с самого начала чревато конфликтами.

В 1567 г. происходит открытый разрыв Марии с протестантскими лордами. Низложенная и заключенная в Лохливенский замок, Мария подписывает отречение, но 2 мая 1568 г. совершает побег и, после проигранного ее сторонниками сражения, бежит в Англию. Принятая своей соперницей и злейшим врагом королевой Елизаветой формально как гостя, Мария провела более восемнадцати лет в заключении, после чего ее предали суду и казнили 8 февраля 1587 г.

Стр. 17. *Тильбюри* — легкая двуколка в одну лошадь; название произошло от имени изобретателя этого экипажа.

Стр. 18. *Дуглас Гоуэйн* (1474—1522) — шотландский поэт. Его перу принадлежат две аллегорические поэмы — «Дворец Чести» и «Король Сердце», а также первые переводы на английский язык древнеримской поэзии.

Стр. 19. *Мерри Джеймс Стюарт* (1531?—1570) — граф, побочный сын короля Шотландии Иакова V и Маргарет Эрскин (в браке — леди Лохливен), сводный брат Марии Стюарт и ее политический противник. Возглавил группу шотландских лордов, перешедших на сторону Реформации и свергнувших Марию с престола. После вынужденного отречения Марии стал регентом Шотландии (в романе Вальтер Скотт сознательно допускает анахронизм).

Стр. 21. *...воинствующего реформатского духовенства...* — В Шотландии главное направление Реформации носило более радикальный характер, чем в Англии. Протестантские проповедники усердно насаждали суровую, аскетическую мораль. Во всей своей деятельности они проявляли крайнюю нетерпимость и жестокость по отношению к инакомыслящим.

Нокс Джон (1505—1572) — вождь Реформации в Шотландии, основоположник и глава шотландской (протестантской церкви), непримиримый враг католичества и королевы Марии Стюарт. Диспут, о котором упоминает Вальтер Скотт, происходил в 1563 г. по инициативе епископа Кроссрэггуэлского и носил характер публичного состязания. Каждый из богословов имел

эскорт в сорок человек. Темой диспута было толкование одного места в библии — говорит оно в пользу служения мессы или против него.

Стр. 23. *...напоминали о былых днях в Глендеарге...* — Глендеарг — название башни, в которой жила госпожа Глендининг, мать мужа леди Эвенел. Там прошли детство и юность Мэри Эвенел. Об этом рассказывается в романе «Монастырь».

Тибб Тэккет — персонаж романа «Монастырь», служанка матери леди Эвенел.

Стр. 28. *Жизнь нам дана не для того, чтобы растрачивать ее в праздном веселье, подобном треску тернового хвороста под котлом.* — Слегка видоизмененная цитата из библии, где сказано: «Смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом» (Екклесиаст, гл. VIII, стих 6).

Стр. 30. «*Граф Бэзил*» (1802) — трагедия шотландской писательницы Джоанны Бэйли (1762—1851).

Стр. 31. *Масоны* (или франкмасоны, «вольные каменщики») — участники так называемых масонских лож — тайных организаций, возникших в Англии в первой четверти XVIII в. в результате преобразования средневековых цеховых объединений каменщиков и распространившихся впоследствии во многих странах Европы и в Америке. Общими чертами масонского движения являлись религиозность со значительной долей мистицизма, умеренный демократизм, проповедь христианской «любви к ближнему», независимо от расы, национальности, вероисповедания. Масоны окружали себя атмосферой таинственности, обставляли свою деятельность сложными ритуалами, выработали систему тайных условных знаков, шифров, паролей и т. п.

Стр. 35. *Не раньше, чем хелвеллинский орел усядется на башню Лейнеркоста...* — Хелвеллин — горная вершина с водопадом в Уэстморленде (Северная Англия). Лейнеркост — селение в Камберленде (Северная Англия), известное некогда расположенным вблизи него монастырем августинцев, церковь которого сохранилась до времен Вальтера Скотта.

Стр. 39. *..задерживают его хозяина при Холирудском дворе...* — Холируд — королевский дворец в столице Шотландии Эдинбурге.

Стр. 40. *Лейден* Джон (1775—1811) — шотландский поэт, автор «Шотландских описательных поэм» (1803) и вышедшего посмертно сборника «Поэмы и баллады» (1819).

Стр. 47. *Летингтон* Уильям Мейтленд (1528?—1573) — лорд, известный под прозвищем «секретарь Летингтон», при Марии Стюарт ведал иностранными делами Шотландии. Впоследствии, уже во время пленения Марии в Англии, поднял открытый мятеж против протестантского правительства. Выдержав двухлетнюю осаду в Эдинбургском замке, был взят в плен и умер в тюрьме.

Мортон Джеймс Дуглас (1527?—1581) — граф, с 1563 г. занимал должность лорда-канцлера Шотландии, впоследствии — один из самых непримиримых врагов Марии Стюарт. Вскоре после смерти Мерри стал регентом Шотландии. В дальнейшем был предан суду и обезглавлен.

Грейндж Уильям Кирколди (1520?—1573) — лорд, занимал видное положение среди мятежных лордов, однако после поражения Марии стал на ее сторону. Вместе с Летингтоном удерживал Эдинбургский замок, после падения которого был казнен.

Линдсей Байрс, Патрик (ум. 1589) — лорд, один из первых шотландских лордов, ставших на сторону Реформации, непримиримый враг Марии Стюарт, верный соратник Мерри.

Стр. 49. *Темно-серый человек Хей Ланкарти*. — См. подстрочное примечание Вальтера Скотта на стр. 407.

Дугласы — один из самых знатных и могущественных шотландских родов.

Стр. 56. *Брэн, Луас* — собаки, о которых рассказывается в «Сочинениях Оссиана» (1762—1765) — сборнике древних кельтских легенд, обработанных шотландским поэтом Джеймсом Макферсоном (1736—1796).

Стр. 58. *«Валентин и Орсон»* — рыцарский роман XV в., повествующий о приключениях двух братьев-близнецов.

Стр. 61. *Мальвольо* — персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно».

Стр. 62. *Грот* — шотландская серебряная монета достоинством в четыре пенса.

Стр. 65. *Раймунд Луллий* (1235—1315) — средневековый философ-схоласт, поэт и алхимик, уроженец острова Майорки. Его главное произведение — «*Ars magna Lulli*» («Великое искусство Луллия») — попытка систематизации понятий с целью усовершенствования искусства доказательств. Луллий изобрел «логическую машину», которая механическим комбинированием понятий должна была заменить человеческое мышление. Послед-

ний труд Луллия — «*Arbor scientiae*» («Древо наук»), разделенный на шестнадцать частей, каждая из которых посвящена особой науке, — представляет собой энциклопедию знаний XIII в.

Стр. 68. *.. знаменитого Лейденского университета...* — Университет в Лейдене (Нидерланды) был основан только в 1575 г. В романе — анахронизм. Имя профессора вымышленное.

Стр. 72. *Пусть каждый исторгнет из груди своей проклятый побег, выросший из семени злосчастного яблока...* — Яблоко здесь — тот же плод с древа познания добра и зла.

Стр. 75. *Старинная пьеса.* — Эпиграфы с таким названием сочинены самим Вальтером Скоттом. Иногда Вальтер Скотт ссылается на вымышленный источник.

Стр. 79. *Он осмеливается напоминать миледи о несчастьях ее семьи!* — Имеются в виду события, описанные в «Монастыре», — изгнание матери леди Эвенел из родового замка, повлекшее за собой многолетнее пребывание ее вместе с дочерью в глендеаргской башне у госпожи Глендининг.

Стр. 83. *Жена Лота.* — По библейскому преданию, бог вывел из обреченного им на гибель города Содома праведника Лота с семьей. Несмотря на запрет бога, жена Лота на пути оглянулась. В наказание за это она была превращена в соляной столб.

Стр. 85. *Давид Риччо* (1533?—1566) — итальянец-музыкант, приближенный Марии Стюарт и ее секретарь. Был зверски убит 9 марта 1566 г. на глазах у Марии, в ее покоях, протестантскими заговорщиками-вельможами, опасавшимися его влияния в государственных делах. Обвинение Марии в любовной связи с Риччо не было доказано.

...католика под плащом пресвитерианина.. — Пресвитерианам в Англии и Шотландии назывались кальвинисты, стоявшие за выборность духовенства и передачу управления церковными делами коллегиям старейшин — пресвитериям (греч. *presbyter* — «старейший»).

Стр. 86. *Граф Нортумберленд* — Томас Перси Нортумберленд, который в 1572 г. был казнен как католический заговорщик.

Граф Уэстморленд — титул, принадлежавший Чарлзу Невиллу, одному из главарей католического мятежа 1569 г. Умер в изгнании в 1601 г.

..хотя наш шотландский король.. истинный протестант, все же он еще ребенок. — Имеется в виду сын Марии Стюарт, король Иаков VI (1566—1625).

Стр. 87. *Гамильтоны* — старинный и некогда могущественный шотландский род; в середине XVI в. играли видную роль в католической партии.

Гордоны — старинный знатный шотландский род; боролись против Реформации.

...*конец... женевским мантиям...* — Шотландские священники-реформаты, следуя во всем женевской церкви Кальвина, отказались от католической сутаны, носили, как и женевское духовенство, мантии и ермолки и отращивали длинные бороды.

Стр. 91. *Асквибо* — шотландская водка.

Стр. 96. *Неужто ты, наполовину англичанин...* — Вудкок называет так Роланда потому, что тот прибыл со своей бабушкой в замок Эвенелов из северной части английского графства Камберленд, которая была Спорной землей.

Стр. 98. *Святой Катберт* — монах, живший в VI в.; проповедовал христианство в пограничных областях между Шотландией и Англией. Жители этих мест считали его своим покровителем.

Стр. 99. ...*с изображением короля Гарри...* — Имеется в виду английский король Генрих VIII, царствовавший с 1509 по 1547 г. *Хэл* — его прозвище.

Стр. 100. ...*пустынь святого Катберта...* — Вальтер Скотт в своих примечаниях к «Аббату» указывает, что место действия в этой главе является вымышленным.

...*изгнанные датчанами...* — Нашествия датчан на Британские острова начались только с конца VIII в. У Вальтера Скотта здесь анахронизм.

Дарем — один из древнейших городов на севере Англии.

Стр. 104. *Дагон* — бог древних народов филистимлян и финикийцев. Изображался с рыбьим хвостом. По библейской легенде, идол филистимлян низвергся и рухнул, когда в его храм внесли отбитый в сражении у евреев так называемый ковчег завета.

Стр. 105. *Ланкастерский дом* — английская династия, боровшаяся за власть с Йоркским домом во время войны Алой и Белой роз (1455—1485).

Стр. 110. ...*испытывая истинно эпикурейское наслаждение...* — Древнегреческий философ-материалист и атеист Эпикур (341—270 до н. э.) учил, что счастье заключается в наслаждении покоем, который достигается скорее духовными радостями, чем чувственными. Впоследствии, однако, под эпи-

курейством стали понимать стремление к чувственным наслаждениям.

Стр. 114. *...грозит такая же опасность, как тем трем отрокам, что были ввергнуты злодеями в печь огненную.* — В библии рассказывается о трех юношах — Анании, Азарии и Мисаиле, — которые были уведены в Вавилон и за отказ поклоняться «истукану» были по приказу царя Навуходоносора брошены в печь, но чудесным образом спасены.

Стр. 121. *Вордсворт* Уильям (1770—1850) — выдающийся английский поэт-романтик, один из представителей так называемой «озерной школы».

Стр. 125. *...я бы печалилась об этом больше, чем патриарх Авраам, когда он возводил на вершину горы своего сына Исаака.* — В библии рассказывается о том, как бог повелел Аврааму принести в жертву его единственного сына Исаака. Когда Авраам уже занес нож над Исааком, руку его удержал посланный богом ангел.

Стр. 127. *Капитул* — общее собрание членов какого-либо ордена, в данном случае — монахов монастыря святой Марин.

Стр. 134. *Керлеврок* Максвелл Хэррис (1512?—1583) — лорд, один из влиятельнейших шотландских вельмож того времени. Вначале примыкал к Реформации, был другом Нокса, потом перешел на сторону Марии Стюарт и оставался верен ей до конца.

Она ведь ревностная гугенотка... — Гугенотами назывались швейцарские и французские протестанты-кальвинисты. Наименование это перешло также в Англию и Шотландию.

Стр. 135. *...любезнейшая* *Каллиполис.* — Каллиполис — жена мавританского короля в трагедии Д. Пиля «Битва при Алькасаре» (1591). Это имя употреблялось в нарицательном смысле как обращение к возлюбленной.

Стр. 138. *Екатерина Сиенская* (1347—1374) — итальянская монахиня и церковная деятельница, причисленная в XV в. к лику святых.

Стр. 139. *Керры* — один из наиболее влиятельных шотландских кланов.

...сердце могло бы устоять, только если бы оно было заковано в тройную медную броню, более крепкую, чем та, которая, по мнению Горация, необходима морякам. — Имеется в виду ода 3-я из I книги «Од» Горация.

Стр. 142. ...отдавать церкви тмин и мяту точно в меру причитающейся ей десятины... — слегка перефразированная цитата из евангелия от Матфея (гл. XXIII).

Стр. 147. *Гай Уорик* — герой средневекового (XIII в.) англо-норманского рыцарского романа, совершающий ряд подвигов (умерщвление дракона, победа в единоборстве с датчанином-великаном и пр.).

Стр. 151. *Митрофорный иерей* — священнослужитель, увенчанный митрой; в данном случае — аббат монастыря.

Стр. 153. *Анна Болейн* (1507—1536) — английская королева, вторая жена Генриха VIII, мать королевы Елизаветы. Ради брака с ней король развелся со своей первой женой Екатериной Арагонской, что резко осуждалось католиками, отрицающими развод. Впоследствии Анна Болейн была обвинена в супружеской измене и казнена.

Томас Мор (1478—1535) — философ и государственный деятель, первый великий гуманист английского Возрождения, автор фантастического романа «Утопия» (1516).

Стр. 155. *Схизматик* — то же, что раскольник.

Стр. 159. ...первые преемники святого Петра... — Римские папы считались наместниками апостола Петра. Впоследствии за ними было закреплено звание наместников Христа на земле.

Стр. 160. *Ликторы* — почетные стражи при высших должностных лицах древнего Рима. Их знаком отличия был топор, окруженный связкой прутьев.

Преторы — представители высшей судебной власти в древнем Риме.

Неф («корабль») — название продольной части западноевропейского христианского храма. Главный и боковые нефы разделяются колоннадами или аркадами.

Стр. 161. ...бренные останки ризничего Филиппа, известного своей прогулкой по воде в обществе звенелского призрака... — Ризничий Филипп — персонаж романа «Монастырь». Происшествие, о котором идет речь, описывается в V главе.

Стр. 166. «Заговор» (1638) — пьеса английского драматурга Генри Киллигра (1613—1700).

...подобно хористам в легенде о берклейской ведьме... — В легенде рассказывается о том, что берклейская ведьма, умирая, велела положить себя в каменный гроб и привязать его железными цепями. Пятьдесят священников и пятьдесят певчих должны были молиться над ней и отпевать ее три дня и три

ночи. Несмотря на это, дьявол на третью ночь все-таки унес ее. На этот сюжет английским поэтом-романтиком, представителем «озерной школы» Робертом Саути (1774—1843) была написана баллада, переведенная В. А. Жуковским под названием «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди».

Стр. 169. *Бэйс* — главное действующее лицо сатирического фарса «Репетиция» (1671), написанного Джорджем Вильерсом, герцогом Букингемским (1628—1687). Пьеса пародирует современные автору героические трагедии. В конце ее происходит битва между солдатами-пехотинцами и «коньками-скакунками».

Царица Савская — библейский персонаж. В библии рассказывается о посещении ею царя Соломона.

Столяр Снаг — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Он исполняет роль льва в действе о Пираме и Фисбе, разыгрываемом перед афинским герцогом Тезеем.

Стр. 170. *Робин Гуд* — герой английских и шотландских народных баллад, ловкий стрелок, борец против несправедливости феодалов, ставший во главе вольницы, которая поселилась в Шервудском лесу и, грабя рыцарей и церковников, помогала беднякам. Введен Скоттом в романе «Айвенго».

Маленький Джон — сотоварищ Робина Гуда, огромный детина, прозванный маленьким в ироническом смысле.

...попустительствовала сатурнальным вольностям... — Сатурналии — празднества в честь бога Сатурна в древнем Риме, отличавшиеся необузданным весельем.

Стр. 172. «*Анастасий, или Мемуары одного грека*» (1819) — роман Томаса Хоупа (1744—1831).

...таким образом напоминая собой знаменитого шутника, о чьих приключениях рассказывается в книге, которая была переведена на английский язык... — Имеется в виду немецкая народная книга начала XVI в. о проделках весельчака и проказника Тиля Ойленшпигеля. Его прозвище означает буквально «совиное зеркало», чем и объясняются атрибуты аббата Глупости Хаулегласа, имя которого представляет собой перевод на английский язык имени Ойленшпигель (точнее — Аулглас).

Стр. 173. *Палинур* — кормчий Энея в поэме «Энеида» римского поэта Публия Вергилия Марона (70—19 до н. э.).

Стр. 175. *Хэлидом* — специальное наименование земельных владений, принадлежавших шотландским церковным феодалам.

Стентор — в «Илиаде» Гомера глашатай ахейн (греков), обладавший необычайно сильным голосом.

Стр. 177. *...как у святого Антония в «Искушениях» Калло.* — Жак Калло (1592—1635) — знаменитый французский гравер. «Искушение святого Антония» — одна из наиболее известных его работ (1635).

Стр. 178. *Велиаловы слуги...* — Велиал — одно из употребляемых в Библии имен дьявола.

Стр. 179. *Вергилий (в переложении Драйдена).* — Имеется в виду перевод «Энеиды» Вергилия на английский язык, осуществленный в 1697 г. Джоном Драйденом (1631—1700).

Стр. 192. *Отец Бонифаций* — в романе «Монастырь» аббат Кеннаквейрского монастыря, впоследствии сложивший с себя сан.

Стр. 193. *Келарь* — эконо́м монастыря.

Стр. 201. *...на низкорослой резвой гэллоуэйской лошадке...* Гэллоуэй — полуостров на юго-западе Шотландии, между заливами Солуэй-ферт и Ферт-оф-Клайд. Широко известна выращиваемая в этой местности порода пони.

Стр. 202. *Берик* — приморское графство и одноименный город в Шотландии на границе с Англией.

Стр. 204. *...по-прежнему сторожил тот же Питер, по прозванию Мостовой...* — Этот персонаж действует в романе «Монастырь».

Стр. 205. *Фальконет* — старинная мелкокалиберная пушка.

Стр. 207. *...он менее других вправе смеяться над домовыми.* — Имеются в виду встречи Хэлберта Глендининга с Белой дамой, о которых рассказывается в «Монастыре».

Стр. 208. *Эдина* — Эдинбург; *Скотия* — Шотландия (латинизированные формы).

В эпиграфе цитата из поэмы Бернса — «Обращение к Эдинбургу» (1786).

Стр. 209. *Солуэй-ферт* — залив, разделяющий на западе Шотландию и Англию.

Мыс Данкансбей — северная оконечность Шотландии.

Старый замок — иначе Эдинбургский замок; построен на высокой скале, возвышающейся над городом.

Розлин-мур — замок вблизи Эдинбурга.

Босуэл Джеймс Хепберн (1536?—1578) — граф, фаворит Марии Стюарт, сделанный ею диктатором Шотландии с титулом герцога Оркнейского, впоследствии ее третий муж, честолюбивый и безрассудный авантюрист. Совершенные им преступления

послужили поводом для мятежа лордов и низложения Марии. Босуэл бежал из Шотландии и умер в датской тюрьме.

Стр. 211. *Король Коул* — персонаж старинных английских баллад и детских стихов.

Стр. 212. *Дарнлей* Генри Ленокс Стюарт (1545—1567) — правнук короля Генриха VII, второй муж Марии Стюарт, убитый Босуэлом, организовавшим пороховой взрыв Керк-оф-Филда, уединенного здания на окраине Эдинбурга (Дарнлей находился там, выздоравливая после оспы).

Стр. 215. *Лесли*. — Имеется в виду один из крупнейших шотландских вельмож Эндрю Лесли, граф Ротс (ум. 1611). Принимавший участие в деятельности лордов конгрегации, Лесли впоследствии, в противоположность тому, как это представляет Вальтер Скотт, вовсе не был сторонником Мерри, а, напротив, поддерживал Марию Стюарт. Возможно, здесь происходит отождествление Эндрю Лесли с Норманом Лесли, видным деятелем Реформации, умершим в 1554 г.

Ситон. — Имеется в виду лорд Джордж Ситон (1530—1585) — могущественный шотландский вельможа, не примкнувший к Реформации и поддерживавший Марию. После бегства Марии в Англию Ситон также вынужден был бежать, несколько лет скитался за границей и, по преданию, был фургонщиком во Фландрии.

Стр. 217. *Кэнонгейт*. — Так называлась центральная часть главной улицы Эдинбурга, другие части которой именовались Лонгмаркет и Хай-стрит. Вальтер Скотт издал сборник своих новелл под названием «Хроника Кэнонгейта».

Стр. 221. *...геральдические девизы...* — Геральдика — гербоведение, составление и изучение гербов. В состав герба часто входило какое-нибудь изречение-девиз.

Стр. 231. *Карнуот-мур* — замок вблизи Эдинбурга.

Драммелзайрский сокол — Драммелзайр — городок в окрестностях Эдинбурга.

Мэн — остров в Ирландском море.

Стр. 234. *Подобают ли такие речи истинному лорду конгрегации?* — Лордами конгрегации называли себя шотландские вельможи, подписавшие в декабре 1557 г. договор, известный под названием Первого Ковенанта, — о союзе и взаимной помощи в борьбе за торжество Реформации.

..камня на камне не оставили от монастырей в Файфе и Пертшире. — Во время антикатолических выступлений в граф-

ствах Файф и Пертшир в 1559 г. по наущению Нокса производились разрушения церквей и монастырей.

Стр. 235. *...как старине Уидрингтону в «Охоте на Чевииотских холмах».* — «Охота на Чевииотских холмах» («Чевии-Чейс») — одна из двух баллад XV в. о трехдневной погоне шотландского графа Дугласа за английским графом Перси Нортумберлендом. В балладе это событие смешивается со знаменитой битвой при Оттерборне (1388). Роджер Уидрингтон — один из персонажей баллады, отважный рыцарь, лишившийся обеих ног, но продолжавший сражаться на обрубках.

...дочь Ирода, которая производила такую экзекуцию ногами, то есть, посредством плясок, оттапывала людям головы... — По евангельской легенде, падчерица царя Ирода Антипы Саломея потребовала у него в награду за свой танец голову заточенного в темницу Иоанна Крестителя.

Стр. 237. *Солтра-Эдж* (иначе Соутра-хилл) — самая высокая вершина в Ламмермурской горной цепи на юго-востоке Шотландии.

Стр. 239. *...передайте от меня привет Северному Петуху.* — Слова Мерри имеют иронический смысл. «Северный Петух» — Джордж Гордон, пятый граф Хантли, заклятый враг регента, отнявшего у его отца титул графа Мерри, католик и сторонник Марии Стюарт. Помогал Босуэлу, который был женат на его сестре, развестись с ней, чтобы тот мог жениться на королеве.

Стр. 242. *...как жена царя Кандавла скрывала от всех свои прелести...* — Греческий историк V в. до н. э. Геродот рассказывает о царе Лидии Кандавле, который похвастался перед юношей Гигом красотой своей жены Родопы и тайно ввел Гига в ее опочивальню. Родопа была настолько разгневана этим, что подговорила Гига убить ее мужа, затем вышла замуж за убийцу и возвела его на лидийский престол, который он занимал с 716 по 688 гг. до н. э. История эта послужила сюжетом для многих произведений мировой литературы.

Стр. 247. *Трон* — название одного из эдинбургских храмов.

Стр. 249. *Джулиан Эвенел* — персонаж романа «Монастырь», буйный феодал, незаконно захвативший замок Эвенелов у матери Мэри Эвенел.

Стр. 255. *Келтонский холм* — гора, у подножия которой расположен Эдинбург.

Стр. 256. *...сравнив его с «гусями лэрда Мак-Фарлена, которые больше любили резвиться, чем кормиться».* — Происхождение

ние поговорки следующее. Дикie гуси на озере Лох-Ломонд назывались гусями Мак-Фарлена, так как на острове посреди озера была расположена усадьба лэрдов (помещиков) этой фамилии. Король Иаков VI посетил однажды хозяина усадьбы. Когда мясо гуся, поданного к столу, оказалось жестким, король воскликнул: «Гуси Мак-Фарлена любят больше резвиться, чем кормиться!» У Скотта здесь анахронизм.

Стр. 262. *Лотиан* — область Шотландии, расположенная к югу от залива Ферт-оф-Форт; в нее входит и графство Эдинбург вместе со столицей.

Стр. 263. «*Эскалибар*» — меч полуполегендарного короля Артура, действующего в цикле средневековых романов о рыцарях Круглого Стола (иначе — артуровском цикле).

Стр. 266. *Дрокенсер* — персонаж сатирической пьесы Джорджа Вильерса «Репетиция» (1671), хвостун и забияка. В конце пьесы он убивает воюющих с обеих сторон, после чего все как ни в чем не бывало снова вскакивают на ноги и расходятся по домам.

Стр. 267. ...*спеть балладу про вавилонскую блудницу*... — Вавилонской блудницей протестанты называли папский Рим, используя образ из Апокалипсиса — одной из священных книг христианского канона.

Стр. 268. ...*С башни святого Эгидия*... — Речь идет о соборе святого Эгидия, покровителя калек, одном из старинных зданий Эдинбурга. Имеет восьмиугольную башню в форме короны.

Андреа Феррара — шотландский оружейник XVI в., родом из Венеции. Также название меча.

Стр. 277. *Флеминг Джон* (ум. 1572) — шотландский вельможа-католик, стоявший на стороне Марии.

Стр. 279. *Гизы* — знатный французский феодальный род, опора католицизма во Франции во время религиозных войн XVI в. (организаторы истребления гугенотов в Варфоломеевскую ночь — 1572 г.). По материнской линии близкие родственники Марии Стюарт.

.. *всех четырех благородных Марий*... — С самого раннего детства Марии Стюарт были приданы в качестве фрейлин четыре ее ровесницы и тезки из знатных семей. Они часто упоминаются в шотландских балладах. В их числе были действующие далее в романе Мария Флеминг и Мария Ситон (в романе сюжет потребовал сделать ее моложе, и потому автор переименовал ее в Кэтрин).

Стр. 280. *Рутвен* Уильям (1541?—1584) — лорд, один из самых непримиримых врагов Марии Стюарт, сын убийцы Риччо Патрика Рутвена, умершего в изгнании.

Стр. 283. *...походили более на странствующих картезианских монахов...* — Молчание — уставное требование монашеского ордена картезианцев, возникшего в XI в.

Стр. 285. *Куинз-Ферри* (букв. «переправа королевы») — городок в девяти милях от Эдинбурга, где осуществлялся перевоз через залив Ферт-оф-Форт.

Стр. 286. *Кулеврина* — старинное артиллерийское орудие, пушка с длинным стволом.

Донжон — главная башня в средневековом замке.

Стр. 287. *Роберт Мелвил* (1572—1621) — лорд, известен в основном как дипломат, выполнявший различные деликатные миссии. Пытался найти какой-то компромисс в политической борьбе своего времени. В романе Роланд доставляет в ножнах шпаги послание Марии от верных ей лордов. На самом деле это выполнил Мелвил.

Стр. 288. *«Амадис Галльский»* (1508) — самый знаменитый из рыцарских романов, принадлежащий перу Гарсии Родригеса де Монтальво. Пародируется в *«Дон-Кихоте»* Сервантеса.

«Зерцало рыцарей» — рыцарский роман, упоминаемый Сервантесом в числе книг, находившихся в библиотеке Дон-Кихота.

Стр. 290. *Льюис* Стюарт (1756?—1818) — шотландский поэт.

Иаков V (1512—1542) — король Шотландский (с 1513 г.), отец Марии Стюарт.

Дуглас Лохливен Уильям (ум. в 1606 г.) — единоутробный брат регента Мерри, один из «лордов конгрегации» (см. прим. к стр. 234).

Стр. 291. *Мария де Гиз* (иначе — Мария Лотарингская, 1515—1560) — королева Шотландская, мать Марии Стюарт. В период своего регентства в Шотландии проводила политику укрепления католицизма и подчинения страны французским интересам. Эта политика вызвала восстание, приведшее к изгнанию французов и победе Реформации.

Стр. 294. *...ее смерть была в значительной мере ускорена письмом... в котором она иронически высказывалась о своей самолюбивой сопернице и графине Шрусбери...* — К Марии Стюарт во время ее плена в Англии был приставлен в качестве тюремщика граф Шрусбери. Жена последнего распустила о Марии грязную сплетню. Ею воспользовалась королева Елизавета, что-

бы еще более очертить соперницу. Возмущенная Мария написала Елизавете вызывающе-язвительное письмо, подробно пересказав в нем оскорбительные суждения графини Шрусбери о самой Елизавете.

Стр. 299. ...*в веселом майском хороводе*. — В праздник весны (1 мая) устраивались хороводы и пляски вокруг так называемого майского шеста — выкрашенной разноцветными спиральными полосами и увитой цветами длинной жерди.

Стр. 304. *Кошачий Бубенчик* (Bell-the-Cat) — тот, кто берет на себя ответственность в опасном деле. Выражение происходит от сказки про мышей, собиравшихся навесить кошке бубенчик и искавших в своей среде смельчака, который отважился бы это сделать. Арчибалд Дуглас, граф Ангюс, получил это прозвище за то, что осмелился выступить против Кохрейна, всесильного временщика Иакова III (XV в.).

Иаков III — шотландский король. Царствовал с 1460 по 1488 г. При нем Шотландию сотрясали мятежи непокорных феодалов, которыми он в конце концов был убит.

Иаков IV — шотландский король. Царствовал с 1488 по 1513 г. Убит в сражении с англичанами под Флодденом, завершившемся поражением шотландцев (9 сентября 1513 г.).

Стр. 305. ...*на полях Карбери-хилла*... — Здесь 15 июня 1567 г. войско мятежных лордов сошлось для боя с отрядом Босуэла. Вместе с Босуэлом там была и сама королева Мария. Ввиду очевидного неравенства сил, Мария, с условием сохранить свободу Босуэлу, отдала себя в руки лордов и стала их пленницей.

Стр. 307. ...*с Джорджем Дугласом, младшим сыном барона Лохливена*... — Исторический прототип этого персонажа — брат Уильяма Дугласа Лохливена.

Сенешаль — в средние века должностное лицо, ведавшее порядком при дворе феодала.

В эпиграфе цитата из «Ричарда II» Шекспира (акт IV, сц. 1).

Грейстил — персонаж очень популярного в средние века стихотворного английского романа, примыкающего к артуровскому циклу, «Сэр Эджер, сэр Грайм и сэр Грейстил». В романе описываются необычайные приключения и подвиги рыцарей Эджера и Грайма, освобождающих принцессу из замка в заколдованной стране, подвластной «красному рыцарю» Грейстилу.

Стр. 313. *Битва при Пинки-Клю*. — При Пинки-Клю 10 сентября 1547 г. произошло сражение между шотландскими и анг-

лийскими войсками, закончившееся тяжелым поражением шотландцев. Поводом для войны послужил отказ Шотландии от обречения малолетней Марии Стюарт с английским королем Эдуардом VI, который также был еще ребенком.

Стр. 314. *...самое длительное и тягостное путешествие, если только память мне не изменяет, ваше величество проделали из Хоуика в замок Эрмитаж...* — Имеется в виду спешная поездка Марии 15 октября 1566 г. в замок Эрмитаж после получения ею известия о том, что Босуэл ранен там на дуэли. Мария тогда за один день проделала верхом восемнадцать миль. Этот поступок компрометировал королеву, выдавая ее отношения с Босуэлом. В одном Линдсею (или Скотту) действительно изменяет память: Мария находилась тогда не в Хоуике, а в расположенном недалеко от него Джедбурге (графство Роксбург).

Граф Мар — один из титулов Джеймса Стюарта, графа Мерри.

Мэри Ливингстон — одна из «четырех Марий», фрейлин королев.

Сент-Эндрюс — город на восточном побережье Шотландии. Здесь находились замок и знаменитое аббатство того же имени, которое до Реформации было резиденцией шотландского архиепископа-примаса и являлось опорой католической партии.

Стр. 316. *Разве вы не слышали, милорды, о договоре, который скрепили своей подписью пэры, навязывая злополучной Марии Стюарт этот злополучный союз?* — Босуэл был привлечен к суду по обвинению в убийстве Дарнлея, но, обладая диктаторской властью, был оправдан зависевшими от него судьями. После этого он заставил лордов подписать документ, рекомендовавший его в мужья королеве.

Стр. 320. *Трогмортон* Никлас (1515—1571) — английский дипломат; выполнял посольские миссии в Шотландии в 1565 и 1567 гг.

Стр. 321. *...говорит о ларце с письмами...* — Ларец с письмами Марии к Босуэлу, перехваченный лордами, был в их руках главной уликой, доказывавшей соучастие королевы в убийстве Дарнлея.

Стр. 322. *Маккиавелли* Никколо (1469—1527) — итальянский политический деятель, историк и публицист. В своем сочинении «Государь» доказывал допустимость любых средств для достижения политических целей.

Стр. 336. *Салический закон* — древнейший свод правовых установлений германского племени салических франков (начало VI в.). В эпоху развитого феодализма под салическим законом понималось лишение женщин права престолонаследия. Здесь употреблено в шутиливом смысле.

Майкл Скотт (ок. 1180 — ок. 1235) — ученый-схоласт; придворный астролог императора Фридриха II.

Стр. 337. *...решили идти к небесам дорогою святого Петра.* — То есть путем римско-католической церкви.

Стр. 346. *Фёлонг* — восьмая часть мили (201 м.).

Стр. 350. *Херлинг* — местное шотландское название белого лосося.

Нит — река, протекающая в юго-западной части Шотландии.

Вендиса — порода рыб, водящаяся в озере Лохмэйбен.

Лохмэйбен — одноименный с озером городок с замком, основанный, по преданию, Брюсом; расположен в Нитсдейле, долине реки Нит, в живописной местности.

Стр. 354. *...в поэмах о Карле Великом и его палатинах...* — Речь идет о французских эпических поэмах, самой знаменитой из которых является «Песнь о Роланде» (XI в.), повествующая о походе императора Карла Великого (VIII в.) в Испанию против мавров, о подвигах и гибели Роланда и его товарищей, преданных Ганелоном.

Стр. 365. *...вы способны скорей позабавить филистимлян, чем сокрушить их.* — Мария подхватывает и развивает библейскую аналогию, которую имеет в виду Хендерсон: по легенде, плененный филистимлянами силач Самсон разрушил храм, сам погиб под его развалинами, но погубил также и своих врагов.

Стр. 367. *...два-три золотых тестона...* — Тестон — монета с вычеканенным на ней профилем монарха. Название восходит к итальянскому *testa* — голова.

Стр. 370. *Сомервил Уильям* (1675—1742) — английский идилический поэт.

Стр. 371. *Балы* — городской судья.

Стр. 374. *Салернская школа* — в средние века самая знаменитая из медицинских школ. Сложилась в университете итальянского города Салерно. Широко популярен был возникший в ее недрах «Кодекс здоровья» в стихотворной форме.

Стр. 375. *Гиппократ* (ок. 460—377 до н. э.) — великий древнегреческий врач, один из основоположников античной медицины.

«Маска Гиппократ» в медицинской терминологии означает «лицо умирающего».

Стр. 376. *Электуарий* — лекарственное снадобье, замешенное на меду, сиропе и т. п.

Хирагра — подагра, локализующаяся в кистях рук.

Марциал Марк Валерий (ок. 40 — ок. 102) — древнеримский поэт, мастер эпиграммы.

Стр. 377. *Екклезиаст* («Проповедник») — одна из библейских книг, содержащая изречения и афоризмы, приписывавшиеся царю Соломону.

Эскулап — римское имя греческого бога врачевания Асклепия.

Филактерии — в иудейском религиозном культе надеваемые во время молитвы на лоб и левую руку ремни с наглухо закрытыми ящичками, в которых заключены тексты из священного писания.

Цельс Авл Корнелий (I в. до н. э. — I в. н. э.) — древнеримский ученый и писатель, автор компилятивного трактата о медицине, впервые напечатанного в 1566 г.

Стр. 380. *Геката* — у древних греков — божество лунного света; считалась также богиней волшебства.

Стр. 382. *«Розуол и Лилиан»* — средневековый стихотворный роман о приключениях принца Розуола, изгнанного своим отцом, неаполитанским королем. Розуолу удастся разоблачить присвоившего его имя и титул самозванца и получить руку принцессы Лилиан.

Феспид (VI в. до н. э.) — древнегреческий трагический поэт, считавшийся творцом трагедии в Афинах.

В духе изобретений добряка Основы.. — *Основа* — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», ткач, один из участников действия о Пираме и Фисбе; придумывает различные незатейливые детали спектакля.

Стр. 383. *Грасьосо испанской комедии* — в XVI—XVIII вв. амплуа весельчака и остроумца; обычно связывалось с ролью слуги.

...подобно датскому принцу... — Имеется в виду Гамлет, герой одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 384. *Хейвуд Джон* (1497—1580) — автор антикатолических пьес, так называемых «интерлюдий», в которых высмеивались лицемерие, разврат и корыстолюбие католического духовенства.

...с гробницы святого Иакова Компостельского... — Святой Иаков — один из мифических апостолов Христа. В монастыре его

имени Сант-Яго де Компостела (в испанской провинции Галисия) находилась его гробница. В средние века этот монастырь был одним из главных мест паломничества в Западной Европе.

Лорето — городок в Италии с храмом, привлекавшим паломников будто бы подлинным домом богородицы.

Целомудренная Сусанна — библейский персонаж. Сусанна, отвергнувшая домогательства двух старцев, которые подглядывали за ней во время купанья, была ложно обвинена ими в супружеской измене и приговорена к смерти, но спасена пророком Даниилом.

Стр. 385. ...в древних сказаниях о «Застольном роге короля Артура» и «Плохо скроенном плаще»... — Об этом роге и плаще повествуется в средневековых сказаниях артуровского цикла. Из рога короля Артура не могли выпить ни одна женщина, неверная своему мужу, и ни один мужчина, нарушивший верность вассала. Волшебный плащ приходился не впору женщинам, виновным в супружеской измене.

Стр. 388. *Ипполита* — мифическая дева-воительница, царица амазонок, ставшая женой афинского царя Тезея.

...подтверждают версию о вороне, выпущенном из Ноева ковчега. — По библейской легенде, из Ноева ковчега, перед тем как выпустили голубя, который вернулся с оливковой ветвью в клюве (что свидетельствовало об окончании потопа), был выпущен ворон, который не возвратился.

Стр. 389. *Чеймберс* Дэвид (1530?—1592) — шотландский историк и судья, сторонник Марии Стюарт.

Стр. 393. *Джек с фонарем* — блуждающий огонек на болоте.

Стр. 406. *Альбигойцы* — «еретики», широко распространившие свое влияние в южной Франции в XII—XIII вв. Название свое получили от города Альби (по-латыни *Albige*), бывшего центром движения, которое имело отчетливо выраженный характер народного восстания против феодалов. Стали жертвами кровавого католического террора.

Лолларды — предшественники Реформации в Англии XIV в. Движение лоллардов также было антифеодальным и народным. Они выдвигали весьма радикальные требования — секуляризацию церковных земель, отмену барщины и налогов.

Стр. 411. В эпитафии цитата из «Короля Генриха VI» Шекспира (ч. I, акт II, сд. 1).

Стр. 416. *Вы оказались верным голубем, а не вороном.* — См. прим. к стр. 388,

Стр. 429. *...эта моавитянка...* — Моавитяне — древний народ, некогда покоривший евреев. В Библии поэтому о них говорится с ненавистью и самое имя их употребляется как бранное слово.

...бессильному Франциску... — Имеется в виду первый муж Марии Стюарт — французский король Франциск II (1544—1560), болезненный и хилый с рождения, царствовавший всего лишь год с небольшим.

Шателар Пьер (1540—1564) — французский поэт, последовавший в Шотландию за Марией Стюарт, в которую был тайно влюблен. Любовь толкнула его на безрассудный поступок, за который он был схвачен, обвинен в оскорблении величества и казнен.

Стр. 436. В эпитафии цитата из «Короля Иоанна» Шекспира (акт V, сц. 7).

Стр. 438. *...наподобие помешанного рыцаря из испанского романа...* — Имеется в виду Дон-Кихот.

Стр. 441. *Но когда... я добуду эту Лию — честь, ты не согласишься меня... к новому долговому служению ради Рахили — любви?* — Библейский праотец Иаков нес службу у своего родственника Лавана семь лет ради руки его младшей дочери Рахили, но тот путем обмана женил его на старшей дочери Лии. Тогда Иаков, чтобы все-таки добиться Рахили, остался служить Лавану еще на семь лет.

Стр. 446. *Лох-Ломонд* — озеро в Западной Шотландии.

Стр. 447. *Позвать мою французскую стражу!..* — Дочь француженки, католичка, проведшая детство и юность во Франции, Мария Стюарт всю жизнь испытывала особую любовь к этой стране и, пока была у власти, окружала себя французами.

Беллона — богиня войны у древних римлян.

Стр. 448. *Лучше погибнуть во главе храбрых шотландцев, следуя примеру нашего деда под Флодденом, чем умереть с горя, как умер наш несчастный отец.* — В битве с англичанами под Флодденом 9 сентября 1513 г. погибло около десяти тысяч шотландцев и был убит король Иаков IV. Иаков V умер в 1542 г. в замке Фокленд вскоре после получения известия об очередном поражении в схватке с англичанами у Солуэй-ферта.

Стр. 451. В эпитафии цитата из «Короля Иоанна» Шекспира (акт IV, сц. 2).

Стр. 452. *...ты наслушался анабаптистских проповедников...* — Анабаптисты («перекрещенцы») — приверженцы религиозного учения, распространившегося в начале XVI в. в Германии и Нидер-

ландах. Проповедовали крещение в сознательном возрасте, выступали против государственной власти и авторитета духовенства, провозглашали равенство всех людей и требовали установления общности имуществ. Анабаптисты сыграли значительную роль в крестьянских восстаниях.

Стр. 453. *Крейцер* — старая австрийская монета, сотая часть гульдена.

Стр. 454. *...мечу из Бильбоа...* — Бильбоа — искаженное название испанского города Бильбао, где выделялись особо прочные клинки.

Стр. 455. *Иезавель* — древняя израильская царица, о которой рассказывается в библии; вместо культа иудейского бога Иеговы она ввела культ вавилонской богини Астарты. Проклята библией, как нечестивая и преступная правительница.

Стр. 456. *...не признаю обособленного духовенства.* — Драйфсдейл, в духе анабаптизма, отрицает всякое духовенство, даже реформатское.

Стр. 457. *...сразило царя вавилонского?* — В библии рассказывается легенда о том, что последнему вавилонскому царю Валтасару явились во время пира на стене огненные письма, предупреждавшие о небесной каре, и что в ту же ночь Валтасар был убит.

Стр. 462. *Екатерина Медичи* (1519—1589) — французская королева, жена Генриха II, свекровь Марии Стюарт. По происхождению — итальянка, родом из династии Медичи — банкиров и правителей Флоренции. Была искусной интриганкой, не гнушавшейся тайными убийствами при помощи яда и кинжала, что было характерно для политической жизни итальянских государств того времени.

Стр. 463. *Собрание Сословий* — шотландский парламент.

Стр. 466. *Диоскорид* — греческий врач I в. н. э.

Гален Клавдий (ок. 131—200) — крупнейший римский врач, анатом, физиолог и философ.

...из отогнанного королька сурьмы... — то есть из полученного путем перегонки слитка чистой металлической сурьмы.

Аконит — ядовитое растение из семейства лютиковых.

Кантарида — шпанские мушки.

Стр. 468. *Скрупул* — старинная мера аптекарского веса.

Стр. 469. *...над этой старой некроманткой...* — Некромантия — распространенное в древнем мире гадание на трупах или вызывание теней мертвых с целью узнать будущее.

...*in corpore vili* — точнее — *in anima vili* («над низменной душой»), латинское выражение, употреблявшееся для обозначения опытов над животными.

...*напоминая одержимую сивиллу*. — Сивиллами древние греки и римляне называли полубогин прорицательниц, которые жили в пещерах у источников и в состоянии экстаза предсказывали будущее.

Пифия — в древней Греции жрица-прорицательница при храме Аполлона в Дельфах.

...*королева Франции и Англии*... — В то время, когда Мария была французской королевой, она приняла также титул королевы Англии. Претензия Марии основывалась на том, что она была внучкой по материнской линии английского короля Генриха VII, а царствовавшую в Англии Елизавету католики считали незаконной дочерью Генриха VIII и отрицали ее права на престолонаследие.

Стр. 470. ...*ключи святого Петра... меч святого Павла*... — В христианской иконографии апостол Петр изображается с двумя ключами, которые понимаются как ключи от рая и как обозначение власти церкви — «вязать и разрешать»; апостол Павел изображается с мечом, обозначающим оружие, которым он был предан смерти, и книгой, обозначающей его деятельность как распространителя христианства.

Стр. 474. ...*физиономист мог бы упражняться на нем в метопоскопической науке*... — Метопоскопия — средневековая лженаука: гадание по линиям лба о судьбе человека, о прошлом и будущем.

Стр. 478. ...*вы уподобляетесь обжигальщику кирпича в Египте, не ведающему о святом освобождении*... — Намек на библейскую легенду о рабстве евреев в Египте, где они страдали от тяжелой работы, и об их исходе из Египта.

Стр. 485. *Но я думаю о том, кто никогда не будет забыт*... — Джордж Дуглас имеет в виду Генри Ситона.

Стр. 487. *Кипорная ткань* — старинная ткань, в которой поперечная нить идет наискось, образуя непрямую решетку.

...*доброго короля Джеми*... — Фамильным именем Джеми Роланд называет короля Иакова, чье имя по-английски звучит как Джеймс.

Стр. 493. «*Море историй*» — историческая хроника в нескольких томах, излагавшая события до конца XV в.

Стр. 502. *Клеман Маро* (1495—1544) — французский поэт. Кроме ряда других произведений, ему принадлежит обработка пятидесяти псалмов, положенных на музыку народных и городских песен.

Стр. 504. *Огни святого Эльма*. — Так назывались электрические разряды, наблюдаемые во время бури на поверхности волн и верхушках мачт.

Стр. 506. *Поэма сэра Джона Холенда «Сова»*... — Написанная в середине XV в., эта поэма представляет собой сатиру на шотландского короля Иакова II.

Бэннатайн-клуб — организованный Скоттом в 1823 г. клуб любителей шотландской старины, целью которого была публикация произведений, относящихся к прошлому Шотландии. Назван в честь Джорджа Бэннатайна (1545—1608), собирателя шотландских песен.

Дэвид Лэнг (1793—1878) — антиквар, друг Скотта, секретарь Бэннатайн-клуба; опубликовал много старинных фольклорных и литературных памятников.

Стр. 507. *Эдемский сад* — другое название библейского земного рая.

Стр. 513. *Дифферент* — разность осадки кормы и носа судна.

Стр. 515. *Келли* — водяной древнешотландской мифологии.

Стр. 524. *Арброт* Джон — вельможа из рода Гамильтонов.

Данбартон — знаменитый в шотландской истории замок на юго-западе страны (в двадцати километрах к северу от Глазго). В ту пору принадлежал Флемингам.

Стр. 528. *Мэлайз Стрэттерн*. — Так звали представителей нескольких поколений английского графского рода древнего кельтского происхождения. Какой именно Мэлайз Стрэттерн имеется в виду — неясно.

Стр. 530. *...кроется сила того, кто был рожден в Гате*... — Гат — один из городов филистимлян. Там, по библейскому преданию, родился великан Голиаф, побежденный Давидом.

Стр. 533. *Клайд* — наиболее значительная река Шотландии; у ее устья расположен Данбартон.

Чалмерс Александр (1759—1834) — шотландский писатель и историк, издатель «Всеобщего биографического словаря» (1812—1814). Его «История царствования Марии» появилась в 1819 г.

Гамильтон — город в шестнадцати километрах к югу от Глазго. Здесь был замок того же названия (см. прим. к стр. 87).

Стр. 537. *Коннетабль Монморанси* Анн (1492—1567) — выдающийся французский полководец. Звание «коннетабль», первоначально означавшее «великий конюший», с XIII до XVII в. во Франции присваивалось главнокомандующему.

Стр. 543. *Шехэлион* — гора в Шотландии (Пертшир).

Стр. 552. В эпиграфе цитата из «Чайльд-Гарольда» Байрона (песнь I, строфа 13).

Стр. 556. *Стерлинг* — город и один из знаменитых замков Шотландии.

Стр. 557. *Шериф* — высшее (административное и судебное) должностное лицо графства в Англии.

Стр. 563. ...о поражении при *Лэнгсайде*. — Событие это произошло 13 мая 1568 года.

Стр. 564. ...на ней сверкала золотая полоса, такая же широкая, как графский пояс. — В романе «Монастырь» Белая дама появляется с золотым поясом, ширина которого символизирует степень благополучия семейства Эвенелов.

В. ШОР

ОГЛАВЛЕНИЕ

АББАТ

Предисловие к «Аббату»	7
Вводное послание от автора «Уэверли» капитану Клаттербаку *** пехотного полка его величества	16
Глава I	18
Глава II	30
Глава III	40
Глава IV	58
Глава V	75
Глава VI	82
Глава VII	89
Глава VIII	100
Глава IX	112
Глава X	121
Глава XI	131
Глава XII	140
Глава XIII	152
Глава XIV	166
Глава XV	179
Глава XVI	198
Глава XVII	208
Глава XVIII	229
Глава XIX	250
Глава XX	270
Глава XXI	290

<i>Глава XXII</i>	307
<i>Глава XXIII</i>	327
<i>Глава XXIV</i>	338
<i>Глава XXV</i>	357
<i>Глава XXVI</i>	370
<i>Глава XXVII</i>	381
<i>Глава XXVIII</i>	395
<i>Глава XXIX</i>	411
<i>Глава XXX</i>	424
<i>Глава XXXI</i>	436
<i>Глава XXXII</i>	451
<i>Глава XXXIII</i>	476
<i>Глава XXXIV</i>	486
<i>Глава XXXV</i>	501
<i>Глава XXXVI</i>	518
<i>Глава XXXVII</i>	533
<i>Глава XXXVIII</i>	552
Комментарии	565

В. Е. Шором переведены главы I—XX, *А. Г. Левинтоном* — «Предисловие к «Аббату», «Вводное послание от автора «Уэверли» капитану Клаттербаку» и главы XXI—XXXVIII.

ВАЛЬТЕР СКОТТ
Собрание сочинений, т. 10

Редактор Н. Толстая
Художник Б. Воронецкий
Художественный редактор
Л. Чалова

Технический редактор
Э. Марковская

Корректор Е. Хваленская

Сдано в набор 14/XII 1962 г. Под-
писано к печати 16/IV 1963 г. Бу-
мага $84 \times 108^{1/32}$ — 18,75 печ л =
= 30,75 усл. печ. л. Уч.-изд.
л. 29,222. Тираж 300 000 экз.
Заказ № 61, Цена 1 р. 15 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного
хозяйства. Управление целлю-
лозно-бумажной и полиграфиче-
ской промышленности. Типогра-
фия № 1 «Печатный Двор» им.
А. М. Горького Ленинград,
Гатчинская, 26.